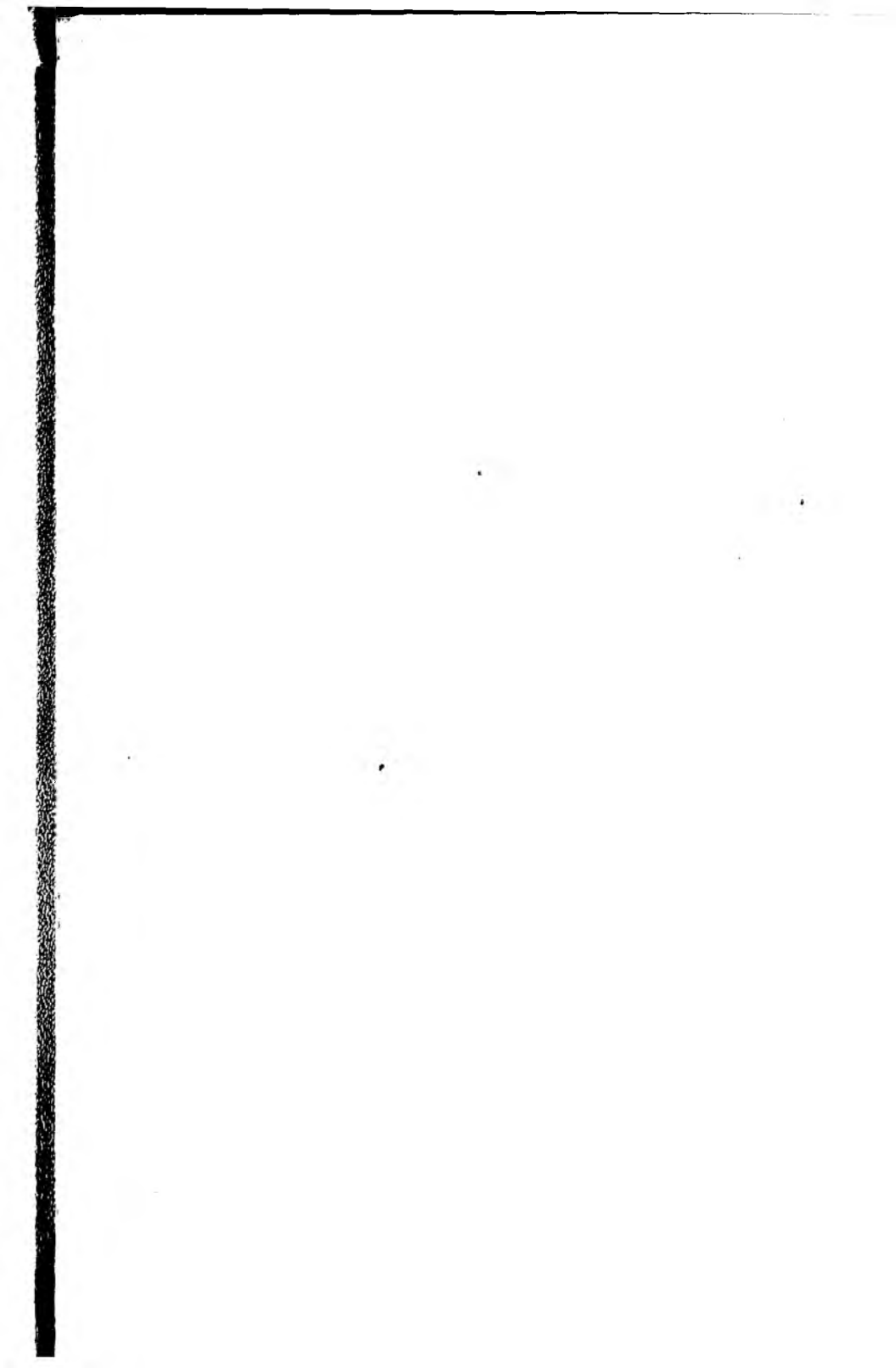




АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ

КАРЕЛЬСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

ЮЖНАЯ КАРЕЛИЯ



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
У. С. КОНКА
А. С. ТУПИЦЫНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД • 1967

Общая редакция

доктора филологических наук В. Я. ЕВСЕЕВА

Редакция текстов

кандидата филологических наук Г. Н. МАКАРОВА

и А. П. БАРАНЦЕВА

КАРЕЛЬСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

(южная Карелия)

Утверждено к печати

*Ученым советом Петрозаводского института языка, литературы
и истории Академии наук СССР*

Редактор издательства А. А. Воробьева. Художник В. В. Грибакин

Технический редактор М. Н. Кондратьева

Корректоры К. И. Видра, В. А. Пузиков и Г. И. Шер

Сдано в набор 9/XII 1966 г. Подписано к печати 25/III 1967 г. РИСО АН СССР № 83-140В.
Формат бумаги 60 × 90¹/₁₆. Бум. л. 16,25. Печ. л. 32¹/₂ = 32,5 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 38,50. Изд.
№ 3233. Тип. зак. № 1387. М-24651. Тираж 5000. Бумага типографская № 2
Цена 2 р. 51 к.

Ленинградское отд. издательства „Наука“. Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. издательства „Наука“. Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ПРЕДИСЛОВИЕ

Между сказками южных карел, включенными в данный сборник, и опубликованными Издательством Академии наук СССР в 1963 г. «Карельскими народными сказками», содержащими сказки северных карел, несмотря на целый ряд общих национальных особенностей, наблюдаются заметные различия как в разработке одних и тех же сюжетов, так и в стиле повествования, в общем колорите сказки.

Сборник «Карельские народные сказки», выпущенный Издательством Академии наук СССР в 1963 г., охватывает сказки северных карел, говорящих на собственно карельском диалекте. В настоящий сборник вошли сказки южных карел, говорящих на ливвиковском и людиковском диалектах.

Как и в предыдущем сборнике сказок, тексты печатаются с соблюдением основных положений финно-угорской транскрипции, значительно упрощенной. Необходимо отметить только, что двойное *i* (*ii*) обозначает не долгий гласный, а дифтонг; *w* после гласных обозначает полугласную: *lewgu* 'подбородок', *tuwli* 'ветер', *kawhu* 'ковш' и т. д.

Мягкость согласного обозначается знаком ' (например: *p'evvo*, *pal'la*), но перед нейтральным гласным *i* мягкость согласного не отмечается, так как в карельских говорах согласные в этом положении различаются лишь как мягкие и полумягкие, и никакой смысловой разницы в этих случаях нет. По той же причине мягкость согласных не обозначается и в словах переднего вокализма, но *d*, употребляемый в говорах на месте *j*, дается со знаком мягкости в любом положении.

При редактировании текстов имелось в виду максимально сохранить особенности говора той деревни, где произведена запись. В довоенные годы, когда еще не существовало совершенных аппаратов механической записи, тексты главным образом записывались от руки, в ряде случаев неопытными собирателями, которые по тем или иным причинам не сумели с достаточной точ-

ностью передать особенности того или иного говора. При редактировании фонетические явления были по возможности приведены в соответствие с тем говором, на котором говорит рассказчик. Особенности же лексики, фразеологии и синтаксиса, как правило, оставлены в неприкосновенности.

Для приведения текстов в соответствие с тем или иным говором редакторы в необходимых случаях проверяли эти тексты с жителями той деревни, где произведена запись. Кроме непосредственного опроса носителей диалекта, сверка текстов велась и по ответам на вопросы в диалектологической программе, составленной Д. В. Бубриком для собирания материала для атласа карельского языка. Программа эта в 30-е годы была заполнена в более чем 150 карельских деревнях и содержит ответы по самым различным вопросам фонетики и морфологии карельского языка.

Редакция текстов на людиковском диалекте произведена А. П. Баранцевым, текстов на ливвиковском — Г. Н. Макаровым.

При переводе карельских сказок на русский язык составители старались придерживаться максимальной близости к оригиналу и сохранить разговорные интонации сказки.

Специфические карельские выражения переводились идентичными выражениями, имеющимися в русских говорах Карелии (например: «порядничать», «поди знай», «заколина»). Предпочтение оказывалось русским диалектным словам, заимствованным из карельского языка, перед общепринятыми словами русского литературного языка (например: «вица», а не «прутик», «ламба», а не «лесное озеро», «корба», а не «ельник в низине»). Если в карельских текстах встречались слова, заимствованные из местных русских говоров, они сохранялись в переводе (например: «беседа», а не «посиделки», «чунки», а не «санки», «калитки», а не «ватрушки»).

Точно так же по мере возможности при переводе сохранялись особенности синтаксических конструкций карельской речи, которые во многих случаях весьма схожи с синтаксическими конструкциями русских говоров Карелии.

Следовательно, близость языка переводов к русским говорам не является результатом нарочитой стилизации, а отражает действительные явления взаимовлияний карельских и севернорусских говоров.

Переводы текстов сделаны составителями сборника У. С. Конкка и А. С. Тупицной.

Квадратные скобки в переводах текстов обозначают пропущенные в оригинале слова, а также необходимые дополнения и пояснения составителей. Курсивом в круглых скобках в оригиналах и переводах текстов выделяются ремарки сказочников; курсивом без скобок — русские сказочные выражения (это не относится

к русским заимствованиям, употребляемым в повседневной речи карел).

Сборник снабжен научным аппаратом, состоящим из примечаний, списка малоупотребительных слов и списка сокращенных обозначений.

В языковом отношении ¹ сказки настоящего сборника представляют два карельских диалекта: ливвиковский и людиковский. В дальнейшем предполагается еще публикация сказок на говорах собственно карельского диалекта верхневолжских (т. е. калининских, или тверских) и новгородских (или валдайских) карел.²

Ливвиковский диалект распространен на северо-восток от Ладожского озера почти до 63° северной широты. Этот диалект впитал в себя черты собственно карельского диалекта и ряд особенностей вепсского языка. Людиковский же диалект, занимая узкую полосу восточнее ливвиковского, представляет собой как бы промежуточное звено между ним и вепским языком.

Диалекты карельского языка различаются рядом фонетических, грамматических и лексических особенностей, которые иногда переходят междиалектные границы, образуя некоторое переплетение изоглосс. Внутри диалектов имеются свои особенности, которые делят их на ряд говоров.

1. Наиболее яркой фонетической особенностью северных говоров собственно карельского диалекта является отсутствие звонких согласных *g, b, d, z, ž* (на их месте здесь *k, p, t, s, š*): *reki* вместо *regi* 'сани', *apu* вместо *abu* 'помощь', *pata* вместо *pada* 'горшок', *vaša* вместо *važa, vaza* 'теленки'. Звонкие согласные выступают

¹ Стр. 5—7 об особенностях карельских диалектов написаны Г. Н. Макаровым.

² В Карельской АССР по данным Всесоюзной переписи населения 1926 г. карел проживало 100 781 человек, в том числе 11 754 чел. в Паданском и 13 331 в Ухтинском уездах, т. е. немногим более 25 тыс., или одной четверти, составляли собственно карелы, или беломорские карелы; три четверти карельского населения составляли ливвики и людики, проживавшие в южной Карелии. По переписи 1939 г. в Советском Союзе карел насчитывалось 252 599 чел. (БСЭ, изд. 2-е, т. 20, 1953, стр. 196). Наибольшее количество из них было зарегистрировано в Калининской области (более 150 тыс., почти 7% к общему количеству населения области). По переписи 1959 г. в СССР карелами записалось 167 тыс. человек, в том числе в Карельской АССР 85,5 тыс., в Калининской области 59,1 тыс. и в других областях РСФСР, главным образом в Новгородской, 22,4 тыс. Родным языком для себя карельский язык считают 71,3%, т. е. около 119 тыс. человек (см.: Численность, состав и размещение населения СССР, Краткие итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. М., 1961, стр. 26; см. также: Р. Ф. Тароева. Материальная культура карел (Карельская АССР). Этнографический очерк. Изд. «Наука», М.—Л., 1965, стр. 5).

в южных говорах собственно карельского диалекта и в ливвиковском и людиковском диалектах в целом.

2. Чередование согласных наиболее полно представлено в собственно карельском диалекте. В нем имеет место количественное и качественное чередование: $kk \sim k$, $pp \sim p$, $tt \sim t$, $\check{c}\check{c} \sim \check{c}$, $ld \sim ll$, $nd \sim nn$, $rd \sim rr$, $mb \sim mm$, $ht \sim h$, $hk \sim h$, $\check{s}t \sim \check{s}$ во всех положениях; в ливвиковском диалекте при количественном чередовании нет качественного чередования согласных далее второго слога слова в сочетаниях nd , rd , mb и нигде не чередуются сочетания ht , hk , st , $\check{s}t$. В людиковском же диалекте имеет место лишь количественное чередование $kk \sim k$, $pp \sim p$, $tt \sim t$. Сравни:

Собственно карельский ³	Ливвиковский	Людиковский	
$kka \sim akan$	$akku \sim akan$	$akk \sim akan$	'жена'
$\check{s}appi \sim \check{s}apin$	$sappi \sim sapin$	$sap \sim sapin$	'желчь'
$\check{s}oitto \sim \check{s}oitton$	$soitto \sim soiton$	$soitt \sim soiton$	'гармонь'
$halgo \sim hallon$	$halgo \sim hallon$	$halg \sim halgon$	'полено'
$puhaldua \sim puhallan$	$puhaldua \sim puhaldan$	$puhalta \sim puhaldan$	'дунуть'
$stuo \sim issuh$	$i\check{s}tuo \sim i\check{s}tun$	$i\check{s}tuda \sim i\check{s}tun$	'сидеть'
$matka \sim matan$	$matku \sim matkan$	$matk \sim matkan$	'путь'

3. Очень сложно, в зависимости от фонетического окружения, поставлено употребление свистящих z , s и шипящих $\check{z}$, $\check{s}$. Основные положения этого явления следующие: в части южных говоров собственно карельского диалекта и во всех говорах ливвиковского диалекта в положении после $-i$ всегда $\check{z}$ и $\check{s}$: $li\check{z}\check{a}$ 'добавка', $i\check{s}k\check{o}w$ 'ударит', $lai\check{s}ku$ или $la\check{s}ku$ 'ленивый'; в собственно карельском диалекте в этом положении выступают свистящие z , s соответственно: $\acute{e}i\check{z}\check{a}$, $i\check{s}k\check{o}w$, $lai\check{s}ka$; то же самое и в непервых слогах перед $-i$: $ve\check{z}i$ 'вода', $ka\check{z}i$ 'кошка', $uk\check{s}i$ 'один'.

В ливвиковских говорах, а также в говорах средней Карелии и весьегонском говоре Калининской области (собственно карельский диалект) в словах переднего вокализма в начале слова выступают свистящие ($\acute{s}ie\check{n}i$ 'гриб', $\acute{s}e\acute{e}gu$ 'спина'), в других говорах этого диалекта на их месте шипящие ($\acute{s}ie\check{n}i$, $\acute{s}e\acute{e}g\check{a}$).⁴

4. Во всех собственно карельских говорах сохраняются первичные $-a$, $-\check{a}$ в конце слова; в ливвиковском же диалекте во всех многосложных словах с двухсложной основой на $-a$, $-a$ с предшествующим закрытым слогом и слогом, оканчивающимся на дифтонг ($ad\check{r}a$ 'соха', $i\check{z}\check{a}nd\check{a}$ 'хозяин', $ko\check{i}ra$ 'собака'), в конце слова появляются $-u$ или $-y$. Подобная же закономерность имеет место и

³ Примеры взяты из калининских говоров.

⁴ Д. В. Бубрих. Свистящие и шипящие согласные в карельских диалектах. Ученые записки ЛГУ, серия востоковедческих наук, вып. 2, Советское финно-угроведение, I, Л., 1948, стр. 47—80.

в падежном показателе эссива.⁵ В большинстве людиковских говоров, а также в кондушском (около Лодейного Поля) говоре ливвиковского диалекта эти гласные или отпадают, или переходят в -е или -о, -ö:

Собственно карельский	Ливвиковский	Лудиковский	Кондушский	
huaba	huabu	huabe	huabo	'осина'
vihaža	vihažu	vihaž	vihaže	'злой'
izāñdā	izāñdy	izāñd	izāñdö	'хозяин'
šuwfi	suwri	suuf	suwre	'большой'

5. Своеобразно в разных диалектах представлены и возвратные формы глаголов. Сравни спряжение глагола «умываться»:

	Собственно карельский		Ливвиковский и лудиковский (совпадают)	
	Ед. ч.	Мн. ч.	Ед. ч.	Мн. ч.
1-е л.	peziečēn	peziečēmmä	pezemös	pezemökses
2-е л.	peziečet	peziečet't'ä	pezetös	pezetökseh
3-е л.	peziečöw	peziečet'äh	pezeheze	pestäheze

6. В собственно карельском диалекте имеется три внутренние местоимения: инессив, элатив и иллатив и два внешние местоимения: аблатив и адессив (аблатив совпал с адессивом). В ливвиковском и лудиковском диалектах нет элатива (он совпал с инессивом) и нет аблатива (он совпал с адессивом):

	Собственно карельский	Ливвиковский	Лудиковский	
Инессив	pellosša	pellos	peldos	'в поле'
Элатив	pelloshta	(pellos päi)	(peldos piäi)	'из поля'
Иллатив	peldoh	peldoh	peldoh	'в поле'
Адессив	pellolla	pellol	peldol	'на поле'
Аблатив	pellolda	(pellol päi)	(peldol piäi)	'с поля'
Аллатив	(pellolla)	pellole	peldole	'на поле'

7. Имеется также ряд отличий в формах личных местоимений, в падежных окончаниях, в суффиксах условного и повелительного наклонений, в формах послелогов и в лексике. Приведем ниже лишь ряд междиалектных лексических отличий:

⁵ Н. А. Анисимов. Конечные гласные и согласные в формах номинатива единственного числа в карельском говоре села Коткозеро. Советское финно-угроведение, V, Петрозаводск, 1949, стр. 99—122.

Собственно карельский	Ливвиковский	Людиковский	
hypätä	juosta	d'uoste	'бежать'
ägie	räkki	räkk	'жарко'
kirppu	čond'žoi	sonzar	'блоха'
lykätä	ähkätä	lykäitä	'толкать'
malttua	ellendiä	el'getä	'понимать'
šuwvella	virtyttiä	prizorzuttada	'сглазить'
ložie	sangel	däred	'толстый'
važen	hurai	hurad	'левый'
valehella	kielastua	muanittada	'лгать'
pendu	kud'žu	poig	'щенок'
šländigö	suwttuo	verduda	'рассердиться'

В ливвиковском диалекте, тексты которого представлены в настоящем сборнике сказок, имеется до семи говоров, отличающихся главным образом рядом фонетических, в некоторых случаях и лексических, особенностей. Так, например, можно говорить о видлицком говоре, где сохранились долгие гласные (таа 'земля', räa 'голова'), о тулмозерском говоре, где на месте долгого а произносится о долгое (тоо) или е долгое (рее, с тем же значением), в других говорах на месте этих долгих гласных употребляются дифтонги: моа, туа, mja.

В сравнительном плане говоры ливвиковского и людиковского диалектов пока еще не исследовались. Богатый материал для таких наблюдений могут представлять публикуемые ниже тексты.

Работа над обоими сборниками карельских сказок в значительной мере была облегчена тем, что еще перед войной фольклористкой К. Ф. Беловой была начата каталогизация сказок в архиве по указателю сказочных сюжетов Аарне-Андреева, которую затем продолжили и закончили сотрудники архива Карельского филиала АН СССР П. Я. Куйкка и Л. Э. Александрова.

Необходимо заметить, что еще до Великой Отечественной войны К. Ф. Белова начала работать над составлением научного издания карельских сказок. Ее работой руководил известный советский фольклорист Н. П. Андреев, активно участвовавший в изучении русского фольклора Карелии.

За то, что карельские сказки теперь войдут в научный обиход, мы должны благодарить профессора В. Я. Проппа, который еще в 1947 г. высказал мысль о необходимости изучения карельских сказок. Эту идею также всегда поддерживал известный карельский фольклорист, доктор филологических наук В. Я. Евсеев.

В подготовке к печати этого и предыдущего сборника карельских сказок нам всегда с готовностью помогали работники Архива Петрозаводского института языка, литературы и истории АН СССР Л. М. Верюжская и Л. Э. Александрова. Сотрудники института В. Д. Рягоев, Т. И. Вяйзинен, А. А. Митрофанова, Т. Падарина и А. П. Сазонова любезно просмотрели часть карельских текстов с точки зрения диалектных особенностей. При перепечатке и сверке текстов нам помогали Э. М. Гран, Х. П. Кабанова, Л. И. Каява и Г. В. Саяпина.

Своими ценными советами помогли нам фольклористы И. П. Лупанова и Э. В. Померанцева, взявшие на себя труд ознакомиться с обоими сборниками сказок еще в рукописи.

Всем названным товарищам, как и другим сотрудникам Петрозаводского института языка, литературы и истории, не отказывавшим нам в своих советах, мы приносим искреннюю благодарность за помощь.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РЕПЕРТУАРА СКАЗОК ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ

Карелы-людики и карелы-ливвики составляют коренное население большей части южной Карелии. Карелы, говорящие на людиковском диалекте (lyydikot), занимают узкую полосу, которая тянется с севера на юг от дер. Шайдома на севере Кондопожского района через Спасскую Губу, Пряжу до самой южной точки республики — Лояницкого куста деревень (Михайловского сельсовета) Олонецкого района (Kuud'ärvä). На запад от карел-людиков живут карелы, говорящие на ливвиковском диалекте (livvikot). Севернее карел-ливвиков и карел-людиков живут карелы, говорящие на собственно карельском диалекте (karjalaiset), а восточнее и отчасти южнее — вепсы.

Существование трех основных карельских диалектов обусловлено этногенезом карельской народности.¹ Поэтому в целом ряде случаев границы диалектов совпадают с границами локальных этнографических явлений и различий фольклорных. Интересные факты, свидетельствующие об этнографических различиях между собственно карелами, ливвиками и людиками, приводит Р. Ф. Тароева в своей книге «Материальная культура карел».²

Анализируя этнографический материал, Р. Ф. Тароева делит территорию Карелии, населенную карелами, на две основные зоны: севернокарельскую и южнокарельскую, не всегда выделяя карел-ливвиков и карел-людиков, между которыми различия подчас не столь существенны. К подобному же выводу пришли и мы, изучая карельские сказки. Поэтому вполне естественно публиковать сказки карел-ливвиков и карел-людиков в одном сборнике.

¹ См.: Д. В. Бубрих. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947.

² Р. Ф. Тароева. Материальная культура карел (Карельская АССР). Этнографический очерк. Издательство «Наука», М.—Л., 1965.

И в отношении других жанров фольклора мы наблюдаем определенные различия между северными и южными карелами. Например, так называемый калевальский стих со всеми его поэтическими особенностями (особая ритмика, параллелизм, аллитерация) культивировался в основном карелами, говорящими на собственно карельском диалекте, хотя эпические песни калевальского цикла бытуют и в южной Карелии.

Лирические «короткие песни» (*lyhyt raju*) — четверостишия и двестишия, близкие к русской частушке, широко бытуют у южных карел, как у ливвиков, так и людиков, в то время как у собственно карел не обнаружено произведений этого жанра (исключения составляют «пограничные» селения, в которых обычно переплетаются явления, характерные для носителей обоих диалектов). В северных районах Карелии до недавнего времени сочиняли юмористические и сатирические песенки повествовательного характера о каком-нибудь примечательном деревенском событии, преимущественно курьезного характера. Определенные различия обнаруживаются также в поэтике свадебных и похоронных причитаний.

Явления общности и различий в духовной и материальной культуре прошлого у карел вызваны причинами различного порядка, которые нельзя смешивать и выяснение которых в каждом отдельном случае требует тщательного изучения. Это, с одной стороны, причины этнические, иногда уходящие в глубокую древность финно-угорской общности, с другой стороны — причины социально-экономические и историко-культурные, проявившиеся главным образом в заимствовании у соседних народов тех или иных реалий быта и фольклора в результате длительных и тесных экономических связей.

В научной литературе о карелах не раз уже отмечались факты сильного русского влияния на южных карел, особенно карел-людиков, и значительного финского влияния на экономическую жизнь и культуру северо-западной Карелии. Однако эти и другие развединающие факторы не могли помешать консолидации отдельных групп карел. Не будем здесь касаться фактов из других областей, обратимся только к сказкам. У карел, живущих в Карельской республике, мы находим определенный круг сказочных сюжетов, характеризующих специфику карельского сказочного репертуара. Эти сюжеты распространены по всей Карелии. Подготавливая к публикации данный сборник карельских сказок, мы еще раз убедились, что наиболее типичными для карел (как северных, так и южных) являются сказки о невинно гонимых девушках и женщинах — это сюжеты «Подмененная невеста» (А.—А. 403), «Золушка» (510А и 512), «Синепалайя» (510В), «Безручка» (706), «Чудесные дети» (707), «Девять братьев и сестра» (451). Эти сюжеты имеют наибольшее количество вариантов записей, своеобразно, «по-карельски», разработаны и ху-

дожественно отшлифованы.³ Общими для всей Карелии являются и специфические сказки об Ольховой Чурке и сыне-медведе (сюжет «Чудесная сила», по указателю А.—А. 650, в соединении с сюжетом «Три царства» — 301А).⁴ Общие, с характерной только для карел разработкой, сюжеты имеются и в области бытовых сказок, хотя здесь расхождения между южнокарельскими и севернокарельскими сказками более значительны. Эта общность сказкотворчества есть несомненно результат не только этнической, но и исторической и географической общности карел, живущих в Карелии. В связи с этим интересно отметить, что у части карел, говорящих на собственно карельском диалекте, но несколько веков тому назад оторванных от своей этнической колыбели — речь идет о тверских и новгородских карелах, — сказкотворчество развивалось иными путями. Новые экономические и социальные условия вызвали коренные изменения в сказочном репертуаре этих карел и обусловили иной колорит сказок, отличающийся от колорита сказок Карелии.

Расхождения между севернокарельскими и южнокарельскими вариантами тех общих сюжетов, которые составляют основное ядро карельского репертуара, незначительны. Если и появляются различные местные версии этих сюжетов (не без влияния русских или финских сказок), то их объединяют детали, свойственные только карельским сказкам. Для примера можно сравнить севернокарельские версии сюжетов «Подмененная невеста», «Золушка», «Синепалая» с соответствующими южнокарельскими версиями (ср. КНС 19, 28, 31 и тексты 15, 19, 20 в настоящем сборнике).

На сказочное творчество южных карел в более значительной степени, чем северных, повлияла русская сказка. Заимствование становится особо интенсивным после отмены крепостного права, когда вся крестьянская Россия в десятилетия бурного развития капитализма всколыхнулась и пришла в движение. Отхожие промыслы, работа в артелях — приезжих русских крестьян в Карелии, карельских крестьян в русских губерниях — все это способствовало обмену духовными ценностями. В те времена еще эстетические запросы крестьянских масс почти исключительно удовлетворялись устно-поэтическим творчеством. Годы революции и гражданской войны еще более усилили этот процесс заимствования. Определенную роль сыграли и доступные народу сборники русских сказок. Так, например, от людиков из района Мунозера записано несколько вариантов «Сказки о золотой рыбке» и «Сказки о царе Салтане» пушкинской редакции. Нельзя забывать и того обстоятельства, что в ряде районов — нынешнем Медвежье-

³ Об этих сюжетах и о специфике карельской сказки в целом см. статью «О собирании и некоторых особенностях карельских сказок» в сборнике: Карельские народные сказки. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 6—51.

⁴ Более подробно об этих сказках у карел см.: У. С. Коикка. Карельская сатирическая сказка. Изд. «Наука», 1965, стр. 54—74.

горском, Кондопожском, в Карельском Беломорье карелы и русские уже в течение нескольких веков живут в непосредственном соседстве. В некоторых местах, как например вблизи г. Кондопоги, это привело к значительному обрусению карельского репертуара. По самым свежим записям, сделанным в 1964 г. в деревнях Сележского сельсовета Кондопожского района, видно, что здесь бытуют русские сказки, не известные в остальных карельских районах; сказочницы то и дело переходят на русский язык, т. е. русская традиция здесь сказывается не только в подборе сюжетов, но и в языке. Хорошо владея русским языком, жители этих мест уже не утруждали себя переводом сказки с русского на карельский язык.

Займствование огромного количества русского сказочного материала на протяжении довольно короткого времени (для крестьянских устно-поэтических произведений столетие — весьма ограниченное время) привело в некотором отношении к смешению сюжетов, нарушало их стабилизацию. Все то, что приходило извне, не успевало как следует осмысливаться и перерабатываться художественно. Прежде всего это относится к сложным по композиции русским героическим сказкам. В силу сходства отдельных заимствованных сюжетов мотивы и персонажи их путались и далеко не всегда находили удачное место в композиции. Ведь как усваивалась «чужая» сказка? Она могла быть услышана где-нибудь на ярмарке, во время ночлега в извозе или же в чужом краю во время службы в солдатах, на отхожем промысле. Сказка рассказывалась хоть и на понятном, но на чужом для воспринимającego языке. Для того чтобы хорошо усвоить такую сказку и перевести ее на родной язык, потребовалось бы по меньшей мере многократное ее повторение. Но услышать одну и ту же иноязычную сказку да еще от одного и того же рассказчика по несколько раз удавалось, конечно, только в исключительных случаях. Несмотря на то что хорошие сказочники обладают поразительной памятью на сказки, естественны были пропуски, искажения, перестановки. Во многом судьба заимствованной сказки зависела от индивидуального таланта того, кто был первым передатчиком иноязычной сказки в свою языковую среду. Для того чтобы приспособить заимствованный сюжет к своим национальным условиям, вкусам и традиционным образам, т. е. осмыслить его, художественно переработать, потребовалось бы известное время и усилия не одного талантливого сказочника. Однако последний период интенсивного заимствования русских сказок карелами совпал с началом угасания сказкотворчества, по крайней мере в области волшебной сказки. Этим объясняется тот факт, что заимствованные в конце XIX и в начале XX столетия волшебные сказки в художественном отношении слабее своих первоначальных образцов. В связи с этим можно назвать целый ряд сюжетов: «Победитель змея» (А.—А. 300), «Кошей бессмертный» (302), «Два брата» (303),

«Сивко-Бурко» (530А и 530В), «Молодильные яблоки» (551), «Иван Царевич и серый волк» (550), «Вещий сон» (725) и др.

В отношении многих сюжетов в результате сравнительного анализа можно определенно сказать, что они заимствованы карелами у соседних народов и заимствованы недавно. Гораздо сложнее обстоит дело с теми сюжетами, которые, как говорилось выше, представляют собою специфически карельское в области сказки. У нас нет данных для того, чтобы утверждать, что карельские сказки «Золушка», «Подмененная невеста», различные версии сюжета «Чудесный супруг» (типа «Амур и Психея»), «Синепалаа», «Девять золотых сыновей» и другие заимствованы у того или иного народа. Все эти сюжеты интернациональны, и если они в конечном счете и заимствованы, то сравнительно давно. Первые карельские записи, сделанные в XIX в., свидетельствуют о том, что эти сюжеты уже тогда были стабильны, обладали характерными национальными чертами и после этого существенно не изменились.

Позднее заимствование волшебных сказок протекало без строгого отбора, так как волшебная сказка в силу своей особой фантастики слабо связана с конкретными социальными, историческими и национальными условиями жизни. В области бытовых сказок заимствование носило более избирательный характер. Известно, что у карел, проживающих в Карелии, не обнаружено русских по происхождению сказок о барах (редчайшие исключения лишь подтверждают это правило). Зато многие сюжеты, высмеивающие духовенство, носят следы явного заимствования у русских. Но в отличие от многих заимствованных волшебных сказок бытовые сказки, хоть и заимствованные, крепко вросли в карельскую почву, превратившись в новые живые организмы. Ведь действие бытовых сказок происходит не в тридевятом царстве; это действие легко приспособить к условиям своей деревенской жизни; образы бытовых сказок — поп, купец, бедный мужик, ловкий работник и др. — собирательные типы, на каждом шагу встречавшиеся в реальной действительности. Благодаря этому существенному отличию бытовой сказки от волшебной, заимствованные сюжеты бытовых сказок подвергались интенсивной творческой переработке. Сама реальная жизнь подсказывала новые детали, новые сюжетные ходы и т. д. Поэтому в области бытовой сказки сюжеты особенно сильно варьируют. Возникают местные версии сюжетов, появляются оригинальные варианты — плод индивидуального творчества какого-нибудь выдающегося сказочника, но заметим, что новые сюжеты даже в самый бурный период творчества в области карельской бытовой сказки (конец XIX и начало XX в.) возникают редко.

Кстати сказать, в нашем сказковедении до сих пор нет ясности в понятиях «сюжет» и «сюжетная схема». Некоторые исследователи отвергают «сюжетную схему», считая, что каждый отличаю-

щийся от традиционного сюжета вариант есть уже новый сюжет. Указатель Аарне классифицирует сказки по типам сюжетов, которые принято называть сюжетными схемами. Указатель не раз подвергался обоснованной критике, но не странно ли, что до сих пор никому не удалось предложить ничего более рационального взамен классификации Аарне.⁵

Можно отказаться от не совсем удачного термина «сюжетная схема», но само понятие общей архитектоники того или иного сюжета, так сказать каркаса сюжета, в самой природе народного сказкотворчества все же существует. Народ не сочиняет сказок, как это делает писатель-сказочник. Достаточно сравнить хотя бы сказки Андерсена (те, которые являются не переработкой народных сказок, а плодом его индивидуального творчества) со сказками любого народа. Народный сказочник обычно творит по какому-нибудь знакомому образцу, который и служит для него своего рода схемой; он может вносить более убедительные мотивировки действия, оригинальные детали, придумывать неожиданные сюжетные ходы (но известные по другим сказкам), однако при этом он не отрывается от заданного сюжета. Он может заострить идею сказки, даже переосмыслить ее, но будет считаться с традицией образов, основного конфликта и с ведущей линией уже известной ему сказки. Так возникают очень разные сказки, в которых все же просматривается один общий образец сюжета.

Возьмем для примера северокарельские и южнокарельские сказки на сюжет «Шут» (признанный «шут» или просто крестьянин обманывает попа или кого-нибудь другого из «господ» — продает шляпу «все заплачено», лошадь, приносящую деньги, плетку, оживляющую мертвых, и т. п.; одевается девушкой, бежит с брачного ложа; противник хочет его утопить — герой обманом добивается того, что тот сам бросается в воду). В общем виде эта «схема» повторяется во всех вариантах, хотя и со значительными «разночтениями». Северокарельские варианты сюжета (КНС 67, 68) отличаются не только по мотивировкам и деталям, но и по национальному характеру положительного героя. Кумоха и ленивый Матти запоминаются уже как личности, не говоря об оригинальной разработке сюжета в этих сказках. Южнокарельские сказки на этот же сюжет также разнообразны и значительно от-

⁵ Новый принцип классификации волшебных сказок предложила Е. А. Тудоровская (см. ее статью «О классификации волшебных сказок». «Советская этнография», 1965, № 2, стр. 57—66). Эта классификация рассчитана для исторического изучения волшебных сказок. Но, кроме подобных классификаций по жанровым разновидностям сказки, необходима общая, универсальная классификация, которая могла бы удовлетворить и требованиям исследования, и систематизации сказок при хранении в архивах и публикации их. Сочетать это очень трудно, но необходимо при определенных аспектах изучения сказки, например при исследовании проблемы заимствования.

личаются от северокарельских. Образец их — «Шут Гриша» — представлен в настоящем сборнике (текст 74).

Столь же разнообразны сказки на сюжеты о ловком воре. Северокарельская сказка о воре Клиймо (КНС 65) отличается от сказок на этот же сюжет, бытующих на юге Карелии, по завязке, бытовым деталям, по мотивировке действий героя. В сборнике представлены две южнокарельские сказки, в которых сюжет о ловком воре подвергся коренной переработке, — это сказки «Мокки» и «Бедный и богатый» (тексты 71, 72). В обеих сказках герой — не вор, а бедный мужик, в силу обстоятельств вынужденный совершать «кражи», подобно ловкому вору. Но, несмотря на социальное переосмысление сказки, узловые эпизоды традиционного сюжета сохранились: поп принуждает Мокки, своего работника, украсть у него собаку, самовар в присутствии попа и попадьи, поповские деньги (если Мокки не сумеет украсть — а на это поп и рассчитывает, — то не получит годичного заработка). В другой сказке («Бедный и богатый») бедняк вынужден задаром отдать богачу своего быка; по совету малолетнего сына бедняк по дороге, когда богач ведет быка к себе домой, крадет этого самого быка (бросает на дороге сапог, потом другой, как в сюжете А.—А. 1525D о ловком воре). Здесь, как видим, использованы сюжетообразующие элементы известных уже сказок, но цель этих повествований — рассказать не о проделках ловких воров, а раскрыть противоречия между враждебными социальными группами в деревне.

Подобные примеры свидетельствуют об известных творческих усилиях по созданию новых сюжетов. Первоначальные образцы, очевидно, были «захожими» сюжетами, об этом говорят варианты, очень близкие к соответствующим русским сказкам. В некоторых случаях мы можем точно сказать, что сатирическая сказка заимствована у русских. Например все карельские варианты сказки «Гость Терентий» при текстуальном сравнении с русскими вариантами обнаруживают очень близкое сходство, песенка нищего «Посмотри солома, что дается дома» переведена по-карельски почти слово в слово, а в некоторых вариантах передается порусски. Публикуемая здесь версия сюжета «Укрощение строптивой», являясь переплетением двух разновидностей этого сюжета, встречается также в разных областях России.

Но в ряде случаев мы находим русские сказки, близкие к карельским версиям сюжетов, лишь у русских, проживающих на территории Карелии.⁶ Если у карел какая-либо версия широко рас-

⁶ Русские сказки Карелии (старые записи). Подготовка текстов и комментариев М. К. Азадовского, Петрозаводск, 1947; И. В. Карнаухова. Сказки и предания Северного края. Л., 1934; Сказки М. М. Коргуева, I—II. Записи, вступительная статья и комментарии А. Н. Нечаева, Петрозаводск, 1939; Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова. Издание подготовил В. Я. Пропп, Изд. АН СССР, М.—Л., 1961; Северные сказки. Архангельская

пространена и национально своеобразна, а у русских подобная встречается лишь в Карелии в единичных записях и к тому же обнаруживает какие-то «слабые места» в логике развертывания сюжета, мы имеем основание говорить о влиянии карельской традиции на севернорусскую сказку.⁷ Но такие факты встречаются гораздо реже, чем факты обратного порядка.

Встречаются и самостоятельные сюжеты, которые по имеющимся публикациям у русских редки и бытуют лишь в Карелии или ближайших областях, а у карел довольно распространены. Так, например, сказка «Попадья по-немецки заговорила» (А.—А. *1730 IV) представлена двумя записями в сборниках Н. Е. Ончукова и И. В. Карнауховой (записи сделаны в Нёноксе, на Летнем берегу Белого моря, и в Заонежье), в то время как у карел этот сюжет более развернут и насчитывает 5 записей. Сказка «Хитрая девушка» (по указателю А.—А. *875, II), представленная у русских одним текстом из Повенецкого уезда Архангельской губернии (Онч. 145), встречается у карел разных районов и насчитывает 8 записей (самое большое количество вариантов сюжета у шведов и датчан — по 12, см.: Томпсон, № 883В). То же можно сказать о сказке «Как мужик у попадьи серьги доставал», (А.—А. 1726 ** — у карел 7 вариантов). При этом нужно учесть, что названные выше сюжеты введены Н. П. Андреевым в указатель А. Аарне на основе этих единичных русских записей (правда, сюжет «Как мужик у попадьи серьги доставал» был введен самим А. Аарне дополнительно, с ссылкой на 3 финских варианта. В указателе Томпсона нет сведений о бытовании этого сюжета у других народов).

Было бы очень заманчиво в таких случаях заключить, что русские заимствовали эти сказки у карел. Но доказательств для этого у нас явно недостаточно — ведь мы располагаем лишь единичными русскими записями. Может быть, сказки эти у русских более распространены, просто они не попали в сборники? Севернорусская сказка еще слабо изучена, и в ней могут обнаружиться совершенно неожиданные явления.

В конце концов, не так уж и важно в каждом отдельном случае установить, кто у кого заимствовал. Карла Крона и его последователей особо занимал вопрос о направлении и путях культурных влияний. Уже в самой постановке вопроса чувствуется какая-то тенденциозность, признание неполноценности, меньшей

и Олонецкая губ. Сборник Н. Е. Ончукова, СПб., 1908; Перстенок — двенадцать ставешков. Избранные русские сказки Карелии. Составление, вступ. статья и комм. К. Чистова, Петрозаводск, 1958.

⁷ См., например, примечания к текстам 28, 31 КНС. Целый ряд сближений с карельскими сказками мы обнаружили в сказках из сборника «Народные сказки Терского берега Белого моря», с которым познакомились в рукописи (рукопись находится в Петрозаводском институте языка, литературы и истории АН СССР).

способности к самостоятельному творчеству у слабо развитых или отстававших в своем развитии народов.

Гораздо важнее вывод, к которому подводит нас сравнительное изучение сказок разных народов: все народы Земли — братья, и даже в давние времена ни один народ не творил изолированно; существовало единство, которое было сильнее всяких распрей и вражды.

В зыбком море народной сказки нелегко ориентироваться. Сказки разных народов схожи, и в то же время каждая из них неповторима. Это вызывается тем, что в рамках одного и того же сюжета сталкиваются традиции и индивидуальное творчество, национальная традиция вступает во взаимодействие с традицией соседнего народа и, наконец, изменение социального «климата» подвергает сюжет подчас коренной трансформации.

В двух сборниках карельских народных сказок мы по мере сил попытались отразить и традиционность, и наиболее характерные изменения сказки, происходящие по причинам, о которых говорилось выше. Те сюжеты, которые довольно стабильны по всей Карелии, представлены только одним образом с учетом художественного достоинства варианта и того обстоятельства, в каком районе Карелии этот сюжет чаще встречается. Так, например, сказка «Ольховая Чурка» (А.—А. 650+301А), бытующая как на севере, так и на юге Карелии, опубликована в первом сборнике, потому что вариант М. И. Михеевой, замечательной ухтинской сказительницы, наиболее колоритен.

В тех случаях, когда сюжет имеет несколько версий, мы отчасти показали эти разновидности уже в первом сборнике (например, сюжет А.—А. 510В). Бытующие только на юге версии общекарельских сюжетов представлены в настоящем сборнике: например встречающаяся у карел-людиков пушкинская версия сюжета «Чудесные дети», местные версии «Золушки», «Подмененной невесты» и др. Здесь же мы находим сказки, бытующие только в южной Карелии: сказка о Доле, о Петре Первом (кроме сюжета «Царь и солдат», который бытует и на севере), сказки о смерти, анекдоты о киндасовских мужиках и некоторые редкие сюжеты.

Севернокарельская сказка по сравнению с южнокарельской более традиционна как в отношении сюжетов, так и поэтики сказок. На севере особое внимание уделялось художественной отделке сказок. В северных сказках чувствуется родство с песенной эпической поэзией — ее строгая ясность и светлое мироощущение. Недаром крупнейшие сказочницы северной Карелии М. А. Ремшу, М. М. Хотеева и М. И. Михеева — одновременно выдающиеся знатоки эпической поэзии.

Сказки севера переносят нас в обстановку стародавней жизни среди непроходимых лесов. Южнокарельская сказка передает более ускоренный темп жизни, в ней чувствуется близость городов, слышатся отзвуки острых социальных противоречий деревни, отрази-

лись чувства, порожденные этими противоречиями: горечь, отчаяние, ненависть. Историческая эпоха ломки патриархальных устоев деревни ощущается в южнокарельских сказках явственнее, чем в севернокарельских.

Сказочный репертуар южной Карелии шире репертуара северных районов. С одной стороны, особенно на юге появляется много заимствованных русских сказок. С другой стороны, сама жизнь с ее напряженными и болезненными противоречиями требовала осмысления новых явлений, отражения которых было бы тщетно искать в традиционных сюжетах. Но старые сюжеты не отбрасывались как ненужный хлам — сказочники исподволь приспособляли их к новым требованиям. В старые сюжеты, как в старый сосуд, капля по капле вливалось новое содержание. Так, например, в результате трансформации «захожего» русского сюжета «Две доли» возникли южнокарельские версии этого сюжета — «Сказка о Доле» и «Чудесная птица» (см. тексты 43, 44 в настоящем сборнике). Повседневный деревенский быт давал обильный материал для многочисленных вариаций на темы «Поп и работник», «Бедный и богатый», «Хитрый шутник».

Очевидно, что переработка старых сюжетов и создание новых сказочных повествований в последний период творческой жизни сказки коснулись главным образом бытовых сказок. Новых сюжетов волшебных сказок, а тем более сказок о животных, которые на юге Карелии довольно малочисленны, собирателями не обнаружено. Все новообразования относятся к бытовым сказкам и анекдотам. Характерно, что вариантов этих новых сказок немного. нередко они представлены одной-единственной записью. Мы не имеем доказательств того, что новый сюжет, имеющийся в одной записи, есть плод творчества того лица, от которого записана сказка. В некоторых случаях новые сказки записаны от известных мастеров, и можно лишь предполагать, что именно этот знаток сказки сочинил данную сказку. Например в сборнике публикуется остроумная сатирическая сказка «Бедный и богатый брат» (84), записанная от В. А. Соболева, выдающегося сказочника, стремившегося к сатирической интерпретации традиционных сюжетов. К сожалению, точно установить, является ли В. А. Соболев автором сказки «Бедный и богатый брат», мы уже не сможем, потому что сказочника давно нет в живых, а новых вариантов этой сказки не удалось записать. Проблема единства коллективного и индивидуального начала в сказкотворчестве не может быть разрешена без длительного наблюдения над творческим процессом конкретных живых сказочников. Можно лишь умозрительно делать выводы о том, что всплывшее вдруг новое сказочное повествование, тем более при отсутствии вариантов, целиком сочинено одним лицом, а не родилось в результате постепенной трансформации, но конкретными фактами мы располагаем в крайне редких случаях.

В южной Карелии в первые десятилетия Советской власти наметилось новое направление в области прозаического повествования. Речь идет о бытовом рассказе с использованием художественных приемов сказки. В сборнике представлен один текст, который характеризует этот новый процесс. Это рассказ-сказка «Бедный мужик» (текст 85), записанный от П. Р. Чаккиева из дер. Вешкелица нынешнего Пряжинского района. Такого рода повествования о дореволюционной крестьянской жизни мы встречаем и у других карельских сказочников 30-х годов. Побудительным толчком к созданию подобных рассказов могла служить местная литература и периодическая пресса 20—30-х годов, которая уделяла много внимания изображению дореволюционной жизни крестьянства. В рассказах П. Р. Чаккиева, А. К. Исакова, Н. П. Уткина и других южнокарельских сказочников имеются попытки осмыслить прошлую жизнь деревенского бедняка, показать классовые противоречия и вражду в деревне уже с позиций новых социальных отношений, которые в те годы складывались в карельской деревне.

Повествования П. Р. Чаккиева не обнаруживают особой талантливости их сочинителя, но для своего времени они симптоматичны и обойти молчанием их нельзя. Появление такого рода рассказов о дореволюционном положении бедного крестьянства свидетельствует о том, что рамки сказочного жанра в определенную историческую эпоху стали узки и даже сатирическая сказка не могла уже передать нового взгляда на прошлое, сложившегося у крестьянина за годы существования Советской власти. Большинство рассказов Чаккиева представляет собой переплетение бытового рассказа со сказочными элементами. Жгучий интерес рассказчика к социальным явлениям прошлого объясняется тем, что вся его жизнь прошла в нищете и неравной борьбе с несправедливостью. Рассказы-сказки Чаккиева лишены юмора, они проникнуты чувством горечи и безысходности, несмотря на то что в конце концов, как и в сказке, страдания бедного мужика будут отомщены и судьба вознаградит его за унижения. Герой рассказов Чаккиева — отчаявшийся крестьянин, который не находит в себе силы даже посмеяться над попом или купцом. На помощь ему приходит счастливый случай или какая-нибудь волшебная сила, как в публикуемом здесь тексте «Бедный мужик» (текст 85), благодаря чему бедняк выходит из безнадежного положения. Мотивы социальной мести за несправедливость — главное в сказках-рассказах П. Р. Чаккиева, а не осмеяние классового противника, как в сатирических сказках.

Рассказы-сказки других сказочников исполнены в иной тональности, герой их сродни положительному герою сатирической сказки: он морально сильнее своих противников и из любого трудного положения выходит своими силами.

В сказочном репертуаре южной Карелии обращают на себя внимание факты сближения сказки и былички. В этом отношении примечательны сказки А. Е. Богдановой. В публикуемой здесь ее сказке «Золотой король» (текст 14) четко проявилась эта тенденция. Попытка объяснить сказочные чудеса и превращения в духе былички (человек попадает к «нечистым» — водяным, лешим и пр., претерпевает какие-то превращения, но в конце концов его случайно спасает кто-нибудь из людей) наблюдается, в частности, и в русском сказочном эпосе. Обратное явление — преобразование былички в сказку — мы видим в публикуемом здесь тексте «Иван Лесничий» (текст 45).

В 30-е годы, к которым относятся наиболее ранние записи, публикуемые в настоящем сборнике, еще довольно распространены были «монументальные» формы волшебной сказки. Образы этих сказок проникнуты эпической мощью. Наиболее яркие из них — Иван Медведин (текст 29), героиня сказки «Жена-богатырша» (текст 30), главные герои сказок «Сын вдовы» и «Сын-медведь» (тексты 22, 16). Они отличаются добротой и благородством: так, например, Иван Медведин прощает своих товарищей, изменивших ему, а героиня сказки «Жена-богатырша» наказывает разбойников за зло, которое они причинили людям. Необычайная физическая сила этих героев сочетается с их высокими нравственными идеалами.

Одним из хранителей старой традиционной сказки был замечательный ведлозерский сказочник С. И. Иванов (см. тексты 19, 22, 26, 29, 83). Рассказ у него льется плавно и внешне спокойно, хотя сам рассказчик далеко не безразличен к героям и их действиям. Его индивидуальные эмоции прорываются в виде ремарок. Он любит сказку и ее героев, стараясь показать их по возможности глубже (в пределах изобразительных средств сказки). С. И. Иванов строго соблюдает сказочную обрядность, а обстоятельность, подробность описаний — это уже его индивидуальная особенность. Сказки Иванова — не копии услышанных когда-то сказок, а при всей их традиционности самостоятельные создания.

С точки зрения проблемы живого бытования сказки большой интерес представляют концовки сказок И. С. Иванова. При помощи концовок он как бы перекидывает мост из мира сказки в действительность и тем самым — правда, не без лукавства, — убеждает слушателей в том, что все, о чем рассказывалось в сказке, происходило на самом деле. Сказка «Сын вдовы» (текст 22) имеет такую концовку: «Я там по пристани ходил, смотрел корабль и шкурки, и мне отрезали кусок шкурки, сделал из нее кисет. Он и сейчас у меня есть». Сказка «Сто зайцев» (текст 26) имеет развернутую концовку. Сказочник рисует в ней юмористическую сценку, как он, идя домой со сказочного (!) пира с бутылкой добытого там вина, встретил кума, как они выпили и к чему это привело. А в конце этой сценки сказочник объясняет:

«Такой конец сказки я рассказываю, когда кто-нибудь из слушающих начинает дремать — я потом этого задремавшего и называю».

Подобные концовки встречаются и у других сказочников. Для того чтобы придать сказке видимость достоверности, сказочник И. И. Савинов в концовке сказки «Мертвая царевна» (текст 40) даже отождествил героев сказки с именами, связанными с историческими событиями: «Царь дал им должности: один стал Олуховым, второй Гучковым, третий был Трепов, четвертый Корнилов, пятый Милюков... я их видел».

Другой выдающийся южнокарельский сказочник В. А. Соболев из дер. Маяйсельга, близ села Пряжи, также относится к сказочникам-«эпикам», о чем свидетельствуют публикуемые в сборнике сказки «Сын-медведь» (текст 16) и «Тридцать три сына» (текст 23). Но ему одновременно присуще остро-критическое отношение к действительности. Его сатирические сказки (тексты 27, 43, 74, 84) проникнуты ненавистью к социальной несправедливости и отмечены печатью индивидуальности рассказчика.

Сказоведами уже давно подмечено, что сатирические сказки преимущественно рассказываются мужчинами. Дело не только в том, что сатирические сказки нередко «приправляются» зрелищными моментами. В сатире находят выход социальные страсти, которыми мужчины были обуреваемы больше, чем женщины. Как правило, сатирические сказки, рассказанные женщинами, мягче, в них больше лукавого юмора, в то время как в рассказанных мужчинами сатирических сказках преобладает сарказм.

В 30-е годы, когда развернулось собирание сказок в Карелии, было выявлено много сказочников-мужчин (правда, почти все они уже тогда были в преклонном возрасте). Теперь же хорошего сказочника-мужчину трудно разыскать. Нынче сказки рассказывают главным образом женщины 50—80 лет, и репертуар их довольно ограничен. Даже те из них, которые обладают несомненным даром сказывания, как например И. К. Коппалова и И. Ф. Шатина, знают лишь несколько сказок. Молодые сказочницы, как Л. И. Ванюшева из Колатсельги (ей 30 лет), — исключение.

Люди, знающие толк в сказках, говорят, что сказка — не сказка, если ее рассказывают при электричестве. Чтобы сказка сохранила свой аромат и очарование, ее надо, мол, рассказывать при свете камелька или лучины, а лучше всего в темноте, на сон грядущий. Как артисту нужны огни рамп и полный зрительный зал, так сказочнику нужна темнота, чтобы видеть в своем воображении то, о чем он рассказывает, и вызвать такие же картины перед мысленным взором своих слушателей, силой художественного воздействия заставить их на время забыть о том, что сказка — не быль.

Со старым укладом жизни навсегда ушла в прошлое и старая крестьянская культура, на почве которой в области духовной жизни создано немало подлинных жемчужин. Порой из-за недооценки, непонимания, порой из-за недостатка сил мы многого из этих богатств не сумели собрать. Немало уже безвозвратно потеряно. Публикация сказок карельского народа — наш скромный вклад в очень нужное дело сохранения духовных ценностей прошлого.

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

1. REBOI DA BÖBÖI

Elettih reboi da böböi yhtes. Nu. Heil oli kowme puččii voidu. Böböi aiven päčil maguaw, aiven päčil maguaw. Reboi ikkunpieles kezriäw. Kezräi, kezräi ga hänele rodih n'äwgy. Nu, klokahuttaw häi kuožalii. Böböi sanow:

— Midäbo sie kolotitah?

— Kolotitah — kuomakse minuw kučutah.

— Nu, kučutah ga, mene, mene.

Lähtöw kuomakse. Menöw aittah, syöw, syöw, syöw voidu pučis, rud'd'ow, syöw. Dai tulow pertih järilleh, kezriämäh.

Böböi:

— Nu, mibo rodih nimi?

— Zavod'eiinii (*Zavod'eiinii nimi on — zavodii pučin*).

Nu. Op'at' kezräi, kezräi, kezräi, ga myöstin hälle n'äwgy rodii-hezegi. Myös hyppäi sinne ikkunah.

— Midäbo sie kolotitah?

— Ga myös kuomakse minuw kučutah.

— Mene myöstin kuomakse, menel

Meni, söi, söi, puoleh puččih sah voidu rud'd'oi syvvä. Tuli pertih, istuih järilleh kezriämäh.

— Nu, midäbo? Mibo rodih nimi? Mibo nimi rodih?

— Keskowveinii. (Reboi keski puččih sah söi ga Keskowveinii tulow. Da.)

Dai häi myöstin kezräi, kezräi murjoi ga. (Myöstin kowme päiviä proijiwga, kowmei puččii menöw.) Myöstin ehty tulow ga, hällei n'äwgy roih, myös lähtöw syömäh. Myös lähtöw, kolahuttaw:

— Nu midäbo myöstin kolotitah?

— Ka myös minuw kuomakse kučutah.

— Nu, kučutah, ga mene!

Nu meni, söi, söi, söi mud'žoi, söi, — kaiken pučin loppi, jo on pučči tyhjä pohjassah. Tuli pertih, kolahutti kuožalih, kezriämäh rubei.

— Mibo rodih nygöi nimi?

— Nygöi Lopowveinii (*Nygöi jo loppiheze pučči*).

Nu, hyvä. Toine päivy tulow. Myöstin, op at' muga rodiew: kuni pučis kestäw voidu, ga aiven pidäw syvvä. Myös Zavod'eiinii da Lopowveinii da Keskowveinii. Myöstin muga ruadaw.

Nu, hyvä. Kowme päiviä muga virui böböi sie päčil i kowme pučči reboi voidu söi. I hän lähtöw päčil iäres, hänel on n'äwgy, böböil. Menöw aittah, menöw — ga puččilois voidu ewle.

— Vot puččilois ewle voidu nygöi, — sanow, — sinä voit söit kail Nu hyvä.

— En syönnyh, en syönnyh!

— Söit, söit, söit!

— Davai päčän lämmäh panemmol Davai päčän lämmäh panemmol Pannah päčči lämmäh, päčän edeh riehtil, i reboile sanow:

— Nu, nygöi pane sinä neččih päčän edeh riehtiläle perze, sinul razvat perzies ollah.

Dai panow, ga ei reboil valu perzies razvua, ei valu.

Nygöi sanow reboi:

— Pane sinä!

Nu pani. Hänel rubei valumah razvua perzies. Vot, riehtil täwzi valui. Nu vot, reboi söi voit, a böböi rodih viäry. Vot.

Talvi proidii, kevät tulow. Kagrät kylvettih dai kagrät kazvettih. (*Suarnas terväh kazvetah.*) Dai, nečida, rihi puijah hyö, labjua roih tukku, kagrua toine.

— Davai jaguo jagamah, — reboi sanow.

— Davai.

Javon juattih. Böböi labjotukkuh möhkähtih:

— Minä tämän tukun otan, suwremban!

A reboi kagrutukun.

Kodih kannettih: reboile puwtui hyvät, a kondiele puwtui pahat. Nu vot.

Nu, heil on nagrištu. Nagrehet lähtieh lestitäh. Lestitäh nagrehet, n'uattii ylen suwri tukku, a nagrištu on pienembi tukku. Nu hyvä, dai hyö juatah jaguo.

— Davai, reboi, davai nygöi myöstin javon juammo.

— Davai.

Dai reboi viivittäw, iče kaččow i sanow: «Minä jo nagrehet ottažin ga». Böböi n'uattitukkuh röhkähtäh mennä. A reboile puwttuw myös nagrištukku. Hyvä! Dai net kodih reboi ylen hyvä mieles kandoi, dai päččoi pastaw, dai syöw. A böböi n'uatit päččih panow: ga paletah, ei rodei päččoi. Reboi böböillyö goštih päčoi juaššiekkazen kere, poi-miččužen kere.

Menöwhäi sinne, ugostiw händy. Ugostimah rubiew ga:

— Avoi-voi, sinun päčoit midgo magied! A minul, näigös, ni midä ei rodei, minun vai paletah, pahat ollah!

(Näitgo, reboile puwtui parembat, ga reboil on parembii eliä.)

Nu nyvä. Heil jo tawvi on, jo sie vetty dai kaikkie, jial on. Jo böböi voimattomuui, vaivui. Reboi lähtöw viele. Lähtöw viele — mužikku ajaw. Ajaw mužikku. Mužikal kalua, riäppöi rozvali. Näidgo vail Reboi vieröw dorogale, viglahtah. Viruw dorogal prispokoino: töl'õnnyh dai töl'õnnyh! Mužikku sanow:

— Kačo, gor'a, — sanow, — riäppöi sain, — sanow, — rozvalin, nygöi sain, — sanow, — reboin.

Reboin sen rozvalih, riäppölöih sinne od'd'ualan alle. I ajaw kodih hyväs mieles: «Nygöi akalluo menen: riäppöi sain rozvalin, reboin vien. Vot akku ihastuu kullehl».

Meni kodih, kačahtihhäi tuaksepäi: ga reboidu da ni kaloi ewlel Reboi kalat dorogale l'ykii dai iče hyppäi, dai sihi jäi. Mužikku on paahas mieles: ewle reboidu da ni kaloi ewle.

Nu hyvä. Reboi tuli kodih, toi kalua kodih.

Böböi:

— Kuzbo sinä kalua otiit?

— Minä kalua kuz otiin? Lähtieh hännän riputiin, händäh kalua tartui. Menevai sinä opi, dai sinä suat.

Dai böböi, tämä kondii, meni, meni kondii, ištuiheze lähtien rewnal. Ištuw, ištuw, ištuw, ištuw. Jän kylmi, lähtien, a kalua ei tulluh. Akat viele tullah, a böböi ištuw lähtien rewnal. Nu hänel perze kywmi lähtien rewnah. Akat korendol perrettih.

Reboi juoksow randah:

— Mibo rodih sinule böböi-rukku! Mibo rodih?

— Mi rodih! Kačo, mi rodih, — sanow.

Dai häi ottaw, böböi, lähtöw sinne astumah: vai veri valuw, vai veri valuw. A reboi se viruttih:

— En voi minä, en voi minä, nikui en voi astuo!

Böböile rodih reboidu žiäli:

— Tule minule sewgäh!

Reboi böböile sewgäh. Böböi astuw, reboi vai ištuw selläs, da vie sanow:

— Voimatoi tervehty kandaw, voimatoi tervehty kandaw! — reboi se kirguw, näidgol

Vot minul i suarnu loppih, enämbie ewle ni midä.

1. ЛИСА И МЕДВЕДЬ

Жили лиса и медведь вместе. Ну. Было у них три бочки масла. Медведь все на печке спит, все на печке спит. Лиса у окошка прядет. Пряла, пряла, да и проголодалась. Ну, стукнула прялкой. Медведь говорит:

— А чего там стучат?

— Стучат, в кумовья меня зовут.

— Ну, зовут, так иди, иди.

Пошла в кумовья. Заходит в чулан, ест, ест, ест, ест масло из бочки, уминает, ест. И обратно приходит в избу пряхть.

Медведь:

— Ну, так как назвали?

— «Починок» (*«Починок» назвали: бочку-то начала.*)

Ну, опять пряла, пряла, пряла, да снова и проголодалась. Опять к окошку прыгнула.

— Чего там стучат?

— А снова меня в кумовья зовут.

— Иди в кумовья, иди.

Пошла, ела, ела; до половины масло в бочке умяла. Пришла в избу, опять села пряхть.

— Ну, чего там? Какое имя дали? Как назвали?

— «Середник»!

Лиса до половины масло съела, «Середник» и стал. Да. И опять она прядет, придет, трудится. Три дня проходит, и три бочки масла съедает.

Вечер настал, снова она голодная, опять идет есть. Пошла, стукнула.

— Чего там опять стучат?

— А снова меня в кумовья зовут.

— Ну, зовут, так иди.

Ушла, ест, ест, ест, уплетает, всю бочку и очистила, уже дно видать. Приходит в избу, за пряхку садится.

— Как теперь назвали?

— А теперь «Последух» (*теперь уже закончила бочку*).

Ну хорошо. Второй день настал. Опять все так же. Пока в бочке хватает масла, все надо есть. Снова «Починок», «Середник», «Последух». Все так делает. Хорошо. Три дня так лежал медведь на печи, и три бочки масла лиса съела. Вылезает он с печи, проголодался медведь. Заходит в чулан, заходит, а в бочках масла и нет.

— Вот, в бочках нет масла, — говорит, — это ты все масло съела.

Ну хорошо.

— Не ела, не ела!

— Съела, съела, съела!

— Давай печку затопим, давай затопим печку!

Затопили печку, поставили сковороду, и говорит медведь лисе:

— Ну, теперь повернись ты к огню задом, у тебя в масло.

И повернулась лиса, не течет у нее масло. Ну хорошо, не течет.

Теперь говорит лиса:

— Повернись ты.

Повернулся, у него и потекло масло из ж.... Вот, сковорода полная натекла. Ну вот, лиса съела масло, а медведь виноват остался.

— Давай, — говорит, — теперь овес сеять.

Зима прошла, весна настала. Посеяли овес, овес вырос. (В сказке быстро растёт.) Смолотили в риге овес. Получилась куча мякины, вторая — овса.

— Давай урожай делить, — говорит лиса.

— Давай.

Урожай поделили. Медведь плюхнулся в мякину:

— Я эту кучу возьму, побольше.

А лисе овес.

Перетащили домой: лисе досталось хорошее, медведю — плохое. Ну вот.

У них еще есть репа. Репу убрали, ботву срезали. Ботвы получилась большущая куча, а репы поменьше. Ну хорошо, они снова делают.

— Давай, лиса, давай опять урожай делить.

— Давай.

Лиса медлит, а сама смотрит: «Я-то бы репу взяла да...». Медведь на кучу с ботвой завалился. А лисе опять досталась репа. Хорошо. Лиса довольнехонька, все это перетаскала домой, печет себе репу и ест. А медведь ботвы наложит в печь, она вся обгорает, не получается. Лиса к медведю в гости пошла, с пареной репой.

Приходит в гости, угощает медведя:

— Авой-вой, твоя репа какая вкусная, а у меня, видишь, ничего не получается. Мои только горят, плохие.

(Видишь, лисе попало что получше, ей и жить лучше.)

Ну хорошо. Уже зима... Пошла лиса за водой. Видит, мужик едет. У мужика рыба ряпушка в розвальнях. Вот ведь. Лиса метнулась, мигом легла на дорогу. Лежит себе преспокойненько на дороге, мертвая, как мертвая. Мужик говорит:

— Смотри-ка ты, — говорит, — ряпушки достал, — говорит, — полные розвальни, теперь еще, — говорит, — лису нашел.

Лису — в розвальни, под одеяло, с ряпушкой. И едет домой довольный: «Теперь к жене приеду, полные розвальни ряпушки, да еще лису привезу. Вот-то обрадуется жена».

Приехал домой, как посмотрит назад — ни лисы, ни рыбы. Лиса рыбу по дороге выкидала и сама выпрыгнула, так и остался мужик. Пошел понурясь: ни лисы, ни рыбы нет... Ну хорошо.

Лиса пришла домой, приносит рыбу. Медведь:

— А где ты рыбу взяла?

— Я рыбу где взяла? Опустила в прорубь хвост и наловила рыбы. Иди-ка и ты попробуй, и ты поймашь.

И пошел медведь. Пошел медведь, сел у проруби. Сидел, сидел, сидел. Уже лед в проруби, а рыбы нет. Где рыбы возьмешь? У него уж и зад примерз к краю проруби. Идут бабы за водой, а медведь сидит у проруби. Избили коромыслами.

Лиса прибегает на берег:

— Что случилось с тобой? Что случилось?

— Что случилось. Гляди, что случилось.

И взял пошел медведь, только кровь течет, только кровь течет. Ну, лиса тут:

— Не могу я, знобит, не могу, никак не могу идти!

Медведю стало жалко лису:

— Садись ко мне на спину!

Лиса у медведя на спине. Медведь шагает, лиса у него на спине сидит да еще приговаривает:

— Больной здорового несет, больной здорового несет! — лиса кричит, вишь.

Вот у меня и сказка кончилась, больше нет ничего.

2

No, elet'ii ende kukoi da kaži. Elet'ii, old'ii, elet'ii, old'ii. No, kaži se sanow kukoile:

— Vot, — sanow, — min'ä huomei lähten halgot kuoržimaa, a šindai dietän päčile, tuggedan olgel, i elä ni kuna lähtel!

No, hän sanow:

— En lähte, en lähte, — sanow, — ni kuna!

No i huondeksel nošt'ii, kaži zawtrokan keit't', šyöd'ii, juod'ii. Dai kukoin tugeš päčile olgel, a iče pani kirvehen vyön ale dai läkš halgot kuoržimaa. No läkš, mäni, mäni, šin'n'a, en tiedä, loittoze vai lähile, a reboi tiedušť. Tiedušť, što ykšin kukoi on kodiš kažil salbattu. Dai tuli. Tuli dai ikkunas ringuw:

— Petušok... (Ka ven' akš sanon!)

Petušok, petušok,

Zolotoi grebešok (ven'akš sanon!)

Šolkova boroduška... (No ven'akš tuleškadow sanodal!)

No vjgl'an' v okoško.

No panit šigä aiet'ii,

Goroškad, herneht, siplit'ii,

Šyödä ewle kele!

(A petušok se ihastui, ku ewle ni kedäl...)

Kanažed kuokitaa,

Kukohuwdel ei anttal!

No hän ihastukšiz:

— Kok-ko-ko-koo, kažid kodiš ewle ka, n'e bojus', en varada ni kedäl!

No hän i hyppii, hyppii, a repšoi ainos šin'n'a vai ringuw da ringuw, vai muonitaw da muonitaw kukoid. No kukoin i muonit't'. Kukoine kui ikkunale tuli, repšoi händä povee dai potašila kandamaa juostel.

No a kukoi se ringuw kažile, no... (en voi mit'e sanoda šiin'a... Ven'akš sanda?):

— *Kot'a-brat'a, nes'ot men'a lisa na vjsokie lesa, za čornje lesa, no šin'n'a za gorodok za svoi!*

I kaži kuwlow. Kuwlow, ka hän ainoi ringuw, aino:

— *Kot'a-brat'a, nes'ot men'a lisa za vjsokie gora da za dolgije lesa...* No ka mägiden korged'ed'en... (*ka unohtian*).

No i šin'n'a händää i potašilo. Kaži riibi-räibi, kirvez vyön al juoksoo, juoksoo. Tuli, kai rebol šilmäd riibii dai kukoin kiškoo dai sanoo:

— Sanuin ma šil, elä lähte, ka sa vot läkšit, rebo šindaa muonittawl

No hän i:

— En lähte en'ämb, en!

Toižen päivän mugaze. No elet'ii, old'ii... yö magat'ii, huondeksel zavtrokoid'ii.

— T'änäpä ku, — petuš kale sanow, kukoile, — štož ed läkšiiž ni kuna, t'änäpä min'ä lähten loittoza, kačo en kuwle!

No, hän sanoo:

— En lähte, en lähte ni kunal

No. Vai kaži läkš, kirvehen vyön ale pani, läkš meččää, repšoo tuli dai myöst'ei händä i muonittaw ikkunen al:

Petušok, zolotoi grebečok,

Vig'an' u okoško,

Dam tebe goroško,

Panš projevah da

Herneht kirbotel'd'ii da pšenicad...

Da ewle kelle šyödäl

A kuroč kaižed vai (unohtin!) Vai kuokitaa

Da kukoile vai ei antta!

Häin:

— Kok-ko-ko-koo, kažit kodiš ewle, en varaida ni kedäl

Dai davai hyppimää. Hyppiwi, hyppiwi da ikkunale tuli. Repšoi myöst'e krap händää povee dai potašil! Juoksow, ihastunnu, juoksow. A kukoi se ainoi ringuw kažile:

— *Kot'a-brat'a*, kanda mindaa lisa šin'n'a pitkän metsän taga, korgedan krežžän taga, da omaa teremuškaa šin'n'a da omiden lapšidennu dal — vai ringuw, ringuw.

No ringui, ringui, kaži vähäižel kuwli. Kuwli, myöst'e tuli. Tuli dai reboil kai šilmäd riibii dai kukoid branii dai taššii händää, taboit', kodii:

— Mit'e ma šindää kielžin, — kukoile sanow, — ka sa ed mindaa kuwndelnul Vai huomei lähtenet, ka en'ämb sinä et popadi kodii, min'ä loitoz uidin!

— En läht'e en'ämb, en läht'el

No myöst'e ehtu oli. Šyöd'ii, juod'ii, magat'ii huondeksel nošt'ii, zavtrokoidii. Kaži kirvehen vyön ale pani dai kukoin päčile tugeš dai läkš:

— Štož t'änäpä ed uidiš, t'änäpä min'ä lähten loitoz, — sanow, — en kuwle, kačo!

— En lähte, en!

No, vai kergidaw kaži lähtä, reboi kui šiid i on. Myöst'ei tuli:

*Petušok, petušok,
Zolotoi grebešok,
Panj progehali
Da pšenicu nasjpalj,
Da ewle kelle šyödä,
Da kanažet kuokitaa,
Da kukšoil ei antta dal*

Hän myöst'e:

— Kok-ko-ko-koo, en varaida ni kedä, kažid ewle kodiš dal — šidä da tädä da.

Dai hyppii, hyppii. Rebo kuwl'! Dogadi ikkunale. Dai myöst'e hvattii kainaloo händää, potašila. No kukoi ringui, ringui, da mäne otal Kaži loitoz oli uidiu, ei kuwle. Dai händä i kodii kandoi. Kandoi kodii. Hällää oli kolme t'yt'ärd:

*Odna bjla Čuťolka
Da drugaja Kukolka...
Ykš oli Čuťolka,
Da toine oli Kukolka
Da Tim Telešok da... melešok.*

Mäni ihastunu, suot't' t'ytt'ärinnu šin'n'a. Suot't' t'yt't'äri.

Kaži kodih tuli. Tuli kaži kodih, itköö — ewle kukšoihut, mäni kukšoihut, ewle! Mid'ä n'gy ma zavedin? Mäni šin'n'a linnale. Läkš linnale dai sanow:

— Ostan min'ä moižen gus'olkan da sobat ostan!

Sinijat štanad ošt' da ruskedan kauftanan ošt', da t'ämän ošti gus'olkan, sen moižen balalaikan.

No dai suoriš, pani sinijad štanad, ruskedat čabatot, dai ot't balalaikan kädee dai läkš. Läkš, matkaž, matkaž šin'n'a lisannu sen, pitkän metsän taga da korgedan kreežän taga. Šie hällää oli kodiine, kolme t'yt't'äryšt oli. No. Dai tuli, dai ištuhez zavalimele. Ištuihe zavalimele. A repšoi se vai kyrzit paštaa, a hän ištui ikkunan ale. Rubež eändämää šihi balalaikaižee da pajatamaa:

*Dren'-bren', gus'olki,
Da zolotšje strunuški.
Za gorami vjsokimi,
Za dolami širokimi,
Tam žj la-bjla lisa,
V zolotom šigä kodižes,
Da kolme oli hällää t'yt'ärd:
Ykš oli Kukolka,
Da drugaja Čuťolka,
Kolmas Čelnok, podmeti šestok.*

No, a repšoil t'yt'är se sanow:

— Vot, — sanow, — ken čuwdo on t'äs, ei olnu ni konz n'engost kummad! Vota, ken, — sanow, — šigä eändaw? Vota ma lähten, — emälä sanow, — katsumaa!

— Ka mäne, mäne, — sanow.

Ot't' kyrzäižen kädee, mäni.

A kažiine se sid ainoi vuottaa ka, vuottaa, konz kukoi tuloo. Hän kyrzäižen suwhu dai t'ämäl, sablil leidald peen. Peen piesti dai uut vai prodolžajet, pajataw, vai pajataw:

*Stren'-bren' gus'olki,
Zolotšje strunuški,
Korgedan metsän taga,
Pit'kän metsän taga,
Da korgedan kreäžän taga,
Da eläw-olow, t'ämä, rebo
S tr'om dočer'ami:
Odna Kukolka, druga Cučolka,
Tret'ja Čelnok, podmeti šestok.*

No, hän myöst'e, toine t'yt'är sanow:

— Mamoi, — sanow, — ana milei kyrzäni, ma lähten kuwndelemaa, ken t'ämä nenga pajataw.

Hän myöst'ei andoi kyrzäižen, andoi, dai läks. Mäni pihale kuwndelemaa. Kaži ot't', sablile piedä vašt — toižen t'yt'ären tappoi (*poigan sen*). Nu. Dai uut vai prodolžajet šin'n'a, vai pajataw da pajataw:

*Stren'-bren' gus'olki,
Zolotšje strunuški,
Za gorami všokimi,
Za dolami širokimi.
Tam bšla-žila lisa
Šigä omas kodiižes.
Odna bšla Kukolka,
Da druga Cučolka,
Tret'ja Čelnok, podmeti šestok.*

Kolmas tulow:

— Lähten, — sanow, — min'ä tože kuwndelemaa, lähten.

Emä se aino paštaa kyrzäd.

— Mänee, — kyrzäižen andaw da.

Dai läks. Mäni šin'n'a, a kaži se aino vuottaa kukoidu. Ot't' myöst'e sablil peädä vaste händää andoi, leikkaž peän dai myöst'e ainoi pajataw:

*Stren'-bren' gus'olki. . . (Nu, pidäwgi sanoda vai? . . .)
Zolotšje strunuški,
Za gorami všokimi,
Za dolami širokimi
Tam žila-bšla lisa,
Šigä s tr'om dočer'ami.
Da odna Kukolka,
Druga Cučolka,
A tret'ja Čelnok, podmeti šestok.*

A en'ämbi ewle t'yt't'ärid, kolme d'o män'dii. A kukoi se ištuw, vuottaa:

— Vuota, — sanow, — min'ä lähten hot' katsaldan, ken šigä on?

Dai läkš, läkš, kyrzäižen ot't', mäni. A šigä oma kažiinel Mäni kažiizennu. Hän, kažiine se, kukšoin taboit't' povee dai juoste kodii. Juostaa ihastukšiš dai...

A repšoi aino paštaa, paštaa da vuottaa: «Mid'ä liene hät'ken ewle lapšid! Vota lähten katsomaal!». Mäni ga — šigä d'o ewle ni kukoid, da ewle šigä ni eändäjäd, a poigaižed omad — kaikil leikatut peät vi-rutah šiin!

No da repšoi nygy ykšin d'iei šin'n'a, da ewle ni kedä hällää. Ykšin omas kodiš eläw da gorijow, ainos tuskan pidäw lapšilois.

No da min'ä šigä tože n'ägin, hän kyrzit paštoi ka, šigä oliin katsoin. Nygyde ewle ni kedä.

2. [КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА]

Ну, жили когда-то петух да кот. Жили-были, жили-были. Ну, кот там говорит петуху:

— Вот, — говорит, — я завтра пойду дрова рубить, а тебя оставляю на печке, закрою соломой, и ты никуда не уходи!

Ну, он говорит [петух]:

— Не уйду, не уйду, — говорит, — никуда.

Ну и утром встали, кот приготовил завтрак, поели, попили. Петуха посадил на печку, прикрыл соломой, а сам положил топор под ремень и пошел дрова рубить. Ну, поцел, идет, идет туда, не знаю, близко ли, далеко ли, а лиса разведала. Разведала, что петух дома один у кота заперт. И пришла. Пришла и кричит в окно:

— Петушок... (Ой, по-русски говорю!)

*Петушок, петушок,
Золотой гребешок (по-русски говорю!),
Масляна головушка,
Шелкова бородушка (Ну, получается по-русски!)
Ну, выглянь в окошко.
Ну, паны проехали,
Горошек рассыпали,
Есть некому! (А петушок обрадовался, что нет никого!)
Курочки клюют,
Петушку не дают!*

Ну, он обрадовался:

— Кок-ко-ко-ко, кота дома нет, не боюсь, никого не боюсь!

Он все прыгает, прыгает, а лиса все зовет туда да зовет, знай манит да манит петуха. И выманила петуха. Петушок как на окно прыгнул, лиса его подмышку, и потащила, понесла бегом! Ну, а петушок кричит коту, ну... (не знаю, как сказать тут... по-русски сказать?):

— Котя-братя, несет меня лиса на [так!] высокие леса, за черные леса, ну, туда, за городок за свой!

И кот услышал. Слышит, как он все кричит да кричит:

— Котя-братя, несет меня лиса за высокие горы да за долине леса... Ну, за высокие горы... (*забываю!*)

Ну, туда его и потащила. Кот, запыхавшись, с топором за поясом бежит, бежит. Прибежал, лисе глаза расцарапал, петуха вырвал и говорит:

— Говорил я тебе, не ходи, так ты вот пошел, лиса тебя заманивает!

Ну, он и [говорит]:

— Не пойду больше, не пойду!

На следующий день также. Ну, жили-пожили... ночь переспали, утром позавтракали.

— Сегодня, — петушку говорит, — чтобы никуда не ходил, сегодня я пойду далеко, смотри, не услышу!

Ну, он говорит:

— Не пойду, не пойду никуда!

Ну. Только кот пошел, топор за пояс заткнул, пошел в лес, лиса пришла и опять его и манит под окном:

*Петушок, золотой зребушок,
Выглянь в окошко,
Дам тебе горошку,
Паны проехали да
Горошку насыпали да пшеницы,
И некому есть!
А курочки (*забыла!*) лишь скребут,
А петушку не дают!*

Он:

— Кок-ко-ко-моо, кота дома нет, не боюсь никого!

И давай прыгать! Прыгал, прыгал и на окно вскочил. Лиса опять цап его в охапку и потащила! Бежит, радуется, бежит. А петух все кричит коту:

— Котя-братя, несет меня лиса за долгий лес, за высокую гору, в свой теремок, к своим детям, — и все кричит, кричит.

Ну, кричал, кричал, кот еле слышал. Услыхал, опять пришел. Пришел и у лисы все глаза расцарапал, и петуха бранит, и тащит его, как поймал, домой:

— Как я тебя просил, — петуху говорит, — так ты не послушался меня! Если только завтра пойдешь, так больше ты домой не попадешь, я далеко уйду.

— Не пойду больше, не пойду!

Ну, опять... вечер был уже. Поели, попили, проспали ночь, утром встали, позавтракали. Кот топор за пояс заткнул и петуха на печи заслонил и пошел:

— Чтобы сегодня не уходил, сегодня я далеко пойду, — говорит, — не услышу, смотри!

— Не выйду, нет!

Ну, только успел кот уйти, лиса тут как тут. Опять и пришла:

*Петушок, петушок,
Золотой гребешок!
Паны проехали,
Да пшеницу насыпали,
Да некому есть,
Курочки скребут,
Да петушку не дают!*

И он опять:

— Кок-ко-ко-коо, не боюсь я никого, а кота нет дома! — да то да се.

И прыгает, прыгает. Лиса услышала. Заметила на окне. И опять хватить его подмышку — и потащила. Ну, петух кричал, кричал, так поди возьми! Кот далеко ушел, не услышал. И его домой и притащила. Притащила домой. У нее было три дочери:

*Одна была Чушолка
Да другая Кушолка
Да Тим-телешок... мелешок.*

Пришла довольная, дала [петуха] своим дочерям. Дала дочерям.

Кот приходит домой. Приходит кот домой, плачет — нет петушка, ушел петушок, нету! «Что я теперь заведу?». Пошел в город. Пошел в город и говорят:

— Куплю я такие гусельки, да одежду куплю.

Синие штаны купил да красный кафтан купил я купил гусельки такие, вроде балалайки.

Ну и оделся, надел синие штаны, красные сапожки, взял балалайку в руки и отправился. Отправился, идет, идет туда к лисе, за долгий лес, за высокую гору. Там у нее [лисы] был домик, три дочери было. Ну. И пришел и сел на завалянку. Сел на завалянку. А лиса там знай блины печет, а он сел под окно. Стал наигрывать на балалайке и петь:

*Дрень-брень, гусельки
Да золотые струнушки!
За горами высокими,
За долами широкими,
Там жила-была лиса,
В золотом домике
Да было у нее три дочери:
Одна была Кушолка,
Да другая Чушолка,
Третья Челнок, подмети шесток.*

Ну, а дочь лисы говорит:

— Вот, — говорит, — что за чудо там, никогда не было такого чуда! погоди, кто там, — говорит, — наигрывает? погоди, я пойду, — матери говорит, — посмотрю!

— Так иди, иди, — говорит.

Взяла блин в руки и пошла. А кот тут все ждет, все ждет, когда петушок придет. Он блин себе в рот, а [лисенку] саблей голову отрубил. Снял голову и опять продолжает петь, все поет:

*Стрень-брень цусельки,
Золотые струнушки,
За долгим лесом,
Да за высокой горой,
Да живет там лиса,
С тремя дочерями:
Одна Куколка, друга Чучолка,
Третья Челнок, подмети шесток.*

Ну, опять вторая дочь говорит:

— Мама, — говорит, — дай мне блин, я пойду послушаю, кто там так поет.

Она опять и дала блин, дала и пошла [дочь]. Вышла во двор послушать. Кот взял, саблей по голове, вторую дочь убил (лисенка). Ну. И опять все продолжает, все поет и поет:

*Стрень-брень цусельки,
Золотые струнушки!
За горами высокими,
За долами широкими,
Там была-жила лиса,
В своем домике...
Одна была Куколка,
Да друга Чучолка,
Третья Челнок, подмети шесток.*

Третья идет:

— Пойду, — говорит, — и я послушаю, пойду.

Мать все печет блины.

— Иди, — дала ей блин.

И пошла. Вышла туда, а кот все ждет петушка. Взял опять саблей дал по голове, отрубил голову и снова поет:

*Стрень-брень цусельки... (опять все сказать?).
Золотые струнушки!
За горами высокими,
За долами широкими,
Там жила-была лиса,
Там с тремя дочерями,
Да одна Куколка,
Друга Чучолка,
А третья Челнок, подмети шесток.*

Больше дочерей нет, все трое ушли. А петушок сидит, ждет: — Дай, — говорит, — я пойду хоть взгляну, кто там?

И пошел, пошел, блин взял, вышел. А там свой кот! Подошел к коту. Кот петуха поймал в охапку и бегом домой. Бегут, обрадовались...

А лиса все печет, печет и ждет: «Что-то долго нет детей? Пойду посмотрю!». Пошла, а там нет ни петушка, ни певца, а дети свои лежат тут все без голов!

Ну и теперь лиса осталась там одна, никого у нее нет. Одна в своем доме живет и горюет, все тоскует по детям.

Ну и я там тоже видела, как она блины пекла, была там, смотрела. Теперь никого уже нет.

3. JÄNÖI DA REBOI

Jänöi da reboi mändih dorogaa myöh. Reboi sanou:

— Sinuu ni ken ei varaa, a minuu kaikin varatah. Vot! Minul on händy pitky.

Astuttih hyö hil'akkazeh. Jänöi dogadi karjan lammastu i juoksi karjah: kai lambahat paettiin.

Jänöi nagroi muga, kai suu meni ristih. Sissäh on jänöi ristisuul

3. ЗАЯЦ И ЛИСА

Заяц и лиса идут по дороге. Лиса говорит:

— Тебя никто не боится, а меня все боятся. Вот! У меня хвост длинный.

Идут они медленно. Заяц заметил стадо овец и вбежал в стадо: все овцы разбежались.

Заяц так смеялся, что даже рот разорвался накрест. С тех пор у зайца рот крестом.

4. VIRZUINE

No, oli ende akain'e. Oli hälläi virzuin'e.

— Lähten, — sanow, — po belomu svetu mid'ägi muuttimaa.

Läks. Matkaž, matkaž, tuldaa šigä, vet' kannntaa kazačihat. No, hän sanow:

— Oi t'otoid, eigo voi milei t'äs talos muata?

— Ka voi, magada.

— On, — sanow, — milai virzuin'e, ka kuna oliš panda?

— Ka pane virzuižid'enke.

— En jo virzuižidénke. Minä panen, — sanow, — kanažid'enke.

— No, pane.

Dai pani. Yön magaš, huondeksel nouš, dai emändäle sanow:

— Antkat, — sanow, — minun kanain'e, lähten.

— Ka ei olnu sinun kanain'e, sinun oli, — sanow, — virzuin'e.

— Ei virzuin'e olnu, kanain'e oli!

No spuorii, spuorii.

— Että anttkua, lähten kuudoilta prosin.

No, hämästy emänd, pidäw antta. Dai andoi kanaizen. No.

Hän ed'ellee šin'n'e matkadaw. Tuli erähää kylää, dai mugaže ehtäizil ga. Šigä erähäs talos vet' kanttaa inahmot. No, ka sanow:

— Eig voiž, inahmoized, eig voiž, — sanow, — milai t'äs taloiz magata?

— Ka magada, magada, on meil kävelijöid t'äs, — sanow.

No hän magatta i tuli. Tuli magatta dai sanow emändäle:

— On, — sanow, — milai, vit' on milai kanain'e, ka kuna oliš ku panda? — sanow.

— Ka pane kanaizid'enke, pane.

— En pane, — sanow, — min'ä panen lambahaižid'enke.

— No ka pane, pane, suata.

Dai suat't'. Suat't' šin'n'a, pani. Myöste yön magas, syöi, d'ui.

— Antkat, — emändäle sanow, — antkat minun lambahain'e.

— Ka vit' ei, — sanow, — šinun lambahain'e olnu. Šinun 'oli kanain'e.

— Että antkoo, ka lähten kuudoil aprosin.

Emänd hämäst'yw, lähtöw kuudoin luo, ka pidäw antta.

— No ka ota lambahain'e, ota!

No ot't' dai läks. Myöste matkadaw, matkadaw, šin'n'ä loittoža vai lähidä. Ajna män'ow, män'ow. Tulow erähää kylää, myöste taloo zaidiw.

— Eig voiž, emändäizet, magata?

— Ka magada, magada! On meil kävelijöd rahvahie.

— On, — sanow, — milai lambahain'e, ka kuna oliš ku panda?

— Ka pane sa lambahaižid'enkel

— Ka en min'ä lambahaižid'enke pane. Min'ä panen lehmäizid'en kera.

— Pane, no ka pane. Pane lehmäizid'en keral

Myöste oli da eli. Huondeksel nouš, syöi, d'ui.

— Antkat, — sanow, — minun lehmäin'el

— Ka ewle sinun lehmäin'e. Sinun oli, — sanow, — lambahain'e.

— Ei, minun oli lehmäin'e. Myöste, että, — sanow, — antkoo, ka lähten prosin kuudoil libo päivöil.

Emänd hämäst'yi, ot't' andoi lehmäizen.

Läks akk. Läks akk, matkaž, matkaž lehmäizenke. Tulow myöste erähää kylää, myöste pid'aw yödyä. Tariččezow emändäl:

— Eig voi milei magata, t'äs talos?

— Ka magada sa, magada.

No hän myöste:

— Kuna milei oliš ku lehmäin'e panda?

— Ka pane lehmäizid'enke.

— En d'o lehmäizid'enke. Panen heboizid'enke.

— No ka pane, pane.

Dai pani. Pani. Myösten yön magas, huondeksel syöi, d'ui. Lähtöw:

— Antkat minun heboin'e.

— Ka šilai oti, — sanow, — tuodu lehmäin'e!
 — Ei, milai oli heboin'e tuodul
 — No ka mid'ä sa tolkuidd, lehmä oli vit' šillai
 — Ei olnu lehmä. Lähten kuudoilda prosin, että antkoo.
 — No ka ota. Mäne. Ota heboin'e.
 Ot't'. Val'lašt' hebokulun, sai, läks. Ajaw, ajaw: Tulow d'äniš
 vaštaa. Tulow:
 — T'otoi, ota mindai regee.
 — Ka tule, malttanet pajatada.
 No hän pajat't', lulot't' hälle, dai regeh i ot't'.
 Myöste ajaw, ajaw, tulow reboi vaštaa. Myöste reboi se:
 — Oi t'otoi, ota mindai regeel
 — Ka tule.
 Myöste ajaw ed'ellee. Tulow kond'oi vaštaa. Tuli kond'oi vaštaa:
 — T'otoi, ota mindai regee.
 — Ka tule sa, tule.
 Kerädaw kaikkid. No ajet't'ii, ajet't'ii, dai heil i zaverk i katkež,
 vai aiž vai mi šigä. Ei voiskattu ajada. Lopiih.
 — No, d'änöi, mäne tuo aiž.
 Se mäni, varbaizen moižen tuoi.
 — Mid'ä tämän ke zavedid, ei t'äs liene ni mid'ä. Reboi, mäne
 tuo aiž.
 No se mäni šigä, tože tuoi omad väged myö. Ei šobi.
 — Kond'oi, mäne tuo aiž.
 A hän läks, ka oivaližen, kuna liene šin'n'a mäni da oivaližen par-
 den voloččiw.
 No mid'ä t'al zavedit, ni mit'e ei voi ajada.
 — No, seižugat t'äs, ma lähten, — akk se sanow, emänd.
 No läks. Mäni. Kuni hän aižad ečii da oli da šigä leikkaž da včberii,
 hyö ot'et't'ii da hebo i šyöd'ii. Dai batigoil i pand'ii, šeižat'et't'ii, da
 ičei paget't'ii.
 Akk tuli, aižan azet't'. No aižan azet't', regee ištuihe ihastukšiž, kai
 on mändy, t'ämäd posaziirad, lähtieh iäre. Hebod vitsal ku iškōw da
 hebo ši i langieb. No. Da šihe hänen i kai viržuin'e dai lambahain'e.
 Dai nygyde myöste virzuiženke d'ia i akain'e. Da muudu hällää šiid elod
 ei ni olnu.
 No da šiid i kai.

4. ЛАПТОК

Жила когда-то старушка. Был у нее лапоток.
 — Пойду, — говорит, — по белому свету что-нибудь мутить.
 Пошла. Шла, шла, навстречу ей поденщицы, воду несут. Ну,
 она и говорит:
 — Ой, тетушки, нельзя ли мне в этом доме переночевать?
 — А можно, чего же, ночуй.
 — Есть, — говорит, — у меня лапоток, куда бы его положить?
 — А положи с лапотками.

— Не положу с лапотками. Я положу, — говорит, — с курочками.

— Ну, положи.

И положила. Ночь переспала, утром встала и говорит хозяйке:

— Отдайте, — говорит, — мою курочку, пойду.

— Да не было у тебя курочки, у тебя, — говорит, — лапоток.

— Не было лапотка, курочка была!

Спорит, спорит...

— Не дадите, пойду у месяца спрошу.

Растерялась хозяйка, надо отдать. И отдала курочку. Ну.

Идет она дальше. Пришла в какую-то деревню, тоже вечером. Там в одном доме бабы воду носят. Ну и говорит:

— Нельзя ли мне, хозяйшки, — говорит, — в этом доме переночевать?

— Ночуй, ночуй, бывают у нас ночлежники, — говорит.

Она и пришла ночевать. Пришла ночевать и говорит хозяйке:

— Есть ведь, — говорит, — у меня курочка, так куда бы положить?

— А положи с курочками, положи.

— Не положу, — говорит, — я положу ее с овцами.

— Ну, положи, положи, отнеси.

И отнесла. Опять ночь переспала, утром попила, поела.

— Отдайте, — хозяйке говорит, — отдайте мою овечку.

— Да ведь, — говорит, — у тебя не овечка была. У тебя была курочка.

— Не отдадите, так пойду у месяца спрошу.

Хозяйка растерялась, пойдет к месяцу, так надо отдать.

— Ну, так бери овечку, бери.

Взяла и пошла. Опять идет, идет там, близко ли далеко. Все идет, идет, идет. Приходит в одну деревню, заходит в избу.

— Нельзя ли, хозяйшки, переночевать?

— Ночуй, ночуй, бывают у нас прохожие.

— Есть, — говорит, — у меня овечка, так куда бы ее поставить?

— А поставь ты ее к овечкам.

— Нет, не поставлю я к овечкам. Я поставлю ее к коровам.

— Ставь, ставь. Поставь ее к коровам.

Снова ночь тут пробыла. Утром встала, попила, поела.

— Отдайте, — говорит, — мою корову.

— Да не было ведь коровушки! У тебя, — говорит, — была овечка.

— Нет, у меня была коровушка! Не отдадите, — говорит, — так пойду спрошу у месяца либо у солнца.

Хозяйка испугалась, отдала коровушку.

Пошла старушка. Идет, идет с коровушкой. Опять приходит в одну деревню, опять надо заночевать. Просится у хозяйки:

— Нельзя ли мне переночевать в этом доме?

— А ночуй ты, ночуй.

Она опять:

— Куда бы мне коровушку поставить?

— А поставь с коровами.

— Нет, не с коровами, поставлю с лошадьми.

— Ну, так ставь, ставь.

И поставила. Опять ночь переспала, утром поела, попила. Стала уходить:

— Отдайте мою лошадь!

— Так ты ведь, — говорит, — корову привела.

— Нет, я лошадь привела.

— Да что ты толкуешь, корова у тебя была!

— Не было коровы! Пойду у месяца спрошу, если не дадите.

— Так бери. Иди, бери лошадь.

Взяла. Запрягла лошаденку и поехала. Едет, едет. Идет навстречу зайц.

— Тетушка, возьми меня в сани!

— А иди, если петь умеешь.

Ну, он попел, полулукал ей, и взяла она его в сани.

Дальше едет, едет. Идет лиса навстречу. Лиса тоже говорит:

— Ой, тетушка, возьми меня в сани.

— А садись.

Опять едет дальше. Навстречу медведь:

— Тетушка, возьми меня в сани.

— Садись, садись.

Всех собирает. Ехали, ехали, у них оглобля и сломалась. Не могут дальше ехать.

— Ну-ка, зайц, иди принеси оглоблю.

Тот ушел. Прутик такой несет.

— Чего с этим сделаешь, из него ничего не выйдет. Лиса, иди принеси ты.

Та пошла, тоже по своим силам принесла. Не подходит.

— Медведь, иди принеси оглоблю.

Пошел он и приволок большее бревно. Ну, что с этим будешь делать, никак ехать нельзя.

— Стойте-ка здесь, я пойду, — старушка эта говорит, хозяйка.

Пошла. Покуда оглоблю она искала, да выбирала, да вырубала, они [звери] тем временем взяли да и съели лошадь. На палки натянули шкуру и поставили, а сами удрали.

Старуха пришла, оглоблю приладила. Приладила оглоблю, села в сани довольная, что все пассажиры ушли, разбежались. Как хлестнет лошадь вицей, та тут и упала. Вот. Тут ей и лапток, и овечка. Осталась опять старушка с лапотком. Больше у нее ничего и не было.

Вот и всё.

5. UKKO, AKKE I KANA

Eletäh ukko da akke vahnat, perehetä kahtei. Heil on kana. Kana muniw d'äicän. Se pandah padaizeh. Se nostettah paččahan piäh.

Tulow hiiri, händäl häibäidaw, n'uokal čuibaidaw. Padaine sorduw lat'taile. Padaine menow palaižikse, d'äičäine menow muruižikse. Rubet'tih ukko da akke itkemäh. Kana rubeži kokottamah, lehme rubeži möngymäh, hebo rubeži hirnakuoiččemah. Ajettih pedran ajajat ikkunoin alušt myöte.

— Midäbo, — sanow, — täs taluois itkedäh?

— Täs taluois, — sanow, — on ukko da akke, da heil oli kana. Kana munii d'äičäizen, i sen pani paččahan piäh padaizeh. Tuli hiiri, händäl häibäizi, n'uokal čuibaiži, padaine menow palaižikse i d'äičäine meni muruižikse. Sidä ukko da akke itkedäh, sidä kanaine kokottaw, sidä työ pedruoil' sarved kolotitte iäres.

Sidägi pedruoin ajajat sarvet pedruoil kolotittih iäres.

Ajettih pedran ajajat-edelleh piäi. Kačotah, papin käskyläme i kazakke vette otetah. Hyö i kyzytäh pedran ajajil, sanow:

— Mikaebo työ sarvittomil pedruoil ajatte?

— Ka työgi murendažitte, vai tiedäžitte. Korvuoid, korendod dai rengit pergažitte.

— Mind'äh?

— Ka vot tuo oli taluois slučei, kus myö proidimme. Kana munii d'äicän, se pandih paččahan piäh. Tuli hiiri, händäl häibäizi, n'uokal čuibaiži: padaine palaižikse, d'äičäine meni muruižikse. Ukko-akke itkedäh, kana kokottaw, lehme röngyw, hebo hirnakuoiččow dai myö sidä perid pedruoil sarvet pergitme.

Hyö otettih korvuoi murendettih, korendo pergettih, rengi pergettih kai paluoiakse. D'uostah kodih papad'd'alluo.

— Mibo, — sanow, — teile nygy sluččiheze?

— O, matuška, mi sluččiheze, ka sinägi pergažit kai lomut palaižikse, mi vai on, — sanow. — Nečigä taluois oli slučei: kana munii d'äičäizen, se pandih padaizeh, pandih paččahan piäh. Tuli hiiri, händäl häibäizi, n'uokal čuibaiži; padaine meni palaižikse, d'äičäine meni muruižikse. Sidä ukko da akke itkedäh, sidä kana kokottaw, sidä lehmäd möngytäh, sidä hebot hirnakuoitah, sidä pedrad lähtedih sarvittah, sidä myö tulimme korvuoitah, rengittäh — kai murendimme.

Hypniw papad'd'e: davai murendamah ast'uoid. Murendaw — mi padad on, samvuarad on, kattilad on — kai pergaw lat'taile, midä vai on. Ičelleh sovat kai rebitteli piäl i d'uoksow papilluo. Pappi i sanow papad'd'ale:

— Mi čuudiheze?

— Ka ku sinä tiedustanned, ga kai murendad kirikös, ei d'ia ni midäl!

— Ka mibo oli?

— Ka oli taluois nečigä starikke da staruwhe. Heil oli kana. Kana munii d'äičäizen. Sen pani padaizeh i sen nosti paččahan piäh. Tuli

hiiri, händäl häibäiži, n'ukal čuibaiži — padaine meni palaizikse, d'aičaine meni muruizikse. Sidä ukko da akke itkedäh, sidä kana kokottaw, sidä lehme rōngyw, sidä hebo hirnakuoiččow, sidä perid lähtediḥ pedrad sarvittah, sidä peräd meiden kazakke i käskyläine murettih korvui dai kai vezibrujad. D'uostih kodih, sanotah minule. Minä kai kodis murendin, mi vai midä oli.

Pappi ku hypni, čašan ku polt't'i lat'ette vaste, vai palašte hypniwl Mi oli obrazad, midä oli kirikös — kai murendi. Ičelleh riizut kai rebitteli piäl, kai tukad ičelleh dergajii.

Tuldah mir'anat kirikkōh. Pappi kai murendanu: ičelleh riizud rebitelnu piäl, tukat kai dergainnu, ištuw ku rostr'oppa.

Midä nygyoi? Pidāw žualob azui papin piäle da tyōndäi arheleiḥ, mikse häi kirikōn murenzi. Kučču w papin arhelei. Menōw pappi arheleilluo. Arhelei sanow:

— Ka miksebo sinä murendid kirikōn? Žualōb on sinun piäle!

— Ga presv'aščennikke vlodjko, ku tiedustanned tämän dielon, ka sinä kai murendat soboras. Da on slučei yhtes sijas: oli staruwhe da starikke, heil oli kukuoi da kana. Kana munil d'aičäižen, se pandah padah paččahan piäh. Tulow hiiri, händäl häibäidāw, n'ukal čuibai-daw: padaine menōw palaizikse, d'aičaine menōw muruizikse. Ukko da akke itkedäh, kana kokottaw, lehme rōngyw, hebo hirnakuoiččow, pedrad lähtiettiḥ sidä perin sarvittah. Papin käskyläine da kazakke lähtediḥ korvuoittah, papad'd'e kai murendi ast'aid pertiz i sobad rebitteli sidä peräd. Sidä perid minä murendelin kirikös kai mi vai oli.

Arhelei hypniw yläḥ, rāngähtih pappiluoiḥ da diekkonuoiḥ, štobj olis kai pergetty. Iče ku kadilon koskettaw lat'ette vaste, vai paluoid hypniw yläḥ. Pappi da diekkonat kai pergettiḥ. Arhelei ičelleh piäl riizud kai rebitteli i papil anduoi prikazan, štobj kai rebiteldäiž.

Tullah kirikkōh, značit mir'anad molebn'ah. Soboras mi oli, ga kai muretud, papil da diekkonuoiḥ riizud rebiteltyd, ištutah i arhelei omad riizud rebitelny oli. Azutah arhelein piäl zajavlenii i työtāḥ cairih. Cairi kučču w d'o arhelein, sanow:

— Miksebo sinä kirikōn kaiken murendelid dai riizud rebitelid?

A häi sanow:

— Ku sanuoižin sinule, ga, naš gosudar', kai sinä kaiken carstvan murendaizid.

— Mibo oli sid teil' čuwdo muguoiḥ, sano?

— Oli yhtes kyläs ukko da akke, heil oli kana žiivattad. Kana munii d'aičān, sen pani padaizeli paččahan piäh. Tuli hiiri, händäl häibäiži, n'ukal čuibaiži — padaine meni palaizikse, d'aičaine muruizikse. Ukko da akke itkemāḥ, kanaine kokottamah, lehme rōngymāḥ, sidä že hebo hirnakuoiččow. Ajettih pedran ajajad: «Mibo tās taluois slučcei-dunnu on — itkedäh nenga?». A heile i sanotah, što slučei nenguiḥ on. Pedran ajajat sarvet pedruoiḥ kolotittiḥ iāres. Ajetaḥ, ga oldah papin käskyläine da kazakke vedel: «Midäbo slučaidu on, pedran ajajat, ku pedruoiḥ sarvid ei ole?». — «Ka tyō tiedäižitte, ga pergažitte korvuoid dai rengit». Ku sanot't'ih, hyō perget't'ih. Tuldih kodih da ku papad'd'al

sanotah, papad'd'e kai pergi i rebitteli sobad. Papad'd'e ku sanow pà-pile, pappi pergi kirikön i kai murenzi. Pappi ku sanow minule, siid minä kai pergin dai rebittelin sobad.

Cairi sanow:

— Kačo, sanottih, *duhovnoil zvan'al* ei ole mielde, ga ei ni ole. Yhten d'äičän tiäh mi elod murendettih! Sinule viiśšuoi mer nakazaanii — temniččäh, stobj enämbi ed valgedad ilmad nägiis!

5. СТАРИК, СТАРУХА И КУРИЦА

Живут старик да старуха вдвоем одни. У них есть курица. Курица снесла яйцо. Положили его в горшочек, горшок поставили на печном столбе. Приходит мышка, хвостиком махнула, мордочкой ткнула — горшок упал на пол. Горшочек на черепки, яйцо на куски. Стали старик да старуха плакать, курица стала кудахтать, корова мычать, лошадь ржать. Едут мимо окон погонщики оленей.

— Почему, — говорят, — в этом доме плачут?

— В этом доме, — говорит, — есть старик да старуха, и у них есть курица. Курица снесла яичко, и его положили в горшочек, на печной столб. Пришла мышка, хвостиком махнула, мордочкой ткнула — горшочек на черепки, и яйцо на куски. О том старик да старуха плачут, о том курица кудахчет, из-за того вы у оленей рога отколотите.

Погонщики оленей отколотили у оленей рога из-за этого. Поехали погонщики оленей дальше. Смотрят — поповская служанка и работник пришли за водой. Они и спрашивают у погонщиков оленей:

— Почему вы едете на безрогих оленях?

— И вы бы отколотили, если бы знали. Ушаты, коромысла и ведра бы сломали.

— Почему?

— Да вот был случай в одном доме, мы тут проезжали. Курица снесла яйцо, его положили на печной столб. Пришла мышка, хвостиком махнула, мордочкой ткнула — горшочек на, черепки, на куски. Старик да старуха плачут, курица кудахчет, корова мычит, лошадь ржет, да и мы из-за этого рога у оленей сломали.

Те взяли ушат расколотили, коромысла сломали, ведра разбили на куски. Бегут домой к попадье.

— Что, — говорит [попадья], — с вами случилось?

— О матушка, что случилось? И ты бы все разломала на куски, что только есть. В одном доме был случай: курица снесла яичко, его положили в горшочек, поставили на печной столб. Пришла мышка, хвостиком махнула, мордочкой ткнула — горшочек на черепки, яйцо на куски. Из-за этого старик да старуха плачут, курица кудахчет, корова мычит, кони ржут, из-за того олени остались без рогов, из-за того мы пришли без ушата, без ведер — все разбили.

Вскочила попадья, давай бить посуду. Ломают что есть: котлы, самовары, горшки — все бросает на пол, что только есть. На себе всю одежду изорвала и бежит к попу. Поп и говорит попадье:

— Что случилось?

— Если бы ты знал, так все бы сломал в церкви, ничего бы не осталось.

— Да что такое?

— Да вот были в одном доме старик да старуха. У них была курица. Курица снесла яичко. Его положили в горшочек и поставили на печной столб. Пришла мышка, хвостиком махнула, мордочкой ткнула — горшочек на черепки, яичко на куски. Оттого старик да старуха плачут, курица кудахчет, корова мычит, лошадь ржет, из-за этого олени остались без рогов, наши работники и работница побили ушат и все, с чем за водой ходили. Прибежали домой, рассказали мне. Я все дома поломала, что только было.

Поп как вскочит, чашу бросил об пол. Все образа, что были в церкви, разбил. На себе рясу разорвал, все волосы повывергал.

Приходят миряне в церковь. Поп на себя не похож: ряса на нем порванная, волосы все повыверганы, сидит как растрепан. Что ж делать? Надо на попа жалобу написать и послать архиерею, почему поп в церкви все поломал. Вызывает архиерей попа. Приходит поп к архиерею, архиерей спрашивает:

— Почему же ты в церкви все поломал? На тебя жалоба есть.

— Если ты, преосвященный владыко, узнаешь об этом деле, то ты в соборе все переломашь. Был случай в одном месте: были старуха да старик. У них был петух да курица. Курица снесла яйцо, положили его в горшок и на печной столб. Приходит мышка, хвостиком махнула, мордочкой ткнула — горшочек на черепки, яичко на куски. Старик да старуха плачут, курица кудахчет, корова мычит, лошадь ржет, из-за этого олени остались без рогов, поповская служанка с работником остались без ушата, попадья побил в доме всю посуду и одежду изорвала. Поэтому и я поломал в церкви все, что было.

Архиерей вскочил на ноги, крикнул попам и дьячкам, чтобы все было поломано. Сам как трахнет кадилом об пол — только куски разлетелись. Поп и дьяконы все переломали. Архиерей на себе всю рясу разорвал и попу дал приказ, чтобы тоже все разорвал.

Приходят в церковь, значит, миряне, к молебну. В соборе что было — все разбито, на попе и дьяконах изорванные рясы, и архиерей на себе рясу разорвал. Написали на архиерея жалобу и послали царю. Царь вызывает архиерея, говорит:

— Почему ты в церкви все разломал и ризы порвал?

А он говорит:

— Если бы я тебе, наш государь, рассказал, то и ты все царство бы поломал.

— Что за чудо у вас приключилось, Расскажи.

— Были в одной деревне старик да старуха, у них было всего скотины одна курица. Курица снесла яйцо, его положили в горшок на печной столб. Пришла мышка, хвостиком махнула, мордочкой ткнула — горшочек на черепки, яйцо на куски. Старик да старуха плачут, курица кудахчет, корова мычит, лошадь ржет. Едут погонщики оленей: «Что в этом доме случилось — так плачут?». Им и рассказывают, какой был случай. Погонщики оленей сломали у оленей рога. Едут дальше — попов работник да служанка пришли за водой: «Что случилось, погонщики оленей, почему у оленей нет рогов?». — «Если бы вы знали, то разбили бы ушат и ведра». Когда те рассказали, они все и разбили. Приходят домой, и, когда попадьё рассказали, попадьё все переломала и одежду изорвала. Попадья как рассказала попу, поп все переломал в церкви. Когда поп сказал мне, тут я все поломал и порвал одежду.

Царь говорит:

— Смотри-ка, говорят, что у духовного звания нет ума, так и вправду нет. Из-за одного яйца сколько добра погубили. За это тебе высшее наказание — в темницу, чтобы белого света больше не видел.

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

6. KULDAINE DVORČU

Oli enne suuri, hānel oli kolme poigua da akku. Suuri iče oli ohotal kuz liāne, a sil aigua tuli Bessmertnoi i varraesti akan. Tuli kodih, ga akku ei ole i poijile sanow:

— Minun akan otti Bessmertnoi, pidāw mennā ečimāh.

Sellitāh poijat i lāhtijāh ečimāh kaikin. Ajettih, ajettih kaikin kolmei. Siid yhtes kohtas tuli vastah gora gu seiny: ei sua ajua ni astua. Vanhin velli sanow toikila:

— Midābo nygōi, vellet?

A nuarin velli Ivan Tsarevič sanow:

— Nostuat minu w goran piāle.

Hāi lāhtijes sanow:

— Jesli midā lōwdānen da lāhtenen iāreh tulemah, sid ottuat minu w iāreh, ālgiāt sinne jättiāt. Minā panen nuaran i sid lekahutan.

Hāi nowzi goran piāl, ga siā ni midā ewle, i astuw pāiwān ehtāsāh. Sit kaččow hāi, ga hānel iā suwri dvorču vaskehine. Meni pertih, ga pertiz neidiine šulkuw vāivoiččow. Se neidiine kyzyw:

— Midā, Ivan Tsarevič, tuliit tanne i kui piāziūt?

A Ivan Tsarevič sanow neidiīele:

— Ezmāi syātā da juata matkalaine i magaita yā, siid āskin kyzy! Dai neidiine syättāw, juattaw, pidāw yān, siid huandeksel myās i kyzyw. Ivan Tsarevič vastuaw:

— Minul otti muaman Bessmertnoi, edgo sinā tiijā libo edgo kuwluh, kunne pan!

Neidiine sanow Ivan Tsarevičal:

— Mene astu viā toine pāivy ehtāsāh, i tulow sinul vastah hobjaine dvorču, siā elāw minun sizār, eigo hāi tiijā.

Mugai ruadoi Ivan Tsarevič. Astui pāivān, i tuk hobjaine dvorču vastah. Hāi meni pertih, ga mugai on — neidiine vāivoiččow šulkuu. Myās neidiine kyzyw:

— Midä, Ivan Tsarevič, tuliit tänne?

Ivan Tsarevič sanow:

— Ezmäi syätä da juata, äskin kyzy, anna matkalane huagavuw. Häi syättäw, juattaw, sijat azuw dai yän magaittaw. Huandeksel nowzow, i kyzYW myäs neidiine. Dai Ivan Tsarevič sanow, kui on dielo. Dai neidiine nevvow händy iälle, sanow:

— Astu päivy kai ehtäessäh, sit tulow sinul vastah kuldaine dvorču i siä eläw minun vahnembi sizär, eigo häi tiijä.

Dai häi astui, i tuli vastah kuldaine dvorču. I häi meni dvorčah. Myäz neidiine ištuw i šulkuuvjšivoiččow, prekrasnoi čoma. Dai neidiine se kyzYW:

— Midä, Ivan Tsarevič, tänne tuliit?

Häi vastuaw:

— Tuliin muamua eččimäh, ga älä sinä ezmäi kyzy matkalastu. Ezmäi syätä, juata matkalaine i magaita yä, äskin kyzy.

Syätti, juatti da pani maguamah. Huandeksel nouzow, i neidiine kyzelöw kai. A Ivan Tsarevič i sanow, kui on dielo, što häi menöw muamua eččimäh. Dai kyzYW:

— Edgo sinä tiijä minun muamua?

A neidiine vastuaw:

— Tiijän i nevvon, kus on muamas, Mene astu, astu i tulow vastah ylen suwri kodi, pordahien iäs on suuri kivi. Sinä ku menet sen kiven lua, siit tulow kuwzipiähiine mado vastah, sinuu duavimah, ga sinä leikot sil kai piät. Siit tulow yheksäpiähiine, ga myäs leiko piät. Siit jälgimäžekse tulow kaksitoštupiähiine, jesli sil voinnet leikata, sit piäzet muamas lua. A ku suannet muamuadas, ga, Ivan Tsarevič, tule minun lua prošken'nal.

Prostihez Ivan Tsarevič i lähtöw iälle. Astuw, astuw, dai tuli suwri kodi vastah, kui nevvoi, kivi pordahien iäs. Dai meni kiven lua, i tuli hänen lua kuwzipiähiine mado. Häi kai piät leikoi. Sit tuli yheksäpiähiine mado, dai sil kai piät leikoi. Sit tuli kaksitoštupiähiine jälgimäžikse. Häi yksitoštu piädy leikoi, a kahtestoštu hänen kel torevui. Mado ruaničči sormen Ivan Tsarevičal, ga häi ku oli hruabroi, ga i kahtendentoštu piän leikkai. Sit häi piäzi pertih. Meni pertih, proidii mene tiijä min komnattua, ga ei ni kedä ole. Jälgimäžeksi meni yläh, ga muamah siä. Muamah ihastuw, hyppiäw kaglah. Dai kyzYW:

— Midä sinä tänne tuliit?

A poigu vastuaw:

— Minä tuliin, mama, sinuu eččimäh, läkkä minun kel kodih.

A muamah sanow:

— En voi lähtiä, Bessmertnoi tabuaw. Häi seičas on ohotal, a sinä nygöi peittäi hualita. Mihä sinun panen päčin keskeh. A minä hänel tulduw kyzyn, kuz on hänen surmu, a sinä kuwndele.

Vai ehtii peittäi poijan, dai Košči Bessmertnoi tuli pertih. Pertih ku tuh dai sanow:

— Ohoh, täs on ruskoidu duwhuul

A muamah sanow:

— Mužikat projittih pihua myä i käydih vetty juamah.

A ičelleh on poigu pertis peitos. Istuttihes stolah vastakkai juamah, dai kzyzw muamah Košči Bessmertnoi:

— Vot minul himoittaš tiediä, kus sinun surmu on?

A häi vastuaw:

— Ohoh, minul surmu on loitos kabrastettu, ei minun surmua ni kel sua löydiä. Järvirannal on suwri puw, sid on suwri hawdu kaiwettu, hawdah on pandu suwri sundugu rawdaine, sundugas on eläv hukku, hukal vačas on reboi, reboil vačas on jänöi, jänöil vačas on kana, kanal vačas on jäiččy, jäičän sydämes on minun surmu. I ken voiš sen jäičän suvva i iškiä minul oččah, sit minä kualizin.

A poigu kai kuwndelow hänen taratukset. Košči Bessmertnoi myäs syäw, juaw dai lähtöw ohtal. I poigu prostihes muamah kel i lähtöw Košči Bessmertnoin surmua eččimäh. Häi astuw, astuw järvirandua myä i löydäw sen suwren kuwzen. I rubiaw kaivamah hawdua i havvas löydäw sundugan. Sundugan avuaw, a siä eläv hukku. Dai sil vačan avai, a vačas mugai oli reboi. I avuaw reboil vačan, a reboil vačas kana. Dai häi avuaw kanal vačan, kanal vačas jäiččy, dai ottäw jäičän i lähtöw iäres. Tulow muamah lua, andaw jäičän muamalleh, a iče peitähes. Myäs tulow Košči Bessmertnoi kodih, i ruvetah vastakkai syämäh. Sit muamah otti karmanis jäičän i iški Košči Bessmertnoidu oččah jäičäl. I se kuali. Poigu tuli peitoz iäreh i hastuksiz i sanow muamalleh:

— Läkkä nygöi iäreh.

Dai lähtiätäh iäreh i tullah sih kuldaizeh dvorčah, kudamas on neidiine. Tuldih sih, ga neidiine i hastuw viä enämbäl, häi gostittaw, magaittaw yän. Huandeksel nostah, syvväh, juvвах dai ruvetah prostimahez, a neidine itkuu i sanow:

— Ivan Tsarevič, älä velli jätä.

Dai Ivan-Tsarevičal žiäli rodih dai otti neidižen. Hyö pril'ubittihes, i otti mučoiakse. I lähtiättih iälle astumah. Iäreh lähtijez Ivan Tsarevič kačahteleh jällel, a neidine sanow:

— Midä sinä jällel kačod, vai dvorčua on žiäli?

Häi vastai:

— Žiäli on.

Dai neidiine meni projii ymbäri dvorčaz, i dvorču meni keräžekse, i sen andoi Ivan Tsarevičal karmanih. Lähtiättih astumah, ga neidiine sanow:

— Viä veššizen unohtiin, ga olgah, en enämbi lähte.

Dai tullah dvorčah hobjaižeh, a sizär se i hastuw, ku tuldih, dai vastai heidy, gostitti. Muattih yä yhtes kai. Huandeksel nostih, ruvettih prostimahez, ga neidiine itkuu: «Ottuad minuu keral». Dai Ivan Tsarevič duwmaiččow: «Otan, hyvä mučoi roihez vellel». Lähtiättih iälle astumah vaskižeh dvorčah. I tuldih vaskižeh dvorčah kolmanden sizären lua. Häi myäs priimi i hastuksis. Muattih yä, i huandes tuli, ruvettih lähtemäh, ga neidiine itköw: «Ottuad minuu sinne keräl». Ivan Tsarevič duwmaiččow: «Hyvä roihes, kolmandel vellel mučoi». I jo lähtiätäh kaikin matkah i tuldih sen goran lua. Ivan Tsarevič ottaw sidow nuarah vaskižez dvor-

čaz otetun neidižen i tyändaw alah, a velled viä vuatetah. Neidiine ku menöw alah, ga se ku čoma on, ga vahnin velli i sanow: «Tämän minä mučoiakse otan». Ivan Tsarevič ottaw dai tyändaw hobjažen dvorčan neidižen. Myäs ku neidiine menöw alah, ga se ku on čoma, ga vahnembi velli i myäs sanow: «Tämän minä otan mučoiakse, a tämä sinul». Ivan Tsarevič myäs lekahuttaw nuaras i tyändaw kuldažen dvorčan neidižen. Se ku meni sinne, ga vahnembi velli myäs i sanow: «Tämän minä otan, a tämä sinul». Ivan Tsarevič myäs i lekahutti nuaras i tyändi muamuadah. Toižed velled muamuadah ku otetah, ga siit paištah: «Nygöi häi sai äijän, a myä ni midä — davai nuaran leikkuammo da jätämmö händy sinne». I leikattih se nuaru. Dai hyö paištah: «Nygöi ku menemmö kodih, sit sanommo: yksi saimmo muaman, a toine neidižet». I hyö varaitetah neidižii: «Jesli sanonetto, što häi teidy sai, sit tappam». A Ivan Tsarevič jäi goran piäle, kävelöw da vai itköw, ni kul ei sua piästä. Ivan Tsarevičale juahtui miäleh, midä hänele mučoi taratti, mi liänöw veššine jäi dvorčan lua. Häi tuli sih, ga siä piäni škatulline. Dai avuaw škatulin, a siä hyppiäw linduine. Iče linduine kyzyw:

— Midä, Ivan Tsarevič, sinul pidäw?

A häi vastuaw:

— Minul pidäs kodih piästä, ku vellet tänne minuu jätettih.

A se linduine sanow:

— Išto minul selgäh.

I se linduine rodih ku heinysuattoine. Dai se linduine toi händy omah sijah. Linduine rodih järilleh endiželleh, i järilleh pani Ivan Tsarevič škatulih. Häi ei mene pr'uamo omah kodih, a menöw sapožniakan lua yäkse taričez.

Vellet ku tul dih kodih, sit vahnembi velli rubei kuldažen dvorčan neijisty mučoiakse ottamah, a neidiine mene ei. Neidiine sanow: «Sid äski lähten minä sinul mučoiakse, ku azunet moižet bašmakat, mittumii minä koiš piin, äski venčah lähten». Seičas mendih zakažittih i kučutah kaikkii sapožniakkoi i Van'kua kučutah, a se oli ylen humalniakku. Tämän Van'kan lua oli Ivan Tsarevič, i häi käski ottuakse azua botinkat. Häi menöw tsuarin lua i otah azua botinkat. Tulow kodih matin kel, humalažes i sanow akal:

— Meni minun piähyt, ku en voinne azua moižii botinkoi tsuarin tyttärel.

A yäniakku sanow izändäl:

— Pane huali jumalah, viäre muata. Huandes mudroimbi ehtiä on.

Häi yäl menöw dai avuaw škatuližen, kuduan toi keräl. Sil keskiä linduine pörähtäh i kyzyw:

— Midä pidäw, Ivan Tsarevič?

A häi vastuaw:

— Tsuarin tyttärel pidäw botinkat, mittumis siä käveli.

Vai ehti sen sanua, i linduine pörähtäh lendoh i lendäw sinne i tuaw botinkat, mittumii siä pidi tsuarin tytär.

Tuli dai nostattaw izändän huandeksel aigažeh i sanow izändäl:

— Mene viä tsuaril botinkat.

Ižandy vedi meni botinkat tsuaril, a net rodih parahite tyttärel. Sil mužikal lähtijes annettih äijy dengua. Tulow kodih.

Tsuarin tytär pani botinkat jalgah, a net on parahite, a sit tsuarin tyttärel ku ei ole himo lähtiä venčah, ga sit sanow: «Minul viä pidaw moine pluat't'u, mittumis minä koiš kävelin». Myäs kaikil portnihoil annetah zakuazat. Ombelutetah kaikil, a ni ken ei voi ommella parahite, a Van'kan lua viä ei käwdy. Nygöi ostettih šulkuu i viätäh ombelukseh Van'kan lua. Sit sanotah:

— Van'ka azui botinkat parahite, ga eigo voigi pluat't'ua ommella.

Sit kučuttih Van'kua, i Van'kal lähtijes Ivan Tsarevič sanow:

— Ota myäs zakuazu.

Ižandy se varuaw ottajes, ku händy varaitetah: «Jesli et voinne azua moštu pluat't'uadu, sit piä menöw».

A Ivan Tsarevič lähtijes sanow:

— Ota, azummo.

Meni tsuaril i ottaw zakuazan, a sil denguadu annetah äijy. Tulles häi juaw viinuadu dai tulow kodih humalažes. Tulow dai sanow akal:

— Meni nygöi minun piähyt.

A yäniakku sanow:

— Viäre muata, huandes on mudroimbi ehtiä.

Viärtih muata, dai Ivan Tsarevič meni avai škatulin, dai linduine lendi i kyzyi:

— Midä pidaw, Ivan Tsarevič?

Häi sanow:

— Tsuarin tyttärel pidaw pluat't'u, mittumis häi koiš käveli.

Dai vai ku ehtii sen sanua, dai linduine pörähtih lendoh dai pluat'an seičas toi. Huandeksel nostattaw Ivan Tsarevič ižändän i sanow:

— Pluat't'u on valmiš.

Dai huandeksel pluat'an vedi sinne. Tsuarin tytär pani piäl dai se parahite, i sanow: «Vot tämä on parahite. Nygöi viä minä en lähte venčah. Minul viä pidaw dvorču, mittumaz minä siä eliin». Myäs kaikil plotniakoil annetah zakuazu, ga ni ken ei viä ottai. Sit prid'otse andua Van'kal zakuazu. Sit Van'kua kučutah, eigo häi voi azua, ku häi azui pluat'an da botinkat, ga eigo voi häi azuagi dvorčua. Sit ižandy tuli, a lähtijes yäniakku sanow: «Ottaije, azut sinä dvorčan». Myäs meni tsuarin lua i ottihes, i hänel annettih äijy dengua. Häi myäs tulow kodih humalažes. Kodih ku tuli, ga yäniakku sanow:

— Minä nygöi lähten iče dvorčua luadimah.

Ivan Tsarevič yäl menöw tsuarin dvorčan lua. Häi meni sinne, otti kuldažen jäiččäžen i vilhtättaw, dai dvorču valmis. Se dvorču ku rodihes, i häi meni sil paradnoil, kus se andilas lähtöw silmii pezemäh, i ottaw pal'azen kädeh, butto häi valmištaw (dvorčua). Tulow andilas silmii pezemäh niidy paradnoloi myä. A häi tuli enne silmiän pezendyä dvorčua kaččomah. Tulow paradnoil, a Ivan Tsarevič butto sit valmištelow dvorčua. A neidiine ku sih tuli, ga häi dogadi Ivan Tsarevičan i hyppäi kaglah:

— Kus päi sinä tuliit?

Siit hyö mollei tsuarin lua i sanow tsuaril:

— Vot tämä minuu löydi.

Sit tsuari kyzeli kai, kui oli. Sen jälgeh tsuari tuskevui dai toižet pojat tyändi koiš iäreš.

Ivan Tsarevič i se neidiine mendih yhteh da nygöi viä eletäh.

Minä olin siä svuad'bas, annettih pohjattomal r'umkal viinua, dai minä humalduin, hoš usji myä valuttih.

6. ЗОЛОТОЙ ДВОРЕЦ

Был царь. У него было три сына и жена. Царь был где-то на охоте, а в то время пришел Бессмертный и украл жену. Вернулся домой, а жены нет. И говорит сыновьям:

— Мою жену взял Бессмертный, надо идти искать.

Собрались сыновья, и поехали все искать. Ехали, ехали все трое. Встретилась им гора, как стена: ни проехать, ни пройти. Старший брат говорит другим:

— Ну, что теперь делать, братья?

А младший брат, Иван Царевич, и говорит:

— Поднимите меня на гору.

Уходя, говорит:

— Если что найду и буду возвращаться, примите меня обратно, не оставьте там. Я спущу веревку и дерну за нее.

Поднялся он на гору, а там ничего нет. Шел он весь день до вечера. Смотрит, перед ним большой медный дворец. Зашел в избу, а в избе девушка шелком вышивает. Спрашивает девушка:

— Зачем, Иван Царевич, сюда пришел и как попал?

Иван Царевич отвечает девушке:

— Перво-наперво накорми и напой путника, спать уложи, потом уж и спрашивай.

Девушка накормила его, напоила, спать уложила, а утром снова и спросила. Иван Царевич отвечает:

— Мою мать взял Бессмертный, так не знаешь ли ты или, может, слышала, куда он ее унес?

Девушка говорит Ивану Царевичу:

— Иди дальше еще день до вечера, встретится тебе серебряный дворец, там живет моя сестра, не знает ли она?

Иван Царевич так и сделал. Шел целый день, пришел к серебряному дворцу. Зашел в избу, так и есть, там девушка шелком вышивает. Девушка так же спрашивает:

— Зачем, Иван Царевич, пришел сюда?

Иван Царевич говорит:

— Сперва накорми, напой, потом и спрашивай, дай путнику отдохнуть.

Она накормила, напоила его, постель приготовила и спать уложила. Встает он утром, девушка и спрашивает опять. Иван Ца-

девич рассказывает, какое у него дело. Девушка рассказала, как дальше идти, говорит:

— Иди день до вечера, там будет золотой дворец. В нем живет моя старшая сестра, не знает ли она?

Да и пошел он, и встретился ему золотой дворец. Зашел он во дворец. Там тоже девушка сидит, шелком вышивает, красавица невиданная. Девушка и спрашивает:

— Зачем, Иван Царевич, сюда пришел?

Он отвечает:

— Пришел мать искать. Только ты первым делом не допрашивай путника, а накорми, напой его и спать уложи. А уж потом спрашивай.

Накормила, напоила и спать уложила. Утром встал, девушка расспросила обо всем. Иван Царевич рассказал ей, в чем дело, что он идет искать мать, и спрашивает:

— Не знаешь ли ты, где моя мать?

А девушка отвечает:

— Знаю и расскажу, где твоя мать. Пойдешь вперед, придешь к большому дому, перед крыльцом большой камень. Как только ты подойдешь к камню, тебе навстречу выйдет змей шестиглавый, чтобы тебя задавить, а ты отрубишь ему все головы. Потом выйдет девятиглавый, ему ты тоже отруби головы. Наконец придет двенадцатиглавый змей, если у него сумеешь отрубить головы, тогда попадешь к матери. А как найдешь мать, то приходи, Иван Царевич, попрощаться со мной.

Прощался с ней Иван Царевич и пошел дальше. Шел, шел, пришел к большому дому, как говорила девушка, и камень перед крыльцом. Встал на камень и вышел к нему шестиглавый змей. Он все головы отрубил. Выходит девятиглавый змей, и у того все головы отрубил. Последним вышел двенадцатиглавый змей. Он одиннадцать голов отрезал, а двенадцатая стала с ним бороться. Змей ранил палец Ивана Царевича, но Иван Царевич как был храбрый, то отрубил и двенадцатую голову. Теперь он попал в избу. Зашел в избу, прошел, поди знай, сколько комнат, а нигде никого нет. Наконец он пошел наверх — мать там. Мать обрадовалась, бросилась на шею. Спрашивает:

— Зачем ты сюда пришел?

А сын отвечает:

— Я пришел, мама, тебя искать, пойдем со мной домой.

А мать говорит:

— Не могу пойти, Бессмертный догонит. Он сейчас на охоте, а ты поскорей спрячься. Я тебя спрячу за печкой. И как он придет, я спрошу, где его смерть, а ты слушай.

Только успела спрятать сына, как в избу вошел Кошес Бессмертный. Зашел в избу и говорит:

— Ох-ох, русским духом пахнет.

А мать говорит:

— Мужики по двору прошли и зашли воды попить.

А у самой в избе сын спрятан. Сели пить за стол друг против друга, и спрашивает мать у Кощея Бессмертного:

— Вот хотелось бы мне знать, где твоя смерть?

А он отвечает:

— Ох-ох, моя смерть далеко убрана, никто мою смерть не найдет. На берегу озера есть большое дерево, под ним выкопана большая яма, в той яме большой железный сундук, в сундуке живой волк, в животе у волка лиса, у лисы в животе заяц, в зайце курица, у курицы яйцо, в яйце моя смерть. И кто смог бы достать это яйцо и ударить мне в лоб, тут бы я умер.

А парень слушает все его разговоры. Кошей Бессмертный поел, попил и пошел на охоту. И сын попрощался с матерью и пошел искать смерть Кощея Бессмертного. Шел, шел он по берегу озера и нашел ту большую ель. Стал копать яму, нашел там сундук. Открыл сундук, а там живой волк. Распорол волку брюхо, так там и была лиса, вскрыл лисе брюхо — а у лисы в брюхе курица, вынул яйцо из курицы и пошел. Вернулся к матери, отдал ей яйцо, а сам спрятался. Опять пришел Кошей Бессмертный домой, и стали вместе есть. Потом мать взяла из кармана яйцо и ударила им в лоб Кощея Бессмертного. Тот умер. Сын обрадованный вышел из своего укрытия и сказал матери:

— Пойдем теперь прочь отсюда.

И пошли. Приходят к золотому дворцу, где живет эта девушка. Пришли к ней, она еще больше обрадовалась, угостила их, спать уложила. Утром встали, поели, попили и стали прощаться. А девушка в слезы, и говорит:

— Иван Царевич, не оставь ты меня!

Ивану Царевичу стало жалко, и он взял девушку. Они полюбили друг друга, и он взял ее в жены. Пошли дальше. Иван Царевич все назад оглядывается. Девушка спрашивает:

— Что ты все назад смотришь, или дворца жалко?

Он отвечает:

— Жалко.

Девушка обошла вокруг дворца, собрала дворец в клубок и отдала его Ивану Царевичу в карман. Пошли дальше, девушка и говорит:

— Еще вещичку забыла, да ладно, не буду возвращаться.

Пришли в серебряный дворец, сестра и обрадовалась, что пришли, да встретила их, угостила. Переспали ночь. На утро встали, стали прощаться, а девушка в слезы: «Возьмите меня с собой». Иван Царевич и думает: «Возьму, хорошая жена брату будет». Пошли дальше к медному дворцу. Пришли в медный дворец к третьей сестре. Она тоже приняла их с радостью. Переночевали, настало утро, собрались уходить [они], девушка и заплакала: «Возьмите меня с собой». Иван Царевич думает: «Хорошая будет третьему брату жена». Отправились они в путь все вместе и при-

шли на ту гору. Иван Царевич берет и привязывает к веревке девушку из медного дворца и спускает вниз, а братья там все ждут. Девушка когда спустилась вниз, а красивая как была, так старший брат и говорит: «Я возьму ее в жены». Иван Царевич спускает девушку из серебряного дворца. Опять как девушка спускается вниз, а красивая была, так старший брат и говорит: «Эту я возьму в жены, а ту тебе». Иван Царевич снова дергает за веревку и отправляет девушку из золотого дворца. Она как спустилась туда, старший брат опять и говорит: «Эту я возьму, а эта тебе». Иван Царевич опять дернул за веревку и спустил мать. Братья как приняли мать, стали говорить: «Вот бы много получил, а мы ничего, давай обрежем веревку и оставим его там». И перерезали ту веревку. А между собой говорят: «Теперь как придем домой, так скажем: один спас мать, а другой достал девушку». А девушек они запугивают: «Если скажете, что он нас выручил, тогда убьем».

А Иван Царевич остался на горе, ходит и плачет, никак не выбраться. Иван Царевич вдруг вспомнил, как ему жена сказала, что какая-то вещица осталась у дворца. Пришел он туда, а там маленькая шкатулка. Открывает шкатулку — оттуда птичка выскакивает. Птичка и спрашивает:

— Что тебе надо, Иван Царевич?

А он отвечает:

— Мне надо бы домой попасть, братья меня оставили здесь.

А птичка и говорит:

— Садись мне на спину.

А птичка стала с копну сена. Доставила она его на родину. Опять превратилась в такую же маленькую, и он положил ее в шкатулку. Он не пошел сразу в свой дом, а попросился на ночь к сапожнику.

Как вернулись братья домой, старший брат хотел жениться на девушке из золотого дворца, а девушка не идет. Она говорит: «Только тогда я стану твоей женой, если добудешь такие башмаки, какие я дома носила. Только тогда к венцу пойду». Тут же пошли заказывать, созвали всех сапожников и Ваньку позвали, а он был пьяница. У того Ваньки и был Иван Царевич, и он велел взяться шить ботинки. Идет домой, мотом кроет, пьяненький, и говорит жене:

— Пропала моя головушка, если не сумею сшить эдаких ботинок дочери царя.

А ночлежник говорит хозяину:

— Положись на бога, ложись спать. Утро вечера мудренее.

Выходит он ночью, да и открывает шкатулочку, которую принес с собой. Птичка вспорхнула и тут же спрашивает:

— Чего тебе, Иван Царевич?

Он отвечает:

— Царской дочери надо достать ботинки, в каких она там ходила.

Только успел он это сказать, как птичка вспорхнула и улетела, и принесла ботинки, какие [дома] носила царевна.

Будит хозяина рано утром и говорит ему:

— Поди отнеси царю ботинки.

Хозяин пошел, отнес ботинки к царю, они пришлись девушке в самую пору. Мужу дали много денег. Пришел домой.

Обула царевна ботинки, а они в самый раз, а ей как не хочется идти к венцу, она и говорит: «Мне еще надо такое платье, в каком я дома ходила». Опять всем портным дают заказ. Шьют все, а никто не может сшить как надо. А к Ваньке еще не ходили. Купили снова шелку, чтобы отнести шить к Ваньке. И говорят:

— Ванька лучше всех сделал ботинки, так не сможет ли он и платье сшить.

Позвали Ваньку, а перед уходом говорит [ночлежник]:

— Бери опять заказ.

Хозяин боится брать, как его страшат: «Если не сошьешь такое же платье, голова с плеч».

А Иван Царевич говорит:

— Бери, сделаем.

Пошел к царю, взял заказ, и денег ему много дали. По пути он выпил, возвращается домой пьяненький. Идет и говорит жене:

— Пропала теперь моя головушка.

А ночлежник и говорит:

— Ложись спать, утро вечера мудренее.

Легли спать, Иван Царевич вышел, открыл шкатулку, птичка вылетела и спрашивает:

— Чего тебе, Иван Царевич?

Он говорит:

— Царевне надо платье, в каком она дома ходила.

Только успел это сказать, птичка улетела и сейчас же принесла платье. Утром будит Иван Царевич хозяина и говорит:

— Платье готово.

И отнес утром платье. Надела царевна, оно ей в самый раз, и говорит: «Вот это в самый раз. Но я еще не пойду к венцу. Мне еще нужен дворец, в каком я там жила». Опять всем плотникам дают заказ, но никто не берется. Придется Ваньке дать заказ. Ваньку зовут, не может ли он построить, раз сшил ботинки и платье, не сможет ли построить дворец. Пошел хозяин, а перед уходом ночлежник и говорит: «Возьмись, построишь ты этот дворец». Пошел к царю и согласился, ему денег опять надавали. Приходит он домой подвыпивши. Пришел домой, постоялец и говорит:

— Я теперь сам пойду дворец строить.

Иван Царевич ночью идет к царскому дворцу. Пришел туда и вынул золотое яичко, развернул, и дворец готов. Дворец сделал и

пошел он к парадной, где невеста выходит умываться. Взял молоточек в руки, будто заканчивает работу. Выходит невеста умываться по парадной, и пошла первым делом на дворец посмотреть. Выходит, а Иван Царевич будто еще доделывает. А девушка как подошла да и увидела Ивана Царевича, бросилась ему на шею:

— Откуда ты явился?

Потом они оба к царю, и говорит [она] царю:

— Вот он меня нашел.

Царь потом все расспросил, как и что было. После этого царь разгневался и выгнал сыновей из дому.

Иван Царевич и эта девушка поженились, и теперь еще живут.

Я была там на свадьбе, дали в бездонной рюмке вина, и я опьянела, хоть по усам все вытекло.

7

Elettii uk da ak. Oli heil' kolme t'yt'ärd. Läht' izä meččäi ruadamai, a emä d'äi kalitoid paštamai.

Izä i sanuw emäle:

— Kalitad paštad dai työndä mille palavid!

Emä paštoi kalitad dai työndäw nuorimbad t'yt'ärd viemäi izäle kalitoid dai nakažiw hälle:

— Mäned, mäned, tulow kakš dorogad. Šiid ringu kudamai dorogai tulda.

T'yt'är i läht'. Mänöw, mänöw, muga i on, tulow kakš dorogad. Hän i ringuw:

— Kudamai dorogai tulda?

A dorogad ned oldii: ykš kulddorog, toine ligadorog. Hälle linduine ringuw:

— Kulddorogai, kulddorogai tule!

A kondii ringuw:

— Ligadorogai, ligadorogai tule!

Kondii ringuw d'alombi čiurušt, ka neičukaine i läht' ligadorogai. Mäni, mäni ligadorogad myöi. Tuli pertiine, hän šihi pertiizei i mänöw. Ku mäni — pertiš kondii händäi taboit', karžinaï pani, iče kalitad i šyöi.

Tulow ildal izä kodii suur', akale sanuw:

— Mind'äi palavid ed t'yöndäny mille?

A ak sanuw:

— T'yönžin nuorimbad t'yt'ärd myöi, no hän ni iče ei tulnu kodii.

Yö magat't'ii. Op'ät' izä lähteskäž meččäi dai nakažiw akale:

— T'änäpäi štobj t'yöndä kalitoid.

Iče i läht'. Ak op'ät' paštaw kalitad dai t'yöndäw tošt t'yt'ärd kalitoid viemäi i nakažiw:

— Mäned, mäned, tulow kakš dorogad, ka šinä ringu, kudamai dorogai tulda.

T'yt'är i läht'. Mänōw, mänōw, tulow kakš dorogad. Hän i ringuw:

— Kudamai dorogai tulda?

Hälle čiuruine ringuw:

— Kulddorogai, kulddorogai tule!

A kondii ringuw:

— Ligadorogai, ligadorogai tule!

Kondii ringui d'alombi, ka neičukaine i läht' ligadorogai. Mäni, mäni dai puutui kondijan pertiižei. Kondii se händäi taboit', karžinaš pani, a kalitad iče t'šyöi.

Tulow ižä ildal mečäs suur' i sanuw akale:

— Mind'ai mille kalitoid ed t'yöndäny?

Ak sanuw:

— Ka t'yönzin vet' d'o tošt t'yt'ärd myöi, ka ni iče op'ät' kodii ei tulnu!

Duumaitaw, kunne heil'l' d'o toine t'ytär kadoi. Magattii yö. Huonduksel op'ät' ižä lähtöw mečči dai nakažiw akale, štošt palavjd hälle t'yöndäiž. Ak op'ät' i paštelow kalitoid dai t'yöndäw ukole d'o vahnimad t'yt'ärd myöi i nakažiw op'ät' hälle:

— Mäned, mäned, tulow kakš dorogad, ka šinä i ringu, kudamai dorogai tulda.

T'yt'är i läht'. Mäni, mäni, ka tulow i kakš dorogad, neičukaine i ringuw:

— Kudamai dorogai tulda?

Čiuruine hälle vastai ringuw:

— Kulddorogai, kulddorogai tule!

A kondii ringuw:

— Ligadorogai, ligadorogai tule!

Kondii ringui d'alombi, ka neičukaine i läht' ligadorogai. Mäni, mäni dai tuli pertiine, hän sihi pertiižei i mäni. Kondii se händäi taboit', karžinaš pani, a iče kalitad i šyöi. Ištutaw kai sizareksed karžinas i duumaitaw, mite n'gy kodii piestä.

A kodis ižä da emä tože tuužitaw, it'kedäw, kunne heid'en t'yt't'äred kadottii.

A kondii vahniman t'yt't'ären pani emändäksi. Hän kondijale keit'äw, paštaw da sizarile andaw. Kondii päiväksi kävyi mečči ičelle šyömišt ecčimäi. Vot vahnim sizar' i vjdumoič, mite kodii piestä, sanuw sizarile:

— Minä teid, end'žimäi yht šiid tošt panen havadoi da t'yöndän kondijad viemäi meile kodii tatala da mamale goščinčad.

Tulow kondii kodii, ka emänd se i sanuw hälle:

— Huomen ku tuled mečäs piäi, ka pordahil lienöw havad goščinčoidenke, se šinä vie meile kodii mamale da tatala goščinčad da pordahile lykäidä, a minä ištuzen katoksele da rubedan kaččomai, edgo sinä avida havadod da syö. Vai rubenned avaimmai havadod, dai ringun!

Kondii se i soglassizow. Tošt päiyän vahnim sizar' panow nuoriman havadoi dai view pordahile, a iče nouzow katoksele dai ištuzow šinne. Tulow kondii mečäs piäi, nägöw, havad on pordahil. Ottaw havadon

šel'gäi dai lähtöw viemäi. Kandoi, kandoi dai duumajiw: «Äijän mid'ä liene pannu, d'yged on kantta, vuota vai minä kačon, midä sigäl on». Rubež havadod riiččimäi, a neičukaine katoksel piäi i ringuw:

— Minä n'ägen, šinä šyödä tahtod goščinčad, vie edelläi!

Kondii kačöw, ka hän ištuw katoksel, dai lähtöw edelläi viemäi, ei ni kačo, midä on havados. Mäni, mäni, da kodin pordahile i lykäiž havadon, a iče d'uoste tagare meččäi. Ižä da emä ihastuttii, što heile pordahile t'yt'är tuodii.

Toižen päivän vahnim sizar' op'ät' i sanuw kondijale:

— T'änäpäi op'ät' ku tuljed mečäs piäi, dai ota havad pordahil goščinčoidenke dai vie mamale da tatale, a minä ištuzen katoksele. Vai rubenned riiččimäi havadod, minä n'ägen dai ringun.

Op'ät' muga že ruadoi: toižen sizaren pani havadoi, šidoi havadon i viei pordahile, a iče nouž katoksele. Kondii tuli mečäs piäi, ot' havadon šel'gäi i läht' viemäi. Kandaw, kandaw dai duumajiw: «Mid'ä liene on d'alo d'yged, vuota vai kačon, mid'ä on havados!». Dai rubedaw riiččimäi havadod, a neičukaine i ringuw katoksel piäi. Kondii i heit'äw riiččindän i lähtöw edelläi viemäi, ei ni kačo mid'ä havados on. View ižän da emän pordahile dai lykäidäw havadon, iče i d'uoksow meččäi. Ižä da emä tuldaw pordahile, ka d'o toine t'yt'är kodii tuli, vie d'alombi ihas-tuttii.

Kondijannu on vai n'ygy ykš sizarekšie, vahnim, i duumajiw, mite n'ygy icelle piästä kodii dai vjidumaiččow: ombelow tob'd'an mučakon, ištuttaw katoksele, a iče mänöw havadoi. Tulow kondii ildal, op'ät' muga že ottaw havadon šel'gäi dai lähtöw viemäi. Kandaw, kandaw dai duumajiw: «Mid'ä liene t'änäpäi on vie d'ygedembi, vuota vai kačon, mid'ä on havados». Ku rubedaw heit'äw ižän havadod šel'gäs piäi, ka neičukaine i ringuw havados piäi, a kondii se kačöw katoksele piäi i duumaiččow, se ištuinik i ringuw, dai lähtöw edelläi viemäi. Op'ät' i view i lykäidäw kodii pordahile. Emä da ižä d'uostaw pordahile, ka šigä d'o vahnim t'yt'är, d'alo ihastuttii, što kai t'yt'äred heil'Y n'ygy kodis.

A kondii mänöw kodii dai ringuw mučakole:

— Tule katoksel piäi iere!

A mučak ni liikahta ei. Hän op'ät' i ringuw:

— Vai et tulne šigä piäi iere, ka tulen šinne i d'alo lyön, pergän surmile!

A mučak se ni liikahta ei. Kondii nouzow katoksele, ottaw mučakon, šylgöw da lykäidäw alahakše.

Muga neičukaized i muanitettii kondijad.

7. [МЕДВЕДЬ И ТРИ СЕСТРЫ]

Жили муж и жена. Было у них три дочери. Отец пошел в лес дрова рубить, а мать осталась калитки печь.

Отец и говорит матери:

— Испечешь калитки, так пришли мне горяченьких.

Мать испекла калитки и посылает младшую дочку к отцу с калитками и наказывает ей:

— Пойдешь, будет две дороги. Там крикнешь, по которой дороге идти.

Дочка и пошла. Идет, идет, так и есть — две дороги. Она и кричит:

— По которой дороге идти?

А дороги те были: одна золотая дорога, другая грязная.

Ей птичка в ответ кричит:

— По золотой, по золотой дороге иди!

А медведь кричит:

— По грязной, по грязной дороге иди!

Медведь кричит громче птички, девушка и пошла по грязной дороге. Пришла к избушке и заходит в избу. Как зашла — в избе медведь ее схватил, в подполье запер, сам калитки и съел.

Приходит вечером отец домой сердитый, жене говорит:

— Почему горяченьких мне не послала?

А жена говорит:

— Послала с младшей дочкой, но она и сама не вернулась домой.

Ночь переспали. Опять отец стал собираться в лес и наказывает жене:

— Сегодня чтобы прислала калиток.

Сам и пошел. Жена опять печёт калитки да и посылает вторую дочку относить калитки и наказывает:

— Пойдешь, встретишься две дороги, так ты крикни, по которой дороге идти.

Дочь и пошла. Идет, идет, увидела две дороги. Она и кричит:

— По которой дороге идти?

Ей пташка кричит в ответ:

— По золотой, по золотой дороге иди!

А медведь кричит:

— По грязной, по грязной дороге иди!

Медведь кричал громче, девушка и пошла по грязной дороге. Шла, шла да и угодила в избушку медведя. Медведь ее схватил, в подполье положил, а калитки сам и съел.

Приходит вечером отец из лесу сердитый и говорит жене:

— Почему мне калиток не послала?

Жена говорит:

— Так послала ведь с другой дочкой, но и та опять домой не вернулась.

Думает, куда у них уже вторая дочь пропала? Переспали ночь. Утром опять отец уходит в лес и наказывает жене, чтобы ему горяченьких послала. Жена снова печет калитки да и посылает мужу теперь уже со старшей дочерью и наказывает опять ей:

— Пойдешь, будет две дороги, ты и крикни, по которой дороге идти.

Дочь и пошла. Шла, шла, встречаются две дороги, девушка и кричит:

— По которой дороге идти?

Пташка ей в ответ кричит:

— По золотой, по золотой дороге иди!

А медведь кричит:

— По грязной, по грязной дороге иди!

Медведь кричал громче, так девушка по грязной дороге и пошла. Шла, шла, встретила ее избушка, она в эту избушку и зашла. Медведь этот ее схватил, в подполье запер, а сам калитки и съел. Сидят сестры в подполье и думают, как теперь домой попасть.

А дома отец и мать тоже тужат, плачут, куда их дочери пропали.

А медведь старшую дочь назначил хозяйкой. Она медведю варит, печет да и сестрам дает. Медведь на день уходит в лес еду для себя искать. Вот старшая сестра и выдумала, как от медведя уйти, говорит сестрам:

— Я вас, сперва одну, потом другую, положу в мешок и отправлю медведя отнести к нам домой отцу да матери гостинцев.

Приходит медведь домой, хозяйка и говорит ему:

— Завтра как придешь из лесу, так на крыльце будет мешок с гостинцами, отнеси его к нам домой, матери да отцу, и на крыльце брось, а я буду сидеть на крыше и смотреть, чтобы ты не открывал мешка и не съел гостинцев. Если только откроешь мешок, я и крикну!

Медведь тот и согласился. На второй день старшая сестра кладет младшую в мешок и ставит на крыльце, а сама поднимается на крышу и садится там. Приходит медведь из лесу, видит — мешок на крыльце. Вваливает мешок на спину и отправляется. Нес, нес и думает: «Много чего-то наложила, тяжело нести, дай-ка посмотрю, что там есть». Начал мешок развязывать, а девушка и кричит с крыши:

— Я вижу! Ты хочешь съесть гостинцы, неси-ка дальше!

Медведь видит, что она сидит на крыше, да и пошел дальше, и не смотрит, что в мешке. Шел, шел и на крыльцо дома бросил мешок, а сам бегом обратно в лес. Отец да мать обрадовались, что им на крыльцо дочь принесли.

На второй день старшая сестра опять говорит медведю:

— Сегодня опять как придешь из лесу, так возьми с крыльца мешок с гостинцами и отнеси матери да отцу, а я сяду на крышу. Если только начнешь развязывать мешок, я увижу и крикну.

Опять так же сделала: положила вторую сестру в мешок, завязала мешок и отнесла на крыльцо, а сама поднялась на крышу. Медведь пришел из лесу, ввалил мешок на спину и пошел. Несет, несет да и думает: «Что-то уж больно тяжел, дай-ка посмотрю, что в мешке». Да и начинает развязывать мешок, а де-

вушка на крыше и кричит. Медведь и перестал развязывать и отправляется дальше, и не смотрит, что есть в мешке. Приносит на крыльцо отца да матери да и бросает тут мешок, а сам бежит в лес. Отец да мать выходят на крыльцо, смотрят — уже вторая дочь домой вернулась, еще больше обрадовались.

У медведя теперь осталась только одна из сестер, старшая. И думает она, как бы ей самой теперь домой попасть, и придумала: сделала большую куклу, посадила на крышу, а сама залезла в мешок. Приходит вечером медведь, опять так же заваливает мешок на спину и отправляется. Несет, несет и думает: «Что-то сегодня еще тяжелей, дай-ка посмотрю, что там в мешке». Как стал мешок опускаться на землю, девушка и крикнула из мешка, а медведь тот смотрит на крышу и думает, та с крыши кричит, дальше и пошел. Опять приносит и на крыльцо дома бросает мешок. Мать да отец выбегают на крыльцо, смотрят — уже и старшая дочь тут, сильно обрадовались, что теперь у них все дочери дома.

А медведь приходит домой и кричит кукле:

— Сходи с крыши!

А кукла не шелохнется. Он опять и кричит:

— Не сойди только, так я тебя так изобью, прямо до смерти!

А кукла та и не шелохнется. Медведь лезет на крышу, схватил куклу, плюнул и бросил вниз.

Так и обманули девушки медведя.

8

On enne kupsu. Eläw kahtei akan kere. Häi lähtöw zagranicah peäliči meres tavarah. Hänel karabli tavaroin kere tartuw merele, kolmet sutkat seizow yhtes sijas. Häin sanow:

— Ken ku minun täs peästäs, andažin vai ku min ottaž eluol

Kaččow, ajaw mustal vorončal hevol häneh päi, hevol tulisugahat suus lähtietäh. Nu tuli, sanow:

— Midä, kupsu, sinule pidäw?

— Pidäw minule, — sanow, — abuo peästääh, ken voiš minun täs peästeä, andažin minä hos midä.

— Ei minule eluo pie, a minule pidäw kois tiedämätöi.

Nu, hänen peästi. Uskaldi kois tiedämättömän. Häin ajoi kodih. Tulow mučoi vastah lapsen kere, brihaččuizen kere. Häin mučoiile sanow:

— Kenen on lapsi?

Mučoi sanow:

— Lapsi on oma, minä d'äin sinus mahan kere, tiedänyh en.

Häin vastai:

— Minä lapsen menetiin.

Häin sanow:

— Kunna sinä menetiit?
— Menetiin — uskaldiin kois tiedämättömän karablin peäständäs, terväh tuldah ottamah.

Lähtöw lapsi školah huondeksel i sie pakiččiedu akkastu neärittäw, häi sanow:

— Älä neäritä minu, w, terväh tullah ottamah, uskaldettul

Tulow kodih itkun kere brihačču moamah luo i sanow:

— Mikse minu w vahnu akkaine sanow uskaldetukse i terväh tuldah ottamah?

Muamah sanow:

— Älä koske ni kedä, siit ei sinule ni midä sanota.

Hyö viertäh moata i ei sanota lapselle: «Sinä olet uskaldettu», pahakse miely. I tulow kolmepeähine zmiä ottamah, i hänele sanotah:

— Ei ole varustettu, esmo voi andoa tän'ildu.

I tulow huomei illal op'ät' kuuztpeähine zmiä i myös hänele sanotah:

— Ei ole valmis, tule huomei ehtäl.

Heile žeäli on andua. Huomei ehtäl hänele valmistetah evähät, tulow yheksäpeähine zmiä:

— D'ogo on valmis poigu? Dostalin ehtän tulen ottamah!

— No valmis on kai, no jätä huondekse i n'evvo dorogu, nostui työnämmö.

N'evvow dorogan:

— Menette riihen pihale, siit kujole, on kazvanutte kaksi pedäidy: čural dorogua yksi, toižel čural toine, i pedäiladvat vastai sivotut — sille dorogale työndägeä.

I työtäh händy, itkun kere provoditah. Häi lähtöw (evähät selläs ollah) sidä dorogoa myö. On kanduo dorogupielis i d'oga kandon peäs on ristikanzan peä. I tulow kodi, mökkine vastah. Häi sih, zaidiw mökkižeh. I vahnu akkaine siel mökkižes istuw.

— Voigo, t'owtoini, yödy moata?

— Magoa, magoa, Ivan-kupec, terväh tuvvah sinun peä kannon peäh!

Yön magoaw, huondeksel rubiew lähtemäh eäreh:

— Proščai, t'owta-rukku!

I t'owta andaw hänele:

— Na, Ivan-kupec, keräine, työnä keräine moah, agjas piätä, kunne keräine vieröw, sinne sinä astu.

Keräine vieri meren randah. I kaččow — d'owččenet, yheksä d'owčendu kezoidu kyl'bietäh, a yksi palaižen peräs yksin kyl'böw. Brihaine peittyw [Ivan-kupsa] i yheksännen d'owččenet sovot peittäw. I tullah d'owččenet mägeh i ruvetah sobii eččimäh, kaheksan sovot ollah, a yheksänden ei ole. Nu i sanow:

— Ivan-kupec, sinä peitit sovot, anna sovot, minä lienin sinule hyveä azumahl

Häi andaw sovot d'ouččenele, i häi sanow:

— Menemme yhteh iżändäh yökse, kunna minä menen — sinne i sinä tulet, myö lendämme merdä myö, a sinä tulet ymbäri. I minä tulen sinuw peästämäh.

Mänöw brihaine sinne iżändäh:

— Tuliid, Ivan-kupec?

— Tuliin.

— No, tuliit, ga oddohni suutkat.

Andaw komnatan, häi mänöw oddohnimah sinne, i tulow se d'owčen hänellyö. Se muuttaheze neidižekse i hänen kere oddohnitah suutkat. I menöw iżändäh toššupäivän:

— Midä annat roaduo minule?

— Annan roaduo — tän' yön sinule pidäw täh kohtah kask ajoa, se vierdeä, i se kyndeä, kylveä, i nižu kazvattoa yöh, i d'auhuo, i nouzemale lämmy leiby paštoa. Jesli et voine, dai peä eäres!

Tuli iččeh komnattah, loadi itkun Ivan-kupec.

— Meijen moal, — sanow, — kolme vuotta roatah, äski leiby soaw pastoa, a täs nygöi minule peä on menny!

Tulow se d'owčen hänellyö:

— Midä itket, Ivan-kupec?

— Ka itken, minule on peä mennyh.

— Älä itke ni midä, minä peän peästän, viere moate.

No neidine kirgoaw:

— Sluugat vernoit, roadagoa täs miehes toaçil!

Ruvetah kaskie ajamah, i vierdämäh i kyndämäh, i kylvämäh, toine agju leikkuamah, i d'auhotah, i nižu pastettih, i kirrutah:

— Tule, iżändy Ivan-kupec, polučit leivän!

Hän meni i leivän otti, i vei sen yheksäpeähižele iżändäle, sen leivän.

— No moločču, Ivan-kupec, mene huogavu suutkat!

Suutkat häi huogavuw, d'owčen tulow hänellyö suutkikse i muutui tulduhuo neidižekse.

Sid hänele andaw zadanien, sille kohtale kirikkö hrustal'noi loadie yhteh yöh i sillan hrustal'noin poikki meres kävellä, solovei-linnut soit-tamah, paruli-linnut pajattamah. I häi, neidine, kirgoaw:

— Sluugat vernoit, miittuon kirikön käski, štəbĭ oliš parembi loaittul Kirraltih:

— Sildu, kirikkö on valmis, tule priimi, Ivan-kupec!

Hai meni, kučui iżändän:

— Läkkä priimit kirikön i sillan.

Häi priimii: «Molodec, Ivan-kupec!». Hälle andoi zadanien om-beluksetoi kengy ommelta. Nu häin sen zadanien vjipolnii, häin sa-now [ižändy]:

— Ras zadaniet vjipolniit, minä annan yheksäs d'owččenes l'uboin mučoiksel

A neidine sanow:

— Häi työndäw ujelemah mereh, i kudai ujuw yksinäh i lekahuttaw siiven, sinä se ota mučoiakse.

Panow neidižet yhteh širinkäh, i briha käsköw sille neidiželle paik-
kaižen lekahuttoa käjes, i sen neidižen ottaw briha.

— Voinnet, — sanow, — kolmanden kieran ottoa sen ili kudain tahto,
se i sinun mučoi.

Työndäw pertile keäbräižekse lendelemäh. Neidine sanow:

— Kudai sielikandele lendänöw, sinä se tabua.

Hänele toižet lennetäh furaškale da rožile, häi niid ei tabua. Häi ta-
bai sen sielikandel olijan. Sanow:

— Nygöi, Ivan-kupec, olet nainuh!

Heidy tošpäivän työtäh kilyh, i häi ei d'aksanuheze, sylgi kilyh lat-
tiel'e i sanoi:

— Sylgi, pagiže, midä kyzytänneh, sinä vastua, — iče pajettih eärei.

Työndäi izändy sluugat:

— Mengeä käwgeä, jogo tullah eäreh.

Sylgi vastai:

— Tulemmol

— Mengeä kačžogoa, lujal on pajettul

Mendih sluugat kačžomah, ga heidy kyls ei ole.

— Mengeä ajagoa d'alles!

Mendih d'algeh ajamah, ga ukon muutti häkikse, iče rubei paimoikse.

Kyzytäh:

— Etgo nähny täs matkuojoa?

— Kolmekymmen vuottu paimendan, ni kedä en näje.

Hyö tuldih eäreh.

— Mengeä, — sanow, — järilleh, tuogoa heidy eäreh.

Kuulow — tullah ottamah. Ukon muutti časownakse, iče časownah
storožakse.

— Etgo nähny täs proidijoa? — kyzytäh.

— Jo kodvan täs storožoičen, ni kedä en näje.

Hyö lähtiettih eäres. Tulow iče izändy eččimäh. Kuullah izändy tu-
low. Ukon muutti järvekse, iče meni järveh joršikse. Tuli izändy, kieras
arbai: «Täs oletto, jorši da järvi!». Järveh meni hawgikse izändy, sanow:

— Jorši, kiänä peä — syön!

Jorši vastai:

— Syö jorši hännäs, peäs päi on ätjy syöžöäl

Jorši eäres hyppäi järves päi i järven kuivai, i hawgi jäi kuivale.

Meni Ivan-kupca kodih, i mučoi jäi lesk'akkaizeh i sanow:

— Toatto-moamo tervehtä, a sizard äläl

Sizär sanow:

— Velli, minu ed omakse ottanuh, et minu tervehtänny!

Hänele rodih žeäli, i sizaren tervehti — i kai unohti, eigo muista
mučoid eigo kedä. I naittamah händy ruvettih, i mučoi lesk'akkaizes
pastoi leivän i työndi lesk'akkaizen, sanow:

— Vie suuri leiby svuad'bah käden iskule.

I leivän akkaine vej, leiby halgeni, i lähtiettih stolale soloveilinnut
soittamah, a parulilinnut pajattamah. Hänen elaiğu sanottih, kui pute-

šestvuičči, i sen svuad'ban häi hyl'gäi. I meni, endižen mučoin lesk'ak-
kaižes toi, i nygöi vie eletäh. I minä pohjattomal r'umkal viinua join!

8. [ЧУДЕСНОЕ БЕГСТВО]

Был когда-то купец. Живут вдвоем с женой. Он отправляется за границу за товаром, через море. У него корабль с товаром пристает на море, трое суток стоит на одном месте. Он говорит:

— Если бы кто-нибудь меня сейчас выручил, то я дал бы добра, сколько бы тот ни попросил!

Смотрит — едет кто-то на черном вороном коне, у коня языки пламени изо рта выходят. Ну, подъехал, говорит:

— Что, купец, тебе надо?

— Нужна мне, — говорит, — помощь, кто бы мне помог отсюда освободиться, я бы дал все, что хочешь.

— Мне добра не надо, а мне надо то, чего дома не знаешь.

Обещал то, чего дома не знал. Тот его освободил. Купец приехал домой. Жена выходит навстречу с ребенком, с мальчиком. Он у жены спрашивает:

— Чей это ребенок?

Жена говорит:

— Ребенок наш, я после тебя осталась с животом, сама не знала.

Он ответил:

— Я ребенка погубил.

Она говорит:

— Как ты погубил?

— Погубил: обещал то, чего дома не знал, за то, чтобы корабль отпустили. Скоро за ним придут.

Идет ребенок утром в школу и дразнит старуху-нищенку, она говорит:

— Не дразни меня, скоро за тобой придут, обещанный!

Приходит мальчик к матери домой с плачем и говорит:

— Почему меня старушка назвала обещанным и почему за мной скоро придут?

Мать говорит:

— Не трогай никого, тогда тебе никто ничего не скажет.

Они ложатся спать и не говорят ребенку «ты обещанный», чтобы его не огорчать. И приходит трехголовый змей за ним, ему говорят [родители]:

— Не собрали еще его. Не можем сегодня вечером отдать.

На другой вечер приходит шестиголовый змей, и ему тоже говорят:

— Не собрали еще его, приходи завтра вечером.

Им жалко отдавать. На третий вечер приготовили для него подорожники, приходит девятиголовый змей:

— Уже собрали мальчика? Последний раз пришел за ним!
— Все уже готово, но оставь его до утра и покажи дорогу — как проснется, мы его пошлем.

Показал дорогу:

— Придете к риге, там у дороги стоят две сосны, одна на одной стороне, другая на другой стороне дороги, а верхушки сосен завязаны вместе. По той дороге его отправьте.

Отправили его, провожают с плачем. Он пошел (*подорожники у него за спиной*) по той дороге. Возле дороги стоят пни, и на каждом пне человеческая голова. И встречается избушка. Он в ту избушку заходит. Старая старуха сидит там в избушке.

— Можно ли, тетенька, здесь переночевать?

— Можно, можно, Иван-купец, скоро и твоя голова будет на пне!

Ночь переспал, утром стал собираться дальше:

— Прощай, тетенька!

И тетя дает ему клубок:

— На, Иван-купец, клубочек, брось клубок на землю, держи за конец нитки — куда клубок покатится, туда и ты иди.

Клубок докатился до берега моря. И видит [Иван-купец] — девять лебедей купаются, а одна в стороне купается. Парень [Иван-купец] прячется и одежду у девятой лебедушки прячет. Выходят лебеди на берег и начинают одежду искать, восемь находят одежду, а одежды девятой нет. Ну и говорит она:

— Иван-купец, ты спрятал одежду — отдай одежду, я тебе добром отплачу!

Он отдает лебедушке одежду, и она говорит:

— Вместе придем к хозяину на ночь; куда я пойду, туда и ты придешь. Мы полетим через море, а ты придешь кругом. Я буду тебя выручать.

Приходит парень туда, к хозяину:

— Пришел, Иван-купец?

— Пришел.

— Ну, коли пришел, так поотдохни сутки.

Дает ему комнату, он идет отдыхать. Туда и приходит к нему эта лебедушка. Она обернулась девушкой, и отдыхают они сутки, идет он на второй день к хозяину:

— Какую работу мне дашь?

— Вот какую работу дам: этой ночью тебе надо здесь подсеку рубить, сделать пожогу, потом вспахать, посеять и пшеницу вырастить за ночь, смолотить и к тому времени, как я встану, испечь хлеб. Если не сможешь, то голова с плеч!

Пришел Иван-купец в свою комнату и заплакал:

— В нашей стороне, — говорит, — три года работают, прежде чем хлеб испечь, пропадет теперь моя голова!

Приходит к нему та лебедушка.

-- О чем плачешь, Иван-купец?

— Плачу о том, что голова моя пропала.

— Не плачь, я твою голову выручу, ложись спать.

Ну, девушка крикнула:

— Слуги верные, сделайте за этого человека все!

Стали деревья рубить и пожогу делать, и пахать и сеять, другие стали жать и молотить, и хлеб испекли, и кричат:

— Иди, хозяин Иван-купец, получай хлеб!

Он пошел, хлеб взял, и отнес девятиголовому хозяину этот хлеб.

— Ну, молодец, Иван-купец, иди отдыхай сутки!

Сутки он отдыхает, лебедушка приходит к нему на эти сутки и превращается в девушку.

Потом хозяин дает ему задание выстроить на том месте хрустальную церковь за одну ночь и хрустальный мост, чтобы ходить через море и чтобы соловьи заливались, птицы распевали. И девушка зовет:

— Слуги верные, чтобы была церковь получше той, какую велели выстроить!

Крикнули:

— Мост и церковь готовы, иди принимай, Иван-купец!

Он пошел и позвал хозяина:

— Пойдем, примешь церковь и мост.

Тот принял: «Молодец, Иван-купец!». Еще ему дал задание шить сапоги без швов. Ну, он и это задание выполнил, тот говорит:

— Раз задание выполнил, то я тебе отдам любую из девяти лебедей в жены!

А девушка говорит:

— Он пошлет нас в море плавать; которая будет плавать в сторонке и махнет крылом — ту и возьми в жены.

Потом велел девушкам встать в ряд, а парень велел девушке платочком шевельнуть, парень ту девушку и выбрал.

— Если сможешь, — говорит [хозяин], — третий раз выбрать, то она будет твоя жена.

Обернул их мухами по избе летать. Девушка говорит:

— Лови ту, которая в сторонке летает.

Другие садятся ему на лицо и на фуражку. Он их не ловит, а поймал ту, которая летала в сторонке. Говорит [хозяин]:

— Теперь, Иван-купец, ты женился!

На другой день их отправили в баню, а она, не раздевшись, плюнула на пол бани и сказала:

— Слюна, отвечай, если что спросят, — сами убежали.

Послал хозяин слуг:

— Сходите узнайте, скоро ли выйдут из бани.

Слюна ответила:

— Скоро!

— Сходите посмотрите, не убежали ли они!

Пошли слуги смотреть, а их и нет в бане.

— Идите за ними в погоню!

Пустились в погоню, а она мужа обернула быком, а сама стала пастухом. Спрашивают:

— Не видал здесь прохожих?

— Тридцать лет здесь пасу, никого не видал.

Те вернулись обратно.

— Идите, — говорит [хозяин], — снова, приведите их обратно.

Слышит [она] — опять гонятся. Мужа обернула часовней, сама стала сторожем.

— Не видал ли здесь прохожих? — спрашивают.

— Я уже давно здесь сторожу, но никого не видал.

Те вернулись обратно. Идет сам хозяин искать. Слышат — хозяин идет. [Она] мужа обернула озером, сама стала ершом в озере. Пришел хозяин, сразу догадался: «Тут, вы, озеро с ершом». Хозяин щукой нырнул в озеро, говорит:

— Ерш, повернись ко мне головой, я тебя съем!

Ерш ответил:

— Ешь ерша с хвоста, с головы-то каждый съест!

Ерш выскочил из озера и высушил его, а щука осталась на суше. Пошел Иван-купец домой, а жена осталась у старухи-вдовы и говорит:

— С отцом-матерью поздоровайся, а с сестрой не здоровайся.

Сестра говорит:

— Брат, ты меня не принял за свою, не поздоровался со мной!

Ему стало жаль сестры, поздоровался с сестрой и все забыл — не помнит ни жены, никого. И стали его женить, а жена у вдовы испекла хлеб и послала вдову, говорит:

— Отнеси большой хлеб на свадьбу на рукобитие.

Принесла старуха хлеб, хлеб раскололся надвое, и вылетели оттуда соловьи, выпорхнули птицы и запели — он вспомнил все, рассказал про свою жизнь и как он путешествовал. Свадьбу играть перестал, сходил к вдове за прежней женой, и поныне вместе еще живут. А я из рюмки без дна вино пил.

9. IVAN KUROPEJEVIC

Oli enne sie staruwu da starikku, heil ei olluh poigua. Kana oli. Kana munii kaksi jäiččią, sih oli kirjutettu, što jäiččois rodiw kaksi lastu: poigu da tyttö. Kananjäiččy havvotettih da kana hawdoi poiian i tyttären. Kučuttih pappi. Pappi tuli, ristii lapset. Annettih nimet: poiial nimi tuli Ivan da tytöl Muarju, a familijat heil annettih: Ivan Kuropejevič i Marija Kuropejevna. Lapset hyö kazvetah, brihačču on jo suwri. Starikku on krestjuanu, meččiä, paluo ruadaw dai kai. Nu vot, se brihačču kazvoi dai sanow died' oilleh:

— Ottažit minuw aidua panemah meččäh.

I died'oih otvietoiččow:

— Läkkä.

Brihačču päivän ruadaw, ga ehtal tulow — on väzynyh. Toššu päivänny maguaw päivän. Buabah sanow:

— Väzytiit kaiken brihačun.

Toššu piän brihačču myös puasšiheze meččäh died'oih kel. Ottaw kirvehen. Išköw kirvehen puwh, ga kirvesgi loitos pakui. Häi davai käzil murdelemah puwloi aidah. Ehtäl tulow kodih, ga myös väzynyh. Huondeksel myös maguaw puoleh päiväh sah. Kolmaššu piän died'oi ei ottanuh händäh meččäh, sanow staruwahle:

— En tiijä, kui rubiammo elämäh tämän poiijan kel: mečas kai puwt murdeli.

Died'oih kolmet suwtkat veräidy leikkai pello — moižen aijan pani brihačču pellole.

Eletäh jo pitkän aigua, ga brihačču myös sanow died'oilleh:

— Ostažit minule hevon.

Died'oih sanow:

— Voibi ostua.

Menöw dai suas rubl'as ostaw mužikal. Tuow kodih, panow saruale. Brihačule sanow:

— Ostiin hevon, pädenöw ga...

Kačahtah brihačču da hykähtäh, iče pihale lähtöw. Menöw hebua niškas painaldaw, a heboine polvilleh i ryzähtäh. Ottaw hevon, seiiniä vaste išköw, sanow:

— Täs rodiaw vaivažile kengiä, varoloile lihua.

Tulow dai sanow died'oilleh:

— Mene osta toine hebo.

Died'oi hevon myöstin toi, pihale azetti dai sanow:

— Ostiin, poigu, hevon, kaksi sadua rubl'ua annoin, pädenöw ga...

Poigah menöw pihal, niškas painaldaw, dai heboine langiew polvužilleh. Ottaw hevon, išköw seiiniä vaste, sanow:

— Täs rodiaw vaivažile kengiä, varoloile lihua.

Brihačču tulow pertih, died'oilleh sanow:

— Osta hebo papil, se on tiineh.

Died'oih menöw papilluo hebua ostamah, sanow:

— Buat'uška, myö minule hebožen sälgine (sygyzyssäh sälgyšty pidie muamah kel).

Pappi sanow:

— Viiži rubl'ua otan sälgyses.

Died'oi ottaw viiži rubl'ua andaw papile, sanow:

— Sygyzyssäh, buat'uška, piä sälgyw.

Sygyzyssäh sälgy oli papilluo. Sygyzyl starikku lähtöw sälgyw otamah. Nu ladno, sällyn sygyzyl tuow kodih, pihale azettaw. Menöw brihačču hebua, sälgyw, painaldaw, ga hebo vai piädy kohottaw. Iče sanow:

— Vot täs rodiw minule hebo kuwndelii.

Se hyö eletäh da sälgyw kazvatetah. Sälgw kazvaw suwrekse. Poigu sanow sizärele:

— Läkikä nygöi, sizär, minun kele iččiä ozuttamah, muadu kaččomah.

Dai lähtietäh. Hevol selgäh nostah, ajetah sie doroguo myöte hätki vai vähä — tuli heile kodi vastah. Ei ni kedä ole koiš. Veriel on lukunnu suwri kivi. Ivan Kuropejevič sanow sizärele:

— Sizär, myö rubiammo täs elämäh.

Marija Kuropejevna sanow:

— A ku on äijy rahvastu, voijah meidy tappua?

A Ivan Kuropejevič otviettiw sizärelleh:

— Gu minun hebo voinnow pyzyö yheksän hevonn kel, sid myö pietämökseh.

Vai ehtittih hebo työndiä tahnua (a sie oli yheksä hebua) — Ivan Kuropejevičän hebo kaikkii ajoi iäre. Iče mendih pertih, syvväh-juvvah. Druk tullah net samažet miehet yheksäi keskei. Miehet sanotah:

— Ohohl täs on lukku avavunnuh. Kaksikymmen vuotta elämmö — lukku ei avavunnuh, a nygöi on avavunnuh.

Tuldih hyö pertih dai torevuttih. Ivan Kuroptevič kaikkii tappaw. Da sih ruvetah elämäh. Ivan Kuropejevič rubiaw meččäh käwmäh, a Marija Kuropejevna rubiaw koiš rukovodstvuimah.

Yhten kerran suarin poigu lähtöw ohtale i sit koiš siiriči astuw. Kaččow, ga ištuw neidiine ikkunalluo da midä ruadanow, višivoiččow. Suarin poigu ku tulow sih, dai nägöw neidižen. Sanow:

— *Što za čuwo, ran'se zdes' devic ne bilo, a teper' jest'!*

Suarin poijal himoittaš pertih piestä, ga ei sua, ku on lukku veriel. Suarin poigu sanow neidižele:

— Sano vellelles, što merirannal on kolmepiähiine mado, se pidäw tappua i tänne tuuva. A sinä heittäi voimattomakse, sano: «piän kivištaw». Sit minä sen kolmepiähižen mavon sapin syön dai piäzen sinulluo.

Neidiine sanow vellelleh mečas tulduo:

— Vot minä olen bol'noi. Magain da näin unen, što on merirannal kolmepiehiine mado, sil on sappi. Sen minä syöžin dai piäzižin, gu voižit sinä sen tappua.

Velleh sanow:

— Voin, no trudno on.

Velleh vooružiheze, hevol sel'gäh nowzow dai lähtöw merirannale. Nägöw kolmepiähižen mavon, ottaw tappaw sen dai sapin tuow sizärelleh, a iče lähtöw järilleh ohtale. Suarin poigu tulow — neidiine sapin andaw suarin poijale. Sapin suarin poigu syöw, a kiviä yksikai ei voi liikuttua. Suarin poigu sanow sizärelleh:

— On vie sie kuwziapiähiine mado, ku sen sapin velles minule suaš, sid minul rodies vägiä.

Marija myös sanow vellelleh, što «vie en voi», sanow:

— Unis näin: pidäw kuwziapiähižen mavon sappi suvva, äskin minä spruavimos.

Ivan Kuropejevič sanow:

— Suvva jo voibi, ga trudno on.

Konzu häi lähti ajamah, ga hebo hänele sanow:

— Menetät hyvän piän šl'uwhan periä.

Ivan Kuropejevič otti hevon piäle suwtui, iški sidä, sanow:

— Kuibo on minun sizär paha, ku on kiven tuan!

Ajaw sinne merirandah, on sie delstvit'el'no kuwzipiähiine mado. Tappaw sen — suabl'al sydiw — dai ottaw sapin, tuow sizärelleh, andaw kodih tulduw.

Ivan Sarevič tulow sinne. Marija andaw hänele sapin, sen häi syöw. Rubiaw kiviä lekuttamah, ga se vai vähäzel lekkuw, ei voi ottua. Suarin poigu sanow:

— Anna velles vie suaw minule yheksäpiähižen mavon sapin.

Ivan Kuropejevič ku tulow ohtal päi, ga sizär myös sanow:

— Vie olen bol'noi, pidäw yheksäpiähižen mavon sappi suvva.

Ivan Kuropejevič i ottaw dai lähtöw suamah merirangale. Hebo myös sanow:

— Ivan Kuropejevič, menetät hyvän piän pahan sizäres stuaci.

Häi otti da hebua iški, iče lähti ajamah ielleh. Meni sih kohtah, ga nägöw sen yheksäpiähižen mavon. Hebo sanow:

— Älä minuw ylen lujasti sivo.

Ivan Kuropejevič suwtui dai vie lujembah hevon sidoi. Ivan Kuropejevič menöw maguajan mavon piäle, išköw suabl'al kieran, ga kolme piädy pakkuw, toizen kieran išköw, ga toine kolme piädy pakui. Sit se mado iški hännäl — Ivan Kuropejevič pakui kymmenele sylele. Hebo rubei iere piezemäh dai katkai čiepin, da meni dostalit kolme piädy tapoi. Meni hebo, hambahil Ivan Kuropejevičua otti selgäh nosti. Ivan Kuropejevič sapin otti mavol dai lähti ajamah kodih päi. Dai toi hänele sapin (sizärele). Iče meni ohtale, a Marija sen sapin andoi Ivan Sarevičale. Ivan Sarevič söi dai kiven lykkäi iereh. Menöw pertih dai tolkuijah:

— Minä ottažin sinun mučoiakse, ga pidäw velles tappua, gu ei torevu häi.

A Marija sanow:

— Kačo, hänel on äijy vägiä. No minä avvutan. Konzu häi tulow, ku rubiew sinuw abeimah, minä menen aitan piäle, otan huavon hernehty. Konzu toruatto, sit lykkien huavon hernehty hänele jalgoih, dai hänel vait puoletah — häi sih seguaw, rubiaw hernehii syömäh — vet' myö olemmo kanas roinnuat.

Ivan Kuropejevič tulow ohtal päi da kačcow: ei ole lukkuw veriel. Häi jo tostaheze, što hebo oli pravvan sanonuh. Ottaw koirale zapiskažen sidow kaglah, kirjuttaw died'oilleh, što «esli koiru tulöw kodih, ga tulgua minuw sproveduimah, minä rodiemos kuolluh». Iče menöw pertih. Meni sinne, ga sie Ivan Sarevič. Hyö, tiijät, i torevuttih pertis: ei voi ni kudai kudamua podedie, jo tuldih senčoih. Ivan Kuropejevič rubei podedimah. Ivan Sarevič kirgai:

— Marija, tule nygöi, ehtil

Marija otti hernehhuavon jalgoih kuadoi, dai Ivan Sarevič tapoi Ivan Kuropejevičan. Konzu tapoi, Marija sanow:

— Pidāw hāndāh pilkua kahtehtoštu palažeh, eiga hāi elāvyw.

Ivan Sarevič sanow:

— Ei elavū, kaivatan havvan kymmendy syldy da panemmo sinne.

Konzu hawdu kaivettih, muah panemah ruvettih, koiru rubei n'uwhtelemah: kaččow, što ižāndy on kuollut. Hāi ieres i lähti died'oi da buaballuo. Koiru n'el'ui kodih. Died'oi da buabo kačotah, ga koiral on zapisku kirjutettu, što «ku koiru tulow kodih, ga tulgua minu w is-s'edui mah». Nu vot, died'oih da buabah lähtiettih tiijustamah poigua, buabah ottaw elāvāt, da kuolluot lekarstvat kerāl. Koiru vedāw heidy sih samāžeh kohtah, kus on muas poigah. Tullah sih kohtah kolmei. Died'oi rubiaw avuamah kalmua. Kalmu avattih. Buabo brjzgaičči elāvil vezil i Ivan Kuropejevič avai silmāt. Ivan Kuropejevič sanow:

— Vältietōkseh, died'oi da buabo, minā rubian nowzemah.

Konzu hāi rubei havvas nowzemah, ga kymmenele sylele puwt kuavuttih. Died'oi da buabah sanotah:

— Lākkā, vunukku, kodih iere.

A hāi otvietoičči:

— Tyō mengiā kodih, a minul pidāw loppussah tiijustua se paha sizār.

Sit Ivan Kuropejevič lähtōw eččimāh sizārdāh. Menōw hevol selgāh, ajaw linnah, kus on hänen sizār. Menōw yhteh talōih lesken akai luo. Hevon azettaw, iče menōw pertih. Meni pertih, kaččow: akku i neidiine on perehty, tytār ylen čoma neidiine. Tulow, tervehyōn azuw dai rubiaw tolkuimah heižān kel.

— Vot, — sanow Ivan Kuropejevič, — minā annan tyttārelles kazi-paikkažen. Minuw tapetah, a sinā novvata, kui minu w tapetah, i tule dai vereh kosketa tāmā paikkaine da pane kormanih. Sit, — sanow, — pāivān laskiettu w pieliči olgupies se paikkaine lykkiā (huruas olgupies). Sit huondeksel sinā nowzet — rodiew sit sadu. Sidā saduw ruvetah leikuamah. Sit sinā primieti, kudai mies enzimāžen lastun piestānōw, se [lastu] ota kormanih. Myōs lykkiā se huruas olgupies pieliči, — sanow. — Sit, — sanow, — jo minā iče tiijān.

Tyttō paikkažen otti, a Ivan Kuropejevič lähti suarilluo, tyttōle sanow:

— Minā sinule maksan.

Ku oli Ivan Kuropejevič mennyh, tyttōn muamah sanow:

— Ei ole hādiā mennā sinne. Hebo da paikkaine d'iew.

A tytār sanow:

— Lähten, mama, hebo tāmā yksikai ei meile heittäi, briha on hyvā, lähten da piestān, engo voi.

Ivan Kuropejevič menōw suarilluo, menōw sinne, suari priimi w, sanow:

— Požalut'el

A Ivan Kuropejevič sanow:

— En pādenyt gost'akse pietteniččān, ga en pāi i suavattan.

Tyttö se deistvitel'no meni jälles, sit myös torevuttih suari da Ivan Kuropejevič. Suaril on avvuttajua, dai tapetah Ivan Kuropejevič. Otettih händy tapettih, a tyttö paikkažen vereh kastoi, iče ieres. Tulow tyttö kodih, päivän laskiettuw paikkažen huruas olgupies pieliči lykkiew, iče tyttö muate i vierōw.

Huondeksel suarin poigu nowzow, gu kaččow — ga sadu očaz! Häi rubei nostattamah mučoidu, sanow:

— Kačo vai, yhtes yös on sadu kazvanuh.

Marija otvietoičči:

— Ei ole se sadu, a on se minun velli, se sit tiesšiheze. Tämä sadu pidāw leikata, dai mua kynnättiä.

A se tyttö myös lähtōw kaččomah sinne, midä kazvaw. Suari prikuazan andaw, štob! oliš seičas sadu leikattu dai kynnetty. Saldatat ruvettih leikkuamah, a tyttö se primietii, kudai iški enzymäžikse puwh kirvehen, sen lastun i otti. Otti myös sen lastun, päivän laskiettuw lykkäi huruas olgupies pieliči. Toššu huondeksen suarin poigu nowzow, kaččow, ga hänen taloin očas on d'ärvi, a d'ärves on sorzu. Häi i sanow:

— Kačoz, Marija, očaz on d'ärvil

Marija sanow:

— Ei ole se d'ärvi, a on minun velli, sit, seičas že prikaži sorzu ambua.

Suari prikuazan andoi, ga ei voija ambua — sorzu i čukeldah. A suari iče oli hyvä ohotniekku, tuskevuw da iče lähtōw ambumah sorzua. Hyppäi, rubei ambumah, sorzu meni ummičukkelih, hyppäi venehen rewnah dai kuadoi venehen. Ivan Sarevič vedeh i meni. Meni vedeh, ga Ivan Kuropejevič lähti randah Marija Kuropejevnalluo. A Marija jo tulow randah, avaimien kel vastah, sanow Ivan Kuropejevičale, što «sinä olet suarinnu, a minä sar'evnannu».

A Ivan Kuropejevič sanow:

— Velli da sizar ei voija olla yhtes ni konzu; läkkä minun kel.

Sit hyö mendih tytöllyö, tytöle maksoi jengat hyvät da sanoi hänele:

— Vuota minuw, minä otan sinun mučoiakse.

Iče hevon otti da Marijan selgäh nosti. Dai lähtiettih ajamah kodih buaban da died'oilluo.

Konzu sinne ajettih, kodih, ga Ivan sanow:

— Kačo, toin ved'man kodih!

Sit kana hyppäi Marijan piele da rubei n'uokkimah silmiä. Ivan Kuropejevič tabai da keskel halgai sizären, a iče meni hevol selgäh, ajoi sinne tytöllyö da otti tytön mučoiakse. Nygöigi vie elāw.

Loppih.

9. ИВАН КУРОПЕЕВИЧ

Были когда-то там старуха и старик, у них не было сына. Была курица. Курица снесла два яйца, на них было написано, что из яиц родится двое детей: мальчик и девочка. Посадили курицу высиживать, и курица вывела мальчика и девочку. Позвали попа.

Поп пришел, окрестил детей, дали имена: мальчика назвали Иваном, девочку Марьей, и прозвали их Иван Куропеевич и Марья Куропеевна. Дети подрастают, мальчик уже большой. Старик крестьянствует, лес рубит, пожогу делает и все такое. Ну вот, мальчик подрос да и говорит своему деду:

— Взял бы меня в лес изгородь ставить.

И дед отвечает:

— Пойдем.

Мальчик день работает, приходит вечером усталый. Весь следующий день спит. Бабушка говорит [старика]:

— Утомил совсем парня.

На другой день мальчик опять просится с дедом в лес. Берет топор, ударил топором по дереву — даже топор далеко отлетел. Он давай руками вырывать деревья для изгороди. Вечером приходит домой опять усталый. На другой день опять до полудня спит. На третий день дед не взял его в лес, говорит старухе:

— Не знаю, как будем жить с этим парнем: все деревья в лесу выворотил.

Дед трое суток проход в изгороди вырубал — такую изгородь парень поставил на поле.

Живут уже долго, и парень опять говорит своему деду:

— Купил бы мне лошадь.

Дед говорит:

— Можно купить.

Идет и за сто рублей покупает у мужика [лошадь]. Приводит домой, ставит во дворе, парню говорит:

— Купил лошадь, не знаю, годится ли...

Посмотрел парень, усмехнулся, сам во двор вышел. Подошел к лошади, шею пригнул — лошадь на колени и рухнула. Берет лошадь, ударяет ею о стену, говорит:

— Она годится калекам на обувь, воронам на мясо.

Приходит и говорит своему деду:

— Сходи, купи другую лошадь.

Дед опять привел лошадь, поставил во дворе и говорит:

— Купил, сын, лошадь, двести рублей дал, годится ли...

Сын идет во двор, пригибает шею [лошади] — лошадь на колени и упала. Берет лошадь, ударяет ею о стену, говорит:

— Она годится калекам на обувь, воронам на мясо.

Парень приходит в избу, говорит деду:

— Купи лошадь у попа, она жеребая.

Дед идет к попу лошадь покупать, говорит:

— Батюшка, продай мне жеребенка (до осени жеребенка держать при матке).

Поп говорит:

— Пять рублей возьму за жеребенка.

Дед достает пять рублей, дает попу, говорит:

— До осени, батюшка, надо держать жеребенка.

До осени жеребенок был у попа. Осенью старик идет за жеребенком. Ну ладно, приводит осенью жеребенка домой, оставляет во дворе. Идет парень, пригибает шею лошади, жеребенка, лошадь еще голову поднимает. Сам [парень] говорит:

— Вот эта будет мне послушной лошастью.

Живут они и жеребенка растят. Стал жеребенок большим. Парень говорит девушке:

— Поедем теперь, сестра, тебя показать и свет посмотреть.

И отправляются, садятся на лошадь. Едут по дороге долго ли, коротко ли — встречается им дом. Никого нет в доме. Ворота подперты большим камнем. Иван Куропеевич говорит сестре:

— Сестра, мы будем здесь жить.

Марья Куропеевна говорит:

— А если там много людей, могут нас убить?

А Иван Куропеевич отвечает сестре:

— Если моя лошадь сможет постоять против девяти лошадей, тогда и мы постоим.

Только успели поставить лошадь во двор (а там было девять лошадей) — лошадь Ивана Куропеевича всех лошадей прогнала прочь. Сами зашли в избу, пьют-едят. Вдруг приходят девятеро мужчин. Мужчины говорят:

— Ох-ох! Тут замок открыт. Двадцать лет живем — замок не открывался, а теперь открыт.

Пришли они в избу и стали драться [с Иваном]. Иван Куропеевич всех убил. И стали тут жить. Иван Куропеевич ходит в лес [на охоту], а Марья Куропеевна дома хозяйство ведет.

Однажды царев сын отправляется на охоту и проходит мимо того дома. Смотрит — сидит девушка у окна и что-то делает, вышивает. Царев сын как подошел, так и увидел девушку. Говорит:

— Что за чудо, раньше здесь девиц не было, а теперь есть!

Цареву сыну хотелось бы войти в избу, но не может, потому что ворота камнем подперты. Царев сын говорит девушке:

— Скажи своему брату, что на берегу моря есть трехголовый змей, его надо убить и сюда принести. А ты притворись больной, скажи: «Голова болит». Потом я желчный пузырь этого трехголового змея съем и смогу попасть к тебе [т. е. отворотить камень].

Девушка говорит своему брату, когда тот пришел из лесу:

— Я заболела. Спала и видела сон, что на берегу моря есть трехголовый змей, у него желчный пузырь. Я бы его съела и поправилась, если бы ты смог его убить.

Брат говорит:

— Могу, но трудно.

Брат вооружился, садится на лошадь и едет на берег моря. Видит трехголового змея, убивает его и желчный пузырь приносит своей сестре, а сам снова едет на охоту. Царев сын прихо-

дит — девушка желчный пузырь отдает цареву сыну. Желчный пузырь царев сын съедает, а камень все равно сдвинуть не может. Царев сын говорит сестре [Ивана]:

— Есть еще шестиголовый змей, если его желчный пузырь достанет для меня твой брат, то тогда у меня прибавится силы.

Мария опять говорит брату, что «мне все еще не можется». Говорит:

— Во сне видела: надо достать желчный пузырь шестиголового змея, только тогда я поправлюсь.

Иван Куропеевич говорит:

— Можно достать, но трудно.

Когда он поехал, лошадь ему и говорит:

— Потеряешь добрую голову из-за шляхи.

Иван Куропеевич рассердился на лошадь, ударил ее, говорит:

— Как же моя сестра распутная, когда за камнем [сидит]?

Едет туда, на берег моря, а там действительно есть шестиголовый змей. Убивает его — саблей протыкает и берет желчный пузырь, приносит, сестре отдает, придя домой.

Иван Царевич приходит туда. Мария дает ему желчный пузырь, он его съедает. Начинает камень отодвигать, но он только немного отодвигается, не может отворотить. Царев сын говорит сестре [Ивана Куропеевича]:

— Пусть твой брат достанет для меня желчный пузырь девятиголового змея.

Когда Иван Куропеевич приходит с охоты, сестра и говорит опять:

— Я все еще больна, надо достать желчный пузырь девятиголового змея.

Иван Куропеевич и отправляется за ним к берегу моря. Лошадь опять говорит:

— Иван Куропеевич, потеряешь добрую голову из-за распутной сестры.

Он взял да ударил лошадь и поехал дальше. Приехал на то место, смотрит — девятиголовый змей. Лошадь говорит:

— Не привязывай меня слишком крепко.

Иван Куропеевич рассердился и еще крепче привязал лошадь. Иван Куропеевич идет на спящего змея, ударяет саблей раз — три головы отлетает, второй раз ударяет — другие три головы отделяет. Потом этот змей ударил хвостом — Иван Куропеевич отлетел на десять саженей. Лошадь стала вырываться и оборвала цепь, пошла и остальные три головы оторвала. Подошла лошадь, зубами подняла Ивана Куропеевича себе на спину. Иван Куропеевич желчный пузырь у змея взял и поехал домой. И принес желчный пузырь ей [сестре]. Сам поехал на охоту, а Мария этот желчный пузырь отдала Ивану Царевичу. Иван Царевич съел и камень отбросил в сторону. Заходит в избу, и толкуют [они]:

— Я бы взял тебя в жены, но надо твоего брата убить, как бы не стал он драться.

А Марья говорит:

— Смотри, у него много силы. Но я помогу. Когда он придет, если начнет тебя одолевать, я встану на амбар, возьму мешок гороху. Когда начнете драться, я брошу мешок гороху ему в ноги, и у него силы убавится — он тут забудется, начнет горох клевать — ведь мы от курицы родились.

Иван Куропеевич приходит с охоты и видит: нет замка перед воротами. Он уже догадывается, что правду лошадь говорила. Привязывает собаке на шею записку, пишет своему деду, что «если собака придет домой, то приходите меня проведать — значит я мертв». Сам заходит в избу. Зашел туда, а там Иван Царевич. Они, знаешь, и разодрались в избе: ни который не может другого победить, уже выходят в сени. Иван Куропеевич начал одолевать, Иван Царевич крикнул:

— Марья, иди теперь, поспевай!

Марья взяла мешок с горохом, в ноги [брату] высыпала, и Иван Царевич убил Ивана Куропеевича. Когда убил, Марья говорит:

— Надо его изрезать на двенадцать кусков, не то он оживет.

Иван Царевич сказал:

— Не оживет, велю выкопать могилу в десять сажень, и положим туда.

Когда могилу выкопали, стали [его] закапывать, собака стала нюхать: смотрит, что хозяин мертв. Она и пошла прочь к дедушке и бабушке. Собака прибежала домой. Дед да баба видят: у собаки записка, в ней написано, что «если собака придет домой, то приходите меня проведать». Ну вот, дед да баба пошли проведать сына. Бабушка берет с собой живые и мертвые лекарства [так!]. Собака ведет их в то самое место, где зарыт их сын. Приходят туда втроем. Дед стал разрывать могилу. Могилу открыли. Бабушка побрызгала живой водой, и Иван Куропеевич открыл глаза. Иван Куропеевич говорит:

— Посторонитесь, дед да баба, я буду подниматься.

Когда он начал выходить из могилы, то на десять сажень вокруг деревья повалились. Дед да баба говорят:

— Пойдем, внук [так!], домой.

А он ответил:

— Вы идите домой, а мне надо до конца уличить эту распутную сестру.

Потом Иван Куропеевич отправляется искать сестру. Садится на лошадь, едет в город, где его сестра. Заезжает в один дом к старой вдове. Привязывает лошадь, сам заходит в избу. Зашел в избу, смотрит: старуха с дочкой живут, девушка очень красивая. Приходит, здоровается и начинает с ними беседовать.

— Вот, — говорит Иван Куропеевич, — я дам твоей дочери полотенце. Меня убьют, а ты проследи, когда меня убьют, и приходи да макни в кровь это полотенце и положи в карман. Потом, — говорит, — после захода солнца брось это полотенце через плечо (через левое плечо). Потом утром как встанешь — увидишь сад. Этот сад начнут вырубать. Тут ты примешь, который мужчина первую щепку вырубит, ты ее положи в карман. И ее тоже брось через левое плечо, — говорит. — Потом, — говорит, — я уже сам знаю [что делать].

Девушка полотенце взяла, а Иван Куропеевич пошел к царю, девушке говорит:

— Я тебе заплачу.

Когда Иван Куропеевич ушел, мать девушки говорит:

— Незачем идти туда. Лошадь да полотенце останутся [нам].

А дочь говорит:

— Пойду, мама. Лошадь эта все равно нам не дастся, а парень хороший, пойду и выручу — может, смогу.

Иван Куропеевич идет к царю, заходит туда, царь принимает, говорит:

— Пожалуйте!

А Иван Куропеевич говорит:

— Не годился в гости в пятницу, не сгложусь и в субботу.

Девушка эта действительно пошла следом, потом они опять подрались, царь и Иван Куропеевич. У царя есть помощники, вот и убили Ивана Куропеевича. Взяли убили его, а девушка полотенце макнула в кровь, сама ушла. Приходит девушка домой, после захода солнца бросает полотенце через левое плечо, сама спать ложится.

Утром царев сын встает, смотрит — сад вырос напротив! Он начал будить жену, говорит:

— Смотри-ка, за одну ночь сад вырос.

Марья ответила:

— Не сад это, а мой брат, это он тешится. Этот сад надо вырубить и землю распахать.

А эта девушка тоже идет смотреть, что там выросло. Царь приказ дает, чтобы сейчас же сад был вырублен и земля распашана. Солдаты начали рубить, а девушка та заметила, который из них первый ударил топором по дереву, ту щепку и взяла. Взяла щепку, после захода солнца бросила через левое плечо.

На другое утро царев сын встает, смотрит — напротив его дома озеро, а на озере утка. Он и говорит:

— Смотри-ка, Марья, напротив дома озеро!

Марья говорит:

— Это не озеро, а мой брат. Сейчас же прикажи утку застрелить.

Царь дал приказ, но не могут застрелить — утка ныряет. А царь сам был хороший охотник, рассердился и сам идет стре-

лять утку. Выбежал, [прыгнул в лодку], прицелился, а утка нырнула, вцепилась в край лодки и опрокинула лодку. Иван Царевич в воду и упал. Упал в воду, а Иван Куропеевич вышел на берег и пошел к Марье Куропеевне. А Марья уже идет с ключами навстречу, говорит Ивану Куропеевичу, что «ты будешь царем, а я царицей». А Иван Куропеевич говорит:

— Брат и сестра никогда не могут жить вместе [как муж и жена], пойдем со мной.

Потом они пошли к той девушке, девушке заплатил большие деньги и сказал ей:

— Иди меня, я возьму тебя в жены.

Сам взял лошадь и посадил ее [сестру] на лошадь, и поехали домой к бабе и деду. Когда приехали домой, Иван говорит:

— Смотрите, привез ведьму домой!

Тогда курица прыгнула на Марью и начала клевать глаза. Иван Куропеевич схватил и разорвал сестру пополам, а сам сел на лошадь, поехал к той девушке и женился на ней. Даже и сейчас еще живет.

Конец.

10

No elet't'ii ende uk da ak. Oli heil brihačču Grin'a, a neičukaine Grun'a. No i emä heil kuol', a ižä nai toižee akkaa. Ot't' akan, ak ei rubenu l'ubimaa nenid lapšid, brihačušt da neičukašt. Ižäle sanow, što hätken min'ä sinunke soan elämää, — sanow, — što davai hävitämmä kunagi heid, brihačuizen i neičukaižen. No. A neičukaine oli vahnemb, Grun'a. Neičukaine kuwli n'ämä sanad emindimän. Brihačuizele sanow: — Huonduksel nouzet, — sanow, — i otetaa meid metsää halgod pilimää.

Neičukaine nouž yöl i meni (*no valgeda oli kezäl yö*) meni, kivužid kogož, kogož, kogož pikkaraižid pihal, kormanid yn'n'ää. I lähtii. Huonduksel emä nostataw:

— Noskat vai, lapsat, noskat! Pid'aw lähtä meile halgod, — sanow, — luadimaa metsää. Läkkät vai, hyvä päivä on, — sanow da.

Nu i lähet't'ii. Ižä läht', a brihačuine da neičukaine se lähtii da jälgeg matkadaa. A neičukaine aino kormanaspäi kivužid lykkiw dorogad myö. No. Män'd'ii, män'd'ii šigä, pilit't'ii halgod, se ol'd'ii. No murginoid'ii. Emä se sanow:

— Vaibuitto lapsužet, — sanow, — viergät oddohalla, — sanow, — viergät!

No, lapsat sei vierd'ii, vierd'ii, uinot'ii, ižä da emä uidit'ii iäre. Heid šin'a metsää loittoze i jät'et'ii.

Magat'ii, magat'ii, nostii ka ewle ni emäd ni ižäd, ni kudai ei tiettä kuna lähtä. Čuraa; toižee, čuraa, toižee. Neičukaine sanow (*juohtut't'*):

— Ma lykiin kivužid, vuota, eigo popaditta n'ed kivužed vastaa.
I popadit'ii kivužed heile. Hyö niid kivužid myö, kivužid myö dai
yöl tul'd'ii kod'ii. Tul'd'ii, kolotizettaa. Ka emä, emindimä se hämä-
styw što:

— Kačo, — sanow, — vit' hatus tuoi heid, metsä tuoi kod'ii!

No tošpäin izäle sanow:

— Pid'aw loitembi viedä, — sanow, — t'äs lähil olimme, — sanow, —
nygöi puutut'ii tagaze.

Tošpäin läht'ii vie loitembi metsää šin'n'a. Uut nostatettaa. Hyö se
vaibut'ii, yöl tul'd'ii, da ei voinu kivužid ni kogota neičukaine. An't'ii
heile leibäd. Neičukaine brihačul sanow:

— Ana t'ämä leib milei, palain'e.

No brihačuine andoi. Neičukaine se matkadaw da leibäd kroššiw.
Emä sanow:

— Mid'ä hill'ah matkadatte, — sanow, — tulgat boičembil

— A katsumme, — sanow, — mit'e lindužet, — sanow, — katoksil
vietettaw, näge kyläl.

Ziel' lähtedä metsää. Tiedaw, što jietetää, d'o toimistui tyttö se.
Leibät kruššii, kruššii, dorogad myö aino menöw, menöw uut. Ol'd'ii
murginaa suo, ruot'ii, šigä ol'd'ii.

— No viergiät, — sanow, — viergiät, vaibuito, oddohnigat, oddoh-
nigat!

No a lapset... kak bjt že? Vier'ii dai uinot'ii uut. Uut heidä jietet'ii
šinne, toine kier. Nošt'ii, ka ewle ni emäd, ni izäd. No läht'ii.

— Vuota, leibäd, — sanow, — kroššin, emmä voigo myö leibii myö
popadita.

Ga lindužet se kai leibät ned i šyödää ga vs'orovno matkataa ka
lindužet pörhetää se leibiš pee. Hyö niid aino linduid myö, linduižit
myö da dorogah puutut'ii. Dai uut tul'd'ii kodii jo. Tul'd'ii jo huon-
duspuolee.

No jo kolmanden päin uut emindim sanow:

— Vie lähile vieit, pid'aw, — sanow, — viedä, kuga pimedemb
metsä on, — sanow, — näge hyö puututaa.

Kolmanden päin uut i lähtää, ka neičukaine sen päin d'o ni mid'ä
ei voinu. Ni leibäd ei anttu heile, da ni kivužid ei kogonnu.

— No, t'änäpä, — sanow, — naverno meit jo jiet'et'ää.

No i zastavii, neičukaine se ni mit'e ei voi magata, ka emindim sanow:

— Mid'ä že et magada, — sanow, — oddohni, eika et pieze kodii
tagazin. Magadal — sanow.

Vierd'ii da uut uinot'ii. Uinot'ii hyö, uut i uidit'ii, izä da emä. He-
rastut'ii, ka ewle ni izäd ni emäd. No i läht'ii, ei tiettä kuna. Käveld'ii,
käveld'ii, käveld'ii, ei puwtuta ni kuna.

Puwtui moine metskodiine, pikkaraine, šigä Jagibuab. Tul'd'ii, kai
on kodiine, šein'ad on pränniikkähizet, a katoz on pečenjähine. Hyö
n'älgähizet käveld'ii hätk', Dai davai brihačuine se šeinid puremaa, što
pränniikkähizet on, magedad. Neičukaine braniw:

— Elä jalo, — sanow, — vähembäl, — sanow, — eika kuuldaa.

No Jagibuaba kuul' se, tuli pordahile, tuoi podnosala heile kaikked se strepn'at. Hyö pagoo läht'ii.

— Elgät pageko, tulgat, ma teid šyöt'än, juotan, dorogaa vien, — sanow.

No hyö i tul'd'ii. Tul'd'ii. Jagibuab heid šyöt', juot'. Ot't' da brihačuižen salbaš t'ännä lievää, kuga kozid še pid'etää. A t'ädä neičukašt Grun'at pani ičelle šihe por'adničat', kuharkakš. Pezow da kai hällä, stirajow da keit't'äw da paštaw.

— A Grin'ale, — sanow, — (*mid'ä panow viedraa*) vie šin'n'a!

Kui härgän šie šyöttädä, što lihow da iškeda iäre. A neičukaine se aino hällä view šin'n'a šyömišt parembat, parembat, view da brihačuižele sanow:

— Kui Jagibuab kzyžškädow šillas sormed oppida, sä anda balkaine. (*Andoi hälle balkaižen šin'n'a.*) Sa čokkaida balkaine, — sanow.

I brihačču mugai ruodaw. Jagibuab se jo šyöt't' händää kuun odnako vai kakš. Mäni:

— Nu anda vai, — sanow, — sor'm, jogo lihoid?

Hän ottaw balkaižen andaw. Hän mujelow:

— Mid'ä že, — sanow, — pahoin sa šyöt'ät händää? Vie t'äwded viedrat. (*Näge, leibäd lošši šigä, štobž šyöž.*) Hätkigo händää šyöttädä?

Toižen tien ššupajow. Uut kuun šyöt't'. Aino sor'm on kova. No vot i rešila. Avaiž iäre brihačun, ot't' päčün lämbit't', lämbit't' raudaižen. Kai ruskedakš.

— No, davait'eko, — sanow.

A neičukaine brihačule sanow:

— Ku labidale vietetäškädow, ka sinä čiihoita kädet i jalgat, — sanow, — štobž päččii et mahtuiž.

No, labidan pani:

— No viere labidale, — sanow.

Brihač se vieri, käded jalgad čiihoit't'i, päččii ei ni mahtu.

— Ozuta sa, — neičukaižele [sanow].

Neičukaine se tože vieri, käded — jalgad čiihoit't'.

— Ette maltago!

— Baboi, ozuta, — hyö Jagibuabal kzyztää, — ozuta vai se meile, — sanow.

Hyö kahtei pid'etää labidaa. Jagibuab se labidal ših vier', itsen alle jalgad kurčist, käded i kai. Hyö otet'ii i kahtei händää päččii šin'n'a tolnit'ii da zaslon edee dai tuget'ii. Da šin'n'ai paloi Jagibuab. Brihačču da neičukaine piešt'ii hänen kodii šihi. No hällä oli d'engat äij, Jagibuabal, no elod äij, sundugad yn'n'ää, kai. Hyö se šiid šyöd'ii, juod'ii, ol'd'ii. D'engoid otet'ii, no mi void'ii, sumkaa otet'ii kai dai läht'ii. Kävel'd'ii, kävel'd'ii i puwtut'ii dorogaa. Puwtut'ii dorogaa dai kod'ii puwtut'ii. No ka tul'd'ii, ka tuod'ii näge kuldad sumk, hobedad toine, d'engoid niid Jagibuaban.

Ižä se da emä ihaštut't'ii, što bohatat nygy tul'd'ii. Priimit'ii heid šihe. No šiid jo liet'ii jo tobjad, nygy brihačču se da neičukaine sanotaa:

— Myö d'engoi t'eile emmä ankkoo, ed ajane iäre t'ädä, — sa-
now, — akkad, ka myö sinunke emmo rubeko elämääl!

Dai ižä ot't' akan iäre ajoi, rubeš poigan da t'yt't'ärenke elämää.

10. [БРАТ И СЕСТРА У ВЕДЬМЫ]

Ну, жили когда-то муж и жена. Был у них мальчик Гриня и девочка Груня. Ну и мать у них умерла, а отец взял другую жену. Взял жену, а жена не стала любить тех детей, мальчика и девочку. Отцу говорит, что «я с тобой долго жить буду, но только, говорит, давай избавимся как-нибудь от них, мальчика и девочки». Ну. А девочка была старшая, Груня. Девочка и слышала эти слова мачехи. Мальчику говорит:

— Утром встанешь, — говорит, — и возьмут нас в лес дрова пилить.

Девочка ночью встала и пошла (летом ведь светлая ночь), пошла, камушков набрала во дворе, набрала, набрала — полные карманы. И вернулась.

Утром мачеха будит:

— Вставайте, дети, вставайте! Надо пойти нам, — говорит, — в лес дрова пилить. Пойдем, хороший нынче день, — говорит.

Ну и пошли. Отец пошел, а мальчик да девочка следом идут.

А девочка все из кармана камушки на дорогу бросает. Ну, пришли туда, пилили дрова там. Пополудновали. Мачеха и говорит:

— Устали, дети, — говорит, — лягте поотдохнуть, — говорит, — лягте!

Ну, дети и легли, легли и уснули, отец и мачеха ушли. Их там в лесу далеко и оставили.

Спали, спали, проснулись — нет ни отца, ни мачехи, никто не знает, куда идти. Бросились в одну сторону, бросились в другую — нет дороги. Девочка говорит (вспомнила):

— Погоди, я ведь бросала камушки, не видно ли их?

И стали им попадаться камушки. Они по тем камушкам, по камушкам, и пришли ночью домой. Пришли, стучатся. А мать, мачеха эта, испугалась:

— Гляди-ка, — говорит, — лесовик их привел, лес привел домой!

Ну, на другой день отцу говорит:

— Надо подальше увести, — говорит, — тут близко были, так, вишь, попали домой.

На второй день повели еще дальше в лес. Опять их разбудили.

Они ночью пришли, устали так, и не могла камушек набрать девочка. Дали им хлеба. Девочка мальчику говорит:

— Дай мне кусок хлеба.

Ну, мальчик дал. Девочка эта идет и хлеб крошит. Мачеха говорит:

— Что тихо идете, — говорит, — идите побойчее!

— А смотрим, — говорит, — как птички, — говорит, — летают.

Не охота в лес идти. Знает, что оставят, уже сообразила девочка эта. Хлеб крошит, крошит все на дорогу. Побывали там до полудня, работали, были там.

— Ну, ложитесь, — говорит [мачеха], — ложитесь, устали, отдохните, поотдохните!

Ну, а дети... что им делать? Легли и уснули опять. Опять их там оставили, второй раз. Проснулись — нет ни отца, ни мачехи. Ну, пошли они.

— Погоди-ка, — говорит [девочка], — хлеб ведь я крошила, нельзя ли по крошкам обратно домой попасть.

А птички крошки те клюют, они идут, а птички вспархивают от крошек. Они по тем птичкам, по птичкам, на дорогу и попали. И опять пришли домой. Уже под утро пришли.

На третий день опять мачеха говорит:

— Опять недалеко отвел, надо, — говорит, — отвести, где лес потемней, — говорит, — а то, вишь, они возвращаются.

На третий день опять и отправляются, девочка в этот раз ничего и не смогла поделывать. И хлеба им не дали, и камушек не набрала.

— Ну, сегодня, — говорит, — наверно уж нас оставят совсем.

Ну и заставила [лечь спать], девочка та никак не хотела бы лечь, а мачеха говорит:

— Чего ты не спишь, — говорит, — отдохни, не то до дому не дойдешь. Спи! — говорит.

Легли да опять и уснули. Уснули — они опять ушли, отец да мачеха. Проснулись — нет ни отца, ни мачехи. Ну и пошли, не знают куда. Шли, шли, шли, никуда не попадают.

Встречается им такая лесная избушка, маленькая, там Яги-баба. Пришли, видят домик — стены из пряников, крыша из пенья. Они голодные, долго бродили. Мальчик и давай грызть стену из пряников — сладко. Девочка его бранит:

— Потише ты, тише, — говорит, — не то услышат.

Ну, Яги-баба услышала это, вышла на крыльцо, на подносе им всякой стряпни принесла.

— Не убегайте, заходите, я вас накормлю, напою, на дорогу выведу, — говорит.

Ну, они и зашли. Зашли. Яги-баба их накормила, напоила. Взяла да заперла мальчика в хлевушку, где коз держат. А девочку Груню заставила порядничать, кухаркой сделала. Она ей моет, стирает, варит да печет.

— А Грине, — говорит, — ты отнеси туда (ведро еды наложила).

Как бычка там откармливает, чтобы нагулял тело и потом заколоть. А девочка все ему туда получше еду носит, все лучше, и говорит мальчику:

— Когда Яги-баба велит дать палец пощупать, так ты дай палочку (дала ему туда палочку). — Ты сунь палочку, — говорит.

Мальчик так и делает. Яги-баба уже откармливала его месяц, а то и два. Пришла:

— Ну-ка, дай палец, — говорит, — разжирел ли ты.

Он высовывает палку. Она ворчит:

— Что ты, — говорит, — плохо его кормишь? Носи полные ведра. (Вишь, хлеба набросала туда, чтобы ел). — Долго ли его откармливать?

Второй раз щупает. Опять месяц кормит. Палец все твердый. Ну, все же решила. Выпустила мальчика, печь растопила, железную. Топила, топила, прямо докрасна.

— Ну, давайте-ка, — говорит.

А девочка мальчику говорит:

— Когда на лопату велит тебе лечь, так ты растопырь руки и ноги, — говорит, — чтобы в печь не влезал.

Ну, взяла лопату:

— Ложись-ка на лопату, — говорит.

Мальчик лег, руки и ноги растопырил, не влезает в печь.

— Покажи ты, — девочке говорит [Яги-баба].

Девочка та тоже легла, руки-ноги растопырила.

— Не умеете!

— Бабушка, покажи, — они Яги-бабу просят, — покажи ты нам, — говорит.

Они вдвоем держат лопату. Яги-баба на лопату легла, ноги под себя поджала и руки тоже. Они взяли, вдвоем ее туда в печь и толкнули, да заслон закрыли. Там и сгорела Яги-баба. Мальчик и девочка остались в ее доме. Ну, у нее было денег много, добра много, сундуки полные всего. Они ели, пили, побыли. Взяли денег, сколько могли, в сумку да и пошли. Шли, шли и попали на дорогу. Попали на дорогу и домой попали. Ну, пришли, принесли, вишь, золота сумку, серебра другую, денег тех Яги-бабиных.

Отец и мачеха эта обрадовались, что разбогатели теперь. Приняли их тут. Ну, они уже стали постарше, мальчик да девочка, и говорят:

— Мы денег вам не дадим, а если не выгонишь, — говорят, — эту жену, то мы с тобой не будем жить!

Да отец взял жену прогнал, стал с сыном и дочерью жить.

11. SURMU-SUARNU

Oli enne mužikku. Nimi oli hänel Kiril. Da akku oli. Akal oli nimi Mat'oi. Kirilän akku sai lapsen ylen hyviin. Akkah sanow ukole:

— Lapsi pidäz ristittiä. Kuomuo ewlo ni kedä vernoidu ottua. Kai ollah rahvas balamuwtat!

Akkah sanow ukole:

— Opi mennä kuomua eččimäh.

Mužikku lähtöw kuomua eččimäh. Tulow pyhä Il'ŭ vastah. Pyhä Il'ŭ sanow Kiriläle:

— Kunne lähtiit, Kiril?

— Lähtiin kuomua eččimäh.

A Il'ŭ sanow:

— Ota minu w kuomakse.

Mužikku sanow Il'ŭal:

— En voi minä sinuw ottua kuomakse, ylen olet sinä sluaboi mies. Ken sinule ruistu kobran view kirikköh, sille lähtet selgäh. Siid ei rodei kuomua minule.

Il'ŭ lähtöw dorogua myö astumah, dai mužikku ielleh, yksi yksiele, toine toiziele. Astuw mužikku ielleh dorogua myö mene tie min aigua, tulow mužikale pyhä Miikul vastah. Pyhä Miikul kzyzw mužikal:

— Kunne menet, Kiril?

Kiril sanow pyhä Miikulale:

— Akku sai lapsen, menen kuomua eččimäh.

Pyhä Miikul sanow Kiriläle:

— Ota minu w, Kiril, kuomakse.

Kiril sanow pyhä Miikulale:

— En voi ottua minä sinuw kuomakse. Sinä olet ylen sluaboi mies: ken sinule tuohuksen uskaldaw, bohattu mužikku, dai sinä sidä rubiet hyvittä mäh.

No hyö proščaidaheze. Pyhä Miikul lähtöw ielleh dorogua myöten, i Kiril lähtöw ielleh astumah. Astuw Kiril dorogua myöten. Kiril kač-čow: astuw mužikku vastah. Kzyzw mužikku Kiriläl:

— Kunne menet, Kiril?

Kiril sanow mužikal:

— Akku sai lapsen, poi jan, menen kuomua eččimäh.

Mužikku sanow Kiriläle:

— Ota minu w kuomakse.

Kiril kzyzw mužikal:

— Mi sinä miehii olet?

Mužikku sanow:

— Minä olen Surmu.

Kiril sanow Surmale:

— Gu olet sinä Surmu, siid otan kuomakse. Surmu on kaikiz ver-
noin mies: kedä hain tahtonow ottua, siid ni miittumat kielastukset ei
piätä.

Mužikku da Surmu lähtietäh kodih päi astumah. Tullah kodih
akalluo Surmu da Kiril. Sanow Kiril akalleh:

— Minä täs lövvin kuoman, Surman toin. Surmu on prawdu mies
kaikel muailmal.

Tuvvah hyö pappi, lapsi ristitäh čestim-por'atkom. Pappi järilleh
lähtöw omah kodih i Surmu d'ia w sih Kirilälluo. Suwtkat Surmu gostiw
kuomalluo. Rubiew Surmu iäre lähtemäh. A Kiril sanow:

— Ole, kuomu, täs vie, toizet suwtkat gosti.

Surmu sanow Kiriläle:

— En voi olla, kuomu-rukku, äijy rahvastu otettavua on: on vanhua, on nuordu — net pidäw kai, kenen očeredi tulow dai pidäw ottua.

Surman kere hyö proštitaheze. I Surmu sanow lähties, sanow:

— Kuomu, minä tullen ottamah, ole valmis. Tullen yö, tullen päiväl — ole valmis.

I Surmu lähti iäre, muwda ni midä ei sanonuh. Hyö diädih kodih elämäh i poiguadah kazvattamah. Poigu hyö kazvatettih tob'jakse miehekse. Poigah rubei eluo suamah äijäl i hyö kazakkua pidämäh, käskyläizet heil valmeheksi ruvettih syömisty tuomah. Erähän päivän ruvettih Kiril akan kere pagizemah:

— Meil nygy on aiga hyvä eliä: on syvvä, d'uvva kylläl. Eigo pidä ruata ni midä i žiäli olis kuolda nygy i Surmu tallow i kuolda pidäw ob'azatel'no.

Hyö ollah kaksikymmen viizi vuottu, a kuomua ei nähtä. Erähäl yö kolottiw Surmu veräin taga. Mužikku menöw veräidy avuamah. Kuomal veräin avuaw, laskow pertih. Tulow pertih, sanow Surmu:

— Nygy, kuomu, ottamah tulin.

Kiril sanow Surmale:

— Kuomu-rukku, eigo vois vähästy minud elättie?

Surmu sanow:

— Nygy täh ni miittumat paginat ei päitä — ole valmis.

Mužikku sanow:

— Anna hot' kolmiksi suwtkii srokku, kuomu-rukku, hoz ičele luain ruuhen mielder myö.

A Surmu sanow:

— Voit azua ruuhen. Ruuhen azunda aijakse annan srokkua, ku olet kuomu.

Mužikku ruuhen azui i krjiskat hyvät i ravvoitti pajas i toi pertih i opii mennä ruuheh. Opii Kiril ruuheh mennä, ruuhi rodei parahite i Kiril nowzi ruuher. Sanow Kiril Surmale:

— Opi sinä, kuomu, mennä, dai goi sinule ollow parahite, ku olemmo kuomakset?

A Surmu sinne meni ruuheh. Surmu gu ruuheh meni, i Kiril sinne salbai Surman. Krjiskan pani, nuagloil iški i rawduvandehtet ravvoitti i suattoi vedeh hänen, Surman, ruuhen kere.

Sie vies pidäw kolmekymmen vuottu. Jo Kiril iče vahnani. Surmua ole ei, ga et kuole. Jo olis hain ruadi kuolemah. Jo Kirilän poiga sidä lyöw, vahnani. Jo rahvastu rodiiheze mene tie mi muale. Siid erähän ehtän (tywni ehty rodiiheze) dogadietih järves vezi kiehuw. Ruvettih kaččomah, mi neče čuwdoloi on: vezi kiehuw keskijärves! Siid opittih suaha händy rahvas, ga ylen syvä on. Siid ruvettih nuotal pyydämäh. Siid nuottah tuli ruuhi. Rahvas pöllästyttih: «Mi neče čuwdoloi on: pokoiniekku vai mi ollow?». Hyö se ruuhi, rahvas riičittih. Surmu ruuher piästettih. Surmu pyhkäldih pagoh. Siid vie pageni, kolmekymmen vuottu oli pagos Surmu: pöllästy — ei vie tostu kerdua pandais. Siid

Kiril ei tiijä omua iččiedäh, moine on vahn. Kiril kääki kirjaižen kirjuttua kuomah: «Oi jo, kuomu-rukku, tule minuw ottamah, minä en voi enämbi eliä». A surmu vastah otvietan kirjutti: «Oliin minä ottamas kerran, enämbi ei himoita tulla, — sanow, — pidänöw, ga tule iče, minä priimin». Surmu kirjutti iččeh adrestan: pidänöw, ga tule täh. Kiril sanow poijalleh:

— Oi, poigaine, vie minuw rištižän luo, tahtonet minus piästä, eiga pidaw eliä ilmaine igä.

Poigu hebon val'asti i tuatan pani regeh i vei kuomah luo. I poigah sanow rištižälleh:

— Täs toin, rištižä, tuaton, priiminetgo sinä tuaton?

Surmu sanow rištipoijalleh:

— Tol'ko, poigani, äijy on miesty. Minä oliin vahnin muel, nengoi-stu durakkua ei sluččinuheze, miittuman gor'an ozutti kuomale tuattos. Kolmekymmen vuotta oliin järven pohjas, vie se nuottuniekat suadih, eiga pideli ilmain igä sie istuo i rahvas gor'ua nähtih, mi vahnattih yhten hänen durakan täh.

Süd Kirilän Surmu otti. Siid mužikku piäzi toižele ilmale.

11. СКАЗКА О СМЕРТИ

Был когда-то мужик. Звали его Кирилл. И жена у него была. Жену звали Матреной. Жена Кирилла родила ребенка, очень хорошего. Жена говорит мужу:

— Ребенка надо бы крестить. Никого в кумовья взять, надежных людей нет, все баламуты.

Жена говорит мужу:

— Попробайся поискать кума.

Мужик отправляется кума искать. Встречается святой Илья. Святой Илья говорит Кириллу:

— Куда направился, Кирилл?

— Отправился кума искать.

А Илья говорит:

— Возьми меня в кумовья.

Мужик говорит Илье:

— Не могу я тебя взять в кумовья, очень уж ты слабый человек. Кто тебе в церковь принесет пригоршню ржи, ты с тем и пойдешь. Поэтому ты не можешь стать моим кумом.

Илья идет дальше по дороге, и мужик идет вперед, один — в одну сторону, другой — в другую. Шагает мужик дальше по дороге. Через какое-то время встречается святой Никола. Святой Никола спрашивает у мужика:

— Куда идешь, Кирилл?

Кирилл говорит святому Николу:

— Жена ребенка родила, иду кума искать.

Святой Никола говорит Кириллу:

— Возьми меня, Кирилл, в кумовья.

Кирилл говорит святому Николе:

— Не могу я тебя взять в кумовья. Очень ты слабый человек: как тебе богатый мужик свечку пообещает, ты ему и начинаешь добро делать.

Ну, они попрощались. Святой Никола идет дальше по дороге, и Кирилл шагает дальше. Идет Кирилл по дороге. Смотрит Кирилл: идет навстречу мужик. Спрашивает мужик у Кирилла:

— Куда идешь, Кирилл?

Кирилл говорит мужику:

— Жена родила ребенка, сына, иду кума искать.

Мужик говорит Кириллу:

— Возьми меня в кумовья.

Кирилл спрашивает у мужика:

— Что ты за человек?

Мужик говорит:

— Я — Смерть.

Кирилл говорит Смерти:

— Коли ты Смерть, то возьми в кумовья. Смерть всех вернее, если кого захочет взять, то тут никакой обман не поможет.

Мужик и Смерть зашагали к дому. Приходят домой к жене, Кирилл и Смерть. Говорит Кирилл жене:

— Вот я нашел кума — Смерть привел. Смерть никто не подкупит.

Приводят они попа, ребенка крестят честным порядком. Поп идет обратно к себе домой, а Смерть остается у Кирилла. Сутки гостит Смерть у кума. Собирается Смерть уходить. А Кирилл говорит:

— Погости, кум, еще вторые сутки.

Смерть говорит Кириллу:

— Не могу, куманек, очень многих людей надо взять, и старых и молодых — всех, чья очередь подошла, надо взять.

Со Смертью они попрощались. И Смерть говорит перед уходом:

— Кум, если я приду за тобой, будь готов. Хоть ночью, хоть днем приду — будь готов.

И Смерть уходит, больше ничего не говорит. Они остались дома жить и сына растить. Вырастили они сына, стал взрослый мужчина. Сын стал добра много наживать, и они разбогатели. Им стало очень хорошо жить. Стали они работника держать, прислуга им стала даже еду приносить. Однажды Кирилл с женой стали разговаривать:

— Теперь нам очень хорошо жить — есть что покушать, попить вдоволь. И не надо и работать, и жаль было бы теперь умирать. А Смерть если придет — умереть придется волей-неволей.

Прожили они двадцать пять лет, а кума не видят. Однажды ночью стучится Смерть в ворота. Мужик идет ворота открывать.

Куму ворота открывает, впускает в избу. Приходит в избу, говорит Смерть:

— Теперь, кум, пришел за тобой.

Кирилл говорит Смерти:

— Куманек, нельзя ли немножко мне пожить?

Смерть говорит:

— Теперь никакие разговоры не помогут — будь готов.

Мужик говорит:

Дай хоть трое суток срока, куманек, хоть сам себе по душе гроб сделаю.

А Смерть говорит:

— Можешь делать гроб. На это время дам отсрочку, поскольку ты кум.

Мужик гроб сделал и крышку хорошую, и сковал в кузнице, и принес в избу, попробовал лечь в гроб. Попробовал Кирилл лечь в гроб, гроб получился в самый раз, и Кирилл встал из гроба. Говорит Кирилл Смерти:

— Попробуй-ка ты, кум, лечь в гроб, в самый ли раз и тебе, поскольку мы кумовья.

И кум лег в гроб. Кум как лег в гроб, Кирилл его там и закрыл. Крышку наложил, гвоздями забил и железными обручами оковал и бросил в воду гроб со Смертью.

Лежит там в воде тридцать лет. Кирилл уже сам состарился, но Смерти нет, так не умрешь. Уже он был бы рад умереть. Уже и сын Кирилла состарился. Уже народу стало на земле, поди знай, сколько. Потом однажды вечером (тихий был вечер) заметили: в озере вода бурлит. Стали смотреть, что это за чудо: вода бурлит на середине озера! Потом попробовали люди вытащить, но очень глубоко тут. Потом стали неводом тянуть. Потом в невод попал гроб. Люди испугались: «Что это за чудо, покойник или что?». Они этот гроб открыли. Смерть из гроба выпустили, Смерть со всех ног удирать. Потом она убежала, тридцать лет была Смерть в бегах: испугалась, как бы второй раз не упрятали. Потом Кирилл уже сам себя не помнит, такой старый стал. Кирилл велел написать письмо куму: «Ой, куманек, приди за мной, я не могу больше жить». А Смерть в ответ пишет: «Я раз уже ходил за тобой, больше не охота идти, — говорит, — если надо, то приходи сам, я приму». Смерть пишет свой адрес: если надо, то приходи, мол, сюда. Кирилл говорит своему сыну:

— Ой, сынок, вези меня к крестному, если хочешь от меня избавиться, не то придется жить вечно.

Сын запряг лошадь и уложил отца в сани и повез к куму. И сын говорит своему крестному:

— Вот привез, крестный, отца, примешь ли ты отца?

Смерть говорит своему крестнику:

— Вот, сынок, старше меня нет никого на земле, и я не помню такого дурака, какой был твой отец, — такое горе своему куму

причинил. Тридцать лет нужно было пробыть на дне озера, хорошо, что рыбаки выловили, не то пришлось бы вечно там сидеть, а люди бы горевали, которые стали слишком старые, из-за одного его, дурака.

Потом Кирилла Смерть берет. Мужик попал на тот свет.

12. ZOOKKUN SURMAS

Enne vahnas Surmu käveli moodu myö. Se oli huonone, ribuhine, laihane, instrumentoo kai kohtat tävvet. Oligo hänel labjastu, oligo taltastu, oligo pitkee niegloo. Oligo hänel vazarastu.

Eli enne sie bohattu mužikku, hiitroi. Kezäl roottih, talvel mužikku koiz oli. Nu vot. Häi rešši: «Roodoo ni midä ewle, lain ičelleni ruwhen, jo ehki roih varuksis». Ruwhen loodi, vie ku vai sai valmistoo, kaččoo, tuloo ylen huono šmetku-kulu heil, mužikku-kulu. Tuli pertih, tervehyön loodi, mužikku vastai. Istuvui lawčal. Mužikku kyzelöö:

— Ken sinä olet, ku olet nenga huonone?

Häi sanoo:

— Ga minä olen Surmu. (Eeni hienone, hil'Yakkane.)

— Kui sinä, Surmu, nengone huono, tapat, ku olet nenga huono? Aigago vešši olen varannuh, en enämbi varoo igäh!

— Älä, poigani, pahoi pagize, sinun očeredi on. Kolmen päivän srokku annettih, sinuw ottamah tulin.

— No kui sinä, — sanoo, — tapat, sanele minul ennepäi.

Dai häi rubei sanelemah:

— Vazarazil, — sanoo, — luuloi perran da peedy, niegloil lihoi da nivelii pystelen, pilazil luud da niveled pilailen, štobj kui astuu da hodii ei vois; labjazil lihat suomin, štobj kui mooh ei meniz; taltazil luud murendan da aivod kolotin, näid. Sid, — sanoo, — rištikanzu väzyy da kuoloo.

Mužikku sanoo:

— Olgah, älä minuu tapa, vuota minä ruuhen valmistan. Kačo, pädöögo sinul, sid minulgii pädöö, meeräičen.

A mužikal on toized mieled. Dai mužikku ruuhen valmisti, nooglazed da rauduvandehed varusti, vazaran varusti. Surmal sanoo:

— Vierez nygöi, minä kačon, roihgo hyvä? Sinun mieldy myö ro-dinnoo, sid minulgii pädöö.

I häi vierl. Mužikku kršskazen peel, nooglazil kiini, rauduvandehil kiini. «Nygöi, — sanoo, — sie pyzyt!». Jo Surmu pyrgivyy, ga sie pyzyy. Mužikku hevol regeh. Surman ruuhen kel regeh da iče ajamah merel, vei Surman mereh.

Jo mužikku elee kaksisadöö vuottu, kai vahnad eletäh, iččee kandoo ei voija, a Surmu ei tule. Jo mäil päi työtäh vahnol alas, štobj kuoldas.

Jo hänel, sil mužikal, juohtuu mieleh, što häi Surman vei merel. Sid sanoo, što «oppied eččii Surmoo, eigo sie mis löydys rannoil libo

merel». Davai rahvas merdy myö ajamah, Surmoo eččimäh, da sid i lövvettih ruuhi. Kyzytäh Surmal:

— Oledgo sie?

Surmu vienozel eenel vastoo:

— Netee olen.

Sid peestettih Surmu ruuhes. Sissah Surmu ei javno kävele, ei ozut-tavu. Sid vai ottaa kenengi, vanhols, a viei nuorie ottoo... Nuorii pygöi liečitäh.

12. СКАЗКА О СМЕРТИ

В далекую старину Смерть ходила по земле. Была она худая, в лохмотьях, неприглядная, инструментов всяких у нее полно кругом. Были у нее и лопаточки, и долота, были-то у нее иглы длинные, молоточки разные.

Жил тогда богатый мужик, хитрый был. Летом работал, зиму дома был. И решил он от нечего делать: «Выстругаю-ка, себе гроб; в случае чего, будет готов». Гроб сделал, только успел закончить, смотрит, идет худущий человек, мужичонка. Зашел в избу, поздоровался. Хозяин ответил. Сел на лавку. Мужик спрашивает:

— Ты кто такой, больно уж худой?

Говорит он:

— Да я Смерть. (А голос писклявый, слабый.)

— Как же ты, Смерть, такая из себя тощая, убиваешь? Больно уж ты худая. Вот уж было мне кого бояться, больше в жизни бояться не буду!

— Не говори, сынок, так, теперь твоя очередь. Дали три дня сроку, за тобой я пришла.

— Как же ты убиваешь, скажи мне наперед.

И стала она рассказывать:

— Молоточками, — говорит, — кости ломаю и по голове бью, иглами мышцы и суставы покалываю, пилками кости и суставы пилю, чтобы ходить не мог [человек], лопаточками мышцы скоблю, долотами кости крошу и мозг долблю. Потом, — говорит, — крепенный устает и умирает.

Мужик говорит:

— Ладно, не убивай меня, подожди, я гроб закончу. Попробуй-ка, если подойдет он тебе, тогда и мне подойдет, измерю.

А у него другое на уме. Доделал мужик гроб, приготовил гвозди, молоток, обручи железные. Говорит Смерти:

— Ложись-ка теперь, посмотрю, хорошо ли будет. Понравится тебе, тогда и мне будет в пору.

Легла она. Мужик крышкой накрыл, гвозди прибил, железными обручами закрепил. «Теперь, — говорит, — там будешь!». Уже Смерть просится оттуда, да теперь уж не выйти. Мужик сел в сани. Гроб со Смертью в санях и поехал к морю. Увез Смерть в море.

Уже мужик живет двести лет. Все старики живут. Уже ходить не могут, а смерть не идет. Уже с горы вниз стали спускать старых, чтобы умерли.

И вспомнил тот мужик, что он увез Смерть в море. И говорит он, что «попробуйте поискать Смерть, не найдется ли где на берегу или в море». Начали люди по морю ездить, Смерть искать, и нашли там гроб. Спрашивают:

— Смерть, здесь ли ты?

Смерть тоненьким голоском отвечает:

— Здесь я!

Выпустили Смерть из гроба. С тех пор перестала Смерть явно ходить, не показывается. Возьмет когда кого из старых, иногда и молодых уносит... Да молодых теперь лечат.

13. IIVAN-UKON POIGU

Oli enne Iivan, hänel on yksi poigu. Briha se roiteh hänel hyvä, hyvä kačču, kai totzih kyläh menöw sluavu Iivan-ukon poijas.

Lähtietäh izän kel kakua suamah merel. Sovvetah suareh yökse. Toizen gosudarstvan neidizet ollah gul'aiinas omai sudnal merel, ga suaren randoi myö ku ajetah i dogaditah Iivan-ukon poigu rannal. Iivan-ukon poigu ku on moine čoma, kai läikkyy. Hyö kaikin miellytäh häneh. A Iivan-ukon poigu mieläy yhteh neidizeh dai neidine häneh. Iivan-ukon poigu i kyzyw neidizel:

— Tuletko sinä minul mučoiakse, ku minä tulen sinuo ottamah?

— Tulen, — sanow neidine, — valmehekse tulen, ei piä tulla i ottamah.

Suares päi lähtietäh neidizet gul'aičuksen kel kodih, a Iivan-ukon poigu tože tuattah kel lähtöw kodih.

Kodvaine koiz eletäh, ga ajaw kolme korablie Iivan-ukon randah. Mučoi tulow eloloin kel. A Iivan-ukko ei ni anna valdua poijal ottua mučoiakse. Neidine ajoi iäre korabliloin kel.

Toššu piän tulow neidine kuvven korablin kel mučoiakse tariččevumah. Iivan-ukko ei anna poijal valdua ottua neijisty mučoiakse. Neidine lähtöw därilleh kuvven korablin kel.

Kolmanden kiäran tulow kai yheksän korablin kel: muga mieläy Iivan-ukon poigah. Iivan-ukko yksikai ei anna poijal valdua ottua, i muga neidizel pidäw lähtie iäre.

Briha eli ainos täh saite sovus tuatan kel, a nygöi tuskevui i sanow tuatal:

— Minä sinun kel en voi diähä elämäh, kieran nengoistu mučoidu et andanuh valdua ottua. Lähten iäreh kois.

Suoriew i lähtöw mučoidu sidä eččimäh. Astuw, astuw dorogua myöte, meččiä myöte, kunne puwttuw, sinne i menöw, pahoiz mielin da

gor'az, ei ni iče tiijä, kunne häi matkadaw. Mečäs proidijes sie năgōw pertizen, kudai kukoin siärel pyōriw. Menōw pertizen pihah i sanow pertizel:

— Azetu, azetu, pertizeni, matkalaizen yōsijaksel

Pertine azettuw. Menōw briha pertizeh, ga akku istuw pertizes i sanow:

— Kolme vuotta ruskoidu duwhuo ei kävynyh pertih, a nygōi tuli tăh piälleh syōdăvăkse russkoi duwhul

Briha sanow:

— Oi t'owtoi-rukku, mimbo matkumiehes syōt? Kobraine luwdu, luzikku verdy, rokkua ku pezovetty! Sidăgo syōt?

— Oi huoran poigul Maltoit paista, maltat i muata, — akku vas-tuaw.

Rubiew akku brihal kyzelemăh:

— Kuspăi tulet, kunne menet, kuda roduo olet?

Briha sanow:

— Mină olen Iivan-ukon poigu.

— Oo, — sanow akku, — sină olet minun vellen poigu! Kuibo sină tănne puwtuit?

Briha vastuaw:

— Oi, t'owtoi-rukku, mielidyin mină neidizeh i häi minul tulluh olis, ga ei tatoj andanuh valdua ottua. Kolme kerdua neidine tuletteri, kol-mandel kieral kai yheksăn korablin kel, ga ei andanuh tata ottua. Sidă neijisty lâhtin eččimăh — ili năhtă hăndy, ili kuolta.

— Oo, poigani, — akku sanow. — Sen neidizen năhtes pidăw kolmet rawdaizet kotat jalgah kuluttua, kolme rawdastu košteli kădeh kuluttua, kolme rawdastu proskunua suwh sulata.

— Kusbo mină otaņ? — kzyzw briha.

Akku nevvow:

— Mene tăs seiččekymmen virstua, sie on paja i siit pajas sinul net luajitah.

Akku dorogan nevvow, i briha lâhtōw. Astuw, astuw dorogua myōte, ga tulow d'ănōi poigien kel vastah. D'ănōi rubiew pagizemah:

— Oi, hyvä brihaine, luaji meile hyvytty, ota kawftan piäl, da kata meidy, rajehtuwčču tulow, tappaw poiijat.

Briha kawftanan piäl heittäw. Rajehtuwčču tulow: panow, panow raistu. Heittäw ragehen panendan, briha kawftanan ottaw. D'ănōi poigien kel meččăh mennessăh kirguaw:

— Vie mină lienen sinul hyvytty luadimah!

Briha panow mărăn kawftanan piäl i lâhtōw ielleh astumah. Astuw, astuw, ga tulow sorzu poigien kel vastah:

— Oi, hyvä briha, kel lienet aijallah hyvytty luadinuh, kata meidy kawftanal, rajehtuwčču tulow, ga tappaw poiijat.

Briha kawftanan piäl heittäw i kattaw. Rajehtuwčču tulow, panow raistu. Jălgimăi heittäw panendan. Briha ottaw kawftanan, a sorzu poigien kel d'ărveh mennessăh sanow:

— Lienen mină sinul hyvytty luadimah!

Briha marrän kawftanan piäl, i ielleh astumah. Astuw meren randah i meren randua — lietetty myö matkuaw. Kaččow, ga tuwli on havvin lietostannuh rannal. Hawgi rubiew pagizemah:

— Hoi, hyvä briha, kel lienet äijän hyvytty luadinuh, piästä minuw liettiesrannal.

Briha eččiw kangen i kangel murdaw havvin mereh. Hawgi vedeh piästyö sanow:

— Lienen minä sinul hyvytty luadimah!

Briha ielleh astuw dai tulow pajah. Seppy kyzyw:

— Midä nuorel miehel pidäw?

— Pidäs luadie kolmet rawdaizet kotat, kolme rawdastu košteli i kolme rawdastu proskunua.

Seppy luadiw kolmet rawdaizet kotat, kolme rawdastu košteli i kolme rawdastu proskunua i andaw brihal. Briha sanow «passibo» i lähtöw. Panow kotat d'algah, koštelin kädeh i proskunan suwh. Astuw d'ärilleh t'owtan luo, ga ei kotat ni pietyl tunnuta, ei košteli kosketul, eigo proskun sulanuh. Tulow t'owtalluo, sanow:

— Seiččekymmen virstua tulin, ga ni vowse ei kotat, ni košteli kulu-nuh, ni proskun sulanuh.

Akku syöttäw, d'uottaw i muata panow. Iče rawdaizet kotat d'algah, rawdaizen koštelin kädeh i raudaproskunan suwh. Hyppiwi, hyppiwi peijastieteh yön i rawdukotat kuluttaw, rawdukoštelin kuluttaw i proskunan suluaw. Huondeksel luadiw syömisty, brihan nostattaw, syöttäw, andaw kotat d'algah, koštelin kädeh i työndäw dorogua myö.

Briha astuw, astuw — tulow pertine vastah, kukoin siäril pyöriw. Briha astuw lähil i sanow:

— Azetu, azetu, pieni pertine, matkalaizel yösijaksel

Pertine azettuw. Menöw pertizeh, akku istuw pertis.

— Kuwzi vuottu ei käwnyh russkoidu duwhuo syödäwäkse, nygöi piälleh pertih tuli russkoi duwhu syödäwäksel — jyrähtäw akku.

— Mibo, t'owtoine, on matkalaizes syödäwiä? Kobru luwdu, luzikku verdy, rokkua ku pezovetty.

— Maltoit, huoran poigu, paista, ga malta i muata, — akku sanow.

Rubiew brihal kyzymäh:

— Kuda suguo, kuda roduo, kus tulet, kunne menet?

— Olen Iivan-ukon poigu, — briha vastuaw.

— Oo, sinä olet minun vellen poigul. Kui sinä puwtuit nengoizel matkal? — kyzyw akku brihal.

Briha sanelow — nenga i nenga, nengoistu neijisty olen eččimäz.

Akku brihua syöttäw, d'uottaw, muate panow. Iče panow rawdukotat d'algah, rawdukoštelin kädeh i rawduproskunan suwh. Hyppiwi, hyppiwi, peitäw i kuluttaw net. Huondeksel brihan nostattaw, syöttäw, andaw dostalin koštelin kädeh, dostalin proskunan suwh, dostalit kotat d'algah i työnnyttäw dorogah, i sanow:

— Tädä dorogua sinul pidäw mennä ielleh.

Briha astuw, astuw, tulow pertine, kukoin siärel pyöriw.

Briha sanow:

— Azetu, azetu, pertine, matkalaizel yösijaksel
 Menöw pertizeh. Akku sanow sie gruwboimbah toizie:
 — Yheksä vuottu ei käwnyh russkoidu duwhuo, a nygöi piälleh
 pertih tuli russkoi duwhu syödäväksel
 — Mibo, t'owtoi, on syödäviä matkumiehes? Rokkua ku pezovetty,
 kobru luwdu, luzikku verdy, — vastuaw briha.
 — Maltoit, huoran poigu, paista — malta i muata, — akku sa-
 now.

Kyzyw:

— Kudamua sugukundua olet, kudamua rodukandua?
 — Olen Iivan-ukon poigu, — briha vastuaw.
 — Oo, sinä olet minun vellen poigul Kuspäi sinä tulet, kui tänne
 puwtuit? — akku kyzyw.

Briha op'at' sanelow, što nenga i nenga, ečin nengostu neijisty. Akku
 brihan syöttäw, d'uottaw i panow muate. Iče panow rawdaizet kotat
 d'alga, ottaw rawdukoštelin kädeh i panow rawduproskunan suwh.
 Hyppi, hyppi, peitäw i kuluttaw kotat i koštelin i suluaw rawdu-
 proskunan, vai d'jähäh liwtakkoizet. Huondeksel nostattaw brihan, syöt-
 täw, d'uottaw i nevvow:

— Nygöi ku minä työnytän sinuo dorogah, mene tädä dorogua,
 kuni tulow linnu vastah. Linnan agjas on pieni pertiins. Mene sinä siih
 pertizeh, siid eläw sen neidizen ristämä. Älä enzimäi d'lävieta neidizel,
 eiga häi sinuo tappaw, a opi ristämän, kui voit nähtä händy.

Briha panow kottuliwtakkoizet d'alga, koštelin kädeh i proskunan
 suwh, i lähtöw.

Lähtöw astumah. Astuw, astuw, rubei linnu nägymäh. Muga i on
 linnan agjas pieni pertiine. Menöw pieneh pertizeh. Pertizes pikkaine
 akkaine istuw. Briha tervehyön luadiw. Akku ihästukeis vastuaw:

— Terveh, terveh, hyvä briha! Minä kai olen ihästukeis, ku minul
 käviijy tuli. Ni ken ei, rawkku, minulluo kävvä, pertiine on pieni i minuw
 paheksitah.

Brihan syöttäw, d'uottaw, lämmän sijan azettaw i käsköw muate.
 Briha ei magua, i akku rubiew kyzymäh:

— Kenen sinä poigu olet i kus päi tulet?

Briha sanelow akkaizel kaiken suarnan i elaijan, i kui häi eččiw
 nengoistu neijisty.

— Oi, armas poigaine, — sanow akkaine, — se on minun ristintytär!
 Minä hänen duwmän tiijän: sinuo ku nygöi nähnöw, sinuo tappaw, ku
 nengoizen eloloin kel goštih kävyi, sinä et ottanuh.

I akkaine nevvow brihal:

— Sinä kun voitit suaha nečen neidizen tuskat, ga häi sinuo ei tap-
 pas, a ku ethäi voinne suaha, ga sinuo häi tappaw.

— Oi, t'owtoine, — briha pokoroiččow. — Sano, t'owtoine, kus tä-
 män neidizen tuskat ollah?

— Mene meren rannal, sie on pajumätäs, mättähän ual on škatuline,
 škatulizen sydämes on d'änöi, d'änöil sydämes on sorzu, sorzan sydämes
 on d'aiččy, d'aičän-sydämes ollah minun ristintyttären tuskat.

Briha vierow muate hyväs mieles. Huondeksel akkaine nostattaw, syöttaw, d'uottaw, i lähtow briha neidizen tuskie eččimäh. Menow meren randah: astuw, astuw — tuli pajumätäs vastah. Nostelow i kai-velow mätästy i löwdaw škatulizen. Avualdaw škatulizen, ga valgei d'änöihyt meččäh — pagoh. Hänel rodih moine paha mieli, mättähäl istuw i duwmaiččow: «Oletteli kâjes, ga en maltannuh pidiä».

Kaččelow ymbärimäizeh, ga harmai d'änöi kandaw selläs valgiedu d'änöidy (tuow hakittaw, d'o vei' löwdyw i avuttai).

— Luajit sinä minul hyvytty, katoit poiijat kawftanal, ga minä i sinul luajin hyvytty.

Briha ottaw d'änöin, avuaw — ga sorzu lendoh d'änöin sydämes päil Brihaine op'at' istuw pahas mieles pajumättähäl i duwmaiččow: «Ei puwtuta neidizen tuskat, i neidisty ei puwtu nähtä». Kaččow, ga d'ouhsorzu lendaw selenčusorzu selläs. Andaw brihal sorzan i sanow:

— Na, ota sorzu. Luajit sinä minul hyvytty, ga i minä sinul hyvyöt tazuan, — i lendaw iäre.

Briha istuoteh meren randaizel, pidaw sorzua lujaizeh i avuaw vačan, ga d'aiččy — mereh!

— Oi minä ozatoi, onnuako ei puwtu nähtä neijisty, — i duwmaičči da pagizi kai yksinäh poigu, — eihäi meres kui voi suaha d'aiččiä?

Kaččow, ga uldaw hawgi meres päil d'aiččy hambahis.

— Luajit minul hyvytty, piästit minuo elämäh, ga i minä sinul luajin hyvytty, d'aičän toin.

Briha ottaw d'aičän i tuow akkaizel. Akkaine sanow:

— Huomei luajin d'aišniekan täz d'aičäz i kučun ristityttären goštih. Häi ku syow d'aičän, ga hänelleh tullah järilleh tuskat nähtä sinuo, a sinä mene peittoh.

Toššu piän muga i ruatah. Akkaine luadiw d'aišniekan, kučuw neidizen goštih, a brihan panow karzinpordahil. Istuw briha kodvaizen karzinpordahil. Kuwlow, ga tulow. Tulow perttih, n'uwstelow, n'uwstelow i kyzw:

— Rist' oi, midäbo sinul on russkoi duwhu pertis?

— Ei d'o, tyttäreni, ni kedä olluh, d'aišniekan luajin sinuo goštittua, ga se tulow nenäh, — ristämä vastuaw i panow ristintyttärel syyvä.

— Syö, tyttäreni, d'aišniekkua! Syö, ei ole ni midä muwdu nygöi goštittua.

Istuoteh ristintytär syömäh. Syow vai vähäizen d'aišniekkua, ga i vongahtah:

— Oi, ristämä, söit minun!

— Mibo sinul rodih, tyttäreni? — ristämä sanow.

Neidine sanow:

— Olis ku nygöi liwan-ukon poigua nähtä kui tahto! Op'at' pidaw lähtie korabililoin kel tariččevumah andilahakse.

Ristämä kyzw:

— Kägeithäi tappua liwan-ukon poijan, ga etgo nygöi tappas?

— En, ristimä, tappas nygöi, — neidine sanow.

Ristämäh avuaw karzinuksen i kuččuw Iivan-ukon poiijan karzinas iäre. Nowzow Iivan-ukon poiigu karzinas iäre, neidine ku hyppiäw da Iivan-ukon poiijal kaglah!

— Ristämän karzinas päi päivy nowzil — neidine ihastuksis kirgai.

Ottaw neidine Iivan-ukon poiijan kodih eloloilluo, dai ristämä otettih dostalikse igiä muamakse. I Iivan-ukolluo ni mennä ei, i muga eletäh vie tänäpäigi. Piettih ylen hyvä svuad'bo i minägi olin svuad'bos. Kyrzäine pastettih, mezivedeh kastettih, sidä minul ei oppie puwtunuh, pohjattomal stokanal viinua annettih. Vie tänäpäigi olen humalas, suarnua vai sanon.

13. СЫН ИЙВАН-СТАРИКА

Был когда-то Ийван, у него один сын. Парень вышел красивый-красивый лицом, даже до других деревень доходит слава о сыне Ийван-старика.

Отправляются с отцом на море рыбу ловить. Пристали к острову переночевать. Девушки из другого государства катаются на своем судне по морю, едут вдоль берега острова и примечают на берегу сына Ийван-старика. А сын Ийван-старика такой красивый — даже весь сияет. Он им всем понравился. А сыну Ийван-старика приглянулась одна девушка, и девушке — он. Сын Ийван-старика спрашивает у девушки:

— Пойдешь ли за меня замуж, если я приеду за тобой?

— Пойду, — говорит девушка, — сама приеду, не надо и приезжать за мной.

Девушки уезжают с острова домой, а сын Ийван-старика с отцом тоже уезжают домой.

Живут некоторое время дома, и причаливает три корабля к берегу Ийван-старика. Невеста приезжает с добром. А Ийван-старик и не дает сыну воли взять ее в жены. Девушка уплыла обратно с кораблями.

На второй день девушка с шестью кораблями приплывает в жены себя предлагать. А Ийван-старик не дает сыну воли взять девушку за себя. Девушка уплывает обратно с шестью кораблями.

В третий раз приезжает со всеми девятью кораблями: так ей понравился сын Ийван-старика. Ийван-старик все равно не дает сыну воли брать ее, и так девушке приходится уезжать обратно.

Сын жил до сих пор всегда в согласии с отцом, а теперь обиделся и говорит отцу:

— Я с тобой не могу жить, раз не дал воли такую девушку взять в жены. Уйду из дому.

Собрался и пошел девушку ту искать. Идет, идет по дороге, по лесу — куда попало, куда и идет — опечаленный и огорченный, и сам не знает, куда идет. Идя по лесу, видит избушку, которая на петушиной ножке вертится. Идет во двор и говорит избушке:

— Остановись, остановись, избушка моя, будь ночлегом для путника!

Избушка останавливается. Заходит парень в избушку, а в избушке старуха сидит и говорит:

— Три года русского духа не бывало в избе, теперь пришел сам русский дух на съедение!

Парень говорит:

— Ой, тетенька, что в путнике съедобного? Пригоршня костей, ложка крови, навар, как помои. Это ли есть будешь?

— Ой, б... сын! Сумел ответить, сумеешь и переночевать, — старуха отвечает.

Начинает старуха парня расспрашивать:

— Откуда идешь, куда бредешь, какого роду, какого племени?

Парень говорит:

— Я сын Ийван-старика.

— О, — говорит старуха, — ты моего брата сын! Как же ты сюда попал?

Парень отвечает:

Ой, тетенька, понравилась мне девушка, и она бы за меня вышла, но не дал отец воли взять. Три раза девушка приезжала, в третий раз даже с девятью кораблями, но не дал отец воли. Эту девушку пошел искать — или увидеть ее, или умереть.

— О, сын мой, — старуха говорит, — чтоб увидеть эту девушку, надо три пары железных башмаков на ногах износить, три железных посоха в руке износить, три железные просвирки чтобы во рту растаяли.

— Где мне их взять? — спрашивает парень.

Старуха советует:

— Иди отсюда семьдесят верст, там есть кузница, и в этой кузнице тебе все это сделают.

Старуха дорогу рассказала, и парень отправляется. Идет, идет по дороге, и встречается заяц с зайчатами. Заяц начинает говорить:

— Ой, добрый человек, сделай нам добро, сними кафтан да укрой нас — туча с градом идет, убьет зайчат.

Парень кафтан снимает. Поднимается туча с градом. Идет, идет град. Перестал идти град, парень кафтан берет. Заяц, с зайчатами в лес убегая, кричит:

— Я еще тебе отплачу добром!

Парень надевает мокрый кафтан и отправляется дальше. Идет, идет — а навстречу ему утка с выводком:

— Ой, добрый парень, если кому-нибудь делал добро, так укрой нас кафтаном — туча с градом идет, убьет утят.

Парень кафтан снимает и укрывает. Туча с градом поднимается, хлещет, хлещет град. Наконец перестал хлестать. Парень берет кафтан, а утка, уходя с утятами на озеро, говорит:

— Я тебе отплачу добром!

Парень мокрый кафтан на себя надевает — и дальше шагать. Приходит к берегу моря и по берегу — по береговому песку —

идет. Смотрит — ветром пригнало щуку на сушу. Щука заводит разговор:

— Ой, добрый парень, если кому-нибудь делал добро, то вы-свободи меня из песка и выпусти в воду.

Парень находит кол и колом поддевает щуку и выпускает ее в море. Щука, попав в воду, говорит:

— Отплачу я тебе добром!

Парень идет дальше и приходит в кузницу. Кузнец спрашивает:

— Что надо молодому человеку?

— Надо бы сделать три пары железных башмаков, три железных посоха и три железные просвирки.

Кузнец делает три пары железных башмаков, три железных посоха и три железные просвирки и дает парню. Парень говорит «спасибо» и уходит. Обувает башмаки, берет посох в руку, просвирку кладет в рот. Идет снова к тетке — башмаки будто и не ношены, посох будто не тронут, и просвирка не растаяла. Приходит к тетке, говорит:

— Семьдесят верст прошел, а башмаки и посох нисколько не износились и просвирка не растаяла.

Старуха кормит, поит его и спать укладывает. Сама обувает железные башмаки, берет железный посох и железную просвирку кладет в рот. Прыгает, прыгает всю ночь, и железные башмаки износились, железный посох износился и просвирка растаяла. Утром готовит еду, парня будит, кормит, дает другие башмаки, посох в руку и отправляет в дорогу.

Парень идет, идет — встречается избушка, на петушиных ногах вертится. Парень подходит близко и говорит:

— Остановись, остановись, избушечка, путнику для ночлега!

Избушка останавливается. Заходит в избу, старуха сидит в избе.

— Шесть лет не приходило русского духу для съедения, теперь сам пришел русский дух на съедение! — загремела старуха.

— Что, тетенька, в путнике съедобного? Пригоршня костей, ложка крови, навар, как помой.

— Сумел б... сын, ответить, сумеешь и переночевать, — старуха говорит:

Начала парня расспрашивать:

— Какого роду, какого племени, откуда идешь, куда бредешь?

— Я сын Ийван-старика, — парень отвечает.

— О, ты моего брата сын! Как ты сюда попал? — спрашивает старуха у парня.

Парень рассказывает — так и так, такую-то девушку ищу.

Старуха парня кормит, поит, спать укладывает. Сама обувает железные башмаки, берет в руку железный посох и кладет в рот железную просвирку. Прыгает и изнашивает их. Утром парня

будит, кормит, дает в руку то, что осталось от посоха, на ноги то, что осталось от башмаков, в рот то, что осталось от просвирки, и говорит:

— По этой дороге тебе надо идти дальше.

Парень идет, идет — встречается избушка, на петушиной ноге вертится. Парень говорит:

— Остановись, остановись, избушка, путнику для ночлега!

Заходит в избу. Старуха там еще грубее прежних говорит:

— Девять лет не приходило русского духа, а нынче в избу пришел русский дух на съедение!

— Что, тетенька, съедобного в путнике? Навар, как помои, пригоршня костей, ложка крови, — ответил парень.

— Сумел, б... сын, ответить — сумеешь и переночевать, — старуха говорит:

Спрашивает:

— Какого ты рода, какого племени?

— Я сын Ийвай-старика, — парень отвечает.

— О, ты моего брата сын! Откуда ты идешь, как сюда попал? — старуха спрашивает.

Парень опять рассказывает, что так и так — ищу такую-то девушку. Старуха парня кормит, поит и спать укладывает. Сама обувает башмаки, берет железный посох в руку и кладет железную просвирку в рот. Прыгает, прыгает, износились башмаки и посох, растаяла просвирка — одни только тоненькие кусочки остались. Утром будит парня, кормит, поит и советует:

— Теперь как я тебя отправлю в дорогу, так ты иди по этой дороге, пока не встретится город. На краю города маленькая избушка. Ты зайди в избушку, в ней живет крестная этой девушки. Сперва не показывайся девушке, не то она тебя убьет, а узнай у крестной, когда ее можно увидеть.

Парень обувает остатки железных башмаков, берет остаток посоха в руку, просвирку в рот и уходит.

Пускается в путь. Идет, идет, показался город. Так и есть — на краю города стоит маленькая избушка. Заходит в маленькую избушку. В избушке сидит маленькая старушка. Парень здоровается. Старуха с радостью отвечает:

— Здравствуй, здравствуй, добрый парень! Я очень рада, что ко мне человек зашел. Никто ко мне не ходит, избушка мала, и меня считают хуже других.

Накормила, напоила парня, стелет ему в теплом месте и велит ложиться. Парень не спит, и старуха начинает расспрашивать:

— Чей ты есть, сынок, и откуда идешь?

Парень рассказывает старушке свою повесть и жизнь, и что он ищет такую-то девушку.

— Ой, милый мальчик, — старушка говорит, — это моя крестница! Я ее думу знаю: если тебя теперь увидит, то убьет, потому что она с таким приданым приезжала, а ты не взял ее.

И старушка дает парню совет:

— Если бы ты сумел достать тоску той девушки, то она тебя не убила бы, а если не сумеешь достать, то она тебя убьет.

— Ой, тетенька, — парень спрашивает, — расскажи, тетенька, где тоска этой девушки?

— Иди на берег моря, там есть ивовый куст, под кустом шка-тулка, в шкатулке зайчик, внутри зайчика утка, в утке яйцо, в яйце тоска моей крестницы.

Парень обрадованный ложится спать. Утром старушка будит, кормит, поит, и отправляется парень искать тоску девушки. Приходит на берег моря, идет, идет — приходит к ивовому кусту. Роет под кустом и находит шкатулку. Открывает шкатулку — белый зайчик бросается в лес. Ему так горько стало, сидит на кочке и думает: «В руках было, а не сумел удержать».

Смотрит вокруг — серый заяц на спине несет белого зайца (тащит себе — найдет же ведь помощник).

— Ты мне добро сделал — укрыл зайчат кафтаном, так и я тебе добром отплачу.

Парень берет зайца, раскрывает — утка из нутра зайца вылетела! Парень опять огорченный сидит на кочке и думает: «Не достать мне тоску девушки, и девушки мне не видать». Смотрит — летит селезень с уткой. Отдает [селезень] парню утку и говорит:

— На, возьми утку. Ты мне добро сделал, так и я тебе добром отплачу, — и улетает прочь.

Парень садится на берег моря, держит крепко утку и распарывает живот — яйцо в море!

— Ой, я несчастный, кажется, не придется увидеть девушку! — И думает и даже вслух говорит парень: «Разве можно из моря яйцо достать?».

Смотрит — выплывает щука из моря с яйцом в зубах.

— Ты мне добро сделал, вернул мне жизнь, так и я тебе добро сделала, яйцо принесла.

Парень берет яйцо и приносит старушке. Старушка говорит:

— Завтра сделаю яичницу из этого яйца и позову крестницу в гости. Она как съест яйцо, так к ней вернется тоска и ей захочется увидеть тебя, а ты спрячься.

На другой день так и делают. Старушка жарит яичницу, зовет девушку в гости, а парня прячет в подполье, на ступеньки. Сидит парень некоторое время на ступеньках. Слышит — идет [девушка]. Приходит в избу, принохивается, принохивается и спрашивает:

— Крестная, почему у тебя русский дух в избе?

— Никого нет, доченька, яичницу жарила тебя угостить, это и ударяет в нос, — крестная отвечает и угощает крестницу.

— Ешь, доченька, яичницу! Ешь, сегодня нечем больше угощать.

Села крестница есть. Только чуточку поела яичницу, как за-
стонала:

— Ой, крестная, съела ты меня!

— Что с тобой, доченька? — крестная говорит.

Девушка говорит:

— Увидеть бы мне теперь сына Ийван-старика! Опять надо
поехать на кораблях проситься ему в жены.

Крестная спрашивает:

— Обещала ведь убить сына Ийвана-старика, а теперь бы не
убила?

— Нет, крестная, теперь бы не убила, — девушка говорит.

Крестная открывает вход в подполье и зовет сына Ийван-
старика из подполья. Встает сын Ийван-старика из подполья —
девушка как бросится сыну Ийван-старика на шею!

— Из подполья крестной солнце встало! — девушка радостно
крикнула.

Берет девушка сына Ийван-старика в свой дом, к своему
добру, и крестную взяли матерью на остаток ее жизни.
А к Ийван-старика даже не съездили. И так хорошо еще по сей
день живут. Сыграли очень хорошую свадьбу, и я была на
свадьбе. Колобок испекли, в сыту макнули, но попробовать его
мне не пришлось; в стакане без дна дали вина. Еще и сегодня
пьяна, сказки только рассказываю.

14. ZOLOTOT KOROLI

On cuari. Cuaril on poigu, i häi năgöw kolme yödy unis yhteh
palah, što «sinul, cuarin poigu, pidăw ruveta naimah, i ken tallow ez-
mäine vastavus, se mučoiķee ottua».

I häi sanow tuatalleh i muamalleh:

— Nenga i nenga. Minä kolme yödy yhteh palah năin unis, što
minun pidăw naija i ottua, ken tulow ezmăižikse vastah, mučoiķse.

Hyö i sanotah:

— Nu nai sit, gui käsķietăh.

Paistah illal i yöl jo duumaiččow, što huondeksel lähtöw naimah.
I huondeksel nouzow, pezöw silmăt, silmăt ristiw, syöw da ottaw tuatas
i muamassah blahoslovenjan, ristiw silmăt, kumardah jalgah:

— Blahoslovikkua naimah.

I lähtöw. Pordahien piăh menöw, op'ăt' silmăt ristiw: «Hospodi,
blahoslovi naimah». Lähtöw, pordahis heittăh — löksăhtăh hänel pägeil
löpšöi, sanow:

— Ota minuw mučoiķse.

Hăi sanow:

— En ota.

Lähtöw ielleh astumah — op'ät' i löpšöi pägeil, palaižen astuw — op'ät' i löpšöi pägeil. Järilleh häi kodih kiänäh, muudu ni kedä ei näi, kolme kerdua löpšöi pägeil hyppiäw. Tulow järilleh kodih, pahas mieles vieröw muata. Tuattah da muamah kyzytäh:

— Midä pahas mieles olet?

Ei sano, istuw pahas mieles, eigo voi syvvä, eigo juo, eigo midä. Ni istuo, ni muata ei voi — moine paha mieles, vai panettelow.

Vai yöl uinuow, op'ät' i nägöw unis:

— Mind'äh et ottanut mučoiakse, tulihäi sinulles vastineh?

— Da kuibo minä otan, gu minuw ei tule ristikanzua vastah?

— Ga se on sinun mučoi, jo roindusijal sinul on tukat yhteh ple-titty, se sinul blahoslovittu i se sinul pidäw ottua.

Nowzow op'ät' huondeksel i silmät pezöw, ristiw, syöw. Op'ät' i lähtöw, menöw pordahien piäh, kumardah päivän nouzuh päi: «Hos-podi, blahoslovi». Heittyw vai alah, op'ät' löpšöi i köpsähtäh pägeil:

— Ota minuw mučoiakse.

Op'ät' häi punaldah pertih. Menöw pertih, sit rubiew sanomah muamalleh i tuatalleh, što «nygöi minul jo egläi kolme kerdua i tänäpäi tuli löpšöi vastah, i egläi unis näin, što se on lepitty minul, ottua pidäw».

Muamah i tuattah sanotah:

— Gu on lepitty, on jumal blahoslovinuh, sit se pidäw ottua. Olgah miittuine tahto.

Sit häi ottaw heis op'ät' blahoslovenjan i kolmanden kerran lähtöw pihal. Vai menöw, dai se i pägeil köpsähtäh.

— Nygöi läkkä, — sanow, — otan.

— En, — sanow, — nygöi lähe. Tule huomei yheksän čuasun aigah ottamah iččes kaivon pihal i tule yheksäl podvodai ottamah minuw.

Tulow pertih i sanow muga.

— Mih, — sanotah, — nygöi kaivon pordahal löpšöin ottaes pidäw yheksä podvodua? Ei pie ni midä!

Annetah hänel yksi hebo. Eigo kučuta heimokundua, eigo midä. Lähtöw häi yheksän čuasun aigah hevol, i menöw ajaw kaivon pordahil. On sih hänel azetettu priduanoиду kymmene podvodua, neidine ylen hyvä. Häi ihastuw, ei tiije midä ruata, ei tiije ni iččie — ylen hyvä neidinel

— Midä tulit yhtel hevol? Mene tuo vie yheksä podvodua.

Dai häi ihastuksis menöw sanow tuatalleh i muamalleh: nenga i nenga, i kai sanelow. Kučutah ruadostis heimokundu. Tuvvah mučoi, yheksä podvodua priduanoиду, kymmenendes iče tullah mučoin kel ruadostis. Cuari akan kel ruadostis ei tietä ni midä ruadua, juostah vastah, nevesky nengoine hyvä i vie priduanoиду!

Pietäh svuadišu ylen hyvin. Eletäh kodvaižen. Mučoi pyrrittäw:

— Läkkä, — sanow, — pyörittäzil.

— Kunna, — sanow, — pyörittäzil, kaivoh tuane ei äijä pyö-rittyw pie.

— Emmo, — sanow, — kaivoh, lähtemmö tuatalluo.

— Kuzbo on, — sanow, — sinun tuatto?

— Minun tuatto, — sanow, — on zolotoi koroli. Läckä sinne pyörit-
tyižil.

Tuatalleh i muamalleh kyzytäh i lähtietäh hyö pyörittyižil. Mene
tiijä kus on loitton, loitton zolotoi koroli, i lähtietäh hyö sinne. Ajetah,
ajetah i puututah hyö sinne zolotoih kodih korolilluo. Mennäh pertih,
tervehys laitah, sanow:

— Terveh tuatal, terveh muamall

A hyö ni tuta ei, ken se on.

— Kenbo sinä olet, gu tuatakse sanot?

— Ga olihäi teile tytär Man'a?

— Oli, ga vedeh Man'a-tytär meni.

— Ga se olen minä, — sanow.

Tuattah da muamah kai pitkälleh pakutah. Muamah sanow:

— Minä ainos kaheksa vuotta itkin, — sanow, — daže tervehyön
menetin.

*(Tytöine meni vedeh hymmene vuodizennu, a nygöi kaheksatoštu
vuottu on igid.)*

— Kaheksatoštu vuodizennu annetah miehel, — sanow, — gu en voi-
nus minä nygöi miehel piästä, sie pideli ostali igä olla.

Sit händy ylen äijäl ihasutah i annetah mene tiije, mene tiije mi
priduanoidul Ei sua arvata, mene tiije mih tuhandeh! Tuodih net val-
meheksae tänne. Tuldih muamah da tuattah s udovol'stvii päčči muren-
damah, hyväs mieles, hyväs ruadostis.

Hyväs mieles goštittih dai hyväs mieles lähtiettih, hyväs ruadostis!
A hyö ruvettih elämäh ielleh hyvin da sobuh.

14. ЗОЛОТОЙ КОРОЛЬ

Живет там царь. У царя есть сын, и тому снится три ночи
кряду, что «тебе, царев сын, надо жениться, а в жены взять ту,
которая первая придет навстречу».

И он говорит отцу и матери:

— Так и так. Мне три ночи кряду снилось, что мне надо же-
ниться и взять в жены ту, которая первой встретится.

Они говорят:

— Ну, женись, коли велят.

Говорят они вечером, и ночью он думает, что утром надо
пойти жену искать. Утром встает, умывается, крестится, завтра-
кает и берет у отца с матерью благословение, кланяется в ноги:

— Благословите на женитьбу.

И отправляется. На ступеньки крыльца выходит, опять кре-
стится: «Господи, благослови на женитьбу». Вышел с крыльца —
шлепнулся ему на ногу лягушка, говорит:

— Возьми меня в жены.

Он говорит:

— Не возьму.

Идет дальше — опять лягушка на ногу, идет еще немного — опять лягушка на ногу. Вернулся он обратно домой, никого не видел, только лягушка три раза на ногу вскочила. Приходит домой опечаленный, ложится спать. Отец и мать спрашивают:

— Почему печален?

Ничего не говорит, сидит печальный, не может ни есть, ни пить — ничего. Ни сидеть, ни спать не может — так скверно у него на душе.

Только ночью заснул, опять во сне снится:

— Почему не взял жену, встретишься же тебе нареченная?

— Как же я возьму, коли мне люди не встречались?

— Но это твоя жена, уже при рождении у тебя с ней волосы вместе сплетены, она для тебя предназначена, и ее ты должен взять.

Встает утром, умывается, крестится, завтракает. Опять и отправляется, выходит на крыльцо, кланяется на восход солнца: «Господи, благослови». Спускается по ступенькам — опять лягушка шлепается на ногу:

— Возьми меня в жены.

Он возвращается в избу. Приходит в избу и начинает рассказывать матери и отцу, что «мне уже вчера три раза и сегодня встретишься лягушка, а ночью во сне приснилось, что она для меня предназначена, надо взять».

Мать и отец говорят:

— Коли предназначена, бог благословил, то надо взять, какая бы ни была.

Он снова берет у них благословение и в третий раз выходит на двор. Только вышел, а лягушка опять на ногу шлепнулась.

— Пойдем, — говорит, — теперь возьму.

— Нет, — говорит, — сейчас не пойду. Приходи завтра в девять часов за мной к вашему колодцу во дворе, и приезжай за мной на девяти подводах.

Приходит в избу и рассказывает.

— Для чего, — говорят [родители], — ехать на девяти подводах к колодцу за лягушкой? Ничего не надо!

Дают ему одну лошадь. И родни никакой не зовут. Едет он в девять часов на лошади к колодцу. Там выставлено десять подвод приданого, а девушка — красавица. Он так обрадовался, что не знает что и делать, сам себя не чувствует — очень уж девушка хороша!

— Зачем приехал на одной лошади? Иди и пригони еще девять подвод.

Он радостный идет к отцу и матери: так и так — все рассказывает. На радостях зовут всю родню. Приводят жену, девять подвод приданого, на десятой сами молодые едут. Царь с женой так рады, что не знают что и делать, бегут навстречу — такая хорошая невестка, да еще с приданым!

Сыграли свадьбу на славу. Живут сколько-то времени. Жена начинает просить:

— Поедем, — говорит, — в мой родной дом в гости.

— Куда, — говорит, — в гости, в колодез много не нагостишься.

— Нет, — говорит — не в колодез. Поедем к моему отцу.

— Где же, — говорит, — твой отец?

— Мой отец, — говорит, — золотой король. Поедем к нему в гости.

У отца с матерью отпросились и поехали в гости. Где-то далеко, далеко живет золотой король, и они отправляются туда. Едут, едут, и приезжают туда к золотому дому короля. Заходят в избу, здороваются, говорят:

— Здравствуй, отец, здравствуй, мать!

А те не узнают, кто это такие.

— Кто ты такая, что отцом называешь?

— Была ведь у вас дочь Маня?

— Была, но утонула дочь Маня.

— Так это я, — говорит.

Отец и мать даже с ног валятся. Мать говорит:

— Я все восемь лет проплакала, — говорит, — даже здоровье потеряла.

(Девочка утонула десятилетней, а теперь ей восемнадцать лет.)

— В восемнадцать лет оттуда выдают замуж, — говорит, — если бы мне не удалось выйти замуж, то осталась бы там на всю жизнь.

Обрадовались ей несказанно и дают много-много приданого — даже сказать нельзя, поди знай — на сколько тысяч! Сами повезли их домой. Приехали мать да отец с удовольствием печь ломать — радостные, счастливые.

Погостили на славу, довольные поехали, в радости. А они [молодые] стали по-прежнему жить хорошо да в согласии.

13. KEWHE LAVRI

Oli eli kewhe Lavri. Hänel akke kuolow, d'iai hänele poige da tytär. Lavri kuolow. Vel'eh sizärele sanow:

— Minä lähten burlakakse, elod suamah. Anda ičeis kartočke minule.

Ottaw sizärel kartočkan i prostihes sizäres, dai lähtöw. Menöw tartuw cairile kazakakse heinäd niittämäh. Ottaw kormanis häin sizären kartočkan, dai rubedaw kaččomah. Cairin poige nägi, kačow kartočkad — ylen čoma oli kartočke, sanow:

— Ozuta minule kartočkad.

Häin ottaw kartočkan ozuttaw cairin poigale. Cairin poige sanow:
— Anda sizär minule mučoikse, enämbe ei pidä sinule heinäd niittädä.

— Ottaned, ga kuibo en anda minä cairin poigale!

Andaw äijän d'engat cairin poige, andaw kakse pluat't'ad. Tulow häin sizärellyö kodih:

— Vot, hyvä sizäryizeni, läkkä cairin poigale mučuoikse. Vot anduoi cairin poige d'engad äijän i kakse pluat't'ad: yhten anduoi kainid, toizen anduoi villaižen!

Ištuttiheze hyö veneheh, lähtedih ajamah. Ajetah niemeh suai, i niemess kirguw staruwhe:

— Hoi hyvä brihaine i hyvä tyttöine, ottagad minud veneheh!

Häin i sanow vel'lel:

— Ei pidä ottai, veikuoi, häin panow meid vedeh, veneh ei kestä!

Lähtetäh edelleh ajamah. Tulow, läheniškändi toine niemi, op'at'že kirguw:

— Ottagad, hyvä tyttöine, hyvä brihaine, minud veneheh!

Ajaw vel'lel venehen randah. Staruwhan panow veneheh, iče lähtöw astumah. Dorog mänöw kolmandeh niemeh, i kirguw vel'lel:

— Čid'žuoi, pane kaini pluat't'e piäle!

A sizäreh sanow:

— T'otoi, midäbo velli kirgui?

Sanow:

— Kirguw: ota robehine kädeh, pane kaini pluat't'e piäle, hyppiä vedeh!

Lähtedih edelleh ajamah. Ajetah niemed lähembäkse, vel'lel i kirguw:

— Čid'žuoi, pane villaine pluat't'e piäle, kačo, cairin d'vorče nägyw.

— T'otoi, minule ei kuulunuh sowtes, midäbo velli kirgui?

— Sanow, raukke, sinule vel'les: pane villaine pluat't'e piäle, ota robehine kädeh i hypni vedeh!

— Midä liene minun piäle nenga vellirukke suuttunu?

Panow häi pluat't'aižen piäle villaižen, ottaw häin robahižen kädeh, hypniw vedeh.

Ajaw Syvätterin akke randah i ottaw iččeh tyttären i ajaw cairin pristanih. Cairin poige vuottaw, tuli — ga eibo se ole, kudai oli hänen kartočkal. Häin yksikai ottaw mučuoikse sen neidižen. A vel'lel piäle tuskevui cairin poige, vel'lel livanal, značit, peän leikkadaw, mikse muanitti, i lykkäidäw tulovišan bokale, a piän levole, i työndäw yöl omad ruadajad varduoiččemah piädä: eigo midä čuwdide, eigo midä sbuwdide. Mäni karavul, rodiheze puoli yöd — avaidui d'ärvi kaksaille piäi, tulow neidine dorogad myöte i vieröw vel'lel piäle i-itkōw gu koivud kuadaw i sanow:

— Hoi vellirukke, minud menetid dai iče menid! Kačo, sinul piä leikatti, a minud vedehizele miehele andetah!

Čieppi helähtiheze, d'ärvi šorahitiheze. Tuldah hyö cairilluo, cairi i kyz'w;

— Midäbo nägitte ili kuwlitte?

— Myö kuwlimme i nägimme, ga sinä ed usko, hot' myö i sano-nemmel Läkkä sinä iče tulevan yön.

Mendäh toš yön, rodih puoli yöd — d'ärvi awawduškanzi kaksaille piäi, rodiih dorog, tulow ylen čoma neidine, vai čieppi heližow. Tulow i vierow liwanale piäle i itkōw, gu koivud kuadaw.

— Vot sinule piä leikattih, a minud vedehižele... Huomei venčale pidāw mändä, lopun kieran tulen huomei.

Čieppi helähtih, d'ärvi šorahtih.

Tulow cairin poige, ottaw diedon sabl'an ruostunuden, andaw kaza-kuoile tahkota, stobi raudan leikadaš!

Mendäh kolmanden yön karavuulah, rodiihize puoli yöd — d'ärvi šo-rižiškanzi, avaidui dorog, čieppi vai heližow — tulow ylen čoma neidine. Vieriškändi vel'leh piäle i itkōw, gu koivut kuadaw, i sanow vel'le:

— Nygyöi, kačo, lopun kieran tulin, enämbäd en tule, — vedehižen kera venčale mänen!

Cairin poige gu vedäldāw sabl'al, čieppi vai helähtäh i poikki. Vede-hine dernii — tyhje čieppi helähtih, neidine sih d'ai.

— Vot, nygyöi, mibo sinul on nimi, sanol

— Minun nimi on Nast'a, a ižän nimi Lavri — Nastasja Lavren-tjevna, a vel'len nimi minun liwan oli.

— Vot Nastasja Lavrentjevna, nygyöi sinä roditos minule mu-čuoikse!

— Minä mučuoikse sinule, cairin poige, en voi tulda! Hengištüttäned minun vel'len, siid tulen. Kuni et hengištüttäne, sini en tule mučuoikse!

Työndāw cairin poige omad kazakat, kakse ruadajad, vuodekse andaw srokan: «Jesli ette voinne tuoda eläväd da kuol'aid vette, siid piäd iäres!»

Hyö otravilis' i lähtedih eläväd vette eččimäh. Ečitäh, ečitäh, ni kui ei voita löytä, d'o vuozzi lopuš kale mänōw. Astutah dorogad myöte — viruw poikki dorogad mado kuuden verškan d'ärevyš, gu parzi. Yksi hypnii, ot't'i kangen, tahtuoi rikkoda madon. Mado d'lävii ristityn iänen:

— Älä riko minud, a minä tiedän, midä työ ečitte, minä teile nevvon. Työ ečitte — eläväd da kuol'aid vette pidāw. Mängät työ nengoman meren randah, meren randas seižow istarinnuoi duube. Duuban al on sundug raudaine i sundugas on d'aičče, a d'aičän sydämes on kakse butilkaiste — yhtes on eläväd veded, toižes on kuol'aid veded.

Mändih hyö duuballuo, davai roida, tuli sundug, avait't'ih sundug — šigä on d'aičče, a d'aičän sydämes kakse butilkaiste: yksi eläväd vette, toine — kuol'aid.

Hyö punaltaheze kodih, tuldaš cairilluo, andettah cairile butilkaizēd:

— Vot, — sanow, — täs on kuol'aid veded, täs on eläväd veded!

Mändäh pandah piä tufulovišanke vastakkai, briznitäh kuol'ail vedel — rodiheze kuolii, briznitäh eläväl vedel — hypästähes:

— Ah, hätken i magažin!

A sizäreh sanow:

— Oh, vellirukke, minud gu ei olnuis, ga igän magannužid!

Panow cairin poige kylyh omad ruadajat — kaivetah pahne kylyn ukxen edeh. Pannah pandah suuri kattil, kattilah täwz tervad i tervad kiehumah, i käsköw tervekattilan polovikal kattada. Tulow kodih cairin poige:

— Gu himo oli Syvätterin tyttärel šokkid sydidä, ga läkkä nygöi kylyh, gu kyly pidil

Polgow d'algan piäliči kyndykses kylyh — bučkahtiheze kiehujah tervekattilah. Šigä vie tänäpäi kiehuw.

Tulow häi kodih, cairin poige, ottaw oman, kudai on Nastasja Lávrentjevna, kädez i rodiiheze *piiru* heile *svuadebnoi na ves' miiru*. I ru-beži carstvuimah omal carstval nastojuaššoikse cairikse, otti Nastasjan Lavrentjevnan mučuoikse, a livanan pani generualakse. I sluužii livan cairin generualannu omah vahnah igäh suai.

15. БЕДНЫЙ ЛАВРИ

Жил-был бедный Лаври. Жена у него умирает, остались у него сын да дочь. И Лаври умирает. Брат говорит сестре:

— Я пойду батрачить, добро наживать. Дай мне свою карточку.

Берет у сестры карточку и прощается с сестрой, уходит. Приходит к царю и нанимается к нему сено косить. Достал как-то из кармана карточку сестры и стал смотреть. Царев сын увидел, посмотрел на карточку — очень красивая была карточка, говорит:

— Покажи мне карточку.

Он достает карточку, показывает цареву сыну. Царев сын говорит:

— Выдай сестру за меня, тогда тебе больше не надо сено косить.

— Будто не отдам за царева сына, если только возьмешь!

Царев сын дает ему много денег, дает два платья. Приходит он к сестре домой:

— Вот, милая сестрица, выходи за царева сына замуж. Царев сын дал много денег и два платья: одно полотняное, второе шерстяное.

Сели они в лодку, отчалили. Доехали они до мыса, а с мыса старуха кричит:

— Хой, добрый парень и добрая девушка, возьмите меня в лодку!

Она и говорит брату:

— Не бери, братец, она нас утопит, лодка не выдержит.

Гребут дальше. Подъезжают к другому мысу, опять эта [старуха] кричит:

— Возьмите, добрая девушка, добрый парень, меня в лодку!

Брат направляет лодку к берегу. Старуху сажает в лодку, сам отправляется пешком. Дорога ведет на третий мыс, брат и кричит:

— Сестра, надень полотняное платье на себя!

А сестра спрашивает:

— Тетенька, о чем брат говорит?

Говорит [старуха]:

— Говорит: возьми короб в руку, надень на себя полотняное платье, прыгай в воду!

Гребут дальше. Подъезжают к мысу, брат и кричит:

— Сестра, надень на себя шерстяное платье — смотри, царев дворец виднеется!

— Тетенька, я из-за стука весел не расслышала, что брат говорил.

— Брат, милая, говорит тебе: надень на себя шерстяное платье, возьми в руку короб и прыгай в воду!

— За что братец на меня так рассердился?

Надевает она на себя шерстяное платье, берет в руку короб, прыгает в воду.

Сювяттери [старуха] подъезжает к берегу, берет свою дочь и едет дальше к царской пристани. Царев сын ждет, приехала — да не та, которая была на карточке. Все же он берет в жены эту девушку. А на брата царев сын разгневался, брату Ивану велел голову отрезать за то, что обманул, и туловище выбросить, а голову положить на крышу. И посылает он своих работников ночью караулить голову: не почудится ли что, не привидится ли что. Караул пришел, наступила полночь — раскрылось озеро надвое, идет девушка по дороге и падает на голову своего брата, плачет, как березка клонится, и говорит:

— Ой, бедный братец, меня потерял и сам пропал! Смотри, тебе голову отрезали, а меня за водяного замуж выдают!

Цепь загремела, озеро зашумело. Приходят они к царю, царь и спрашивает:

— Что видели или слышали?

— Мы слышали да видели — только ты не поверишь, если и скажем. Лучше иди сам с нами будущей ночью.

Идут на следующую ночь, настала полночь — озеро раскрылось надвое, получилась дорога, идет очень красивая девушка, только цепь звенит. Приходит и падает на Ивана и плачет, как березка клонится:

— Тебе голову отрезали, а меня водяному... Завтра к венцу надо идти, завтра последний раз приду.

Цепь загремела, озеро зашумело.

Приходит царев сын домой, достает дедовскую ржавую саблю, велит работникам наточить, чтобы цепь перерубить. Идут на третью ночь караулить, настала полночь — озеро раскрылось, показалась дорога, цепь позванивает — идет очень красивая девушка. Упала на брата и плачет, как березка клонится, и говорит брату:

— Теперь, смотри, последний раз пришла, больше не приду — с водяным к венцу пойду!

Царев сын как ударит саблей — цепь только звякнула и оборвалась. Водяной дернул — пустая цепь зазвенела, девушка тут осталась.

— Как твое имя, скажи?

— Мое имя Настя, а отца звали Лаври — Настасья Лаврентьевна, а брата моего звали Иваном.

— Вот, Настасья Лаврентьевна, теперь ты будешь моей женой.

— Я, царев сын, твоей женой не могу стать. Если оживишь моего брата, тогда буду твоей женой. Пока не оживишь, не выйду за тебя!

Посылает царев сын двух своих работников, дает год сроку: «Если не принесете живой и мертвой воды, головы с плеч!».

Они отправились и пустились искать живую воду. Идут, ищут, никак не могут найти, уже год к концу подходит. Идут по дороге — лежит поперек дороги змея в шесть вершков толщиной, как бревно. Один подскочил, взял кол, хотел змею убить. Змея заговорила человеческим голосом:

— Не убивай меня, я знаю, что вы ищете, — я вам дам совет. Вы ищете живой и мертвой воды. Идите на берег такого-то моря, на берегу моря стоит вековой дуб, под дубом железный сундук и в сундуке яйцо, а внутри яйца две бутылочки: в одной живая вода, в другой мертвая вода.

Пришли они к дубу, начали рыть — оказался сундук, открыли сундук — там яйцо, внутри яйца две бутылочки: в одной живая вода, в другой мертвая.

Они быстро повернули домой, приходят к царю, подают царю бутылочки:

— Вот, — говорят, — тут мертвая вода, а здесь живая вода!

Идут прикладывают голову к туловищу, брызгают мертвой водой — стал покойник, брызгают живой водой — на ноги вскочил:

— Ах, как долго спал!

А сестра говорит:

— Ох, милый братец, если бы меня не было, то весь век бы спал!

Посылает царев сын своих работников в баню: рыть яму перед дверью бани. В яму ставят большой котел, котел наполняют смолой и кипятят, и велит [царев сын] покрыть котел со смолой половником. Приходит царев сын домой:

— Коли была охота тебе, дочери Сювяттери, щеки подставлять для поцелуя, так иди теперь в баню, коли в баню хотелось!

Перешагнула порог бани — и бухнулась в котел с кипящей смолой. Там еще по сей день кипит.

Приходит царев сын домой, берет свою Настасью Лаврентьевну за руку, и начался у них пир свадебный на весь мир. И стал он настоящим царем в своем царстве, взял Настасью Лаврентьевну в жены, а Ивана назначил генералом. И прослужил Иван генералом у царя до самой старости.

16. KONDII POIGU

Oli enne sie akku da mužikku. Elettih hyö ylen l'ubovah. Lastu heile ei rodinuhes. Hyö vahnattih. Akku sanoi mužikale:

— Myö nygöz olemmo vahnat, ruata emmo voi, pidäs meile poigu kus tahto suaha, eigo hāin rubies meidy syöttämäh.

Lähti mužikku poigua eččimäh. Astuw meččytropinkua myöte, tulow kondii vastah. Kondii sanow mužikale:

— Kunna menet, diäd'ö-rukku?

Sanow:

— Lähtiin minä poigua eččimäh ga...

Kondii sanow:

— Ota minuw poijakse.

Mužikku pöllästy, ei voi ni midä virkkua. A kondii sanow:

— Älä pöllästy, diäd'ö-rukku, en minä sinuw koske, — sanow. — Ottanet, ga tulen poijakse, et ottane, ga mene ielleh.

Mužikku duwmaičči: ottua pidāw. Lähtiettih kodih päi astumah. Mužikku tulow kodih poijan kel. Tuldih kodih, mendih pertih. Akkah kezriāw kuožalil. Mužikku sanow akalleh:

— Kačo, minä toin poijan täh!

A kondii andoi kätty: «Terveh, muamol». Muamah pöllästy i unoh-tui. Ottaw kondii i käil iškōw perzetty muamalleh. Muamah hengistyi. Rubei kondii pagizemah muamah kel.

— Älä, muamo-rukku, pöllästy, en minä teidy koske, vuota rubiemmo elämäh, siidhāi iče näettä.

Ruvettih elämäh hyö, joga huondestu rubei kyzymäh poigah:

— Midä ruata pidāw, tuatto da muamo?

Midä nevvotah tuattah da muamah ruata, sidä i ruadaw ruaduo. Ylen hyvin da äijän staraiččemahes rubei: Tuattah da muamah ollah ihastuksis: rubei poigah syöttämäh heidy. Kondii heile poigannu, eli-oli hätken, ga d'uohtui mieleh: naija pidāw. Poigah sanoi tuatalleh da muamalleh:

— Tuatto da muamo, ku olis oppie naija minule?

Tuattah da muamah sanottih:

— Voit oppie, poigaine, — sanotah. — Kunnabo sinä, poigaine, tahtot naimah mennä?

Sanow:

— Ku olis oppie cuarin tytärdy kozita.

Muamah da tuattah sanottih pojalleh:

— Ei cuari anna sinul tytärdy. Muite hos andas, ga ku olet kondii kaččua, ga...

Poigah sanow:

— Hos ei andane, ga pidaw oppie kozita, ga siit nägyw se dielo.

Sanow:

— Mene, tuatto, opi kävvä cuarilluo.

Meni tuattah cuarilluo. Dielon doloži, sanow:

— Nenga, tuliin poijale sinun tytärdy koziččemah.

Cuari sanow mužikale:

— Miittuinebo sinul poigu on?

— Minun poigu, — sanow, — on pohože kondieh.

Cuari sanoi mužikale:

— Voinnow ku sinun poigu luadie kojın, minun kojın moizen, siit äski annan tyttären mučoiakse sinun poijal.

Lähtöw tuattah kodih pahas mieles, piän alah riputti i astuw kodih pahas mieles. A poigah kaččow ikkunah: tuattah astuw pahas mieles. Poigah sanow:

— Kačo, tuatto-rukku tulow pahas mieles, vikse ei hyviä ole cuari taratannuh.

Tuli pertih tuatto poijalluo, poigah kyzzyi tuatalleh:

— Midä sanoi cuari?

Tuattah sanoi:

— Minä sanoinhäi, ei cuari sinul anna tytärdy. Cuari se andoi nengoman zadaniens sinule, poigu, — sanow, — ku voinnet luadie cuarin moizen kojın, siid äski andaw cuari tyttären mučoiakse, et voinne luadie, — sanow, — piä iäre.

A poigah sanow tuatalleh:

— Pane huoli jumalah.

Ku hyö illastettih, viertih ehtäl muata. Tuattah da muamah uinottih, häin lähti pihale. Otti kumardakse poigah. Kerran kumardih pohjoizeh päi, toizen kumardih päivännowzuh päi, kolmanden kumardih puoleh-päiväh. Hyppäi kaksitostu moloččua i kyzytäh:

— Midä pidaw, Ivan Mihailovič?

Ivan Mihailovič sanow:

— Huondekseks ku rodizih parembi cuarin kodii kodil

Ruvettih kodii luadimah, ga rodih lohme. Ivan Mihailovič tulow pertih da rubei muata. Huondeksel tuattah da muamah nostah. Kačah-tettihez ikkunah, ga parembi cuarin kodii kodi seizow. Sanotah:

— Mi neče čuwdoi on, ehtäl vierimmö muata, ni midä ei nägynyh, nygöi rodih yhtes yös parembi cuarin kodii kodil

Nostatettih poigu maguamas:

— Poigu, — sanow, — nowze vai iäre, — sanow, — nygöi on kodi parembi cuarin kodii

Poigah sanow:

— Tati da mami, se on meijän kodi, ewle cuarin kodi.

Nu, poigah nowzi maguamas, čuajun d'oi huondksel, sanow tuatalleh da muamalleh:

— Tuatto da muamo, — sanow, — mengyā nygöi cuarilluo käymäh. — Sanow, — hänen zadaniet minä spolniin nygöi.

Lähti tuattah cuarilluo. Meni tuattah cuarilluo, sanow cuarile:

— Minun poigu sinun zadanien spolni: voit andua sinun tyttären minun poijale mučoiakse, — sanow, — nygöi kodi on parembi sinun kodii, — tuattah sanow cuarile.

Cuari sanow tuatalleh:

— Voinnow ku kirikön luadie sinun poigu minun kirikön moizen tyttärele venčaitessah, yheksä pappii sluwžimah, siid äski annan minä mučoiakse tyttären sinun poijale.

Tuattah lähti kodih pahas mieles. Astuw kodih päi piä riputettu. Poigah kaččow ikkunas, tuattah astuw pahas mieles. Poigu sanow muamalleh:

— Kačo, tuatto-rukku astuw pahas mieles, vikse cuari ei ole hyvin paissuh. — Poigah sanow, — minä tiijen, midä cuari pagižow.

Tulow tuattah kodih poijalluo. Kyzyw poigu tuatalleh:

— Midäbo, — sanow, — tuatto, pahas mieles tuliit?

Sanow:

— Cuari sanoi nenga, kui et ole pahas mieles, ku nengoman tobd'an cuari andoi zadanien. Cuari sanoi nenga: ku voinnow sinun poigu luadie kirikön paremban cuarin kirikkyö, tyttärele venčaitessah, yheksä pappii sluwžimah, äski andaw tyttären mučoiakse.

Poigah sanow tuatalleh:

— Pane huoli jumalah, tuatto.

Tuli ehty, illastettih, viertih muata tuattah da muamah. Tuattah da muamah uinottih, a poigah ei uinuo. Lähti poigah pihale, kerran kumardih pohjoizeh päi, toizen kumardih päivännowzuh päi, kolmanden kumardih puolehpäiväh. Hyppäi kaksitostu moloččua. Moločat sanottih:

— Midä pidäw, Ivan Mihailovič?

Ivan Mihailovič sanoi:

— Huondekseks ku rodizih kirikkö parembi cuarin kirikkyö, — sanow, — yheksä pappii sluwžimah.

Ivan Mihailovič tuli kodih i vieri muata. Tuattah da muamah nostih huondeksel, kačotah ikkunas: kirikkö seizow parembi cuarin kirikkyö kirikkö. Tuattah da muamah sanottih:

— Mi neče čuwdo on, ehtäl ei olluh ni midä, nygöi on parembi cuarin kirikkyö kirikköl

Tuattah da muamah nostatettih poigah.

— Nowze, — sanow, — kačo, miittuine on nygöi kirikkö: parembi cuarin kirikkyö.

A poigah sanow tuatalleh da muamalleh:

— Parembi pidäw ollagi cuarin kirikkyö kirikkö. Ei ole, — sanow, — se cuarin kirikkö, se on mejän kirikkö.

Poigah nowzi maguamas, čuajuw d'oi, rubei pagizemah tuattah da muamah kel. Sanow:

— Tuatto da muamo, cuarin zadanien spolniin, ga nygöi pidäw oppie kävvä cuarilluo, midä cuari sanow.

Meni tuattah cuarilluo, sanoi cuarile:

— Nygöi minun poigu sinun zadanien spolni, parembi cuarin kirikkyö on kirikkö, yheksä pappii on sluwżimas, — sanow. — Voitgo nygöi svuad'ban pidiä, tyttären andua minun poijal mučoiakse?

Cuari sanoi nenga:

— Voinnow sinun poigu luadie sillan poikki d'oves tyttärel venčal ajaes, mruamornoit paččahat, samosvetloit kivet palamah joga paččahan piäh, soloveilinduizet pajattamah, siid äski annan sinun poijale tyttären mučoiakse.

Tuatalleh rodih paha mieles. Lähti kodih pahas mieles, astuw kodih päi, a poigah kaččow ikkunas. Poigah sanow:

— Kačo, tuatto-rukku tulow tuas pahas mieles.

Tuli kodih tuatto poijalluo i sanow poijalleh:

— Kai poigu zadaniet spolniit, vie andoi cuari zadanien ylen suwren, — sanow. — Nengoman käski luadie sillan poikki d'oves venčal ajaes tyttärelleh. — Sanow, — mruamornoit paččahat, samosvetloit kivet palamah roittazih joga paččahan piäh, soloveilinduizet pajattamah.

A poigah sanow:

— Pane, tuattoine, huoli jumalah.

Nu, tuli ehty heile, illastettih hyö, viertih muata, uinottih, a poigah ei viere muata. Yöl poigah lähti pihale, kumardih häin kerran pohjoizeh päi, toizen kumardih päivännowzuh, kolmanden kumardih puolehpäiväh. Hyppäi kaksitostu moloččua, sanotah:

— Midä pidäw, Ivan Mihailovič?

— Pidäw, — sanow, — sildu poikki d'oves luadie cuarin tyttärel venčal ajaes, — sanow, — mruamornoit paččahat ku olis, samosvetloit kivet palamah joga paččahan piäh, soloveilinduizet pajattamah.

Tuli Ivan Mihailovič kodih, vieri muata. Tuattah-da muamah huondeksel nostih — rubei sildu lošnimah, kai perti läpettäw! Nostatettih poigu maguamas:

— Kačo vai, — sanow, — poigu, mi neče čuwdołoi nägyw: ehtäl vierimmö maguamah, ni midä ei nägynyh, nygöi sildu nägyw!

Poigah sanow tuatalleh da muamalleh:

— Nenga i pidäw. Sidä sildua myö roimmokseh myö ajamah.

Poigah nowzi maguamas, čuajuw d'oi, sanow tuatalleh da muamalleh:

— Pidäw kävvä cuarilluo, midä häin sanow.

Lähti tuattah cuarilluo. Meni tuattah cuarilluo, sanoi cuarile:

— Minun poigu sinun zadaniet spolni, nygöi on sildu i mruamornoit paččahat on sillas, samosvetloit kivet palamas ollah, joga paččahan piäs soloveilinduizet ollah pajattamas, — sanow. — Jogo voit svuad'bad pidiä minun poijan kel, joga annat tyttären?

Cuari duwmaiččow: ei sua täs miehes piästä, ni kui ei sua hävittiä tädä miesty. Cuari sanow tuatalleh:

— Vie kolmet sutkat duwmaičen, tule kolmien sutkien peräs, siit sanon loppusanan.

Tuli tuattah kodih. Eigo tiije ihastuo tuattah, eigo pöllästyö. Poijalleh sanow kodih tulduw:

— Nenga sanoi cuari: kolmei sutkat duwmaiččow, tule kolmien sutkien proidihuo.

Poigu sanoi tuatalleh:

— Kolmis sutkis äijy voibi duwmaiija, kai duwmat mennäh sudre.

Kolmet sutkat oli tuattah kois. Kolmien sutkien proihuo sanow poigah tuatalleh:

— Mene nygöi cuarilluo.

Lähti tuattah cuarilluo. Menöw tuattah cuarilluo, sanow cuarile:

— Midä duwmaiči: jogo annat tyttären minun pojale?

Cuari sanoi tuatalleh:

— Voinnow sinun poigu moizen korietan luadie: muadu myö i vetty myö menijän, sil korietal ku voiz minun tytärdy ottamah tulla.

Tuatalleh rodih paha mieles. Lähtöw kodih pahas mieles, piän alah päi riputtaw. Kaččow poigu ikkunas: tuatto astuw pahas mieles. Poigah sanow muamalleh:

— Kačo, tuatto-rukku astuw pahas mieles.

Tulow tuattah poijalluo:

— Kačo, poigu, vie andoi cuari zadanien, sanow: voinnow, — sanow, — sinun poigu korietan luadie muadu myö i vetty myö menijän.

A poigah sanow tuatalleh:

— Cuari, näit, kolmet sutkat duwmaiči, vähembän kyndäjiä muzikkua duwmaiči, — sanow. — Pane, tuatto, huoli jumalah.

Tuattah sanow poijalleh:

— Poigu, viego hätki pidänöw kävellä cuarilluo? Kai jallat kivettih sidä kävelysty.

Nu, viertih hyö muata, tuattah da muamah, uinottih muata. Lähti poigu pihale, kumardihe pohjoizeh päi kerran, toizen kumardihe päivännowzuh päi, kolmanden puolehpäiväh. Hyppäi kaksitostu moloččua, sanottih:

— Midä pidäw, Ivan Mihailovič?

Ivan Mihailovič sanoi:

— Huondekse, kymmenekse čuasukse, ku olis koriettu — vetty myö i muadu myö menis, täh omah pertih ikkunoin ual.

Ruvettih moločat luadimah koriettua. Ivan Mihailovič meni pertih da muata vieri kodih. Huondeksel tuattah da muamah nostih, ga perti kai läikkyw, duumaittih požuaru on kus.

— Tämä on, — sanow, — kummul! Illal ei olluh ni midä, a nygöi miittyne on koriettu pihall!

Nostatettih poigu maguamas, sanow:

— Nowze vai, poigu, ehtäl ei olluh ni midä, a nygöi on koriettu pihal, ga ni tuta ni duwmaiija ei sua!

A poigu nowzi maguamas, sanoi tuatalleh da muamalleh:

— Moine häi pidäw koriettu cuarin sulahaizikse ajaes.

Poigu sanoi tuatalleh da muamalleh:

— Zaftrakakse pastakkua hot' hapannuttu kartohkua.

Hyö zafrakaitih, sanow:

— Tuatto da muamo, šuorikkua, lähtemmö cuarin tytärdy ottamah.

Tuattah da muamah šuorittih, istuttiheze koriettah i lähtietti ajamah kolmei. Mendih, ajettih cuarin dvorčah. Tuatalleh da muamalleh sanow:

— Mengiä kävgiä pertih, priimiwgo sulahaizet.

Mendih pertih da cuarile dielo doložittih. Cuari sanow:

— Midäbo vävy ei tule pertih?

Viedih viesti vävyile, sanow: tulgah pertih.

A Ivan Mihailovič sanoi:

— Kuni ei tulle cuarin tytär vastah, en lähte korietas.

Meni cuarin tytär ottamah. Andoi kätty cuarin tytär ukolleh, ga pöl-lästy, perzielleh kirboi, sih unohtih, hengeä meni. Ivan Mihailovič läksi korietas, iški käil perzetty vaste i cuarin tytär hengistyi. Mendih pertih cuarilluo, tytär da vävy. Rodih cuarile paha mieles i cuarin akale: «Meile vävy puwtui ei hyvä, yksikai pidäw svuad'bu pidiä, ni kui ei sua olla pidämättä».

Svuad'bu hyö pietti ylen hyvin. Lähtietti Ivan Mihailovičän kodih ajamah (venčaittihe hyö omas kirikös). Viertih muata Ivan Mihailovič omah kodih mučoin kele. Heittäw Ivan Mihailovič kondien tal'lan iäre, muate viertyw, roiheze briha — ni tuta ni duumaita ei sua. Cuarin tytär ihastui.

Yö muatah, huondeksel nostah maguamas. Ivan Mihailovič šuoriw kondien tal'loih. Roiheze endizen moine kondii.

Ruветah elämäh. Eletäh-ollah kodvaine sit hyö. Cuarin tyttärel himoittaw tiijustua: mi neče on minun ukol čuwdoloi. Viertäh muata erähän ehtän, rubiew kyzelemäh ukolleh:

— Miibo sinul nengoine čuwdon on: päiväl, — sanow, — olet kondii, yöl roitos, ku jaksatos, briha: tuta ni duwmajja ei sua.

— En voi sanuo prawdua sinule, a ku sinä izmenit minule, minul nenga pidäw vai nygöi eliä vai yksi kuw, sit minä piäzen elämäh ilma-zekse igiä moločakse.

Mučoi sanow:

— Midäbo et sano prawdua, vikse et sinä minuw l'uwbi?

— Sanondal sanon, a ku sinä minuw izmenit.

Mučoi sanow:

— Jokse minä olen moine, što omal ukol izmenin?

Ukko rubei sanelemah:

— Brihannu minä oliin. Puwtuin volšebniekkah akkah, Syvätterin akan tyttärehe podaičiimos. Häi minuw kolduiči kolmeksi vuotta muale kondiennu kävelemäh. Hygöi vai jäi yksi kuw.

Sen sanoi mučoilleh kaiken pravvan. Hyö lähtietti cuarilluo gostih vävyloikse. Mendih gostih. Cuari priimi heidy hyvin gostih. Kodvaine sit hyö gostittih, sutkat kolmet, a carevna rubei tyttärelleh kyzelemäh:

— Kuibo, tytär, sinä nečen ukon kel elät? Onhai paha kaččuo.

Tytär sanow:

— Mintäh? Eliä on, muamo, hyvä, häi ei koske minu, — i rasskazii muamalleh kai pravvat, što yöl häi heittäw tal'lan piäl i roih briha, što moštu čomua ei ole meijän carstvas.

Viertäh hyö ehtäl muata, uinotah muata, a carevna ottaw sen vävyh tal'lan lykkiäw päččih.

Huondeksel nowzow maguamas, rubiew Ivan Mihailovič šuorimah. Ei ole tal'lua, mučoiileh sanow:

— Nygöi sinä minul izmeniit, nygöi sinä minu et rodei nägemäh! — ukkon lähties sanow mučoiileh.

Imennoin kol'caizen andoi sormeh, šulkuizen vyön andoi vyöle i mučois proščaičihez lähties i šavahtihez, lähti — mučoi ni dogadie ei voinuh.

Mučoi rubei itkemäh i muamuadah čakkuamah, mikse häi izmeni:

— Kačo, mužikan i minun elaijan immin-kummin menetiit!

Mučoi lähtöw omah kodih. Menöw, ukon koiz eläw kodvaizen, roihez mučoiileh paha mieles, igävy. Mučoi duwmaiččow, sanow:

— En rubie minä täh yksin elämäh, lähten, opin, ukkuo eččimäh: voinen löydiä, ga nasčasje, en voinne, ga hot' jovvun kunne-tahto doro-goile kuolemah, voronoile n'uokittavakse.

Lähti häi ukkuo eččimäh. Astuw, astuw meččiä myö da tropinkoida myöte. Kaččow: perti on mečas. Menöw pertih, istuw akku paččahan piäs, jallat ristai.

— Fu, kačo, russkoi duwhu tuli milluo, tuli valmeheksä pertih vero.

— Mi, t'outoi, matkalaizes on veruo: rokkua, ku pezovetty, lihua sormenpiän suwrevus palaine!

— Maltoit, kurvu, paista!

Ottaw akku, syöttäw mučoin sen i rubiew akku kyzelemäh:

— Kunne menet? Da kus tulet?

Mučoi sanelow:

— Vod nenga i nenga oldih dielot, menen nygöi ukkuo eččimäh.

Akku sanoi, što mol «sinun ukkos ei ammuin vie täs proidinuh yödy magari». Akku sanoi:

— Nečiz dorogal on minun sizär, sinä kävy hänelluo. Minä hot' ollen ravei, tol'ko häi on vie raviembi. Menet pertih, vai malta paista.

Lähti häi matkah. Lähti astumah polkuloi myö, astuw, astuw mene tie min matkua. Mučoi nälgävyw, väzyw. Kaččow: pertine pyöriv mečas kukoin siärivärttinäizil.

— Hoi pertine, pertine, azetu meččäh päi sellin, matkumieheh päi ezin!

Azetui pertine meččäh päi sellin, matkumieheh päi ezin. Meni mučoi pertih: istuw akku paččahan piäs, jallat ristai.

— Ho-hoh, kolmekymmen vuotta russkoi duwhu ei nenähuogamih minun käwnnyh, a nygöi eččimättäh pertih tuli. Vot, kačo, vero rodiew!

Mučoi sanow:

— Mi veroloi rodiew matkumiehes: rokkua ku pezovetty, lihua sormenpiän suwrevus palaine.

Akku sanow:

— Maltoit, kurvu, paista!

Akku i lähti paččahan piäs. Syötti, juotti hänen i pani muata mučoin. Magai yön mučoi, huondeksel nowzi mučoi, rubei emändäh kyzelemäh: kuspäi tulet da kunne menet. Saneli häi kai: kui oli, akal, što menöw ukkuo eččimäh.

— Edgo tie kus tahto olovan?

— Ukkos sinun proidii, kolme vuottu d'o on kulunuh aigua. Vot on minun vahnin sizär nečis dorogal, se tiedäw dai se sanow sinul pravvat. Minä olen ravei, tol'ko häi on kolmie grozavembi. Malta vai mendyww paista.

Lähti mučoi matkah. Astuw, astuw dorogua myö: kuzgo mečas, kuzgo salos, väzyw häi, nälgävyw. Kaččow, pertine on: kukoin siäri-värttinäzil pyöriw. Pertizel häi sanow:

— Azetu, pertine, meččäh päi sellin, minuh päi ezin!

Pertine azetui. Meni mučoi pertih. Istuw akku pertis paččahan piäs, jallat kolme kerdua oli punaldannuh pertis ymbäri.

— Ho-hoh, russkoi duwhu tuli pertih, vod, rodiew, kačo, verol

— Mi rodiew matkumiehes veroloi: rokkua ku pezovetty, a lihua ku sormenpiän suwrevus palaine.

— Maltoit, kurvu, paista! — sanow akku.

Lähti akku paččahan piäs, syöttäw, d'uottaw mučoin, panow muata i sanow:

— Huogavu, sid rubiemmo pagizemah.

Mučoi kolmet suutkat maguaw väzyhyw. Mučoi nowzow maguamas, emändäh kylyn lämmitäw. Menöw mučoi kylvh; kylveheze, pezeheze hyvin. Tulow mučoi kylvh, sit rubiew taloin emändy kyzelmäh:

— Kuspäi tulet da kunne menet?

Mučoi sanow nenga: tulen kois päi, menen ukkuo eččimäh.

Emändäh sanow:

— Sinun ukkos oli täs, yheksä vuottu aigua on, konzu ukkos oli täs. Sinun ukkos on Syvätterin akan tyttäres kodaväynny.

Mučoi sanow emändälle:

— Kuibo minä voinnen puwtuo hot' ukon silmii nägemäh?

— Puwttuo, kačo, voit, ga trudno on! Minä annan langua šulkustu, kolmen kangahan langat. Mennet sih kyläh — on leskiakku. Sih leskiakkaizeh taričči hvatieral. Leskiakan pertin ies on kaivo. Sih kaivoh kävväh Syvätterien akan pereh viele. Sit voit nähtä ukkuodas.

Mučoi menöw sih kyläh. Taričeh leskiakkah hvatierale. Leskiakkaine laskow hvatierale. Rubiew elämäh sih leskiakkaizeh. Sanow leskiakale:

— Voigo panna kangas, jowte olles hot' kudozin da kokoipalan saizin?

Leskiakkaine sanow:

— Pane, rawkkaine, ku maltanet.

Panow häi šulkuizen kangahan. Rubiew häi kudomah ielleh da ielleh. Kaččow, Syvätterin akan tyttäret tuldih viele. Häi lykkiäw ikkunas sukkulaizen, sanow:

— Annakkua, kuldukasat, sukkulaine!

Hyö hypättih sukkulaistu andamah. Kačotah, ga ylen hyviä šulkustu kangastu kudow.

— Tol'ko vai hyviä kangastu kuvot! Myö ni konzu emmo nähnyh nengostu kangastu.

A muamah hyppiäw pordahil i kirguw:

— Ettogo tule iärel Tuattas tuli mečas, syvvä pidäw šeimie.

• Tyttäret sanotah muamalleh:

— Tule vai tänne, kačot mimmostu čomua kangastu kudow!

Muamah meni sinne. Ga muamah i sanow:

— Myö pluat't'u.

— Myön, požalui, — sanow kangahan kudoi.

— Otatgo äijän pluat't'as?

Mučoi sanow:

— Ei minul pie ni midä, ku ukkos kel laskenet yökse muata.

— Lasken d'o, mintäh en laske, žualigo on!

Häi ottaw puarat leikkuaw kangahas.

Tulow ehty. Syvätterin akan tytär panow ukon aittah muata i ni midä ukolleh ei virka. Ukolleh panow uninieglat korvii, menöw sen mučoilluo, kudai kudow kangastu, sanow:

— Voit mennä yökse, ukko minun maguaw aitas.

Mučoi menöw ukolluo muata. Kaččow: on iččeh ukko. Ukkuodah oppiw nostattua maguamas. Ukkoh maguaw besпам'ati. Yön kaiken itköw ukkoh piäl, kai soba kastuw kywnelih. Ei voi ukko havaččua yksikai. Huondeksessah häi maguaw, ei voi ni midä paista ukon kel. Syvätterin akan tytär tulow nostattamah, ga i sanow:

— Mene iäre, yö jo on mennyh!

Mučoi lähti iäres pahas mieles, ei puwttunuh ni midä paista.

Menöw sih leskiakkaizeh järilleh. Panow häi uvven kangahan. Rubiew kangastu kudomah. Kudow kangastu päivän kaiken. Ehtäl kaččow, Syvätterin akan tyttäret tullah viele. Lykkiäw häi sukkulaizen pihale i sanow:

— Andakkua sukkulaine, kuldukasat!

Syvätterien akan tyttäret dogaditah kangas, a se on parembi ku endine. Ruvetah neidizet l'ubuiččemah kangahan kel. Muamah pordahile hyppiäw:

— Ettogo tule, katunat, iäre, tuattas tuli kyndämäs, ga pidäw syvvä valmistual

Tyttäret sanotah muamalleh:

— Tule vai tänne, kačot mimmostu kangastu nygöi kudow!

Muamah menöw i sanow:

— Voi-voi-voi, t'owta, mimmostu hyviä kuvot! Pidäw pluat'at ostua tyttäriölil.

— Myön, mintäh en myö.

— Äijängo otat pluatt'as?

— En minä ota ni midä, vai ukkos kele laske muata.

— Lasken d'o, eihäi ole žuali ukkuo!

Ehty tulow. Syvätterin akan tytär syöttäw ukon i panow aittah muata i uninieglat panow korviih ukolleh. Ukkoh uinuow muata i menöw Syvätterien akku mučoilluo i sanow:

— Ukko aitas maguaw, mene muata aittah.

Muči menöw ukkoh luo muata. Ukkoh on uinonnuh jygieh uneh. Ukkoh maguaw bespam'ati. Oppiw nostattua pedvata: ei voi ukkoh havaiččuo. Itkōw ukkoh piäl yōn kaiken, kai soba kastuw kywneli. Tulow huondes. Syvätterin akan tytär tulow nostattamah, sanow:

— Magait ukon kel yōn i rodiew. Menes nygōi iäre. Ukol pidāw mennä kyndāmāh, ewle sinun kel jowduo.

Lähti muči iäre. Ottaw ukolleh uninieglat korvis: Ukko havačču maguamas. Ukkoh duwmaiččow: «Što za okaziye, toine yō jo on soba mārgy. Mi neče čuudoloi ollow? Vikse ylen summali (?) maguan?». Ukkoh nowzow, zafrakoiččow i lähtōw kyndāmāh, a muči panow kangahan vie paremban. Kudoi häi kangastu päivān, häi kudow ehtāh sah. Kaččow, Syvätterin akan tyttäret tullah viele kaivole. Häi lykkiāw šukku-laizen ikkunās, sanow:

— Andakkua, kuldukasat, sukkulaine!

Syvätterin akan tyttäret hypätāh sukkulaistu andamah, ga kačotah — kolmie parembi kangas on kuvottavannu. A Syvätterin akan tytär kirguw:

— Midä sie valvatettaneh ikkunoin all Ettogo tule teriāmbi iäre! No i iče Syvätteriha tulow kaččomah kangastu i sanow:

— Myō hot' yhteh pluat't'ah.

— Mintāh en myō, siksehāi kuvon, vai ken ostas.

— Äijāngo otat pluat't'as?

— En ota ni midä, vai ukkuodas anna muata.

— Annan d'o, buito en anna, ei d'o ole žualil

Syvätterin akan tytär ottaw syöttäw i juottaw, i panow muata yökse aittah i uninieglat čokkiāw korviih. Ukkoh uinuow muata bespam'ati, i menöw mučoilluo, kuččuw hāndy aittah muata. Menöw muči ukkoh luo muata. Ukkoh uinonnuh muata bespam'ati. Oppiw nostattua maguamas, ga ukkoh ei voi nosta. Yōn kaiken itkōw ukkoh piäl, kai soba kastuw ukolleh kywnelis.

Huondeksel häi panow sormeh imennoin kol'čaižen i šulkuizen vyōn, kudaman lähtijes andoi, sidow hānel vyōle. Huondes tulow, Syvätterin akan tytär tulow nostattamah.

— Mene iäre, ukol pidāw nosta kyndāmāh!

Lähtōw muči iäre. Ottaw Syvätterin akku uninieglat korvis: ukkoh havačču maguamas. Nowzow maguamas. Ukkoh sanow:

— Što za okazii, kolmas yō on soba minul mārgy! Tādä ni konzu ei ole: on mi tahto čuwdol Vikse väzyn kyndājes äijäl i maguan summale.

Kačahtahes sormeh — ga endizen mučoin imennoi kol'čaine sormes. Rubiew kaččomah — ga šulkuine vyō vyōl. Rubiew duwmaiččemah: kus tahto muči on täl mual. Ukko menöw pertih, akalleh syōmine on valmis pertis. Ivan Mihailovič safrakoičči, rubei Syvätterin akan kel pagizemah. Sanow:

— Vot, akku, ku olis meile nygöi mustaizet luadie, što b̄j roditeŀoi spomnie.

— Voit luadie.

Hyö luaittih, moine bualu šeimittihe. Työttih muale izveščenie, što tuldaheš bualuh bohatat, kewhät, čiganat, pakiččiezet i kai. Tuldih, kerävyttih bualuh bohatat, kewhät i čiganat, sogiet, pakiččiezet dai se mučoi n'ulahtiheš jälgimäizenny. Ivan Mihailovič tunnusti mučoin, rubei kaččomah i kywnälet silmih nostih, Ivan Mihailovič ei ni midä virka, rahvahan pani stolah syömäh. Rahvas istuttiheze stolah kaikin. Rubei kyzymäh bohatoil enzimäi:

— Voittogo tiedie, enzimäine vai toine venču on kallehembī?

Bohatat sanottih:

— Toine venču on kallehembī.

Sit rubei kyzymäh kewhālistöl. Kewhālistö sanottih:

— Toine venču on kallehembī.

Kyzyi čiganoil. Čiganat vastattih:

— Myö, kačo, olemmo äijän kävellyt, tol'ko toine venču on hyvä, no enzimäisty venčua kallehembua i parembua ei ni midä.

Ajoi bohatat i kewhät stolas iäre i Syvätterin akan tyttären tapol, palaizile pilkoi, lykkäi koirile, a endizen mučoin mučoiakse priimi. Nygöi vai hyvän-tervehen eletäh nečis.

16. СЫН-МЕДВЕДЬ

Были там когда-то жена да муж. Жили они в большой любви. Детей у них не было. Они состарились. Жена сказала мужу:

— Мы теперь стары, работать не можем. Надо бы нам где-нибудь сына найти, может быть, он стал бы нас кормить.

Отправился муж сына искать. Идет по лесной тропинке, встречается ему медведь. Медведь говорит мужику:

— Куда идешь, дяденька?

Говорит [мужик]:

— Пошел я сына искать, да...

Медведь говорит:

— Возьми меня сыном.

Мужик испугался, не может слова вымолвить. А медведь говорит:

— Не пугайся, дяденька, я тебя не трону, — говорит. — Если возьмешь, то буду сыном, не возьмешь, так иди дальше.

Мужик подумал: надо взять. Зашагали к дому. Мужик идет домой с сыном. Пришли домой, зашли в избу. Жена придет на прялке. Муж говорит жене:

— Смотри, я сына привел!

А медведь подал руку: «Здравствуй, маты!». Мать испугалась и лишилась чувств. Медведь лапой ударяет мать по заднице. Мать перевела дух. Начал медведь говорить с матерью:

— Не бойся, маменька, я вас не трону, погоди-ка, жить начнем, тогда сами увидите.

Стали они жить, каждое утро сын спрашивает:

— Что делать надо, отец да мать?

Что отец да мать укажут, то и делает. Очень хорошо и много стал работать. Отец да мать рады: стал их сын кормить. Медведь жил-был у них сыном долго, но вот пришло на ум: жениться надо. Сын сказал отцу да матери:

— Отец да мать, что если мне попытаться жениться?

Отец да мать сказали:

— Можешь попытаться, сынок, — говорят. — Куда же ты, сынок, хочешь идти свататься?

Говорит:

— А что если попытаться сватать цареву дочь?

Мать да отец сказали сыну:

— Не даст тебе царь дочь. Может так бы и дал, но раз ты с виду медведь, то...

Сын говорит:

— Если и не выдаст, но все же надо попытаться сосватать, а там видно будет.

Говорит:

— Иди, отец, попробуй сходить к царю.

Пошел отец к царю. Доложил о деле, говорит:

— Так вот, пришел твою дочь сватать для сына.

Царь говорит мужику:

— Какой у тебя сын?

— Мой сын, — говорит, — похож на медведя.

Царь сказал мужику:

— Если твой сын сделает дом, как мой дом, только тогда выдам дочь за твоего сына.

Пошел отец домой опечаленный, голову повесил и идет домой опечаленный. А сын смотрит в окно: отец идет печальный. Сын говорит:

— Смотри, отец идет печальный, верно, не доброё царь сказал.

Пришел отец в избу к сыну, сын спросил у отца:

— Что царь сказал?

Отец сказал:

— Я же сказал — не выдаст царь за тебя дочь. Царь дал тебе, сын, такое задание, — говорит, — если сможешь сделать такой дом, как у царя, то только тогда царь отдаст дочь в жены, а не сможешь сделать, — говорит, — голова долой.

А сын говорит отцу:

— Положи заботу на бога.

Пужинали, легли вечером спать. Отец да мать уснули, он [медведь] вышел во двор. Стал кланяться. Первый раз покло-

нился на север, второй раз — на восход солнца, третий раз — на полдень. Выскочили двенадцать молодых и спросили:

— Что надо, Иван Михайлович?

Иван Михайлович сказал:

— До утра надо бы [построить] дом лучше царева дома.

Начали дом строить, поднялся шум. Иван Михайлович пришел в избу и лег спать. Утром отец да мать встают. Вглянули в окно — лучше царева дома дом стоит. Говорят:

— Что за чудо, вечером легли спать, ничего не было видно, а за одну ночь стал дом лучше царева дома!

Разбудили сына:

— Сын, — говорят, — вставай, — говорят, — теперь есть дом лучше царева дома!

Сын говорит:

— Отец и мать, это наш дом, не царев дом.

Ну, сын встал, чаю попил, сказал отцу и матери:

— Отец да мать, — говорит, — идите теперь к царю, — говорит, — его задание я выполнил.

Пошел отец к царю. Пришел отец к царю. Говорит царю:

— Мой сын твое задание выполнил: можно выдать твою дочь за моего сына, — говорит. — Теперь дом [у него] лучше твоего дома, — отец говорит царю.

Царь говорит отцу:

— Если твой сын сумеет построить церковь, как моя церковь, чтобы дочери венчаться и чтоб девять попов служили, тогда только отдам дочь твоему сыну в жены.

Отец пошел домой опечаленный. Шагает домой, опустив голову. Сын смотрит в окно — отец идет опечаленный. Сын говорит матери:

— Смотри, бедный отец идет опечаленный, наверно, царь не по-хорошему с ним говорил. Я знаю, что царь говорит.

Приходит отец домой к сыну. Спрашивает сын у отца:

— Почему, — говорит, — отец, опечаленный пришел?

Говорит [отец]:

— Царь сказал так-то — еще бы не быть опечаленным, когда такое большое задание царь задал. Царь сказал так: если сумеет твой сын построить церковь лучше царской, церкви, чтобы его дочери венчаться, чтобы девять попов служили, только тогда отдаст дочь в жены.

Сын говорит отцу:

— Положи заботу на бога, отец.

Настал вечер, поужинали, легли спать отец да мать. Отец да мать уснули, а сын не спит. Вышел сын на двор, раз поклонился на север, второй раз — на восход солнца, третий раз поклонился на полдень. Выскочили двенадцать молодых. Молодые сказали:

— Что надо, Иван Михайлович?

Иван Михайлович сказал:

— К утру бы построить церковь лучше царской церкви, — говорит, — и девять попов бы служили [в ней].

Иван Михайлович вернулся домой и лег спать. Отец да мать встали утром, смотрят в окно: стоит церковь лучше царской церкви. Отец да мать сказали:

— Что это за чудо, вечером не было ничего, а теперь [стоит] церковь лучше царской церкви!

Отец да мать разбудили сына.

— Вставай, — говорят, — посмотри, какая тут церковь, лучше царской церкви.

А сын говорит отцу и матери:

— Лучше царской церкви и должна быть. Это, — говорит, — не царская церковь, это наша церковь.

Сын встал, попил чаю, завел разговор с отцом и матерью. Говорит:

— Отец и мать, задание царя выполнил, так теперь надо сходиться к царю, что царь скажет.

Пошел к царю, сказал царю:

— Теперь мой сын твое задание выполнил: церковь построил лучше царской, девять попов службу служат, — говорит. — Можешь ли теперь свадьбу справить, дочь выдать замуж за моего сына?

Царь сказал так:

— Если сумеет твой сын построить мост через реку — дочери к венцу ехать, чтобы были мраморные столбы, самоцветные камни горели бы на каждом столбе, птицы-соловьи бы пели, только тогда отдам твоему сыну дочь в жены.

Отец опечалился. Пошел домой опечаленный, шагает к дому, а сын смотрит в окно. Сын говорит:

— Смотри, бедный отец опять идет опечаленный.

Пришел отец домой к сыну и говорит сыну:

— Все ты, сын, задания выполнил, а еще дал царь задание очень большое, — говорит. — Такой велел построить мост через реку — дочери к венцу ехать, чтобы были мраморные столбы, самоцветные камни горели бы на каждом столбе, птицы-соловьи пели бы.

А сын говорит:

— Положи, отец, заботу на бога.

Ну, наступил вечер, поужинали они, легли спать, уснули, а сын не ложится. Ночью сын вышел во двор, поклонился он раз на север, второй раз поклонился на восход солнца, третий раз поклонился на полдень. Выскочили двенадцать молодых, говорят:

— Что надо, Иван Михайлович?

— Надо, — говорит, — мост через реку построить — царской дочери к венцу ехать, — говорит, — мраморные столбы чтобы

были, самоцветные камни бы горели на каждом столбе, птицы-соловьи бы пели.

Пришел Иван Михайлович домой, лег спать. Отец и мать утром встали — мост так сверкает, что даже в избе зарыбило! Разбудили сына:

— Смотри-ка, — говорят, — сын, что за чудо виднеется: вечером легли спать, ничего не было, а теперь мост виден!

Сын говорит отцу и матери:

— Так и надо. По этому мосту мы будем ездить.

Сын встал, попил чаю, сказал отцу и матери:

— Надо сходить к царю, что он скажет.

Пошел отец к царю. Пришел к царю, говорит царю:

— Мой сын твои задания выполнил, теперь мост готов и морные столбы на мосту, самоцветные камни горят, птицы-соловьи на каждом столбе поют, — говорит. — Можешь ли уже сыграть свадьбу, выдашь ли уже дочь за моего сына?

Царь думает: не отделаться от этого человека, никак нельзя этого человека погубить. Царь говорит отцу:

— Еще трое суток подумаю, приходи через трое суток, тогда скажу окончательное слово.

Пришел отец домой, не знает, радоваться или бояться. Сыну говорит, придя домой:

— Так сказал царь: трое суток подумает, приходи, мол, через трое суток.

Сын говорит отцу:

— За трое суток можно много передумать, только все думы будут зря.

Трое суток был отец дома. Через трое суток говорит сын отцу:

— Иди теперь к царю.

Пошел отец к царю. Пришел отец к царю, говорит царю:

— Что надумал, выдашь ли дочь за моего сына?

Царь говорит отцу:

— Если сумеет твой сын такую карету сделать, которая бы по земле и воде ходила, чтобы на этой карете приехал за моей дочерью.

Отец опечалился. Идет домой опечаленный, голову низко повесил. Смотрит сын в окно: отец идет опечаленный. Сын говорит матери:

— Смотри, бедный отец идет опечаленный.

Приходит отец к сыну:

— Смотри, сын, еще дал царь задание, говорит: сумеет ли, говорит, твой сын сделать карету, которая бы по земле и воде шла.

А сын говорит отцу:

— Царь, видишь, трое суток думал, меньше мужика-пахаря надумал, — говорит. — Положи, отец, заботу на бога.

Отец говорит сыну:

— Сын, долго ли еще ходить к царю? Даже ноги заболели от этой ходьбы.

Ну, легли они спать, отец и мать уснули. Вышел сын во двор, поклонился на север раз, второй раз поклонился на восход солнца, третий раз — на полдень. Выскочили двенадцать молодых, сказали:

— Что надо, Иван Михайлович?

Иван Михайлович сказал:

— К десяти часам утра была бы карета, которая бы по земле и по воде ходила, здесь под окнами моего дома.

Стали молодые делать карету. Иван Михайлович ушел в избу и лег спать дома. Утром отец и мать встали — вся изба сверкает, подумали, что пожар где-то.

— Вот это чудо, — говорят, — вечером не было ничего, а теперь такая карета во дворе!

Разбудили сына, говорят:

— Вставай-ка, сын, — вечером не было ничего, а теперь карета во дворе, что ни узнать, ни подумать нельзя!

А сын встал, сказал отцу и матери:

— Такая и должна быть карета, чтобы к царю женихом ехать. Сын говорит отцу и матери:

— На завтрак жарьте хоть гнилую картошку.

Они позавтракали, говорит [сын]:

— Отец и мать, одевайтесь, поедem за царской дочерью.

Отец и мать оделись, сели в карету и поехали втроем. Приехали к цареву дворцу. Отцу и матери говорит:

— Зайдите в избу, примет ли [царь] жениха.

Зашли в избу и царю дело доложили. Царь сказал:

— Почему зять не заходит в избу?

Передали зятю, говорят — пусть заходит в избу. А Иван Михайлович сказал:

— Пока не выйдет царева дочь встречать, не выйду из кареты.

Вышла царева дочь встречать. Подала руку царева дочь своему мужу — испугалась, на задницу упала, чувств лишилась, бездыханная стала. Иван Михайлович вышел из кареты, ударил рукой по заднице, и царева дочь перевела дух. Пошли в избу к царю дочь и зять. Опечалились царь и царева жена: «Зять нам попался нехороший, но все равно надо свадьбу справить, никак нельзя не справлять».

Свадьбу справили очень хорошо. Поехали они к дому Ивана Михайловича (венчались они в своей церкви). Легли спать Иван Михайлович с женой в своем доме. Ложась, сбрасывает Иван Михайлович медвежью шкуру — стал парень, что ни узнать, ни подумать нельзя. Царева дочь обрадовалась.

Ночь переспали, утром встают. Иван Михайлович надевает на себя медвежью шкуру. Стал, как и прежде, медведем.

Начинают жить. Живут-поживают некоторое время они. Царевой дочери хотелось бы узнать: «Что за чудеса творятся с моим мужем?». Ложатся спать однажды вечером, начинает расспрашивать мужа:

— Что за чудеса с тобой творятся: днем, — говорит, — ты медведь, а ночью как разденешься, становишься парнем, что ни узнать, ни подумать нельзя.

— Не могу сказать тебе правду. А если ты меня предашь? Мне теперь надо так жить только один месяц, тогда я буду весь век молодцом.

Жена говорит:

— Почему не говоришь правду, наверно, ты меня не любишь?

— Сказать скажу, а вдруг ты меня предашь?

Жена говорит:

— Неужели я такая, что своего мужа предам?

Стал муж рассказывать:

— Когда я был подростком, попал я к волшебнице, к дочери бабы Сювяттери. Она меня заколдовала на три года по свету медведем ходить. Теперь остался только один месяц.

Так сказал жене всю правду. Поехали они к царю в гости. Пришли в гости. Царь принял их хорошо. Некоторое время они погостили, трое суток, а царица начала у дочери спрашивать:

— Как же ты, дочь, живешь с таким мужем? Ведь страшно смотреть.

Дочь говорит:

— Почему? Жить хорошо, он меня не трогает. — И рассказывает матери всю правду, как ночью он сбрасывает с себя шкуру и становится парнем, что такого красивого нет в нашем царстве.

Ложатся они вечером спать, засыпают, а царица берет вту шкуру зятя и бросает в печь.

Утром встает Иван Михайлович, начинает одеваться. Нет шкуры, жене говорит:

— Теперь ты меня предала, теперь ты меня не увидишь! — муж уходя говорит жене.

Жена заплакала и стала мать свою бранить, почему предала.

— Смотри, мужа и мою жизнь погубила ни за что, ни про что!

Жена уходит в свой дом. Уходит в дом мужа, живет некоторое время, начинает жена печалиться, скучать. Жена подумала, говорит:

— Не буду я тут одна жить, попробую мужа поискать: если найду, то это мое счастье, а не найду, так хоть где-нибудь на дороге умру, и вороны меня расклюют.

Отправилась она мужа искать. Идет, идет по лесам и по тропинкам. Смотрит — избушка в лесу. Заходит в избу, сидит старуха на печном столбе, ноги скрестила.

— Фу, смотри, русский дух ко мне пришел, сама в избу еда пришла.

— Какая, тетенька, из путника еда: навар будет, как помои, мяса — кусок с конец пальца!

— Сумела, курва, ответить!

Старуха накормила женщину и начала ее расспрашивать:

— Куда идешь, откуда бредешь?

Женщина рассказывает: так-то и так-то дела, иду мужа искать.

Старуха сказала, что, мол, твой муж недавно здесь проходил, ночь переночевал. Старуха говорит:

— По этой дороге живет моя сестра, ты зайди к ней. Если я сильна, то она еще сильнее. Зайдешь в избу, так сумей ответить.

Пустилась она в путь. Пошла она по тропинкам, идет, идет, поди знай, сколько времени. Женщина проголодалась, устала. Смотрит: избушка в лесу вертится на петушиных ножках.

— Хой, избушка, избушка, становись спиной к лесу, к путнику передом!

Стала избушка к лесу спиной, к путнику передом. Зашла женщина в избу: сидит старуха на печном столбе, ноги скрестила.

— Хо-хох, тридцать лет русский дух мне в нос не ударял, а теперь без поисков в избу пришел! Вот, смотри, один раз поесть будет.

Женщина говорит:

— Какая еда из путника: навар — как помои, мяса — кусок с конец пальца.

Старуха говорит:

— Сумела, курва, ответить!

Старуха и слезла с печи. Накормила, напоила женщину и уложила спать. Проспала женщина ночь, утром встала, и начала хозяйка расспрашивать: «Откуда идешь, куда бредешь?». Рассказала она все: как была у предыдущей старухи, что идет мужа искать.

— Не знаешь ли, где он есть?

— Муж твой прошел уже три года тому назад. Вот моя старшая сестра живет по этой дороге, она знает и она скажет тебе правду. Я сильная, только она в три раза грознее меня. Сумей только, придя к ней, отвечать.

Отправилась женщина в путь. Идет, идет по дороге, когда лесом, когда топами, устала она, проголодалась. Смотрит — стоит избушка, на петушиных ножках вертится. Избушке она говорит:

— Становись, избушка, к лесу спиной, ко мне передом!

Избушка стала. Зашла женщина в избу. Сидит старуха в избе на печном столбе, ногами три раза обвила избу.

— Хо-хох, русский дух пришел в избу, вот будет раз поесть!

— Какая еда из путника: навар — как помои, а мяса — кусок с конец пальца!

— Сумела, курва, ответить! — говорит старуха.

Спустилась старуха с печного столба, накормила, напоила женщину, спать укладывает и говорит:

— Поотдохни, потом поговорим.

Женщина трое суток спит с усталости. Просыпается женщина, хозяйка баню истопила. Идет женщина в баню, парится, моется хорошенько. Приходит женщина из бани, тогда хозяйка дома начинает расспрашивать:

— Откуда идешь и куда бредешь?

Женщина говорит: так и так, иду из дому, пошла мужа искать.

Хозяйка говорит:

— Твой муж был здесь, девять лет прошло, как твой муж был здесь. Твой муж у дочери Сювяттери примаком.

Женщина говорит хозяйке:

— Как бы мне попасть туда и хоть глаза мужа увидеть?

— Попасть, смотри, можно, но трудно! Я дам шелковых ниток, для трех основ нитки. Придешь в ту деревню, там есть старая вдова. Ты просись к вдове на квартиру. Перед избой вдовы есть колодец. К этому колодцу ходит семья бабы Сювяттери за водой. Там увидишь своего мужа.

Женщина идет в эту деревню. Просится к старой вдове на квартиру. Старая вдова пускает на квартиру. Стала жить тут у вдовы. Говорит вдове:

— Можно ли от нечего делать поставить основу, ткала бы — кусок хлеба заработала бы?

Старая вдова говорит:

— Ставь, милая, если умеешь.

Ставит она шелковую основу. Стала она ткать и ткать. Смотрит — дочери бабы Сювяттери пришли за водой. Она бросает в окно челнок, говорит:

— Подайте, золотокосые, челнок!

Они побежали отдавать челнок. Смотрят — очень красивую шелковую ткань ткет.

— Хорошую же ткань ты ткешь! Мы никогда не видали такой ткани.

А их мать выбегает на крыльцо и кричит:

— Вернитесь сейчас же! Отец пришел из лесу, надо есть подавать.

Дочери говорят матери:

— Иди-ка сюда, посмотри, какую красивую ткань ткет!

Мать пошла туда. Мать и говорит:

— Продай на платье.

— Продам, пожалуй, — говорит ткачиха.

— Дорого ли возьмешь за платье?

Женщина говорит:

— Мне ничего не надо, если дашь с твоим мужем ночь переспать.

— Пущу, почему не пустить, жалко что ли!

Она отрезает кусок ткани на платье.

Настал вечер. Дочь бабы Сювяттери укладывает мужа спать в амбаре, ничего мужу не говорит. Мужу в уши кладет сонные иглы, идет к той женщине, которая тклет, говорит:

— Можешь идти на ночь, муж мой спит в амбаре.

Женщина идет к мужу спать. Смотрит — ее муж. Пытается мужа будить — муж спит без памяти. Всю ночь плачет над мужем, даже одежда взмокла от слез. Все равно не может разбудить мужа. До утра он спит, ни о чем не может поговорить с мужем. Дочь бабы Сювяттери приходит будить да и говорит:

— Уходи, ночь уже прошла!

Жена ушла опечаленная, не удалось поговорить. Идет снова к вдове. Ставит новую основу, начинает ткать. Ткет день целый. Вечером смотрит, дочери бабы Сювяттери идут за водой. Бросила она челнок во двор и говорит:

— Подайте челнок, золотокосые!

Дочери бабы Сювяттери заметили тканье, а это было лучше, чем прежнее. Любуются девушки тканьем. Их мать выбегает на крыльцо.

— Идите, шатуньи, домой! Отец пришел с пахоты, надо поесть приготовить.

Дочь говорит матери:

— Иди-ка сюда, посмотри, какую ткань теперь тклет!

Мать приходит и говорит:

— Вой-вой-вой, тетя, какую красивую ткань ткешь! Надо на платье дочерям купить.

— Продам, почему не продам.

— Много ли возьмешь за платье?

— Ничего не возьму, только пусти с твоим мужем спать.

— Пушу уж, не жалко ведь мужа!

Приходит вечер. Дочь бабы Сювяттери накормила мужа и укладывает его спать в амбаре и сонные иглы кладет в уши. Муж засыпает, а дочь бабы Сювяттери идет к женщине и говорит:

— Муж в амбаре спит, иди спать в амбар.

Жена идет к своему мужу спать. Муж спит тяжелым сном. Муж спит без памяти. Пытается будить, треплет его; не может муж проснуться. Плачет над мужем всю ночь, даже одежда взмокла от слез. Настает утро, дочь бабы Сювяттери приходит будить, говорит:

— Переспала с мужем ночь, и хватит. Уходи-ка теперь прочь. Мужу надо идти пахать, некогда ему с тобой.

Ушла жена. Вынимает [дочь Сювяттери] сонные иглы. Муж просыпается. Муж думает: «Что за оказия, уже вторую ночь одежда мокрая. Что за чудо? Почему я так крепко сплю?». Муж встает, завтракает и идет пахать, а жена ставит основу еще краше. Ткала она день, тклет до вечера. Смотрит — дочери бабы Сювят-

тери идут за водой к колодцу. Она бросает челнок в окно, говорит:

— Подайте, золотокосые, челнок!

Дочери бабы Сювяттери побежали, чтобы подать челнок, и видят — второе краше ткань ткется. А дочь бабы Сювяттери кричит:

— Что там высматривают под окнами! Идите сейчас же домой!

Но Сювяттери сама тоже идет посмотреть ткань и говорит:

— Продай хоть на одно платье.

— Почему не продать, для того и тку — лишь бы кто купил.

— Сколько возьмешь за платье?

— Ничего не возьму, только дай с твоим мужем поспать.

— Дам, будто не дам, не жалко ведь!

Дочь бабы Сювяттери кормит, поит и спать укладывает [мужа] в амбаре и сонные иглы кладет в уши. Муж засыпает без памяти, и [дочь Сювяттери] идет к жене, зовет ее в амбар спать. Идет жена к мужу спать. Муж спит без памяти. Пытается [она] разбудить, но муж не может проснуться. Всю ночь плачет над мужем, даже одежда мужа взмокла от слез.

Утром она надевает на [его] палец именное кольцо и шелковым поясом, который он оставил, подпоясывает его. Утром дочь бабы Сювяттери приходит будить.

— Уходи, мужу надо идти пахать!

Уходит жена прочь. Вынимает дочь бабы Сювяттери сонные иглы из ушей: муж просыпается. Встает. Муж говорит:

— Что за оказия, третью ночь у меня одежда мокрая. Такого никогда не было: есть тут какое-либо чудо! Почему-то очень устаю на пахоте и сплю крепко.

Взглянул на палец — именное кольцо бывшей жены на пальце. Стал оглядывать себя — шелковый пояс на нем. Задумался: жена где-то здесь. Муж идет в избу, у жены еда приготовлена в избе. Иван Михайлович позавтракал, завел разговор с дочерью бабы Сювяттери, говорит:

— Вот, жена, надо бы нам теперь поминки устроить, чтобы родителей помянуть.

— Можно устроить.

Они устроили, такой бал закатили. Послали по свету извещения, чтобы пришли на бал богатые, бедные, цыгане, нищие и все. Пришли, собрались на бал богатые, бедные и цыгане, слепые, нищие, да и та жена последней прошмыгнула. Иван Михайлович узнал жену, взгляделся, и слезы навернулись на глаза. Иван Михайлович ничего не говорит, гостей усадил за стол есть. Народ весь сидит за столом. Начал [Иван Михайлович] спрашивать сперва у богатых:

— Можете ли рассудить: первое или второе венчание дороже? Богатые сказали:

— Второе венчание дороже.

Потом стал спрашивать у бедных. Бедные сказали:

— Второе венчание дороже.

Спросил у цыган. Цыгане ответили:

— Мы, смотри, много исходили, только второе венчание хорошо, но дороже и лучше первого венчания ничего нет.

Прогнал богатых и бедных из-за стола и дочь бабы Сювяттери убил, на куски изрубил, бросил собакам, а прежнюю жену женой принял. Теперь только в добром здравье живут себе.

17

No e'et'ii uk da ak. Oli heil t'yt'är, kučut'ii Mašakš. No, a emä kuol', zaboieičči da kuol'. Ot't' izä toižen akan t'yt't'ären kere. I tämä myöste emä ei händä l'uubiškannu, t'ädä neičukašt, Mašad. No' oli heil t'yöd. Andoi omale t'yt't'ärele hyvät t'yöd, šyd'änd kezrätä. Pani komnattaa händ'ää. A t'äle andoi Mašale pahat t'yöd, kuobettu. T'yönd lähtegile. Maša meni, ištež lähtegen piäle kezrädämäh. Kezräs, kezräs, hälle vār't't'in kirboni lähtegee. Ringuw:

— *Ptička-plotička*, anda mile *veretno!*

Sigä pee ringutaa:

— *Molodie nožki*, tule iče *po dorožki*.

Maša hypnii, sarafanan piähä, da lähtegee. Matkaž, matkaž sigä veden pohjad myö. Tuli hälle stado lehmid vastaa:

— Neičukaine, neičukaine, lypsä meid. Andame parahan lehmäžen šilei!

Neičukaine ot't' kaikkid heid lypsä, n'ännid peži heil kai, lypsä heid. Ant't'ii hällel paraz lehmäine. Uut matkaž, matkaž, tulow heboid stado vastaa:

— Neičukaine, neičukaine, leida meil, lyhendä händäžed da harjad! Andame myö šilei parahan heboižen.

Hän ot't' kaikil heil sugii harjad, händät lyhenž, harjad lyhenž, ke-ričči. No, hyö hällel paraz heboine. Uut edele matkaž. Tulou päčiine vastaa. Sigä leibät paštutaa, paletaa. Ringutaa:

— Neičukaine, ota meid päčiš pee iärel

Hän leibäd kai vedi päčiš pei iäre. Uut edele matkadaa. Matkadaa. Tuli taloine. Tuli taloine, zaidii taloizee ka. Sigä on roženičču. Akka on suonu lapsen. No.

— Neičukaine, linduine, lämbitä milei kyly da peze mindaa da minun laps, — sanoo. — Ma šilei maksan hot' mill!

Hän seičas ot't' kylyn lämbit't' i lapsen talui, pezi. Akkad talui kylyy, tuoi tagaze kodii, kai azet't'. Ak hällää andoi yn'n'ää sundugan sobii.

— No kuna, — sanow, — milei nygyt'e lähtä?

A t'amä ak hällel n'evvoi:

— Mäne, mäne, — sanow, — n'ecčii kriežaižee, šigä tuloo, — sanow, — sloja. Vai šihi slojaa, — sanow, — piel kosketa, hän i avedaw kun vorotat i sa piezet, — sanow.

Neičukaine matkaž, matkaž yn'nä. Jo hebo jälgee matkadaa, lehmäine jälgee matkadaa hälle. Sundug sobidenke hällää. Mäni šin'nä, piel stuknii slojaa dai dorog aveni hälle. Hän jo i nouž iäre mual n'äge. Hän oli šigä veden pohjas. No tuli kodii hebon kere, sundugan vedää, lehmän vedää kodii, bohat se. I emindim se ot't':

— Katso, — sanow, — mit't'une Maša bohatt tuli, mäne vai nygy minun Lenoo.

Ot't Lenoile pani pahat t'yöt kuožalii, Maššale andoi hyvät t'yöt, pani gorniččaa. Oman tyt'tären viei lähtegele. No ka Lenoo kyzzyw:

— Mit'e, Mašoo, sa roodoid?

— A ma, — sanow, — ku v'är't't'in kirboni da hypnin lähtegee, tuli lehmä ar't't'el' milee. Sanot'ii, lypsä mindaa. A ma heid otin vitsal, vitsal. No i heboid tuli ar't't'el' uut, — sanow. — Käskedii milei keritä harjad. Ma tože heid vitsal, vitsal, — sanow, — en rubennu. Sid mänin, — sanow, — taloižee, šid ak oli lapsen suonu, käšk kylyn lämbitädä. Rubedan minä, — sanow, — hänel kylyd lämbitämää!

Kai muanit't' t'ädä neičut Lenoid. Lenoi se läks lähtegele. Ištui, kezräs, dai kirboni vart't'in. No.

— *Ptička-plotička*, anda milei *veretno*, — sanow.

Šigä ringutaa:

— *Molodije nožki, iče po dorožki!*

Hän i hypnii. Hypnii, matkaž dorogad myö. Tuldaa lehmäd:

— Neičukaine, neičukaine, lypsä meid, — sanow, — andame parahan lehmäižen.

Hän ot't vitsan, heid vitsal.

— Rubedan ma t'eid šittoid lypsämää, milai on mamoin maidol kädet pestyl!

Lehmäd händää puskeda, puskeda. Hän jo it'koo da matkadaa. Matkaž, matkaž, tul'd'ii hebod.

— Neičukaine, neičukaine, keriče meil harjad da lyhendä händät! Andame parahan heboižen.

— En rubeda, milai on mamoin maidol kädet pestyd!

Hebod händää tože abidoimaa, pot'kimaa. Neičukaine matkadaa da it'koo. Leibäd ringutaa päčiš pee.

— Ota meid päčiš peel

— Engi rubeda käžid polttamaa! Mamin maidoil on milai kädet pesty.

Uut edele. Tuli. Tuli kodiižee. Ka inahmo šigä lapsen kere käsköö hälle kylyt lämbitädä.

— Lämbitä, — sanow, — kyly da talu meid kylyy. Maksan, mil vai pid'ää.

— En rubeda ma. Rubedan šitoit t'eit, — sanow, — milai on mamoin maidol kädet pestyd!

Ak ot' händää:

— Mäne, — sanow, — n'ēčči kohtaa, šigā šilei dorog avedaa.

Ku toizēle neičukaižele n'evvoi. Hān māni ših kohtaa. Ku piel stūk-nii, hālei tervabučči pieh, neičukaižela, kuadui. Kāi t'erval valoihe. Matkadaw yn'n'ā tervas. Kai ni kāded ei lāmbytā ni jalgad. Kodii tulow ga ni šilmid ei n'āgy, umbi šilmii. Emāle t'yt'ār tulow sie bohat! No. Emāle t'älle ei tabah rodižnu. Da ižā ajoin heid, uut t'yt't'āren kere molembid iāre, a t'āmān oman t'yt't'āren Mašan prijut'ii da elāškāž hyvin.

17. [ПРЯХИ У ПРОРУБИ]

Жили муж и жена. Была у них дочь, звали Машей. Ну, а мать-то умерла, заболела да умерла. Взял отец другую жену с девочкой. И эта мать опять невзлюбила ее, эту девушку, Машу. Надо было им прясть. Дала своей дочке хорошую кудель прясть. В комнате ее посадила. А этой дала, Маше, плохую, одни вычески. Отправила на прорубь. Маша пошла, села у проруби прясть. Пряла, пряла, веретено у нее в прорубь упало. Кричит:

— Птичка-плотичка, подай мне веретено!

Оттуда кричат:

— Молодые ножки, иди сама по дорожке.

Маша вскочила, сарафан на голову и — в прорубь. Идет, идет там по дну. Навстречу ей стадо коров:

— Девушка, девушка, подои нас! Дадим лучшую корову тебе.

Девушка взяла подоила их всех, вымя помыла, подоила. Дали ей лучшую корову. Опять идет, идет, табун лошадей навстречу:

— Девушка, подрежь нам, подкорооти хвосты и гривы! Дадим мы тебе лучшую лошадь.

Она взяла причесала всем им гривы, хвосты укоротила, гривы подрезала, постригла. Ну, они ей лучшую лошадь. Опять дальше идет. Попадает навстречу печь. Там хлебы пекутся, подгорают. Кричат:

— Девушка, вынь нас из печки!

Она хлебы все вытащила из печи. Опять дальше идет. Идет. Встретился домик. Встретился домик, зашла в него, а там роженица. Женщина ребенка родила. Так.

— Девушка, голубушка, истопи мне баню и вымой меня и моего ребенка, — говорит. — Я тебе хоть чем отплачу!

Она быстренько взяла истопила баню и снесла ребенка, помыла. Женщину сводила в баню, привела домой, все прибрала. Та дала девушке сундук, полный одежды.

— Куда, — говорит, — мне теперь идти?

А женщина эта ей наказывает:

— Пойдешь, придешь, — говорит, — к этому кряжу, там будет, — говорит, — такой пласт. Только до него, — говорит, — коснешься головой, он и откроется, как ворота, и ты выйдешь, — говорит.

Пошла девушка, идет, идет все. Уже лошадь следом идет, корова следом идет. Сундук с добром у нее. Пришла туда, толкнула этот пласт головой, и дорога ей открылась. Она уже и поднялась, вишь, на землю. Была-то она под водой. Ну, приходит домой с лошадью, с сундуком, корову ведет домой, богатая такая. А ма- чеха та:

— Смотри, — говорит, — какая Маша богатая пришла, поди-ка теперь и ты, моя Лена.

Дала Лене вычески в прялку, Маше дала хорошую куделю, посадила в горнице. Свою дочь увела на прорубь. А Лена спрашивает:

— Как, Маша, ты сделала?

— А я, — говорит, — как веретено упало да прыгнула в прорубь, встретилось мне стадо коров. Говорят, подои нас. Я их взяла вицей, вицей. И лошадей артель потом, — говорит. — Велели мне гривы подстричь. Я тоже их вицей, вицей, — говорит, — не стала. Потом пришла, — говорит, — в домик, там женщина ребенка родила, велела баню истопить. Буду я, — говорит, — ей баню топить!

Обманула эту девушку, Лену. Лена та пошла на прорубь. Сидит, придет, да веретено и уронила. Так.

— Птичка-плотичка, подай мне веретено! — говорит.

Оттуда кричат:

— Молодые ножки, [иди] сама по дорожке!

Она и прыгнула. Прыгнула, идет по дороге. Навстречу коровы:

— Девушка, девушка, подои нас, — говорят, — дадим лучшую корову.

Она взяла виду, давай их вицей:

— Буду я вас, г. . . . , доить, у меня руки материнским молоком помыты!

Коровы ее бодать, бодать. Она уже плачет да идет. Шла, шла, навстречу лошади:

— Девушка, девушка, подстриги нам гривы и подкорооти хвосты! Дадим лучшую лошадь.

— Не буду, у меня руки материнским молоком вымыты!

Лошади ее тоже обижать, лягать. Девушка идет и плачет. Хлебы кричат в печи:

— Вынь нас из печи!

— Буду я еще руки обжигать! Материнским молоком у меня руки помыты!

И опять дальше. Идет. Приходит в домик. Женщина с ребенком там велит баню истопить.

— Истопи, — говорит, — баню да своди нас в баню. Отплачу, чем захочешь.

— Не буду я. Буду я вас грязных, — говорит, — у меня материнским молоком руки помыты!

Женщина ей:

— Иди, — говорит, — в то место, там тебе дорога откроется. Как и другой девушке наказывала. Она [девушка] прошла в то место. Как толкнет головой, — ей на голову бочка со смолой, девушке, свалилась. Вся смолой облилась. Идет вся в смоле. Ни руки не сгибаются, ни ноги. Приходит домой, и глаз не видно, залепило. Богатая пришла дочь к матери! Но матери той не по нраву. Отец и выгнал их прочь, с дочерью обеих, а эту свою дочь, Машу, приютил и стали жить хорошо.

18

No. El'et't'ii ende uk da ak. Oli heil neičukaine. No, el'et'ii, ol'dii, el'et'ii, ol'dii. Emä kuol'. Emä kuol', mužik, ižä toižen tein nai! Nai toižen tein, ga t'ämä emindim ei navedi neičukašta. A emindimäl oli toine t'yt'är, oma t'yt'är... Lešk oli.

No yhtä ei navedita, t'ädä emindim se ei navedi ukon neičyitty. Dai kieran ižäle sanow, työndytäw:

— Pane kuna tahto, minä, — sanow, — en rubeda händää, hänen ke elämää.

No, ka kuna paned. Ižäl on t'yt'är tože žiel', ei tiedä kuna panda. Ot't' dai suot' händää puustaa šin'n'ä metsää, šigä oli vilupertiine, ende pertiižet ol'dih, da šin'n'ai salbaž. Viruw, alašti, pal'lahin. Dai sanow:

— Ma tulen, tulen, — t'yt't'ärele sanow, — tulen minä. En šinda jietä ni kuna.

No hän neičukaizen salbaž dai. Tuli yö. Neičukaine se aino jo varaidaa. Dai pakkaine, treskučii pakkaine! Rubeš pakkaine se stuigutamaa. Hän se sanow, neičukaine sanow:

*Ne stukai moroz, ne br'akai moroz,
Ja gola da i bosa, bez pojasa!*

No hällee rodii päčči šigä. No, neičukaine aino šigä ištuu, a pakkaine aino vai stuigaa da stuigaa. Hän myöstei sanow:

*Ne stukai moroz, ne br'akai moroz,
Ja gola da i bosa, bez pojasa!*

Hällee rodii jo soba piäle. Kolmanden tein vie jalomb stuigaidaa. Hän sanow:

*Ne stukai moroz, ne br'akai moroz,
Ja gola da i bosa, bez pojasa!*

Hällee liettii sovat piäle i rodii jo hällee lämmin. No hän d'o eläw päivän, eläw toižen, a ižä ei tule tiedustamaa. A emindim se sanow:

— Mäne, — sanow, — tuo nygy kodii, kylmän on ka, panemme hot' händää muaha.

No. A hän elävikäine, sobad hällää hyvät kai, hälle lämbin, putnii moine se rodie, hyvä. Hälle zielii lähtä. Tulow ižä ottamaa, neičukaine se eläw šigä hyvin kai, hyvä hällää eläi on moine. No, tuli, ot' t'yt'ären kodii. A t'al emindimäl oli koiraine se, emindim se šigä kyrzit huondeksel paštaa, a koirane se:

— Haw, haw, haw, — haukkuw, — *otcovsku dočku* ka tuodaa, — sanow, — šulkuz da garusaz, haw, haw!

A emindim se:

— Elä, — sanow, — vaikastu, — sanow, — min'ä plaškaidan sindai t'al rieht'ipualikal, plaškaidan ka vaikastut! — sanow. — Nygyde ewle serebret da zolotoit, — sanow, — nygyde on kylmänny kai kuolijakš ka, muga vai, — sanow, — tuodah.

No. Ku ižä tuow regel händää, tuoi regel, ka neičyt se hyvä rodih, čoma, lämät sovat hällää, hyvät, kai moine! No a t'äle t'yt'ärele da lien zavisti, što mikse händää kačo suot', ka hän sie vai bohatui. No. A t'amä neičukaine se rubeš taričezemmaa ižäl. No da emäle se ei tabua, emindimäle šille. A neičukaine, toine t'yt'är se, taričezow:

— Vot, — sanow, — mindai, mamoi, suottagad šin'n'a, suottagad mindaa šin'n'al

No kodv ol'dii, el'et'ii, ol'dii, el'et'ii, ol'dii. Pidäw suottada t'yt'är šin'n'a bohatumaa da sobat hyvät liettää. Dai suot'et'ii šin'n'a, salbat'ii šin'n'a puustaa pertizee, salbat'ii dai ižä sei läkš. Läkš ištukšis, nygy t'yt'är milai lienöö bohat, t'yt'ärindäm.

— Pakkaine, — sanow, — lienöw (sizärele šile, sizärdimele ras-skažiw ukon t'yt'är) pakkaine, — sanow, — ku stuigaškadow, ka sa vaikkane ole, elä, — sanow, — ni mid'ä elä sano. Ole vaikkanel!

No häi i mugai ruadaw. Ištuw vaikkane, ištuw vaikkane. Sinčois stuigi, stuigi pakkaine, hän ših ištui, jo kuol'. No kuol', kuol'. Dai jo päivän ei mäne, toizen ei mäne ižä. Emä se:

— Elä mäne, elä mäne, anda, — sanow, — šigä bohatuw, anda t'yt'är suoritah.

Ku tul'd'ii... A myöste huondeksel kyrzäd se rubedaa paštamaa emindim se ka, koiraine se ištuu stolan al da sanow:

— Haw, haw, emindimän, emän t'yt'är, — sanow, — grobas tuodaa, (näge) kuollut tuodaa, kylmänyt!

— Älä sa vaikastu, — sanow, — ga andan rieht'ipualikal otsaa, ka vaikastut šin'n'al

Hän uut i aino hawkkuw. Ižä läkš näge tuomaa, ka duumajiw bohattan tuow šigä pei.

No, mäni ižä, ka ei ole šigä ni midä, ni zvuk, kuulu ni nägy ei. T'yt'är čuppuizee ištuzennu da šihii kaikki kovennu, kuolnu. Ajaw hebol, tulow kodii ka, emä jo se juoksoo vastaa, ihaštukšis, što bohatt tuli t'yt'är. Tuli t'yt'är ni min kere, tuli, ka jo kuolnu.

No da šiidi i skaska minun.

18. [МОРОЗКО]

Жили когда-то старик да старуха. Была у них дочь. Ну, жили-были, жили-были. Мать умерла. Умерла мать, мужик, отец, женился второй раз. Женился второй раз, а мачеха невзлюбила девушку. У мачехи была своя дочь... Вдова была [мачеха].

Мачеха ненавидит старикову дочь, видеть ее не может. Однажды и говорит отцу:

— Девай куда хочешь, я, — говорит, — не буду с ней жить.

Ну, куда денешь. Отцу жалко дочери, не знает куда ее деть. Взял и отвез ее в глухой лес, там была избушка (раньше избушки в лесу были), да там и запер. В холод, голую, босую. И говорит: — Я приду, приду, — дочери говорит, — приду я. Не оставляю тебя.

Запер он там девушку. Настала ночь. Девушка эта все боится. И мороз, трескучий мороз! Начал мороз постукивать. Девушка и говорит:

*Не стукай, мороз, не брякай, мороз,
Я гола да и боса, без пояса.*

Появилась у нее в избушке печь. Девушка все там сидит, а мороз только постукивает да постукивает. Она опять и говорит:

*Не стукай, мороз, не брякай, мороз,
Я гола да и боса, без пояса.*

На ней уже одежда появилась. В третий раз еще громче стучит. Она говорит:

*Не стукай, мороз, не брякай, мороз,
Я гола да и боса, без пояса.*

Появилась на ней одежда, и стало ей тепло. Живет она день, живет второй, а отец не приходит навещать. Мачеха та и говорит:

— Иди, — говорит, — привези ее домой, замерзла, так хоть в землю зароем.

А она живехонька, одежда на ней вся хорошая, ей тепло, хорошо ей там. Жалко и уезжать. Приезжает отец за ней, а девушке так хорошо там живет. Приехал, взял дочь домой. У мачехи была собачка. Она печет утром блины, а собачка:

— Гав, гав, гав, — лает, — отцовску дочку везут в шелках и гарусе, гав, гав!

А мачеха ей:

— Не замолчишь, — говорит, — так я тресну тебя сковородником! Тресну, так замолчишь, — говорит. — Теперь не до серебра и золота, — говорит, — замерзла там вся до смерти, так уж, — говорит, — привезут.

А как привез отец ее на санях, девушка такая хорошая, красивая, теплая одежда на ней, хорошая! А старухиной дочери стало

завидно, что зачем ту отвозили, она там только разбогатела. Ну и эта девушка стала проситься у отца. А мачехе это не очень нравится. Девушка, дочь-то ее, все просится:

— Вот, — говорит, — мама, меня отвезите туда, отправьте меня!

Жили-были сколько-то времени, жили-были. Надо отвезти дочь, чтобы разбогатела да одежду хорошую получила. Отвезли ее туда, в холодную избушку, запер отец ее там и пошел довольный, что теперь дочь у меня разбогатеет, падчерица эта.

А старикова-то дочь ей сказала дома:

— Мороз, — говорит, — как начнет постукивать, так ты молчи, не говори ничего. Молчи!

Она так и делает. Сидит молча. В сенях стучал, стучал мороз, она все сидела молча, и умерла. Ну, умерла. Уже день прошел, второй — отец не едет.

Мачеха там:

— Не езжай, не езжай, пусть, — говорит, — разбогатеет там, пусть приоденется.

А как поехал... А мать опять утром блины стала печь, собака сидит под столом и говорит:

— Гав, гав, старухину дочь, — говорит, — в гробу привезут, мертвую, замерзшую!

— Не замолчишь ты, — говорит, — как дам сковородником по лбу, так замолчишь!

А она все лает. Отец поехал за дочкой, так мачеха, вишь, думает, что привезет ее богатую оттуда.

Приехал отец, а там ничего, ни звука не слышно и не видно никого. Девушка как сидела в уголке, так там и окоченела, умерла. Едет отец на лошади, приезжает домой. Мать бежит навстречу на радостях, что дочь богатая приехала. А приехала дочь ни с чем, мертвая.

Вот и сказка моя.

19. KAKSI VELLESTY

Vot oli ennen kaksi vellesty. Hyö naijah. Yhtel puwtui pravoslav-noidu vieruo mučoi, a toizel puwtui Syväinteroin akan tytär. Voi, hyvä-horošo, hyö elettiä yhtes, i mučoi soadih tytärlapset mollei. Tytöt d'on-goi kazvetah suwrekse. (Soarnan lapset terväh kazvetah!) Syväinteroin akan tytär ainoz vihoaw kälyw. Siit emä se, pravoslavnoidu vieruo, nev-vow tyttärel:

— Nygöi, — sanow, — minuw muwtetah lambahakse i peä leikatah, a sinä pyrgei iškijes tahnuah, ota nästykkipaikkaine i soa sih kolme pizarehtu verdy.

Eletäh ollah, i lambahakse muwtuldah.

— Nygöi, — sanow ukolleh, — lammass syö ni d'uo ei, mene leikkaa peä ääres, eiga töllyöw.

Ukkoh veičen hivow i lähtöw lammastu iskemäh.

— Deäd'äine, — sanow neičyt, — ota minuw, kačon, kuin lambahal peän leikkoat.

— En ota, mikse sinuw pidäw sinne.

— Ota, deäd'äinel — taričeh.

Nu, deäd'äh i otti. Tahnuoh ku mendih, deäd'äh rubei peädy leikkoamah, tyttöine deäd'älleh kaglah tartui:

— Oi, deäd'öine, älä leikkaa täl lambahal peädy, minä iče syötän dai d'uotan tämän lambahan!

Nyt vot, hyvä-horošo, deäd'älleh žeäli laskih tyttyö i ei ni leikannuh peädy. Tuldih pertih, ga akku sanow hänelleh:

— Nu, mindäh ed leikannuh peädy?

— Ga tyttöine ylen äijäl itki, ga žeäli laskih minul händy.

Tossu peän huondeksel op'ät' prižmiw ukolleh, sanow:

— Menöw lammass pillah, ei syö, ni d'uo ni midä.

Lähtöw ukko lammastu iskemäh, ga tyttöine op'ät' taričeh:

— Ota, deäd'öine, minuw!

— Nu midä sinä sinne lähtet? — sanow deäd'äh.

Tyttöine tariččih, tariččih, i deäd'äh otti. Mugai tossu peän tyttöine deäd'älleh kaglah tartuw, itköw:

— Älä, deäd'öine, tapa tädä lammastu, minä iče syötän dai d'uotan!

Tyttöine itki, itki, i deäd'äh ei ni iskenyh. Tuldih pertih, toaste akku händäh čakkoaw, sanow:

— Kaksi huondestu kävelettö kahtei, etto voi lammastu iskie, anna menöw pillah!

Čakkai ga čakkai, se päivy meni. Kolmanden peän huondeksel sanow ukolleh:

— Jesli et tänäpäi leikanne peädy lambahal, siit ičelles leikkoan peän, — moizen kriikan andaw ukolleh.

Kolmanden peän huondeksel lähtöw deäd'äh leikkoamah peädy lambahal, ga tyttöine op'ät' taričeh:

— D'ohäi kävelittö kaksi huondestu, — sanow Syväinteroin akku.

Neičykkäine yksikai menöw deäd'älleh d'alles tahnuoh i ei itke enämbeä eigo pokoroiččei, teädäw, što enämbeä ni mi ei avvuta, ku kägei ičelleh peän leikata. Mužikku peän leikkai, neičykkäine čökkäi sinne al nästykin i sai veripizarehtu.

Eletäh ollah, tytösty sidä aivin pidäw paimenis, a omoa tytärdy žeäloiččöw.

Rodih soarin boalu, Ivan Sar'owič tahtow naija. Syväinteroin akku lähtöw sinne tyttären kel boaluh, a hänen työndäw paimenih. Nu vot, hyvä-horošo, häi murendaw lähtijes päčän i kylväw yhteh kolmie sortoa vil'oa, štobj tulendal olis päčči kohendettu, vil'at eroiteltu i lehmät illal kodih tuodu. Tyttöine itköw, itköw: «Nu kus minul kai nämä roavot roatahes?». Veripizarehet laitah pagin:

— Midä, tyttäreni, itket?

Häi vastai:

— Vot miittuot zadanijat d'ätti, nu kus minul soaw roata kai? — sidä itken.

— Älä, — sanow, — itke, a mene lagiel pellol, vihandal nurmel, tuo üksiyöhine viččaine, iške ristah-rästäh, sano: «Moamoin-toatoin sanois — ku ois päčči endizelleh i vil'at eriže».

Häi mugai roadaw, menöw, i tuow üksiyöhizen viččaizen, išköw ristah-rästäh:

— Toatoin-moamoin sanois — ku olis vil'at eriže i päčči endizelleh!

Vot, hyva-horošo, hänelleh rodih moine hyvä mieles:

— Nygöi pidäw lähtie lehmien luo, — pagizow neičyt yksinä.

Veripizarehet hänel sanotah:

— Älä lähte ni kunne: menet lehmien luo illal, ei lehmät lähtietä ni kunne, tuot illal. Mene, — sanotah, — lagiel pellol, vihandal nurmel, ota kaksiyöhine viččaine, iške ristah-rästäh, sano: «Toatoin-moamoin sanois — täh ku olis minul hebo i sovat». Siit šuorie i mene soarin boaluh.

Häi muga i roadaw: menöw lagiel pellol, vihandal nurmel, ottaw kaksiyöhizen viččaizen, išköw ristah-rästäh, sanow:

— Toatoin-moamoin sanois — täh ku olis minul hebo i sovat!

Tuli hebo, nahkaine saduli selläs, i ičelleh sovat rodih. Suorii, i rodih moine hyvä neidine, ga ni sanuo maltoa ei soa. Hyppäi selgäh i ajoi kopsahutti soarin dvorčah. Hevon sivaldi vorottoih, iče pertih meni. Meni pertih, kerran polgi kynnyksel, toizen — stolal, kolmandel istuihes stolan toakse ylimäzekse. Hänäh kai kačotah, udivl'aijahes, a soarin poigu duwmaiččow: «Nu ken neče ollow nengoine hyvä neidine? Neče pidäs minul soaha paginall».

A deädinäh sie istuw stolan tagan tyttäreh kel. Häi valličči luwn kovan da suwren i ku iški pöwgai heih, ga deädinäh tyttärel sil'my peäs i pakui. Syöndyaigu tulow lopuškal, häi sie hyppeäw stolan tagan, kerran polgow stolal, toizen — kynnyksel i eäre lähtöw. Soarin poigu tahtoi händy tavata, ga ei voinuh. Häi ajoi lagieh peldoh, vihandah nurmeh, i ielleh lehmii ottamah i lehmien kel kodih.

Boalun loppehuw Ivan Sar'owvič meni leskiakalluo i sanow hänel, što kävyi nengoine neidine, ga häi ei voinnuh tavata. Leskiakku sanow hänel:

— Toine kerdu pidäw loadie boalu.

Tyttö illal tuow lehmät kodih, a Syväinterioin akku tulow tyttären kel kodih, ga pahah loaduh astutah. Tuldih pertih, ga tyttöine i kyz'w:

— Mindähbo, t'outoine, čid'žoi pahah loaduh tuli?

— Hahl! Liigu on liikkujal, a päč'in peräs virujal ni midä ei ole.

— A mibo rodih? — kyz'w neičyt.

— Rodih — soarin poi'jan kel hypittih, sorruttih, i sil'my peäs pakui.

Net suwtkat eletäh. Soaris laitah toine boalu i op'at' kučutah boaluh. Toaste Syväinteroin akku päč'in murendaw, kolmie vil'ua kylväw yhteh:

— Nämmä ku oldas sellitetyt, päčči kohendettu i lehmät ku kois oldas illall!

Hyö lähtietäh, a tyttöine davai itkuw, davai itkuw: «Nu kus nämmä roih minul roatukse?» Hyvä-horošo, toaste loadi kormanis paginan:

— Midä, tyttäreni, itket?

— Sidä itken, kun andoi nengoman zadanijan — nu kus minul roih roatukse?

— Älä, tyttäreni, itke, a mene lagiel pelloi, vihandal nurmel, ota kolmeyöhine viččaine, tule, iške i sano: «Toatoin-moamoin sanois — kun olis päčči endizelleh i vi'l'at erižel».

Häi mugai roadaw. Menöw, ottaw viččaizen, tulow kodih i išköw:

— Toatoin-moamoin sanois — ku olis päčči endizelleh i vi'l'at erižel

Hänel kai mugai rodih. Toaste on hyväl mielij, duwmaiččow: «Pidäw lähtie nygöi lehmielluo». Op'at' paikkazes veripizaret sanotah:

— Ei pie lähtie lehmielluo, mene lagiel pelloi, vihandal nurmel, leikkoa nellüyöhine viččaine, iške ristah-rästäh, sano: «Toatoin-moamoin sanois — ku täs ölis hebo i sovat minull».

Häi meni lagiel pelloi, vihandal nurmel i muga i roadoi. Tuli sth hebo i sovat. Häi šuorii, hevol selgäh hyppäi i ajoi soarin dvorčah. Vorottöih hevon sivaldi, iče — pertih. Menöw pertih, keran kynnyksel d'allan polgow, toizen — keskistolal i istuh suwrah čuppuh ylimäzkeke. Syvväh, duvвах... Häi dogadi Syväinteroin akan tyttären kel ukai-čupuz, otti i lykkäi op'at' luwn. Luw kähdeh koskih, i käzi katkei. Lopušku syöndän rodih, häi ennen rahvahan lähtendä hyppäi stolan tagan, polgi keran stolal, toizen — kynnyksel, meni pihal, hyppäi hevol selgäh i ajoi.

Oppi Ivan Sar'owvič tabailla, ga ei voinnuh. Häi meni lagieh peldoh, hevон peästi, sovat heitti, iče omih sobih šuorii, lehmät otti i kodih ajoi.

Ivan Sar'owvič op'at' leskiakalluo, sanow:

— Vot on nengoine i nengoine naidine, no ni kui en voi kähiz soaha. Nygöi sinä neppo minul, kui händy tavata.

Leskiakku neuvvow hänel:

— Nygöi, — sanow, — vie loai boalu kolmas kerdu, i kuni rahvas ollah stolan tagan, sini tervoa kynnyks, keägy i kamai.

Kolmandennu peän mugalei loadiw boalun i kerešw sinne rahvastu. Syväinteroin akku toaste murendaw päččin, kylväw kolmie vi'l'oa yhteh i käsköw hänel kai net roadoa. Häi op'at' itköw, itköw. Toaste veripizareth kyzytäh:

— Midä, tyttäreni, itket?

— Sidä itken, ku nengoman zadanijan andoi — nu kui minä net kai roan?!

— Älä, tyttäreni, itke, a mene tuo lagies pellos, vihandas nurmes viiziyöhine viččaine, iške ristah-rästäh i sano: «Toatoin-moamoin sanois — ku päčči olis endizelleh i vi'l'at erižel».

Nu vot, hyvä-horošol Häi menöw toaste lagieh peldoh, vihandah nurmeh, leikkow viiziyöhizen viččaizen, tulow kodih, išköw ristah-rästäh, sanow:

— Toatoin-moamoin sanois — ku olis päčči endizelleh i vi'l'at erižel

Kai hyvin i rodih. Häi ihastuksis meni ikkunpieleh i sano ičekseh:

— Nygöi pidāw lähtie lehmielluo.

Veripizarehet op'ät' sanotah hänel:

— Älä lähte lehmielluo, lehmät ni kunne ei mennä, a mene soarin boaluh. Mene lagiel pellol, vihandal nurmel, ota kuwziyöhine viččaine, iške ristah-rästah, sano: «Toatoin-moamoin sanois — ku olis täs hebo endizii parembi i sovat vie parembat endizii!».

Häi meni lagiel pellol, vihandal nurmel, leikkai kuwziyöhizen vičälzen, iški ristah-rästah i sanow:

— Toatoin-moamoin sanois — ku olis täs hebo i sovat vie parembat endizii!

Hänel tuli hebo, saduli selläs i sadulil piehus, i sovat tullah vie parembat endizii. Häi šuorii, hevol selgäh nowzi i soarin d'vorčah ajoi kopsahutti. Voretoin tyveh aidoi hevon paččahah, iče meni pertih. Meni, kynnyksel kerran polgi, toizen — keskistolal i istuihes suwreh čuppuh stolan toakse. Rahvas kačotah häneh i diivuijahes: moine on hyvä neidine. Syöndyaigah häi primietti Syvänteroi'akan tyttären kel. Kovan luwपालan tabai, vitppai heih. Luw koskih Syvänteroi'akan tyttärel d'algh — i d'algu katkei. A Ivan Sar'owvič sil aigoa tervai keägän, kynnyksen i kamain. Vot, hyvä-horošo! Hyppäi neidine enne toizii rahvahii eäre, polgi kynnyksel d'allan — sih bašmakku tartui, pani käin keägän — sih perčanku d'ai, kamaih šoapku tartui, a iče hevol selgäh — da ajamah. Ajoi lagieli peldoh, vihandah nurmeh, hevona da sovat sih d'ätti, lehmät otti mennes kodih. Meni kodih i ikkunpielah istuihes. Kaččow — tulow Syvänteroi'aku, ylen pahah loaduh tyttären kel šl'avietah. (*Terväh sproavitah ned d'allat, dai käiti, dai sil'mät*). Tuldih pertih, häi kzyw:

— Midäbo, š'owtoine, čid'žoi ylen pahah loaduh astuw?

— Lūgu on liikkujal, — vastoaw Syvänteroi'aku, — päčin peräs virujal ni midä ei rodei. Soarin poiijan kel hypittih — d'algu katkei.

Hyvä-horošo, soarih op'ät' boalu laitah.

— Kelle pädenow tämä bašmakku d'algh, perčanku kädeh i šoap-kaine peäh — se roih minun mučoi.

Tiijusti Syvänteroi'aku sen i rubei tyttärel vuolemah peädy, d'algoa i kätty; štož kai brujat päittä. Meni Syvänteroi'aku sinne boaluh tyttären kel. Opittih siä bašmakkoa, perčankoa i šoapkastu, ga ni kel ei päi, a Syvänteroi'akan tyttärelleh parahitten pädi, i se pidi Ivan Sar'owvičal ottoa mučoiakse.

Elettih-öldih, lähti Ivan Sar'owvič mučoin kel venehel ajelemah. A niemel sie neidine se paimendi lehmii. Häi dogadi heidy i pajattaw:

— Vestyd'algu veittävänni, vuoltusormi šowttavannu, kurikkupää kullettavannu!

Ivan Sar'owvič sanow:

— Pidāw lähtie kävvä sinne, midä häi nenga pajattaw.

A mučoi työnä ei, sanow:

— Paimoilapset lehmäzii lelotetah, aigazii menetetäh.

Ilel i sowtah. A paimoi se d'uoksow ymbäri gubas toizeh n'okkah i, vai hyö kohtah sih tullah, toaste muga pajattaw:

— Vestod' algu veittävännä, vuoltusormi sowttavannu, kurikkupeä kullettavannu!

Toaste Ivan Sar'owvič lähtis sinne, ga mučoi ei työnä, sanow:

— On midä paimoilapsis kuwneldavoa, hyö lehmäzii lelotellah, aigazii menetetäh.

I ajetah ielleh. Toaste neidine d'uoksow kolmanden niemen n'okkah. Parahikse vai tullah sih, neidine i pajattaw:

— Soarin poijal vestod' algu veittävännä, vuoltusormi sowttavannu, kurikkupeä kullettavannu!

Ivan Sar'owvič kuwlow pajon i sanow:

— Nygöi kielä libo älä, a moal lähten kävyn!

Mučoi hot' kui kieli, yksikai lähti. Meni moal, kyzyw:

— Midäbo sinä nenga pajatat?

— Ga pajatan, — sanow neidine, — ga enhäi tyhd'eä pajata, opi bašmakku d'allas mučoilles ottoa.

Derni Ivan Sar'owvič bašmakan mučoil d'allas — ga bašmakku täwzi verdä. Neidine sanow:

— Peze bašmakas veret da opi minul d'alga panna.

Ivan Sar'owvič pezi bašmakan, čökkäi neidizel d'alga — ga ku siit olluh, parahikseh. Derni perčankan käis, pani neidizel kädeh — ga parahikseh, i šoapkaine parahikseh. Ivan Sar'owvič duwmaiččow: «Tämähäi ollus minul mučoiakse otettavul». Siit käski neidizel ajoa lehmät kodih i tulla d'ärielleh sih kohtah. Neidine lehmät ajoi i tuli d'ärielleh. Ivan Sar'owvič otti d'o oman mučoin tuikkai vedeh sellälleh i sinne painoi, a sen neidizen otti mučoiakse.

Vot, hyvä-horošol Syväinteroin akal hävii paimoitytär, i häi duwmaiččow, što se libo karut otettih, libo vedeh meni. Ezmäi häi kävyi oman tyttärelluo poaksuh, a siit (tytär ku hyväh sijah puwttui) harvendi käwndän i d'o ammui ei olluh sie.

Eli-oli Ivan Sar'owvičal mučoi, d'o lapsen sai. Lähti Syväinteroin akku tiijustamah i ugodih proidimah siit kohtas, kus Ivan Sar'owvič lykkäi hänen tyttären vedeh. Sih on kazvanuh ylen čoma kukku, ga ni siil'mii ottoa ei soa. «Anna ehki bunukku elostaw» — duwmaiččow häi i rubei kukkoa nyhteämäh. Sie d'eävi paginan:

— Älä, moamo, nyhteä, otat n'avan dai syväind'uwret vačas!

— Kenbo sinä olet?

— Minä sinun tytär olen, minuw Sar'owvič lykkäi tänne vedeh.

Häi otti i nosti tyttären. Siit mendih linnah, ga ei vie kohti Ivan Sar'owvičal, a d'ätti toizeh tilah, sanow:

— Kuni minä en tulle ottamah, ga lähte ni kunne älä.

Häi meni sinne soarin kodih, buite ku tyttären luo muinai. Meni sinne i lämmitytti kylän. Siit otti kilyh lapsen i mučoin. Kilyh mennes lendäw d'owčendu arteli, i toine, i kolmas. Häi muwttaw hänen d'owčenekse i työndäw kolmandeh artelih. Siit menöw, tuow kilyh oman tyttären, pezöw i view lapsen kel kodih.

Eletäh-ollah. Soaril on paimoi. Kerran häi meni meččäh i istuihes kivel. Kaččow yläh — lendäw arteli d'owčendu, toine lendäw i kolmas

arteli d'owčendu. Kolmandes artelis heittyi yksi d'owčen rinnal kivel, heitti hõwhenet i muwtui mučoiakse. Paimoil kyzelõw:

— Kuibo minun lapsi eläw? Vot minuw nenga i nenga muwtui d'owčenekse Syvänteroin akku i tyõndi kolmandeh artelih lendelemäh. Viego lapsi minun itkõw?

Paimoi sanow:

— Yõt i päivät itkõw, ni mih ei soa azettoa.

Mučoi nevwow paimoil:

— Tuo, — sanow, — huomei lapsi täh sijah, minä tulen i annan hänel n'ännii.

— A kui minul ei anneta?

— Sinä kielasta, — sanow mučoi. — Sano, — sanow, — ku teile lapsi ei pyzy kois, ga andakkoa minul meččäh, minä kelloizii čilaitan, lehtyizii ramaitan, mowžet lapsi i pyzyw päivän.

Ildassah mučoi oli paimoilluo. Illal lendi parvi d'owčendu — ielleh mendih, toine lendi — ielleh mendih, kolmas ku lendi — mučoi hõwhenet peäl i lendoh lähti. Tossupeän huondeksel paimoi sanow:

— Anduat lapsi minul meččäh, mowžet sie pyzyw.

— Midä, — sanotah, — kois ni kui emmo voi azettoa, a mečas ni paiče.

Paimoi sanow:

— Andoat, minä kelloizii čilaitan, lehtyizii ramaitan, mowžet i pyzyw.

I hänelleh lapsi annetah. View lapsen sih samah kohtah. Parvi lendäw d'owčendu — ielleh mennäh, toine lendäw — ielleh mennäh, kolmandes heittyw yksi d'owčen, kivel hõwhenet puistaldaw i muwtuww mučoiakse. Paimoi andaw hänel lapsen. Emä lapsel n'ännii andaw, i mollei moatah päivy kai, d'owčenparvien tulendah sah. Illal lendäw d'owčendu parvi, toine, a kolmas ku lendäw — mučoi hõwhenet peäl čõkkeäw, sanow:

— Tuo lapsi tänne huomei, — i lähtõw lendoh. — Ei ruveta andamah, — sanow, — kielasta, sano: «Kelloizii čilaitan, lehtyizii ramaitan, mowžet lapsi pyzyw».

Paimoi lapsen kodih view, i lapsi kogo yõn ei itke ni vovse. Tossupeän op'ät' paimoi rubiew meččäh lähtemäh, toaste pakičchow lapsen. Hänelleh ei ruveta lastu andamah, häi sanow:

— Andoat ielleh, kelloizii čilaitan, lehtyizii ramaitan.

I hänel annettih. Paimoi ajaw lehmät endizeh kohtah i rubiew vuotamah. Op'ät' lendäw parvi d'owčendu, ielleh menõw, lendäw toine — ielleh menõw, kolmandes parves heitäh yksi d'owčen kivel, hõwhenet lykkeäw i — d'o on mučoi. Toizen päivän magoaw lapsi moamah n'annis, dai mučoi magoaw. Illal op'ät' parvi d'owčendu lendäw, ielleh menõw, toine lendäw — ielleh menõw, kolmas ku lendäw, ga mučoi čõkkeäw hõwhenet peäl. Muwtah d'owčenekse, sanow:

— Tuo i huomei lapsi, — i lähtõw lendoh.

Vei paimoi lapsen kodih, ga lapsi yõn magai — ni eäny d'ävi ei. Kolmandennu peän ni kieltä ei ottamas. Paimoi ottaw lapsen i menõw meččäh. Ivan Sar'owvič menõw leskiakalluo i sanow:

— Vot mittuot on meile nygõi dielot. Enne lapsi yõt i päivät itki, a nygõi, ku rubei paimoi meččäh talumah, ga ni vovse ei itke.

— Ohoh, — sanow leskiakku, — tolku oli lapsel pyzyõ, ku kaksi päiveä moamah n'ännii imi (*leskiakku hai tiedäw*). Nygõi, — sanow, — mene meččäh, paimoin d'alles. Kunne paimoi azzettu, sih i sinä peitoičti azetu. Siit lendäw parvi linduw, ielleh menõw, toine lendäw, ielleh menõw, kolmandes parves heittääh yksi d'owčen, hõwhenet lykkeäw kivel, a iče muwttuw mučoiakse. D'o kaksi päiveä imetti lastu, i tänäpäi rubiew imettämäh. Kuni hai lapsen käl maguaw, sinä peitoiči polta hänen hõwhenet. Siit mučoiaks muwttuw viiksipuwksee, net pidäw polven vuoh katkata. Ku katkuat, siit muwttuw kirvezvarreks, i se pidäw katkata. D'älgimäi muwttuw piiravärttinäks, i se pidäw katkata. Siit mučoiaks roih kuolii. Sinä mene kallivon toakse, sie on kuoliedu i eläveä vetty. Iel kasta kuolieh vedeh, siit eläväh, ääki roih mučoi.

Leskiakku nevoi i Ivan Sar'owvič lähti. Meni paimoin d'alles. Lendi d'owčendu parvi, toine lendi, a kolmandes heittyi yksi d'owčen kivel, hõwhenet lykkäi i otti lapsen ykääh. Siit andoi lapsel n'ännin suwih i vieri musta. Ivan Sar'owvič meni peitoiči i pani hõwhenih tulen. Kui terväh hõwhenet paletti, muga terväh viiksipuwksee mučoi muwtul. Häi pani polven vägeh i katkai net viiksenpuwt. Häi muwti kirvezvarreks. Häi otti i kirvezvarren katkai. Muwtui piiravärttinäks, i sen katkai. Mučoi rodih kuolii. Häi tembai mučoin kallivon toakse i kastoi ezmäi kuolieh vedeh, siit kastoi eläväh — i rodih mučoi hengih. Hyõ kodih lähtietäh, a lapsi paimoin käl endizelleh. Kodih wiedyw Ivan Sar'owvič d'ättäw mučoin toizeh taloih, ei vie kodih, a iče menõw leskehakkah soviettua kyzymäh.

— Kuibo, — sanow, — nygõi endizen hävitän?

— Mene, — sanow, — lämmitä kily, keittä kattil tervoa, toine voaroa i peäl oijenda kois kilyh sah ruskei vate. Hyõ kattilah kirvotah i korvetah, a lastu älä anna kilyh.

Häi meni kodih i muga laitah. Käskieh heidy kilyh, ga hai lastu ei anna. Lähtietti vatettu myõ astumah, ga mučoi tahtoi vie vattien livata eäre, a maamah sanow:

— Olgah vai siit, astu ielleh, maamanhäi lunnastettu on, pädöw saarin poijan mučoinnu olla!

Astutti, astutti, ga yksi yhteh kattilah, toine toizeh, i sih heile loppu rodih. A Ivan Sar'owvič otti mučoin kodih, i vie nygõi nečis eletäh.

19. ДВА БРАТА

Вот были когда-то два брата. Они поженились. Одному попала жена православной веры, а другому попала дочь бабы Сювйинтери. Вот добро-хорошо, они жили вместе, и жены родили обе по дочке. Девочки выросли уже большие (*в сказке дети быстро*

растут). Дочь бабы Сювайинтери ненавидит невестку. Мать, которая православной веры, говорит своей дочери:

— Теперь, — говорит, — меня превратят в овцу и отрежут мне голову, а ты, когда будут резать, попросись во двор, возьми носовой платок и возьми в него три капли крови.

Живут-поживают, и превращает [невестка] ее в овцу.

— Теперь, — говорит своему мужу, — овца не ест и не пьет. Иди, зарежь ее, не то подохнет.

Муж наточил нож и идет овцу резать.

— Дяденька, — говорят девушка, — возьми меня с собой, я посмотрю, как овцу будешь резать.

— Не возьму, зачем тебе туда идти.

— Возьми, дяденька! — просится.

Ну, дядя и взял. Когда пришли во двор и дядя начал овцу резать, девочка бросилась дяде на шею:

— Ой, дяденька, не режь эту овцу, я сама буду кормить и поить эту овцу!

Ну вот, добро-хорошо, дяде стало жалко девочку и не зарезал овцу. Пришли в избу, жена и говорит ему:

— Почему же не зарезал?

— Да девочка очень плакала, жалко мне стало ее.

На второй день утром опять пристает к мужу, говорит:

— Околет овца, не ест и не пьет ничего.

Идет муж овцу резать, а девочка опять и просится:

— Возьми, дяденька, меня!

— Ну зачем ты туда пойдешь? — говорит дядя.

Девочка просилась, просилась, и дядя взял. Так же, как вчера, девочка дяде на шею бросается, плачет:

— Не режь, дяденька, эту овцу, я сама буду кормить и поить!

Девочка плакала, плакала, и дядя не зарезал [овцу]. Пришли в избу, опять жена его ругает, говорит:

— Уже второе утро ходите вдвоем, не можете овцу зарезать — пускай подохнет!

Что ж, ругала так ругала. Этот день прошел. На третий день утром говорит мужу:

— Если и сегодня не зарежешь овцу, то я тебе самому голову отрежу! — так раскричалась на мужа.

На третье утро идет дядя резать овцу, а девочка опять просится.

— Уже ходили вдвоем два утра, — говорит дочь бабы Сювайинтери.

Девочка все-таки идет следом за дядей во двор; не плачет больше и не умоляет — знает, что больше ничего не поможет, коли грозилась дяде самому голову отрезать. Мужик овцу зарезал, девочка подсунула туда платок и достала несколько капель крови.

Живут-поживают, девочку ту [тетя] все заставляет пасти коров, а свою дочь жалеет.

Устроили у царя бал, Иван Царевич хочет жениться. Баба Сувяй-нтери отправляется туда на бал с дочерью, а ее [племянницу] посылает пасти. Ну вот, добро-хорошо, она перед уходом разломала печь и перемешала три сорта зерна [и приказала], чтобы к приходу печь была исправлена, зерна перебраны и коровы вечером пригнаны домой. Девочка плачет, плачет: «Ну, как же я все это сделаю?». Капли крови заговорили:

— О чем, моя доченька, плачешь?

Она ответила:

— Вот какие задания оставила, никак мне этого не сделать — оттого и плачу.

— Не плачь, — говорит, — а иди на широкое поле, на зеленый луг, принеси ветку, выросшую за одну ночь, ударь крест-накрест, скажи: «По слову матери-отца, чтобы печь была сложена и зерно перебрано!».

Она так и делает: идет и приносит ветку, выросшую за одну ночь, ударяет крест-накрест:

— По слову отца-матери, чтобы зерно было перебрано и печь сложена!

Вот добро-хорошо, у нее так отрадно стало на душе.

— Теперь надо пойти к коровам, — говорит девушка сама с собой.

Капли крови говорят ей:

— Не ходи никуда, к коровам пойдешь вечером, никуда коровы не уйдут, вечером пригонишь. Иди, — говорят, — на широкое поле, на зеленый луг, возьми веточку, выросшую за две ночи, ударь крест-накрест, скажи: «По слову отца-матери — пусть будет у меня здесь конь и одежда». Потом оденься и иди на бал к царю.

Она так и делает. Идет на широкое поле, на зеленый луг, берет веточку, выросшую за две ночи, ударяет крест-накрест, говорит:

— По слову отца-матери — пусть будет у меня здесь конь и одежда!

Появился конь, под кожаным седлом, и появилась одежда. Оделась и стала такая красивая девушка, что даже сказать нельзя. Вскочила на коня и примчалась к царскому двору. Коня привязала к воротам, сама зашла в избу. Пришла в избу, раз — ступила на порог, второй [раз] — на стол [так!], и села за стол на верхнем конце. На нее все смотрят, удивляются, а царев сын думает: «Кто эта такая красивая девушка? Надо бы мне с ней поговорить».

А ее тетя сидит там за столом с дочерью. Она выбрала большую и твердую кость и как бросит в них, так у тетиной дочери глаз выпал. Угощение подходит к концу, она выскакивает из-за стола, раз ступает на стол, второй — на порог и уходит. Царев сын хотел поймать ее, но никак не смог. Она приехала на широкое поле, на зеленый луг — и дальше за коровами, и с коровами домой.

После бала Иван Царевич пошел к старой вдове и говорит ей, что приезжала на бал такая-то девушка, но он не мог ее поймать. Вдова говорит ему:

— Надо второй раз бал устроить.

Девушка вечером пригоняет коров домой, а баба Сювьяйнтери с дочерью приходят домой, еле ковыляют. Пришли в избу, девушка и спрашивает:

— Почему же, тетенька, сестрица еле пришла?

— Хох, кто двигается, с тем случается, а кто на печи лежит, с тем ничего не бывает.

— Что же случилось? — спрашивает девушка.

— Случилось — с царевым сыном прыгали, упали, и глаз выпал.

Эти сутки прошли. У царя устраивают второй бал и опять зовут на бал. Баба Сювьяйнтери снова печь разломала, трех сортов зерно перемешала:

— Зерно чтобы было перебрано, печь сложена и коровы чтобы были вечером дома!

Они уходят, а девочка давай плакать, давай плакать. «Ну, как же я все это сделаю?». Добро-хорошо, опять из кармана [где был платок с каплями крови] заговорило:

— О чем, моя доченька, плачешь?

— О том плачу, что дала такое задание, — ну, как же я это сделаю?

— Не плачь, моя доченька, а иди на широкое поле, на зеленый луг, возьми веточку, выросшую за три ночи, приди, ударь крест-накрест и скажи: «По слову отца-матери, чтобы печь была сложена и зерно перебрано!».

Она так и делает. Идет, берет веточку, возвращается домой и ударяет [крест-накрест]:

— По слову отца-матери, чтобы печь была сложена и зерно перебрано!

Все так и стало. Снова она радуется, думает: «Надо теперь пойти к коровам». Опять капли крови в платке говорят:

— Не надо идти к коровам, иди на широкое поле, на зеленый луг, отрежь веточку, выросшую за четыре ночи, ударь крест-накрест, скажи: «По слову отца-матери, пусть будет здесь конь и одежда для меня!».

Она пошла на широкое поле, на зеленый луг и так и сделала. Появился тут конь и одежда. Она оделась, на коня вскочила и прискакала к цареву дворцу. Коня привязала к воротам, сама — в избу. Приходит в избу — раз ступает ногой на порог, второй — на середину стола и села на верхний конец в переднем углу. Едят, пьют. Заметила она бабу Сювьяйнтери с дочерью в углу у двери, взяла и опять бросила кость. Кость угодила по руке, и рука сломалась. Когда угощение кончилось, она раньше других вскочила

из-за стола, раз ступила на стол, второй — на порог, вышла во двор, вскочила на коня и ускакала.

Пытался Иван Царевич догнать, но не мог. Она приехала на широкое поле, коня отпустила, одежду сняла, надела на себя свою одежду, коров погнала домой.

Иван Царевич опять пошел к старой вдове, говорит:

— Вот есть такая-то и такая-то девушка, но никак не могу поймать. Дай мне теперь совет, как ее поймать.

Вдова дает ему совет:

— Теперь, — говорит, — устрой еще третий раз бал, и, пока народ еще за столом, ты засмоли порог, дверную ручку и притолоку.

На третий день опять устраивает бал и собирает туда народ. Баба Сювьяинтери опять ломает печь, перемешивает зерно трех сортов и велит ей все это сделать. Она опять плачет, плачет. Опять капли крови спрашивают:

— О чем, моя доченька, плачешь?

— О том плачу, что дала мне такое задание — ну, как же мне все это сделать?

— Не плачь, моя дочь, а примеси с широкого поля, с зеленого луга веточку, выросшую за пять ночей, ударь крест-накрест и скажи: «По слову отца-матери, чтобы печь была сложена и зерно перебрано».

Ну вот, добро-хорошо, она опять идет на широкое поле, на зеленый луг, отрезает веточку, выросшую за пять ночей, возвращается домой, ударяет крест-накрест, говорит:

— По слову отца-матери, чтобы печь была сложена и зерно перебрано!

Все получилось хорошо. Она обрадованная подошла к окну и говорит про себя: «Теперь надо пойти к коровам». Капли крови опять ей говорят:

— Не ходи к коровам; коровы никуда не уйдут, а иди к царю на бал. Иди на широкое поле, на зеленый луг, возьми веточку, выросшую за шесть ночей, ударь крест-накрест, скажи: «По слову отца-матери, пусть будет здесь конь лучше прежнего и одежда лучше прежней!».

Она пришла на широкое поле, на зеленый луг, отрезала веточку, выросшую за шесть ночей, ударила крест-накрест и говорит:

— По слову отца-матери, пусть будет здесь конь и одежда лучше прежней!

Подошел к ней конь под седлом, на седле подушечка, и одежда появилась лучше прежней. Она оделась, села на коня и прискакала к цареву дворцу. К столбу у ворот привязала коня, сама пошла в избу. Пришла, раз ступила на порог, второй — на середину стола и села за стол в переднем углу. Народ смотрит на нее и диву дается — такая красивая девушка. Во время угощения она

заметила бабу Сювяйнери с дочерью, схватила большую кость, бросила в них. Кость угодила дочери Сювяйнери в ногу — и нога сломалась. А Иван Царевич тем временем засмолил дверную ручку, порог и притолоку. Вот добро-хорошо, выскочила девушка раньше других людей, ступила ногой на порог — тут башмачок пристал, взялась рукой за ручку двери — тут перчатка осталась, и притолоке чепчик пристал, а сама на коня — и ехавать! Прискакала в широкое поле, на зеленый луг, коня и одежду тут оставила, коров взяла, погнала домой. Пришла домой и села у окошка, смотрит — идет баба Сювяйнери с дочерью, еле плетутся. Пришли в избу, она и спрашивает:

— Почему, тетенька, сестра так плохо идет?

— Кто двигается, с тем случается, — отвечает баба Сювяйнери, — а кто на печи лежит, с тем ничего не бывает. С царевым сыном прыгали — нога сломалась.

Добро-хорошо, у царя опять бал устраивают.

— Кому этот башмак будет по ноге, перчатка по руке, чепчик по голове — та будет моей женой. [Царев сын говорит].

Узнала про это баба Сювяйнери и стала у дочери строгать голову, ногу и руку, чтобы эти вещи пришлись впору. Пошла баба Сювяйнери туда на бал с дочерью. Примеряли тот башмак, перчатку и чепчик, но никому не годятся, а дочери бабы Сювяйнери все пришлось впору, и ее Иван Царевич должен был взять в жены.

Жили-были, поехал как-то Иван Царевич с женой на лодке кататься. А там на мысу девушка та пасла коров. Она заметила и поет:

— Обтесанную ногу везет, обструганный палец на лодке катает, дубинную голову ведет!

Иван Царевич говорит:

— Надо сходить туда, что она там такое поет.

А жена не отпускает, говорит:

— Пастухи там коров зазывают, время коротают.

Гребут дальше. А пастушка та бежит кругом по берегу залива на другой мыс и, как только они подъехали, опять поет:

— Обтесанную ногу везет, обструганный палец на лодке катает, дубинную голову ведет!

Опять Иван Царевич пошел бы туда, но жена не отпускает, говорит:

— Что пастухов слушать — они коров зазывают, время коротают.

И едут дальше. Теперь девушка перебегаёт на третий мыс. Только они подъезжают, девушка и поет:

— Царев сын обтесанную ногу везет, обструганный палец на лодке катает, дубинную голову ведет!

Иван Царевич слышит песню и говорит:

— Теперь хоть пусти, хоть нет, а я на берег схожу.

Жена как ни уговаривала, все равно пошел. Вышел на берег, спрашивает:

— Почему ты так поешь?

— А пою, — говорит девушка, — не зря ведь пою, попробуй-ка у жены башмак с ноги снять.

Схватил Иван Царевич у жены башмак с ноги — а башмак полон крови. Девушка говорит:

— Смой кровь с башмака и померяй на мою ногу.

Иван Царевич вымыл башмак, надел на ногу девушке — как будто отсюда и снят, как раз. Сдернул перчатку с руки, надел на руку девушке — как раз, и чепчик как раз. Иван Царевич и думает: «Эту девушку мне надо было в жены взять!». Потом велел девушке угнать коров домой и вернуться обратно на то же место. Девушка коров угнала и вернулась. Иван Царевич взял да свою жену толкнул в воду и утопил, а ту девушку взял в жены.

Вот добро-хорошо, у бабы Сювьяинтери пастушка пропала, и она думает, что либо ее лешие взяли, либо утонула. Сперва она ходила часто к своей дочери, а потом (раз дочка в хорошее место попала) стала ходить реже, и вот уже давно там не была.

Жила-была у Ивана Царевича жена, уже ребенка родила. Пошла баба Сювьяинтери навещать, и случилось ей проходить мимо того места, где Иван Царевич ее дочь в воду бросил. Там вырос очень красивый цветок, что даже глаз отвести нельзя. «Пусть хоть внук поиграет», — думает она и хотела выдернуть цветок. Оттуда раздался голос:

— Не выдергивай, мать, выдернешь у меня пуп и сердце с корнями!

— Кто ты?

— Я твоя дочь, меня Иван Царевич бросил сюда в воду.

Она взяла и вытащила дочь. Потом пошли в город, но не прямо к Ивану Царевичу, а оставила [дочь] в другом месте, говорит:

— Пока я не приду за тобой, никуда не уходи.

Она пошла туда в дом царя, как будто к своей дочери, как и прежде. Пришла туда и велела натопить баню. Потом пошла в баню с царицей женой и ребенком. По пути в баню видят — летит стая лебедей, вторая и третья. Она [баба Сювьяинтери] обернула ее лебедушкой и отправила в третью стаю. Потом идет, приводит в баню свою дочь, моет и ведет ее с ребенком домой.

Живут-поживают. У царя есть пастух. Однажды он пошел в лес и сел на камень. Посмотрел наверх: летит стая лебедей, вторая летит и третья стая лебедей. Из третьей стаи одна лебедь опустилась и села рядом на камень, сняла перья и превратилась в женщину. У пастуха спрашивает:

— Как мой ребенок живет? Вот меня так и так баба Сювьяинтери превратила в лебедь и отправила в третью стаю летать. Плачет ли еще мой ребенок?

Пастух говорит:

— Дни и ночи плачет, никак не могут успокоить.

Женщина дает совет пастуху:

— Принеси, — говорит, — завтра ребенка на это место, я приду и дам ему грудь.

— А если мне его не дадут?

— Ты правду не говори, — говорит женщина. — Скажи, что «коли у вас дома ребенок никак не успокоится, то дайте его мне в лес: я буду колокольчиками позвякивать, бубенчиками позванивать — может, ребенок будет спокоен этот день».

До самого вечера женщина была с пастухом. Вечером прилетела стая лебедей — дальше улетела, прилетела вторая стая — дальше улетела, третья как прилетела, женщина надела перья и улетела. На второй день утром пастух говорит:

— Дайте ребенка со мной в лес, может он там успокоится.

— Что, — говорят, — дома никак не можем успокоить, а в лесу и тем более.

Пастух говорит:

— Дайте, я буду колокольчиками позвякивать, бубенчиками позванивать — может, и успокоится.

И дали ребенка. Приносит ребенка на то же самое место. Летит стая лебедей — пролетает мимо, вторая летит — пролетает мимо, из третьей стаи одна лебедушка садится, оставляет перья на камне и превращается в женщину. Пастух дает ей ребенка. Мать дает ребенку грудь, и оба спят весь день, до возвращения лебединых стай. Вечером летит стая лебедей, вторая пролетает, а третья как прилетела, женщина перья на себя надела, говорит:

— Принеси ребенка завтра сюда, — и взлетела. — Если не будут давать, — говорит, — ты скажи: «Я буду колокольчиками позвякивать, бубенчиками позванивать — может, ребенок успокоится».

Пастух приносит ребенка домой, и ребенок всю ночь не плачет вовсе. На второй день пастух опять начинает собираться в лес, снова просит дать ребенка. Не хотят отдать ребенка, пастух говорит:

— Дайте еще, я буду колокольчиками позвякивать, бубенчиками позванивать.

И дали ребенка. Пастух загоняет коров на прежнее место и начинает ждть. Опять прилетает стая лебедей — улетае дальше, прилетает вторая — улетае дальше, из третьей стаи одна лебедушка садится на камень, снимает перья — и вот уже она женщина. Второй день ребенок спит у материнской груди, и женщина тоже спит. Вечером опять стая лебедей летит — мимо пролетает, вторая летит — мимо пролетает, а когда третья прилетает, женщина надевает на себя перья, превращается в лебедушку, говорит:

— Принеси и завтра ребенка, — улетае.

Уносит пастух ребенка домой, а ребенок проспал ночь — даже голоса не подал. На третий день с охотой отдают ребенка. Пастух берет его и идет в лес. Иван Царевич идет к старухе вдове и говорит:

— Вот какие у нас теперь дела: раньше ребенок дни и ночи плакал, а теперь, когда пастух стал его в лес брать, вовсе не плачет.

— Ох-ох, — говорит вдова, — как же ребенок не будет спокоен, когда он два дня материнскую грудь сосал. (Вдова все знает.) Теперь, — говорит, — иди в лес, вслед за пастухом. Где пастух остановится, там и ты спрячься. Потом прилетит стая лебедей — дальше улетит, другая прилетит — дальше улетит, а из третьей стая одна лебедушка сядет, перья бросит на камень, а сама превратится в женщину. Она уже два дня кормила ребенка и сегодня будет кормить. Пока она с ребенком спит, ты тайком сожги ее перья. Тогда твоя жена обернется мотовилом, его надо сломать о колено. Когда ломаешь, тут обернется она топориком, и его надо сломать. Под конец обернется скалкой, и ее надо сломать. Потом твоя жена будет мертвая. Ты иди за скалу, там есть мертвая и живая вода. Сперва окуни ее в мертвую воду, потом в живую — только тогда у тебя будет жена.

Вдова дала совет, и Иван Царевич пошел. Шел вслед за пастухом. Пролетела стая лебедей, пролетела вторая, а из третьей одна лебедушка опустилась на камень, перья сняла и взяла ребенка на руки. Потом дала ребенку грудь и легла. Иван Царевич украдкой подошел и поджег перья. Как только перья сгорели, жена тут же обернулась мотовилом. Он о колено переломил это мотовило. Она обернулась топориком. Он взял да сломал топорик. Обернулась скалкой — и ту сломал. Жена стала мертвой. Он схватил ее, унес за скалу и сперва окунул в мертвую воду, потом окунул в живую, и жена ожила. Они уходят домой, а ребенок по-прежнему остается с пастухом. Когда пришли домой, Иван Царевич оставляет жену в другом доме, не ведет домой, а сам идет к старухе вдове за советом:

— Как теперь, — говорит, — от прежней избавлюсь?

— Иди, — говорит, — вели налить баню, поставь котел с кипящей смолой, второй с варом, а сверху расстели от дома до бани красное сукно, а ребенка не давай в баню.

Он пошел домой, и так все и сделали. Велел им [бабе Сювьянтери с дочерью] идти в баню, а ребенка не дал. Пошли они по сукну, жена хотела сукно откинуть, а мать ее говорит:

— Ничего, пускай, иди вперед, раз мать тебя выручила. Хорошо быть женой царя сына!

Шли, шли — и вот одна бухнулась в один котел, другая — в другой, и так пришел им конец. А Иван Царевич привел жену домой, и еще поныне живут они хорошо.

Sie elettih ennen ukko da akku. Akalleh oli kuldpeigalo dai tyttärelele oli kuldpeigalo. Elettih ollah sie, maamah huonostuu. Dai sie mužikku sanoo:

— Vot, — sanoo, — sinä, akku, nygöi kuolet, — sanoo, — a vot kuz minä saan, — sanoo, — kuldazen peigalon akan? — sanoo.

— No saat kus-tah, — sanoo.

— No vai, — akku, saane en, — sanoo, — sit tyttäres nain!

— No heitä, urai, — sanoo, — a ken tyttäres naibo, — sanoo, — eihäi ni ken, — sanoo, — tyttärez naija.

No dai sie akkah kuoloo, maah pannah dai mužikku lähtöö eččimäh. Menöö linnal, sie kävelöö, kävelöö, kävelöö sie maallmaz, ni kuz ei näi kuldastu peigaloo. Tuloo kodih, tyttärelele sanoo:

— Ni kuz sule, — sanoo, — kuldastu peigaloo, — sanoo, — minä nain sinus.

Tyttärele se itköö, itköö:

— Heitä, tata, — sanoo, — ken nygöi omis tyttäris naibo da kai, — sanoo. — Mikse nygöi sinä, — sanoo, — nečidä minuz nait, — sanoo, — kaihäi rištittyöt nagramah ruvetah.

Ei ni midä! Dai sit taattah vägeh ottaa kai tytärdy.

— No olgah, — tytär sanoo, — työnnä, — sanoo, — minuu, — sanoo, — kalmoil peel maman luo, — sanoo, — käymäh, ennen, — sanoo, — miehel menendee.

Dai menöö sie itköö, itköö, itköö kalmoil peel sie, itköö dai uinuobi sie. Uinuo dai unis sie maamaadah nägöö. Dai maamah sanoo:

— Tiijän, — sanoo, — tytär-rukku, midä sinä gor uičet da itket, — sanoo. — Olgah, ničevo, — sanoo, — mene, taattaadas kāske linnah i kāske, — sanoo, — hänel ostoo, — sanoo, — kolme pooroo: ostakkah tai-vahan karvallizen, — sanoo, — plaat'an peel, kuudaman karvallizen, — sanoo, — kosinkazen i teehtien karvazet, — sanoo, — tuflit jalgah. Sid, — sanoo, — sano, minä menen sinul miehel.

No. Dai menöö, tuloo kodih:

— Vot, — sanoo, — tata, minä tulen, — sanoo, — sinul miehel, voinnet, — sanoo, — sinä vie minul vjpolnie nengoman zadaanien, — sanoo: tai-vahan karvallizen, — sanoo, — plaat'an voinned ostoo, kuudaman karvallizen kosinkan i teehtien karvazet, — sanoo, — tuflit jalgah.

No hyvä. Dai toottah lähtöö linnal, dai ne kai soobo. Tuloo:

— No, nygöi, — sanoo, — ni miz et peeze, — sanoo, — nygöi, — sanoo, — tuloo sinul, — sanoo, — minul miehel tulla.

Dai opat' se tyttärelele itköö, itköö.

— Olgah, tata, — sanoo, — työnnä vie maman luo, — sanoo, — kerdu käymäh.

Dai menöö, sie opat' itköö, itköö kalmoil peel sie maamah loo. Maamah sanoo:

— Tiijän, — sanoo, — nygöi sinul jongoi ne toi, — sanoo, — miehel pidee mennä. Nygöi, — sanoo, — tytär-rukku, varusta kai nene sinä uzlah.

Sit, — sanoo, — varusta keräne, zirkalo, da harju, ota keral. I sinul tuloo paita, i ne, — sanoo, — kai, kolme paloo, kudaman, — sanoo, — pooran osti, — sanoo, — dai ne keral varusta. No hyvä. A iče, — sanoo, — pagie. Sid, — sanoo, — iče tytär-rukku, proštai, enämbie, — sanoo, — etgo maaaa, — sanoo, — uniz nai, etgo kalmoil tule.

Dai häi tuloo kodih sie, kalmoil päi sie, tuloo kodih, taatalleh sie sanoo:

— No nygöi, — sanoo, — ennen miehel menendee, — sanoo, — kylyn lämmitän da sid, — sanoo, — lähtemmö kylyh käymmö da sid, — sanoo, — minä menen sinul miehel.

No hyvä. Dai sie lämmittee kylyn, a häi ne kai jongoi vešid uzlah varustoo sie. Dai lähtietäh, taattah sie kylyh lähti:

— Mene, sinä ennempäi zavodi, — sanoo, — sid minä, — sanoo, — tulen jälles.

Dai taattah lähtöö kylyh. Lähtöö sie kylyh. Vuottaa, vuottaa tytärdy, ga ei tytär tule. Tuloo kodih, ga — ei tytärdy:

— O, čort, — sanoo, — nygöi sinä pageit! — sanoo.

Häi tytärdy peräh ajamah. Menöö, juoksoo peräs sie. (Dai tyttäreh kaččoo sie. A hän sie hevol menööbö.) Tyttäreh kaččoo: taattah on lähil jo. Dai häi sie ottoo, lykkee keräzen. Rodie jogi, min verdoo langoo keräzel, sen levevyz jogi rodie. Dai häi, taattah, sie kuni hevol sie poikki joves peezöö, ga tytär se palan pagoh menöö. Kaččoo, ga jo on taattah lähil. Häi lykkee harjan. (*Kačo, mittumane on se turbei harju, moine rodieh turbei kases.*) Siel opat', kuni hevon kel peezöö, se kirvehen kel da kai sie čihkoo. Opat' sie häi palan loitos peezöö. Viimizekse häi lykkee sie, ku taattah nägöö lähil, ga häi viimizekse lykkee bö zirkalon. Sid se rodih zirkalohine mägi: sit kačo, potkovat hevol ei tartuta, häi enämbi ei peessyh.

A taattah sie andoi hänel tiijon peräh. (*Sid ielleh sie rubie nägymäh. Häi tiedovoičči, työndi sen tiijolleh, tyttären.*)

Dai häi sie tytär tuloo kyläh. Sie on riihen peräs nene rikkukevot. Häi sinne peittyy rikkukegoloih. A keyhän akan poigu sie vedee rikkoo. Häi tuloo kodih dai sanoo:

— Vod mama, — sanoo, — en tiijä ken, — sanoo, — kevos, — sanoo, — hengittee.

— Nu, poigu, — sanoo, — olgah, mene sinä, — sanoo, — hänel blahostovi, — sanoo, — olloo maamakse pädii — maamakse blahostovi, olloo, — sanoo, — taatakse pädii — taatakse blahostovi, olloo sizarekse — sizarekse, olloo, — sanoo, — mučoiakse — dai mučoiakse blahostovi.

Dai häi tuloo sie dai virren lugoo:

— Rištikanzu, — sanoo, — kembo olet sie, — sanoo. Minä, — sanoo, — sinun blahostovin, — sanoo: ollet, — sanoo, — tatakse — tatakse blahostovin, ollet, — sanoo, — mamakse — mamakse blahostovin, ollet sizarekse — sizarekse blahostovin, ollet, — sanoo, — mučoiakse — mučoiakse blahostovin.

Dai häi sie tuloobo, rikkukevoz, on se häi hyväne, čomane. A peigalo on hänel ainoz rivus krieptitty sie, häi peigaloo ei avoi pie, sidä kuld-peigaloo. Dai häi sanoo:

— Terveh!

No dai häi vastoo, tyttö se:

— Terveh!

Dai hänel sen matkittoo sie, sanoo: «Terveh!» (*Sen kačo hänel andoi matkituksen taattah, tiedovoičči hänen.*)

No hänel se on tytöl paha paista, huigei. Hän tiijusti sen što nygöi tämä taatta minun loodi moizekse. Dai tuloo sie pertih, poigu se viettee sen pertih, tuloo sie dai sanoo:

— Terveh, t'outoil! — «Terveh, t'outoil!» — dai sie matkittoo se sanantyrä peräh hänel. (*Moine on se sana.*) No olgah.

Eletäh, ollah, sie rodie caarin baalut. Dai häi sanoo, se akku, sanoo:

— An'a, — sanoo, — läkkä, — sanoo, — caarin baaluh.

— En jo lähte, t'outoi. — «En jo läh, t'outoil». No.

Dai hyö lähtietäh poijan kel caarin baaluh. Mennäh, ga häi sie taas päčil jeebi, nuori da kai, ga häi ottoo dai šuurildoo. Panoo sen taivahan karvallizen ploom'an peel, sid kuudaman karvallizen kosinkan peeh, tehtien karvazet tuflit. Sid rodie häi hyväne, hyväne, čomane!

Dai ku menöö caarin baaluh sie häi. (*A sie ennen, kačo, eihäi elektriitšesvat palettu, hod' on hyvä baalu, ga eihäi ole moine tuli valgei.*) Häi ku menööhäi sie, kuldpeigalon ku vieldee nenga sie, zaalah, ga rodieego valgei, ga täilöigi tapa seinill Moine rodie valgei sie!

Dai caarin brihat sie silmät hooristetah dai kai sie rahvas: ket nengomazet? Kudamas carstavas? Kudamas gosudarstvas nengomat on nygöi? Dai häi eeres. Sie vähäzen tanssi dai eere lähtöö. Dai tuloo uuvessah, jaksavuldaa dai päčil nouzoo.

Tullah hyö kodih, sit poigu da emändy se ga:

— Vai, An'a, — sanoo, — lähtenyh et, oligo tämpäi krasavica dai, oi-voi-voi, — sanoo, — ken nengomane oli?

— Olgah jo minun täh, t'outoi. «Olgah jo minun täh, t'outoil!» (Häi sie matkittoo hänel.)

Dai toizen illan caari keree baalut, dai toizen illan An'a sinne kävyv baaluh taaste. Sie jongoi vuotetah. A kolmandennu illan menöw. Kolmandennu illan händy vardoittih. Dai nähtih — häi menöö keyhän akan sen pertih. Dai se tuloo, keyhy akku, pertih:

— Näi, — sanoo, — An'a, sinä oled olluh da vie peitit, meil pravdaa et sanonnuh da! — Häi sanoo sie.

— Vot, t'outoi, — sanoo, — sinä minul hyvyön gu loodizit, sid, — sanoo, — minä sinul vastah vie loodizin hyvyön. — «T'outoi sinä minul hyvee gu loodizit, sid minä sinul vastah vie loodizin hyvyön!» — Kai sie matkittoo se peräh hänel.

No. Dai sie huondeksel t'outah keittaa sie suuren kattilan tervoo. Dai sanoo:

— An'a, nouzes, — sanoo, — tänne!

Dai häi menöö sie tervukattilalloo.

— Sano, — sanoo, — kolme kerdoo: «Minä menen kattilah!».

Dai häi sie kolme kerdoo sanoo, An'a:

— Minä menen kattilah. — «Minä menen kattilah». Minä menen kattilah. — «Minä menen kattilah». Minä menen kattilah. — «Minä menen kattilah!»

— Sano nygöi, — sanoo, — kolme kerdoo: «Minä paloin kattilah!».

Dai häi sie sanoo:

— Minä paloin kattilah. — «Minä paloin kattilah!». Minä paloin kattilah. — «Minä paloin kattilah». Minä paloin kattilah.

Kolmattu kerdoo eibo ni sanomnuh: häi paloi kattilah. Sid sie muga peezi häi.

Dai caari sie ajaabo sulahazikse kolmen poijan kel. Mengäh kolmel poijal, libo ičelleh caaril mengäh, vaj tulgah heil nengomane sie. Dai häi sie tuloo sulahazikse, a keyhy poiğu se, briha ei ni mikaenäh ole. No, pikkarazes kodizes eletäh da kai: «Ga ei häi tai minul nenga hyvä tule». Häi sie pačazlavval i istuu. Dai gu An'a se šuoriehäi, ga rodiebo se pertil valgei! Pertine valgei, valgei — kai, joga kohtane sie loikkotool! Dai häi ottoo da pačazlavval menöö, istuvuu sen keyhän akan poijan rinnal. No sanoo:

— Kuz minä elin, — sanoo, — sih minä jeen!

Sih se An'a jäi. Sid eletäh, da sid živitäh da viel tämpäi. Da sit vie minä olin heižän avood'bas, piiivo join da parral valuttih.

20. [ЗАТОПАЛАЯ]

Жили там когда-то муж да жена. У жены был золотой большой палец и у дочери тоже золотой большой палец. Живут-поживают, а мать занемогла. Мужик и говорит:

— Вот, — говорит, — ты, жена, теперь умрешь, — говорит, — а вот где я, — говорит, — найду жену, — говорит, — с золотым большим пальцем?

— Ну, найдешь где-либо.

— Ладно, — говорит, — жена, если не найду, — говорит, — тогда на дочери женюсь.

— Ну, не сходи с ума, — говорит, — кто на дочери женится, — говорит, — никто ведь, — говорит, — на дочери не женится.

Ну и жена умирает, похоронили, и мужик идет искать. Идет в город, там ходит, ходит, ходит по свету, нигде не встречается с золотым пальцем. Приходит домой, дочери говорит:

— Нигде нет, — говорит, — с золотым пальцем, — говорит, — я женюсь на тебе.

Дочь плачет, плачет:

— Брось ты, отец, — говорит, — кто же на своей дочери женится? — говорит. — Зачем теперь ты, — говорит, — на мне женишься, — говорит, — ведь все крещеные будут смеяться.

Отец ни в какую! Прямо силой хочет взять дочь.

— Ну ладно, — дочь говорит, — отпусти, — говорит, — меня на мамину могилу сходить, прежде чем, — говорит, — замуж выйду.

И идет, там плачет, плачет, плачет, на могиле, плачет и засыпает тут. Засыпает и во сне видит свою мать. Мать и говорит:

— Знаю, — говорит, — доченька, отчего ты горюешь да плачешь, — говорит. — Ладно, ничего, — говорит, — иди, отправь отца в город и вели, — говорит, — ему купить три вещи: пусть купит, — говорит, — платье небесного цвета, косынку под цвет месяца и туфли под цвет звезд. Только тогда, — говорит, — скажи: я выйду за тебя замуж.

Ну и идет, приходит домой.

Вот, — говорит, — отец, я выйду за тебя, — говорит, — замуж, если сможешь, — говорит, — ты мне выполнить такое задание: небесного цвета, — говорит, — платье если сможешь купить, под цвет месяца косынку и под цвет звезд, — говорит, — туфли на ноги.

Ну хорошо. И отец уходит в город, и все это достает. Приходит:

— Ну, теперь, — говорит, — никак не отвертишься, — говорит. Теперь, — говорит, — придется тебе за меня замуж пойти.

Опять дочь плачет, плачет.

— Ладно, — говорит, — отец, отпусти меня еще к матери, — говорит, — разок сходить.

И идет, там опять плачет, плачет на могиле у матери. Мать говорит:

— Знаю, — говорит, — теперь тебе уже принес все это, замуж надо выйти. Теперь, — говорит, — доченька, завяжи все это в узел, потом возьми, — говорит, — приготовь клубочек, зеркало и щетку с собой. Тебе, — говорит, — придется убежать, и эти три вещи, которые купил, — говорит, — и это с собой приготовь. А сама, — говорит, — убеги. Вот, доченька, прощай; больше, — говорит, — мать ни во сне не увидишь, ни на могилу не придешь.

И она приходит домой, оттуда, с могилы. Приходит домой, отцу и говорит:

— Ну, теперь, — говорит, — до замужества баню истопим и потом, — говорит, — пойдем в баню скодим, а потом, — говорит, — я выйду за тебя замуж.

Ну хорошо. И истопила баню, а она все эти вещи уже приготовила в узел. Отец идет в баню.

— Иди ты вперед, начини мыться, — говорит, — потом я, — говорит, — приду позже.

Отец и уходит в баню. Идет в баню. Ждет, ждет дочку, не идет дочь. Приходит домой, а дочери нету.

— О черт, — говорит, — теперь ты убежала! — говорит.

Он в погоню за дочерью. Идет, бежит там за ней. (А дочь видит. А он на коне едет.) Дочь видит — отец уже близко. Она и взяла бросила клубочек. Образовалась река, сколько ниток в клу-

бочке, такой ширины и река. И пока отец на коне переправился через реку, так дочь убежала далеко. Смотрит — опять отец близко. Выбросила щетку. Гляди, какая густая эта щетка, такой же густой вырос кустарник. Опять пока с лошадьёю пробирается, с топором да все там возится... Опять дочь и убегает. Напоследок она бросает, как видит отца близко, напоследок бросает зеркало. Стала зеркальная гора, вишь, подковы коня скользят, так он больше и не мог гнаться.

А отец послал ей вслед порчу (дальше потом это будет видно). Он заколдовал дочь.

И она, дочь, приходит в деревню. За гумном там были скирды с соломой. Она и спряталась в скирду. А сын бедной женщины вывозит солому. Он приходит домой и говорит:

— Вот, мама, — говорит, — не знаю, кто, — говорит, — в скирде дышит.

— Ну ладно, сын, — говорит, — иди ты, — говорит, — его благослови: если в матери годится, благослови матерью, если, — говорит, — в отце годится, отцом благослови, если в сестры, сестрой, если, — говорит, — в жены — и женой благослови.

Он и приходит туда и говорит:

— Крещеный, — говорит, — кто ты есть? Я, — говорит, — тебя благословлю: если ты в отце годишься, отцом благословлю, если, — говорит, — в матери — матерью благословлю, если в сестры — сестрой благословлю, если, — говорит, — в жены — женой благословлю.

И она оттуда выходит, из скирды, такая хорошая, красивая. А палец у нее всегда завязан тряпицей, она палец не открывает, этот золотой палец.

Он и говорит:

— Здравствуй!

Ну и девушка эта отвечает:

— Здравствуй!

А ее изнутри кто-то передразнивает: «Здравствуй!». (Эту дразнилку, вишь, ей дал отец, заколдовал ее.)

Ну, этой девушке трудно говорить, стыдно, она теперь узнала, что это отец ее сделал такой. И заходит в избу, парень приводит ее в избу, приходит и говорит:

— Здравствуй, тетушка! «Здравствуй, тетушка!» — и эта дразнилка повторяет за ней. Ну ладно.

Живут-поживают, царь собирает бал. И эта хозяйка говорит:

— Аня, — говорит, — пойдем, — говорит, — на царский бал.

— Не пойду уж, тетушка. «Не пойду уж, тетушка!».

И они уходят с сыном на царский бал, уходят так... Она там на печке остается. Ну, молодая да все, так она взяла и оделась. Надевает платье небесного цвета, потом косынку под цвет месяца, туфли под цвет звезд. Она стала такая хорошая, хорошая, красивая!

Как приходит на царский бал... (А там раньше ведь электричество не горело, хоть бал и хороший да все, но ведь свет не такой яркий.) Она как входит, как палец развязала, так в зале стало так светло, хоть вшей ищи, так стало светло!

Царские сыновья устали на нее и все там люди: кто такая, с какого царства, с какого государства такая?.. И она немножко потанцевала и ушла прочь. Приходит, снова переодевается и на печку садится.

Приходят они домой, сын и эта хозяйка, так:

— Ой, Аня, — говорит, — не пошла ты, такая сегодня была там красавица, так ай-яй-яй, — говорит, — и кто такая была?

— Да ладно, пусть уж, тетушка. «Ладно, пусть уж, тетушка», — все там передразнивает ее.

И на второй вечер царь собирает бал, и на второй вечер Аня опять идет туда, а там уже ждут. А на третий вечер как идет, на третий вечер ее уже караулили. И видят, что она идет в дом бедной женщины, в избу заходит. И заходит эта бедная женщина в избу.

— Вишь, Аня, — говорит, — это ты и была, да еще скрывала от нас правду, не сказала.

— Вот, тетушка, — говорит, — ты мне как добро бы сделала, так, — говорит, — я тебе в ответ тоже бы сделала добро. «Тетушка, ты мне как добро бы сделала, так я тебе в ответ тоже бы сделала добро». — Все это передразнивает ее вслед.

Ну, утром тетушка и кипит большой котел смолы. И говорит:

— Стань-ка, Аня, — говорит, — сюда!

И она становится у котла со смолой.

— Скажи, — говорит, — три раза: «Я прыгну в котел!».

И она, Аня, три раза говорит:

— Я прыгну в котел. «Я прыгну в котел». Я прыгну в котел. «Я прыгну в котел». Я прыгну в котел. «Я прыгну в котел».

— Скажи теперь, — говорит, — три раза: «Я сгорела в котле».

И она говорит:

— Я сгорела в котле. «Я сгорела в котле». Я сгорела в котле. «Я сгорела в котле». Я сгорела в котле.

Третий раз уже и не повторило, сгорело в котле. Так и освободилась она.

И идет царь свататься, с тремя сыновьями. Пусть выйдет за одного из трех сыновей либо за самого царя выйдет, только бы к ним в дом пришла. И вот едут они свататься, а бедняцкий сын, тот парень, как ни в чем не бывало. В маленьком домике живут да все такое, думает: «Не пойдет ведь за меня она, такая раз хорошая». Он сидит на голбце. Аня как оделась, так изба стала светлая-светлая, такая изба светлая, светлая так! Все там блестит. Она и идет на голбец, садится рядом с сыном бедной женщины. Ну и говорит:

— Где я жила, — говорит, — там я и останусь!
Тут эта Аня и осталась. И живут они теперь, и я там была на ихней свадьбе, пиво пила, да по бороде текло.

21. TUHKIMUS-NEIDINE

On ukko da akku. Heil on kolme tytärdy. Kahtei vahnembat ollah hyvät, a kolmas on Tuhkimus. Vai ku kanoi paimendaw da päčil istuw, muudu ni midä ei rua. Kaksi hyviä neijisty ruvetah pruažniekkah läh-temäh, ga Tuhkimus piän nostaldaw kolpakas piäliči i kyzyw:

— Oi, čid'žoit, ottakkua i minuw pruažniekkah!

— Istu nečie tuhkiš, čotaiče čond'žoiloi, luve lutikkoi, vie pruaž-
niekkah sinuw meile huigiekse! — vastatah sizäret i lähtietäh.

Tuhkimus kanat piästaw tahnuos päi i ajaw meččäh:

— Kiš kanaizet meččäh, kiš kanaizet meččäh!

Ajaw hyväl kohtal, järven randaizel syömäh, a iče — sizäril jälgeh. Sizäret kai juostul mennäh. Tuhkimus jälles juoksow. Juoksow, juoksow, ga kuwluw itku da pagin:

— Oi, hyvät rahvas, kel liennettö hyvytty luadinuh, piästiät minuw iäre nečis lijas!

Sizäret sanotah:

— Rubiemmo pruažniekkah mennes käzie ligavuttamah! Ken lienöw lijas, — i matkatah ielleh.

Tuhkimus menöw sih ligakohtah, moine on suwri luhtu ligua, ga i hänel kirgual'ow:

— Oi, hyvä ristikanzu, kel liennet hyvytty luadinuh, piästä minuw iärel

Tuhkimus kaivaw-kaivaw ligaluhtua, ga löwdäw pualikan. Pualikkua pezöw, puhtastaw i duwmaiččow:

— Tämägö lienöw kirgunuh, vai lienöw olluh kedä muwdu kirgu-
jua?

Pualikku i muwttuw neidizekse. Neidine sanow:

— Mene palaine matkua vie, tulow kodine vastah i mene sih ko-
dizeh.

Tuhkimus lähtöw dorogua myö astumah. Tulow kodine vastah. Menöw kodizeh. Ni kedä ei nävy pertis, a kirrutah:

— Kel liennet hyvytty luadinuh, piästä meidy iäre!

Tuhkimus eččiw, kaččelow, ken kirguw, ga päčis leivät kirrutah. Tuhkimus vedäw leivät iäre päčis i azettaw lawčal riädyizeh. Leivät muwtutah brihoikse. Hyppiäw yheksä brihua i kyzytäh neidizel:

— Ken sinä olet i kus tulet?

— Lähtin sizäril jälgeh pruažniekkah, ga ei otettu hyö minuw, —
Tuhkimus vastuaw.

— Ga net i oldih täs siiriči matkuajat. Myö ku kyzymmö piästämäh iäre päčis, ga hyö vastattih: «Emmo rubie käzie polttamah».

A Tuhkimuksel brihat annettih avain i sanottih:

— Tule nengoizeh i nengoizeh kohtah, kallivon luo i iške avain kallivoh dai sinä suat kaikkie, midä sinul konzgo pidäw.

Tuhkimus ottaw avaimen i menöw kanoilluo, kanoi kodih ajamah:

— Kiš, kanaizet, kodah! kiš, kanaizet, kodah!

Kanat kodah ajaw, alustan azettaw kanoil i iče menöw järilleh päčil. Sizäret tullah pruažniekas päi, sanellah:

— Roiteh suarih piiru, rahvastu tulow äijy, kai toizis sarstvois päi tullah rahvas piiruh.

Tossu piän šuoritah sizäret piiruloih. Tuhkimus piän nostaw kolpakas piäliči:

— Ottakkua i minuw piiruloih!

— Istu eräs tuhkis, čotaiče čond'žoiloi, luve lutikkoi! Nengoizeh piiruh otammo ičel huigiekse!

Lähtietäh sizäret. Tuhkimus kanaizet työndäw:

— Kis, kanaizet, meččäh!

Ottaw avaimen keral, menöw n'evvottuh kohtah i išköw avaimel kallivoh. Hyppiäldäw yheksä brihua, kymmenes neidine, i kyzytäh:

— Midä pidäw?

— Pidäs sobua piäl, lähtizin minägi suarin piiruh. Sizäret mendih sinne, ga i minul himottas mennä, — Tuhkimus vastuaw.

Suoritetah händy ylen hyvin, eläväl veil valetah, čiištitäh: hänes roih neidine, ga ni tuta, ni duwmaiža ei sua, ni vovse samakse Tuhkimukse. Menöw suarin piiruloih. Rahvastu on ylen äijy kerävyynyh. Suarin poigu ylähän astuw, kaččelow neidizie, keh vois mielidyö, i nägöw neidizen, ga ei voi lähil piästä, ku on äijy rahvastu. Neidine enne muidu iäre lähtöw, menöw kallivoh, avaimel išköw, sanow:

— Andakkua omat sovat i ottakkua nämät sovat, lähten kanat salbuan.

Jaksoihes, omih sobih šuorihe i meni kanoi kodih ajamah:

— Tip-tip, kanaizet, kodah! Tip-tip, kanaizet, kodah! — iändäw.

Kanat salbai i iče — päčil ennen kunj sizäret tullah. Sizäret tullah i sanellah:

— Kus lienöw olluh sie neidine toizes linnas päi, kaikkie parembis sovis oli i suarin poigu sih panettelih.

— Engo hot, čid'žoit, minä ollun? — Tuhkimus kolpakas piäliči piän nostaldaw i kyzyw.

— Sinä sie tuhkis päčän peräs vai lutikkoi luve i čond'žoiloi čotaiče, — čid'žoit vastatah hänel.

Tossu päivän šuoritah vie parembi, eigö suarin poigu kuduah—tahto heis miel dys. Tuhkimus piän nostaw kolpakas piäliči:

— Oi, čid'žoit, ottakkua i minuw!

— Istu eräs, mejän huigiekse, čond'žoiloi čotaiče, lutikkoi luve, — sizäret vastatah.

Sizäret vai lähtietäh, häi kanaizet työndäw:

— Kiš, kanaizet, meččäh! Kiš, kanaizet, meččäh!

Ajaw kanat, iče astuw kallivol, avaimel iškōw kallivoh, ga hypätäh kallivos yheksä brihua, kymmenes neidine i kyzytäh:

— Midä pidäw?

— Sizäret mendih tuassen suarin piiruloih, i minul himoittas, ga ei ole sobie, — Tuhkimus sanow.

Händy pestäh, šuoritetah, annetah vie paremmat sovat piäl. Menōw suarin piiruloih, ga ei voi ni lähil piästä, muga on rahvastu. Sizäret sie istutah, ga händy ei tietä, što nengoine on heijän Tuhkimus. Suarin poigu vai nāgōw neidizen, dai lähendymäh, lähendymäh! Kaikin nähtäh, čto häi on mielodyn, ga ei voi piästä lähil. Neidine kodvaizen käveli dai iäre rapsahtih. Menōw kallivoh, iškōw avaimel, ga hypätäh yheksä brihua da kymmenes neidine.

— Midä pidäw? — kyzytäh.

— Sovat ottakkua iäre i andakkua omat sovat, kanat pidäw ajua kodah enne, kuni sizäret tullah, — neidine vastuaw.

Annetah omat sovat, i häi kanoi kirguaw:

— Tip, kanaizet, kodah! Tip, kanaizet, kodah!

Salbuaw kanat kodah, iče päčil.

Sizäret tullah i sanellah:

— Tänäpäi oli vie paremmis sovis neidine, suarin poigu sih panet-telih, ga ei voinnuh piästä lähil.

— Engo ehki minä olluh, čid'žoit? — Tuhkimus kolpakas piäliči piän nostaw i kyzyw.

— Istu eräs sie päčil, luve lutikkoi, čotaiče čond'žoiloi — sizäret vastatah.

Kolmanden päivän šuoritah vie parembi sizäret. Kai parahat pannah piäl: eigo mielidyis suarin poigu.

— Oi, čid'žoit, ottakkua i minuwl — Tuhkimus kyzyw.

— D'ia sinä lutikkoidas lugemah, čond'žoloi čotaiččemah, — sizäret vastatah i lähtietäh.

Tuhkimus kanat piästäw:

— Kiš, kanaizet, meččäh! Kiš, kanaizet, meččäh!

Iče menōw kallivoh i iškōw kallivuo. Yheksä brihua i kymmenes neidine hypätäh:

— Midä pidäw?

— Čid'žoit mendih suarin piiruloih i minul himottas.

Ei ehti ni lopettua, ku händy pestäh, šuoritetah, annetah moizet sovat, što kai läikkyw, kunne päi kiändyw, — i hebo: karvu kuldaine, toine hobjaine, kolmattu ni tuta, ni duwmaija ei sua. Ajaw kawzahuttaw suarin piiruloih. Suarin poigu ku nāgōw, ga kerras i hyppiäw kawzahut-tau neidizen luo. Obručal'noil kol'ččaizel painaw oččah i sanow kaikel rahvahal:

— Tämä neidine minul — mučoikse, mengäh hos kunnel

Kol'ččaizes jälgi i jiaw oččah. Neijisty ni kui ei piästäs suarin poigu, ga neidine punalduateh, hevol selgäh hyppiäldäw i ajaw kallivoh. Iškōw avaimel kallivoh. Yheksä brihua, kymmenes neidine hypätäh:

— Midä pidäw?

— Ottakkua, rawkat, kabrastakkua hebo i sovät, andakkua minun omat sovät, — neidine sanow.

Vajehtetah sovät, i neidine kanoi eččimäh:

— Tip, kanaizet, kodah! Tip, kanaizet, kodah!

Salbuaw kanat i iče päčil huolittaw enne sizärie. Kanan šital očan voidaw i rivun kriepiaw oččah. Sizäret tullah, häi ohkaw päčil:

— Oi, en voi, piädy kivistäw!

Sizäret sanellah:

— Tol'ko tänäpäi oli neidine, ku kiändyi — kai läikkyi, i lähti hevol, ga vai vilahtih!

— Engo hot' minä olluh? — Tuhkimus kyzyw.

— Oi sinä, čond'zoiłoin čotaiččiju, lutikkoin lugiju, vai istu sie päčil. Et, rawkku, ole ni unis nähnyh möstu neijisty, — sizäret sanotah.

Suarin poigu rubiew eččimäh neijisty: eččiw kai sarstvat, kai gosudarstvat, ni kus ei semmostu lövvy.

A Tuhkimus kävyw ainos piä kriepittynny kanoi paimendamah.

Tullah Tuhkimuksen luo jälgimäi.

— Nygöi sinul pidäw lähtie. (*Jälgimäi pahoi alletah eččie.*)

Häi lähtis ei, a otetah händy vägeh. Suarin poigu kai tuskevuw, ku ei lövvä mučoidu. Pestäh Tuhkimuksel očču i viijäh suarin pojalluo, ga obručal'noin sormuksen sija Tuhkimuksen očas! Suarin poijal roih paha mieli. Duwmaiččow: «Ottua pidäw yksikai. Hot' nygöi ei ole hyvä, ga kos kol'ččaizel painoin — siit oli hyvä, mowžet on hänel oza kustahto».

Ottaw Tuhkimuksen mučoiakse. Eletäh kodvaine, ga rubieudow suarin poigu kyzymäh:

— Kos minä sinuw kol'ččaizel oččah painoin, ga et olluh tämän moine, kus sinä šuoriit?

— Minä sinul sanon, tol'ko sinä älä ni kel sano. Jesli sanot, ga sinä minuw izmenit.

Ottaw mučoi i viättäw suarin poijan kallivoh. Išköw avaimel, ga hy-pätäh yheksä brihua da kymmenes neidine, kyzytäh:

— Midä pidäw?

— Suarin poigu otti minuo mučoiakse, ga pidäs šuorita.

Yheksä brihua i neidine sanotah:

— Myö otammo sinuw sizärekse, a sinuw otammo vävykse, jesli tulletto meijän ker elämäh.

Suarin poigu jättäw oman sarstwan, a Tuhkimus jättäw kodin dai kanaizet, i lähtietäh hyö elämäh i eletäh ylen hyvin.

21. ДЕВУШКА ТУХКИМУС

Были муж да жена. У них три дочери. Две старшие были хорошие, а третья — Тухкимус. Только кур пасет да на печи сидит, больше ничего не делает. Две хорошие девушки начинают собираться на праздник, а Тухкимус голову высунула из-за колпака (кожука) печи и просится:

— Ой, сестрицы, возьмите и меня на праздник!

— Сиди там в золе, лови блох, считай клопов. Тебя еще на праздник, нас позорить! — отвечают сестры и уходят.

Тухкимус выпускает кур со двора и гонит в лес!

— Киш, курочки, в лес, киш, курочки, в лес!

Угнала их на хорошее место, на берег озера, а сама — сестрам вслед. Сестры бегом пустились, Тухкимус за ними бежит. Бежит, бежит — да вдруг послышался плач и говор:

— Ой, добрые люди, если кому-нибудь делали добро, то вытащите меня из этой грязи!

Сестры говорят:

— Будем мы, идя на праздник, руки пачкать! Кто-то там в грязи, — и идут дальше.

Тухкимус приходит на то место, там большая грязная лужа, и ей кто-то кричит:

— Ой, добрая душа, если делала кому-нибудь добро, то вырuchi меня!

Тухкимус выгребала, выгребала грязь и нашла валец. Моет валец, чистит и думает:

— Этот ли кричал, или был еще кто-нибудь?

Валец обернулся девушкой. Девушка говорит:

— Иди еще немного вперед, встретится домик, и зайди в тот домик.

Тухкимус идет дальше по дороге. Встречается домик, заходит она в домик. Никого не видно в избе, а кто-то кричит:

— Если кому делала добро, то освободи нас!

Тухкимус ищет, посматривает, кто кричит, смотрит — хлебы в печи кричат. Тухкимус вынула хлебы из печи и расставила их в ряд на скамье. Хлебы обернулись парнями. Вскочили девять парней и спрашивают у девушки:

— Кто ты и откуда идешь?

— Пошла сестрам вслед на праздник, не взяли они меня, — Тухкимус отвечает.

— Так кто они и были, мимо проходили. Когда мы попросили нас выпустить из печи, они ответили: «Не будем себе руки жечь».

А Тухкимус парни дали ключ и сказали:

— Приди на такое-то и такое-то место, к скале, и ударь ключом по скале — и ты получишь все, что тебе понадобится.

Тухкимус берет ключ и идет к курам, кур домой загонять.

— Киш, курочки, домой, киш, курочки, домой!

Загнала кур домой, подворотню заложила и сама залезла снова на печь. Сестры возвращаются с праздника, говорят:

— У царя будет пир, народу будет много, даже из других царств придет народ на пир.

На второй день сестры собираются на пир. Тухкимус голову поднимает из-за колпака печи:

— Возьмите и меня на пир!

— Сиди ты в золе, лови блох, считай клопов — на такой пир возьмем тебя, нас позорить!

Сестры уходят. Тухкимус выпускает кур:

— Киш, курочки, в лес!

Берет с собой ключ, идет на то место, куда ей посоветовали, и ударяет ключом по скале. Выскакивают девять парней, десятая девушка и спрашивают:

— Что надо?

— Надо бы мне одежду, пошла бы и я на пир к царю. Сестры туда ушли, так и мне хотелось бы пойти, — Тухкимус отвечает.

Наряжают ее очень хорошо, живой водой поливают, чистят: выходит девушка, что ни узнать, ни подумать нельзя, что это та же самая Тухкимус. Идет к царю на пир. Народу собралось очень много. Царев сын сверху посматривает на девушек, ищет себе по душе и замечает девушку, но не может и близко подойти, потому что много народу. Девушка раньше других уходит, приходит к скале, ключом ударяет, говорит:

— Дайте мою одежду и возьмите эту одежду обратно, пойду кур закрою.

Разделась, свою одежду надела и пошла кур домой загонять.

— Тип-тип, курочки, домой! Тип-тип, курочки, домой! — зовет.

Кур закрыла и сама на печь, прежде чем сестры вернутся. Сестры приходят и говорят:

— Откуда-то из другого города приезжала девушка, лучше всех одежда была на ней, и цареву сыну она приглянулась.

— Не я ли, сестрицы, хоть была? — Тухкимус из-за колпака печи голову высовывает и спрашивает.

— Ты там на печи в золе клопов считай и блох лови, — сестры ей отвечают.

На второй день они наряжаются еще лучше — не понравится ли которая-нибудь цареву сыну. Тухкимус голову из-за колпака поднимает:

— Ой, сестрицы, возьмите и меня!

— Сиди уж, нас позорить — считай блох, считай клопов, — сестры отвечают.

Только сестры вышли, она курочек выпускает:

— Киш, курочки, в лес! Киш, курочки, в лес!

Угнала кур, сама идет к скале, ключом ударяет по скале, выскакивают из скалы девять парней, десятая девушка и спрашивают:

— Что надо?

— Сестры опять пошли к царю на пир, мне тоже хотелось бы, но нет одежды, — Тухкимус говорит.

Ее моют, одевают, дают ей еще лучшую одежду. Приходит она к царю на пир, даже близко подойти нельзя — так много народу. Сестры там сидят, но знать не знают, что их Тухкимус такая

стала. Царев сын как только увидел девушку, так все ближе, все ближе! Все видят, что она ему понравилась, но он не может подойти. Девушка походила немного и ушла обратно. Приходит к скале, ударяет ключом — выскакивают девять парней и десятая девушка.

— Что надо? — спрашивают.

— Возьмите обратно одежду и дайте мне мою одежду, надо кур загнать домой, пока сестры не пришли, — девушка отвечает. Дают ей одежду, и она кур зовет:

— Тип, курочки, домой! Тип, курочки, домой!

Закрывает кур, сама на печь. Сестры приходят и говорят:

— Сегодня девушка была в еще лучшей одежде, царев сын хотел к ней подойти, но никак не мог.

— Не я ли хоть это была, сестрицы? — Тухтимус из-за колпака печи голову поднимает и спрашивает.

— Ты сиди там на печи, считай клопов, лови блох! — сестры отвечают.

На третий день сестры еще лучше наряжаются. Все лучшее на себя надевают — не приглянутся ли цареву сыну.

— Ой, сестрицы, возьмите и меня! — Тухтимус просит.

— Оставайся ты клопов считать, блох ловить, — сестры отвечают и уходят.

Тухтимус кур выпускает:

— Киш, курочки, в лес! Киш, курочки, в лес!

Сама идет к скале и ударяет по скале. Девять парней, десятая девушка выскакивают:

— Что надо?

— Сестры пошли на пир к царю, и мне бы тоже хотелось.

Не успела закончить, как ее уже моют, наряжают. Дали такую одежду, что как она повернется — все кругом сверкает; и конь: шерстинка золотая, другая серебряная, третья — ни узнать, ни подумать нельзя. Едет, примчалась на пир к царю. Царев сын как увидел, так тут же и подскакивает к девушке. Обручальное кольцо прижал ко лбу и говорит всему народу:

— Эта девушка будет мне женой, куда бы она ни ушла!

От кольца остается след на лбу. Царев сын никак не хотел бы отпускать девушку, но девушка вырвалась, на коня вскочила и приехала к скале. Ударяет ключом по скале. Девять парней, десятая девушка выскакивают:

— Что надо?

— Возьмите, милые, уберите коня и одежду, дайте мне мою одежду, — говорит девушка.

Сменили ей одежду, и девушка кур искать:

— Тип, курочки, домой! Тип, курочки, домой!

Закрывает кур, а сама на печь спешит до прихода сестер. Куриным пометом мажет себе лоб и тряпицей завязывает. Сестры приходят, она на печи охает:

— Ой, не могу, голова болит!

Сестры говорят:

— Вот уж сегодня была девушка: как повернется — так все кругом сверкает, и ускакала на лошади, так только и видели!

— Не я ли это была? — спрашивает Тухкимус.

— Ой, ты, сиди там на печи и лови блох, считай клопов. Ты, бедняжка, и во сне не видела такую девушку, — говорят сестры.

Царев сын начинает искать девушку, ищет во всех царствах, во всех государствах, нигде нет такой. А Тухкимус все ходит с завязанной головой кур пасти. Наконец, приходят к Тухкимус.

— Теперь тебе надо пойти. *(Под конец среди плохих начинают искать.)*

Она идти не хочет, но уведят ее насильно. Царев сын весь измучился, потому что жену найти не может. Вымыли у Тухкимус лоб и повели к цареву сыну, а у Тухкимус на лбу след обручального кольца! Царев сын опечалился. Думает: «Все равно придется взять. Хоть сейчас она и не по душе, но когда я ее кольцом отметил — тогда была по душе, может у нее есть где-либо доля».

Взял Тухкимус в жены. Живут сколько-то времени, и начинает царев сын расспрашивать:

— Когда я тебе сделал отметку на лбу кольцом, так ты не была такая, где ты наряжалась?

— Я тебе скажу, только ты никому не говори. Если скажешь, значит — ты меня предашь.

Взяла и повела жена царева сына к скале. Ударяет ключом — выскакивают девять парней и десятая девушка, спрашивают:

— Что надо?

— Царев сын взял меня в жены, так надо бы мне одеться.

Девять парней и девушка говорят:

— Мы примем тебя сестрой, а тебя примем зятем, если будете с нами жить.

Царев сын покидает свое царство, а Тухкимус оставляет свой дом и курочек, и идут они в скалу жить, и живут очень хорошо.

22. LESKEN AKA POIGU

Vot, hyvä-horošo, eli enne leskiakku i hänel oli poigu. Hyö oldih kōwhät, leskel akal eihäi kes elo tule. Kazvatti häi brihan d'ō tävvekse miehekse. Sid rodih soarin boalu. Soari andaw tyttären mučoiakse sil, ken loadiw moizen hiitrostvan, što ni moal mostu ei olis. Rahvas kerävyttih sinne soarin boaluh kengi mil löwhkämäh. Briha se pyrgivyyw moamalleh tože sinne, soarin boaluh, löyhkämäh, sanow:

— Mamin'ka, blahoslovi, lähten minä soarin luo löwhkämäh!

Moamah sanow:

— Älä lähte, poigani, peädy menettämäh, ei rodei sinus ni midä.

Nu vot, hyvä-horošo, poigu sanow:

— Työnä libo älä, a lähten!

Moamah tuohuksen viritti i mollei ruvettih jumalal molimahaes. Poigu kolme kerdoa kumardih jumalal i kolme kerdoa moamalleh. Nu vot, i mäni häi sinne soarin boaluh. Sie kengi mil löwhkäw. Yksi sanow, što parahodan loajin, toine sanow — korablin, eräs saiman, kaikil himoittas soarin tytär soaha mučoiakse, ga soari ni kenen löwkändäh ei miely. No vot, hyvä-horošo, lesken akan poigu kyzyw soaril:

— Voingo i minä löwhkeä?

Soari sanow:

— Voit, sih nähhäi on i boalu laittu.

Nu vot, hyvä-horošo, häi i löwhkähtih, sanow:

— Minä loajin moizen saiman, taigo menöw vetty myö, taigo moadu myö.

Soari duwmaiččow, što nengomoa hiitrostii vie ni kuwltu, ni nähty ei. Siit soari kyzyw hänelleh:

— A kuibo terväh voit loadie, pideägo suwri srokku?

Häi vastah kyzyw:

— A minbo vastah työ annatto srokkoa?

Soari sanow:

— Annammo kolme kuwdu srokkoa, sih aigah pideä loadie se saimu.

Soari hänel andoi srokan kolme kuwdu, a häi vastah löwhkähtih, sanow:

— Minul kolmie kuwdu srokkoa ei pie, a minä loajin kolmih suwtkihl

Häi löwhki i lähti kodih, a hänen nimi d'äi kirjal, što nengoine i nengoine mies otti nengoman srokan.

Nu vot, hyvä-horošo, häi tulow kodih. Moamah kyzyw:

— Midä, poigani, boalulois kuwluw?

A häi vastuaw moamalleh, sanow:

— Minun nimi nygöi, mamin'ka, d'äi kirjal. Minä löwhkiin soaril, što loajin moizen saiman, kudai yhteh loaduh menöw vetty i moadu myö.

Moamah sanow:

— Onnaako, poigani, menetit peän.

— Ni midä, mamin'ka, syötä, d'uota i blahoslovi loadimah saimoa.

Moamah syötti, d'uotti, viritti tuohuksen i poigah kolme kerdoa kumardih jumalal i kolme kerdoa moamalleh. Siit pani piikoikaftanan peäl, levien remenin vyöl, kirvehen remenin al, leveisärvišleäpän peäh i lähti meččäh saimoa loadimah. Vot, hyvä-horošo, häi meččäh i puwtui. Löwdi ylen suwren hongan i rubei kirvehel leikkoamah. D'yväi, d'yväi i puwtui se hongu pitkälle. Häi kirvehen nenäl čökkiw, duwmaiččow, min piduhus pidänöw loadie. Tuli sih hänen luo vahnu starikku, raidaine pravilku käis, i kyzyw:

— Midä, poigani, roat?

Lesken akan poigu sanow:

— Loajin, d'eädöine, saimoa, löwhkin korolil loadie moizen saiman, kudai vetty myö i moadu myö menis yhten d'ytyi.

— Viego, poigani, otat minu w pod'onšinah?

— Oi, d'eädöine, ku rubiezit, ga mieleh olis!

Ruvettih loadimah, ga starikku kyzyw hänel:

— A loajimmogo pitkän?

— A mittuman, d'eädöine, loadinet, moine i hyvä roih, — sanow lesken akan poigu.

(D'o hänel vallon andoi azuo.)

Starikku rubei pravilkal meäreämäh. Puolen nellätty pravilkoa meäräi i kyzyw:

— Roihgo nygöi piduvuttu?

— A miittuon, d'eädin'ka, loadinet, moine hyvä roih.

Siit starikku meäräi levevytty kaksi pravilkoa puolen kel i op'at' kyzyi:

— Roihgo täs levevytty?

— A miittuon, d'eädin'ka, loadinet, ga moine i hyvä roih.

Saimu se hyö valmistetah, i starikku kyzyw sil leskiakan pojat:

— Soarin kod'žil ajat, ga viego, poigani, on sinul d'engoa äijy-vähä?

(Enne vahnas, kačo, kod'žil mendyw pidi vie stolal d'engoa panna.)

Häi vastoaw:

— Ei ole, d'eädin'ka, ni kopeikka.

Siit starikku andoi hänel nahkahizen ruppisuwn kukkaron i sanow:

— Na, poigani, kukkaro, täs eigo ole d'engoa, eigo loppei d'engat.

Lähtietti hyö sil sailmal meččeä myö ajamah, d'oamah peäzēmäh.

Starikku n'evvow sil brihal, kui pideä ajoa moadu myö, kui vetty myö, diesvoi ozuttelow. Peästäh d'oamah. Starikku kyzyw hänel:

— Viego on heimokundoa kedä kod'žil ottoa?

Häi sanow:

— Ewle ni kedä, yksin olen.

Starikku n'evvow hänel, sanow:

— Ku ewle, ga pyrritä ni kedä älä, ken tarinneh iče, ga sidä otal

Siit hyö prošaittihes starikan kel, i briha lähti yksin ajamah. Ajaw, ajaw, kaččow — mužikku d'oamua myö astuw. Kirgai:

— Välttāi eäre, välttāi eäre, sailmu peäl tulow!

Ajoi häi mužikan luo, pozdorovkaiččihe. Mužikku kyzyw:

— Kunne, velli, ajat nengomal sailmal? Kuwlluh ni nähnyh en ole.

Häi sanow:

— Ajan soarih kod'žil.

— Ota, velli, minu wgi kod'žill

Häi vastai:

— Tule sailmah.

Nu vot, hyvä-horošo, mužikku sinne sailmah, a mužikal yksi d'algu välläl, a toine toaksepäi kiinnitetty. Zenihymies kyzyi:

— Mindäh, d'eädö, on sinulles yksi d'algu kiini?

I häi vastai:

— Vähä on, poigani, kahtel d'allal moadu kävellä.

Vot hyö ajetah ielleh d'oamoa myö. Ajetah, ajetah, kačotah — d'oamoa myö mužikku astuw. Briha kirgai:

— Vältäi eäre, d'eädö, saimu peäl tulow!

(*Roih hānel druškāt, eihāi svoid'boa druškita pie. Dai pädijäit roitah.*)

Ajoi mužikkah sah, pozdorovkaittihes. Mužikku kyz'w:

— Kunne, poigani, ajat? Nengomoa saimoa ni kuwlluh, ni nähnyh en ole.

— Ajan korolih kod'žil.

— Ottoat, velli, i minuwl?

— Tule, — kučui briha.

Mužikku saimah nowzi, ga yhten silmän peäl remeni, a toine silmy avoi.

Briha kyz'w:

— Mindäh, d'eädöine, sinul on yksi silmy krieptitty?

Häi vastai:

— Vähä on, poigani, moadu kačuo kahtel silmäl.

Ajetah, ajetah, kačotah — op'at' d'oamoa myö mužikku i astuw.

Briha kirgai:

— Vältäi eäre, d'eädöine, saimu peäl tulow!

Ajoi sih sah, zdorovkaittihes.

— Kunne, vellet, ajatto? Nengomoa saimoa ni kuwlluh, ni nähnyh en ole!

— Ajammo soarih kod'žil.

— Ottakkoa, vellet, minuwigil

— Tule, — kučui briha.

Nowzi mužikku saimah, ga puolel suwl remeni. Ženihy kyz'w:

— Mindäh, d'eädöini, on sinul puoli suwdu salvas?

Mužikku vastai hānelleh:

— Vot, poigani, vähä on moailmal välleä tävvel suwl paista.

Moamatku loppih, i saimu heittäh d'ogeh. Nu vot, hyvä-horošo, mužikku — d'ogirandah viruttannuhes, uinonnuh i kielen poikki d'oves lykännyh. Briha kirgai:

— Ota, d'eädöine, kieli eäre, kačo, saimu kielen peäl tulow!

Mužikku sen kuwli, kielen suwh veäldi i nowzi. Ajoi sih briha, pozdorovkaittihes. Mužikku kyz'w:

— Kunne, vellet, ajatto? Nengomoa saimoa en ole ni nähnyh, ni kuwlluh.

— Ajammo soarih kod'žil.

— Ottakkoa, vellet, i minuwl

— Tule, — kučuw briha.

(*Kačo, miittumoa druškoā kerdyw!*)

Mužikku saimah nowzi, ga briha i kyz'w hānel:

— Mindäh, d'eädöine, sinul kieli poikki d'oves d'owdui?

— A räkel päiväl uinoin, i sinne d'owdui kieli poikki d'oves.

(*Vot on druškoā, soarin kod'žikse ajetah!*) [Iče, soarnan sanoi, nagrau, sanow: «*Kai kummattaw!*»]

Lähtiettih ielleh ajamah. Ajettih, ajettih, ga mužikku on ruvennuh d'oves vetty d'uomah i kaiken d'ovensuwn suwh tavannuh. Nu vot, hyvä-horošo, ajaw häi sinne i kirguw:

— Salboa, d'eäddöine, suw, kačo saimu suwh tulow!

(*Tämä olis äijäl hyvä soarnu, ku olis yhteh palah sanuo, kai vačču muheloittaw, ku rubean sanomah.*)

A mužikku vastoaw:

— Ah, räkel päiväl äijäl d'uotatti, kai d'ogi puwtui suwh tavata.

Mendih läheikkäi, zdorovkaiitihes:

— Kunne, vellet, ajatto? Nengomoa saimoa ni kuwlluh, ni nähnyh en ole.

— Ajammo soarih kod'žil.

— Ottakkoa, vellet, minuwigil

— Tule, — sanow briha.

Vot hyvä-horošo, d'ogimatku se lopeh, i hyö kopsahutetah ajetah soarin dvorčan pihal. Peästih dvorčah. Neidine hyppäi ikkunah kaččomah, ongo ehki heimokunnal midä paremboa soboa peäl, a iče ženihi löyhkämäs oli ylen pahois sovis. Kačahtih ikkunah, da kogo svoid'borahvahal ribu ribuw pitkempi, ribu ribuw pahempi.

(*Pitkät rivut ollow, ga lyhetäh vie, kuni niis miehis peäzettöl!*)

Häi hyppäi eäre ikkunas, ni kačo enämbi ei. Nu, hyvä-horošo, prišlos' heile vastata, podr'oadan ku spolni. Vastattih i ruvettih heidy gostittamah, kod'žamiehii muinai. Viinoa heile kannetah, syötetäh, d'uotetah, kui slieduiččow. Nu hyvä-horošo, sulhastettih hyö i svoid'buo pidämaäh pidäy ruveta. Syöndystola se heile proiji i tuli se d'engan stolal panendu aigu:

— Nu, — soaril kyzyw ženihi, — viego d'engoa pidäw stolal panna?

— Ka kui kačot, on soaril d'engoa, — sanow soari.

— Kui zakon on, ga panna pidäw, — sanow ženihi.

Häi otti, nostaldi sen tyhjän ruppisuwn kukkaroizen kormanis i rubei koadamah stolal. Kukkaron suwn avai i koadoi sih stolal šoapkan suwruon tukun zolotoidu. (*Kaftan hot rivus oli, ga kuldoa yksikai olil!*) Siit soaril kyzyw:

— Viego pidäw panna d'engoa, vai roih?

Soari kiieldelöy:

— Roih nygöi, roih, soarin dielos nygöi on toas hyvin d'engoal

Nu vot, hyvä-horošo, ni kui ei soa välleä, pidäw ruveta svoid'boa pidämäh. Ruvetah i duwmaijah: ei olis mielädy myö, hävitteä heijät olis mieli. Soari kyzyw svoid'borahvahal:

— Viego teil matkan d'älgeh kylyh himoittas?

Ženihi sanow:

— Ga se ei paha olis.

Nu hyö čugunkylw lämmitetäh ynnällizet suwtkat, d'o ni ližeamäh ei voiija mennä. Tuodih viešti, štobi sulhasrahvas kylyh mendäs. Ženihi komanduičči sidä mužikkoa, kudamal oli poikki d'oves lykätty kieli, sanow;

— Mene, Pitkykieli, kačo kylvw, voibigo mennä, ku ei kielas-teta.

Nu vot, hyvä-horošo, Pitkykieli meni kylvw kaččomah. Avai uksen, ga kyls kai seinät ku mard'azet ruskiet, ni läs ei soa mennä. Häi oijendi kielen toizeh seinäh sah i hengästih, ga huwrmiet, hägär, seinih kazvettih: kai on kylv kui ei ole ni mulloi lämminnyh, ne to što tänä vuon. Häi tuli d'ärilleh i sanow:

— Ken i tulgah vierahal moal, ga sidäi mahtetah kielastella. Eihäi kylv ole lämminnyh ni mulloi — kai on seinih huwrmiet kazvettu.

Soaris päi käydih kaččomah: ongo neče pravdu. Mendih, ga tozi, mugai on. Vot, hyvä-horošo! Yö hyö siit moatah. Toizet suwtkat soari käksi lämmitteä vaskistu kylvw. Toaste se lämmitettih, valmietetih, ei voidi ni ližeämäh mennä, moine oli räkki. Sanotah:

— Nygöi mengeä, kod'žamiehet, kylvh, kylv on valmis!

Toaste ženihy komanduičči:

— Mene, Pitkykieli, kačo, d'ogo voibi kylvh mennä.

Menöy Pitkykieli sinne kylvw kaččomah, ga toaste ku mard'aine ruskei, ei soa ni lähel lähetä. Häi toas kielen lykkäi toizeh seinäh sah, toas huwrmiet seinih kazvettih. Tulow eäres toizien luo, sanow:

— Ken i tule vierahal moal, ga sidä i kielastetah, toine päivy d'är-gieh, ewle kylv ni mulloi lämminnyh.

Mendih, kačottih, ga tozi, huwrmiet on seinil kazvettu. Heile tuli vie kolmandekse suwtkii sih d'eähä, eigo puwtu kylvw kylbie, eigo svoad'boa pietä. Kolmandet suwtkat lämmitettih hodb'astu kylvw. D'ongoi ei voija ni ližeämäh mennä, moine on räkki. Tullah kodih, sa-notah:

— Mengeä, kod'žamiehet, kylvh: kylv on valmis!

Zenihy sanow op'at' Pitkykielel:

— Mene, Pitkykieli, kačo kylvw.

Pitkykieli menöw kaččomah, uksen avoaw, ga seinät ku mard'azet ruskiet. Häi toaste lykkeäw toizeh seinäh sah, hengähtäh, i op'at' huwr-miet seinih kazvetah. Tulow eäres sie oman rahvahan luo i sanow:

— Ken i tulow vierahal moal, sidäi kielastellah kolmas päivy yhteh palah!

Soari kaččow, što ei soa peästä miehis nikui. I vie vidumaiččow — ei pie svoad'boa.

— Vot, — sanow soari, — meile vie ei soa svoad'boa pideä, a paiche soarin svoad'boa, teile pideä soaha eläveä vetty grafin!

Zenihy kyzyw hänelleh:

— A kuzbo myö sidä soammo?

Soari nevvow svoad'borahvahal:

— Nengomas i nengomas linnas, kahten meren tagan, on mostu vetty.

— A tervähgo net tuvva pidäw? — kyzyw ženihy.

— Kolmet suwtkat amman srokkoa, — sanow soari.

A ženihy vastoaw:

— Suwtkis ku ei tuodanne, ga i kolmis sinne d'eähäh!

(*Poddaijahes ei ni mil, puwtuttih miehii!*) Zenihy komanduičči mužikal, kudoal oli d'algu sivoksis:

— Keritä d'algu i mene kävy. Osta grafin eläveä vetty i tule d'ärilleh!

Mužikku d'allan keritti, harpai meren askeleh, toizen toizeh i d'o linnas. Ugodih häi pristanil. Sid neidine, kupsan tytär, kudamal oli eläveä vetty myödäveä, ugodih silmii pezemäh žemčugois. Hyö azetuttih sih paginal. Toizet vuotetah soarin luo, ga d'o rubei aigu pitkäkse mene-mäh, a hyö sie pristanil, briha da neidine, vai paistah. Siit ženihy sanow sil mužikal, kudoal on silmy sivottu:

— Avoa silmy, kačo, kus vien tuoju on.

Häi ku silmän avai, kačoi i sanow:

— Kahten meren tagan, pristanil vai pagizow kupsan tyttären kel, a linnah vie ni käynyh ei ote.

Siit ženihy sanow sil, kudamal oli puoli suwdu sivottu:

— Keritä suw i kurgoa eäres vien tuojoal

Se suwn keritti i kirgai — rōngähtih, ga puolen čoassuw soarin dvorču lekui. Vien tuoju kuwli kirgoandan, dai ylen terväh vien otti, dai harpai meren askeleh, toizen toizeh, dai tuli.

Nygöi zadaniet kai ispolnittih, ni kui ei soa vālteä sovađ'boa pidāmās. Nu, hyö ruvettih svaod'boa varustamah. Soari rubei tolkuiččemah i enzi kerran nimitti lesklakan poigoa vävykse. Sanow:

— Vävy da svoatot, äijāngo svaod'boh viinoa varustammo? Muwdu rashodoa täydyw soarin kois, emmo ni čotaiče.

Vävyh da svoatot otvietittih:

— Se sinun dielo on, min varustanet, ga se meile i hyvä roih.

Soari sanow:

— Minul on poigoa äijy juotettavao.

(*Nätt, soldattoih niškoih pagizow.*)

— On äijy poigoa, ga varusta mi tahto, meis hyvin roih.

Soari otvietti:

— Minus hot' kui vähä, ga viizikymmen sorokovoidu puččii pidäy viinoa olla.

Zenihy vastai hänel:

— A mi roih viizikymmenes sorokovois, sinun d'o poižil ei rodei, ga meile svaod'borahvahal ei rodei kylläl!

(*Ni mis ei heittäil!*)

Soari ženihäl kyzyw:

— Äijygo teidy myö pidäs?

— Meidy myö hot' kui vähä, kui vähä, a viizisadoa sorokovoidu pidäs.

Ruvettih niidy viinoin kereämäh lawkois, skloadulois i kai net viinat kerättih. Viinat navedittih ylähäkse, a alah kuwru laittih. Kuwroa myö viinat valutah alahakse, juogah ken min kačcow, kuollow ga kuolgah, suwduo ei rodei ni mittumoa. Soari sanow:

— Nu nygöi, vävy da svoatot, viinat on varustetut, pidāw ruveta svoid'boa pidāmäh.

— A enne svoid'bon zavodindoa pidäy viinoin proobuija, miittuot ollah, — sanow vävy.

Vot, hyvä-horošo, häi työndāw sidä mužikkoo, kudoal d'ogi suwh meni:

— Menes proobuiče viinoa, miittuot ollah.

Mužikku se meni viinoin oppimah. Häi pani kuwran suwh i ruvettih viinoin peästämäh. Vot, hyvä-horošo, rubei häi viinoa d'uomah, ga kuwras viinoa vähä tulow. Häi kuwroa kulakal pergaw:

— Peästeät viinoa, peästeät viinoa!

D'o pučis peäsetäh, toizes peäsetäh, d'o kymmenes pučis peäsetäh. Soldatat sie, viinan peästäjät, kai hies ollah, puččiloi sih kuwran suwh vieretetäh, a häi ainos pergaw kuwroa kulakal: «Peästät viinoa!». Peäsettihi, peäsettihi, ruvettihi kaččomah, ga viinan kel vai viizikymmen puččii d'ai, a tyhjeä puččii yliči seiny, puoli viijetty sadoa. Saldatat kirrattih:

— Ewle enämbi viinoa!

A mužikku sanow:

— Nennego viinat soarin svoid'bos: ni humaldoa, ni vesseliä ei puwttunuh!

Hätkestyi häi viinoin d'uomah, ga ženihy lähti d'o tiijustamah. Mužikku d'o vastah tuli. Ženihy kzyzw:

— Hyvädgo on viinat?

— En tiijä, hyvädgo vai pahat on, ga minul d'o kirrattih: ewle viinoa!

Mendih hyö soarin luo i sanotah:

— Davai pidāmäh svoid'boa ielleh.

Svoid'bo piettihi i molodoit moate mendih, a družkat da muwt rahvas ken kunnegi mendih.

Ruvettihi elämäh. Svoid'borahvas oldih ribulois i ženihy rovno ei ollut hyvä, a ruvettihi elämäh, ga ženihäh soarin tytär mieldyi, i ženihy rodih armas. Ruverttihi ylen hyvin, sobuh elämäh. Mučoil hot' on armas, ga soaril ewle armas: häi vie aivin duwmaiččow hävitteä. Čoajuw d'uomah kerrytäh sie huondeksel, ga soari paginan d'uohattaw:

— Vot, — sanow, — vävy, sinä meile tulit ylen kōwhy mies. Vot, — sanow, — neče meren tagan on moine linnu. Sie ken ku vähäizen sluw-žinow, ga voibi ottoa eluo midä tahto loaduw.

Mennäh hyö mučoin kel moate, ga heile igävy toine toizes erota, tolkujaheze keskenäh:

— Vot, — sanow mučoi, — toatto ei työnä sinuw eluo soamah, a hävitteä tahtow. Sinne linnah mennes keski merel on soari, a soares ollah lendelijät mavot, hyö d'ogahisty n'okitah, ken vai sinne menöw: ewle järilleh tullutta ni kedä.

Siit häi ielleh nevvo ukolleh:

— Hänelleh ku on himo hävitteä sinuw, ga toizen kerran ku mainič-čow, ga pakiče polku soldattua, karabli, karablin peräh bottaine, i ka-

rablin peräh porohua kaznu i kaikkie zapastoa vuvveksi, anna roih i hänel pilloa — ongo siit hänel vačču täwzi, vai ewle. Merel ku menet madoloih sah, i mavot ku ruvetah lendämäh n'okkimah, sinä bottah heitäläi, spiičku piiräläi, porohukaznah lykkeäläi i iče merel uiji. Sinä ku olet pravdu mies, ga sinuw eigo tuli polta, eigo vezi upota!

Nu vot, hyvä-horošo, hyö yö moatah, i tulow huondeksel čojun d'uondu aigu. Kerrytäh čojul, ga soari op'at' i d'uohattaw, sanow:

— Vot vävy, tulit sinä meile köwhy mies, ga vois soaha meren tagan linnas hot' miitumoa tavaroa, vai pidäw sluwžie vähäine.

Net suwtkat eletäh. Hyö sie mučoin kel ni moata ei, aivin tolkuijah i itkietäh, moine on heile igävy toine toizes erota. Tossu peän mennäh čojul, ga d'o pidäw šuorita lähtemäh. Vävy se sanow soaril:

— Sinne lähtijes minul pidäw karabli, polku saldattoa, vuvven zapastu kaikkie i kaznu porohoa.

Soari kai hänel andaw ihastuksis, ni midä ei ole žeäli, vai mengäh eäre. Kai valmekse varustetah, a vävyh vai istuw. (*Kui minä toivot, täs.*)

Dai lähtöw häi merel ajamah. Ajetah merdy myö i lähenöw se soari, kus mavot ollah. Rubiew soari se lähenemäh, häi otti ičelleh evästy, heittyi lotkazeh i lykkäi viritetyn spičkan karablih. Karabli se lähti ielleh ajamah, a häi jäi lotkazeh. Ku mustu pilvi, heittyi maduo karablih i sil keskie ku virittih, räškähtih porohat, ga mavot kudamadgi palettih, kudamadgi upottih vedeh. (*Putin mužikku ku lähti merel, ga vie muil dorogan puhtastil*)

Häi jelleh kulgow, kulgow, eigo ole karablii, eigo midä. Kulgi, kulgi i puwtui sih samah linnah, kudamah pidi mennä. Hyvä-horošo, tuli häi sih linnah i kävelöw, kaččeleh, kunne mennä yökse. (*Rowno ku minä tuliinhäi täh linnah.*) Puwtui häi ylen bohatan kupsan kodih: ylen on äijy torguw sil kupsal, ni pereä ei tiijä. Tariččih sih kupsah häi yökse. Yökse laskiettih i ylen hyvin pietäh, syötetäh, d'uotetah. Ižändy tunnu-stah i rubiew kyzelemäh:

— Kui sinä, ulgomoan mies, puwtuit tänne?

— Lähtet kävelemäh, ga i puwtut, — vastoaw häi.

Ižändy kzyzw hänel:

— A midäbo voit dieloa pideä?

— Voin dieloa pideä, hot' midä pidäkkäh, kaiken moizen dielon sel-litän.

Ižändy sanow:

— Meile moinehäi miesgi pidäs, minä sinun paniziin prikaššiekakse lawkkah.

— Voin, — sanou soarin vävy.

— Yksien da kaksien nedälilöin täh, — sanow ižändy, — en olis rakas palkoamah, hot' kui bedno, ku voizit ehki meile olla vuvven.

Häi vastai ižändäl:

— Ižändy, ku mielodynemmö toine toizeh, ga moožet olemmo vie kaksi vuottu yhtes.

(*Ohoh, se mies hot liene köwhy olluh, ga tolkukas oli!*)

Laitahes vuvvekse, i häi rubiew sluwžimah lawkkah prikaššiekakse. Lawkas häi torguiččow ylen verno, boiko da vesselästi — min nelli prikaššiekkoa torguijah, sen häi yksinäh torguiččow. (*Vesseleä ristikanzoa i enne rahvas on suvainnuh.*) Nu vot, vuvven häi torguičči i tuli srokku. Soderžanii hänel on kai valmis, viinoa ei d'uo, eigo muwh mih ota ižändäs dengo. Ižändy häneh ylen äijäl mieldyi. Ižändy rubei händy pagizuttamah, sanow:

— Edgo vie vuottu olis?

Häi ei mene vastukavain, sanow:

— Ku lienet, ižändy, mieldynyh, ga vie olen vuvven.

Toizel vuvvel d'o ižändy kaiken kaznan hänel doverii i d'o rubei työndämäh toizih moaloih tavaroa ostamah, midä vai vähenöw ičelleh. Häi kävyw da tulow, čotan kaiken verno pidäw, pahoi ni midä ei pie. Muga sluwži häi toizen vuvven. Srokku tuli, i ižändy op'at' i rubei händy pagizuttamah:

— Viego rubiet kolmandekse vuottu sluwžimah? Kolmandekse vuottu ku ruvennet, ga iččespeäl annan koit dai lawkat.

Igäväččäine hänel olis, i mučoi on aiven mieles, ga yksi kai vie d'äi kolmandekse vuottu. A ižändäl sanow:-

— Ei pie minul kodii, da ni eloloi, minä endizelleh sluwžin kolmanden vuvven.

I kolmanden vuvven häi sluwži endizelleh, tavaroa torguičči nellän prikaššiekan vastah. Tuli se päivy, vuvven srokku, i hänel rubei himoittamah kodih lähtie. Ižändy op'at' rubei pagizuttamah, sanow:

— Kai ičelles ota, a ku voinet aijan menetteä, ga d'ia vie tänne.

Häi sanow:

— En voi diähä enämbi, minul on mučoi, i nygöi pidäw lähtie. A eluo min lienen lunnastannuh, ga lähties annat.

Nu vot, hyvä-horošo, häi rubei kodih lähtemäh, ižändy työndeäw. Ižändy sanow:

— Enzimäzikse, — sanow, — annan minä sinul karablin, miittumoa ni kuwltu, ni nähty siid gosudarstvas ei. A mittumalbo tavaral gruwzimmo? — kzyzw ižändy hänel.

(*Siit ewlla tyhjät palkat, hot kolme vuottu sluwži!*)

Häi vastoaw:

— A midä ewle žeäli, ižändy, sil i gruwzi.

Ižändy sanow:

— Minun vallan ku annat, ga ku pädenöw nengomat tavarat, ga minä gruwzin soaravaizel nahkal.

Hänes mieldy myö rodih. Soaravaizel nahkal gruwzittih se karabli. Andoi škipparit viemäh i andoi dengo heile, sanow:

— Što! hänes etto ottas ni midä, a järilleh tulgoa dengen väil kui tahto.

Lähtiettih hyö ajamah i peästih omah gosudarstvah, omah pristanih. Kačotah sie — tulow ulgomoan karabli ulgomoan flaguloin kel. Duwmai-jah, ku ei ehki voinu tulis! Nu ku yksi karabli on, ga ei voinu ole.

Kaikin mendih randah vastah, i soari tyttären kel meni. Lähti sie, ga oma soarin vävy, hyvä, terveh. Häi i sanow soaril:

— Tämä karabli on minun i tavarat on minun, mene, kačo, miellytgo tavaroih?

Soari meni karablih, ga täwzi karabli gruwzittu soaravaizel nahkal. Soari sanow:

— Moločču, vävy, tämä karabli da nahkat maksetah miän puoli sarstvoal

Vot, hyvä-horošo, soari priimi vävyn i tuojat i priglašaičči kaikkii gostih. Tuojat suwtkat gostittih, lähtiettäs eäre, ga soari eti tuöndänyh, kolmet suwtkat gostittih. Kolmet suwtkat gostittih tuojat i lähtiettih kodih. A lesken akan poigu d'äi mučoin kel elämäh. Enne eletti armahasti, a eriže olduw ruvettih elämäh vie armahembah. I soaril rodih vävy armas.

Minä sie pristanii myö kävelin, karablii da nahkoi kačoin, i minul leikattih pala nahkoa, siit loajiin tabakkukukkaron. Se on vie i nygöi.

22. СЫН ВДОВЫ

Вот добро-хорошо, жила когда-то вдова, и у нее был сын. Они были бедны — откуда же вдове добра взять! Вырастила она парня до полного возраста. Устроили как-то у царя бал. Царь даст дочь в жены тому, кто сделает такую хитрую вещь, чтобы на земле подобной не было. Народ собрался туда на царский бал кто чем хвастаться. Парень этот тоже просится у матери туда, на царский бал, хвастаться, говорит:

— Маменька, благослови, пойду к царю хвастаться!

Мать говорит:

— Не ходи, сын мой, только голову потеряешь, ничего у тебя не выйдет.

Ну вот, добро-хорошо, сын говорит:

— Отпускай либо нет, а все же пойду!

Мать зажгла свечу, и оба стали молиться. Парень три раза поклонился богу и три раза матери. Ну вот, пошел он туда на царский бал. Там кто чем хвастается. Один говорит, что пароход сделаю, другой говорит — корабль, третий — лодку: всем хотелось бы цареву дочь в жены получить, но ничье хвастовство царю не понравилось. Ну вот, добро-хорошо, сын вдовы спрашивает царя:

— Можно и мне похвастаться?

Царь говорит:

— Можно, для этого ведь и бал устроен.

Ну вот, добро-хорошо, он и стал хвастаться, говорит:

— Я сделаю такую лодку, которая и по воде пойдет, и по земле.

Царь думает, что такой хитрости еще не слыхано, не видано. Потом царь спрашивает у него:

— А как скоро ты сможешь сделать, большой ли нужен срок?
Он в ответ спрашивает:

— А какой срок вы дадите?

Царь говорит:

— Дадим три месяца сроку, за это время надо сделать лодку.

Царь дал ему срок три месяца, а он в ответ похвастался, говорит:

— Мне трех месяцев срока не надо, я сделаю за трое суток!

Он похвастался и пошел домой, а его имя записали, что такой-то и такой-то человек взял такой-то срок.

Ну вот, добро-хорошо, приходит он домой. Мать спрашивает:

— Что, сын мой, на балу слышно было?

А он отвечает матери, говорит:

— Мое имя теперь, маменька, в книгу записали. Я похвастался царю, что сделаю такую лодку, которая одинаково идет по воде и по земле.

Мать говорит:

— Кажется, сын мой, потеряешь ты голову.

— Ничего, маменька, накорми; напои и благослови делать лодку.

Мать накормила, напоила, зажгла свечу, и сын три раза поклонился богу и три раза матери. Потом надел кафтан из грубого холста, подпоясался широким ремнем, за ремень [сунул] топор, на голову — широкополую шляпу и пошел в лес делать лодку. Вот, добро-хорошо, пришел он в лес. Нашел огромную сосну и начал топором рубить. Рубил, рубил, и свалилась сосна. Он топором делает метки, прикидывает, какой длины надо сделать [лодку]. Подошел тут к нему старый старик, с ивовой палочкой в руках, спрашивает:

— Что, сын мой, делаешь?

Сын вдовы говорит:

— Лодку, дяденька, делаю: похвастался королю, что сделаю такую лодку, которая и по воде, и по земле одинаково бы шла.

— Возьмешь ли, сын мой, меня на поденщину?

— Ой, дяденька, если бы ты согласился, так хорошо бы было!

Стали делать, старик и спрашивает у него:

— Какой длины сделаем [лодку]?

— А какую, дяденька, сделаешь, такая и будет хороша, — говорит сын вдовы.

(Уже ему дал полную волю.)

Старик начал палочкой мерять. Три с половиной палочки отмерил и спрашивает:

— Хватит ли теперь длины?

— А какую, дяденька, сделаешь, такая и будет хороша.

Потом старик отмерял ширины две палочки с половиной и опять спросил:

— Хватит ли тут ширины?

— А какую, дяденька, сделаешь, такая и будет хороша.

Лодку ту они сделали, и старик спрашивает у сына вдовы:

— К царю свататься едешь, а есть ли у тебя денег сколько-нибудь?

(В старину, смотри, при сватовстве надо было на стол деньги класть.)

Он отвечает:

— Нет, дяденька, ни копейки.

Потом старик дал ему кожаную мошну и говорит:

— На, сын мой, кошелек, здесь и денег нет, а никогда деньги не кончаются.

Поехали они на этой лодке по лесу, на дорогу выбираться. Старик дает советы парню, показывает, как надо ехать по земле, как по воде. Выбрались на дорогу. Старик спрашивает у него:

— Есть [у тебя] родичи, кого с собой свататься взять?

Он говорит:

— Нет никого, один я.

Старик советует ему, говорит:

— Нет, так никого не проси, а кто сам попросится, того и возьми.

Потом они попрощались со стариком, и парень поехал дальше один. Едет, едет, смотрит — мужик по дороге идет. Крикнул [парень]:

— Посторонись, посторонись, лодка на тебя наедет!

Подъехал он к мужику, поздоровался. Мужик спрашивает:

— Куда, брат, едешь на такой лодке? Не слышал и не видал я такой.

Он говорит:

— Еду к царю свататься.

— Возьми, брат, и меня свататься!

Он ответил:

— Садись в лодку.

Ну вот, добро-хорошо, мужик в лодку сел, а у мужика одна нога на свободе, а другая назад привязана. Жених спросил:

— Почему, дядя, у тебя одна нога привязана?

И он ответил:

— Мала, сын мой, земля, чтобы мне на двух ногах ходить.

Вот они едут вперед по дороге. Едут, едут, смотрят — по дороге мужик идет. Парень крикнул:

— Посторонись, посторонись, дядя, лодка на тебя наедет!

(Вот и дружки у него появились, ведь свадьбы без дружек не справить! И годные дружки будут.)

Подъехал он, мужик, и спрашивает:

— Куда, сын мой, едешь? Такой лодки не слышал и не видал.

— Еду к королю свататься.

— Не возьмешь ли, брат, и меня?

— Садись, — позвал парень.

Мужик в лодку поднялся, а у него на одном глазу ремень, другой глаз открыт. Парень спрашивает:

— Почему, дяденька, у тебя один глаз завязан?

Он ответил:

— Мала, сын мой, земля, чтобы мне двумя глазами смотреть.

Едут, едут, смотрят — опять по дороге мужик идет. Парень крикнул:

— Посторонись, дяденька, лодка на тебя наедет!

Подъехал к нему, поздоровались.

— Куда, братья, едете? Такой лодки не слышал, не видал.

— Едем к царю свататься.

— Возьмите, братья, и меня!

— Иди, — позвал парень.

Сел мужик в лодку, а у него половина рта закрыта ремнем. Жених спрашивает:

— Почему, дяденька, у тебя половина рта закрыта?

Мужик ответил ему:

— Мало, сын мой, мало на свете места, чтобы мне во весь рот говорить.

Путь по суше кончился, и лодка зашла в реку. Ну вот, добро-хорошо, мужик на берегу реки лежит, заснул и язык через реку перебросил. Парень крикнул:

— Убери, дяденька, язык, смотри, лодка на язык наедет!

Мужик это услышал, язык убрал в рот и встал. Подъехал парень, поздоровался. Мужик спрашивает:

— Куда, братья, едете? Такой лодки я не видал и не слышал.

— Едем к царю свататься.

— Возьмите, братья, и меня!

— Иди, — зовет парень.

(Смотри, какие дружки собираются!)

Мужик в лодку поднимается, а парень и спрашивает:

— Почему, дяденька, у тебя язык поперек реки был?

— В жаркий день заснул, и язык поперек реки оказался. (Вот дружки к царю свататься едут!) [Сам рассказчик посмеивается, говорит: «Даже удивительно!»]

Поехали дальше. Ехали, ехали, [видят]: мужик воду из реки пьет и все устье реки себе в рот забрал. Ну вот, хорошо, подъезжает он [сын вдовы] туда и кричит:

— Закрой, дяденька, рот, смотри, лодка в рот заедет!

(Это очень хорошая сказка, если бы в один присест рассказывать. Даже сердце подмывает, как начну рассказывать.)

А мужик отвечает:

— Ах, в жаркий день очень пить захотелось, всю реку в рот пришлось взять.

Подъехали поближе, поздоровались:

— Куда, братья, едете? Такой лодки я не видел и не слышал.

— Едем к царю свататься.

— Возьмите, братцы, и меня!

— Садись, — говорит парень.

Вот, добро-хорошо, путь кончился, и они заехали во двор царя дворца. Зашли во дворец. Девушка подскочила к окну посмотреть, в хорошей ли одежде родичи [жениха], а сам жених, когда приходил хвастаться, был в очень плохой одежде. Посмотрела в окно — а на всех сватах рвань рвани рванее, лохмотья на лохмотьях висят, один хуже другого.

(Хоть и висят лохмотья, но укоротятся, пока от этих сватов отделаетесь!)

Она отпрянула от окна, больше не смотрит даже. Ну добро-хорошо, пришлось их встретить, раз [сын вдовы] обещание выполнил. Встретили и начали их угощать, как всегда сватов. Вина им несут, кормят, поят как следует. Ну вот, добро-хорошо, со-сватали они (цареву дочь), и надо свадьбу справлять. Кончили угощаться, и пришло время деньги на стол класть.

— Ну, — у царя жених спрашивает, — надо ли еще деньги на стол выложить?

— Как хочешь, а у царя денег хватит, — говорит царь.

— Коли закон такой, то надо класть, — говорит жених.

Он взял, достал из кармана ту пустую мошну и стал трясти над столом. Раскрыл мошну и высыпал из нее кучу золотых, высотой с шапку. (Хоть кафтан и рваный, а золото было!) Потом спрашивает у царя:

— Еще насыпать денег или хватит?

Царь останавливает:

— Хватит уже, хватит, у царя денег достаточно!

Ну вот, добро-хорошо, никак не избавиться, надо свадьбу справлять. Начали [к свадьбе готовиться] и думают: не по нраву, хотелось бы их погубить. Царь спрашивает у сватов:

— Не хочется ли вам в бане попариться после дороги?

Жених говорит:

— Не плохо бы было.

Ну, они чугунную баню целые сутки топят, уже дрова под-кладывать невозможно зайти. Дали знать, чтобы сваты в баню шли. Жених говорит тому мужику, у которого язык был перекинут через реку:

— Иди, Длинный язык, посмотри баню, можно ли идти — может обманывают.

Ну вот, добро-хорошо, Длинный язык пошел баню посмотреть.

Открыл дверь, а в бане стены, что ягодки красные, и близко подойти нельзя. Он вытянул язык до другой стены и выдохнул — стены покрылись инеем: как будто баня и в прошлом году не топилась, не только что в этом году. Он вернулся обратно и говорит:

— Кто бы ни приехал в чужую страну, так каждого сумеют обмануть. Баня с прошлого года не топилась — даже стены покрылись инеем.

От царя ходили смотреть, правда ли это. Пришли — правда, так и есть. Вот добро-хорошо! Они ночь тут спят. На вторые сутки царь велел топить медную баню. Опять истопили, приготовили, не могли больше зайти, чтобы дров подложить, такая жара. Говорят:

— Идите теперь, сваты, в баню, баня готова!

Опять жених приказал:

— Иди, Длинный язык, посмотри, можно ли в баню идти.

Идет Длинный язык баню смотреть, видит — опять, как ягодка, красная, даже близко подойти нельзя. Он опять язык высунул до другой стены, опять стены инеем покрылись. Приходит обратно к другим, говорит:

— Кто бы ни приехал в чужую землю, всех обманывают, вторые сутки подряд, — баня с прошлого года не топилась.

Пошли посмотрели — правда, стены инеем покрылись. Пришлось им на третьи сутки остаться, не могут в бане попариться, и свадьбу не справляют. Третьи сутки топили серебряную баню. Уже не могут зайти, чтобы дров подложить — такая жара. Приходят домой, говорят:

— Идите, сваты, в баню, баня готова!

Жених опять говорит Длинному языку:

— Иди, Длинный язык, посмотри баню.

Длинный язык идет смотреть, открывает дверь, а стены, что ягодки, красные. Он опять язык вытянул до другой стены, и опять стены инеем покрылись. Приходит обратно к своим и говорит:

— Кто бы ни приехал в чужую страну, так каждого третьи сутки подряд обманывают!

Царь смотрит, что никак нельзя отделаться от этих людей. И опять что-то придумывает, свадьбу не справляет.

— Вот, — говорит царь, — нельзя нам еще свадьбу справлять, тем паче царскую свадьбу. Нам надо достать графин живой воды!

Жених спрашивает у него:

— А где нам ее достать?

Царь дает совет сватам:

— В таком-то и таком-то городе, за двумя морями, есть такая вода.

— А скоро ли надо принести? — спрашивает жених.

— Трое суток дам сроку, — говорит царь.

А жених отвечает:

— Если за сутки не принесут, так и за трое не принесут!

(Никак не поддаются, вот на каких напали!) Жених приказал мужику, у которого нога была привязана:

— Развяжи ногу и иди сходи. Купи графин живой воды и возвращайся обратно!

Мужик ногу развязал, шагнул раз — море перешел, шагнул второй раз — второе море перешел, и вот уже в городе. Оказался он на пристани. Там девушка в жемчугах, купцова дочь, которая живую воду продавала, как раз умывалась. Они тут разговорились. Другие у царя ждут, время проходит, а они, парень и девушка, там, на пристани, все беседуют. Тогда жених говорит тому мужику, у которого глаз завязан:

— Открой глаз, посмотри, где ушедший за водой.

Тот глаз развязал, посмотрел и говорит:

— За двумя морями, на пристани разговаривает себе с купцовой дочерью, а в город даже еще не ходил.

Тогда жених говорит тому, у кого половина рта завязана:

— Развяжи рот и позови ушедшего за водой!

Тот развязал рот и крикнул — гаркнул, что полчаса царев дворец дрожал. Ушедший за водой услышал крик, быстренько взял воду, шагнул раз — море перешел, шагнул второй раз — второе перешел и вернулся.

Теперь задания все выполнены, никак нельзя избежать свадьбы. Ну, стали они к свадьбе готовиться. Царь стал толковать и впервые назвал сына вдовы зятем. Говорит:

— Зять и сваты, сколько вина для свадьбы приготовить? Других запасов хватит у царя, уже и не считаемся.

Зять и сваты ответили:

— Это твое дело, сколько пригодишь, то и хорошо будет.

Царь говорит:

— У меня сынов много, которых надо напоить.

(*Про солдат, видишь, говорит.*)

— Много сыновей, так приготовь, сколько хочешь, нам все хорошо.

Царь ответил:

— Много ли мало ли, а пятьдесят сороковых [бочек] надо вина.

Жених ему ответил:

— Да что пятьдесят сороковых, ни твоим сыновьям, ни нам, сватам, не будет досыта!

(*Ни в чем не уступит!*)

Царь у жениха спрашивает:

— А сколько, по-вашему, надо?

— По нам, мало-мало, а пятьсот сороковых надо бы.

Начали вино собирать по лавкам, складам и все вино собрали. Вино установили наверху, а книзу желоб провели. По желобу вино течет вниз, каждый пусть пьет, сколько хочет — умрет так умрет, суда никакого не будет. Царь говорит:

— Ну, теперь зять и сваты, вино приготовлено, надо начать свадьбу справлять.

— А перед свадьбой надо попробовать, каково вино, — говорит зять.

Вот, добро-хорошо, посылает он того мужика, у которого река во рту умещалась:

— Иди попробуй, каково вино.

Мужик тот пошел вино пробовать. Он взял конец желоба в рот, и пустили вино течь. Вот, добро-хорошо, стал он вино пить, а из желоба мало вина течет. Он по желобу кулаком бьет:

— Лейте вино, лейте вино!

Из одной бочки вылили, из другой бочки вылили, уже из десяти бочек вылили. Солдаты, что вино сливали, все в поту, бочки к желобу прикатывают, а он все кулаком по желобу бьет: «Лейте вино!». Лили, лили, стали смотреть, так с вином только пятьдесят бочек осталось, а пустых бочек вдоль всей стены чetrеста с половиной. Солдаты закричали:

— Нет больше вина!

А мужик тот говорит:

— Всего-то вина на царевой свадьбе: ни охмелеть, ни развеселиться не пришлось!

Долгонько он вино пил, и жених пошел уже узнавать. Мужик уже навстречу шел. Жених спрашивает:

— Хорошо ли вино?

— Не знаю, хорошее или плохое, но мне крикнули: нет вина!

Пошли они к царю и говорят:

— Давай свадьбу дальше играть.

Свадьбу справили, и молодые спать пошли, а дружки и остальной народ кто куда разошлись.

Стали жить, сваты были в лохмотьях, и жених вроде нехорош был, а стали жить, так царевой дочери понравился жених, и стал он ей люб. Стали очень хорошо, дружно жить. Жене хоть и люб, а царю не люб: он все еще думает, как бы погубить [его]. Собрались утром чай пить, а царь заводит разговор:

— Вот, — говорит, — зять, ты к нам очень бедный пришел. Вот, — говорит, — там за морем есть такой город: кто там хоть немного послужит, может взять добра, сколько хочет.

Пошли они с женой спать, а им жалко друг с другом расставаться, толкуют между собой:

— Вот, — говорит жена, — отец тебя не за добром посылает, а хочет тебя погубить. По пути к тому городу, на середине моря есть остров, а на том острове живут летучие змеи, они жают всех, кто туда идет, никто оттуда еще не возвращался.

Потом она еще дает советы мужу:

— Раз ему [царю] охота тебя погубить и он второй раз заговорит об этом, то ты попроси полк солдат, корабль и лодку, на корму пороху запас и всякого припасу на год — пусть и ему

[царю] будет изъян. Может, его душа будет довольна. Как доплывешь по морю до змеев и змеи как начнут летать и клевать, ты бросайся в лодку, спичку чиркни, в порох спичку брось и сам прыгай в море. Ты ведь правый, и тебя огонь не сожжет и вода не утопит!

Ну вот, добро-хорошо, они ночь переспали, и наступает утром время чаепития. Собираются на чай, а царь опять и заводит разговор:

— Вот, зять, пришел ты к нам совсем бедный, а можно бы за морем в городе достать какого угодно товару, только надо немного послужить.

Те сутки прожили. Они с женой совсем не спят, все толкуют и плачут, так им жалко друг с другом расставаться. На другой день идут чай пить, а уже надо собираться ехать. Зять тот и говорит царю:

— Чтоб туда ехать, мне нужен корабль, полк солдат, всякого припасу на год и пороху.

Царь с радостью все ему дает, ничего не жалко, только бы убрался [зять]. Все наготове, а зять только сидит. *(Вроде как я здесь.)*

И отправляется он в море. Едут по морю и уже приближаются к острову, где змеи живут. Стали подплывать к острову, и он взял для себя еды, прыгнул в лодку и бросил зажженную спичку в корабль. Корабль поплыл дальше, а он в лодке остался. Как черная туча, бросились змеи на корабль, и в тот миг, как зажегся, взорвался порох, которые-то змеи сгорели, которые-то утонули в воде. *(Путный мужик, как отправился в море, так еще и другим дорогу очистил.)*

Он дальше плывет, плывет — нет ни корабля и ничего. Плыв, плыв и попал в тот самый город, куда ему надо было ехать. Добро-хорошо, приехал он в тот город и ходит, смотрит, куда на ночь податься. *(Ровно как я в этот город приехал.)* Попал в дом очень богатого купца: очень большая торговля у того купца, сам счету не знает. Попросился он к купцу на ночлег. Пустили его на ночь и очень хорошо угощают, кормят, поят. Хозяин начинает расспрашивать:

— Как ты, чужестранец, попал сюда?

— Пойдешь, так и попадешь, — отвечает он.

Хозяин спрашивает у него:

— А на какое ты дело пригоден?

— На какое дело надо, на такое и пригоден, любое дело справлю.

Хозяин говорит:

— Нам как раз такой человек нужен, я бы тебя поставил приказчиком.

— Могу, — говорит царев зять.

— Ради одной и двух недель, — говорит хозяин, — мне не хотелось бы нанимать. Прослужил бы у нас хоть по меньшей мере год.

Он ответил хозяину:

— Хозяин, если понравимся друг другу, то, может, и два года будем вместе.

(Ого, вот человек хоть и беден, но толковый был!)

Договорились на год, и он стал служить в лавке приказчиком. Торгует он в лавке очень честно, бойко и весело — сколько четверо приказчиков наторгуют, он один наторгует. *(Веселых людей и в старину народ любил.)*

Ну вот, год он торговал, и вышел срок. Содержание ему готовое, вина не пьет и ни на что другое не берет у хозяина денег. Очень он хозяину по душе пришелся. Хозяин с ним разговаривался, говорит:

— Может, еще год пробудешь?

Он не возражает, говорит:

— Если я тебе, хозяин, по нраву, то пробуду еще год.

На второй год хозяин уже всю казну ему доверил и стал уже посылать его в другие страны закупать товар, что только требуется. Он съездит и возвращается, отчитывается за все честно, ничего плохого не допускает. Так прослужил он второй год. Вышел срок, и хозяин опять начал с ним говорить:

— Будешь ли еще третий год служить? Если останешься на третий год, то отдам тебе и дом, и лавки.

Уже ему и скучновато, и жена все на уме, но все же остался на третий год. А хозяину говорит:

— Не надо мне ни дома, ни имущества, я по-прежнему прослужу третий год.

И третий год он прослужил по-прежнему, торговал товаром за четверых приказчиков. Настал тот день, срок кончился, и захотелось ему поехать домой. Хозяин опять стал разговаривать, говорит:

— Все возьми себе, а если время для тебя здесь проходит незаметно, то останься еще.

Он говорит:

— Не могу больше остаться, у меня жена, надо ехать. А добро, если я сколько-нибудь заработал, перед отъездом отдам.

Ну вот, добро-хорошо, стал собираться он домой, хозяин отпускает. Хозяин говорит:

— Во-первых, — говорит, — дам я тебе корабль, какого не видели и не слышали в том государстве. А каким товаром нагрузим? — спрашивает у него хозяин.

(Зарботки не пустяковые, даром что три года служил!)

Он отвечает:

— А чего не жалко, хозяин, тем и нагружай.

Хозяин говорит:

— Если мне волю дашь да если сгодится товар, так я нагужу шкурками выдр.

Ему это по душе пришлось. Нагрузили корабль шкурками выдр. Дал шкиперов в путь. И дал им денег, говорит:

— Смотрите, чтобы у него ничего не брали, а обратно возвращайтесь как-нибудь с помощью денег.

Поехали они и добрались до своего государства, до своей пристани. Смотрят оттуда — идет иностранный корабль, с иностранными флагами. Думают: хоть бы не с войной шел! Ну, раз один корабль, так не с войной идет. Все пошли на берег встречать, и царь с дочерью пошел. Пришли — да ведь это свой, царский зять, в добром здравье. Он и говорит царю:

— Этот корабль мой и товар мой, иди посмотри, понравятся ли товары?

Царь пошел на корабль, а корабль доплана нагружен шкурками выдр. Царь говорит:

— Молодец, зять, — этот корабль и шкурки стоят половины нашего царства!

Вот добро-хорошо, царь принял зятя и его провожатых и пригласил всех в гости. Провожатые погостили сутки, хотели бы уехать, да царь не отпускает, трое суток гостили. Трое суток погостили провожатые и поехали домой. А сын вдовы остался с женой жить. Раньше жили согласно, а, побывши в разлуке, стали жить еще согласнее. И царю зять стал люб.

Я там по пристани ходил, смотрел корабль и шкурки, и мне отрезали кусок шкурки, сделал из нее кисет. Он и сейчас у меня есть.

23. KOLMEKYMEN KOLME POIGUA

Oli sie ennen mužikku da akku. Ei ollut heile lastu ni miituttu. Eletih hyö vahnaizeh sah. Lähti mužikku erähän päivän halguo leikkuamah. Palaizen astuw kois päi, löwdäw häin yheksä d'äiččie. D'äičät ottaw, šuapkah panow. Rubei mužikku duwmaičemah: «En ota nämii d'äiččoi, tulles otan ehtäl».

Heittäw d'äičät mužikku heinikköh, iče lähtöw meččäh. Mužikku päivän mečas leikkuaw halguo, siid lähtöw kodih. Tulow sih samaizeh kohtah — ewle d'äiččoi. Mužikku pr'ähkăw: «Kunna liennöw d'äičät mendy, ken liennöw ottanu d'äičät». Tulow kodih, akale sanow:

— Tänäpäi lövvin yheksä d'äiččie. I šuapkan kere panin heinikköh, tulles ehtäl ei olluh d'äiččoi.

Akkah sanow:

— Kačo, gu olet prostoi, hoz myözimmö d'äičät, ga rodizih leibiä meile kodvakse syvvä. Toiči, — sanow, — älä nenga rua.

Tossu huondeksen lähtöw mužikku meččäh. Menöw samaizeh sih kohtah, löwdäw kaheksatostu d'äiččie. Ottaw mužikku šuapkah panow

i heittäw heinikköh, sanow: «En ota minä d'äiččoi meččäh, ielleh-järilleh talutella, vie murendan».

Iče lähtöw halguo leikkuamah. Mečas häi päivän halguo leikkuaw, lähtöw kodih ehtäl. Tulow samaizeh sih kohtah. Rubiew d'äiččoi ečči-mäh — ewle d'äiččoi. «Nygy, — sanow, — d'äičät ken on ottanu. Akale sanozit, ga akku lyös». Lähtöw kodih. Tulow kodih akalluo. Akale sanow:

— Tänäpäi lövvin kaheksatostu d'äiččie i heltin šuapkan kere heinikköh. Tulles opiin eččie, ga ei ollu.

Akkah sanow:

— Oh stervu, sinä gu olet prostoil Sidä perie pidäw igä kai olla kewhänny.

Mužikku sanow:

— Hyvä, akku, enämbi en muga rual

Lähtöw mužikku kolmanden päivän meččäh. Menöw, rubei duw-maičemah i löwdäw kolmekymmen kolme d'äiččie. Mužikku rubei duw-maičemah: «Nygöi nämii d'äiččoi en d'ätä täh, nygy lähten kodih, vien akale d'äičät».

Panow d'äičät poveh i lähtöw kodih. Palaizen astuw dorogua myö-ten, hyppiäw d'äiččy poves. Roiheze hyvä briha i sanow:

— Terveh, tuatto!

Mužikku lähtöw ielleh kodih. D'äičät kirvotah kai yksittäen poves, rodih kolmekymmen kolme poigua mužikale. Kai poiijat kirutah tuatakse. Mužikku lähtöw astumah kodih päi. Menöw kodih akalluo. Mužikku sanow akalleh:

— Minä toin täh kolmekymmen kolme poigual

Akkah sanow:

— Nämät poiijat hyvät oldas, toine tostu parembat, kuibo myö rubiemmo syöttämäh poigii? Meil ewle syvvä leibie, olemmo kewhät.

A poiijat sanotah muamalleh:

— Älä, muamo, pöllästy meijän syötändie. Myö rubiemmo teidy syöttämäh, tuatto da muamo, eluo suamah, teidy syöttämäh!

Hyö ruvettih elämäh, eluo suamah, tuattua da muamua syöttämäh. Elettih hyö talvi, tuli kevät. Keväil hyö kagrat kylvettih i heinarres heinie niitettih, mi heile slieduičih. I tulow sygyzy. Sygyzyl menöw mužikku heinysaraidu kaččomah. Sarais on heinie äijy kadonut, i sanow poiijile:

— Poiijat, meijen sarais heinie on äijy kadonu, saraih vorat kävväh.

Yksi lähtöw, vahnin poigu, karavuwlah, Stepan. Menöw, heinih peitäh, on yön kaiken, huondeszor'ah sah — ni midä ei näe. Huondeszor'al kuuliškanzi šumu meres päi. Stepan nosti peän i kaččow: nowzi hebo meres päi, zerku, i kolmekymmen kolme sälgyw. Tuli hebo heinysaraih, sällyt d'al'es. Rubei hebo heinii syömäh. Min syöw, kaksi mostu kab-d'oil šingow. Stepan otti hebuo pal'al peäh iški, hebo polvilieh kirboi, i Stepan panow suičet hevole peäh. I hebo dieviw ristikanzan iänen:

— Aivoin, Stepan, tämän ruavon ruadoit!

— En ole aivoi, kačo min nygy heinie taskaičit minun sarais.

Hebo sanow Stepanale:

— Taskaičin, ga sinule roimmoh minä igäine sluzakku.

Stepan nowzow hevole selgäh i lähtöw kodih. Tulow kodih, panow hevot tahnuah i kai kolmekymmen kolme sälgYW i sanow kaikile vellile:

— Nygy, veikoit, minä toin kolmekymmen kolme hebuo, kaikile vellile roiheze hevot. Nygy voimmo myö elie.

Hyö ruvetah elämäh ylen hyvin. Kodvaine eletäh, tuattoh kuolow i muamoh kuolow. Siid vahnin velles Stepan rubiew sovietuičemah, sanow:

— Nygy myö emmo rubie täs elämäh. Nygy lähtemmö myö muadu kaccomah da iččie ozuttamah i hyvii muččoloi eččimäh.

Hyö lähtietäh erähän päivän. Nostah heboloile selgäh i lähtietäh ajamah dorogua myö. Ajetah, ajetah tropinkoi myö, meččie myö. Tulow meččydorogal perti vastah heile. Mennäh pertih Syvätterien akalluo, Syvätterien akku kzyzw:

— Ket työ oletto, kunna menettö?

— On meidy kolmekymmen kolme vellesty i lähtimmö muadu kaččomah, iččie ozuttamah i hyvii muččoloi eččimäh.

Syvätterien akku sanow:

— On minul kolmekymmen kolme tytärDY, roih teile kaikile mučoit.

Hevot pannah tahnuah, iče ruvetah svuad'bopaginoi pagizemah. Sutkat paistah, svuad'buo pietäh hyö, a Stepan sanow:

— Pidäw lähtie heboloi kaččomah.

A Syvätterien akku sanow:

— Älä lähte kaččomah hebuo, meil kačotah valmehekse hebo.

Stepan sanow:

— Minä maltan hevol ajua i maltan i kaččua.

Menöw Stepan hevolluo. Hebo seizow veres kabd'oin kawti. Stepan sanow hevole:

— Miksebo seizot veres kabd'oin kawti?

Hebo sanow Stepanale:

— Minä, poigani, seizon kabd'oih kawti sikse — teijen peät on menemäs. Huomei huondeksel tuow Syvätterien akku kolmekymmen kolme neijisty. Sinä, — sanow, — ota — olet vahnin velles — vahnin Syvätterien akan tytär i malta hänen kere eliä. Azuta kolmekymmen kolme kostelii pajas rawdastu i mene neidizen kere sen kahtei vihandah nurmeh, lagieh peldoh (a neidine sinun kere ei pagize ni midä) i kolmekymmen kaksi kostelii murenda hänen selgäh. I kuni et kolmekymmen kahtu kostelii murendanne selgäh, älä heitä lyöndiä. Kolmekymmen kaksi kostelii murendat, siid d'ieviw neidine paginan. Siid sinul neidine kzyzw: «Midä sinulles pidäw?». Sinä muwdu ni midä hänel älä pakiče: pakiče samoletuči kowru i nevidimkoi kolpakku i ruostunu miekku. Sidä neidine sinulle ei tahto andua. Sinä murenda kolmaskymmen kolmas kosteli selgäh. Siid neidine andaw sinule kai, midä sinule pidäw.

Erähän päivän huondeksel tuow Syvätterien akku kolmekymmen kolme tytärDY, sanow:

— Poijat, nygy toin minä kolmekymmen kolme tytärty, — sanow, — ottagua, kelle miittuine pidäw.

Häin ottaw, Stepan, vahnin velles, i vahniman tyttären, i lähtietäh vihandah nurmeh, lagieh peldoh, i rubiew sidä neidisty pagizuttamah. Neidine ni midä ei virka. Ottaw häin kostelit, kolmekymmen kaksi, i yhten kostelin d'ättäw zuapastah. Davai rubiew häin neijisty lyömäh kosteliloil, i kolmekymmen kaksi kostelii kai murendaw selgäh, i d'iaivi neidine paginan i sanow neidine:

— Midä pidäw, Stepan — *bogatjrskaja sila*?

Stepan sanow:

— Mille ni midä ei pie, mille pidäw samoletučoi kowru i nevidimkoi kolpakku i ruostunu miekku.

Neidine sanow:

— Sidä minä en voi andua.

Häi ottaw, Stepan, rubiew vie kolmaskymmen kolmandel kostelil lyömäh i selgäh kaiken murendaw, i neidine sanow:

— Nygy minä kai annan, vai piästä minuwh hengih!

Andoi neidine letučoin kowran, nevidimkoin kolpakan i ruostunuon miekan. Lähtiettih kodih Syvätterien akalluo. Tullah kodih. Menöw hevolluo Stepan. Hevole andaw ned kai: ruostunuon miekan, samoletučoin kowran, nevidimkoin šuapkukolpakan, i iče vieröw muata pertih. Huondeksel novzow. Sanow Stepan:

— Pidäw lähtä hevolluo, kaččomah hebuo.

A Syvätterien akku sanow:

— Midä menet hevolluo?

Stepan sanow:

— Minä hevol maltan ajua, maltan i kaccuo.

Menöw Stepan hevolluo. Hebo seizow polvien kawti veres. Hevol kyzjw:

— Midäbo nenga seizoi polvien kawti veres?

Hebo sanow:

— Oi, poigani, sikse minä seizon polvien kawti veres — teijen piät roih tän'yön leikattavakse. Ehtäl tuow Syvätterien akku kolmekymmen kolme tytärty i panow muata teijen kere. Tyttäril on kaikil valgiet šuapkat piäs i teil on mustat šuapkat piäs.

Hebo nevvow Stepanale:

— Vierettä muata muččoloin kere: muwt vellekset uinotanneh — sinä älä uinuo. Sinä, kaikin uinotanneh i neidizet i vellet sinun, ota šuapkat neidizil piäs, pane net šuapkat vellile piäh, ota ičelles, a neidizile pane mustat šuapkat. Siit tulow Syvätterien akku teijen piälöi leikkuamah keskiyön aigah. Syvätterin akku gu tulow i piät leikkuaw tyttäril, a teijen piät d'iahän leikkuamattah.

Tulow ehty. Tuow Syvätterien akku kolmekymmen kolme tytärty i sanow brihoile:

— Vävyt, ottakkua täs iččes mučoit, i pidäw viertä muata!

Syvätterien akku toi tyttäret. Otettih joga mies mučoit i viertih muata, kaikin yhteh komnattah.

Viertih muata, net kai vellekset uinottih dai mučoit, a Stepan ei uinuo. Puoleh yössä muattih. Stepan smenii neidizien šuapkat, pani brihoile piäh, a brihoin šuapkat neidizile piäh. Stepan kuwlow — tulow Syvätterien akku. Otti piät leikkai, kudamil on mustat šuapkat piäs, kaikil kolmekymmenel kolmel hengel. (*Smiettiw — on brihat, a puwtui lejkata omil tyttäril.*) I Syvätterien akku pani lukun uksele. Otti Stepan nowzi i vellet nostatti maguamas.

— Noskua vai, veikoit, maguamas i kaččokkua, midä meile on čuuduo!

Vellet nostih i pöllästyttih kaikin. Stepan sanow:

— Nygy ei pie pöllästyö, meile pidäw iäre paeta. Yksikai täs ollemmo — meil on piät mennyöt.

Hyö ei voija ni kunna piestä muijale: otettih da ikkunas lähtiettihi. Hyö lähtiettihi ikkunas, heboloile selgäh nostih, ajettih, ajettih mene tije min aigua. Syvätterien akku huondeksel tuli — omil tyttäril on piät leikkattu, a vävyt on pajettu iäre. A Syvätterien akku sanow:

— Minä olin ownas, nämät ollah vie ownahembat. Hos, — sanow, — pagenitto, yksikai tabuan.

Häi lähti, Syvätterien akku, jälles ajamah. Kuwluw, kohu jälles tuliškanzi. Stepanan hebo sanow:

— Nygy meidy tabuaw i tappaw. Nygy muijal ni kunna ewle howduw, pidäw piäliči merez hypätä.

Piäliči merez hypättih. Ehtittih vai hypätä, i Syvätterien akku jälles hyppiemäh rubei. Hebo sanow Stepanale:

— Viippua ruostunuol miekal jällele päil

Stepan viippai jällele päi. Syvätterien akku ehtii vai tulla puoleh mereh, i hänel piä pakui — i Syvätterien akku jowdui mereh.

Hyö piästih sinne piäliči meres, net kolmekymmen kolme vellesty. Hyö ollah sie. Azetuttih. Kolmet sutkat heboloile syötetäh da iče huogavutah. Kolmien sutkien proidihuw Stepan sanow toizile vellile. Sanow:

— Veikot, nygy pidäw meil erota kelle kunnagi, yhtes ei sua kävellä. Pidäw joga miehel omal ičel omua piädy syöttie da omua muččoi eččie da muadu kačču.

Hyö erotah, proščaitahes, lähtietäh ken kunnagi ajamah heboloile kere. Ajettih, ajettih, i Stepan puwtuw linnah. Menöw linnah i leskiakkah yökse puwtuw. Leskiakkah taričeh yökse fatieral. Yön maguaw. Huondeksel nowzow Stepan, sanow leskiakale:

— Mene linnale, eigo midä kuwlu noovostii, da osta midägi syömisty mille.

Andaw dengua. Leskiakku lähtöw linnale i ottaw hälle syömisty kaikenualastu, i leskiakku kuwndelow, midä rahvas paistah.

— Rahvas paistah, — sanow, — cuarile pidäs kon'uhhu, ei voi löwtä kon'uhhua.

Tuli leskiakku kodih, andoi hälle syömizet, produhtat, i Stepan kyzzyw:

— Viego midä kuwluw, t'owta-rukku?

T'owta sanow:

— Cuarile pidäw kon'uhhu, ei voi löwtä kon'uhhua, hevon kere.

A Stepan sanow:

— Pidäw minul lähtie taritakseh, eigo minuw ota, jowte olles.

Stepan lähti cuarih. Meni cuarin dvorcah. Kirjutti zajavlenijan, andoi prisluwgoile. Prisluwgat viedih cuarile. Cuari tuli vastah poijan kere. I priimi cuari Stepanan kon'uhakse. Rubei Stepan siid kon'uhakse oman hevon kere. Omua hebuo kaččow i ajaw kunna pidäw, kunna käs-kietäh. On siid vuvven.

A cuarin poigu duwmaiččow naija. Cuarin poigu tulow erähän päi-vän sen Stepanan luo, sanow:

— Stepan, nygy myö sinun kere lähtemmö mučoidu eččimäh mille nengomah carstvah, nengomah gosudarstvah, nengoine neidine Katerina Prekrasnaja-devica.

A Stepan pöllästy: «Kuibo minä nengoman suan cuarin pojale, nengoman neidizen?». Menöw Stepan erähän huondeksen hevolluo itkun kere, sanow hevole:

— Cuarin poigu mille andoi nengoman prikuazan: pidäw mille lähtä mučoidu eččimäh nengomah carstvah, nengomah gosudarstvah, nengoine neidine Katerina Prekrasnaja-devica mučoikse pidäw suaha.

Hebo sanow Stepanal:

— Suamai ruvettui kai voibi suaha, — hebo sanoi. — Mene sano cuarin pojale, što «minä lähten oman hevon kere».

Stepan meni cuarin pojalluo, dielon doložii. Sanow:

— Minä voin lähtie oman hevon kere.

Cuarin poigu sanow:

— Yksikai voit ottua i oman hevon.

Hyö lähtietti erähän päivän, hebo val'lastettih i lähtietti ajamah. Ajettih sih samaizeh carstvah. Mendih carstvah, mendih sih samaizeh stolišnoih cuarin linnah. Mendih linnah, opitah mennä cuarin dvorcah. Ei voida ni podoidieksesh. Hebo sanow ženihäle:

— Minä muwtamos sadukse: roiheze sadu cuarin dvorcalluo, täs carstvas mostu saduo ei ollut da ni rodei ei. Siid cuarin tytär tulow sidä saduo kaččomah. Cuarin tytär ku tulow kaččomah saduo da gul'aiččemah, — sanow, — minä zahvatin selgäh, i neidine ku selgäh puwtunow, dai työ hypäkkie, älgie zevaigua.

Muga hebo ruadoi: saduksi muwtiihize. Sis carstvas mostu saduo ei ollut da ni rodei ei. Erähän päivän cuarin tytär kaččow ikkunas:

— Tol'ko täh on sadu rodinuheze, nengostu saduo ei ollut meijen carstvas.

Cuarin tytär sanow muamalleh:

— Muamo, työnnä neččih saduh gul'aiččemah i kaččomah.

Muamah sanow:

— Ka mene, tytär.

Cuarin tytär lähti saduo kaččomah. Gul'aiččow sie mene tie min aigua, l'ubuičcheze juablokkua, muarjua, svetua. Gul'aičči, gul'aičči i huavaičči lähtie iäre. Zahvatii hebo cuarin tyttären selgäh — i Stepan i cuarin poigu hypättih pagoh.

Ajettih, ajettih i tuldih oman cuarin, sen samaizen dvorcah. Tuldih cuarin poijan kodih i mučoi tuodih. Ruvetah hyö svuad'bua pidämäh. Se Katerina Prekrasnoi sanow:

— Minä venčale en mene, kuni ei rodineheze mille omua venčan ualustu pluat't'ua, omua cuarin luajittua, tuatan luajittua, da iččeni imenoidu kuldaistu kol'čaištu.

Aivin neidine ei soglassei. Erähän päivän cuarin poigu sanow Stepanale:

— Stepan, pidäw tuvva minun mučoin venčan alle pluat't'u i iččeh imennoi kol'čaine. Kuni sidä ei rodineh, sini mučoi venččah ei lähte. Pluat't'u i imennoi kol'čaine on cuarin perimäizes komnatas.

Stepanale prikuazan andaw: se pidäw tuvva štobj n'e stalo. Stepan pöllästy: «Kui minä voin tuvva sen i cuarin komnattoih mennä? Cuarin dvorcan lähäkse ei sua piästä». Stepan menöw hevolluo ylen pahas mieles, pečal'noi. Hebo sanow Stepanale:

— Midäbo olet, izändy, ylen pahas mieles?

Stepan sanow hevole:

— Kuibo minä en voi olla pahas mieles: nengoman cuarin poigu prikuazan andoi. Pidäw tuvva cuarin poijan mučoi le venčan ualine pluat't'u da iččeh imennoi kol'čaine. Kuibo minä voin tuvva? Ne to što cuarin komnattoih piästä, ga ni cuarin dvorcan lähile piästä ei sua. Vaste cuarin tyttären otimmo vargahuol, nygy sih carstvah mennet — tapetah.

Hebo sanow Stepanale:

— Oppie pidäw.

Erähän päivän lähtietti. Mennäh sih carstvah, sih samaizeh linnah, i cuarin dvorcan lähile ajaw Stepan hevol. Hebo sanow Stepanale:

— Lähte selläz iere, minä muwtamos moizekse hevokse — täs cuarin carstvas ewle mostu hebuo. I, — sanow, — työnä minuw välläle. Ku välläle minuw piästänet, iče pane nevidimka kolpakku piäh. Siid minä rubien juoksendelemah ymbäri cuarin dvorcas, kai rahvas tullah hebuo tabailemah, i iče cuari tulow kaččomah. Sie roiheze komnatat jowte, ni kedä ei rodei. Sinä mene sih samaizeh komnattah, ota se samaine venčal'noi pluat't'u i imennoi kol'čaine. Minä, hoz äijy tabailtannow, en heittäi ni kelle.

Siid hain hevon piesti välläle. Hebo rubei juoksendelemah ymbäri cuarin dvorcas. Rahvas dogadittih, sanottih:

— Kačo, hebo miittuine juoksendelow, nengostu hebuo ewle täs meijen carstvas!

Kai cuarin načal'stu hyppäi sidä hebuo tabailemah, kaččomah. Hebo ni kelle ei heittäi, i Stepan meni cuarin komnattah, sih perimäizeh. Otti cuarin tyttären pluat'an i kuldaizen imennoin kol'čaižen, ni ken ei nähny. Hebuo aivin opitah rahvas tavata. Meni sinne Stepan hevolluo. Stepan sanow rahvahale:

— Vuota, minä opin tavata, eigo mille heittäi.

Rahvas sanottih:

— Myö tabailimmo, ga ei heittänyheze, sille taki ei heittäi.

— Menöw sinne hevolluo, lähenöw. Hebo polvilleh heitäh Stepanale edeh. Stepan selgäh nowzeldaw i lähti ajamah iäre. Rahvas sih d'iedih.

I tullah sih samaizeh oman cuarin carstvah i omah cuarin linnah. Stepan pani hevön omah cuarin kon'ušših. Sidoi stoilah i lähti viemäh venčal'noidu pluat't'ua da kuldaistu kol'čaištu. Meni, andoi cuarin poijale pluat'an i kuldaizen imennoin kol'čaižen. Cuarin poigu ihastui i blahodarii Stepanua ylen hyvin.

— Nygy puwtun minä mučoin kere elämäh!

Mučoile andoi cuarin poigu pluat'an i imennoin kuldaizen kol'čaižen. Nygy pidäw svuad'bu pidie. Se Katerina Prekrasnoi sanow cuarin poijale:

— Piemmo svuad'ban da roimmokseh elämäh yhtes. Vie pidäw, nämät sluwžbat kai spolniitto, vie pidäw yksi sluwžbu sluwžie. Sen gu voinnet prikuazan spolnie, äski minun kere venččah menet i elämäh rubiet. Vuota minä duwmaičēn yheksät sutkat, äske yheksien sutkien peräs minä sinule doložin prikuazan.

A neidizele sille ei himoita sen cuarin poijan kere venččah mennä. Häin, neidine, yheksät sutkat duwmaiči. Yheksien sutkien proidihuo andaw prikuazan cuarin poijale, sanow:

— Minul voinnet tuvva tuaton kuldaizen korietan. On meres kalal vačas, — *rjba-kit* — kuldaine koriettu. Sen mille uskalzi tuatto priduan-noikse korietan. Sen gu voinnet tuvva, siid äski minä menen sinun kere venččah. Et voinne tuvva, siid minä sinun kere venččah en mene.

Häin zadumal i pöllästy. Sanow: «Täs mučois mille ei mučoidu, aivin häin lykkiw zaduaččoi, andaw nerešimoidu. Kui voibi meres kalan vačas tuvva korietan? Se on vet nerešimoi zaduačču».

A cuarin poigu erähän päivän sanow kon'uhale, Stepanale:

— Pidäw tuvva, meres on kala — *rjba-kit*. Kalal on vačas minun mučoin priduanoi kuldaine koriettu. Se pidäw tuvva mučoin kere venččah ajajes, äski lähtöw minun kere venččale. Se pidäw obezatel'no tuvva.

Stepan duwmaičow: «Nygy täs piä i meni!». Stepan menöw erähän huondeksen hevolluo i tartuw kaglah itkun kere, sanow:

— Nygy meil sinun kere piä meni, — sanow, — cuarin poigu andoi nengoman prikuazan: pidäw tuvva hänen mučoin priduanoi koriettu — meres on kala, kalal vačas kuldaine koriettu. Kalal on vačas, kala on *rjba-kit*.

Hebo sanow Stepanale:

— Pidäw oppie suaha, ende opinduo ei pie pöllästyö.

Hyö erähän päivän lähtietäh hevön kere, nowzow Stepan hevole selgäh iččeh. Lähtietäh ajamah. Ajetah, ajetah mene tie mi aigua. Men-näh linnah. Hebo sanow Stepanale:

— Mene osta kaiken ualastu kanfiettua, miituttu vai ollow carstvas. Älä unohta ostamatta ni kudamua primiettie, min sinä voit kuwzis sutkis syvvä.

Menöw Stepan ostaw kanfiettua kaikenualastu primiettie, i lähtietäh op'at' ajamah. Ajetah, ajetah, mennäh sen samaizen meren randah, ku-

damas meres on semmoine kala i kuldaine koriettu, i hebo sanow Stepanale:

— Lähte iere selläs, i sinä, — sanow hebo Stepanale, — Stepan, d'ia täh kohtah, minä lähten yksinäh.

I nevvow Stepanale hebo lähtijes, sanow:

— Muata uinota ei pie, kuvvet sutkat pidaw olla d'allas. Kuvvet sutkat ole täs. Seičemendil sutkil varustaije minuw vuottamah, što minun kuwliškannet kohun, ohjaksih tartu da puwtu koriettah. Koriettah gu et voinne puwtuuo, siid sinul dai minul piä meni. Minä en voi azettuo. Voinnet gu hovus tartuo koriettah — minuw ruvetah d'älles ajamah.

Stepan d'iauw sih meren randah. On sutkat kolmet, niilöi kanfiettoi syow, stobj ei uni rodizih. Nelländil sutkil Stepan uinuow muata. Stepan maguaw kahtet sutkat. S'otaki Stepan havuačču maguamas, ga kohu kuwluw. Stepan varustah i kaččow — hebo tulow korietan kere val'ahis samosil'no. Ehtiw tulla Stepanan kohtah, Stepan fattiw ohjakset kädeh i puwttuw koriettah. Hebuo d'älles on ajajat, kolmepiähisty zmijua. Zmijat sih d'iedih. Hyö piestih pagoh.

Tuldih sih samaizeh rodnoih carstvah korietan kere. Cuarin poigu ihaustuw, tuli vastah pihale, sanow:

— Tämän sluwžban sluwžiit — minä rubien sinuw nagrاديم mil tahtol

Cuarin poigu andoi Stepanale yheksikse sutkikse osloboždenijan. I cuarin poigu sanow Katerina Prekrasnoi devical:

— Nygy pidaw venčah lähtie.

— Nygy, — sanow, — voimmo lähtie. Tol'ko vie pidaw duwmaiija kahtettostu sutkat. Anda sinun kon'uhu huogavuw. Sinun kon'uhu pidaw meile venčale ajajes kuwčarikse.

Häin sie, Katerina Prekrasnoi devica, kahtettostu sutkat duwmaiči. Kaksintostu sutkien prodihui sanow cuarin poijale:

— Sinun voinnow kon'uhu kiehujas kip'atkukattilas kezoin kyl'bie, toizen voinnow kiehujas rieskumaidokattilas kezoin kyl'bie, kolmanden voinnow kezoin kyl'bie kiehujas tervukattilas — äski minä lähten sinun kere venčah i kon'uhan otan kpwčarikse.

I cuarin poigu sanow Stepanale:

— Pidaw sille kezoi kyl'bie: ezmäine — kiehujas kip'atkukattilas, toine kezoi pidaw kyl'bie kiehujas rieskumaidokattilas, kolmas kezoi pidaw kyl'bie kiehujas tervukattilas.

Se Stepan põllästy: «Kačo, — sanow, — nygy kuh minun surmu tuli. nygy cuarin poigu hyvin nagrადii minuwl». I menow Stepan hevolluo. Hevole sanow:

— Nygy minä tulin, hebo-zerku, lopun kerran prošken'n'ale. Minuw nygy kip'atkukattilah kiehujah pannah kezoile i kiehujah rieskumaidokattilah i kiehujah tervukattilah: siid minule ni ei sua hengih piästä, sinne pidaw palua. Nygy prosti minuwl

A hebo sanow Stepanale:

— Älä vie ota juvri čistoidu prošken'n'ua.

I hebo nevvow Stepanale, sanow:

— Mene kävy cuarin pojalluo. Sano: «Työnä minun hebo kaččomah välläle, anna minuw nägöw, kui minä kuolen». I toine dielo-luadi moine uslovii cuarin poijan kere: «Minä kezoin gu kylbenen, štobi pidäw sinun d'älgele minuw kyl'bie kaikes kolmes kattilas».

Stepan menöw cuarin pojalluo i sanow cuarin pojale:

— Minä olen soglasno kezoidu kylbemäh, minul yksikai kuolendu. I työnä minun hebo kaččomah, anda nägöw minun kuolendua.

A cuarin poigu sanow:

— Voibi sen dielon — työtä kaččomah i välläle: anna hebo nägöw, kui sinä kezoidu kyl'bet.

— A toine dielo: moizet usloviet pidäw luadie. Minä gu kyl'benen, sinul pidäw jälgel minun kyl'bie — piässen hengih, a en piässe, siid iče tiekkie, kui pidäw elie. Minä en rodeije nägemäh i tiedämäh.

Hyö varustettih kolme kattilua kiehumah pihale. Erähän päin i cuarin načal'stvu kai kerävyi kaččomah, i tuli cuarin poigu i Katerina Prekrasnoi devica. Stepan sih varustiiheze kezoidu kyl'bemäh, i hebo työttih kaččomah, kui hevon iżändy kuolow. Stepan enzimäizekse huavai kiehujah kip'atkukattilah hypätä, i hänen hebo kärzän čökkäi kiehujah kip'atkukattilah, i Stepan hyppäi kiehujah kip'atkukattilah. Stepan nowzi kattilas parembi vie ennisty mies i rubei hyppiemäh kiehujah rieskumaidokattilah. Hebo kärzän čökkäi — i Stepan hyppäi rieskumaidokattilah. Stepan nowzi maidokattilas — rodih mies kahtu grozavembil. I rahvas kačotah: kai cuarin načal'stvu i cuarin poigu i Katerina Prekrasnoi devica. Nygy pidäw kiehujah tervukattilah. Hain, Stepan, huavai hypätä kiehujah tervukattilah, i hebo kärzän čökkäi tervukattilah, i Stepan hyppäi tervukattilah. Tervukattilas Stepan nowzi — rodih mies — ni tuta ni duwmaija ei sua! I Stepan sañow cuarin pojale:

— Nygy on sinun očeredi.

Cuarin poigu sanow:

— Minä en rubie kyl'bemäh kattilas.

A Stepan sanow:

— Kui on dogovor luaittu i podpiska on, ga se pidäw muga olla! I kai rahvas i cuarin načal'stvu potverdittih: mugä pidäw!

I cuarin poigu privo-pravo meni lähembi kiehujua kip'atkukattilua i cuarin poigu hyppäi kattilah i sinne jowdui, ei nossu. I rahvas kai i cuarin načal'stvu ruvettih udivl'aiččemahes.

— Što za okazii, kon'uhu, — sanow, — kolmes kattilas kyl'bi, kaikis hengis piäzi, a cuarin poigu yhteh kip'atkukattilah kuoli!

A Stepan meni hevon pani iččeh omah stoilah, sidoi, iče meni omah fatierah. A Katerina Prekrasnoi meni sih samazih cuarin komnattoih, otti bumuaगत kădeh, kird'utti kird'aizen Stepanale i andoi prisluwgoile kădeh, i prisluwgat tuodih kurd'aïne Stepanale. On kird'aizel kird'utettu: «Stepan, sille ob'azatel'no pidäw diäviekse Katerina Prekrasnoi devicalluo».

Stepan op'at' pöllästy: «Nygy tapettavakse kuččufw». Menöw Stepan sinne Katerina Prekrasnoi devicalluo. Katerina Prekrasnoi devica sanow, kaglah tartuw, sanow:

— Sinä minun sait, sinä toit, sinä kai sluwžbat sluwžiit — minä sinun roimmos, ottanet mučoiakse!

Stepan sanow:

— Enhäin minä suanun sinuw da tuonu — toi sinun cuarin poigu.

Katerina Prekrasnoi devica sanow:

— Älä, Stepan, rubie kielastelemah minuw, buite minä en näe da tiijä, ken toi da ken sai. Cuarin poijas st'ervas mi roihezel

Siid Stepan soglasiiheze ottamah. Stepan kyzyw:

— Anda kolmekse sutkii, siid svuad'bon piemmö.

Kateriina Prekrasnoi devica soglasiiheze, sanow:

— Duwmaiče.

Stepan lähti iere. Menöw hevolluo i hevol kyzyw, sanow:

— Katerina Prekrasnoi devica tahtow mille mučoiakse tulla, en tiijä, häin minuw naganow vai niäritännöw. Vie ei mennu cuarin poijale, mille d'o ei tule.

Hebo sanow Stepanale:

— Katerina Prekrasnoi devica sille tulow, i voit ottua. Nygy sinä kaikis olet pričinois piessy, i voitto svuad'bon pidie i elie spokoino.

Kollmien sutkien proidihuo meni Stepan Katerina Prekrasnoi devicalluo. I ob'jasniw položenien. Sanow:

— Katerina Prekrasnoi devica, minä olen soglasno pidämäh sinun kere svuad'boa, ollow sinus ųuubo.

Katerina Prekrasnoi devica tože samoi soglassiiheze. Svuađ'bo luaitih hyö, i Katerina Prekrasnoi devica šuorii iččeh priduanoloisobih i val'astettih se hebo-zerku kuldaizeh korietah, i venčaittiiheze i svuađ'bo piettih hyvän-tervehen.

Nygy vai eletäh.

23. ТРИДЦАТЬ ТРИ СЫНА

Были когда-то там муж и жена. Детей у них не было вовсе. Дожили они до старости. Пошел однажды мужик дрова рубить в лес. Отошел он сколько-то от дома, находит он девять яиц. Взял яйца, положил в шапку. Потом подумал: «Не возьму этих яиц, потом вечером на обратном пути возьму».

Оставляет мужик яйца в траве, сам идет в лес. Целый день мужик рубит в лесу дрова, потом отправляется домой. Приходит на то самое место — нет яиц. Мужик удивляется: «Куда же яйца подевались, кто же их мог взять?». Приходит домой, говорит жене:

— Нашел сегодня девять птичьих яиц, положил их в шапку в траву, а вечером, когда обратно шел, яиц не было.

Жена говорит:

— Вот какой ты простофиля! Продали бы яйца, так стало бы у нас хлеба на какое-то время. В другой раз, — говорит, — так не делай.

На другое утро мужик опять идет в лес. Приходит на то же самое место, находит восемнадцать яиц. Кладет мужик их в шапку и оставляет в траве, говорит: «Не возьму яиц в лес, взад-вперед таскать, еще разобью».

Сам идет рубить дрова. Рубит, рубит в лесу целый день дрова, вечером отправляется домой. Приходит на то же самое место, начинает искать яйца — нет яиц. «Опять, — говорит, — кто-то взял яйца. Если сказать жене, так жена побьет». Идет домой, приходит домой к жене. Говорит жене:

— Сегодня нашел восемнадцать яиц и оставил в шапке в траве. Возвращаясь, пробовал искать, но ничего не было.

Жена говорит:

— Ох ты, вечный простофиля! Из-за тебя надо весь век жить в бедности.

Мужик говорит:

— Хорошо, жена, больше не буду так делать!

Отправляется мужик на третий день в лес. Приходит на то самое место и находит тридцать три яйца. Мужик подумал: «Теперь не оставляю этих яиц здесь, теперь пойду домой, отнесу жене яйца».

Кладет яйца за пазуху и идет домой. Прошел сколько-то по дороге — выскочило яйцо из-за пазухи. Стал перед ним добрый парень и говорит:

— Здравствуй, отец!

Мужик идет дальше домой. Яйца все по одному выскакивают из-за пазухи — стало у мужика тридцать три сына. Все сыновья зовут его отцом. Пошел мужик дальше к дому. Приходит домой к жене. Говорит жене:

— Я привел тридцать три сына!

Жена говорит:

— Сыновья хорошие, один другого лучше, но чем мы кормить станем сыновей? У нас хлеба нет, мы же бедные.

А сыновья говорят матери:

— Не бойся, мать, что нас кормить придется. Мы вас кормить станем, отец да мать, будем добро наживать, вас кормить!

Стали они жить, добра наживать, отца да мать кормить. Прожили они зиму, пришла весна. Весной посеяли овес, а во время сенокоса накосили сена, сколько им нужно было. И приходит осень. Идет осенью мужик посмотреть сарай с сеном. Из сарая много сена пропало, и говорит он сыновьям:

— Сыновья, из нашего сарая много сена пропало, в сарай воры ходят.

Старший сын идет караулить, Степан. Приходит, зарывается в сено. Всю ночь пробыл, до самого рассвета — ничего не увидел. На рассвете послышался шум с моря. Степан поднял голову и смотрит: вышел конь из моря, Серко, и тридцать три жеребенка за ним. Пришел конь к сараю с сеном, жеребята следом. Стал

конь сено есть. Ёст — не ест, а вдвое больше копытами топчет. Степан взял, коня кувалдой по голове ударил — конь на колени упал, а Степан надел на коня узду. И конь заговорил человеческим голосом:

— Рано, Степан, это дело сделал!

— Не рано — смотри, сколько сена из моего сарая вытаскал.

Конь говорит Степану:

— Вытаскал, так за это буду я тебе вечным слугой.

Степан садится на коня и едет домой. Приезжает домой, ставит коня и всех тридцать трех жеребят во двор и говорит братьям:

— Теперь, братья, я привел тридцать три коня, у каждого будет конь. Теперь нам можно жить.

Зажили они очень хорошо. Прожили сколько-то, умирает отец, и мать умирает. Потом старший брат Степан начинает размышлять, говорит:

— Теперь мы не станем здесь жить. Поедем-ка свет посмотреть и себя показать, и хороших жен искать.

В один какой-то день они отправляются. Садятся на коней и едут по дороге. Едут, едут по тропинкам, по лесам. На лесной дороге встречается им избушка. Заходят в избушку к бабе Сюовяттери. Баба Сюовяттери спрашивает:

— Кто вы, куда едете?

— Нас тридцать три брата, и отправились мы свет повидать, себя показать и хороших жен искать.

Баба Сюовяттери говорит:

— У меня есть тридцать три дочери, у каждого из вас будет жена.

Коней поставили во двор, сами заводят разговор о свадьбе. Сутки договариваются, свадьбу начинают играть, а Степан говорит:

— Надо пойти коней посмотреть.

А баба Сюовяттери говорит:

— Не ходи смотреть коней, у нас за конями посмотрят.

А Степан говорит:

— Я умею на коне ездить, умею и смотреть за ним.

Идет Степан к своему коню. Конь стоит в крови по копыта. Степан говорит коню:

— Почему стоишь в крови по копыта?

Конь говорит Степану:

— Я, сынок, стою в крови вот почему — ваши жизни на волоске. Завтра утром баба Сюовяттери приведет тридцать три девушки. Ты, — говорит, — возьми старшую дочь бабы Сюовяттери — ведь ты старший брат — и сумей жить с ней. Вели в кузнице сделать тридцать три железных костыля и иди с девушкой вдвоем на зеленый луг, на широкое поле (а девушка с тобой не разговаривает) и сломай тридцать два костыля об ее спину. И пока тридцати двух костылей не сломаешь об ее спину, не пе-

реставай бить. Когда тридцать два костыля сломаешь, тут девушка заговорит. Потом девушка у тебя спросит: «Что тебе нужно?». Ты у нее больше ничего не проси — попроси только летучий ковер, колпак-невидимку и ржавый меч. Девушка не захочет тебе это дать. Ты сломай тридцать третий костыль об ее спину. Тогда девушка даст тебе все, что тебе надо.

Однажды утром баба Сюовяттери приводит тридцать три дочери, говорит:

— Теперь, ребята, я привела тридцать три дочери, — говорит, — возьмите, кому какая подойдет.

Берет Степан, старший брат, старшую дочь, и идут они на зеленый луг, на широкое поле, и начинает [Степан] с этой девушкой заговаривать. Девушка ничего не говорит. Берет он костыли, тридцать два, а один костыль оставляет про запас. Начинает он девушку бить костылями и тридцать два костыля ломает об ее спину. И тут девушка заговорила:

— Что надо, Степан, богатырская сила?

Степан говорит:

— Мне ничего не надо, кроме летучего ковра, колпака-невидимки и ржавого меча.

Девушка говорит:

— Я это не могу дать.

Он, Степан, начинает еще тридцать третьим костылем бить и ломает его об ее спину, девушка и говорит:

— Теперь я все отдам, только живую отпусти!

Дала девушка летучий ковер, колпак-невидимку и ржавый меч. Отправляются домой к бабе Сюовяттери. Приходят домой. Идет Степан к коню. Коню отдает все это: ржавый меч, летучий ковер, колпак-невидимку, а сам ложится спать в избе. Утром встает, говорит Степан:

— Надо пойти к коню, коня посмотреть.

А баба Сюовяттери говорит:

— Зачем идешь к коню?

Степан говорит:

— Я умею на коне ездить, умею и смотреть за ним.

Идет Степан к коню. Конь стоит по колено в крови. Спрашивает [Степан] у коня:

— Почему стоишь по колено в крови?

Конь говорит:

— Ой, сынок, потому я стою по колено в крови — вам этой ночью головы отрубят. Вечером баба Сюовяттери приведет тридцать три дочери и уложит их спать с вами. У девушек белые шапки на головах, а у вас черные шапки на головах.

Конь дает Степану совет:

— Ляжете вы спать с женами, если другие братья уснут, ты не засыпай. Когда все уснут, и девушки, и твои братья, сними с голов девушек шапки, надень их на головы братьев и на свою

голову, а на девушек надень чёрные шапки. Потом придет баба Сюовяттери и отрубит головы дочерям, а ваши головы останутся целы.

Приходит вечер. Приводит баба Сюовяттери тридцать три дочери и говорит парням:

— Зятья, возьмите своих жен, надо лечь спать!

Баба Сюовяттери привела дочерей, каждый взял свою жену, и легли спать все в одной комнате. Легли спать, все братья уснули, и жены тоже, а Степан не засыпает. Наступила полночь. Степан взял шапки девушек, надел на головы парней, а шапки парней на головы девушек. Слышит Степан — идет баба Сюовяттери. Взяла головы отрубила тем, у кого чёрные шапки на голове, — всем тридцати трем человекам. *(Думает — это парни, а отрубила головы своим дочерям.)* Баба Сюовяттери повесила на дверь замок. Степан встал и разбудил братьев:

— Вставайте-ка, братцы, и посмотрите, что за чудеса тут у нас!

Братья встали и испугались все. Степан говорит:

— Пугаться теперь некогда, нам нужно отсюда бежать. Все равно, если здесь останемся, наши головы пропали.

Они не могут никак выбраться, вылезли через окно. Вышли они через окно, сели на коней, ехали, ехали, поди знай, сколько времени. Баба Сюовяттери утром пришла — у своих дочерей головы отрублены, а зятья убежали. Баба Сюовяттери и говорит:

— Я была умна, а вти еще умнее. Но хоть и убежали, — говорит, — все равно поймаю.

Пустилась она, баба Сюовяттери, в погоню. Слышат — сзади шум доносится. Конь Степана говорит:

— Теперь нас догонит и убьет. Теперь нам никуда больше ходу нет, надо через море перепрыгнуть.

Перепрыгнули через море. Только успели перепрыгнуть, и баба Сюовяттери хочет перепрыгнуть. Конь говорит Степану:

— Махни ржавым мечом назад!

Степан махнул мечом. Баба Сюовяттери успела допрыгнуть только до середины моря, и у нее голова отлетела — баба Сюовяттери угодила в море.

Перебрались они через море, те тридцать три брата. Остановились. Трое суток коней кормят и сами отдыхают. Через трое суток Степан говорит братьям:

— Братья, теперь нам придется разъехаться кто куда, вместе больше нельзя бродить. Каждый должен сам себя прокормить и жену искать, да свет повидать.

Они расстаются, прощаются, разъезжаются кто куда. Ехали, ехали, и Степан приехал в город. Заезжает в город и попадает к старой вдове на ночлег. Просится ко вдове на квартиру, спит тут ночь. Утром Степан встает, говорит вдове:

— Поди в город, не слышно ли каких-нибудь новостей, да купи мне какой-нибудь еды.

Дает деньги. Вдова идет в город и покупает для него всякой еды. И вдова прислушивается, о чем люди говорят. Люди говорят:

— Царю нужен конюх, не может конюха найти.

Пришла вдова домой, дала ему еду, продукты [так!], и Степан спрашивает:

— Что-нибудь слышно, тетенька?

Тетя говорит:

— Царю нужен конюх, не может конюха найти, с конем.

А Степан говорит:

— Надо мне пойти от нечего делать, не возьмет ли меня.

Степан пошел к царю. Пришел в царев дворец. Написал заявление, дал слугам. Слуги отнесли царю. Царь с сыном вышел на встречу Степану. И взял царь Степана конюхом. Стал Степан работать конюхом со своим конем. За своим конем смотрит и едет куда надо, куда велят. Пробыл тут год.

А царев сын задумал жениться. Однажды приходит царев сын к Степану, говорит:

— Степан, теперь мы с тобой поедем искать для меня жену в таком-то царстве, в таком-то государстве, есть такая девушка: Катерина — прекрасная девица.

А Степан испугался: «Как я добуду такую девушку для царева сына?». Идет Степан в одно утро с плачем к коню, говорит коню:

— Царев сын дал мне такой приказ: мне надо поехать в такое-то царство, в такое-то государство искать для него жену — такую девушку, Катерину — прекрасную девицу, надо привезти ему в жены.

Конь говорит Степану:

— Если попытаться, всего можно добиться, — конь сказал. — Иди, скажи цареву сыну, что «я поеду на своем коне»,

Степан пошел к цареву сыну, доложил дело. Говорит:

— Я могу ехать на своем коне.

Царев сын говорит:

— Все равно, можешь взять и своего коня.

В один какой-то день они отправились, коня запрягли и поехали. Приехали в то самое царство. Приехали в царство, заехали в тот самый столичный царев город. Приехали в город, хотят зайти в царев дворец. Но не могут даже близко подойти. Конь говорит жениху:

— Я обернусь садом: будет сад у царева дворца, в этом царстве такого сада не бывало и не будет. Потом царева дочь придет тот сад смотреть. Царева дочь как придет сад смотреть да гулять, — говорит, — я схвачу ее — и к себе на спину, а если девушка будет у меня на спине, то и вы прыгайте, не зевайте.

Так конь и сделал, обернулся садом. В том царстве такого сада не бывало, да и не будет. Однажды царева дочь смотрит в окно:

— Вот так сад тут появился, такого сада не бывало в нашем царстве!

Царева дочь говорит своей матери:

— Мать, отпусти меня тот сад посмотреть и погулять.

Мать говорит:

— Иди, дочь.

Царева дочь пошла смотреть сад. Гуляет там, поди знай, сколько времени, любитесь яблоками, ягодами, цветами. Гуляла, гуляла и собралась уходить. Схватил конь цареву дочь — и к себе на спину, Степан и царев сын пустились бежать.

Ехали, ехали и приехали во дворец своего, того самого царя. Приехали в дом царева сына и жену привезли. Начинают они свадьбу играть. Эта Катерина Прекрасная говорит:

— Я к венцу не пойду, пока у меня не будет моего подвенечного платья, в своем царстве сделанного, отцом справленного, да своего именного золотого кольца.

Иначе девушка никак не соглашается. Однажды царев сын говорит Степану:

— Степан, надо привезти для моей жены к венцу платье и ее именное кольцо. Пока этого не будет, до тех пор жена к венцу не пойдет. Платье и именное кольцо находятся в последней комнате царя.

Дает Степану приказ: надо это достать во что бы то ни стало. Степан испугался: «Как я могу это достать и пройти в комнату царя, когда даже близко к царскому дворцу нельзя подойти?». Степан идет к коню расстроенный, печальный. Конь говорит Степану:

— Почему, хозяин, так печален?

Степан говорит коню:

— Как же мне не быть печальным: вот такой приказ дал царев сын. Надо привезти жене царева сына подвенечное платье и ее именное кольцо. Как же я могу привезти? Не то что в царевы комнаты, даже близко к цареву дворцу подойти нельзя. Недавно цареву дочь тайком увели, теперь в то царство приедешь — убьют.

Конь говорит Степану:

— Надо попытаться.

Отправляются в какой-то день. Приезжают в то царство, в тот самый город, и Степан подъезжает на коне к царскому дворцу. Конь говорит Степану:

— Ты слезай с меня, я обернусь такой лошастью — в этом царстве такого коня не бывало. И, — говорит, — отпусти меня на волю. Когда меня на волю отпустишь, сам надену на голову колпак-невидимку. Потом я буду бегать вокруг царева дворца, весь народ будет коня ловить, и сам царь придет смотреть. Тогда ком-

наты будут пустые, никого в них не будет. Ты и зайди в ту самую комнату, возьми это подвенечное платье и именное кольцо. Я, как бы меня ни ловили, не дамся никому.

Потом он коня отпустил на волю. Конь начал бегать вокруг царева дворца. Люди заметили, заговорили:

— Смотрите, какой конь бежит, такого коня в нашем царстве нет!

Все царское начальство выскочило этого коня ловить и смотреть. Конь никому не дается, и Степан пошел в цареву комнату, в ту самую заднюю. Взял платье царевой дочери и золотое именное кольцо, никто так и не видел. Люди все пытаются поймать коня. Пошел Степан туда к коню. Степан говорит народу:

— Погодите, попробую я поймать, может, мне дастся.

Народ говорит:

— Мы ловили, но он нам не дался в руки, так уж и тебе не дастся.

Идет туда к коню, подходит близко. Конь на колени опускается перед Степаном. Степан сел на него и ускакал прочь. Народ тут остался.

И приезжают в то самое свое царство и в город своего царя. Степан поставил коня в цареву конюшню. Привязал его к стойлу и понес подвенечное платье и золотое кольцо. Пришел, отдал цареву сыну платье и золотое именное кольцо. Царев сын обрадовался и очень благодарил Степана.

— Теперь я заживу с женой!

Отдал царев сын жене платье и золотое именное кольцо. Теперь надо свадьбу сыграть. Эта Катерина Прекрасная говорит цареву сыну:

— Сыграем свадьбу и будем жить. Эту службу сослужили, но еще надо одну службу сослужить. Если сумеешь этот приказ выполнить, тогда пойдешь со мной к венцу и жить станешь. Подожди, я подумаю девять суток, через девять суток я тебе дам приказ.

А девушке той не хочется с царевым сыном к венцу идти. Она девять суток думала. Через девять суток дает приказ цареву сыну. Говорит:

— Надо, чтобы ты достал золотую карету моего отца. Есть в брюхе рыбы-кита в море золотая карета. Ту карету мне отец обещал в приданое. Если сможешь ее достать, тогда я с тобой к венцу пойду. А не сможешь — тогда уж я с тобой к венцу не пойду.

Он задумался и испугался. Думает: «Эта жена — мне не жена. Все задает задачи неразрешимые. Как можно из брюха рыбы в море достать карету? Это ведь неразрешимая задача».

Вот царев сын однажды говорит конюху Степану:

— Надо достать — в море есть рыба, рыба-кит, у рыбы в брюхе золотая карета — приданое моей невесты. Ее надо до-

стать, чтобы ехать с женой к венцу, лишь тогда она пойдет со мной к венцу. Это надо обязательно достать.

Степан думает: «Вот и пропала моя голова». Идет Степан в одно утро к коню и обнял с плачем шею коня, говорит:

— Теперь мы с тобой голов лишимся, — говорит, — царев сын дал такой приказ: надо достать карету, приданое его невесты. В море есть рыба, у рыбы в животе золотая карета. Рыба эта — рыба-кит.

Конь говорит Степану:

— Надо попытаться достать, раньше попытки не надо пугаться.

В какой-то день они отправляются, садится Степан на коня. Поехали. Едут, едут, поди знай — сколько времени. Приезжают в город. Конь говорит Степану:

— Иди купи всяких конфет, какие только есть в этом царстве. Не забудь закупить всего столько, сколько ты сможешь за шестеро суток съесть.

Идет Степан, покупает разных конфет и всего, и едут опять дальше. Едут, едут, приезжают на берег того самого моря, в котором есть такая рыба и золотая карета. И говорит конь Степану:

— Слезай с меня, — говорит конь, — Степан, и оставайся на этом месте, я пойду один.

И, уходя, конь дает совет Степану, говорит:

— Смотри не засыпай, шестеро суток ты должен быть на ногах. Шесть суток побудь здесь. На седьмые сутки приготовься ждать меня. Когда услышишь шум, что я бегу, — схвати вожжи и прыгни в карету. Если не сумеешь прыгнуть в карету, то и твоя и моя головы пропадут. Я остановиться не могу — ты должен на ходу ухватиться за вожжи, за мной будет погоня.

Степан остается тут на берегу моря. Прошло трое суток, он конфеты ест, чтобы спать не хотелось. На четвертые сутки Степан заснул. Проспал Степан двое суток. Только Степан просыпается, как слышит шум. Степан приготовился и смотрит: конь, в карету запрягшись, бежит что есть сил. Степан подбегает, хватая вожжи и прыгает в карету. За конем погоня, трехголовые змеи. Змеи тут остались, им удалось уйти.

Приехали в то самое родное царство с каретой. Царев сын радуется, вышел навстречу во двор, говорит:

— Коли эту службу сослужил, я тебя награжу, чем угодно!

Царев сын дал Степану освобождение на девять суток. И царев сын говорит Катерине — прекрасной девице:

— Теперь надо пойти к венцу.

— Теперь, — говорит она, — можно пойти. Только надо еще двенадцать суток подумать. Пусть твой конюх поотдохнет. Твой конюх должен быть у нас кучером, когда поедем к венцу.

Она, Катерина — прекрасная девица, двенадцать суток думала. Через двенадцать суток сказала цареву сыну:

— Если твой конюх сможет выкупаться в котле с кипящей водой, второй раз — в котле с кипящим молоком, в третий раз надо выкупаться в котле с кипящей смолой — только тогда я пойду с тобой к венцу, а конюха возьму кучером.

И царев сын говорит Степану:

— Тебе надо выкупаться — первый раз в котле с кипящей водой, на второй раз надо выкупаться в котле с кипящим молоком, на третий раз — в котле с кипящей смолой.

Степан испугался: «Смотри, — говорит, — где моя смерть, хорошо меня царев сын теперь наградил!». И идет Степан к коню. Говорит коню:

— Пришел я теперь, Серко, последний раз попрощаться. Меня теперь выкупают в котле с кипящей водой, в котле с кипящим молоком и в котле с кипящей смолой. Оттуда я живым не выйду, там сгорию. Прости меня!

А конь говорит Степану:

— Не прощайся еще навсегда.

И конь дает Степану совет, говорит:

— Иди к цареву сыну. Скажи: «Отпусти моего коня на волю, пусть посмотрит, как я умру». А второе дело: договорись с царевым сыном так: «Если я выкупаюсь, так чтобы и ты после меня выкупался во всех трех котлах».

Степан идет к цареву сыну и говорит:

— Я согласен выкупаться, все равно мне смерть. Отпусти только моего коня посмотреть, пусть увидит, как я умру.

А царев сын говорит:

— Это можно — отпустить на волю посмотреть, пусть конь увидит, как ты будешь купаться.

— А второе дело: надо нам так договориться. Если я выкупаюсь, то тебе надо следом выкупаться — если я останусь в живых. А если нет, то тогда сами знайте, как надо жить. Я уже не увижу и не узнаю.

Приготовили они три кипящих котла во дворе. В один какой-то день все царское начальство собралось смотреть, пришел и царев сын, и Катерина — прекрасная девица. Степан приготовился тут выкупаться, и коня выпустили смотреть, как хозяин будет умирать. Степан решил прыгнуть сперва в котел с кипящей водой, его конь сунул морду в котел, и Степан прыгнул в котел с кипящей водой. Вышел Степан из котла лучше прежнего и хотел было прыгнуть в котел с кипящим молоком. Конь морду сунул — и Степан прыгнул в котел с кипящим молоком. Вышел Степан из котла с молоком — стал мужчина вдвое могучее! А народ смотрит — все царское начальство, и царев сын, и Катерина — прекрасная девица. Теперь [Степану] надо в котел с кипящей смолой. Он, Степан, приготовился прыгнуть в котел с кипящей смолой, конь сунул морду в котел, и Степан прыгнул в котел со смолой. Вышел

Степан из котла со смолой — стал мужчиной: ни узнать, ни подумывать нельзя! И Степан говорит цареву сыну:

— Теперь твоя очередь.

Царев сын говорит:

— Я не буду купаться в котлах.

А Степан говорит:

— Раз договор составлен и подписка есть, то надо выполнить!

И весь народ, и царское начальство подтвердили: так надо!

Царев сын туда-сюда, но все же подошел к котлу с кипящей водой, прыгнул царев сын в котел с кипятком и там остался, не вышел.

И весь народ, и царское начальство стали удивляться:

— Что за оказия, конюх, — говорят, — в трех котлах выкупался, из всех живым вышел, а царев сын в первом котле умер!

А Степан пошел, коня поставил в свое стойло, привязал, сам пошел на свою квартиру. А Катерина Прекрасная пошла в царевы комнаты, взяла бумагу, написала письмо Степану и отдала слугам в руки, и слуги принесли письмо Степану. В письме написано: «Степан, тебе обязательно надо явиться к Катерине — прекрасной девице».

Степан опять испугался: «Теперь зовет, чтобы убить». Идет Степан туда к Катерине — прекрасной девице. Катерина — прекрасная девица на шею бросилась, говорит:

— Ты меня достал, ты меня привез, ты все службы сослужил — я буду твоя, если возьмешь в жены!

Степан говорит:

— Не я же тебя достал и привез — тебя привез царев сын.

Катерина — прекрасная девица говорит:

— Не обманывай, Степан, меня, будто я не вижу и не знаю, кто достал и кто привез. С царева сына, стервеца, что станет!

Тут Степан согласился ее взять. Степан просит:

— Дай сроку трое суток, потом свадьбу сыграем.

Катерина — прекрасная девица согласилась, говорит:

— Думай.

Степан ушел. Приходит к коню и спрашивает у коня:

— Катерина — прекрасная девица хочет за меня выйти, не знаю, смеется ли она или дразнит. За царева сына не пошла, за меня и подавно не пойдет.

Конь говорит Степану:

— Катерина — прекрасная девица за тебя пойдет, и можешь взять ее. Теперь ты все испытания прошел, можете сыграть свадьбу и жить спокойно.

Через трое суток Степан пошел к Катерине — прекрасной девице. Рассказал дело. Говорит:

— Катерина — прекрасная девица, я согласен с тобой играть свадьбу, если тебе любо.

Катерина — прекрасная девица тоже согласилась. Свадьбу устроили, и Катерина Прекрасная надела свои приданные одежды, запрягли того коня, Серка, в золотую карету, обвенчались и свадьбу сыграли на славу.

Теперь только поживают.

Oli sie ennen ylen kōwhy mužikku akan kel. Ei olluh ni miittumua žiivattua. Pakittih susiedas päi počinpoijan laihinah. Sit počin kazvatti dai vei laihinat, gu počči kandoi. A laihinoi ei otettu sikse, što oli laihu počinpoigu. Izāndy sanoi:

— Vie počči sinā helvetin kattilah!

Kōwhy mužikku lähti eččimäh helvetin kattilua, häi oli prostoi mužikku. Sid astui, tuli vastah pieni kodine, tariččih sinne yökse. Staruuhal kyzyi helvetin kattilua. Staruuha sanoi dorogan. Lähti ielleh kōwhy mužikku, helvetin kattilua eččimäh. Astui, tuli saldattu vastah tiešuarois. Saldattu ei laskennuh, a mužikku yksikai tungevui. Astui palazen, tuli duubu vastah, duubas ymbäri saldattu kävelöw. Mužikal kyzyi saldattu:

— Kunne menet?

— Helvetin kattilua eččimäh.

Saldattu laski mužikan duuban sydämeh — sie oli helvetin kattil. Sie istui starikku. Parran jowhet oli kiärinyh varbahah da soitti sormel jowhii. Mužikku rasskaži starikal počinpoijan laihiindielon.

— Minul susiedu kāsķi viijä počinpoijan helvetin kattilah, gu se oli ylen laihu.

Sit počinpoijan andoi starikal, a starikku andoi paltinua palazen, sanoi što: «Älä dorogal magua, a mene kodih, sit heitā paltinpalane stolal, dai sinul roih syvvä, juvva kylläl».

Mužikku lähti kodih menemäh, dai tuli staruuhalluo, otti paltinpalazen, stolal heitti: dai syvvä, juvva rodih kylläl. Syödih dai ruvettih muate. Staruuha varvasti paltinpalazen mužikal päi, tilal pani omua paltinua palazen.

Mužikku meni kodih da löwhki akal. Akku ei uskonuh. Mužikku otti da pani paltinpalazen stolal, a tulluh ni midä ei. Paltin oli vaihtettu. Mužikku lähti järilleh helvetin kattilah. Sie starikku andoi mužikal kofeimelliččäzen, kudai andaw jawhuo, a mužikku matkal sen hävittäw, se varrastettih. Akku varvasti, konzu mužikku magari. Akku andoi oman kofeimelliččäzen mužikal. Muga op'at' mužikku muanivui. Sit vie lähti helvetin kattilah starikalluo. Rasskaži, kui rodih. Starikku sanoi:

— Sinul se melličän vaihtoi akku omah. Nygöi ole viižas!

Starikku andoi mužikal kukkaron, kudamah gu puhaldat da sanot, što «pojat, pussista pois!», sit sie hyppiäw kaksitostu miesty.

Mužikku meni akalluo yökse, kudai varrasti paltinpalazen da melliččäzen. Mužikku puhaldi kukkaroh, a sie kaksitostu miesty hyppäi. Mužikku heil sanow:

— Tuogua minul paltinpalane da melliččäne. a akku revitelgiä palaziksel!

Mugai kaksitostu miesty ruattih dai mužikan kel lähtiettih ieres. Matkal mužikku sanoi: «Pojat, pussih!». Dai kai kaksitostu miesty meni pussih, a mužikku pani pussin kormanih. A toizes kormanis oli paltinpalane da kainalos kofeimelliččäne.

Mužikku tuli kodih da löwhki akal omii sualehii. Lykkäi paltinpalazen stolal. Sit heitti kofeimelliččän. Pani ned mollembat käyndih. Mužikku otti kukkaron kädeh da puhaldi sinne da sanoi: «Pojat, pussista pois!». Kaksitostu miesty hyppäi lattiel da yhtes yös luaittih viitty parembi kodi, kuin oli suaril.

Suari tämän kaiken tiijusti, työndi kaksi polkua saldattua. Heijän načal'niekku rubei kyzelemäh mužikal. No mužikku piästi kaksitostu miesty dai tapettih kaksi polkua, viijes minuutas tapettih.

Sit suari työndi viizi polkua. Ne tože kuavuttih. A mužikan koin ymbäri vai päivy pastaw. Mužikku kahtentostu miehen kel pepuldi suarin saldattoi, siksi gu köwhie mužikkoi tullah tappamah da komendelomah. Sit suari työndi kai saldatat dai iče suari tuli mužikalluo. Mužikku suaril selvitti kai dielot. Suari käski luadie hrustal'noin sillan suarin da mužikan koin väli yhtes yös. Mužikku piästi kaksitostu miesty illal dai ne laittih kai dielot, midä suarin kel tolkuičči mužikku. Ruado laajittih yhtes yös i mužikku sai puolen sarstvua. Rubei elämäh hyvin. Suari ei voinnuh enämbiä mužikkua komennella.

24. [ЧУДЕСНЫЕ ДАРЫ]

Был там когда-то очень бедный мужик с женой. Не было у них никакой скотины. Попросили у соседа в долг поросенка. Вырастили поросенка, свинья опоросилась, отнес поросенка соседу. А тот не принял долга, потому что тощий был поросенок. Хозяин сказал:

— Неси ты этого поросенка в адский котел!

Бедный мужик пошел искать адский котел, он был простоватый мужик. Шел он, встретила маленькая избушка, попросился на ночь. Спросил у старухи об адском котле. Старуха показала дорогу. Пошел дальше мужик, адский котел искать. Шел, встретился солдат на перекрестке. Солдат его не пускал, а мужик все равно прошел. Шел немного, встретился дуб, вокруг дуба солдат ходит. Солдат спрашивает у мужика:

— Куда идешь?

— Иду адский котел искать.

Солдат пропустил мужика внутрь дуба, там был адский котел. Там сидел старик: волосы бороды натянул на пальцы и наигрывает на этих волосах. Мужик рассказал старику про то, как взял в долг поросенка:

— Мне сосед велел нести поросенка в котел преисподней, потому что поросенок был тощий.

Потом отдал поросенка старику, а старик дал кусок полотна, сказал, что «по дороге не ночуй, а иди домой, там расстели кусок полотна на столе, и будет тебе еды-питья вдоволь».

Мужик пошел домой, да и пришел к старухе, достал кусок полотна, расстелил на столе, и стало вдоволь еды-питья. Поели и легли спать. Старуха украла у мужа полотенно, взамен положила кусок своего полотна.

Мужик пришел домой и похвастался жене. Жена не поверила. Мужик взял да положил кусок полотна на стол, но ничего не стало: полотенно было подменено. Мужик пошел снова к старику в преисподнюю. Старик дал ему кофейную мельницу, которая дает муку, а мужик по дороге ее потерял, ее украли. Старуха украла, когда мужик спал. Старуха дала свою кофейную мельницу мужику. Мужик опять был обманут. Потом снова пошел к старику в преисподнюю. Рассказал, как получилось. Старик сказал:

— У тебя старуха ту мельницу подменила своей. Впредь будь поумней!

Старик дал мужику кошелек, в который как дунешь и скажешь «выдьте, парни, из мешочка!», то выскочат двенадцать парней.

Мужик зашел ночевать к старухе, которая украла полотенно и мельницу. Мужик дунул в кошелек, а оттуда двенадцать парней выскочили. Мужик сказал им:

— Принесите мне полотенно и мельницу, а старуху разорвите на куски!

Двенадцать парней так и сделали и пошли с мужиком. По дороге мужик сказал: «Парни, обратно в мешочек!». И двенадцать парней вернулись в мешочек, а мужик положил мешочек в карман. В другом кармане было полотенно, а кофейная мельница под мышкой.

Мужик пришел домой и похвастался жене своей добычей. Бросил кусок полотна на стол, потом поставил кофейную мельницу. Завел ее. Взял кошелек в руки, подул в него и сказал: «Выдьте, парни, из мешочка!». Двенадцать парней выскочили на пол и за одну ночь построили дом лучше, чем у царя.

Царь об этом узнал, послал два полка солдат. Их начальник начал расспрашивать мужика. А мужик выпустил двенадцать парней, и убили они два полка солдат за пять минут.

Потом царь послал пять полков. Те тоже погибли. А над домом мужика солнце все светит. Мужик с двенадцатью парнями истребал царских солдат, за то что пришли бедного мужика убивать и над ним командовать. Потом царь послал всех своих солдат, да и сам царь пришел к мужику. Мужик царю объяснил все дело. Царь велел сделать хрустальный мост между домами царя и мужика за одну ночь. Мужик выпустил двенадцать парней, и те

сделали все, о чем царь с мужиком толковали. Сделали за одну ночь, и мужик получил полцарства. Стал хорошо жить. Не мог больше царь над мужиком командовать.

25. KULDUPÄÄ SORZU

Oli ennen kaksi vel'l'esty. Yksi oli köyhy, toine oli bohattu. Köyhy velli huondeksel lähti meččäh. Kaččoo — meččy kaaduu, a leikkaajaa ei ole ni kedä. «Tädähäi kummaa olgaheze: meččy kaaduu, leikkaajaa ni kedä». Siä vastaa ga:

— Sinun velles ščaaсти kaadaa.

Häi sanoo:

— Vot toizel on lykky, a toine et tiije ni midä syvvä.

— On i sinul ščaaсти, ga et kehtaa eččiä.

— Kuzbo minä ečin?

— Mene lagiel pellol, vihandal niityl, siä sinun ščaaсти magaa šaatras. Spokoino magaa, ni vyödy vyöl ei ole. Ota viččaine da kolme kerdaa iske vičal, sid häi vastaa.

Häi lähtöö, kaččoo — siä spokoino šaatras magaa. Ottaa viččazen, isköö kolme kerdaa.

Hyppää siä:

— Midä sinä lyöt?

— Da, minul ei ole ni midä syvvä, a sinä magaat!

Se sanoo:

— Mene kodih. Mennes kačo, kuz on ojaine i sih ojazeh pane mereži.

— Kuibo minä laain, gu eule d'engaa ostaa?

— On sinul raudulomulois viizi kopeikkaa. Sih saat langaa, mi sinul pidää.

Häi menöö i löydää viizi kopeikkahizen i ostaa sih langaa. Panoo ojah merežin, huondeksel menöö sidä kaččomah. Menöö kaččomah — ga kuldupää sorzu. I se sorzu munii d'oga päivää kuldazen d'aičän, i se maksaa sada rubl'aa. Häi enzimäzet d'aičät myöö, eloo sih saabi. Nygöi munittaa des'atkoin, sid äski lähtöö myömäh. Se d'o hyödyi sinne kähiz i rodih bohattu. Sid häi venehen ostaa, lähtöö toizih gosudarstvoh tor-guiččemah. Emändäl lähties sanoo:

— Smotri, štobj ni kenele et sanos sorzaa!

D'o emändän loo ruvettih käymäh suuret herrat. I erähän generaalan kel pril'uubihes i ruvettih elämäh. Generaalu kyzelöö:

— Mil työ nenga terväh hyövyittö, vaste olitto ylen köyhäzet?

— Ei saa sanua.

— Gu ei saa sanua, ga proššail — sanoo generaalu.

Akku kučču d'ärilleh i sanoo:

— Vot meile on sorzu, i se munii d'oga päivää d'äičän, i se maksaa sada rubl'aa.

Generaalu sanoo:

— Ozutaz sidä sorzaa.

Häi sanoo:

— Ei saa ozuttaa.

— Ei saa, ga proššail

Hänelleh žäali vie, i ottaa dai ozuttaa sorzan. Ozuttaa sen, ga huraan siiven alle on kird'utettu: «Ken tämän syönöö, rodiah caari». A oigias: «Ken tämän syönöö, rodiah velükoi kn'ääzi».

— Midäbo minä otviettaa piän, gu izändy tuloo?

— Otviettaa on helpo pidää — sanoit: sorzu töllöi — da dielo koncom. Midäbo tuužit, hot' tappanet, minun kel rodiah hyvä-elää, — sanoo generaalu.

Häi otti dai sen andoi. I se tapettih dai žaarittih. Hänelleh oli kaksi brihaččustu: Kol'a da Miša. A niilöih brihaččuzih generaalu kačoi, gu madoloih. Generaalu gu rōngähtih, i brihaččuzet mollei päčife pagoh. Akku lämmitti kylyn. I generaalu akan kel mendih kylyh, a sorzu d'ätettih päččih, što «kylus tulduu syömmö sen». Kol'a da Miša päčil nostah da sanotah:

— Vot mille nečis päčis päi hyväle tulloo?

Kuharku punaldih pihale. Kol'a sanoo:

— Davai syömmö, nečiä päčis on sorzu!

— Syönnemmö, ga sid propadimmo.

Yksikai se syödih hyö, luupalazet vai pandih d'ärilleh riehtiläle.

Tuldih kylus i kučuttih kuharkal:

— Tuo nygöi žarkoi!

Kuharku toi, ga vai ollah luupalazet. Kuharkaa davai čakkaamah:

— Ičego sölt, vai ken söi?

Kuharku sanoo:

— Naverno, ni ket ei syödy. . . Minä pihal kävyin, sil aigaa, naverno, Kol'a da Miša syödih.

Generaalu sanoo:

— Nygöi pidää Kol'a da Miša tappaa i heijen maksat tuvva minul syödäväkse.

Akku sanoo:

— Midäbo sid minä ukol tulduu sanon?

— A sanot, što hyö kuoltih.

Heijät šuoritettih i regeh i kazakku työtäh tappamah korbeh.

Lähtöö kazakku viemäh i pagizoo heijän kel:

— Vot, — sanoo, — žäali olis teidy tappaa, ga kuibo minä otvietan annan?

A Kol'a oli smieloimbi i sanoi:

— Sinä gu menet — ga koiru on kandanuh. Sinä gu ylen terväh kudžun tembaat, ga koiru hyppää sinul hardeil. Sinä kudžun lykkäät i heile sanot, što maksat koiru söi.

I häi ajaa kodih. Menöö, gu koiran kudžun tembaa — i koiru hänel ryndähil i hyppää, da čud' vai ei sobii revittelle. Häi menöö pertih i vjjavii:

— Laadiat midä tahto: koiru maksat söi i kai sovat revitteli.

— No nygöi pidää koiru tappa i maksat syvvä.

Brihaččuzet lähtiettih maailmal ploovimah. Puututah taloih. Kirikköh zvonitah. Leskiakku sanoo:

— Mengää, lapset, kirikköh, nygöi olis ylen hyvä sluužbu: caarii vjibiraijah. I kenel tuohus virinnöö iče — se roih caarikse a toine rodiah velikoikse kn'ääzikse.

— Myö lähtizimmö, ga eule d'engaa tuohustu ostaa.

Häi ottaa i kolme kopeikkaa andaa mollembil. Mennäh kirikköh, sei-zotah rinnakkai. I sih on objaulenii lyödy. Sid kirikös on d'oukko herraa. Vaigu se tuohuksien virindyaigu tuloo — heijän i tuohukset viritäh. Hyppää se sama generaalu, molembil tuohukset sammuttaa. Sluužbu se proidii. Hyö tullah taloih pahas mieles i sanotah:

— Vot, baabuška, meile viriäksendeli tuohukset, ga generaalu tuli dai sammutti.

Leskiakku sanoo:

— Algää olгаа pahas mieles: kolme ildaa v biraijah. Huomei i menettö.

Taase tossupään sluužbal zvonitah, i baabuška sanoo:

— Mengää, lapset, kirikköh.

— Meil ei ole dengaa.

Häi mollembil kolme kopeikkaa andaa. Mennäh. Vai se virindyaigu tuloo — heijän tuohukset i viritäh. A generaalu sammuttaa. Mennäh kodih i taase žaaloboijahes baabuškal.

— Algää pahas mieles olгаа: ei kolmattu kerdaa sammuta.

Taase kolmas kerdu lähtietäh. I iče leskiakku lähtöö i rinnal brihaččuloia seizattahes. Vai se tuloo virindyaigu — heijän tuohukset i viritäh. Generaalu hyppää, ga baabušku i kirgaa:

— Uraal Kelle kolmazgi kerdu virittih, ned i roijah caarikse i velii-koiksee kn'ääzikse!

I heis rodih: yhtes caari, toizes kn'ääzi. Heile himojttaa lähtiä tii-justamah, viego taatto on elos. Mendih kodih, pyrritäheze. Ribusovat heile on päälpäi, a hyvät sovat al. Pyrritähes yökse. A emä sanoo:

— Kaikkii kaalikkoi lasket yökse!

No yksikai taattah laskoo. Heil ižä kyzyy:

— Gu oletto ižän kävellyöt, ettego tiižä skaaskaa?

— Tiižämmö, a tol'ko ken keskustannoo, sid ezimäzel kerral sada rubl'aa, toizel kerral kaksisadaa rubl'aa... i nel'l'äsadaa rubl'aa, viijendel kerral — *ugolovnoi nakazaanii*.

Brihaččuzet sanotah kai, kui dielot oldih i kui maamah heidy naka-zuičči. Dai kai podrobno sanellah. A maamah i keskustaa kolme kerdaa. Nel'l'änden gu kerran keskustaa — i händy nakažitah tyrmäh. A ižä otetah ičen kel i vai eletäh.

25. ЗОЛОТОГОЛОВАЯ УТКА

Было когда-то два брата. Один был бедный, другой — богатый. Бедный брат утром пошел в лес. Смотрит — лес валится, а лесорубов никого нет. «Вот так чудо: лес валится, лесорубов никого нет». Оттуда отвечают:

— Счастье твоего брата валит.

Он говорит:

— Вот у одного счастье, а другому нечего есть.

— Есть и у тебя счастье, только тебе лень поискать.

— Где мне искать?

— Иди на широкое поле, на зеленый луг, там твое счастье спит в шатре. Спокойно спит, даже пояса на нем нет. Возьми прутик и три раза ударь прутиком, тогда он ответит.

Он идет, смотрит — там спокойно в шатре спит [счастье]. Берет прутик, ударяет три раза, выскакивает оттуда:

— Зачем ты бьешь?

— Да мне есть нечего, а ты спишь!

Тот говорит:

— Иди домой. По дороге посмотри, где ручей, и в тот ручей поставь мережу.

— Как же я сделаю [мережу], если у меня нет денег?

— Есть у тебя среди железного лома пять копеек. На это купишь ниток, сколько тебе надо.

Он идет и находит пять копеек и покупает на это ниток. Ставит в ручей мережу, утром идет ее смотреть. Идет смотреть — а там золотоголовая утка. И эта утка несет каждый день золотое яйцо, и оно стоит сто рублей. Он первые яйца продает и покупает всякого товару. Потом копит по десяткам, только тогда идет продавать. Он нажился порядком и стал богатый. Потом он покупает лодку, едет в другие государства торговать. Перед отъездом хозяйке говорит:

— Смотри, чтобы никому не говорила про утку!

Вот уже к хозяйке стали ходить большие господа. И с одним генералом слюбились, и стали они жить. Генерал спрашивает:

— Как вы так быстро разбогатели, еще недавно были совсем бедные?

— Нельзя говорить.

— А если нельзя говорить, то прощай! — говорит генерал.

Женщина зовет его обратно и говорит:

— Вот у нас есть утка, и она несет каждый день по золотому яйцу, и оно стоит сто рублей.

Генерал говорит:

— Покажи-ка эту утку.

Она говорит:

— Нельзя показывать.

— Нельзя, так прощай!

Ей жалко стало, и взяла да показала утку. Показала ее, а под левым крылом написано: «Кто это съест, будет царем». А под правым: «Кто это съест, будет великим князем».

— Как же я отвечу, когда хозяин придет?

— Ответ легко дать, скажешь: утка сдохла — и дело с концом. Зачем же тужить, если и зарежешь [утку], со мной будет хорошо жить, — говорит генерал.

Она взяла и отдала [утку]. И зарезали ее да изжарили. У нее было два мальчика: Коля да Миша. А на этих мальчиков генерал смотрел, как на змей. Генерал как крикнул, и мальчики оба спрятались на печи. Женщина истопила баню, и генерал с ней пошел в баню. А утку оставили в печи, что, мол, «после бани съедем ее». Коля да Миша поднялись на печь и говорят:

— Чем-то хорошим из печки пахнет.

Кухарка вышла во двор. Коля говорит:

— Давай съедем, тут в печке утка!

— Съедем — пропадем.

Все-таки они съели, только косточки положили обратно на сковородку. Пришли из бани и позвали кухарку:

— Принеси теперь жаркое!

Кухарка принесла, а там только косточки. Давай кухарку ругать:

— Сама съела, или кто съел?

Кухарка говорит:

— Наверно, никто не съел... Я выходила во двор, тем временем, наверно, Коля да Миша съели.

Генерал говорит:

— Теперь надо Колю и Мишу убить и их печень присте-
сти мне.

Женщина говорит:

— Что же я тогда мужу скажу, когда придет?

— А скажешь, что они умерли.

Их посадили в сани, и работника отправили в лес их убивать. Повоз работник, разговаривает с ними:

— Вот, — говорит, — жаль вас убивать, но как же я буду
ответ держать?

А Коля был посмелее и сказал:

— Ты как вернешься — а собака у нас ошенилась. Ты очень быстро схвати щенка, и собака на тебя бросится. Ты щенка брось и им скажи, что печень собака съела.

И он [работник] едет домой. Приезжает, хватает щенка — и собака ему на грудь бросается, чуть одежду не порвала. Он заходит в избу и заявляет:

— Делайте, что хотите: собака печень съела и всю одежду порвала.

— Ну, теперь надо собаку убить и печень съесть.

Мальчики побрели по свету. Набрели на дома. В церковь звонят. Старуха-вдова говорит:

— Идите, дети, в церковь, сейчас очень хорошая служба: царя выбирают. И чья свечка загорится сама — тот будет царем. А другой будет великим князем.

— Мы бы пошли, но нет денег, чтобы свечку купить.

Она дает обоим по три копейки. Идут в церковь, становятся рядом. И там объявление висит. В церкви толпа господ. А как наступает время зажигания свечей, их свечи и загораются. Подскакивает тот самый генерал и у обоих гасит свечи. Служба та прошла. Они приходят домой опечаленные и говорят:

— Вот, бабушка, у нас свечи загорелись, но генерал пришел и погасил.

Старуха-вдова говорит:

— Не печальтесь: три вечера будут выбирать. Завтра опять пойдете.

Опять на второй день на службу звонят, и бабушка говорит:

— Идите, дети, в церковь.

— У нас нет денег.

Она обоим дает по три копейки. Пришли. Как только настало время зажигаться свечам, их свечи и загорелись. А генерал гасит. Идут они домой и жалуются бабушке.

— Не печальтесь: третий раз не погасит.

Опять третий раз отправляются. И сама старуха-вдова идет и становится рядом с мальчиками. Как только настает время зажигаться свечам, их свечи и загораются. Генерал подскакивает, но бабушка и кричит:

— Ура! У кого третий раз свечи загорелись, те и будут царем и великим князем!

И они стали один царем, другой князем. Им хочется поехать узнать, жив ли еще отец. Приехали домой, просят в дом. Сверху на них лохмотья, а хорошая одежда подниз надета. Попросились на ночь. А мать говорит [отцу]:

— Всяких калик ночевать пускаешь.

Но отец все-таки пускает. Спрашивает у них отец:

— Вы весь век ходите — не знаете ли сказки рассказать?

— Знаем, но если только кто прервет, за первый раз сто рублей, за второй раз двести рублей, за четвертый раз четыреста рублей, за пятый раз — уголовное наказание.

Мальчики рассказывают все, как было дело и как мать их наказала. И они все подробно рассказывают. А мать прерывает их три раза. Четвертый раз прервала, и ее наказали: пожизненно в тюрьму. А отца берут с собой и живут себе.

26. SADA JANOIDY

Vot hyvä-horošo. Oli ennen sie neidine. Neiisti, neiisti, i kohtustui. Kohtustui, kohtun kandoi i sai poigulapsen. Sai lapsen i kazvattaw sidä poigoa. Kazvoi se poigu suwrekse miehekse, d'ongoi rubei saldatakse pädömäh. Nu vot, hyvä-horošo, kučuttih händäh prijomah. Meni prijomah i händy priimittih. Häi sie sluwžiw kaksikymmen viizi vuottu. Tulow kodih työändyaigu i händy työtäh kodih.

Nu vot, hyvä-horošo, lähti häi kodih matkah, eigo ole d'engua, eigo midä. (*A kaksikymmen viizi vuottu sluwži saldattannu!*) Häi jo kaksikymmen viizi kilometrii astui kodih päi i vřidumaičči: «Kačos, kaksikymmen viizi vuottu sluwžiin saldattannu, a soarii nähtä ei puwttunuh, nygöi lähten soarii nägemäh». I keändyi järilleh. Nu vot, hyvä-horošo, häi jo soarin d'vorčan vorotfoih peäzi. Sie seizow dežurnoi saldattu i kyz'w:

— Midä tulet tänne?

— Tulen, — sanow, — sidä, kaksikymmen viizi vuottu sluwžiin saldattannu, a soarii nähtä ei puwttunuh, tuliin soarii nägemäh.

Saldattu andoi hänel kaksi nomeroa i sanoi:

— Mene, nämii numeroi myö.

Saldattu meni ielleh, ga sie syväinuksi — toine dežurnoi. Kyz'w:

— Midä tuliit tänne?

— Tuliin, — sanow, — soarii nägemäh. Kaksikymmen viizi vuottu sluwžiin, a nähtä ei puwttunuh, a nygöi d'o kaksikymmen viizi kilometrii kodih päi astuin i järilleh keänyin.

Nu, hyvä-horošo, toine dežurnoi nevvoi händy, sanow:

— Mene nämih uksi, siit komnatas on soari.

Häi meni komnattah, soari oli kois. Nu, hyvä-horošo, häi meni sinne i soarin kel zdorofkaičči. Soari kyz'w hänel:

— Nu midä, služivoi, tuliit?

Häi vastai:

— Vot, soari, — sanow, — tuli minun kodih työnändyaigu i työttih. D'o kaksikymmen viizi kilometrii astuin kodih päi i juohtui mieleh: midä liennen elänyh (*vožnoi zoakkun on, ni midä ei pie propustie, kai pidäw panna!*), kaksikymmen viizi vuottu česno sluwžiin, ni miittumoa zamečaaniedu ei olluh, a soarii nähtä ei puwttunuh, nygöi tuliin nägemäh!

Soari hänel kail peäh pläkkäi, sanow:

— Molodec, služivoi, ku tuliit nägemäh!

Nu vot, hyvä-horošo, soari hänen jaksatti, hyvih sobih šuoritti, andoi kuldaizet čoasut i kaksikymmen viizi rubl'oa d'engoa dorogah. Lähti häi niijen kel kodih. Astui, astui kodih päi — tuli linnas läbi astuo. Ugodih hänel vastah toine tuttavu hengi. Hyö azetuttih sih paginal. Sil keskie ikkunas kačahti ylen čoma neidine — kupsan tytär. Hänel tuli sana suws peästeä, sanow:

— Minä nečen neidizen...

Neidine hänen paginat kuwli, juoksi toattah luo i sanoi, midä kuwli. Kučuttih händäh kupsan kodih i ruvettih doprossimah:

— Midä nenga löwhkiit da midä nenga pagiziit?

Häi vastai heile:

— Kudai puwtui paista, ga sidä et järilleh taboa!

Kupsu sanow sil saldatal:

— Nu ku pagiziit, ga annan nygöi sinul zadoačan: ku spolnie et voine, ga tyrmäh dorogu dai peä menöw poikkil

Häi duwmaiččow: «Kačos, kaksikymmen viizi vuottu saldattannu sluwžiin, česno, hyvin, a nygöi puwtui peä pois leikattavakse». Nu hyvä-horošo, häi kyzyw kupsal:

— Nu miittuonbo zadaanien annatto?

— A annammo sada jänöidy paimendettavakse, illal ku oldas kai kois!

Nu, hyvä-horošo, avatah kon'ušin uksi, työtäh sada jänöidy, i net ken kunnegi — hušku. Saldattu se menöw meččäh, ga ni yhty jänöidy ei näi. Häi rubei itkemäh, a iče aivin kaččeleh: eigo hos kus viwhkahtazih hos yksi jänöil Nu vot, hyvä-horošo, häi itki, itki, tulow harmai starikkaine hänen edeh:

— Midäbo, služivoi, itket? — kyzyw hänelleh.

— Itkie, — sanow, — annah minuh: oliin minä neidizen poigu, kazvoin i otettih minuw saldatakse. Kaksikymmen viizi vuottu sluwžiin česno, hyvin, ni mittumoa zamečanijoa ei olluh. Työttih minuw kodih. D'o kaksikymmen viizi kilometrii astuin kodih päi, ga juohtui mieleh, ku soarii nähtä ei puwttunuh. Minä otiin i keännyin järilleh soarii nägemäh. Soarii nähtä puwtui. Soari minul andoi uwvet sovat peäl, kaksikymmen viizi rubl'oa d'engoa i kuldaizet čoasut. Lähtiin kodih linnoa myö matkoamah, ugodiimmokseh parahitteh kupsan ikkoin al pagizemah. Kupsan ikkunas, kačon, seizow ylen čoma da hyvä neidine, kupsan tytär. Minä sil tuttavah sanoin, što, minä nečen neidizen ... Kupsan tytär kuwli minun paginan i sanoi toatalleh. Toattah kučui minuw i kyzyi: «Mikse nenga pagiziit?» Minä hänel sanoin: «Nygöi kudai puwtui sanuo, ga järilleh et taboa!».

Starikkaine kuwndeli hänen paginat i andoi hänelleh torven — lulletin i sanoi:

— Älä, služivoi, itke, jänöit kai roih kodih. Mene kon'ušin pihah i lulleta, dai kai jänöit tullah kodih. Roih sinul ostajat, što ni kui et peäze, i hos myönnet, ga olgah jänöi hos kivel sydämez, ga lullettahuw tulow sihl

Lähti starikku eäres. Tuli ildu. Häi meni kon'ušin pihah i lulletti. Kai sada jänöidy tuldih i mendih kon'ušših. A kupsan tytär se ugodih pihal. Häi nägi kui paimoi tuli kodih, i kai jänöit tuldih. Häi meni toattah luo i sanoi:

— Paimoi d'o tuli, i kai jänöit tuldih!

— Menes, tytär, luve, ollahgo kai sada jänöidy kois.

Tytär meni, lugi, tuli i sanoi iżäle:

— Kai ollah kois!

Saldattoa sidä työtäh i tossupeän paimendamah jänölöi. Peäsetäh jänöit kon'ušiz, ga net mene tiije kunne hušketah. Häi menöw jälles

meččäh, buite kui paimendamah. Päivän sie ildassah on, illal tulow kon'ušin pihah, lullettaw, i jänöit kai sih tullah. Kupsan tyttäret sie ugo-ditahes pihal i viijäh viesti:

— Meijän paimoi tuli.

Kupsu työndäw kaksi tytärdy i akan lugemah, ollahgo kai jänöit. Lugietah, ga kai ollah. Nu händy työtäh vie kolmandennu päivän paimendamah. Kupsu työndäw tyttären jänöidy ostamah, sanow:

— Ottakkah min tahto, täwdyw d'engoa, vai osta!

Meni kupsan tytär meččäh paimoin luo i rubei ostelemah. Paimoi ni mil ei myös, sanow:

— Kaksikymmen viizi vuottu česno sluwžiin soaril, ni miittumas za-mečanijaz en olluh, ga nygöi peädy menettämäh en rubie.

A neidine prižmiw:

— Myö dai kai siitl..

Jälgimäi saldattu sanow:

— Myön, ku iččiedäs kerran andanet da sada rubl'oa d'engoa.

Kupsan tytär i soglassih. Andoi sada rubl'oa d'engat, dai iččiedäh andoi, i otti jänöin. Jänöin hyvin ploat'an helmah krieppi i lähti kodih. A paimoi meččä myö siiriči hänes juoksi i enne kupsan tytärdy meni kon'ušin pihal i lulletti. Kai jänöit tul dih sih, i se myödy jänöi kai ploat'at revitti i tože tuli sih. Tuli kupsan tytär kodih, ga toattah i kyzyw:

— Puwtuigo jänöi ostoä?

— Puwttuwgo! Toas miehes et osta, vai yhty lugow, što «kaksikymmen viizi vuottu soaril česno sluwžiin, ga nygöi peädy menettämäh en rubiel» — sanow tytär toatalleh, a sidä ei sano, što osteli jänöin.

Händy työnnetäh kolmandennu päivänny paimendamah. Toas työndäw toizen tyttären, vanhemban, ostamah, sanow:

— Ottakkah min tahto, vai jänöin myögäh!

Meni meččäh, ga jänöit kai hänes, saldatas ymbäri ollah. Rubei ostelemah. A paimoi sanow:

— En myö, kaksikymmen viizi vuottu soaril sluwžiin česno, a nygöi peädy menettämäh en rubiel!

Neidine sanow:

— Meile pidäs lähtie ulgomail gostih, a jänöitä ei laskieta, kallis-huovis, a soaha pidäw!

Osteli, osteli, jälgimäi saldattu sanow:

— Nu peä i mennöw, ga ku andanet kaksi sadoa rubl'oa d'engoa i kaksi kerdoa iččiedäs, siit myön!

Hyö mugai laittihes. Neidine jänöin osti, ploat't'ah kierii i lähti kodih. Opad' paimoi juoksow kodih bokači i kon'ušin pihal lullettaw. Kai jänöit sih kerävyttih, a se myödy jänöi kaiken ploat'an revitteli i tože sih tuli. Meni tytär kodih, ga hänel kyzytäh:

— Saidgo ostoä?

— Ohoh, — sanow neidine, — toal miehel etto osta! Vai sidä lugow, što «kaksikymmen viizi vuottu soaril česno sluwžiin, a nygöi peädy menettämäh en rubiel».

Työtäh vie paimenih eräs päivy händy sinne. Kupsu työndäw oman emändän jänöidy ostelemah. Menöw emändäh meččäh i ostelow, kaillele kielastelow, sanow:

— Ulgomail pidäw lähtie gostih, a jänöitä ei laskieta sinne: huoviskallis, a jänöi pidäw soahal

A saldattu sanow:

— Kaksikymmen viizi vuottu sluwžiin česno, ni miittuos zamečanies en olluh, nygöi, kačo, jänöin täh peädy menettämäh en rubiel

Kiistettih, kiistettih, jälgimäi saldattu sanow:

— Ku kolme sadoa rubl'oa d'engat andanet, da kolme kerdo a iččiedäs, siit myön!

Nu mugai loaittihes. Kupsan akku jänöin osti, ferezih krieppi i lähti kodih. Paimoi bokači kodih juoksi, kon'ušin pihal lulletti, i kai jänött sih kerryttih, dai myödy jänöi ferezin revitteli i sih tuli. Tulow kupsan emändy kodih, kupsu i kyzzyw hänel:

— Saidgo jänöin ostoa?

— Midä soaw! Toas miehez ni huogehel, ni kallehel et soa, vai sidä lugow, što «kaksikymmen viizi vuottu pravval sluwžiin, ga nygöi-taki jänöin täh peädy en rubie menettämäh!».

Erähän peän lähtöw iče kupsu jänöidy ostamah. Nowzow Zerkal hevol selgäh i lähtöw paimoilhuo meččäh. Menöw i kaikkeh loaduh ostelow, a toine ni mil ei myö, sanow:

— Kaksikymmen viizi vuottu pravval sluwžiin, jänöin täh, kačo, nygöi peädy menettämäh en rubiel

Torguittihes, torguittihes, jälgimäi saldattu sanow:

— Ku kuwzi sadoa rubl'oa andanet da Zerkal hevon roadanet, siit myön, hos peä i mennöw.

Kupsu duwmaččow: «Eihäi ken teä näi, eigo tiije, a soan jänöin da paimoin hävitän». Osti jänöin, andoi d'engat i roadoi Zerkal. Kupsu krieppi jänöin iččeh polih, nowzi hevol selgäh i lähti ajamah kodih. Ajaw astuttaen hyvä mieleles, ku jänöin sai. Paimoi juoksow kodih enne händy, lulletaw i kai jänöit kerävyttih sih. Myödy jänöi revitteli kupsal kai sobien polat, peäzi eärehe i toze tuli sih. Meni kodih kupsu, ga emändy kyzzyw:

— Saidgo ostoa?

— Midä, — sanow, — kupsu, — toas miehes ei soa ni kel ostoa, ni teil, ni minull

Siit vie keskenäh ruvetah tolkkuimah, mih loaduh saldattu hävitteä, paimendukaal ku ei voidu. Kereäw kupsu suwren boalu. Istutahas kaikin stolah. Siit istuw kupsan emändy, iče kupsu, kaksi hänen tytärty i muwt gost at. Istutetah saldattoa čuppuh i annetah hänel tyhjy hoavo. Kupsu sanow hänel:

— Tämä hoavo täwzi pideäw sanuo zoakkonoal

Rubiew saldattu sanomah zoakkonoa. Nu hyvä-horošo, ottaw ez-mäzikse iččeh elaijan:

— Vot, — sanow, — sluwžiin kaksikymmen viizi vuottu soaril hyvin, česno. (*I kaiken soarnan sanow uvvessah.*) Nu i rubein minä jänölöi paimendamah. Yhtenny piän tuli nuori neidine jänöidy ostelemah.

Iče ozuttaw nuorembah kupsan tyttäreh i sanow:

— Vot ku sinäl — i sanelow kaiken sen jänöin osteluksen.

— Tossu piän tuli toine neidine jänöidy ostelemah, — iče ozuttaw vahnembah kupsan tyttäreh i sanow:

— Vot sinä, ku sinäl!

I tože sanelow kaiken sen dielon. Kupsan perehel kaikel d'o veri kiehuv, a kupsu varoaw d'o jälgimäizen sanan sanondoa.

— A kolmandennu piän tuli vahnembaine naine, vot ku sinä, — iče kupsan emändäh päi sormen oijendaw, — i ielleh sanelow sidä soarinoa.

— Nelländenny peän tuli vahnembaine mužikku, pitkynenä, suwri mies, rožat leviet, ku sinä, ku sinäl — ozuttaw kupsah.

Siit kupsu i sanow:

— Ei pie enämbi sanuo, nygöi on d'o täwzi hoavol

Saldattu i heitti saneluksen. Boalu loppih i kupsu rubei saldatal čottoa andamah. Häi andoi hänel d'engoa i troikan hebuo, štoč vai saldattu lähtis eäreh, ei ilmoittas kaikkie dieloloi oigieh. Saldattu meni kodih, nai i nygöi vie eläw bohataunu.

Minägi sie oliin. Minuw juotettih i vie viinua keräl annettih. Astun kodih d'oamoi myö, häilyn; tuli Dekin Miikkul vastah, kyzyw:

— Kus, svoattu, tulet?

— A oliin, velli, nengomas i nengomas svoad'bos, sie juotettih da vie keräl annettih viinoa.

— A ongo vie viinoa?

— On, velli, täs, buttkul!

— Davai juommo!

— Davail!

Mollei humalzuimmo, d'o d'oamal rinnakkaih emmo synny astumah, d'o myöäikkäh astummo da ähkimmökseh. Siit yksi koavuimmo yhteh čurah d'oamoa, toine toizeh. Svoattu oli tarkku mies i häi ugodiš mezipuččih, a minä paho i ku nain, puwtuin tervupuččih. Magaimmo sie, magaimmo, kuni humalas oliimmo, a ku selgii peä, ga i nówziimmo eäres. Kačommo, ga svoattu kai miez, a minä tervas. Vetty lähel ole ei peštäkseh i davai myö toine tostu nuolemah. Minä nuoliin miet, a svoattu tervat, puhtahakse piäziimmö, äski puwtuimmo rahvahah, eiga ei las-kietus ni kunne.

(*Nengoman soarnan lopun minä sanon, kos kuwndelii rubiew n'uk-kumah, siit minä sidä n'ukkujoa i nimitän.*)

26. СТО ЗАЙЦЕВ

Вот добро-хорошо. Была там когда-то девушка. Девочила, девочила и забеременела. Забеременела, выносила бремя и родила ребенка, мальчика. Родила ребенка и воспитывает этого мальчика.

Вырос он большим, стал мужчиной, уже и в солдаты ему пора. Ну вот, добро-хорошо, призвали его. Пришел на прием, и его приняли. Он там служит двадцать пять лет. Настало время вернуться домой, и его отправили домой.

Ну вот, добро-хорошо, отправился он в путь, домой, нет ни денег, ничего. (*А двадцать пять лет прослужил солдатом!*) Он уже двадцать пять километров прошагал в сторону дома и придумал: «Смотри, двадцать пять лет прослужил солдатом, а царя увидеть не довелось, теперь пойду на царя поглядеть». И повернул обратно. Ну вот, добро-хорошо, он уже к царским воротам добрался. Там стоит дежурный солдат и спрашивает:

— Зачем идешь сюда?

— Иду, — говорит, — за тем, двадцать пять лет прослужил солдатом, а царя увидеть не довелось, пришел на царя поглядеть.

Солдат дал ему два номера и говорит:

— Иди по этим номерам.

Солдат пошел дальше, а там внутренние двери — второй дежурный. Спрашивает:

— Зачем пришел сюда?

— Пришел, — говорит, — царя повидать. Двадцать пять лет прослужил, и увидеть не довелось, а теперь вот двадцать пять километров в сторону дома прошагал и обратно вернулся.

Ну добро-хорошо, второй дежурный советует ему, говорит:

— Зайди в эту дверь, в той комнате царь.

Он зашел в комнату, царь был дома. Ну добро-хорошо, он вошел туда и с царем поздоровался. Царь и спрашивает у него:

— Ну что, служивый, зачем пришел?

Он отвечает:

— Вот, царь, — говорит, — настало время мне домой идти, и отправили. Уже двадцать пять километров прошагал в сторону дома и вспомнил: сколько я прожил (*важная сказка, ничего нельзя пропустить, все надо сказать!*) — двадцать пять лет честно прослужил, никаких замечаний не было, а царя увидеть не довелось, теперь пришел поглядеть.

Царь его по плечу рукой хлопнул, говорит:

— Молодец, служивый, что пришел повидать!

Ну вот, добро-хорошо, царь велел ему раздеться, одел в хорошую одежду, дал золотые часы и двадцать пять рублей денег на дорогу. Пошел он с этим домой. Шел, шел домой — случилось через город проходить. Попал ему навстречу другой человек, знакомый. Они остановились поговорить. В это время из окна выглянула очень красивая девушка, дочь купца. Он и промолвил слово, говорит:

— Я эту девушку обещаю!

Девушка услышала его разговор, побежала к отцу и расска-

зала, что слышала. Пригласили его в дом купца и стали допрашивать:

— Почему ты так хвастаешься, почему так говоришь?

Он отвечает им:

— Что сказано, того назад не воротишь!

Купец говорит тому солдату:

— Ну, раз говорил, так теперь я дам тебе задачу, если не исполнишь, то прямо дорога тебе в тюрьму и голова с плеч!

Он думает: «Видишь, двадцать пять лет в солдатах прослужил честно, хорошо, а теперь моя голова будет отрублена». Ну добро-хорошо, он спрашивает у купца:

— Ну, какое же задание дадите?

— А дадим пасти сто зайцев, вечером чтоб все были дома!

Ну добро-хорошо, открыли дверь конюшни, выпустили сто зайцев, и те все кто куда разбежались. Солдат тот пошел в лес, так ни одного зайца не видит. Он заплакал, а сам все смотрит: не промелькнет ли где хоть один заяц! Ну вот, добро-хорошо, он плачет, плачет, появляется седой старичок перед ним:

— Чего, служивый, плачешь? — спрашивает у него.

— Плакать мне, — говорит, — есть из-за чего: был я сыном девушки, вырос и взяли меня в солдаты. Двадцать пять лет прослужил честно, хорошо, никаких замечаний не было. Отпустили меня домой. Уже двадцать пять километров прошел в сторону дома, да вспомнил: и царя увидеть не довелось. Я взял да и повернул обратно — царя повидать. Царя увидеть довелось. Царь мне дал новую одежду, двадцать пять рублей денег и золотые часы. Пошел домой через город, случилось мне разговориться под окном купца. У окна, вижу, стоит очень красивая да хорошая девушка, дочь купца. Я своему знакомому сказал, что я эту девушку обещаю. Дочь купца услышала мой разговор и сказала своему отцу. Отец позвал меня и спросил: «Почему так говорил?». Я ему ответил: «Что теперь сказано, назад не вернешь».

Старик прослушал его речи и дал ему дудку, и сказал:

— Не плачь, служивый, зайцы все будут дома. Пойди во двор и дуди, и все зайцы придут домой. Будут у тебя покупатели, никак не отвяжешься, но если и продашь, так пусть зайцы будут хоть внутри камня, а как подудишь, будут тут!

Пошел старик прочь. Настал вечер. Он пришел во двор конюшни и подудел. Все сто зайцев пришли и зашли в конюшню. А дочь купца случилась во дворе. Она видела, как пастух пришел домой и все зайцы пришли. Она пошла к отцу и сказала:

— Пастух уже пришел, и все зайцы пришли!

— Поди-ка, дочка, сосчитай, все ли сто зайцев дома.

Дочь пошла, сосчитала, вернулась и говорит отцу:

— Все дома!

Солдата и на второй день отправляют пасти зайцев. Отпустили зайцев с конюшни, а те — поди знай, куда разбежались.

Он идет следом в лес, будто пасет. Весь день там до вечера пробыл, вечером приходит во двор конюшни, дудит в дудку, и все зайцы тут как тут. Дочери купца тут были во дворе, и приносят весть [отцу]:

— Наш пастух пришел.

Купец посылает двух дочерей и жену считать, все ли зайцы пришли. Сосчитали — все тут. Ну, его отправляют еще и на третий день пасти. Купец посылает дочь зайцев покупать, говорит:

— Пусть берет сколько угодно, хватит денег, только купи!

Пошла дочь купца в лес к пастуху и стала покупать. Пастух никак не соглашается продать, говорит:

— Двадцать пять лет честно служил царю, никаких замечаний не было, так и теперь голову терять не хочу.

А девушка не отступает:

— Продай, и все тут!

Наконец солдат говорит:

— Продам, если отдашься да еще денег сто рублей дашь.

Дочь купца и согласилась. Дала сто рублей денег и сама отдавалась, и взяла зайца. Заяц завернула крепко в подол платья и пошла домой. А пастух по лесу пробежал мимо нее, раньше дочери купца пришел во двор и задудал. Все зайцы пришли туда, и тот проданный заяц даже платье порвал и прибежал. Пришла дочь купца домой, а отец и спрашивает:

— Удалось ли купить зайца?

— Удалось ли! У этого человека не купишь, знай твердит одно, что «двадцать пять лет царю честно служил, так теперь не буду голову терять», — говорит дочь отцу, а того не говорит, как зайца покупала.

Его отправляют на третий день пасти. Опять [купец] посылает вторую, старшую, дочь покупать, говорит:

— Пусть возьмет хоть сколько, только пусть заяц продаст!

Идет в лес, а зайцы все вокруг него, солдата. Стала покупать. А пастух говорит:

— Не продам, двадцать пять лет царю служил честно, а теперь голову терять не буду!

Девушка говорит:

— Нам надо бы поехать в гости за границу, а без зайца не пускают, дорого ли дешево, а достать надо!

Торговалась, торговалась, наконец солдат говорит:

— А пусть пропадает голова, если дашь двести рублей денег и два раза сама отдашься, тогда продам!

Они так и сделали. Девушка зайца купила, в платье завернула и пошла домой. Опять пастух мимо нее пробегает домой и во дворе дудит. Все зайцы тут собрались, а тот проданный заяц все платье порвал и тоже прибежал. Приходит дочь домой и у нее спрашивают:

— Купила ли?

— Ох-ох, — говорит девушка, — у этого уж не купите! Только и твердит, что «двадцать пять лет царю честно служил, а теперь голову терять не хочу».

Еще там на один день его в пастухи отправляют. Купец посылает свою жену зайцев покупать. Приходит хозяйка в лес и торгуется, всячески обманывает, говорит:

— За границу надо ехать в гости, а без зайца туда не пускают: дорого ли дешево, а зайца достать надо!

А солдат говорит:

— Двадцать пять лет служил честно, никаких замечаний не получал, и теперь, смотри, из-за зайца голову терять не буду!

Спорили, спорили, наконец солдат говорит:

— Если дашь триста рублей денег, да три раза сама отдашься, тогда продам!

Ну, так и сделали. Жена купца купила зайца, завернула в подол юбки и пошла домой. Пастух пробежал по лесу мимо нее, во дворе конюшни задудел, и все зайцы собрались, и проданный заяц юбку порвал и прибежал. Приходит жена купца домой, купец и спрашивает у нее:

— Сумела ли зайца купить?

— Сумеешь! У этого человека ни дешево, ни дорого не возьмешь, только и твердит, что «двадцать пять лет правдой служил так теперь-таки из-за зайца не буду голову терять!».

В один день идет сам купец зайца покупать. Садится верхом на лошадь и едет к пастуху в лес. Приезжает и по-всякому упрямывает продать, а тот ни в какую, не продает, говорит:

— Двадцать пять лет правдой служил, из-за зайца, смотри, голову терять не буду!

Торговались, торговались, наконец солдат говорит:

— Если дашь шестьсот рублей и кобылу Серку обработаешь, тогда продам, хоть и голову снимут.

Купец думает: «Никто ведь тут не увидит и не узнает, зато зайца получу и пастуха погублю». Купил зайца, отдал деньги и Серку обработал. Купец крепко завернул зайца в свою полу, сел на лошадь и поехал домой. Едет шагом, на радостях, что зайца достал. Пастух прибегает домой раньше его, дудит, и все зайцы собрались тут. Проданный заяц разорвал у купца все полы, вырвался и тоже прибежал. Приходит купец домой, хозяйка и спрашивает:

— Сумел ли купить?

— Что, — говорит купец, — у этого человека никто не купит, ни вы, ни я.

Потом толкуют между собой, каким образом солдата погубить, раз в пастухах не удалось [погубить]. Собирает купец большой бал. Садятся все за стол. Тут сидит жена купца, сам

купец, две его дочери и остальные гости. Сажают солдата в угол и дают ему пустой мешок. Купец говорит ему:

— Ты должен рассказать сказок полный этот мешок!

Начинает солдат рассказывать сказки. Ну добро-хорошо, сперва начинает про свою жизнь:

— Вот, — говорит, — прослужил царю двадцать пять лет хорошо, честно... *(И всю сказку рассказывает снова.)* И вот стал я зайцев пасти. В один день пришла молодая девушка зайца покупать.

Сам показывает на младшую дочь купца и говорит:

— Ну вот как ты, как ты! — и рассказывает про всю покупку того зайца.

— На следующий день пришла вторая девушка покупать зайца, — сам показывает на старшую дочь купца и говорит:

— Вот ты, как ты!

И тоже рассказывает все это дело. У семьи купца у всех уже кровь кипит, а купец заранее уже боится последних слов солдата.

— А на третий день пришла женщина постарше, — вот как ты, — сам на жену купца пальцем показывает.

И дальше рассказывает эту сказку.

— На четвертый день пришел мужик постарше, длинноносый, высокий мужчина, лицо широкое, как ты, как ты! — показывает на купца.

Тут купец и говорит:

— Не надо больше говорить, уже полон мешок!

Солдат и перестал говорить.

Бал кончился, и купец стал давать солдату расчет. Он дал ему денег и тройку лошадей, только чтоб солдат уехал прочь, не рассказывал бы все, как было дело. Солдат уехал домой, женился и теперь еще живет богато.

И я там был. Меня напоили и еще с собою вина дали. Иду домой по тракту, качаюсь; идет Деккуев Мийккул навстречу, спрашивает:

— Откуда, сват, идешь?

— А был, братец, на такой-то и на такой свадьбе, там напоили, да еще с собой вина дали.

— А еще есть ли вино?

— Есть, братец, вот бутылка!

— Давай выпьем!

— Давай!

Оба опьянели, уже на дороге места мало для двоих, уже друг за другом идем да кряхтим. Затем свалились — один по одну сторону тракта, другой по другую. Сват был меткий мужик и упал в бочку с медом, а я, как плохо вижу, попал в бочку со смолой. Спали там, спали, пока пьяные были, а как голова прояснилась, так и встали оттуда. Глядим, так сват весь в меду, а я в смоле.

Воды поблизости нет помыться, и давай мы друг друга лизать. Я вылизал мед, а сват смолу, стали чистыми, только потом попали к людям, а не то не впустил бы нас никто.

(Такой конец сказки я говорю, когда слушающий начинает дремать, я потом этого задремавшего и называю.)

27. VANKA

Oli sie leskiakku. Hänel oli poigu — Van'ka nimi. Ylen oli kewhy. Van'ka lähtöw kois piädy syöttämäh, ku kois ei ole ni midä. Muamah sanow:

— Mene, poigu.

Menöw häi i puwttuw kupčah, taričeh kazakakse.

Kupču sanow:

— Ga voit, požualui, ottua.

Kupčal oli tytär ylen hyvä. Kupču rubei Van'kua palkuamah kazakakse viijekse vuottu i kyzyw:

— Äijängo otat viijes vuvves kazakoidas?

Van'ka sanow:

— En ota ni midä, ku andanet tyttären mučoiakse kazakoičendois.

Kupču rubei duwmaičemah akan kere: «Pidäw ottua kazakakse Van'ka, anna viizi vuottu ruadaw Van'ka. Viijen vuvven peräs mene tie midä vie roihez. Moožet annammo i bohatebale tyttären miehele».

Palkattih Van'kua kazakakse, uslovii luajittih: viijen vuvven proidihuw tyttären Van'kal mučoiakse. Viizi vuottu ruadaw Van'ka kupčal ylen hyvin, bezizmenno. Proidii viizi vuottu. Tuldih kupčan tyttäreš sulhazet — toizen, ylen bohatan kupčan poigu. Kupču rubei tyttärdy miehel andamah kupčan poiiale. Pidi svuad'ban kupču, andoi tyttären miehel. Van'kale rodih ylen paha mieles, sanow:

— Kačo, ruavoin viizi vuottu: kewhäl vikse ainos pidäw tirpua.

Työndi kupču Van'kan melliččäh toizeh kyläh. Ajaw Van'ka melliččäh telegäl. Ajoin palaizen, virstan muadu. Kyläs telegäs os's'u katkei. Van'kal duwmu tuli paha: «Kui minä ielleh piäzen melliččäh?». Duwmaičemah rubei: «Midä ruadua?». Sit otti kirvehen, meni meččäh, rubei koivu w leikkuamah. Koivu d'äivii iänen:

— Älä minuw leikkua, mene telegällyö, sano: «Tartu, os's'u endi-zelehl!». Dai os's'u tartuw.

Van'ka koivu w ei leikannuh, koivu händy vie nevvoi, sanow:

— Konzu, slučai, rodineh midä, sano: «Piäze iärel», sit sigä i roitos, moločču.

Meni Van'ka telegällyö, sanoi:

— Tartu, os's'u, d'ärillesh!

Os's'u tartui d'ärillesh. Lähti Van'ka ajamah ieleh melliččäh. Meni melliččäh, rugethet d'awhotti. Tuli d'ärillesh kupčalluo d'awholoin kele:

— Rugethet d'awhotin.

Kupču sanoi:

— Pane d'awhot aittah.

Van'ka pani aittah d'awhot. Lasketti häi hevon iäre. A ku Van'kal himoittaw tiijustua: «Ongo neče koivun pagin tozi?». Sanoi os'ale:

— Piäze, os's'u, iärel

Os's'u helähtihe — katkei d'ärilleh. Van'ka duwmaiččow: «Kačos kummua, koivu pravvan on sanonu!».

Menöw pertih kupčalluo. Kupču syöttäw Van'kan.

Tulow kupčal tytär vävyh kelegostih. Tullah gostih. Tullah gostih, ga Van'kal on paha mieles, sanow:

— Neče olis, hyviä myöte, minun mučoi, to'ko vai ei andanuh minul kupču.

Kupču tyttären da vävyn syöttäw da d'uottaw, panow gorniččah muata. Van'ka sanow:

— Tartukkua piäleil

Hyö tartuttih. Muamah huondeksel nowzow. Paistoi kuda-midägi vävyle da tyttärele. Paistoi häi kaiken luadustu piiruadu da nižustu, samvuaran keitti, koufein zavarii, kirgai:

— Vävy da Maša, nowskua, koufei on valmis!

Vävy da Maša ni midä ei virketä. Toizen kerran kirgai. Opitah gorničas nošta, ga ei voija: tartuttu on. Muamah menöw nostattamah. Kaččow, ga tytär da vävy tartuksis. Rubiew piästämäh tytärdy da vävyw muamah. A Van'ka sanow:

— Tartu sinägil

Dai muamah tartuw. A tuattah tiä kuhn'al duwmaiččow: «Midä kaikin liennöw sinne d'owvuttu, pidäw lähtie kaččuo, midä sie ruatah?». Dai menöw sinne. Nägöw — kaikin kolmei tartuksis. Rubei tuattah piästämäh heidy. Dai tuattah tartuw. Opitah piästä, melotahez, ga ei voija piästä.

Van'ka kaččow da nagrau, a Van'kale sanotah:

— Mene, — sanow kupču, — poikki d'oves on akku tiedoiniekku, häi piästäw meidy.

Van'ka lähti venehel tuomah akkua. Meni akale sanoi:

— Lakkä, t'owta, nengomat ollah dielot: kai on tartuttu, edgo sinä voi piästä.

Akku ihastui, duwmaiččow: «Nvgy kupču andaw äijän eluol». Lähtiettih Van'kan kele. Istuihez Van'ka veneheh, venehen piästi d'o syväle. Akku rannal kaččow, i kirguw Van'ka akale:

— Tule veneheh!

Akku nosti helmat ylähäkse, i kualaw veneheh päi. Van'ka sanow:

— Tartukkua, helmat, ylähäkse!

Helmat i tartuttih. Akku piäzi veneheh, a helmat ollah ylähän. Nu, mendih kupčan kodih. Rubei akku piästämäh — dai tiedoiniekku akku tartui sih: ei voija piästä. D'o on viizi hengie sit šaikas.

Kupču käksi Van'kua dowhturih. Van'ka val'lasti puaran hebuo, panow heidy regeh, lähtöw linnah ajamah. Molodoit mennäh regeh, toizet d'alles astutah. Tiedoiniekku akku astuw helmat ylähän. Ajaw

linnua myö Van'ka ohjaksat käis. Astuw kaksi suomelastu, trupkat suws. Dai trupkin kele suomelaizet sih tartuttih. Ajetaħ čiganua arteli vastah, obozu. Dogaditah trupkat ylen hyvät i tahtotah ottua trupkat iäre. Ruve-
tah trupkii ottamah — i čiganat sih tartutah.

Dogadiw heidy ur'adnikku — ur'adnikku hevol selläs ajaw:

— Mibo tämä čuwdoloi matkuaw, ettego piäze iäre?

Ur'adnikku rubei nagaikal lyömäh, i ur'adnikku tartui sih. Ajaw Van'ka dowhturilluo pertih, artelin d'ättäw pihale. Dowhturil dielon doložiw, sanow, kui kai tartuttih. Nygöi on ylen tobd'u šaikku heidy.

Dowhturi meni pihal kaččomah. Dowhturi sanow:

— Tämä, kačo, on kummu, pidäw oppie piästiäl.

Rubei häi šelomah molodoiloi, i dowhturi sih tartui. Dowhturi sanoi:

— Nygöi kaikil pidäw yhteh tukkuh kuolta, ewle ni kunne men-
däviäl

Dowhturi sanow Van'kale:

— Edgo sinä midä šuwttinuh?

Van'ka sanow dowhturile:

— En, rawkku, minä šuwttinuh. Minä tiijen tiedoiniekan starikan. Häi piästäw, tol'ko pidäw sada rubl'ua piäständiä miehen kohtah. Sta-
rikku eläw kolmen virstan peräs, mökkizes eläw. Sinne pidäw kävvä sta-
rikalluo, starikal pidäw ezmäi d'engua vediä, eiga ei usko.

Dowhturi andoi sada rubl'ua Van'kale. Van'ka lähti starikalluo. Meni Van'ka lawkah. Osti hyvän nahkaizen pletin. Tuli Van'ka dowh-
turilluo, dowhturii voidi kerran pletil selgäh i sanow:

— Piäze, dowhturi, iäre!

Dai dowhturi piäzi i lähti hyvis mielis kodih. Ur'adnikku sanoi:

— Piästä, velli, minuw, sada rubl'ua annan!

Dai ur'adnikkua iški pletil — dai se piäzi. Van'kal on d'o kaksi
sadua d'engua. Čigan sanoi:

— Piästä, Van'ka, minuw, minä annan parahan hevoni!

I čiganan piästi Van'ka, Van'kal on hebo da kaksi sadua d'engua.
A suomelaizet sanotah:

— Piästä, ole niin hyvä, myö annammo rahua.

Iški pletil Van'ka, dai suomelaizet piästih. A tiedoiniekku akku
sanow, što «vuota sinä velgah».

— En vieri ni sinul, ni kupčal, ota velgah kupčal, da sit piästän.

— Piästä, Van'ka! — sanow kupču.

— En piästä, minä en usko sinuw: ved' d'o viizi vuottu ruavoin,
a sinä muanitiit minuw. Teidy minä tukul kodih vien, sie i rozberi-
mokseh.

Ajettih hyö kodih pihal. Van'ka hevot lasketti. Hyö ainos ollah tar-
tuksis. Van'ka sanow kupčale:

— Pie čottu viijen vuvven ruadolois, äski piäzet, enne ni piäze,
kačo, etl

Kupču sanow Van'kale:

— Ota tytär mučoiksel!

A Van'ka sanow:

— Huogehel tahtozit piästä, opät' tahtot kielastua. Pidäw čottu pidiä ylen hyvin, äski piäzet.

Häi kuččui volosnoin staršinan čottua pidämäh da ur'adnikan. Viijes vuvves čotaittih Van'kale sredn'e seiččesadua. Kupču d'engas ei voinnuh täwdyä, kird'utettih kodi Van'kale kupčan. Sit rubei Van'ka piästä läh. Tiedoiniekkua akkua iški kerran pletil, sanoi Van'ka:

— Tämä sille trudi!

Akku piäzi iäre. Otti, rubei kupčua piästä läh. Kupčua išköw kerran:

— Tämä sille, — sanow, — suas rubl'as!

Išköw toizen kerran:

— Tämä sinul vuvven ruatutuksis.

Išköw toizen kerran:

— Tämä toizen, tämä kolmanden vuvven ruatutuksis, tämä nel'l'änden vuvven ruatutuksis i tämä viijes kierdu viijenden vuvven ruatutuksis!

I kupčan piästäw iäres. Rubiew pertih menemäh, Van'ka sanow kupčale:

— Vierahah pertih kyzymätä mene älä!

Ottaw Van'ka provodiw pletin kele kupčan virstan kolmen peräh, a iče vai pletil selgäh sordaw da iče kirguw:

— Povuadei vai vie kielastelemah!

Rubiew nygy akkua piästä läh. Išköw pletil:

— Tämä sille vuvven kielastuksis!

Toizen išköw:

— Tämä vuvven ruatutuksis!

I išköw kaikis vuozis kerralleh: išköw i hyväs piendäs da hyväs magaitandas — kaikis andaw akal selgäh, a sit piästäw iäre.

Rubiew tytär dy piästä läh. Išköw kerran pletil:

— Tämä sille tuatan da muaman kuwlandas!

Išköw toizen kerran:

— Tämä sinul minun kielastuksis.

Išköw kolmanden kerran:

— Tämä sinul sulhaizen vietändiä! — I piästäw tyttären iäre.

Išköw kerran vävydyäh:

— Tämä sinul viinubutylku, vävylöinny gostindua!

Išköw toizen kerran:

— Tämä sinul keitinpiirais!

Išköw kolmanden kerran:

— Tämä sille vierahan akan ruandua!

Išköw viijenden kerran:

— Tämä sinul svajakaspäi podarkat!

Piästäw heidy iäre. Heidy česno provodiw virstua kolme pletin kele, iče vai lugow:

— Ottakkua mielekse da enämbiä tänne älgä tulgual!

Tuli kodih Van'ka. Rubei kois elämäh. Rapsai nai. Ylen hyvin vai i nygöi eletäh, hyvän-terveh.

27. ВАНЬКА

Была там старуха-вдова. У нее был сын, звали Ванькой. Очень были бедные. Ванька уходит из дома, чтобы прокормить свою голову, потому что дома нет ничего. Мать его говорит:

— Иди, сын.

Идет он и попадает к купцу, просится в работники. Купец говорит:

— Можно, пожалуй, взять.

У купца была дочь очень хорошая. Купец стал нанимать Ваньку на пять лет в работники и спрашивает:

— Сколько возьмешь за пять лет служения?

Ванька говорит:

— Не возьму ничего, если отдашь дочь в жены за служение.

Купец стал думать с женой: «Надо взять Ваньку в работники, пусть пять лет Ванька проработает, через пять лет, поди знай, что будет. Может, выдадим дочь и за более богатого».

Наняли Ваньку в работники, составили договор: через пять лет дочь Ваньке в жены. Пять лет работает Ванька у купца очень хорошо, преданно. Проходит пять лет. Пришли к купцовой дочери сваты — от сына другого очень богатого купца. Купец стал дочку выдавать замуж за купцова сына. Справил свадьбу купец, выдал дочь замуж. Ваньке стало очень обидно, говорит:

— Смотри, проработал пять лет: бедному, верно, всегда надо терпеть.

Послал купец Ваньку на мельницу в другую деревню. Едет Ванька на мельницу в телеге. Отъехал немного, с версту, от деревни — ось у телеги сломалась. Ванька забеспокоился: «Как же я доеду до мельницы?». Начал думать, что делать. Потом взял топор, пошел в лес, стал березу рубить. Береза подала голос:

— Не руби меня, иди к телеге, скажи: «Пристань, ось, по-прежнему!». И ось пристанет.

Ванька березу не срубил, береза дала ему еще совет, говорит:

— Если, в случае что-нибудь произойдет, скажи: «Отстань!», так оно и будет, молодец.

Пошел Ванька к телеге, сказал:

— Пристань, ось, по-прежнему!

Ось пристала по-прежнему. Поехал Ванька дальше на мельницу. Приехал на мельницу, рожь смолот, вернулся обратно к купцу с мукой.

— Рожь смолот.

Купец сказал:

— Убери муку в амбар.

Ванька убрал муку в амбар. Распряг он лошадь. А Ваньке очень хочется узнать, правду ли береза говорила. Сказал оси:

— Отстань, ось!

Ось зазвенела — снова сломалась. Ванька думает: «Смотри, какое чудо, береза правду сказала!». Идет в избу к купцу. Купец накормил Ваньку.

Приходят к купцу дочь с зятем в гости. Приходят в гости, а Ваньке обидно. Говорит:

— Это была бы, если по-доброму, моя жена, только не отдал ее мне купец.

Купец дочь и зятя кормит и поит, укладывает в горницу спать. Ванька говорит:

— Пристаньте так!

Они пристаи. Мать утром встает. Испекла кое-что для зятя и дочери. Испекла она всяких пирогов и булок, самовар вскипятила, кофе заварила, крикнула:

— Зять и Маша, вставайте, кофей уже готов!

Зять и Маша ничего не говорят. Второй раз крикнула. Пытаются в горнице встать, но не могут: пристаи. Мать пошла будить, смотрит — дочь и зять пристаи. Стала мать разнимать дочь и зятя, а Ванька говорит:

— Пристань и ты!

И мать пристала. А отец их на кухне думает: «Куда-то все пропали, надо пойти посмотреть, что они делают». И идет туда. Видит — все трое пристаи друг к другу. Стал отец их разнимать — и отец пристал. Пытаются освободиться, но не могут. Ванька смотрит и смеется, а Ваньке говорят:

— Иди, — говорит купец, — за рекой есть знахарка, она нас отделит.

Ванька поехал на лодке за той женщиной. Пришел к женщине, сказал:

— Пойдем, тетя, такие дела: все пристаи друг к другу, не можешь ли ты разнять?

Женщина обрадовалась, думает: «Теперь купец даст много добра!». Пошли они с Ванькой, сел Ванька в лодку, лодку оттолкнул на глубокое место. Женщина на берегу смотрит, и Ванька кричит ей:

— Иди в лодку!

Женщина подняла подол и бредет к лодке. Ванька говорит:

— Останься, подол, как есть!

Подол и остался. Женщина села в лодку. Ну, пришли в дом купца, стала женщина разнимать — и сама пристала, не может оторваться. Уже пять человек в этой шайке.

Купец велел Ваньке возить всех к доктору. Ванька запряг пару лошадей, сажает их в сани, едет в город. Молодые сидят в санях, другие следом идут. Знахарка идет, задрав подол. Едет Ванька по городу, вожжи в руке. Идут двое финнов, трубки во рту. И финны с трубками тут же пристаи. Едет артель цыган навстречу, обоз. Увидели трубки очень хорошие и

хотят взять трубки. Стали брать трубки, и цыгане тут же пристали.

Видит их урядник, урядник на коне едет:

— Что это за чудо идет, разойдитесь все!

Урядник начал бить нагайкой, и урядник пристал. Приезжает Ванька к доктору. Заходит к доктору в избу, артель оставляет во дворе. Докладывает дело доктору, говорит, как все пристали: теперь их большущая шайка. Доктор пошел во двор смотреть. Доктор говорит:

— Вот это чудо, надо попытаться разнять!

Стал он разнимать молодых, и доктор тут же пристал. Доктор сказал:

— Теперь всем придется в одной куче умереть, некуда больше идти!

Доктор говорит Ваньке:

— Не ты ли как-нибудь подшутил?

Ванька говорит доктору:

— Нет, сердечный, я не подшутил. Я знаю старика-знахаря, он разнимет, только надо за это по сто рублей за человека. Старик живет за три версты отсюда, в избушке живет. Надо сходить туда к старику, старику надо сначала деньги отнести, иначе не поверит.

Доктор дал сто рублей Ваньке. Ванька пошел к старику. Пришел Ванька в лавку, купил хорошую кожаную плеть. Пришел Ванька к доктору, доктора раз ударил плетью по спине и сказал:

— Отстань, доктор!

Доктор и освободился да пошел обрадованный домой. Урядник сказал:

— Отпусти, брат, и меня, сто рублей дам!

И урядника ударил плетью — и тот освободился. У Ваньки уже две сотни денег. Цыган говорит:

— Отпусти, Ванька, меня, я дам лучшую лошадь!

И цыгана Ванька отпустил. У Ваньки лошадь и двести денег. А финны говорят:

— Отпусти, будь так добр, мы дадим денег.

Ударил плетью Ванька, и финны освободились. А знахарка говорит, что «поверь мне в долг».

— Не поверю ни тебе, ни купцу, возьми в долг у купца, тогда и отпущу.

— Отпусти, Ванька! — говорит купец.

— Не отпущу — я тебе не верю: ведь я уже пять лет проработал, а ты меня обманул. Я вас всех вместе увезу домой, там и разберемся.

Въехали они во двор своего дома. Ванька лошадей распряг. А они все еще приставши. Ванька говорит купцу:

— Рассчитайся за пять лет работы, тогда отпущу, иначе не освободишься, смотри!

Купец говорит Ваньке:

— Возьми дочь в жены!

А Ванька говорит:

— Дешево хочешь отделаться, опять хочешь обмануть! Надо хорошо рассчитаться, тогда только освободишься.

Он позвал волостного старшину счет держать и урядника. За пять лет насчитали Ваньке в среднем семьсот [рублей]. У купца и денег не хватило, записали на Ваньку дом купца. Потом Ванька стал их освобождать. Знахарку ударил раз плетью, сказал Ванька:

— Это тебе за труды!

Женщина освободилась. Взял, стал купца освобождать. Ударяет купца раз:

— Это тебе, — говорит, — за сто рублей!

Ударяет второй раз:

— Это тебе за год работы.

Ударяет еще раз:

— Это за второй, это за третий год работы, это за четвертый год работы и это пятый раз за пятый год работы!

И купца отпускает. Хочет [купец] в избу идти, Ванька говорит купцу:

— В чужую избу без спроса не ходи!

Выпроваживает Ванька плетью купца за три версты, а сам все плетью по спине бьет и громко говорит:

— Попробуй-ка еще обманывать!

Начинает [Ванька] теперь жену [купца] освобождать, бьет плетью:

— Это тебе за год обмана!

Второй раз бьет:

— Это за год работы!

И бьет за все годы разом: бьет и за хорошее отношение, и за то, что вдоволь давала спать, — за все бьет хозяйку, а потом освобождает ее.

Начинает дочь освобождать, бьет раз плетью:

— Это тебе за то, что послушалась отца и матери!

Бьет второй раз:

— Это тебе за то, что меня обманывала.

Бьет третий раз:

— Это тебе за то, что жениха приняла! — и отпускает дочь [купца].

Ударяет раз зятя:

— Вот тебе бутылка с вином, зятю угощение!

Бьет второй раз:

— Вот тебе сканец!

Бьет третий раз:

— Это тебе за то, что с чужой женой жил!

Бьет пятый раз:

— Это тебе от свояка подарки!
Освобождает их. Честно провожает их с плетью за три версты, сам только приговаривает:

— Запомните и больше сюда не приходите!
Пришел домой Ванька. Начал дома жить, скоро женился. Очень хорошо и сейчас еще живет, в добром здравии.

28. KRIWDU I PRAWDU

Oli enne ukko da akku, heil oli kaksi poigua. Yksi poigu ruadoi, a toine torrun kel käveli. Tuattah da muamah ku kuoltih, siid hyö erotih. Eriže eletti jo kodvu. Lapsien keraizel vellel loppietahez jo leivät i siid hain lähti bohatan vellellyö leibiä pakiččemah. Sinne ku meni hain, bohatan vellellyö, leibiä pakiččemah, a bohattu velli sanow:

— Pravval ku elät, mikse minulluo tuliit leibiä pakiččemah?
— Bohatannu libo kewhänny elänen, ga yksikai smuttie en tahtol
— Et tahto, ga anna sil'män kaivan piäs, siid annan leibiä.
Sil'män piäs andoi kaivua, i hänel andoi siid leibiä vähäizen, i lähti kodih leibien kel.

Oli, eli kodvaizen, da op'ät' hänel rodih nälgy lapsien kel. Tuli toizen kieran uvvessah pakiččemah leibiä.

— Andanet ku toizen sil'män kaivua, siid annan leibiä!
— Henges ku käskennöw — kaiva.
Toizen sil'män hänel kaivoi, siid op'ät' andoi hänel leibiä. Lähti hain leibien kel kodih menemäh. No ei voinuh hain puwttuo kodih, a puwtui korbeh i istuihes suwren duwban d'uwril i rubei itkemäh: «Iče jo kuolen tänne, ga lapset kuollah n'algäh».

Istui, istui duwban d'uwril da itki. Siit tuldi voronat hänen itkuh. Enzimäi klekotettih, a siid ruvettih pagizemah:

— On nečis suwri kivi, kiven al on vetty, i ken niil vezil pessöw silmät, roi silmät.

Hain lähtöw eččimäh sidä kive. Eččiw, eččiw dai löwdäw sen kiven. Savakol ku oppiw, dai sie on vetty. Panow käin da ottaw vetty i panow silmil — jo hänel rubei vähäizel nägymäh. Toizen kieran ku panow, kastaw veil silmät, rubei parembi nägymäh, a kolmanden kieran ku kastaw — roi silmät parembat ennisty.

Hänel jo rodih hyvä mielesty i lähti ihastuksis kodih matkuamah. Matkai palaizen, ga löwdi kuldua tukun. Net hain keräi i lähti ielleh matkuamah i toizen tukun löwdi. Dai kai, kuni voronat ehättih net, löwdi kolmanden tukun. Dorogurannas jo vuottaw podvodniekkua. Tuli mužikku, i hain kzyzw:

— Vie minuo kodih, ota mi-tahto kuldua.
Mužikku kullat regeh pani dai iččiedäh vei kodih. Lapsie työndi häi vellellyö nellikkyö tuomah kuldie miärätä. Velleh nellikön perzien tervai dai andoi nellikön i kučui ylen terväh järilleh. Hyö miärättih kullad

i järilleh nellikkö työnnettih. Nellikön pohjah tartui kuldua, i vellelleh rodih paha mieli: «Kus nygöi velli nenga kuldua otti nelliköl miärätä?». Dai lähti häin vellel tiijustamah, kuz häin nenga kuldua otti. Tuli vellellyö i ruhei kyzelemäh, kui silmät rodih. A velleh andoi kaiken pravvan, kui vai dielo oligi. Velli kuwndeli sen kaiken dielon dai lähti häin sen duwban tyveh, kudamas oli velli. Duwban tyveh ku häin istuihes, dai tuldih voronat i zavodittih klekottua. Häin istuw ihaustuksiz i duwmaičow: «Nygöi minul eluo annetah, ku tuldih tähl». Voronat klekotettih, klekotettih dai zahvatittih händy i n'uokittih palaizikse. Tuli akku tiijustamah vellellyö, i kaiken pravvan sanoi akal, kui oli dielo. Dai akku kiirehel nell'ul juoksi duwban tyveh ihaustuksiz eloloi kandamah. Meni sinne duwban duwri — yhtet vai ukon sovat ollah, a muwdu ni midä. Sovat keräi i tuli itkun kel kodih järilleh.

28. КРИВА И ПРАВДА

Жили когда-то старик да старуха, у них было два сына. Один сын работал, а другой ходил торговать. Отец и мать когда умерли, они [сыновья] разделились. Уже долго живут врозь. У многодетного брата кончился хлеб, и он пошел к богатому брату хлеба просить. Как пришел он туда к богатому брату хлеба просить, богатый брат говорит:

— Раз ты правдой живешь, то почему идешь ко мне хлеба просить?

— Богато ли, бедно ли живу, а все равно обманывать не хочу.

— Не хочешь, так дай выну у тебя глаз, тогда дам хлеба.

Дал вынуть глаз, и ему дал [богатый брат] за это немного хлеба, и пошел [бедный брат] с хлебом домой.

Был, жил немного, и опять ему стало с детьми голодно. Пришел второй раз, снова просить хлеба.

— Если отдашь второй глаз, тогда дам хлеба!

— Если сердце тебе позволит — бери.

Второй глаз у него вынул, потом опять дал ему хлеба. Пошел он [бедный брат] домой с хлебом. Но не мог он попасть домой, а попал в корбу и сел на корни большого дуба и начал плакать: «Сам умру здесь, и дети умрут от голода».

Сидел, сидел на корне дуба и плакал. На его плач прилетели вороны. Сперва поклекотали, а потом стали разговаривать:

— Вот тут есть большой камень, под камнем вода, и кто этой водой вымоет глаза, будут глаза.

Он отправляется искать тот камень. Ищет, ищет, и находит тот камень. Ошупывает палкой, и там есть вода. Протягивает руку и берет воды и прикладывает к глазам — стал он уже немного видеть. Второй раз как помочил глаза водой, стал лучше видеть, а третий раз помочил — стали глаза лучше прежнего.

Он обрадовался, и счастливый пошел домой. Прошел немного — и нашел золота кучу. Это он собрал и пошел дальше, и другую кучу нашел. Нашел и третью кучу. У дороги ждет подводы. Подъехал мужик, и он попросил:

— Отвези меня домой, возьми сколько хочешь золота.

Мужик золото в сани погрузил и его самого отвез домой. Послал он [бедный брат] детей к брату за четвериком, чтобы золото мерить. Брат засмолил дно четверика и дал четверик, велел очень скоро вернуть. Они измерили золото и отправили четверик обратно. На дно четверика пристало золото, и брату стало завидно: «Где же брат взял столько золота, что четвериком меряет?». И пошел он к брату узнавать, где тот столько золота достал. Пришел к брату и стал расспрашивать, как тот себе глаза вернул, а брат рассказал всю правду, как дело было. Брат [богатый] выслушал все это дело и пошел к тому дубу, под которым был брат. Как только он сел под дубом, прилетели вороны и начали клекотать. Он сидит радостный и думает: «Теперь и мне добра дадут, коли сюда прилетели!». Вороны клекотали, клекотали и схватили его и разорвали на куски. Пришла жена к бедному брату узнавать, и он всю правду рассказал жене [брата], как было дело, и жена бегом помчалась к дубу, чтобы добро таскать. Пришла туда к корням дуба — одна только одежда мужа осталась, а больше ничего. Одежду собрала и с плачем вернулась обратно домой.

29. IVAN MEDVEDIN

Vot hyvä-horošo, oli ennen vahnas pappi. Häi hevoi selgäh nowzi i prihodah lähti. Aiaw häi meččedorogoa myö hevoi selläs (*delegydorogoi ei ollah enne*), hänelleh tulow kondii vastah. Vot, hyvä-horošo, kondii hevон söi, papin selgäh otti i pezäh vei. Hyö sie eletäh-ollah, pappii pezäs syöttäw hätken aigoa. Tulow kondieloin küiman aigu, i häi roih kiimah (a emäkondii on). Kondii kohtustui. Kandoi, kandoi sidä kohtuw i sai lapsen. Lapsi rodih čistoi ristikanzu, vai emäh rodih villaine, liičču on selgei, vai rungu rodih villaine.

Emä sie syöttäw, i hyö eletäh sie pezäs. Emä päivät kai kävelöw syömizän ečös, a pappi da poigu eletäh pezäs kahtei. D'o suwrekse miehekse kazvoi Ivan Medvedin i sanow:

— Tatin'ka, onhäi meile teä pezäs olduw, läkkä eäres, ehki välläl moal kävelemmöl

Pappi hänel vastai:

— Ohoh, — sanow, — moamas ku vastah ugodinneh, ga molletit syöw!

Ivan Medvedin sanow:

— Läkka vai ielleh, ei syö ni kudamoa, a tulloh vastah, ga moaman kel minä čotan pien!

Nu vot, hyö i lähtieh matkah. Astuttih, astuttih meččä myö, da tulow d'oamu vastah, ga parahitteh emä vastah tulow. Vot kondii davai pappih käzin menemäh. Poigu edizin čurin menöw, ei laske toattah käzin, sanow:

— Älä mene, moamo, toattah käzin, a tule poigah!

A poigah ei ruohti käzin mennä. Poigu kičitti, kičitti, d'älgimäi oaraštih poigah käzin. Poigu ku tabai hänen tagajallois da iški hongoa vaste, ga vai raboa pakui! Emän häi tapoi i hyö lähtieh papin kel astumah dorogoa myö. Mendih, mendih i peästih papin kodih. Ruvettih kois elämäh.

Ivan Medvedin roadoo roadaw, roadaw, ga ei voija ni roavol täytteä. Papil d'o rodih ičelleh strašno i sanow popad'd'al:

— Tol'ko poijan saimmo, ga onnoako häi meidy hävittäw!

I hyö vlijumaidih, kui poigu se heile hävitteä. Tolkuijahes, tolkuijahes... On sie aijas moine zloi zvieri, ni ken ei voi lähil mennä — syöw. Pappi sanow Ivan Medvedinal:

— Sälgy on meile aijas d'o kolme vuottu, mene tuo se kodih.

Häi tuomah lähtöw, ga ezmäi menöw pajah i loadiw sangies ravvois suičet. Menöw sinne sälgyw tuomah. Vai meni aijan tyveh, ga d'ongoi kijan avai — vai hawkata dieluo. Häi pani oččutukkih käet da painaldi moah, sälgy kerras kuwlemah rubei i peä alah painui. Suičet peäh pani, selgäh nowzi i papin pihah ajoi karahutti. Paččahan peäh povodan lykkäi, pertih juoksi, sanow:

— Tatin'ka, minä d'o toin sällyn, kunnebo panen?

Pappi da papad'd'u muga pöllästyttih, ga ni midä ei tietä, i pappi sanow:

— Mene, pane heboloil keskehl

Huondeksel Ivan Medvedin meni heboloi juottamah, ga hevot kai pitkälle, vai yksi sälgy seizow. Tuli järilleh pertih, sanow:

— Tatin'ka, yksi vai meijän sälgy on jaloilleh, muut kai hevot vi rutah.

Hot' kui ätjän Ivan Medvedin roadaw, yksikai papil da papad'd'al on duwmu händy hävitteä. On sie moine lambi, što vedehine kolmekymmenel syleh hengen yedäw sinne. Sih lambih työtäh Ivan Medvedinoa kalah. Häi menöw ezmäi pajah. Laituttaw kai hevon brujat i meččäh menöw — rien loadiw. Tukkunaizet hongat juwrineh murdaw i niis keändäw vembelet, niis loadiw aižat i ajaw moizel riel sil sällyl kodih.

— Vot, — sanow, — tatin'ka, minä loajin rien, mowžet tävven rien soan kaloal

— Mikse pidäw, poigani, täwzi regi, hot' vähäizen soazit mujoal

Häi yksikai lähti riel kalah. Vai rubei sen lammin lähel lähenemäh, ga d'o'loitossah rubei vedämäh hengel.

— Olgah, — sanow, — älä vie, tulenhäi minä ičel

Min lähenöw, sidä enämbäl vedehiine libuw hengel händy vedämäh. Hyvä-horošo, häi menöw lammin randah, polveh sah peskuh seizattu, sanow:

— Minä enämbi en liiku, ollet hyvä — tule moal ottamah!

Vedehiine tuskevui i hyppäi händy moal ottamah. Ivan Medvedinah ku käzin hyppäi vedehiine, ga Ivan Medvedin hänen polvien al čokkai i rubei lyömäh. Löi, löi, sanow:

— Tädä regie täwtty ku kaloa et tuonne, ga siit ku vedeh tullen, ga kaiken teijän zavedenien levitän!

— Peästä vai eäre, heitä lyöndy, — sanow vedehiine, — tuon kalat!

Ivan Medvedin peästi, i vedehiine lähti kaloa tuomah. Vedehiine kai kalat lammis keräi i toi rannal:

— Gruwzi regeh, — käsköw vedehizel.

Vedehiine kalat gruwzi.

— Et vie kaikkii kaloi tuonnuh!

— Kai toin.

Uvessah ku Ivan Medvedin otti käzih vedehizen, sanow:

— Razve minä en tiie, mi on kaloa — kai pideä tuvval!

— Kai tuon, vai peästä eärel!

Uvessah käveli sie i toi suvrembii kaloi, hawgii, lahnoa.

— Nygöi, kačo, — sanow, — kai toin, vai yksi vahnin jorši lambih d'äil

— Nu, nygöi uskon! — i käski gruuze dostalit kalat. Siit Ivan Medvedin sanow:

— Vot minä olen papin poigu Ivan Medvedin, a minun tatin'kal ewle diekkonoa, sinul ollah tukat pitkät, diekkonakse läkkäl!

Häi rakas ei ole lähtemäh, ga Ivan Medvedin sanow:

— Mugai čestil istoi regeh!

Regeh istutahes i lähtieh ajamah kodih. Omal saroal karahuttaw ajoa sil säillyl, kaloa regi, diekkon ries. Meni pertih, sanow:

— Tatin'ka, sinähäi sanoit, što diekkonoa ei ole, läkkä kačot sarail, minä toin!

Pappi meni kačcomah: nägöw vedehisty — pöllästy, vai käl vii-puttaw.

— Työnnä, poigu, eäre, kus toit — sinne i työnä, ei pie, ei pie!

Poigu työndi vedehisty eäre, ga sil kottu räigi mennes. Davai hierus kaloin puhkuajoa eččimäh. Soadih, kalat kai puhkattih i suolattih.

Pappi da papad'd'u kyläs sie paistah, što tahtotah Ivan Medvedinoa hävitteä, a hänel bokas päi sanotah:

— Edgo sinä iče ellendäi ni midä, ved' sinuw hyö hävitteä tahtotah, sidä i työtäh nengomih kohtih. Myö sanommo sinul žielehyttä, ku olet hyvä da nenga roat, joga sijaizen kuwlet.

Ivan Medvedin ku sai net paginat tiedeä, kyzyw heile:

— Mindähbo työ hävitteä minuw tahtotto? Voižitto kohti sanuo, što teile poigoa ei pie, i minä iče häviezin, moužet oman peän syöttäzin!

Papin čuras ei virketä ni midä, huigei rodih heile. Häi yksikai prii-
čoitui eäres lähtemäh. Nu vot, hyvä-horošo, suoriew, proššaičeh i lähtöw,
vai oman sällyn da rien ottaw.

Ajaw d'oamoa myö hurniw. Kaččow — mužikku ongittaw d'ärviran-
nas, hongu ongiroagannu, hebo čyötönny. Häi sih kohtah ajoi, tervehyön
loadi. Toine tervehyöh vastai:

- Kunne, velli, ajat, Ivan Medvedin?
- Lähtin moadu kohtahas kävelemäh.
- Ota, velli, minuugil
- Lakkä.

Mužikku, se tovariššu, tuli sih i lähtieh ajamah. Ajetah, ajetah suwri
pala, toas mužikku ongittaw, hongu on ongiroagannu, hebo čyötönny.
Laittiah tervehys.

- Tulgoa tervehi! Kunne, vellet, ajatto?
- Ajammo moadu kohtahas.
- Ottoat, vellet, minuugil
- Tule!

D'o kolmen lähtieh ielleh ajamah. Ajetah, ajetah, toas tulow d'ärvi,
i mužikku ongittaw, hongu roagannu, hebo čyötönny, Tervehys laittiah.

- Kunne, vellet, ajatto?
- Ajammo moadu kohti.
- Ottoat, vellet, minuugil
- Tule!

Vot hyvä-horošo, hyö ielleh ajetah i puwtutah toizeh kohtah, d'oamu-
pieles on ylen strašnoi kodi. Hyö sih azetutah, mennäh pertih, ga ole
ni kedä ei. Kačotah — kozoa on äijy. Hyö kozoa iškietäh, keitetäh,
syvväh. D'ätetäh ezmästy ongittajoa keittämäh, iče lähtietäh meččäh.
Päčih lämmitti, lihan keitti. Rokku rodih ylen razvaine. Kaksihambahal-
line akku nowzi karzinas, hänen parran pani lattien lahkoloim välih, lihat
söi, rokat d'oi, i iče d'arilleh karzinah. Häi uwttu lihoa leikoi i pani
d'arilleh tulel, ga eibo ehtinyh kiehuo, a syömäh tuldih. Ruvettih syömäh,
toine toize! silmiä kačotah, a virketä ni ken ni midä ei. Se päivy muga
menöw. Yö moatah, tossu peän Ivan Medvedin d'ättäw keittämäh toizen
ongittajan.

Toas keittäw ylen hyvin. D'o liha-on kypsi i rokku rodih ylen raz-
vaine. Iče duwmaiččow: «Egläi oli rokku paha, ga tänäpäi ehki rodih
hyvä». Vai duwmaičči, dai nowzi karzinas kaksihambahalline akku.
Hänen parran syöndyajakse pani lahkoloim välih, iče lihat söi, rokat d'oi
i d'arilleh karzinah meni. Häi nowzi sie i d'ava! op'at' uwttu lihoa tulel
i pani. Lihat ei ehtitty kypsetä, ku toizet d'o syömäh tuldih. Ruvettih
syömäh, toine toizet silmiä kačotah — ewle rokas syödäveä: lihat ruohi-
kat, a virketä ni ken ni midä ei. Se yö hyö eletäh. Kolmandennu peän
meččäh lähtietäh, a keittämäh Ivan Medvedin d'ättäw kolmanden on-
gittajan. Toas vai lihan keittäw, nowzi karzinas kaksihambahalline akku
i hänen parran pani lahkoloim välih. Lihat söi, rokat d'oi i d'arilleh meni
karzinah. Häi d'ava! uwttu lihoa leikkomah i op'at' tulel. Liha ei ehtinyh

kiehuo, op'at' tuldih syömäh. Syvves vai toine toizel silmih kačotah, eigo ole rokas razvoa, eigo ole liha pehmei. Se yö moatah.

Tuli Ivan Medvedeval keitteä. Duwmaiččow: «Vuota minä opin keitteä, roiho rokku hyvä vai eil». Keitti häi lihan, rokku rodih razvaine. Duwmaiččow: «Ongo rokas razvoa, ongo liha pehmei!». Duwmaičči, ku ei rodei midä slučaidu, i keitändyaijakse pani pyöryžän terävän ravvan hiildumah. Se hiildui, rodih ku mard'aine ruskei. Nowzi akku karzinas, tahtoi syvvä, kui toizin päivin, lihat dai rokat. Akku seizatui päččih ezin, vai ottoa rokkupada, Ivan Medvedin ku tabai sen hiilavan ravvan, hänel kidah karahutti — da vai ymbäri punalelow. Hänel d'o kielen poltti suws dai paista ei voi. Akku se kätis peäzi, vai mäčättaw: «Mä-mä-mä...» i d'ärihleh karzinah meni.

Toizet syömäh tuldih. Rokku on ylen hyvä, razvaine. Syvväh da toine toizel silmih kačotah, a virketä ei ni midä, a Ivan Medvedin vuottaw, konzu hyö kiitetäh rokkoa. Ivan Medvedin sanow heile:

— Kačo, miittuine on slučai olluh, ga näit, etto sano, eihäi tänäpäi mostu slučaidu ole!

Hyö murgin syödih, d'uodih i tahtotah ruveta lebeämäh. Ivan Medvedin sanow:

— Ewle tänäpäi d'owdoa lebeämäh!

Mennäh ambarilois kävelläh i löwtäh giir'u i nuoru, pidaw soaha tietä, min syvveys neče karzin on, kus akku nowzeskendeli. Giir'u si-vottih nuorah i laskieh sinne karzinah, ga giir'u mene tiije kunne sinne kirbuow, ei kolahtai. Hyö aivin nuoroa ližätäh. Ližättih, ližättih, tuli pohd'u d'algmäi. Meärätä se puwtui. Ivan Medvedin sanow:

— Pidaw ravvoittoa moine d'uaššiekku, štobj ei izmenoa pidäs.

Vot hyö d'uaššiekku se moine laitah, azetetah, I Ivan Medvedin lähtöw sinne sidä akka eččimäh.

Vot hyvä-horošo, Ivan Medvedin d'uaššiekkah istuihes i toizil ne-voi aivin händy karaulie, eigo käsenyh meččäh kävvä, eigo kunne, sanow:

— Konzu minä nuoroa veäldänen, siit minuw nostoat eärel!

I häi sinne lähtöw hawdah menemäh, toizet heitetäh. Heittyi, heit-tyi — tuli pieni pimei sendoihut vastah. Häi käil oppi, oppi seinii myö, i puwtui keägy kädeh. Häi derni keägäs, duwmaiččow pertin uksi on, a avavui, ga piha on, merirandu. Häi kävelöw merirandoa myö, a meres päi sie tuwččow, strašnoi tuhu on. Merirannal siit eigo ole puwdu, eigo midä, vai peskuw on da kadaimätästy eräs on. Häi käveli, käveli, kaččow, voagalindu on poiijat soannuh, pezän pannuh, a iče on lähtenyh kävelyksil. Pezä se harvu, tuwli suwri, poiijat ne kylmetty, odva vai čiwčetetäh. Ivan Medvedin kadaidu katkoi, kanabroa nyhti i pezeä sum-mendi, štobj tuwli ei muga koskizih. Häi siit vuottaw, si lähte kunne ei, azetutahgo poiijat lämmittyö. Poiijat lämmittih i vaikastuttih. Sil aigoa sih lendi voagalindu, Ivan Medvedinan peäl, vai hawkata händäh. Poiijat sih eäni laittih:

— Stoi, stoi, moamo! — sanotah. — Häi meijät hengih peästi, koskie pie ei händy, a ku midä voinnet hyveä loadie hänel!

Lindu kyz'w hänel:

— Midäbo pidäw hyvää loadie sinul?

Ivan Medvedin sanow:

— Muwdu hyvää ei pidäs ni midä, ku nečis havvas yläh minuw vieziit. (*Häi tiedi d'o ennepäi kai dielot, valmeheksi dorogan karzil*)

Lindu hänel sanow:

— Ylen on d'ygei sinne viijä, a minä loitton kävelin, väzyin, huogavuo pidäs.

A poiijat prižmitäh:

— Vid'd'ä, moamo, pidäw!

Ivan Medvedin sanow:

— Minä nygöi lähten kävelyksih, a sinä huogavu, konzu tulen, siit lähtet viemäh.

Vot häi lähtöw merirandoa myö kävelemäh, i tulow nuotanpywn-dimökkine. Häi menöw mökkizeh sih, ga sie neidine kudow kangastu. Kerran pirral išköw — i kaksitostu poaroa kengeä pakkuw. Ivan Medvedin kyz'w neidizel:

— Midä, čidžoine, sinä nečis kuvot?

— A kuvon, — sanow neidine, — sidä, minun boaboin Ivan Medvedin murendi, nygöi varustammo voinoa!

— Hoi, čidžoine, heitä tyhd'än roandu, Ivan Medvedinal d'o on luwt hapattu, ammui on kuolluh. Parembi tule minul mučoikee.

— Tulen d'o, — sanow, — vai ota!

— A kuzbo on se sinun boabo, kudoan Ivan Medvedin murendi?

— Boabo on, — sanow neidine, — nelländes mökis.

Hyö pagin paistih kai: yksi ottaw, toine tulow, i neidine kuvondan heittäw. Ivan Medvedin lähtöw jelleh, toizih mökkilöih menemäh. Menöw toizeh mökkih, toas neidine kangastu kudow. Ivan Medvedin tervehyön loadi, toine vastai:

— Tule tervehl!

Toas neidine kangastu kudow, kerran pirral veäldäw — kaksitostu šinelii pakkuw. Ivan Medvedin kyz'w:

— Midä, čidžoine, roat?

— A voinoa varustan, Ivan Medvedin ylen äijäl murendi meän boabon.

Ivan Medvedin vastai hänel:

— Oi, čidžoine, heitä tyhd'än roandu, Ivan Medvedinal d'o on luwt hapattu, d'o on ammuin kuolluh. Parembi tule minul mučoiksel!

Neidine sanow:

— Tulen, vai ottanet!

— Otan, vai varustai.

Neidine rubei varustelemahes, a Ivan Medvedin lähti jelleh. Astui, astui merirandoa — tulow vie mökki. Häi menöw sih mökkih, toas neidine kangastu kudow: kerran pirral veäldäw — kaksitostu vintovkoa pakkuw. Häi tervehyön loadi.

— Tule tervehl! — sanow neidine.

— A midäbo, čidžoine, sinä roat?

— Meijän boabon Ivan Medvedin ylen äijäl murendi, ga nygöi voinoa varustammo.

— Heitä tyhd'än roado, Ivan Medvedin d'o ammui kuoli, nygöi d'o on luwt hapattul! Parembi tule mučoiakse minul.

Neidine i heitti kuvonnan, rubei varustelemahes.

— A kusbo boabois on?

— A nečis ezmäizes mökis vardoijah hänen kuolendoa: ni kuole, ni elä ei.

(Miekoi ei hylgeä, eččiw kai kohtat!)

Menöw Ivan Medvedin boaboin luo. Sie d'o rahvastu on, vardoijah händy. Häi tervehyön rahvahal loadi i vastattih hänel tervehys. Rahvas hänel kyzytäh:

— Edgo midä tiedäs nečis matkan d'ället oppie, eigo peäzis libo kuolis?

— Voibi häi, — sanow, — oppie, libo peäzöw, libo kuolow, kudai tahto roih!

Boaboin luo händy viedih, ga boaboi hänen i tunnusti. Sanos rahvahal, što neče minun murendi, ga eibo voi, vai ögeäw, a rahvas ellendetä ei. A Ivan Medvedin sanow:

— Kačo, häi i iče pokoroičeh, oppie käsköw! Oppies ei pie olla rahvastu ni kedä. Pidäw panna päčči lämmäh i pada vetty kiehumah. Minä hänes pahat duwrostit pezen kai i sit puhtahannu opin.

Rahvas lähti kai eäres. Häi pani päčän lämmäh i poan vetty kiehumah. Sen endizen ravvan hiilutti d'uwri ruskieksi i ajoi kidah — sil akkoa tiedovoiččow. Ravval sil ku hieroi, hieroi da vie ližäksi kiehujal viel kohendi, dai pokoiniekku oli valmis (čuasul i ugodih, kuoli). Rahvahan kaiken kuččui, sanow:

— Kačo, nygöi nenä oigeni, kuoli.

Rahvas ruvettih sidä boaboidu moah panemah, a häi omal dorogal lähti da algaw neidizii keräillä. Kolme neijisty häi otti i vei sen havvan lowkon luo. Istutti yhten neidizen sih d'uaššiekkah i nuoras veäldi. Ruvertti sie tojzet bohatteirit nostamah. Nostettih, nostettih, ga i nowzi ylen čoma neidine. Hyö kyzytäh:

— Viego toine on?

— On, — sanow neidine.

Hyö terväizeh d'uaššiekku heitettih uvvessah alah, dai toizen neidizen Ivan Medvedin pani d'uaššiekkah. Nu vot, i toine neidine nostaldettih — toaste neidine ylen hyvä. Kyzytäh:

— Viego on kolmas?

— On, — vastai neidine.

Ylen terväh peästaldettih d'uaššiekku. Dai kolmas neidine nowzi. Kyzyttih:

— Viego on?

Neidine sanow:

— Ewle enämbi neijisty, vai työndäi d'ai!

Hyö tolkuijah keskenäh:

— Ivan Medvedinoa ku nostammo, ga siit häi yhten neidizen ottaw i yksi meis d'eäw neidizettäh.

Kengi artelis sanotah, «što nostammo», kengi sanow, «što emmo nostu». D'älgimäi rešittih puoleh matkah sah nostoa i d'ärilleh d'uaššiekku d'ivvata alah, anna kerras kuolow.

Vot hyvä-horošo, Ivan Medvedin sen d'o iče ponimaičči, midä hyö tahtotah roadoa. Häi varusti suwren kiven da pani d'uaššiekkah, a iče välittih eäte havvas. Pani vai kiven d'uaššiekkah, veäldi nuoras, i ruvet-tih nostamah. Hyö nostettih, nostettih d'o puolih välih i peästäldettih. Kivi vai d'ivvahtih hawdah. Ivan Medvedin kačcow sidä dieluo. Siit mäni, nuoran leikkai i d'uaššiekkah lykkäi. Nu vot, hyvä-horošo, häi i lähti voagalinnun luo, kzyzw:

— D'ogo huogavuit?

Poijat eäni laittih:

— Moamo, moamo, vid'd'ä pidäwl

Lindu sanow:

— Nygöi huogavuini, voi vid'd'äl

Lindu hänen selgäh otti i lähti viemäh. Lindu nowzi, nowzi, dai peäzi havvan peäl. Ivan Medvedinan työnäldi, dai iče d'ärilleh hawdah. Häin d'o pertih sih peäzi, kus hyö eletti toizien bohatteriloin kel. Meni pertih, kačcow — murgin on syödy i muččoloin kel kengi kunne eri kom-nattoih mendy moate. Häi nostata ni kedä ei, istuihes stolan peäh i vuot-taw toizien nowzendan. Moattih, ga d'älgimäi yksi havaiččiui i tuli sih pertih. Tuli, ga kačcow — Ivan Medvedin istuw. Häi moizekse pöllästy, ga ni virkoa midä ei voi, i Ivan Medvedin tože ni midä ei virka. Siit häi meni toizien bohatteriloin luo i nostatti, sanow:

— Ivan Medvedin tulil

— Toizet kai varavuttih, i mučoit nostih. Nu vot, hyvä-horošo, toizet i duwmaittih, duwmaittih:

— Nygöi rodieh midä tahto, mennä pidäw Ivan Medvedinan luo.

A Ivan Medvedin vai istuw ielleh, vuottaw: anna tullah.

Tuldih hyö Ivan Medvedinan edeh i zdorovkaittihes. Häi vastai heile, tervehyön loadi. Siit hyö pagina laittih:

— Vot, — sanotah, — myö izmenan sinul piimmö, lai midä tahto.

Ivan Medvedin sanow:

— Vot, tovarišat, eihäi nenga pideli loadiel Minä teih näh starai-čiimos, mučoit sain. Työ duwmaičiitto, što minä otan pois kudamas tahto mučoin, a minä ku sidä tahtonuzziin, ga ni ozutannus teile en, a minä vet' teih näh staraičiimos, minul moailmal mučoi roih skol'ko ugodno, a työ miittuman izmenan piittöl

Hyö sanotah:

— Nygöi kudai izmen puwtui pideä, se d'ärilleh ei myöstäi, nygöi lai midä tahtol

— En lai ni midä, — vastai Ivan Medvedin, — sen täh ielleh hyvin elämmö.

Hyö vie enämmäl prošken'n'ua pakiččemah. Pakittih, dai Ivan Med-vedin prosti. Ruvettih eäres siit kohtas lähtemäh. Val'tastettih se iččeh

sälgy, sih endizeh regeh istuotettih kaikin i lähtiettih ajamah, a Ivan Medvedin istuihes laid'al hebuo ajamah. Ajetah, ajetah, i puwtutah linnah (ku täh Petroskoih rowno). Se linnu proiji. Ajetah, ajetah, tulow toine linnu. Se on stoličnoi linnu, i hyö soarin dvorčah ajetah. Joga linnas on sinine vate oijendettu i sinizet flagut nostettu. Hyö kyzytäh rahvahal:

— Mi teile on neče čuwdo, ku joga sijas on sinine vate oijendettu i sinizet flagut nostettu?

Heile vastatah:

— Tulien yön kahtentostu čoasun aigah pidäw vid'd'ä soarin tytär merirandah zmijal syödäväksel

Hyö ajetah soarin dvorčah i soarih yökse taritahes.

Dežurnoi oli vorotoin luo i lähti soaril viestii viemäh. Soari kyzyw:

— Mittuot rahvas on?

Dežurnoi sanoi:

— Rahvas noat kaččuol ollah ylen hyvät.

Soari iče lähti kaččomah. Häi mielädi, nengomoa hebuo vie häi ni kus ei nähnyh. Hyö tarittihe ičelleh soaril yökse, i soari ylen hyvin priimi. Vorotat avattih, hebo laskettih. Ivan Medvedin sanow:

— Minun hevol pidäw eriže olla kon'ušši.

Heidy ylen hyvin goštitetah, kui vai voijah. Hyö ildah sah ollah. Enne puoldu yödy Ivan Medvedin komanduiččow ezmäizel ongittajal, što pidäw mennä neijisty zmijas peästämäh merirandah.

Nu vot, hyvä-horošo, hyö lähtietäh matkah. I puwtuttih merirandah sinne. Vie ewle kahtutostu čoassuw, i hyö ruvetah huogavumah. Ongittai se andaw soarin tyttärel peädy eččie, sanow:

— Jesli uinonnen, konzu rubiew kohu meres kuwlumah, siit sorra minul peäl minun savakko, siit minä havačun!

Neidine peädy ečči i ongittai uinon bohaterskoih uneh. Rubei meres kohu kuwlumah. Neidine rubei händy nostattamah, ga havaiččuon ni kui ei voi. Siit, kui neivoi, muga i roadoi: savakon peäl kirjotti. D'algevui. Kohu se läheni, läheni, dai tuli randah kolmepeähine zmija. Nostaldi peän, sanow:

— Oli uskalmos yksi, a täh on tulluh kaksi

A bohatteri vastai hänel:

— Syö hos ezmäi yksi, roih sit sinul verol,

Vot, hyvä-horošo, bohatteri ajat sanow:

— Kaksi kägiät syvvä, a sidä et tiije, ku iččes liinumoa kai harakat n'okittih!

Kolmepeähine keänäldih kaččomah, a bohatteri sil aigoa kaksi peädy i leikkai, a kolmas mereh uidi i lähties sanoi:

— Olgah, minun peät hos leikkaitto, ga vuottoat huomei illal veikoi tulow, leikkoattogo hänen peät?

Nu, se neidine peäzi. Huondesčuras vei bohatteri neidizen soaril, i soaril rodih ylen suwri ihaustus. Huondeksel d'o ruskiet flagut, ruskiet vattiet levitettih linnah päiväksi. Ildupäivy tulow, i op'at' rovno telegrammu tulow, što toine tytär pidäw syödäväkse. Ruskiet flagut da vat-

tiet kerätäh i sinizet levitetäh. Tulow lähtie toizel tyttärel. Ivan Medvedin komanduičči toizel ongittajal:

— Mene peästä soarin tytär, što bj et andas syödäväkse zmijall

Vot, hyvä-horošo, lähtietäh neidizen kel merirandah. Mennäh merirandah, bohatteri andaw neidizel peädy eččie, sanow:

— Kohu meres päi ku rubiew kuwlumah, minu w nostata. Muwlleh ku en nosse, ga savakko sorra peäl.

Neidine rubei peädy eččimäh, i bohatteri uinoi. Rubei kohu meres päi kuwlumah. Neidine savakon sordi hänen peän peäl, i havačui. Kohu läheni, läheni, i tuli kuwzipeähine zmija. Zmija sanow:

— Oli uskaldettu yksi hengi, a on kaksi!

— Syö yksi ezmäi, ga roih sit sinul vero, — sanow bohatteri. — Tyhjeä pagizet, a kačo koillizes päi miittuine savu nowzow, sidä et näil

Zmija keänäldih kaččomah — sil aigoa bohatteri viizi peädy krošši, kuvvenden kel ehti mereh paeta. Neidine peäzi, i mendih kodih eäres. Kois opat' ylen äijäl ihastuttih, i huondeksel opat' ruskiet flagut i ruskiet voattiet oijendetiih. Ildah sah huogavutah i gostitah sie soafin luö. Ildupäiväl opat' telegrammu tulow: d'o pidäw kolmas tytär vid'd'ä syödäväkse. Ruskiet flagut da vattiet kerättih, eäre i sinizet sijah levitettih.

Nu vot, hyvä-horošo, toas kolmandel neidizel lähtie pidäw. Ivan Medvedin komanduičči kolmandel ongittajal:

— Neidine peästeä pidäw, ei pie andoa syödäväksel

Mennäh hyö sinne merirandah ennen zmijan tulendoa.

Neidine rubiew peädy eččimäh, i bohatteri se uinuow. A enne uinondoa sanow:

— Ku muwlleh et voi nostattoa, sorra savakko peäl, sit havačun.

Rubei meres kohu kuwlumah. Neidine nostatti — ei voi nostattoa. Sordi savakon peäl, i häi havačui. Tulow meres yheksäpeähine zmija. Tulow i röngähtäh:

— Oli, — sanow, — uskalmos yksi, nygöi teä on kaksi!

Bohatteri vastai hänelleh:

— Syö yksi, — sanow, — ga roih siit! Pahoa paista tiijet, a kačo koillizeh, iččes kodi palaw vo ves' duhl

Keänäldih häi kaččomah, a bohatteri sil aigoa kai peät krošši, vai yksi d'äi, sen kel ehti mereh paeta, sanow:

— Voata, huomei tulow vahnin veikoi, leikodgo i sen peän!

Neidine peäzi opat', i tullah kodih. Ihastus rodih suwri, i toaste ruskiet vate da ruskiet flagut oijendetah.

Se päivy huogavutah, gostitah, a linnas d'o on vessel eleä, ku kolme soarin tytär dy d'o peäzi, i ruskieloi vattielloi myö kävelläh. Ildupäivih sah eletäh, i opat' tuli telegrammu, što nelläs tytär pidäw tuvva syödäväkse tulien yön kakstostu čoassuw. Ruskiet vattiet kerätäh, sinizet vattiet pannah, ruskiet flagut otetah, sinizet flagut nostetah. Tuli vuoro Ivan Medvedeval lähtie nuorimboa tytär dy peästmäh. Ivan Medvedin d'o ei zevaiče: häi d'o päiväl vei merirandah čugunnoin boaban. A boaban sen häi loadi vintoil: ku punaldat vintan, ga mi suwh boaboil men-

nõw, ga se poikki menõw. Igenet boaboil loadi irvalleh i kaksi ham-
mastu suwh. Boaboin sen seizatti d'ogirandah.

Meni illal Ivan Medvedin soarin tyttären kel merirandah. Häi eigo
anna peädy eččie, eigo midä, a vuottaw zmijoa. Vuottaw, vuottaw, d'äl-
gimäi kodvan peräs rubiew kohu meres kuwlumah, i meri rubiew kai
zelenazel nägymäh, ku tulisugahat on meres. Dai tuli sih rannal kaksi-
tostupeähine. Häi sanow:

— Leikkaitto vellilöin peät, leikottogo i minun!

Ivan Medvedin sanow:

— Kačo, pitkäs matkas tulduw midä pahoa pagizet, et ni tid'd'e
hyveä paistal Kačo, vanhu boabušku, segi sinuw nagraw!

Kaksitostupeähine pahas tawas loadi kaksi kokkoi kahtes käis i ker-
ras ähkäi boabol keroh. Käit poikki i mendih. Sil aigoa Ivan Medvedin
leikkai yksitostu peädy, yksi d'ai. Zmija mereh huškahtih, sanow:

— Minä kun en voinnuh tappoa, ga enämbi ni lapsien lapset ei
tulla, eläkkeä hyvin, libo pahoil!

Neidine peäzi, i kodih astuttih. Linnas nostettih ruskiet flagut i vate
ruskie levitettih i kaikexse aigoa muga d'eädi, ku zmijois peästih.

Nu vot, hyvä-horošo, soari sanow:

— Täs tyttäret teän peästetyt, ottakkoa hos kai mučoiakse.

Toizil ei pidänyh mučoi, ku d'o oldih naizis, a Ivan Medvedin
otti mučoiakse sen neidizen, kudaman iče peästi. Soari toizii bohatteriloi
pani suwrih čiinuloi, a Ivan Medvedinan otti vävykse i ruvettih ielleh
hyvin elämäh.

29. ИВАН МЕДВЕДИН

Вот добро-хорошо, был в старое время поп. Он сел на коня
и поехал в приход. Едет он по лесной тропинке верхом (колес-
ных дорог раньше не было), встречается ему медведь. Вот добро-
хорошо, медведь лошадь съел, попа на спину взвалил и в берлогу
унес. Они там живут-поживают, попа в берлоге порядочно вре-
мени кормит [медведь]. Наступает время течи, а это мед-
ведица была. Медведица затяжелела. Носила, носила то бремя и
родила ребенка. Ребенок стал настоящий человек, только в мать
волосатый: лицо чистое, лишь тело волосатое.

Медведица их кормит, и живут они в берлоге. Медведица це-
лыми днями ходит в поисках еды, а поп с сыном вдвоем в бер-
логе живут. Уже взрослым мужчиной стал Иван Медведин и го-
ворит:

— Тятенька, довольно мы в берлоге пожили, уйдем отсюда,
походим хоть по вольному свету!

Поп ему ответил:

— Ох-ох, — говорит, — если твоя мать встретится, то обоих
нас съест!

Иван Медведин говорит:

— Пойдем только, не съест никого, а если встретится, то
перед матерью я буду ответ держать!

Ну вот, они и пустились в путь. Шли, шли по лесу, уже показалась дорога, а тут как раз медведица навстречу идет. Вот медведица давай на попа наступать. Сын становится между ними, не пускает к отцу, говорит:

— Не трогай, мать, отца, а иди на сына!

А на сына идти не смеет. Сын дразнил, дразнил, наконец медведица бросилась на сына. Сын как схватил ее за задние лапы и ударил об сосну, так только грязь брызнула! Матку он убил, и пошли они с попом шагать по дороге. Шли, шли и пришли в поповский дом. Стали дома жить.

Иван Медведин работает, работает, так что не могут работы напасть. Попу уже самому стало страшно и говорит попадье:

— Ну и сын у нас — кажется, он нас погубит!

И они придумали, как сына извести. Толкуют, толкуют между собой... Есть там в загородке такой злой зверь, никто не может подойти — съест. Поп говорит Ивану Медведину:

— Жеребенок у нас в загородке уже три года, иди приведи его домой.

Он отправляется, а сперва заходит в кузницу и делает из крепкого железа узду. Идет туда за жеребенком. Только он подошел к изгороди, [зверь] уже пасть раскрыл — готов съесть его. Он схватил руками за челку и пригнул к земле, жеребенок тут же стал послушным и голову опустил. Надел узду, сел на спину и примчался в поповский двор. Повод забросил на столб, вбежал в избу, говорит:

— Тятенька, я уже привел жеребенка, куда поставить?

Поп и попадья так испугались, что ничего не соображают, и поп говорит:

— Иди, поставь с лошадьми!

Утром Иван Медведин идет поить лошадей, а лошади все лежат, только один жеребенок стоит. Вернулся обратно в избу, говорит:

— Тятенька, один только наш жеребенок на ногах, все другие лошади лежат.

Сколько бы ни работал Иван Медведин, все равно поп и попадья думают его извести. Есть там такая ламба, где водяной своим дыханием за тридцать сажений притягивает. На ту ламбу посылают Ивана Медведина за рыбой. Он идет сперва в кузницу. Велит сделать всю лошадиную сбрую и сам идет в лес — делает сани. Целые сосны с корнями вырывает и из них гнет дугу, из них делает оглобли и едет на таких санях на том жеребенке домой.

— Вот, — говорит, — тятенька, я сделал сани, может, полные сани наловлю рыбы.

— Зачем же, сын мой, полные сани, хоть бы немножко достал ряпушки.

Он все же поехал за рыбой на санях. Только стал приближаться к той ламбе, как уже издали стало его тянуть дыханием.

— Ладно, — говорит, — не тяни, я ведь и сам приду!

Чем ближе подъезжает, тем больше водяной его дыханием притягивает. Добро-хорошо, идет он на берег ламбы, по колено в песке стоит, говорит:

— Я больше не двинусь, если нужен — приходи за мной на землю!

Водяной рассердился и выскочил на землю, чтобы его взять. Когда водяной бросился на Ивана Медведина, то Иван Медведин его коленом прижал и начал бить. Бил, бил, говорит:

— Если не принесешь эти сани полные рыбы, то тогда как только под воду спущусь, все ваше царство разнесу!

— Только отпусти, перестань бить, — говорит водяной, — принесу всю рыбу!

Иван Медведин отпустил, и водяной пошел за рыбой. Водяной всю рыбу из ламбы собрал и принес на берег.

— Нагружай в сани, — приказывает водяному.

Водяной рыбу погрузил.

— Не всю еще рыбу принес!

— Всю принес.

Иван Медведин снова принялся за водяного, говорит:

— Разве я не знаю, сколько тут рыбы? Все надо принести!

— Все принесу, только отпусти!

Снова походил там и принес рыб покрупнее: щук, лещей.

— Теперь, смотри, — говорит, — все принес, только один старый ерш в ламбе остался.

— Ну, теперь верю, — и приказал погрузить остальную рыбу.

Потом Иван Медведин говорит:

— Вот я, поповский сын Иван Медведин, а у моего тятеньки нет дьякона. У тебя волосы длинные, пойдем, будешь дьяконом.

Тому не хочется идти, но Иван Медведин говорит:

— По чести садись в сани!

Сели в сани и поехали домой. Въезжает на свой сарай на том жеребенке: полные сани рыбы, дьякон в санях. Пришел в избу, говорит:

— Тятенька, ты ведь говорил, что дьякона нет, пойдем помотришь на сарае, я привез!

Поп пошел смотреть, увидел водяного — испугался, только руками отмахивается.

— Отпусти, сын, его, откуда привез — туда и отправь, не надо, не надо!

Сын отправил водяного обратно, а тот побежал — только коты шлепают.

Стали по деревне искать людей рыбу чистить. Нашли, рыбу всю вычистили и посолили.

Поп и попадья в деревне там говорят, что хотят Ивана Медведина извести, а ему со стороны говорят:

— Разве ты сам ничего не понимаешь, ведь они тебя хотят извести, поэтому и посылают в такие места. Мы тебе говорим, жалея тебя, потому что ты хороший и так работаешь, всякого слушаешься.

Иван Медведин, когда узнал про это, то спрашивает у них [у попа и попадья]:

— Почему же вы меня хотите извести? Могли бы прямо сказать, что вам сына не надо, и я бы сам исчез, может, свою голову и прокормил бы.

Поп и попадья ничего не говорят, стыдно им стало. Он все же собрался уходить. Ну вот, добро-хорошо, собирается, прощается и уходит, только своего жеребенка и сани берет.

Едет вскачь по тракту. Смотрит — мужик на берегу озера удит: вместо удилица сосна, вместо приманки лошадь. Он к этому месту подъехал, поздоровался. Тот на приветствие ответил:

— Куда, брат, едешь, Иван Медведин?

— Пошел по земле бродить.

— Возьми, брат, и меня!

— Пойдем.

Мужик этот, товарищ, подошел, и поехали дальше. Едут, едут, много проехали, опять мужик удит: сосна вместо удилица, лошадь вместо приманки. Поздоровались.

— Будьте здоровы! Куда, братья, едете?

— Едем так по свету.

— Возьмите, братья, и меня!

— Иди!

Уже втроем проехали дальше. Едут, едут, опять встречается озеро, и мужик удит: сосна вместо удилица, лошадь вместо приманки. Поздоровались.

— Куда, братья, едете?

— Едем по земле.

— Возьмите, братья, и меня!

— Иди!

Вот, добро-хорошо, они дальше едут и попадают в такое место — у дороги стоит большой дом. Они тут останавливаются, заходят в избу — никого нет. Смотрят — коз много. Они коз режут, варят, едят. Оставляют первого удильщика варить, остальные идут в лес. [Тот] печку истопил, мясо сварил. Суп получился очень жирный. Двузубая старуха встала из подполья, бороду удильщика защемила между половицами, мясо съела, суп выпила, и сама обратно — в подполье. Он [удильщик] нового мяса нарезал и поставил на огонь, но не успело мясо свариться, а другие есть пришли. Стали есть, друг другу в глаза смотрят, а никто ничего не говорит. Этот день так проходит. Ночь спят,

на другой день Иван Медведин оставляет варить другого удильщика.

Опять [тот] варит очень хорошо. Мясо уже сварилось, и суп стал очень жирный. Сам думает: «Вчера суп был плохой, зато сегодня будет хороший». Только подумал, тут и поднялась из подполья двузубая старуха. Она его бороду на время еды защемила между половицами, сама мясо съела, суп выпила и обратно в подполье ушла. Он встал и давай опять сырое мясо на огонь ставить. Мясо не успело свариться, когда другие пришли уже есть. Стали есть, друг другу в глаза смотрят — не-сведобный суп, мясо недоваренное, а никто ничего не говорит. Эту ночь они прожили. На третий день отправляются в лес, а варить Иван Медведин оставляет третьего удильщика. Опять, только мясо сварил, встала из подполья двузубая старуха и его бороду защемила между половицами. Мясо съела, суп выпила и обратно ушла в подполье. Он давай сырое мясо резать и опять на огонь. Мясо не успело провариться, опять пришли есть. Во время еды только друг другу в глаза смотрят: нет в супе на-вара и мясо не мягкое. Эту ночь они переспали.

Настал черед Ивана Медведина варить. Думает: «Погоди-ка, я попробую сварить, будет ли суп хорош или нет!». Сварил он мясо, суп получился жирный. Думает: «Разве не жирная похлебка, разве не мягкое мясо?». Подумал, как бы чего не случилось, и на время, пока варил, положил круглое острое железо в огонь калиться. Оно раскалилось, стало, как ягодка, красное. Встала старуха из подполья, хотела съесть, как и в другие дни, мясо и суп. Старуха стала лицом к печке, только хотела взять горшок с супом, а Иван Медведин схватил это раскаленное железо, ей в рот сунул и вертит. Ей язык и рот обожгло, не может говорить. Старуха эта вырвалась, только лопочет: «Мя-мя-мя...» и обратно в подполье ушла.

Пришли другие есть. Суп очень хороший, жирный, едят и друг другу в глаза смотрят, а ничего не говорят, а Иван Медведин ждет, когда они похвалят суп. Иван Медведин говорит им:

— Смотрите, что с вами случалось, а, видишь, не говорите. А сегодня ведь такого случая не было!

Они пообедали, пьели-попили и хотели поотдохнуть. Иван Медведин говорит:

— Сегодня отдыхать некогда!

Пошли ходить по амбарам и находят гирию и веревку, надо узнать, какой глубины то подполье, откуда старуха выходила. Привязали гирию к веревке и опустили туда в подполье, а гирия, поди знай, куда падает, стука не слышно. Они все веревку надставляют. Надставляли, надставляли, наконец гирия упала на дно. Измерили они это, Иван Медведин говорит:

— Надо оковать такой ящик, чтобы не подвел.

Вот они такой ящик делают, налаживают, и Иван Медведин отправляется туда ту старуху искать.

Вот добро-хорошо, Иван Медведин в ящик сел и другим велел все время его караулить, не велел ни в лес ходить и никуда, говорит:

— Когда я за веревку дерну, тогда меня поднимите!

И он начинает опускаться туда, в яму, другие опускают. Опускался, опускался — встретились маленькие темные сенцы. Он рукой ощупывал, ощупывал стены, и попала под руку дверная ручка. Он за ручку дернул, думает, дверь избы, а когда открыл, видит вольный воздух, берег моря. Он идет по берегу моря, а с моря поднимается страшная туча. На берегу моря нет ни дерева, ничего, только песок да несколько можжевельников кустов. Он шел, шел, смотрит — орлица птенцов вывела, в гнездо уложила, а сама улетела. Гнездо-то редкое, ветер сильный, птенцы те замерзли, едва только попискивают. Иван Медведин можжевельника наломал, вереска нарвал и щели в гнезде заткнул, чтобы ветер не так продувал. Он тут ждет, никуда не уходит, успокоятся ли птенцы, обогревшись. Птенцы согрелись и смолкли. В это время прилетела орлица, на Ивана Медведина напала, вот-вот съест его. Птенцы тут голос подали:

— Стой, стой, мать, — говорят, — он нас оживил, трогать его нельзя! А если можешь, сделай ему добро.

Птица спрашивает у него:

— Какое тебе добро сделать?

Иван Медведин говорит:

— Никакого добра мне не надо, только из ямы меня наверх доставишь. (Он наперед уже знал все дела, заранее дорогу рассчитал)

Птица ему говорит:

— Очень тяжело туда лететь, а я далеко была, устала, надо бы поотдохнуть.

А птенцы требуют:

— Надо, мать, доставить!

Иван Медведин говорит:

— Я теперь пойду поброжу, а ты поотдохни, когда вернусь, тогда доставишь [меня].

Вот он пошел по берегу моря, и встречается рыбацья избушка. Он заходит в избушку ту, а там девушка ткёт. Как ударит раз бердом — и двенадцать пар башмаков падает. Иван Медведин спрашивает у девушки:

— Что, сестрица, ты тут ткешь?

— А тку, — говорит девушка, — вот что: мою бабушку Иван Медведин искалечил, теперь войну готовим!

— Ой, сестрица, брось пустое дело, Ивана Медведина кости уже сгнили, давно умер. Лучше выходи за меня замуж.

— Выйду, — говорит, — только возьми!

— А где же эта твоя бабушка, которую Иван Медведин искалечил?

— Бабушка, — говорит девушка, — в четвертой избушке.

Они обо всем договорились: один берет, другая выходит, и девушка бросает тканье. Иван Медведин идет дальше, в другие избушки. Заходит в другую избушку, опять девушка ткет. Иван Медведин поздоровался, та ответила:

— Будь здоров!

Опять девушка ткет, раз ударит — двенадцать шинелей падает. Иван Медведин спрашивает:

— Что, сестрица, делаешь?

— А войну готовлю, Иван Медведин очень сильно искалечил нашу бабушку.

Иван Медведин ответил ей:

— Ой, сестрица, брось пустое дело, Ивана Медведина кости уже сгнили, давно уже умер. Лучше выходи за меня замуж!

Девушка говорит:

— Выйду, если только возьмешь!

Девушка стала готовиться, а Иван Медведин пошел дальше. Шел, шел по берегу моря — опять избушка встречается. Он заходит в ту избушку, опять девушка ткет: раз бердом ударит — двенадцать винтовок падает. Он поздоровался.

— Будь здоров! — говорит девушка.

— А что ты, сестрица, делаешь?

— Нашу бабушку Иван Медведин очень сильно искалечил, вот теперь войну готовим.

— Брось пустое дело, Иван Медведин уже давно умер, теперь уже и кости сгнили! Лучше выходи за меня замуж.

Девушка и бросила тканье, стала готовиться.

— А где же бабушка?

— А вот в той первой избушке ждут ее смерти: и не умирает, и не живет.

(Мужичок не оставляет так дела, все места проверяет!)

Идет Иван Медведин к бабушке. Там уже народ, сторожат ее. Он с народом поздоровался, и ответили ему на приветствие. Люди у него спрашивают:

— Не сможешь ли придумать что-нибудь, прошедши такой путь, чтобы [она] либо поправилась, либо умерла?

— Можно ведь, — говорит, — попытаться, либо поправится, либо умрет, что-нибудь да будет.

Повели его к бабушке, а бабушка его и узнала. Сказала бы людям, что этот меня искалечил, но не может, только мычит, а народ не понимает. А Иван Медведин говорит:

— Смотрите, она сама просит, попытаться вылечить велит! При этом не должно быть никого народу. Надо затопить печь и горшок с водой поставить кипятиться. Я с нее дурной норой смою и потом чистую лечить буду.

Народ весь вышел. Он печь затопил и горшок на огонь. То, прежнее, железо раскалил докрасна и сунул в рот — так старуху лечит. Железом тем растирал, растирал да еще вдобавок кипяtkом поправлял, вот и покойница готова (настал смертный час). Позвал всех людей, говорит:

— Смотрите, теперь нос вытянулся — умерла.

Стали люди эту бабушку земле предавать, а он пошел своей дорогой и начинает девушек собирать. Взял трех девушек и привел их к тому отверстию. Посадил одну девушку в тот ящик и за веревку дернул. Начали там другие богатыри поднимать. Поднимали, поднимали, видят — поднялась очень красивая девушка. Они спрашивают:

— И другая есть?

— Есть, — говорит девушка.

Они быстренько бросили ящик снова вниз, и другую девушку Иван Медведин посадил в ящик. Ну вот, и другую девушку подняли — опять девушка очень хорошая. Спрашивают:

— Есть ли третья?

— Есть, — ответила девушка.

Живо опустили ящик. И третья девушка поднялась. Спросили:

— А еще есть?

Девушка говорит:

— Нет больше девушек, только отправляющий остался.

Они толкуют между собой:

— Если Ивана Медведина поднимем, то он тогда одну девушку возьмет и один из нас останется без девушки.

Кто говорит, что «поднимем», кто говорит, что «не поднимем». Наконец решили до половины поднять и отпустить ящик обратно вниз, пусть сразу умрет.

Вот добро-хорошо, Иван Медведин уже сам понимал, что они хотят сделать. Он приготовил большой камень и положил в ящик, дернул за веревку, и стали [те] поднимать. Они поднимали, поднимали уже до половины и отпустили. Камень бухнулся на дно ямы, Иван Медведин смотрит на это дело. Потом подошел, веревку перерезал и ящик выбросил. Ну вот, добро-хорошо, он и пошел к орлице, спрашивает:

— Поотдохнула уже?

Птенцы голос подали:

— Мать, мать, надо доставить [Ивана]!

Птица говорит:

— Теперь поотдохнула, можно доставить.

Птица взяла его на спину и полетела. Птица поднималась, поднималась и добралась до края ямы. Ивана Медведина отпустила, а сама обратно в яму. Он уже добрался до избы, где они жили с теми богатырями. Зашел в избу, смотрит — обед съеден, и с женами кто-куда, по разным комнатам ушли спать. Он никого не будит, сел за стол и ждет, когда другие встанут. Спали, спали,

и наконец один там проснулся и пришел в ту избу. Пришел, смотрит — Иван Медведин сидит. Он так испугался, что ничего сказать не может, и Иван Медведин тоже ничего не говорит. Потом тот пошел к другим богатырям и разбудил, говорит:

— Иван Медведин пришел!

Другие все перепугались, и жены встали. Ну вот, добро-хорошо, все думали, надумали:

— Теперь будь что будет, придется идти к Ивану Медведину.

А Иван Медведин сидит себе, ждет: пусть приходят. Пришли, стали они перед Иваном Медвединым и поздоровались. Он ответил им, поздоровался. Потом они заговорили:

— Вот, — говорят, — мы тебя предали, делай что хочешь.

Иван Медведин говорит:

— Вот, товарищи, ведь этак нельзя было делать. Я за вас старался, жен достал. Вы подумали, что я у кого-нибудь отберу жену, а если бы я этого хотел, то и не показывал бы вам [девушек], а я ведь за вас старался. Для меня на свете жен сколько угодно найдется, а вы меня так предали!

Они говорят:

— Теперь, коли случилось предать, того назад не вернешь, теперь делай, что хочешь!

— Ничего не сделаю, — ответил Иван Медведин, — несмотря на это, дальше хорошо заживем.

Они — еще больше прощения просить. Просили, Иван Медведин и простил. Стали уходить из этого места. Запрягли того самого жеребенка в те прежние сани, сели все и поехали, а Иван Медведин сел на край лошадь погонять. Едут, едут и попадают в город (как в этот Петрозаводск ровно). Этот город проехали. Едут, едут, встречается другой город. Это столичный город, и они в царский дворец едут. В городе повсюду синие полотна разостланы и синие флаги подняты. Они спрашивают у людей:

— Что у вас за чудо, повсюду синие полотна разостланы и синие флаги подняты?

Им отвечают:

Этой ночью в двенадцать часов надо вести цареву дочь на берег моря змею на съедение!

Они приезжают в царский дворец и к царю на ночлег просят. Дежурный был у ворот и пошел к царю с вестью. Царь спрашивает:

— Какие на вид эти люди?

Дежурный сказал:

— С виду люди эти очень хорошие.

Царь сам пошел посмотреть. Ему понравилось, такого коня он еще нигде не видел. Они попросились к самому царю на ночь, и царь очень хорошо принял. Ворота открыли, коня распрягли. Иван Медведин говорит:

— Моему коню нужна отдельная конюшня.

Их очень хорошо угощают, как только могут. Они до вечера [тут] были. Перед полуночью Иван Медведи приказывает первому удильщику, что надо идти выручать девушку от змея на берег моря.

Ну вот, добро-хорошо, они отправились. И пришли туда на берег моря. Нет еще двенадцати часов, и они стали отдыхать. Удильщик этот дает царевой дочери в голове поискать, говорит:

— Если усну, то, когда с моря послышится шум, урони на меня мою палку, тогда я проснусь.

Девушка в голове искала, и удильщик заснул богатырским сном. Стал доноситься с моря шум. Девушка стала его будить, но никак не может проснуться [удильщик]. Потом, как [он] посоветовал, так [она] и сделала: палку на него уронила. Встал на ноги. Шум тот приближался, приближался, и вышел на берег трехголовый змей. Поднял голову, говорит:

— Была обещана одна, а пришли сюда двое!

А богатырь ответил ему:

— Съешь сперва хоть одного, будет тебе на один раз!

Вот добро-хорошо, богатырь потом говорит:

→ Двоих хочешь съесть, а того не знаешь, что твои конопляное поле сороки расклевали!

Трехголовый повернулся посмотреть, а богатырь тем временем две головы и отрезал, а третья в море ушла и, уходя, сказала:

— Ладно, хоть и отрезали мои головы, но погодите, завтра вечером брат придет, отрежете ли его головы?

Ну, эта девушка спаслась. Под утро богатырь привел девушку к царю, и у царя была очень большая радость. Утром уже красные флаги, красные полотна развешены по городу. Под вечер опять ровно телеграмма приходит, что другую дочь требуют на съедение. Красные флаги и полотна убирают и синие расстилают. Придется идти второй дочери. Иван Медведи приказывает второму удильщику:

— Иди, спасай цареву дочь, не отдай ее на съедение змею!

Вот добро-хорошо, идут с девушкой на берег моря. Приходят на берег моря, богатырь дает девушке в голове поискать, говорит:

— Когда с моря шум послышится, меня разбуди. Если иначе не проснусь, то палку урони на меня.

Девушка стала в голове искать, и богатырь уснул. Стал раздаваться шум с моря. Девушка палку уронила на него, и проснулся. Шум приближался, приближался, и вышел шестиглавый змей. Змей говорит:

— Был обещан один человек, а здесь двое!

— Съешь сперва одного, хватит тебе на один раз, — говорит богатырь. — Пустое говоришь, а смотри: с северо-востока какой дым поднимается, того не видишь!

Змей повернулся посмотреть — тем временем богатырь пять голов отхватил, а с шестой головой [змей] успел в море скрыться.

Девушка спаслась, и пошли домой. Дома опять очень обрадовались и утром опять красные флаги и красные полотна разостлали. До вечера отдыхают и гостят [богатыри] там у царя. Под вечер опять телеграмма приходит: третью дочь надо везти на съедение. Красные флаги и полотна убрали и синие взамен разостлали. Ну вот, добро-хорошо, опять третьей девушке надо идти. Иван Медведин приказал третьему удильщику:

— Надо девушку спасти, нельзя дать на съедение!

Идут они туда на берег моря до прихода змея. Девушка начинает в голове искать, и богатырь тот засыпает. А перед тем, как уснуть, сказал:

— Если иначе не сможешь разбудить, урони на меня палку, тогда проснусь.

Стал с моря шум раздаваться. Девушка будила — и не может разбудить. Уронила палку на него, и он проснулся. Выходит из моря девятиголовый змей. Приходит и рычит:

— Была, — говорит, — обещана одна, а теперь здесь двое!

Богатырь ответил ему:

— Съешь одного, — говорит, — и хватит с тебя! Плохое говорить умеешь, а смотри: на северо-востоке твой дом горит всюю!

Повернулся он посмотреть, а богатырь тем временем все головы отхватил, только одна осталась, с ней успел в море скрыться, говорит:

— Подожди, завтра придет старший брат, отрежешь ли и его головы?

Девушка опять спаслась и приходит домой. Радость была большая, и опять красные полотна и красные флаги развесили.

Этот день отдыхают, угощаются, и в городе уже весело жить, потому что три царевы дочери уже спасены и по красным полотнам ходят. Живут до вечера, и опять телеграмма, что четвертую надо привести на съедение этой ночью в двенадцать часов. Красные полотна убирают, синие полотна расстилают, красные флаги снимают, синие флаги поднимают. Настал черед Ивана Медведина идти младшую дочь спасать. Иван Медведин не зевает: он уже днем отнес на берег моря чугунную бабу. А бабу ту он устроил на винтах: как повернешь винт, то, что бабе в рот попадет, надвое переломится. Сделал бабу смеющейся и с двумя зубами во рту. Бабу ту поставил на берегу реки [моря].

Пошел вечером Иван Медведин с царевой дочерью на берег моря. Он не дает ни в голове поискать и ничего, а ждет змея. Ждет, ждет, наконец через долгое время начинает шум с моря доноситься, и море становится зеленым, и как будто в огненных лучах море. И пришел тут на берег двенадцатиголовый. Он говорит:

— Отрезали головы братьям, отрежете ли у меня!

Иван Медведин говорит:

— Смотри, пришедши издалека, зачем плохое говоришь, не знаешь ничего хорошего сказать? Смотри, старая бабушка и та над тобой смеется!

Двенадцатиголовый в сердцах сделал кукиши обеими руками и враз сунул бабе в рот. Руки и переломились. Тем временем Иван Медведин отрезал одиннадцать голов, одна осталась. Змей в море бросился, говорит:

— Если я не смог убить, то отныне даже дети моих детей не придут, живите хорошо либо худо!

Девушка спаслась, и пошла домой. В городе подняли красные флаги и красные полотна разостлали, и на все времена они так и остались, потому что от змеев избавились. Ну вот, добро-хорошо, царь говорит:

— Вот дочери, вами спасенные, возьмите хоть всех в жены.

Другим не надо было жен, потому что уже были женаты, а Иван Медведин взял в жены ту девушку, которую сам спас. Царь другим богатырям дал высокие чины, а Ивана Медведина сделал зятем, и стали дальше хорошо жить.

30. BOHAT'T'ERI-MUCUOI

Oli tuatol da muamol ainuoi poige, ylen vögöw da strašnuoi bohatte. Tuattah, muamah kuoltah. Rubedaw naimah. I iččeh mielte myöi ni kui ei voi löwtä našte. Val'l'astaw kaks hebod, ottaw kuučarin i lähtöw akkad eččimäh toižeh muah, toižeh carstvah. Ajaw perevozah. Pidäiž perevozida. Kaččow, neidine pezöw sobid. I ylen hyvä neidine, vögöw. Miöldyi neidižeh. Neidižele sanow:

— Eigo voi meile murginuoi i heboid šyöttädä täs sinullo?

Sanow:

— Minä sobat kerädän i lähten avidan veräin, voitte ajada saraile.

Avidaw veräin neidine, laskow heid, prikažiw kuučerile hebod laskettada i kagrad andada. Briha mänöw perttih, ylen hyvä briha. Neidine ottaw panow stolale murginan, enzimäi gostittada pidäw briha. Rubetah hyö neidižen ker syömäh kahtei. Ištutah vastakkai, kačotah toine toižeh. Ylen hyö oldih, bohat't'erit, čomad. Briha sanow hänele, ku rubettih suad'bodieloluoid pagižemah:

— Edgo tule minule mučuoikse?

Neidine sanow hänele:

— Pidäw kiere oppida ozad.

Rodittih hyö ukko da akke. Enzi huondeksen nowzow miez. Panow kušakan vyöle i kirvehen vyön alle i ottaw konatan i lähtöw meččäh. Leikkadaw kymmene syltte halgod i tuow kai kodih takaz i perttih nel'l'udaw. I mučuoile sanow, iččeh akale, sanow:

— Vot miez on, ka vot on miez — kymmene syltte yhtes čuasus leikkaži i kai kieras tuoi!

Naine vastaži:

— Nengomid miehid on äi, da lewhketä vai ei.

Syveldyi häi naižen piäle, ei pakiče ni d'uoda ni syödä. Tošpäin huondeksel nowzow vie aigembe, ni syö ni d'uo ei. Kaksikymmen viiž syltte leikkaži kolmes čuasus i kai yhtes takas tuoi. Oččah lykäiži, kai pertti lekahtih. Tuli perttih i naižele sanow:

— Vot on mies, ka vot on miez — yhtes takas tuoi vuodeks halgot!

Akke vastaži hänele:

— On nengomid miehid äi, da lewhketä ei.

Syveldyi miez akan piäle ylen äijäl. Ei pakiče ni syödä ni d'uoda. Huondeksel kolmanden päivän nowzow miez aigaizeh. Selgidaw i akale sanow:

— Proššai, — sanow, — sinä miud elä tiedä, minä sinudaiz!

Akke vastaži hälle:

— Mäne terveheks!

Lähti miez astumah peldod myöte. Kaččow — palteges on kivi ylen suuri, ku päčči. Fattiw kiven kahtel kädäl, vierettaw mägele. Ištuiheze kivele i rubeži duumaimah. Kuulow — kyndaw miez kolme sadad virstad meren taga. Kuuluw «nu» i «tpru». Häin sanow: «Minä lähten sen miehelloh, ken on šigä kyndäi?». Tulow miehelloh häin. Kyndaw mies kolmel volal i kolmet pečatnuoit syltte vagon ajaw. Kyndäjäl miehel yks kazi, yks silme, yks d'alge. I sanow:

— D'umal abuh, diedol!

Häin sanow:

— Tule, pidaw, poigel!

Laskettaw starikke hebod murginale i keittaw kalan, i priglassiw syömäh mieste. I kyzyw starikke:

— Kenen miez olet, kus tulet?

Vot moločče i sanow:

— Minä nain perevozas. Enzi päivän tuoin kymmene syltte, perttih tulin, sanuoin: «Vot on moločče, ka vot on moločče — kymmene syltte tuoi takas, leikkaži i kanduoi», a häin, naine, sanuoi: «On nengomit moločuoid äi, ka ei lewhketä». Tošpäin, — sanow, — leikkažin i tuoin takas kaksikymmen viiž syltte halgot, tulin, — sanow, — perttih: «Vot on moločče, ka vot on moločče — vuodeks halgot tuoin». A häin sanow: «On nengomid moločuoid äi, ka lewhketä ei». Kolmanden päin nowzin, sanuoin akale: «Proššai, sinä minud älä tiedä, minä sinud». Häi sanuoi: «Mäne terveheks». Vot i tulin sinulloh.

Starikke sanuoi:

— D'ogo lopiit paginan? Kuundele, — sanow, — minä rubedan nygy sanomah. Vot, — sanow, — miez, meid oli kakstošt vel'l'este, minä olin nuorin kaikis, kahekstošt puudad viessad oli minus, a toižet oldih d'uge-damab i vägevembäd. Myö, — sanow, — duumaimme: emme rubei ruadamah, a lähtemme kiškomah ristityid. Vot, — sanow, — lähtimme myö toižeh muah kiškomah. Kiškuoimme kakstošt takkat kuldad da hობd'ad. Vot tulimme, — sanow, — sinun mučuoiłloh perevozah — pidaw toizele puolele piästä. Häin perevozii, — sanow. — I sanomme sinun neidižele:

«Perevozi poikki d'oges!» Häin sanow: «Min voin čagaril nostada, se mille andagat viendääl». Myö soglasiimmohez andai. Ottaw ylen suuren venehen i view meid poikki d'oges toižele čurale. Pani čagarih d'uaščikan ylen suuren i sanow: «Pangad nygyöi d'engad!». Panimme takan, panimme toižen — čagari aino seižow, i panimme kaik kakstošt, i šiid ot'ti čagaril kai kakstošte takkad d'engad i sadii venehen, toižel kädel sadii venehen, toižel kädel sadii venehen! Toižele čurale veneh mäni, a sinun mučuoil d'iaw meiden ker. Myö sanomme sinun mučuoi: «Kuus takkad ota, a kuuz anda meile». Häi sanow: «Ni kopeikkad en anda, työ kiškuoitte ristityid!». Kakstošt bohatteit sanotah: «Ed anda, ka rikomme sinun!». Meile oli nälge, rodii vie nälgemi nygyöi. Sinun mučuoi sanui: «Eigo sua teile miwd rikkoda, mängät kus piän tulitte, kuolgađ nälgäh». Hänen mučuoi sanotah: «Rikomme, ku ed d'enguoid andanel!». Ylen äijäl tuskevui neidine. Stukniw d'algan muah, kovah tandereh, kivičuuruh upponi d'alge polveh suai. Kačomme: rikkow kaikkid vel'ekaid. Myö pagoh. Häi d'algeh yldyi meile. Kačomme: on rikottu bohat'eri peldole, i piäluw on d'iaŋy viitte syltte. Myö kakstošt vel'et isthimokseh sih piäh. Sinun mučuoi nel'udaw meile d'algeh, tulow sih piälloh. Ku potkal heittäw sidä piäd! Ykstošt vel'este kuoli, a minä d'iaŋi hengih. Šiid minul pakui kazi, d'alge, silme.

Starikke sanow:

— Mäne kodih, i min pidänöw, sen ole; kunne käskenöw, sinne mänel!

Mies tuli kodih i sanow:

— Akke, minä sinun dielon tiedustin, hot' talusvedet kāske d'uoda, ga d'uon.

Rubeži elämäh ižčeh mučuoin ker.

30. ЖЕНА-БОГАТЫРША

Был у отца да матери единственный сын, очень сильный и страшно богатый. Отец, мать умерли. Задумал [сын] жениться. И не может никак под стать найти жену. Запрягает двух лошадей, берет кучера и отправляется в другую землю, в другое царство жену искать. Подъезжает к перевозу, надо пересечь. Смотрит, девушка белье стирает. И очень хорошая девушка, сильная — понравилась девушка. Девушке говорит:

— Нельзя ли нам поесть и лошадей покормить тут у тебя?

Говорит [девушка]:

— Я белье соберу и пойду открою ворота, можете проехать на сарай.

Открывает девушка ворота, приказывает кучеру распрягать лошадей и овса дать. Парень идет в избу, очень хороший парень. Девушка накрывает на стол, сначала надо угостить парня. Начинают они с девушкой вдвоем есть, сидят друг против друга, смотрят друг на друга. Очень уж красивые были оба, богатыри. Парень говорит ей, когда начали о свадебных делах разговаривать:

— Не выйдешь ли за меня?

Девушка говорит ему:

— Надо один раз испытать долю.

Стали они мужем и женой. В первое утро муж встает, подпоясывается кушаком, топор за кушак, берет канат и отправляется в лес. Нарубил десять сажень дров, и все в одной вязанке приносит в избу. И жене своей говорит:

— Вот мужчина так мужчина — десять сажень за один час нарубил и за один раз принес!

Жена ответила:

— Таких мужчин много, да не хвастаются.

Рассердился он на жену, не просит ни пить, ни есть. На другое утро встает еще раньше, не ест и не пьет ничего. Двадцать пять сажень за три часа нарубил и все в одной вязанке принес. Бросил перед избой, даже изба задрожала. Пришел в избу и жене говорит:

— Вот мужчина так мужчина — в одной вязанке принес дров на целый год!

Жена ответила ему:

— Много таких мужчин, да не хвастаются.

Очень рассердился муж на жену. Не просит ни есть, ни пить. На третье утро встает муж рано. Одевается и жене говорит:

— Прощай, — говорит, — ты меня не знай, я тебя тоже!

Жена ответила ему:

— Будь здоров!

Пошел муж по полю, смотрит: у подножья горы очень большой камень, как печь. Хватил камень двумя руками, покатила на гору. Сел на камень и начал думать. Слышит: пашет человек за триста верст за морем, слышится «нуу» и «тпруу». Он [парень] говорит: «Я пойду к этому человеку, что там за пахарь». Приходит он к нему. Пашет человек на трех волах и в три печатных сажени [глубиной] борода прогоняет. У пахаря одна рука, один глаз, одна нога. И говорит [парень]:

— Бог в помощь!

Тот говорит:

— Будь здоров, сын!

Распрягает старик коней [так!], сварил рыбу на завтрак и приглашает парня есть. И спрашивает старик:

— Чей ты есть и откуда идешь?

Вот молодец говорит:

— Я женился у перевоза. В первый день принес [домой] десять сажень [дров], зашел в избу, сказал: «Вот молодец так молодец: десять сажень нарубил, принес в одной вязанке», а она [жена] сказала: «Таких молодцов много, но не хвастаются». На другой день, — говорит, — нарубил и принес в одной вязанке двадцать пять сажень дров. Пришел, — говорит, — в избу: «Вот молодец так молодец на год дров принес». А она сказала: «Таких

молодцов много, но не хвастаются». На третий день встал, сказал жене: «Прощай, ты меня не знай, я тебя тоже!». Она сказала: «Будь здоров!». Вот и пришел теперь к тебе.

Старик сказал:

— Ты кончил говорить? Послушай, — говорит, — теперь я буду рассказывать. Вот, — говорит старик, — нас было двенадцать братьев, я был моложе всех, восемнадцать пудов весил я, а другие были тяжелее и сильнее. Мы, — говорит, — задумали: не будем работать, а пойдем грабить крещеных. Вот, — говорит, — пошли мы грабить в другую землю, награбили двенадцать нош золота и серебра. Вот пришли, — говорит, — к перевозу, к твоей жене — надо перебраться на другую сторону. Она перевозила, — говорит. — И сказали твоей девушке: «Перевези через реку!». Она говорит: «За перевоз дайте мне столько, сколько смогу мизинцем поднять [золота и серебра]». Мы согласились. Берет [она] очень большую лодку и перевозит нас через реку на другой берег. Повесила на мизинец очень большой ящик и говорит: «Кладите теперь деньги!». Положили ношу, положили другую — мизинец все держит, и потом [она] подняла мизинцем все двенадцать нош денег и бросила в лодку, другой рукой оттолкнула лодку, лодка ушла на другой берег, а твоя жена осталась с нами. Мы говорим твоей жене: «Шесть нош бери, а шесть отдай нам!». Она говорит: «Ни копейки не дам, вы грабили крещеных!». Двенадцать богатырей говорят: «Не отдашь, так убьем тебя!». Твоя жена сказала: «Вам меня не убить, уходите, откуда пришли, умрите с голоду». Ей, жене [твоей] говорят: «Убьем, если не отдашь денег!». Очень сильно рассердилась девушка. Как топнет ногой по твердой земле, по камню, так нога по колено в землю ушла. Смотрим: убьет она всех братьев. Мы бежать. Она за нами. Смотрим: лежит на поле убитый богатырь, и череп остался — пять саженьей. Мы, двенадцать братьев, сели в череп. Твоя жена бежит за нами, приходит к черепу. Как пнет ногой по этому черепу! Одиннадцать братьев умерли, а я остался жив. Тут я потерял руку, ногу, глаз.

Старик говорит:

— Иди домой и живи, пока она не прогонит; куда пошлет, туда иди.

Пришел муж домой и говорит:

— Жена, я про твое дело узнал. Вели воду, в которой ты ноги мыла, выпить, так выпью.

Стал жить со своей женой.

31. AKKU LAPSEN SOI

On akku da ukko, heile on kazakku. Mučoi on kohtuine. Mužikku lähtöy, kunne lähtenöö ajoloih i kazakal käsköö: «Gu ugodii saaha, älä pahoi jovvuta emändää». A kazakku uniz nägöö: lapsi roih ylen ozavu. Midä vai häi tahtonnoo, sidäi roih. Mučoi lapsen saa, häi lapsen saaduu sih unohtaa, ei tiijä ni ičceedä, a kazakku lapsen ottaa da sen viebi leskeh akkah, a mučoil hieroo vereh igenet. Mučoi tostah:

— Kuzbo minun lapsi on?

Häi sanoo:

— Ga said dai söid lapsen!

Mučoi itköö:

— Gu minä lapsen olen syönyh! — moliihez.

Häi kirikköh rubiaa käymäh joga molen'jal. A brihaččuine kazvaa vägi brihaččuizekse. Kazakku-lähtöö taloiz äärež i ottaa sen lapsen leskez akaz.

Astutah hyö sie korvez ylen suurez. Mužikku sanoo:

— Pädiz meile elää, gu oliz meile täz kodil

— A rubiazimogo myö täz elämäh?

— Ga rubiaazimmo!

Brihaččuine i sanoo:

— Minun suus, spaasan korvah, štobi gu oliz meile täs kodil

Dai heile roih kodi ylen suuri da hyvä. I hyö eletä-hollah, ga mužikku sanoo:

— Gu oliz minul akku, sinul maamo, pädiz i elää!

Brihaččuine i sanoo:

— Minun suus, spaasan korvah, štobi gu oliz minule maamo, taatal akkul!

Joučendu parvi nouzoo i heitäh alaz, i yksi muuttuu ristikanzakse, i ottaa mužikku mučoiakse hänen. Hyö eletäh da ollah, ga ei oman maaman d'ytyi ole. Ruvetah hyö maata. Brihaččuine menöö kravatin alle. Mučoi kyzzy:

— Kuibo työ koin azuitto? Mittuine korbi oli täs!

— Vod myö laimo koin, ga brihačču on ylen ozavu, häi midä tah-too, sidäi roih.

Mučoi kyzzy mužikal:

— Kuzbo sinä otit brihačun?

— Minä otin taloiz, olin kazakannu, mučoi oli kohtuine, gu sai lapsen, ga minä igenet hieroin vereh, a lapsen otin. Leskez akaz minä händy kazvatin.

A brihaččuine nene paginat kuundeli. Huonduksel nostah magaamaz ääre, brihaččuine sanoo:

— Minun suus, spaasan korvah, kui maamo jouččenennu tuli, mugai mengähes!

Mučoi jouččenekse muutaldah dai ääres lendää.

— Minun suus, spaasan korvah, mittuine korbi täz oli, moine i roik-kahl! Kodi korvekse muutaldah, a sinä joukse igä kai koirannu.

Häi koirakse muuttuu.

— *Zučka-sobačka, pokaži mne dorožku!*

I lähtöö koiru ielepäi juoksemah; brihaččiine juoksemah ääreh. Tuloo hieruh. Pyrrih taloih yökse.

— Laskemmo jo, magaa.

Ildastu syömäh ruvetah, ga koiru uksen tagaa haukahteleh.

— Anna, poigaini, koirale illaspalaine.

— En, — sanoo, — koiral nygöi anna, a huondeksel annan päcin lämmites tulihiihdy.

— Kus, poigaine, koiru tulihiihdy syö?

— Olettego työ kuullut, kuz oma maamo lapsen söi?

— On, — sanoo, — kaksi päivää vai astut, dai piäzet hieruh.

Lähtöö huondeksel matkah i koiru viettämäh. Tuloo toizeh hieruh. Yökse puuttuu. Pyrrih yökse.

— Magaa jo, laskemmo.

Illa ruvetah illastu syömäh, ga koiru haukahteleh.

— Anna, poigaine, koiral illaspalaine.

— En anna nygöi, huondeksel annan tulhiihdy.

— Kuzbo koiru tulihiihdy syö?

— A kuzbo oma maamo omaa lastu syö?

— Päivän astut, sit sihi hieruh pääzet.

Kolmanden päivän nouzoo i lähtöö astumah ielleh i pääzöö sihi hieruh, kuz on lapsen syöjy mučoi. Pyrrihez yökse. Ruvetah illastu syömäh, ga koiru haukahtelou.

— Anna, poigaine, koiral illaspalaine.

— Annan koiral huondeksel tulihiihdy.

— Eihäi, gor'a, tulihiihdy koiru syö.

— Eihäi oma maamo lastu syö.

— On, se meijän kyläz on.

— A kuibo minä händy nähtä saan?

— Nähtä saat: mene vai kirikköh, huraal kail ainoz molih mustissah.

Häi menöö kirikköh — molii naine itkun ker polvilleh mustis sovits.

— Mindähbo sinä, t'outoi, molittoz nengalei itkun ker?

— Ole poigu-rukku vaikkaine, minul on suuri räähky.

— A mibo moine on?

— Lapsen minä sain da söin.

— Et, maamo, sinä syönyt lastu, sinun lapsi — täz olen! Heitä molinduhez dai itkendy! Olihäi teil ennen kazakku. Sinä gu lapsen sait, häi minun otti, igenet hieroi vereh dai minun otti.

Mennäh leskiakkah:

— Oligo nenga i nenga kazvatettavu?

— Oli.

Lapsen maamah kodih ottaa, pääzöö molimassah ääre, a kazakan bla-hoslovii koirakse kogo ijäks.

31. МАТЬ РЕБЕНКА СЪЕЛА

Жили муж и жена, у них был работник, жена была с животом. Муж уезжает, куда-то там уезжает и работнику наказывает: «Если родит, береги хозяйку». А работник во сне видит: ребенок родится счастливый, что только пожелает, то и сбудется. Женщина ребенка родила и тут же чувств лишилась, себя не помнит. Работник ребенка берет и относит его к старой вдове, а у женщины десны мажет кровью. Она очнулась:

— Где мой ребенок?

Он говорит:

— Родила да и съела ребенка!

Женщина плачет:

— Как же это я ребенка съела? — молится.

Стала она в церковь ходить на каждое богослужение. А мальчик подрастает, уже стал большим. Работник уходит из дома и берет этого ребенка у вдовы.

Идут они по лесу, очень глухому. Работник говорит:

— Можно бы жить, если бы у нас здесь был дом!

— А стали бы мы здесь жить?

— Что ж, стали бы!

Мальчик и говорит:

— Мои слова да богу в ухо — чтобы здесь был у нас дом!

И стал у них дом, большой да хороший. Живут они, поживают, работник и говорит:

— Была бы у меня жена, тебе мать, вот было бы житье!

Мальчик и говорит:

— Мои слова да богу в ухо — чтобы у меня была мать, отцу жена!

Взлетает стая лебедей, опускается, и одна обернулась девушкой. И взял ее мужик в жены. Живут они, поживают, но чужая — не родная мать. Как-то легли они спать. Мальчик спрятался под кроватью. Жена спрашивает:

— Как же вы дом построили? Такая, здесь корба была!

— Выстроили мы дом, потому что мальчик очень счастливый, что захочет, то и сбудется.

Жена спрашивает у мужа:

— Где ты взял мальчика?

— Взял я — был в работниках в доме, хозяйка родила ребенка, а я десны ей вымазал кровью, а ребенка взял. У вдовы он вырос.

А мальчик эти разговоры слышал. Утром встают, мальчик говорит:

— Мои слова да богу в ухо — как мать из лебедя обернулась, так пусть обратно лебедем станет!

Жена лебедем обернулась и улетела.

— Мои слова да богу в ухо — какая корба здесь была, такая пусть и будет! Дом пусть станет корбой, а ты весь век собакой бегай.

Он в собаку и превратился.

— Жучка-собачка, покажи мне дорожку!

И собака вперед побежала, мальчик за ней. Приходит в деревню. Просится в дом переночевать.

— Пустим уж, переночуй.

Ужинать сели, а собака за дверью гавкает.

— Дай, сынок, собаке кусок на ужин.

— Не дам, — говорит, — собаке сейчас, а утром дам из печи горящих углей.

— Где же собака горящие угли ест?

— А вы слышали, где мать свое дитя съела?

— Есть тут, — говорят. — Два дня будешь идти и придешь в деревню.

Отправляется утром, а собака его ведет. Приходит в другую деревню. На ночь просится.

— Спи, пустим уж.

Вечером стали ужинать, а собака загавкала.

— Дай, сынок, собаке кусок на ужин.

— Не дам теперь, утром дам горящих углей.

— Где же это собака горящие угли ест?

— А где же мать свое дитя ест?

— День будешь идти, тогда в ту деревню попадешь.

На третий день встает и отправляется дальше и приходит в ту деревню, где живет та женщина, которая ребенка съела. Просится на ночь. Стали ужинать, а собака гавкает.

— Дай, сынок, собаке кусок на ужин.

— Собаке дам утром горящих углей.

— Глупенький, разве ест собака горящие угли?

— А разве мать свое дитя съест?

— Есть такая, в нашей деревне есть.

— Как бы мне ее увидеть?

— Увидишь — иди в церковь, там с левой стороны всегда молится в черном.

Идет он в церковь: молится там и плачет женщина в черной одежде.

— Что ты, тетенька, молишься и так плачешь?

— Не говори, малыш, у меня большой грех.

— Что это за грех?

— Дитя я родила и съела.

— Нет, мать, не съела ты дитя, вот я — твое дитя, брось молиться и плакать! Был ведь у вас раньше работник. Ты родила, а он тебе десны кровью вымазал и меня взял.

Идут к вдове:

— Был ли такой-то и такой-то воспитанник?

— Был.

Ребенка своего мать взяла домой, не надо было больше молиться, а работника на всю жизнь оставила собакой.

32

D'äi armoittomakse brihačču. Häi läksi maailmal päädy syöttämäh. Tuloo vanhu starikku vastah. Kyzyy:

— Kunne, poigani, menet?

— A menen, kus pään elättäzin.

Häi sanoo:

— Avaa suu.

Brihačču gu suun avaa, ga starikku suuh i sylgöö. Sylgöö, ga brihačču rubiaa kaiken d'yttymät kielel tiedämäh. Lähtöö ielleh astumah brihaččuine. Hänel tuloo kupsu vastah. Hänel on kolme heboo. Kupsu kyzyy:

— Kunne, poigani, menet?

Häi sanoo:

— Menen päädy elättämäh, kuz vai pää eläz.

Kupsu sanoo:

— Edgo rubia minul heboo ajamah? Minä sinuu syöttäzin dai d'uottazin dai suorittazin.

Häi rubiaa. Lähtieh matkah. Kupsal on kaksi koiraa. Azetutah syöttämäh heboloi, a koirat laitah pagin: «Pahoi iżändy laadi, gu täh rubei syöttämäh. Täs kohtaa vorat tullah, kai kiškotah, hevot otetah dai ičceedäh tapetah!». Brihaččuine sanoo:

— Emmogo lähte toizeh paikkah syöttämäh heboloi, eigo kuz oliz ugoožoimbi?

Kupsu i soglassihez. Brihaččuine nareko jättää veičen, tahtoo ispitivaija, ongo tozi, gu häi ellendi koirien paginan. Mennäh hyö palazen peräh, lasketetah hevot i d'äähäh sih yökse. Huondeksel ku brihaččuine nouzoo dai kupsal sanoo:

— Lähten minä tuon veičen, gu veičči unohtui sille kohtale, kuz enzimäi tahtuimmo huogavuo.

Menöö sinne, ga mugai on: sid verdy, da nägyy, što rozboiniekat on hälisty.

Lähtietäh ielleh, ga kodih d'äi vai palane. Koirat zavodittih keskenäh pagin. Vanhemi koiru sanoo nuorembal koiral: «Mene kodih da ylen äijäl hauku, što ei rozboiniekat ruohtizi tulla graabimah!». Meni koirane kodih, ga parahite vorat oldih kois. Koirane ku zavodiihäi haukundan, dai vorat ääres pajetah.

Tullah kodih, ga emändy on pahaz mieles, sanoo:

— D'engat vai ehtittih varrastaa, muudu ei ehtitty, gu koirane tuli kodih.

Vanhemi koiru toizel koiral kyzyy:

— Kunnebo hyö d'engat pandih?

A häi sanoo:
 — Gu minä d'ällez ajoin, ga tuol pelloi ollah hõstetukut, sinne pei-
 tettih.
 — Kačoidgo tarkah?
 — Ga tarkah kačoin, ei muijal ni kunne peitetty, gu vai sinnel
 Huondeksel gu nostah, ga ižändy da emändy ollah ylen pahaz mielez.
 A brihačcuine i sanoo:
 — Davaiz opimmo eččiä, emmogo lövvä?
 A kupsu sanoo:
 — Ga midäi eči, ga onnaako ei saa löydä.
 Vanhemi kolru nuorembal sanoo: «Menehäi kačo, kul kohtaa pei-
 tettih d'engati!»
 Brihačcu sanoo:
 — Lakkähäi, ižändy, koirien kel koittelemmo eččiä.
 Mendih dai löyttih ne d'engat. Kupsale ponraavihes se brihačcu,
 Kupsu kazakan pani yhtenny huondeksen kyndämäh. Se gu kyndämäh
 gu tuli, ga häkki i maata vieri. A bokki pläšii. Bokki häkil sanoo:
 — Oh uraa, uraa, gu rubiat päiväkse kyndämäh!
 Brihačcuo i kuundeli dai ižändälleh sanoo:
 — Panez bokki kyndämäh!
 Bokil gu kazakku päivän kyndi, ga illal häkki i kyzyy:
 — Midäbo sinä et pläši nygöi?
 A bokki sanoo:
 — Ohoo, opi vai sinä päivy kyndää, ga ei pläšindu mieleh tule!
 Sit kiisto loppih.
 A kupsu andoi brihačul tyttären mučoiakse.

32. [ЯЗЫК ЖИВОТНЫХ]

Остался парень сиротой. Пошел по свету, чтобы себя прокормить. Встречается ему старик. Спрашивает:
 — Куда, сынок, пошел?
 — А пошел, где бы прокормиться.
 Он говорит:
 — Открой рот.
 Парень как рот открыл, так старик и плюнул в рот. Плюнул, так парень стал всякие языки понимать. Идет парень дальше. Едет навстречу ему купец. У него три лошади. Купец спрашивает:
 — Куда, сынок, идешь?
 Он говорит:
 — Иду, чтобы прокормиться, лишь бы только себя прокормить.
 Купец говорит:
 — Не поедешь ли со мной, лошадь погонять? Я бы тебя и кормил, и поил, и придел.
 Он согласился. Отправился в путь. У купца две собаки. Остановились лошадей кормить, а собаки и заводят разговор:

«Плохо хозяин сделал, что стал тут кормить. На это место воры придут и все ограбят, лошадей заберут и самих убьют!». Парень говорит:

— Не пойти ли нам в другое место лошадей кормить, не будет ли где поудобнее?

Купец и согласился. Парень нарочно оставил ножик, хочет испытать, так ли он понял разговор собак. Отъехали они немного, распрягли лошадей и остались ночевать. Утром парень встает и говорит купцу:

— Пойду я принесу ножик, забыл на том месте, где сначала хотели отдохнуть.

Идет туда, так и есть: там кровь, и видно, что разбойники хозяйничали.

Едут дальше, до дому осталось недалеко. Собаки завели меж собой разговор. Старшая собака говорит младшей собаке: «Иди домой и подними сильный лай, чтобы разбойники не посмели идти грабить!». Пошла собака домой, а как раз воры были в доме, собака как залаяла, так воры прочь и убежали.

Приезжают домой, хозяйка пригорюнившись говорит:

— Только деньги успели украсть, больше ничего не успели, как собака прибежала домой.

Собака постарше у другой собаки спрашивает:

— А куда они деньги спрятали?

А она говорит:

— Я как за ними гналась, так на том поле кучи навоза стоят, туда спрятали.

— Ты хорошо смотрела?

— Да, хорошо смотрела, больше никуда не спрятали, как туда!

Утром встают, хозяин и хозяйка очень горюют. А парень говорит:

— Давай-ка попробуем поискать, не найдем ли?

А купец говорит:

— А сколько ни ищи, однако теперь уж не найти.

Старшая собака говорит младшей: «Поди-ка посмотри, в каком месте деньги спрятали!».

Парень говорит:

— Пойдем-ка, хозяин, с собаками, попробуем поискать.

Пошли и нашли те деньги. Купцу понравился парень. Отправил купец парня в одно утро пахать. Он как вернулся с пашни, бык сразу же лег. А баран пляшет. Баран быку говорит:

— Ох, дурак, дурак, целый день пашешь!

Парень-то послушал и говорит хозяину:

— Поставь-ка барана пахать!

На баране как пахал парень целый день, так вечером бык и спрашивает:

— Чего же ты теперь не пляшешь?

A баран отвечает:
— Ох-ох, попробуй-ка ты целый день пахать, так пляска на ум не пойдет!
Так спор кончился.
А купец дал свою дочь парню в жены.

33

On kolme vellesty, tuatat-muamat kuolluot. Kaksi on hyviä, kolmas on tuhkimus Iivan. Toizet vellet sanotah:

— Mindäh sinä ruadane et?

Häi vai spokoino päčil maguaw.

— Ni vetty et tuo, ni lat'ettu et peze, ni midä et rual

— Pidäw lähtie, — sanow, — hot'a vetty tuvva.

Meni astui järvirandah. Havgine maguaw haguon alla.

— Pidäw ottua i keittiä, syvvä kurjan kulkuh.

Hawgi sanow:

— Älägo ota vetty, älägo minuwl! Mene kodih, minä sanon sinul-
les — muga vetty tulow.

Häi kodih tulow:

— Po šutki podvorki, štobj vetty olis!

Hawgine hänel nämä sanat nevvow. Jo nowzow häi lawčal, jo nowzow orrel, jo nowzow trubah, jo on vetty ynnäh täwzi perti. Hänel juohtuw net sanat mieleh:

— Po šutki podvorki, štobj vezi iäres menis, seinät, lattiet pestä i astiet tävvet vetty jääis!

Vellet tullah kodih:

— Kačo, urai! Vetty kois ei ole, a pihal päi on seinät i pordahat pessyhl!

Tullah pertih: perti pesty, kabrastettu kai hyvin.

Menöw aigua sie mi mennöw. Vellet suwditah:

— Et tuo halguo, edgo midäl

Nygöi ottaw kaksitostu regie. Aizat pystyh nostaw, sanow:

— Po šutki podvorki, kai reit tävvet halguol

Iče istuhes jälgimäizeh regeh. Ajaw suarin ikkunan alači. Suarin tytär kirguw:

— Kačo, urai ajaw, kačo, urai ajaw!

Iivan Tuhkimus sanow:

— Po šutki podvorki, suarin tytär kohtustukkah!

Ollah-eletäh, mi aigua mennöw sie. Suari sanow:

— Mi neče kummie ollow: kaksi hengie on kaččojua, tyttärel ainos vačču kazvaw! Mi neče kummie ollow!?

Menöw kodvu aigua, suarin tytär suaw lapsen. Suari sanow:

— Pidäw kaikkii mužiko! kuččuo täh, kedä poigu kirguaw tuatokse.

Kučutah kai mužikat, ei kirgua ni kedä tuatokse. Vellet sanotah:

— Olis meil livan velli, ga päčil ni liikahtai ei, ei voi lähtie.

Suari duwmaiččow: «Ga olis ku sidä kuččuol». Händy kučutah.
Päčim očal jallat panow, sanow:

— Po šutki podvorki, tämä päčči suarin kodih!

Ajaw suarin pihah, brihaččune ikkunah hyppiäw, sanow:

— Kačo, tata ajaw, tata ajaw!

Suari ottaw da moizen pučim laittaw, kaksipiähizen. Ottaw da sinne panow brihačun, Tuhkimuksen i suarin tyttären i merel työndäw.

Merel äijy vuottu ajellah.

— Blahoslovikkua puččie potkuamah! — sanow brihačču.

— Älä potkua, keski merel olemmo, — sanow muamo.

Ajetah vägi kodvan aigua vie. Rubiew pučči randoih kolizemah.

— Nygöi blahoslovikkua, tuatoini i muamoinil!

— Nygöi blahoslovimmol!

Pučim hajottaw häi. Moine on korbi rannal, što ei mennä hiiret alači, linnut piäliči. Brihaččuine sanow:

— Po šutki podvorki, täh rodikkah suarin kodie parembi kodil!

Puwt ku ottaw viwhkuaw, kodi roih seičas ylen hyvä, parembi suarin kodie.

Ollah-eletäh mi vuottu. Heil ongo syvvä, ongo juvva, kaikkie luaduol Yksikai suarin tyttärel himoittaw nečil čural kävvä.

— Et piäze ni kuin tuane, — sanow.

Poigu sanow:

— Hy, et piäze! Hätki menöw tuane piästes! Po šutki podvorki, što olis sildu rešotkoin kel poikki meres!

Sildu rodih. Suari sanow:

— Mi neče kummie ollow! Nečil čural enne ni midä ei nägynyh, a nygöi rešotkat läikkäw! Nygöi työnän polkan saldattua kaččomah.

Menöw polku, lähenöw. Poigu kaččow ikkunah i sanow:

— Po šutki podvorki, kai saldatat mereh!

Kätty-jälgua vai viwhkaw, ku mereh mennäh.

Ollah-eletäh, kodvu aigua menöw.

— Mi neče kummu oh, ni midä viestie ei saldatois, ni mis, — sanow suari. — Mengiä vai toine polku!

Poigu op'ät' kaččow ikkunah i sanow:

— Po šutki podvorki, kai mereh!

Suari sanow:

— Tämä dielo ei hyvä. Kaksi polkua työniin saldattua, ni viestie ei tule. Nygöi otan polkan saldattua i iče lähten.

Ottaw polkan saldattua i lähtöw. Iče astuw iel, a polku jälles. Mennäh sinne. Poigu kaččow i sanow:

— Saldatat i suari vedeh!

Muamah sanow:

— O, hospodi, o hospodi! Mi tuah rahvastu pogibaiččow, minul kai žiäli on.

— On, ga ruttoh nuat juostah: po šutki podvorki, — sanow, — kai saldatat i suarigi noskah!

Sid kätty-jalgua vai viwhkaw, ku meres nostah, i suari nowzow.
Ni jällel päi ei kačottu, ku matkattih iäre. Ei nähty kodie ni midä.
Minul pohjattomal stokanal viinua, Mat'oil pluaf't'u, sinul troikku.

33. [ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ]

Было три брата, отец да мать уже умерли. Двое хороших, а третий дурак — Иван Тухтимус. Другие братья говорят:

— Почему это ты не работаешь?

А он себе спокойно на печи спит.

— Воды не принесешь, пол не вымоешь — ничего не делаешь!

— Надо пойти, — говорит, — хоть воды принести.

Пошел на берег озера. Щука под корягой лежит.

— Надо взять да сварить, съесть горемычному.

Щука говорит:

— Не бери ни воды, ни меня! Иди домой, я тебе слово скажу — будет вода.

Приходит он домой.

— По щучьему веленью, чтобы вода была!

Щука ему эти слова скавала. Вода уже поднимается до лавок, уже поднимается до воронца, уже поднимается до трубы, уже воды полная изба. Ему и пришла на ум те слова:

— По щучьему веленью — чтобы вода ушла, стены и пол были бы вымыты, а посуда полная воды!

Приходят братья домой.

— Смотри, дурак-то — воды в доме нет, а с улицы стены и крыльцо вымыты!

Приходят в избу: изба вымыта, все вычищено хорошенько.

Прошло там сколько-то времени. Братья ворчат:

— Не везешь ни дров, ничего!

Берет он двенадцать саней. Оглобли вверх поднял, говорит:

— По щучьему веленью — все сани полные дров!

Сам сел на последние сани. Едет мимо окон царя. Царская дочь кричит:

— Смотри, дурак едет, смотри, дурак едет!

Иван Тухтимус говорит:

— По щучьему веленью — пусть царская дочь забеременет!

Живут-поживают, проходит сколько-то времени. Царь говорит:

— Что за чудеса, два человека смотрят за дочерью, а у нее только знай живот растет. Что это за чудеса?!

Проходит время, царская дочь ребенка родит. Царь говорит:

— Надо всех мужиков созвать, кого мальчик назовет отцом.

Зовут всех мужиков — никого не зовет отцом. Братья говорят:

— Есть у нас брат Иван, но он с печи не сходит.

Царь раздумывает: «Позвать разве его?». Вызывает его. Он на чело печи ноги поставил, говорит:

— По щучьему веленью, эта печь [пусть едет] в царский дом!

Едет на царский двор, мальчик к окну подбегает, говорит:

— Смотри, отец едет, отец едет!

Царь берет да такую бочку ладит с двумя донцами. Сажает туда мальчика, Тухимуса и цареву дочь и в море бросает.

Много лет по морю плывут.

— Благословите, чтоб бочку пнуть! — говорит мальчик.

— Не пни, на середине моря находимся, — говорит мать.

Плывут еще довольно долго. Начинает бочка о берег колотиться.

— Теперь благословите, отец и мать!

— Теперь благословляем!

Разбивает он бочку. Такая корба на берегу, что мыши не пройдут низом, птицы не пролетят верхом. Мальчик говорит:

— По щучьему веленью, пусть здесь будет дом лучше царева дома!

Деревья сами стали валиться. Стал дом очень хороший, лучше царева дома.

Живут они сколько-то лет. Есть у них что поесть, есть что попить, всякой всячины! А все равно царевой дочери хочется на ту сторону сходить.

— Никак туда не попасть, — говорит.

Сын говорит:

— Ну, не попасть! Долго ли туда пройти! По щучьему веленью, чтоб был мост с решетками через море!

Стал мост, Царь говорит:

— Что за чудеса? В той стороне раньше ничего не было видно, а теперь решетки сверкают! Отправлю-ка полк солдат посмотреть.

Выходит полк, приближается. Сын смотрит в окно и говорит:

— По щучьему веленью — все солдаты в море!

Только руки-ноги мелькают, как солдаты в море падают.

Живут-поживают, много времени проходит.

— Что за чудо, никаких вестей от солдат нет, — говорит царь. — Идите-ка, другой полк!

Сын опять смотрит в окно и говорит:

— По щучьему веленью — все в море!

Царь говорит:

— Нехорошее это дело. Два полка солдат отправил, даже вестей нет. Возьму-ка теперь полк солдат и сам пойду.

Берет полк солдат и отправляется. Сам идет впереди, а полк зади. Приходят туда. Сын смотрит в окно и говорит:

— По щучьему веленью — солдаты и царь в воду!

Мать его говорит:

— О господи, о господи! Сколько тут народу погубил, мне прямо жалко.

— Жалко — так живо побегут, — говорит. — По щучьему веленью — пусть все солдаты и царь встанут!

Тут только руки-ноги мелькают, как из моря поднимаются, и царь поднялся. Даже назад не оглядывались, как обратно пустились. Не увидели ни дома, ничего.

Мне в стакане без дна вина дали, Матёй дали платье, тебе — тройку.

34. PEIGOI-POIGAININE

Elettih-oldih ukko da akku. Heil ei olluh poigua. Yhten kerran illal mužikku vestäw päretty, vestäjes leikkuaw sormen, peigalon. Ottaw dai päcinperäh lykkiäw. Huandeksel mužikku lähtöw pellole kyndämäh, a akku jiäw päčči lämmitämäh. Pastaw čupukkua ukole, iče pagizow: «Kačo, gu ei ole poigua, pidäw ičel mennä piiraidu vedämäh, hot' ei ole aigua, päčči pidäs lämmitiä».

A Peigoi-poigaine hänel päcin peräs otviatti:

— Viän minä piiruati!

Akku duwmaiččow: «Ken gor'a ollow?». KyzYW:

— Ken sinä olet?

Peigoi-poigaine otviattiw:

— Minä olen Peigoi-poigaine, — sanow akale, — mustat, ehtäl ižändäs vesti päretty da leikkai peigalon da päčil lykkäi. Minä siä i olen.

Akku ottaw dai panow čupukat paččahan piäle, a Peigoi-poigaine lähtöw viämäh piiraidu tuatalleh. Akku kaččow, ga piiruati lähtiättih paččahan piäs menemäh pellolepäi. Tuli Peigoi-poigaine pellole, tuatalleh sanow:

— Täs, tuatto, piiruati!

Mužikku sanow:

— Ken sinä olet?

— Minä olen Peigoi-poigaine: mustat, egläi sinä lykkäit päčile minun.

Mužikku piiruati ottaw da kaččow: pappi tulow. Mužikku sanow papile:

— Kačos, बात'ušku, mittuine kummu on: ižän ei olluh poigua, a nygöi poigu rodih, ihmečäl tavall

Pappi sanow mužikale:

— Myä minule poigul

Mužikku sanow:

— En, velli, myä, tämä poigu jo seičas avvuttaw, a myähem viä enämbän rubiaw avvuttamah.

Poigaine sanow tuatalleh:

— Myä, myä!

Pappi sanow:

— Sada rubl'ua-annan.

Poigaine silmiä išköw tuatalleh: «Myä, myä, minä suan sinul dengua ijäkse kaikeksel». Mužikku ottaw dai myäw. Pappi sada rubl'ua andaw, a poigažen panow kormanih. Poigaine sanow tuatalleh:

— Tule jälles, minä dengua lykin.

Pappi lähti astumah dorogua myä, mužikku hänel jälles. Poigaine papin kormanis olles lykii kai dengat tuatalleh. Ku kai lykii, sit kormanis meni toižeh kormanih. Papil sanow:

— Laske minuw syväinkormanih, minä tahton siä olla.

Pappi pani poigažen syväinkormanih, iče lähti astumah iälleh. Poigaine lykii kai dengat papil tuatalleh. Sit sanow tuatalleh:

— Mene nygöi kodih.

Tuattah kodih tuli, akalleh sanoi:

— Nenga i nenga, poigu tämä sai meile tävven povitkan dengua.

Akku sanoi:

— Kuibo sai?

Mužikku sanow:

— Minä möin papile suas rubl'as, a häi lykii kai papin dengat minule.

Akku da mužikku ruvettih elämäh bohatannu.

Peigoi-poigaine meni papin taloih yäl. Kazakat da kuharkat toraitti, iče meni vastan alle čuppuh. Huandeksel kuharkat nostih, pyhkittih perti, a topat lykättih tanhual, sinne lykätäh i Peigoi-poigaine. Tanhual Peigoi-poigaine puutui lehmäle syädäväkse. Lehmy syäw Peigoi-poigažen. Peigoi-poigaine menöw lehmäle vaččah. Huandeksel tullah kuharkat lehmii lypsämäh. Opitah lypsiä, ga lehmän n'ännis kuwluw iäni:

— Älä jo täs viä, siä on minun jalgul

Toižes oppiw, ga siä toine jalgu, kolmandes — piä, nel'ändes käzi. Kuharkat viätäh viästi papile, sanotah:

— N'ännit paištah!

Pappi tuli, ga mugai on! Pappi sanow:

— Pidäw lehmy iškiä da kaččua, ken siä on.

Lehmy iškiätäh, ga siä ei ole ni kedä. Papil lehmy meni. Peigoi-poigaine pageni iäre da meni tuattah lua.

Mužikku da akku ruvettih elämäh poijanke.

34. МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК

Жили-были муж да жена. У них не было сына. Однажды вечером мужик щепал лучину, щепал и палец отрубил, большой палец. Взял да за печку и бросил. Утром мужик уходит на поле пахать, а жена остается печку топить. Печет мужу, сама говорит: «Смотри, как нету сына, так надо самой идти пироги отнести, хоть и времени нет, печку бы надо дотопить».

А Мальчик-с-пальчик ей из-за печки и отвечает:

— Отнесу я пироги!

Хозяйка думает: «Кто это там?», спрашивает:

— Кто ты?

Мальчик-с-пальчик отвечает:

— Я Мальчик-с-пальчик, — говорит хозяйке, — помнишь, вечером хозяин щепал лучину и отрубил большой палец да за печку бросил. Я тут и есть.

Хозяйка берет и ставит пироги на воронец, а Мальчик-с-пальчик идет отнести пироги отцу. Женщина смотрит: как будто пироги сами пошли с полочки в поле. Приходит Мальчик-с-пальчик на поле, отцу говорит:

— Вот, отец, пироги!

Мужик говорит:

— Кто ты?

— Я Мальчик-с-пальчик, помнишь, ты вчера бросил меня на печку?

Мужик пироги берет, смотрит — поп идет. Мужик говорит попу:

— Смотри-ка, батюшка, какое чудо, век не было сына, а теперь сын родился, чудесным образом!

Поп говорит мужику:

— Продай мне сына!

Мужик говорит:

— Нет, братец, не продам, этот сын уже сейчас помогает, после еще больше будет помогать.

Сын говорит отцу:

— Продай, продай!

Поп говорит:

— Сто рублей дам.

Сын подмигивает отцу: «Продай, продай, я добуду тебе денег на всю жизнь!». Мужик взял и продал. Поп сто рублей дает, а мальчишка кладет в карман. Мальчик говорит отцу:

— Иди следом, я денег набросаю!

Поп идет по дороге, мужик за ним следом. Мальчик-с-пальчик из поповского кармана выбросил все деньги отцу. Все как повыбросал, потом из кармана перешел в другой карман. Попу говорит:

— Пусти меня во внутренний карман, я хочу там побыть.

Поп положил его во внутренний карман, сам пошел дальше. Мальчик выбросил у попа все деньги отцу. Потом говорит отцу:

— Иди теперь домой.

Отец домой приходит, жене говорит:

— Так и так, этот мальчик достал нам полный подол денег.

Жена говорит:

— А как достал?

Мужик говорит:

— Я продал его попу за сто рублей, а он повыбросал все деньги попу мне.

Жена и муж стали жить богато.

Мальчик-с-пальчик пришел в поповский дом ночью. Работников и кухарок заставил драться, сам спрятался под веник. Утром кухарки встали, подмели полы, а мусор выбросили на сарай, туда

выбросили и Мальчика-с-пальчика. С сарая он попадает на съедение корове. Корова съедает Мальчика-с-пальчика. Мальчик-с-пальчик попадает корове в желудок. Утром приходят кухарки коров доить. Пробуют доить, а из вымени слышится голос:

— Не тяни за эту, там моя нога!

За другую пытается — так там вторая нога, в третьей — голова, в четвертой — рука. Кухарки рассказывают попу, говорят:

— Вымя говорит.

Поп приходит — так и есть. Поп говорит:

— Надо корову зарезать и посмотреть, кто там.

Корову закололи, а там ничего. У попа корова пропала. Мальчик-с-пальчик убежал к отцу.

Муж и жена стали жить с сыном.

35. PEIGOI-POIGAINÉ

Eletäh enne vahnas ukko da akku. Heile ei rodei lastu. Nu vot, hyvä-horošo, mužikal peigoi i leikkavui poikki. Häin sen otti da päčín peräh lykkäi. Huondeksel häi lähtöw aijoi kyndämäh. Akku hänen syötti i šuoriemah rubei. A päčín peräs loadi paginan:

— Tata, ota minuw kyndämäh!

Ižä sanow:

— Ken sie olet päčín peräs, taričettos kyndämäh i kirrut tatakse?

Sanow:

— Minä olen sinun poigu: peigoim leikkait, päčín peräh lykkäit, i rodih peigois poigu.

Nu, hyvä-horošo, ižä sie ottaw päčín peräs — muga i on ristikanzu da piēni. Häin i tariččeh kyndämäh. Ižä sanow:

— En jo ota kyndämäh, viegu rodittos nengoine ihastus!

Vot häi tariččih, tariččih, dai ižä otti händy kaččomah pelloi. Pien-darel istutti. Ižä kyndi vähäzen, ga sanow:

— Tatin'ka, anna opin minä kyndeä!

Toattah i andoi, adran pieluksel istuihes i davaj heboa ajamah.

Vot enne vahnas papit sie kylvetti. I lähtöw yksi pappi kaččomah iččeh kylvettyw. Astuw i kaččow — Peigoi-poigaine adran pieluksel istuw da kyndäw.

— Ongo čuwdo da diivu, — sanow häin, — ku nengoine mies kyndeä voibil!

Ižä sid istui piendarel, poigu sih ajoj i pappi sih tuli. Pappi rubei hänelleh poigoa ostamah. Sanow:

— Myö poigul!

— En, — sanow, — myö, ižäs poigoa ei olluh i nygöi rodiihes aino-poigu, sidä en myö.

Pappi ni lähtie ei voi eāres, muga ostelow, a ižä ei myö. D'älgimäi poigu sanow:

— Myö ielleh, roimmos minä sinun!

Nu vot, hyvä-horošo, torguittihes, torguittihes, d'älgimäi i myöw poijan kolmes sadas. Pappi hänen osti, kodih toi, ylen hyvin pidäw, ikkunallistuttelow, ku on pieni, hoßjazel torelkal azettaw. Muga häin i pidäw talveh sah. Talvi ku roih, häin yön aijal lähtöw i menöw saroal olgikuboh peittoh. Käskyläine huondeksel nowzow i menow lehmil syvvä andamah. Parahikse ugodiw sen kuvon andoa lehmile. Papit nostah magoamas, ga poigoa ei ole. Sid otetah, täs otetah — ga poigoa ei ole! Nu vot, hyvä-horošo, poigu ni kus ei lövvy. Käskyläine meni tanhuoh lehmii lypsämäh. Rubei lypsämäh, ga lehmäl vačas pagizow:

Olin enne toatoin kois,
Olin enne moamoin kois,
Olin enne papin kois,
Olin ennen olgikuvos,
Nygöi olen lehmän vačas.

Käskyläine juoksow perttih, sanow:

— Mibo čuwdo rodih, nenga i nenga: lehmäl vačas pagizow!

Häi ku papil sanow, pappi i lehmän išköw, ruvetah poigoa eččimäh. Ečitäh, ga löwtä ni midä ei. Lehmäl peä leikatah. Sih ugodiw koalikkukku i häi pakiččow lihoa. Hyö otetah da annetah lehmän peä, muwdu lihoa ei anneta. Koalikku kaššalih panow, lähtöw dorogoa myö astumah kylävälii. Hänen kaššalis op'at' i rubiew lugemah:

Olin enne toatoin kois,
Olin enne moamoin kois,
Olin enne papin kois,
Olin enne lehmäl vačas,
Nygöi olen koalikal kaššalis.

Koalikku i duwmaiččow, što «eäre lykkeän, mi neče čuwdploi on». Otti dai lykkäi dorogal lehmän peän, iče lähti ielleh astumah.

Tuli hukku mečas päi i söi sen peän. Häin op'at' rubei lugemah hukal vačas endizelleh:

Olin enne toatoin kois,
Olin enne moamoin kois,
Olin enne papin kois,
Olin ennen olgikuvos,
Olin enne lehmäl vačas,
Olin enne koalikal kaššalis,
Nygöi olen hukal vačas.

Hukku i kyzyw:

— Jogo peästän eäreh?

— Älä peästä, vie toatoin pihah.

— Jogo peästän?

— Älä peästä viel Soata toatoin saroal.

Dai häi soatoi saroal i peästi. Poigu i kirgai toatan, sanow:

— Hukan sain!

Toattah tuli dai tapettih se hukku. (Näit sinä, kolmesadoa dengoa sat poijas dai hukan sail!) Sid roadostis azuttih gostitus, rahvastu oli ylen äijy. Vie minä sie olin. Bulkoa söin tävven vačan, yksi bulku vie d'äi, enämbi en voinnuh syvvä.

Vie tänäpäi on vačcu täwzi sidä pereä.

35. МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК

Живут в старину муж и жена. Детей у них не было. Ну вот, добро-хорошо, мужику отрезало большой палец на руке. Он его взял и бросил на печь. Утром рано он собрался пахать. Жена его накормила, и стал он собираться. А с печи голос слышался:

— Отец, возьми меня пахать!

Отец говорит:

— Кто ты там на печи, просишься пахать и отцом зовешь?

Говорит:

— Я твой сын: ты большой палец отрезал, на печь бросил, вот и вышел из пальца сын.

Ну добро-хорошо, отец берет его с печи — так и есть, маленький человек. Он и просился пахать. Отец говорит:

— Не возьму уж пахать, раз такая радость случилась!

Вот он просился, просился, отец и взял его на поле смотреть. Посадил на межу. Отец попахал немного, говорит [сын]:

— Тятенька, дай я попробую пахать!

Отец и дал, [сын] на рогаль сохи сел и давай лошадь погонять.

Вот в старину там попы сеяли. И отправляется один поп смотреть поле, им самим засеянное. Идет и видит — Мальчик-с-пальчик на рогале сидит и пашет.

— Вот чудо-диво, — говорит он, — такой человек пахать может!

Отец сидел на меже, сын подъехал, и поп тут подошел. Поп стал у него сына покупать. Говорит:

— Продай сына!

— Нет, — говорит, — не продам, во век сына не было и теперь появился единственный сын, не продам его.

Поп не может уйти, все просит продать, а отец не продает. Наконец сын говорит:

— Продай, я снова буду твой!

Ну вот, добро-хорошо, торговались, торговались, под конец продает сына за триста рублей. Поп его купил, домой принес, очень хорошо с ним обращается, сажает на окно, потому что маленький, на серебряное блюдо ставит. Так он его и держит до зимы. Зима когда настала, он [Мальчик-с-пальчик] ночью выходит и идет на сарай, прячется в тукаче соломы. Работница утром встает и идет дать коровам корм. Как раз случилось ей тот тукач дать коровам. Поп и попадья встают, а сына уже и нет.

Тут ищут, там ищут — нет сына! Ну вот, добро-хорошо, сына нигде не находят. Работница пошла во двор коров доить. Стала доить, а в животе у коровы разговаривает:

Был раньше в отцовском доме,
Был раньше в доме матери,
Был раньше в поповском доме,
Был раньше в снопе соломы,
Теперь я в животе коровы.

Работница бежит в избу, говорит:

— Что за чудо случилось, так и так: у коровы в животе разговаривает!

Она как попу сказала, поп корову и режет, начинает сына искать. Ищут, но ничего не находят. У коровы голову отрезают. Тут случилась старуха-калика, и она просит мяса. Они и дают коровью голову, другого мяса не дали. Калика в кошель положила, идет по дороге в другую деревню. В ее кошель опять и заговорило:

Был раньше в отцовском доме,
Был раньше в доме матери,
Был раньше в поповском доме,
Был раньше в животе коровы,
Теперь я в кошель калики.

Калика и подумала, что «выброшу, что это за чудо такое». Взяла и бросила на дорогу коровью голову, а сама пошла дальше.

Пришел волк на лесу и съел ту голову. Он [Мальчик-с-пальчик] опять так же заговорил в животе волка:

Был раньше в отцовском доме,
Был раньше в доме матери,
Был раньше в поповском доме,
Был раньше в снопе соломы,
Был раньше в животе коровы,
Был раньше в кошель калики,
Теперь я у волка в животе.

Волк и спрашивает:

— Выпустить ли уже?

— Не выпускай, отнеси в отцовский двор.

И доставил в отцовский двор.

— Выпущу ли уже?

— Не выпускай еще! Доставь на отцовский сарай.

И он [волк] доставил на сарай и выпустил. Сын и кликнул отца, говорит:

— Волка поймал!

Отец пришел, и убили этого волка. (Видишь ты, триста денег получил за сына да еще волка!) С этой радости устроили уго-

цение, народу было очень много. И я там был. Досыта поел булки, одна булка еще осталась, не мог больше съесть. Еще и сегодня живот полон.

No el'et't'ii uk da ak. Oli heil poig hyvä, hyvä, hyvä briha, semmoine krasaviča, krasavčik što. Nu i läht'ii naimaa, naittamaa. Läht'ii, mänd'ii, naitet't'ii. Ajetaa peäliči d'arves, kn'aginan ker. A kn'agin ottaw da lykäldaw kol'čaižen vedee: «Kuni t'äd'ä vai en suanne kol'čaišta, šigä štob ni keine en pagiziš. Šigä miehel olles». Ni i tul'd'ii, ga kn'agin hyvä, briha hyvä. Ei pagize ni mid'ä. Ni mid'ä ei pagize. Matuska sie, bat'uška kai sumlijuče, što nemijän ot'timme. A ni kui ei šigä pagize, hot' šidä d'alomb. No i matuska t'yöndää:

— Mäne, — sanow, — puustaa meččää, n'engomaa kohtaa, keriče lambahid!

No hän i lähtöw. Keričemed andoi, burakoižen andoi. Menöw, tulow starikaine vastaa:

— Kuna sa, nuori mučoihut, läksid?

— A vot n'enga i n'enga, — sanow, — läksiin, mamoi t'yönz mindai lambahit keričemmää.

— Ei d'o šindai, — sanow, — t'yöndännyh lambahit keričemmää, šindää t'yönz hukile šyödäväkä. Vot, mänet, — sanow, — tuldaa tobd'at puut, nouze puuh, a burakoihe da keričemet pane puun ale. Tulow, — sanow, — kahteksa hukkad. Sa sano, što «hukkaižet, kerikättee, kerikät toini tošt dai mängätte iäre!».

No hän mugai ruadoi. Mäni šigä, puut tul'd'ii tobd'at, nouš puuh, keričemet, burakoižen pani puun ale. Tulow kahteksa hukkad, suud avoia. No.

— Oi hukkaižed, hukkaižed, kerikät toini tošt da mängätte iäre!

Hyö kerittii, kerittii kaikin dai läht'ii. No hän laskežow, burakoižen villoid'en ker ottaw, keričemed dai tulow kodii dai andaw maatuskale.

— Händy hot' kuna t'yöndä, ga ni kuga ei ole, — sanow, — hällää surmuu!

No tošpäivän myöstei t'yöndaw.

— Vot mäne myöste sil že kohtal, mäne keriče myöste lambahid!

No läks myöstei. Matkadaw lambahid keričemmää. Ka tulow starikaine vastaa, se že starikaine:

— Kuna, — sanow, — nuori mučoihut, läksid?

— Läksiin, mindai mamoi t'yönz lambahid keričemmää.

— Ei šinda lambahid keričemmää, šinda kon'd'ijoile t'yön'd'il Vot mänet, nowzet puuh, burakoihe pane, keričemmed puun ale. Vot tuldaa, — sanow, — kahteksa kon'd'ijad. I sano, što «kerikät, kerikät toine tošt da mängätte iäre!».

No hän mugai ruadoi. Mäni, tul'd'ii tobd'at puut, suores koht, dai nowzi puuh, burakoižen pani. Tuldaa kahteksa kon'd'ijod:

— Kon'd'ijažet, kon'd'ijažet, kerikät toine tošt da mängätte iärel
Hyö keričii, keričii da kaikin iäre i läht'ii.
Häi myösten laskiye puuspäi, burakoižen villoid'en ker ot't', kerič-
čemed dai tulow. Myöste matuš kale i andaw. A pagiže ei.

— Et, — sanow, — piäze t'äs ni mit'e, et piäze t'äs!

Vie mid'ä luadida:

— Vot, — sanow, — meren randal minun sizar' el'äw. Mäne, — sa-
now, — kyzy, hällää on rawdaine bird. Mäne kyzy hällää, tuo rawdaine
bird!

Šin'n'a t'yöndäw pahale šyödäväks, Jagibuaballuo.

No, häni läks läks ka, mäni, mäni, ka tulow pertiin'e. Mänow
pert'iizeh.

— Kuna sa läksid, nuori mučoihut?

— A vot läksiin, mindai mamoi t'yönz meren randal hänen sizär
eläw, t'yönz birdat kyžymää, tuomaa raudašt birdat.

— Ei, — sanow, — šindai, linduine, työndänny raudašt birdat tuo-
maa. Šindai t'yönz, — sanow, — moižele sie Jagibuabale, vai mi on,
šin'n'a šyödäväks.

Nu, hän andoi hälle kalad i, lihad i, suurind i, hard'an andoi,
d'aičän andoi. T'yöndytäw händää. No i mäni, mäni, mäni, ka tulow
meren randal, d'o pert'iine tulow. Mänow pert'iizee. Paha ištuw rundu-
gal, vorončal, d'algal humbariš, kangast kudow:

— Fu, fu, rus'koi duuhu, tuli rus'koidu duuhuul

— Elä, t'otoi, furskai ni, ozuta, t'äzgi minun mamoin sizär eläw?

— T'äz!

No t'ässä eläw ka...

— Vot, — sanow, — ma lähten halgod halgaidan, sa milei lämbitä
kylä!

Nu häi kilyd lämbitämää. Lähtöw halgod luadimaa. Keričemed d'o
andoi(?). Hän ot't' kangahan leiž da birdan ot't' da läks. Ot't' birdan,
ka ukš rid'žaidaw ka hän ukšel andoi d'oktit, voižaldi ka, no. Kaži
n'awguw, kažil andoi kalad. Koira hawkkuw, koiral andoi lihad.

No i piäz n'amiz. Nu ku mäni, ku hospodi, tulow tiheid tiheid mečč,
a hän d'algei ajaw händää. Ed loittoza piäzel No ka et piäze, da min
ze luadid. Hard'an lykkäž. Šiih lienöw sen tihed mečč, ka ei voi ni mit'e
ni kele tungezeda. Nu i kuni hän neče n'engomas tihežikos ga... Hän
i uidiw, ainoi uidiw, ainoi uidiw. No. D'aičän lykkäž, rodihe kal'moine.
Ei voi ni mit'e nosta. Semmoine krutji da suored. No. D'oi tuli, tuli.
Tuli d'o d'ogen randal. Tuli d'ogen randale ka, d'ogi pagedaw. «Mit'e
nygöi piäzen t'äz d'ogešt? Oli, — sanow, — milai mamoi anttu pridan-
jaks skuatert', ma ištuzen skuatert'ile da skuatert'il i, — sanow, — mänen
piäliče». Nu skuatert'il ištuihe i piäliče d'ogešt i proidi. Proidii piäliče
d'ogešt dai tulow. Tulow, ka d'o uk hänen, ženih se, d'o nai, Jagibuaban
ker. Jagibuaban t'yt'är stolan tagan ištutaa. No. Ka händää matuška
sie zastavii heile šiid koje midä abutada, šyöttädä da d'uottada.

A hän aino vaikkaine, a ei ni midä sano. A ku vie kala oli, rubei
šit kalat puhkaudamaa. Matuška andoi kalat puhkaida. Kalat puhkai-

damaa kui rubeš, ka kalal suuz oli hänen kol'čaine. Hän i kol'čaižen suai. No, kun kol'čaižen suai, ka hän rubež d'oi pagizemaa. Midägi ku rubež, matuška sanoi:

— Liharokkupada, — sanow, — nosta, da pane liharokkupada rahvahale stolal!

A hällää šulkkuni perednik edes. Šulkkuižel perednikäl nostaw. A Jagibuaban t'yt'är sanow, kn'agin:

— Vot, — sanow, — sa liharokkupadan nostat, — sanow, — šulkkuižel perednikäl, a ma stolan taga ištun, ka ewle ed'ei midä panda!

Hän sanow:

— Da sa oled umni da hyvä! Vaste stolan taga ištut, — sanow, — da n'äge, d'o kačut riideldä da pagišta. A ma kolme vuottu elin, — sanow, — ka en ruohtinu ni kelle sanat sanuda!

No, da sid Jagibuaban t'yt'ärd iäre, a se ne molodoit, postrečai-jaheze.

Da siid enämbäd ewle.

36. [НЕМАЯ ЖЕНА]

Ну, жили муж да жена. Был у них сын хороший, хороший. хороший парень, такой красавец, красивый, что... Ну и поехали жениться, свататься. Едут. Приехали и поженили. Едут [обратно] по озеру с невестой. А невеста взяла и бросила кольцо в воду: «Пока не достану это колечко, до тех пор чтоб ни с кем не разговаривала там, в доме мужа». Ну и приезжают, а невеста хорошая, парень хороший. Не говорит ничего. Ничего не говорит. Матушка и батюшка сомневаются, что немую взяли. А никак здесь не говорит, хоть что делай. Ну, матушка и посылает:

— Иди, — говорит, — в глухой лес, в такое-то место, постриги овец.

Ну, она и идет. Ножницы дала, бурачок дала. Идет, попадает навстречу старичок:

— Куда, молодушка, пошла?

— А вот так и так, — говорит, — пошла, матушка отправила меня овец стричь.

— Не овец стричь отправила она тебя, а отправила волкам на съедение. Вот, пойдешь, — говорит, — дойдешь до больших деревьев, поднимись на дерево, а бурачок да ножницы оставь под деревом. Придет, — говорит, — восемь волков. Ты скажи, что «волки добрые, постригитесь, постригите друг друга и уходите прочь».

Ну, она так и сделала. Идет, попадают большие деревья, поднялась на дерево, ножницы, бурачок положила под дерево. Приходят восемь волков, пасти раскрыты. Ну.

— Ой волки добрые, постригите друг друга и уходите прочь.

Они постриглись, постриглись все да ушли. Ну, она спускается, бурачок с шерстью берет, ножницы, приходит домой и отдает матушке.

— Нет, — говорит, — ее хоть куда пошли, так нигде нет, — говорит, — ей смерти.

Ну, на следующий день опять и посылает.

— Вот пойди опять на то же место, поди постриги снова овец.

Ну, пошла опять. Идет овец стричь. И идет старичок навстречу, тот же старичок.

— Куда, — говорит, — молодушка, идешь?

— Иду, меня матушка послала овец стричь.

— Нет, не овец стричь, а тебя к медведям отправили. Вот придеешь, поднимеешься на дерево, бурачок положи, ножницы, под дерево. Вот придет, — говорит, — восемь медведей. И скажи, что постригите, постригите друг друга и уходите прочь.

Ну, она так и сделала. Приходит, стоят большие деревья, островком таким, поднялась на дерево, бурачок положила. Приходят восемь медведей:

— Медведюшки, медведюшки, постригите друг друга и уходите прочь.

Они постриглись, постриглись, да все и ушли прочь.

Она опять с дерева спустилась, бурачок с шерстью взяла, ножницы и приходит [домой]. Так же отдает матушке. А ничего не говорит.

— Не избавишься, — говорит, — от этой никак, не избавишься от нее!

Вот что еще придумала:

— Вот, — говорит, — на берегу моря живет моя сестра. Сходи, — говорит, — попроси, у нее есть железное бердо. Сходи попроси у нее, принеси железное бердо.

Туда отправляет к нечистым на съедение, к Яге-бабе. Ну, она и пошла. Пошла, идет, идет и подходит к избушке. Заходит в избушку.

— Куда ты идешь, молодушка?

— А вот пошла, меня матушка послала на берег моря, попросить бердо, принести железное бердо.

— Нет, — говорит, — тебя, голубушка, не за железным бердом отправила. Тебя отправила, — говорит, — к той Яге-бабе, или к кому еще там, туда на съедение.

Ну, он дал ей рыбы, мяса, крупы, щетку дал, яйцо дал. Направляет ее. Ну и пошла, шла, шла и приходит на берег моря, уже и избушка видна. Заходит в избушку. Ведьма сидит на рундуке, ноги в ступе, холст ткет.

— Фу, фу, русский дух, пришел русский дух.

— Не фыркай, тетушка, скажи, здесь ли моей матушки сестра живет?

— Здесь.

Ну, коли тут живет, так...

— Вот, — говорит, — я пойду дров наколю, а ты мне баню истопи.

Ну, она баню топить. Ушла [баба Яга] дрова колоть. Ножицы уже отдала. Она взяла холст разрезала, бердо взяла да и пошла. Взяла бердо, а дверь заскрипела, так она дверь помазала дегтем. Ну. Кошка мяукает, дала кошке рыбы. Собака лает, дала собаке мяса.

Ну и ушла от них. Как идет, так встречается, господи, до чего густой, непроходимый лес, а она [баба Яга] следом за ней гонится. Не уйдешь далеко. Но раз не уйдешь, так что же сделаешь. Щетку бросила. Вырос такой густой лес, что никому никак не пролезть. Ну и пока она через эту чащу пробирается, так... Она [женщина] и ушла, все уходит, все уходит. Ну, яйцо бросила, встала скала. Нельзя никак вскарабкаться. Такая крутая да гладкая. Ну. Идет, идет. Приходит к реке. Приходит на берег реки, а река убегает. «Как теперь перейду эту речку?» — говорит. — У меня скатерть, матерью дана на приданое, сяду я на скатерть да на скатерти, — говорит, — перейду через реку». Ну, на скатерть села да через реку и перешла. Перешла через реку и приходит. Приходит, так уже муж ее, жених тот, уже женится на дочери Яги-бабы. Дочь Яги-бабы сидит за столом. Ну. А матушка заставляет ее кое-что помочь тут, кормить да поить.

А она все молчком, ничего не говорит. А там еще рыба была, стала она эту рыбу чистить. Матушка дала ей рыбу вычистить. Рыбу чистить как стала, так у рыбы во рту оказалось ее колечко. Она-кольцо и достала. Ну, кольцо как достала, так она стала уже и разговаривать. Кое-что тут делает, матушка говорит:

— Чугун с мясной похлебкой, — говорит, — сними и поставь людям на стол, чугун с мясной похлебкой!

А у нее шелковый передник. Шелковым передником несет. А дочь Яги-бабы говорит, эта невеста:

— Вот, — говорит, — ты чугун с похлебкой несешь, — говорит, — шелковым передником, а я за столом сижу и нечего мне надеть.

Она говорит:

— А ты больно умная да хорошая. Только еще за столом сидишь, — говорит, — да того и глядишь, как бы поговорить да поругаться. А я три года жила, — говорит, — так не смела слова вымолвить.

Ну и потом дочь Яги-бабы прогнали, а эти молодые снова со-единились.

Вот, больше нет.

Oli enne sie ukko da akku. Elettih oldih hyö i heile rodih kaikkiedah kaksi lastu, tytär da poigu. Ukko da akku kuoltih, tyttö jäi kaheksatostu vuodine, a poigu jäi seiççetostu vuodine. Hyö, velli da sizar, elettih kaksi vuotta kahte. Velleh sanow:

— Hoi sizär, minul pidäw naija.

Sizäreh sanow:

— A enne naindua osta minul mašin, minä rubien ombelemah sobua.

Dai velleh ostaw mašinan i sanow sizärelleh:

— Täl mašinal sinä älä rubie prostoidu sobua ombelmah, a ombele vai šulkuw.

Sizäreh ku on vahmembi, ga i sanow vellel:

— Sinä rubie meččäh käwmäh.

A sizäreh oli ylen ozakaz, i velleh händy kuwndeli.

Dai häi naihi Syvätterien akan tyttäres. Velli sizären panow yhek-sändeh jatuažah šulkuw ombelemah. Huondeksil meččäh lähties aivin menöw sizäreh luo blahoslovenijal, sanow:

— Blahoslovi minu, sizär, meččuimah.

Häin sanow:

— Spuassu blahoslovikkah.

A mučoi rodih paha mieles, mikse kävyw sizäreh luo blahosloven'nal. Häi ottaw enzi piän tanhuos kuvves lambahas parahan lambahan tappaw. Tulow vai ukkoh kodih, ga mučoi sanow:

— Voit mennä sizäres luo blahosloven'nal, kuvves lambahas parahan tapoi!

A ukkoh vastai:

— Tapoi ga tappakkah, tänäpäi ku kaksi sain ga!

Lähtöw toizen piän velli meččuimah i opad'i menöw sizäreh luo blahosloven'nal, sanow:

— Blahoslovi minu, sizär, meččuimah.

Häi sanow:

— Spuassu blahoslovikkah.

Mučoi on moine paha mieles i häi ottaw kuvves lehmäs parahan tappaw. Ilal juoksow jo pordahil vastah, sanow:

— Voit mennä sizäres luo blahosloven'nal, tänäpäi kuvves lehmäs parahan tapoi.

Velli ei suwtu, sanow:

— Tapoi, ga tappakkah, kaksi ku sain tänäpäi ga.

Kolmandennu piän menöw blahosloven'nal, sanow:

— Blahoslovi minu, sizär, tänäpäigi meččuimah.

Sizär blahoslovi. A heil on tuatas d'iannyh uveh kaheksakezäne. Mučoi kolmandennu piän ottaw dai tappaw sen ubehen. Ilal'itkumädžyn kel juoksow ukol vastah, sanow:

— Voit mennä sizäres luo blahosloven'nal, tänäpäi ubehen tapoi.

Velli ei suwtunuh yksikai, vai sen burahtih:

— Tuli tai hänelleh.

Nelländenny piän opadi menöw velleh sizärelluo blahosloven'n'al. A mečas sie suaw häi mene tiid'e mih tuhanzi. Nelländenny piän mučoi ottaw da lapsen vaččah tappaw, a iče lattiel riemistäh virumah. Tulow kodih ukkoh, ga häi sanow:

— Voit mennä blahosloven'n'al sizäres luo, vaččah lapsen tapoi dai iče olen kuolemas.

Vellel rodih moine paha mieles, stuwlal istuvui i duwmaiččow, midä nygöi ruadua? Häi ottaw t'omnoih koriettah hevon val'tastaw. Menöw sinne yläh sizärellyö, sanow:

— Šuorie nygöi, sizär, šuoriel

— Kunnebo, velli-rukku, nygöi minun otat t'omnoil korietal, minul šulkut dai kai tähgo levälleh d'iah?

Dai istuttaw sizären t'omnoih koriettah i lähtietäh. Häi ajaw hevol gluhoih korbeh. Ottaw i sizärel polvien kavoti jallat katkuaw i kynäbrykeien kavoti käit katkuaw. Lykkiäw sizären sinne gluhoih korbeh, iče kodih ajaw. Sih jäi verdy hänen kázis da jallois. Sizäreh sie itköw viet i veret, piäze ni kunne ei. Kolme golubkua sih tulow hänen veril. Yksi golubka luadiw paginan, sanow:

— Älä itke sinä, naine armas, a mene suarin poijan saduh!

Neidine se on moine nähtä čoma, ga ei sua sanoil sanuo, ni virzil vediä. Nu häi vieröw, vieröw suarin poijan saduh. Yhten piän häi sie marjazen i otti savus. Suarin poigu tulow saduh, šavindeleh, sanow:

— Nu mi neče čuwdo, ku marjane kadoi, saduh ni kedä ei käwnyh.

Tossu piän suarin poigu ottaw, zapiskaizen kirjuttaw: «Ku ollet vahnembi, diävei — otan muamakse, a ku ollet iččen igähine naine, ga otan libo mučoiakse libo sizärekse».

Häi tossu piän sie savus vieröw i ottaw vie juablokkazen i lugow zapiakazen. Kolmandennu piän suarin poigu kaiken luadustu syömisty varustaw stolal savus i kirjuttaw: «Ole miittuine tahto, nygöi tulow diäviekse». Häi vastah kirjuttaw: «Olen ristikanzu, ga ei ole kázii da jalgoi». Suarin poigu duwmaiččow, nygöi tulow, i jättäw škuapan ukxen avoi. Hrustal'noi škuappu on. Häi nelländen piän vieröw, vieröw i istuh stolah. Stolas syöw, d'uow i menöw hrustal'noih škuappah i škuapan ukxen panow salbah. Suarin poigu kävelöw, viheldelöw i sanow: «Nu mi neče čuwdo, syömizii syöw, d'uow, diävei ei». Neidine se škuappua i lekahuttaw vähäzel.

Kolme kuwdu suarin poigu syöttäw. Avuaw škuapan ukxen, ga moine on hyvä da čoma neidine, ei sua ni silmie ottua, vai ei ole kázii da d'algoi. Dai hyö tunnustetahes i häi ottaw neidizen mučoiakse. Kuwdu kolme sie pidäw škuapas, syöttäw, ei työnä ni kunne. Jo yhtyttih dai kai, a suari ei tiije, što on poiial mučoi. Kaččow suari, ei poigu syö, eigo d'uo, aivin laihtuw, ei ole dielot hyvin. Hänel d'ongoi mučoi kohtustu, suarin poigu hänen snimaiččow, ottaw kartočkan hänes, tuatalleh i sanow: «Nygöi, tuatto, minä tahton naija, sidä i laihtun. Nygöi työnä d'oga sarstvah lakeit, snimaiččemah rahvahii, neidizii, mengäh eluo mi tahto, siid minä mučoin valličen».

Kuw-toine menöw, tullah lakeit i tuvvah tuhanzii kartočkoi. Kaččow suari dai sarevna niidy kartočkoi, dai poigu kaččow. Saarín poigu ottaw oman kartočkan kormanis i heittäw niijen keskeh. Suari i kogo hiän heimokundu miellytäh sih kartočkah, a nähtä vie ei sidä nastu. Poigu sanow: «Blahoslovi, muamo, minä nygöi tämän otan mučoiakse, olgah lähil-loitton».

Suari, konečno, poijan sanua ei ylimieli i andoi blahosloven' n'an ottua. Dai ottaw suarin poigu sen neidizen mučoiakse, a se d'o on mahan kel. Vai nai bi suarin poigu dai hänel tulow sročnoi pakiettu, što tulla hänel pidäw voinil. Dai suarin poigu lähtöw voinil voiskan kel. Händäh työtäh, kaimatah. Kuw aigua menöw i mučoi sai lapsen. Hänel työtäh kirjane, što mučoi sai lapsen, poijan: päiväine piälakal pastattaw, kuw-damane očal kumoittaw i joga tukan ladvas tiähtyöt on. Annetah kirjane počta'jonal viijä suarin poijal. A počtan talui (tiijät) oli jo mužikku vahnu. Astuw, astuw i ezmäzeh kyläh yökse rubiew. Taloih yökse pyrgiw ga emändy kyzyw:

— Yökse laskemmo, ga kunnebo olet menemäs?

— Menen, — sanow, — suarin poijal kirjastu viemäh, mučoi poijan sai.

I ugodih kakras starikkaine vellän taloih yökse. Taloin emändäl on kyly lämmitetty. Häi sanow:

— Etgo, d'ad'a, mene kylyh?

Starikkane kylyh lähtöw, neveskäh se počtan avuaw i lugow kirjazen. Kirjazen lugow i sen revittäw, uvven sijah kirjuttaw: «Eigo ole počči, eigo počin poigu, moizen poijan sai mučois». Suarin poigu vastah kirjuttaw: «Olgah miitune tahto, olgah minun tulendah sah siit».

Tulles starikkaine tulow sih samah taloih yökse. Opad' on kylän lämmitännih, sanow: «Mene, d'ad'a-rukku, matkas tulduw kylvetä d'algoi». Iče ottaw, kirjazen revittäw, uvven sijah panow: «Ni yödy, ni päiviä ei pidiä siit. Panna kaksipiähizeh puččih muamo i poigu i työndia merel».

Suaril da sarewnal ylen on igävy heidy sinne panna puččih, no ylimielle poijan sanua ei voija i pannah sinne puččih kuvvekse nedälii produktua. Kirjazel on: «Ni yödy, ni päiviä ei pidiä», a hyö jo kaksi n'edälii kerätäh heidy, ei voija erota, moine heilä on žieli bunukkua da neveskiä. Dai työttih heidy pučis merdy myö matkuamah.

Hyö matkatah, matkatah merdy myö kuwzi n'edälii. Brihaččune sanow:

— D'ogo, muamoini, potkastammos?

Sanow:

— Alä, poigani potkastai, ku emmo ole vie keskimerell

Rubiew jo pučči kivi kolahtamahez:

— D'ogo nygöi, muamo, potkastammos?

— Potkastai, nygöi, poigu.

Brihaččuine ku potkastah, ga pučis pohju i pakuw i randah piästäh. Mennäh randah, vihandal nurmušal azetatahez, väzyttih merdy myö ajajes. Syömiset, d'uomizet heile loppiettihes. Muamah väzyi i heittyi

muata, a kaivostu ei nähnyh, a brihačču d'ai elostamah. Brihaččune elosteleh, elosteleh ga kaivozeh i kirboi, a muamah on uinonnuh, ei nāi. Havaičui muamah, ga ei nāi brihaččustu. Hāi itkōw, itkōw, kaī ulahteleh. Tulow harmai starikkane, kniigu kais, sanow:

— Midä itket, naine armas, verizii kywn'ālii kirvotat?

Mučoi hānel vastuaw:

— Kaheksandeltostu ku rubein itkemāh, ičelleni uija vetty olis, mi on minul itkiettyō.

— Koittele, — sanow starikku, — kaivostu, nečis on kaivone, kizin'uwčil.

Panow kazīen kyngāzet kaivoh, ga hānel sie brihaččune kaivos puwtuw. Rubiew lastu mual heittämāh, ga d'o hānel kait ollah, hyvāt kait. Hāi ihastui, ei tiije iččiedāh, ku kaid rodih. Starikkaine kaččow sidā, gai sanow:

— Kasta jallat kaivozes.

Hāi panow jalgukyngāt kaivozeh, nostałdaw sie, ga hānel jo ollah jallat, kui neidizenry olles. Hāi ihastui i starikkazel kaglah. Siit ottaw lapsen i lähtōw astumah, a lapsel on paikku piāh kriepitty. Astuw, astuw i puwtui sih samah omah kylāh. Hāi tiedāw vellen koin i menōw sih taloih, sanow:

— Laskettogo lapsen kel huogavumah kodvaizekse?

Mužikku sanow:

— Ga on hāi sen verdu muannuttu, kunnebo työnāt lapsen kel yön vastah?

A mučoi sanow:

— Ni miittumua yōniekkua tänāpāi tāt ei piel! Tānāpāi tulow suarin poigu kodih menneš yōkse i pakiččijoi yōkse ei pie.

— Väzyin, hyvä mučoi, lapsen kel, laske ielleh, a sinul minun sanois sidā i roikkah, midä vai hengästätōs.

A mužikku sanow:

— Kunne työnāmmō vastu yōh lapsen kel, hāi päčil i maguaw.

Mučoi se nowzow päčil i vierōw päčīn bokal maguamah, lapsen panow seinypuoleh, a iče vierōw tāt puoleh.

Suarin poigu tulow kavahtah sih yōkse, voisikan kel kodih menneš. Suarin poigu tuli i latettu myō kavelōw šavizow, moine on hānel tusku kodih mennā. Siit hāi sanow:

— Ettogo ken maltas suarnua sanuo?

Ukkoh sanow:

— Minā en malta.

Suarin poigu sanow:

— Kenbo on neče mučoi päčil, eigo hāi malta?

A mučoi sanow:

— A olis, poigani, minus ičes šuarnua.

Neveskāt se vikse ellendih, karahtih sih, sanow:

— En d'o ole rakas suarnua kuwndelemah, paiskua voinien dieloloi da muwdu.

A suarin poigu vie enāmbāl priičoitui sanomah, sanow:

— Sano, sano, t'owta, sano ielleh, ni midä älä varua.

Sanow:

— Suarnan sanon, ga ku ei suarnua keskustettas.

Häi i allaw sanomah, kui häi eli vellen kel, kui hänel käit da jallat katkatti da gluhoih korbeh lykätti. . .

A velleh sih i palahuttaw sanuo:

— Ei d'o muga olluh ga.

A luaittu oli moine sana: ken suarnan keskustannow, ga sada rubl'ua d'engat, libo sanonduaijakse karzinah. Velliedäh d'o i pandih karzinah. A mučoi ielleh sanelow. Suarin poigu duwmaiččow: «Tämä suarnu on minun mučoin suarnu, tol'ko en tiije, ken on sanelii». Mučoi ielleh sanelow:

— Sai poijan, počtal'jon puwttui Syvätterien akan tyttävelluo yökse, se muutti kirjazen. . .

A neveskäh ei voi tirpua, sanow:

— Ei d'o muga olluh gal

Suarin poigu i hänen pani karzinah. Mučoi sanelles ei sano, što minä sain, a sanow: «Häi sai poijan: kuwdamane očal kumoittaw, päiväne piälakal pastattaw, joga tukan ladvas tähtyt on. . .». A brihačžuine sih laskettaw: «Mami, minulhäi muga on».

Suarin poigu duwmaiččow: «Mi nyčoi?». Häi nowzow päcin piäl, livuaw, ga omani mučoi, vai käit da jallat on. Livuaw lapsel paikan, ga perti kai valgenow i joga tukan ladvas tähtyt.

Siit suarin poigu tervehti mučoin mučoikse, poijan poijakse, a net otti, ukon da akan, i šuaškal piät leikkai. Lapsel da emäččäl suwdu puolin toizin andoi.

A minul vie pohjattomal r'umkal viinua andoi.

37. [БЕЗРУЧКА]

Были когда-то там муж да жена. Жили-были они, родилось у них всего двое детей, девочка да мальчик. Старик да старуха умерли, девушка осталась восемнадцати лет, а парень семнадцати лет. Они, брат да сестра, живут два года вместе. Брат говорит:

— Хой, сестра, мне надо жениться.

Сестра говорит:

— А до женитьбы купи мне машину [швейную], я буду шить одежду.

Брат покупает машину и говорит сестре:

— На этой машине ты не шей простую одежду, шей только шелк. Сестра как старше, так и говорит брату:

— Ты начини охотиться.

А сестра была очень удачливая, и брат ее слушался.

Да и женится он на дочери бабы Сювяттери. Брат поселил сестру на девятый этаж шелк шить. По утрам, как идти на охоту, все идет к сестре за благословением, говорит:

— Благослови меня, сестра, на охоту.

Она говорит:

— Спас благословит.

А жене не по нраву, почему он идет к сестре за благословением. Она взяла в первый день из шести овец в хлеву лучшую овцу зарезала. Только приходит муж домой, так жена и говорит:

— Можешь идти к сестре за благословением — из шести овец лучшую зарезала.

А муж отвечает:

— Зарезала, так пусть режет, сегодня я две достал!

Отправляется на второй день брат на охоту и опять идет к сестре за благословением, говорит:

— Благослови меня, сестра, на охоту.

Она говорит:

— Спас благословит.

Жене так уж это не по нраву, и она из шести коров лучшую режет. Вечером бежит встречать уже на крыльцо и говорит:

— Можешь ходить к сестре за благословением — сегодня из шести коров лучшую зарезала.

Брат не сердится, говорит:

— Зарезала, так пусть режет, две достал и сегодня.

На третий день идет за благословением, говорит:

— Благослови меня, сестра, и сегодня на охоту.

Сестра благословляет. А у них есть оставшийся от отца жеребец восьмилетний. Жена взяла на третий день да и зарезала жеребца. Вечером с ревом бежит мужу навстречу, говорит:

— Можешь ходить к сестре за благословением — сегодня жеребца зарезала.

Брат все равно не рассердился, только буркнул:

— Дался он ей.

На четвертый день опять и идет брат к сестре за благословением. А в лесу он выручает, поди знай, на сколько тысяч. На четвертый день жена взяла и убила ребенка в животе, а сама разлеглась на полу. Приходит муж домой, так она говорит:

— Можешь идти за благословением к сестре — в животе ребенка убила, да и сама я при смерти.

Брат так опечалился, сел на стул и думает, что теперь делать? Он запрягает лошадь в темную карету. Идет вверх к сестре и говорит:

— Одевайся теперь, сестра, одевайся!

— Куда, братец, ты берешь меня в темной карете, у меня шелка и все тут неубранными останутся.

Посадил сестру в темную карету и поехали. Приезжает он в глухой лес. Взял и у сестры ноги по колено отрубил, по локоть руки отрубил. Бросил сестру в глухом лесу, сам домой уехал. Тут кровь осталась от ее рук и ног. Сестра там кровавыми слезами плачет, никуда не может попасть. Три голубка прилетают на ее кровь. Одна голубка и заговорила, молвит:

— Не плачь ты, милая женщина, а иди в сад царевича.

Девушка эта на вид такая красивая, что ни словом сказать, ни в песне воспеть. Ну, она катится, катится в сад царева сына. В один день она ягодку и взяла в саду. Царевич приходит в сад, удивляется, говорит:

— Ну что за чудо, как ягодка потерялась, в сад никто не заходил.

На второй день царевич пишет записку: «Если ты старше, явись, возьму в матери, а если со мной однолетка женщина — возьму либо в жены, либо в сестры».

Она на следующий день по саду катится и берет еще яблочко и записку читает. На третий день царевич всякой еды приносит на стол в саду и пишет: «Будь какая угодно, теперь придется показаться». Она в ответ пишет: «Я крещеная, да только нет ни рук, ни ног». Царевич думает, теперь придет, и оставляет дверь шкафа открытой. Хрустальный шкаф. Она на четвертый день катится и садится за стол. За столом ест-пьет и заходит в хрустальный шкаф и закрывает дверь шкафа. Царевич ходит посвистывает и говорит: «Ну что это за чудо, кушанье ест, пьет, а не показывается». Девушка шкаф потихоньку и шевельнула.

Три месяца царевич кормит. Открывает дверь шкафа, так там такая хорошая и красивая девушка, и глаз не отвести, только нет рук да ног. Тут они знакомятся, и он берет девушку в жены. Месяца три там держит в шкафу, кормит, не пускает никуда. Уже сошлись и все, а царь не знает, что у сына жена. Смотрит царь, сын не ест, не пьет, все худеет, что-то неладно. У него [царевича] уже жена забеременела, царевич ее снимает, берет эту карточку, и говорит отцу: «Теперь, отец, я хочу жениться, оттого и худею. Отправь теперь во все царства слуг, снимать людей, девушек, пусть на это уйдет хоть сколько богатства, потом я жену выберу».

Месяц-второй проходит, приходят слуги и привозят тысячи карточек. Смотрят царь и царица эти карточки, и сын смотрит. Царевич берет свою карточку из кармана и кладет с другими. Царю и всей их родне понравилась эта карточка, а еще не видели эту женщину. Сын говорит: «Благослови, мать, я теперь ее возьму в жены, будь она далеко ли, близко ли».

Царь, конечно, сыну не перечит и дал благословение жениться. И берет царевич эту девушку в жены, а она уже беременна. Только женится царевич, и получает он срочный пакет, что ему надо явиться на войну. И уезжает царевич с войском на войну. Его отправляют, провожают. С месяца времени проходит, жена родила ребенка. Ему отправляют письмо, что жена родила ребенка, сына — солнышко на макушке светит, месяц на лбу сияет, и на каждом волосочке по звездочке. Отдают письмо почтальону, [чтобы] отнести царевичу. А почтальон, вишь, был мужик уже старый. Идет, идет и в первой деревне останавли-

вается на ночлег. В дом на ночлег просится, так хозяйка спрашивает:

— На ночь пустим, да куда ты направляешься?

— Иду, — говорит, — царевичу письмо отнести, жена сына родила.

И угодил старик ночевать как раз в дом ее брата. У хозяйки баня истоплена. Она говорит:

— Не пойдешь ли, дядя, в баню?

Старик в баню пошел, невестка почту раскрывает и читает письмо. Письмо прочитала и порвала, на место пишет новое: «И не свинья, и не поросенок — такого сына родила твоя жена».

Царевич в ответ пишет: «Будь хоть какой, пусть до моего приезда будет там».

На обратном пути старичок приходит на ночь в тот же самый дом. Опять баню истопила, [хозяйка] говорит: «Иди, дядюшка, с дороги попарь ноги». Сама берет письмо, рвет его, на место пишет новое: «Ни ночи, ни дня не держать тут. Положить в бочку мать и сына и бросить в море».

Царю и царице уж очень тяжело класть ее туда в бочку, но перечить сыну не могут, и кладут ей в эту бочку продуктов на шесть недель. В письме написано: «Ни ночи, ни дня не держать», а они уже две недели собирают их, не могут расстаться, так им жалко внука и невестку. И отправили их в бочке плыть по морю.

Они плывут, плывут по морю шесть недель. Мальчик говорит:

— Уже ли, матушка, выбью дно?

Говорит:

— Не выбивай еще, сынок, как бы не были мы еще в открытом море!

Уже бочка стала о камни постукивать:

— Уже ли теперь, мать, оттолкнись?

— Топни теперь, сынок.

Мальчик как топнет, в бочке дно и отлетело, и вышли на берег. Идут на берег, останавливаются на зеленом лугу, устали плывя по морю. Еда и питье у них кончились. Мать устала и прилегла отдохнуть, колодезца то и не заметила, а мальчик остался играть. Мальчик играл, играл, да в колодезь и упал, а мать заснула, не видит. Просыпается мать, а мальчика то не видеть. Она плачет, плачет, прямо закатывается. Подходит седой старичок, с книгой в руке, говорит:

— Чего плачешь, милая женщина, кровавые слезы роняешь?

Женщина ему отвечает:

— С восемнадцати [лет] как стала плакать, хватило бы слез выкупаться самой, сколько у меня выплакано.

— Попробуй, — говорит старик, — сунуть кулачки в колодезь, тут колодезь рядом.

Сунула обрубки рук в колодезь, а ей там сын в колодезе попался. Стала ребенка на землю опускать, а у нее уже руки есть, настоящие руки. Она обрадовалась, себя не помнит, откуда руки взялись. Старичок смотрит на это и говорит:

— Помочи ноги в колодезе.

Она сунула обрубки ног в колодезь, поднимает оттуда, так у нее уже и ноги стали такие, какие раньше были. Она обрадовалась, и старичку на шею. Потом берет ребенка и отправляется в путь, а у ребенка на голове платок завязан. Идет, идет и попадает в ту самую свою деревню. Она узнает дом брата и заходит в тот дом, говорит:

— Не пустите ли с ребенком ненадолго отдохнуть?

Мужик говорит:

— Бывало у нас ночлежников. Куда выгонишь с ребенком на ночь?

А жена отвечает:

— Никаких ночлежников сегодня тут не надо! Сегодня на ночь придет царевич по пути домой, и нищих на ночь не надо.

— Устала я, добрая хозяйка, с ребенком, уж пусти ты, а у тебя пусть с моего слова сбудется все, что только пожелаешь.

А муж говорит:

— Куда отправим на ночь глядя с ребенком, она на печке и поспит.

Женщина эта залезает на печь и ложится на печке спать, ребенка кладет к стенке, а сама с краю.

Царевич вдруг наезжает с войском ночевать, по пути домой. Царевич приходит, похаживает по полу в тревоге, не терпит ему скорей домой попасть. Потом он говорит:

— Не умеет ли кто сказки рассказывать?

Муж говорит:

— Я не умею.

Царевич говорит:

— А что же эта женщина на печи, не умеет ли она?

А женщина и говорит:

— Я бы, сынок, о себе могла сказки сказывать.

Невестка ее, видно, что-то догадывается, подсмочила, говорит:

— Я не очень-то люблю сказки слушать, поговорите о военных делах да о другом.

А царевич еще больше пристаёт, говорит:

— Сказывай, сказывай, тетушка, говори, ничего не бойся.

Говорит:

— Сказку расскажу, только бы сказку не прерывали.

Она и начала рассказывать, как она жила с братом, как ей руки и ноги отрубили да в глухом лесу бросили.

А брат и ляпнул:

— Уж не так и было-то.

А было такое условие: кто сказку перебьет, с того сто рублей денег либо в подпол на то время, пока сказку рассказывает. Брата уже и спустили в подпол. А женщина дальше рассказывает. Царевич думает: «Эта сказка о моей жене, только не знаю, кто рассказывает». Женщина дальше рассказывает:

— Родила сына, почтальон заночевал у дочери бабы Сюят-тери, та подменила письмо...

А невестка не вытерпела, говорит:

— Не так ведь было-то.

Царевич и ее в подполье. Женщина-то не говорит, что «я родила», а говорит: «Она родила сына: месяц на лбу сияет, солнышко на макушке светится, на каждом волосочке по звездочке...». А мальчик тут и вставил: «Мама, это ведь у меня так!».

Царевич думает: «Что теперь?». Поднимается на печку, взглянул — так своя жена, только руки и ноги есть. Стянул с ребенка платок, так вся изба засветилась и на каждом волосочке по звездочке.

Тут царевич благословил жену женой, сына сыном, а этим взял, мужу и жене, шашкой головы отрубил. Ребенка и жену крест-накрест расцеловал.

А меня еще вином угостил из бездонной рюмки.

Oli kolme neičyt. Neiščed ne oldii kai sizarekšed. Ykš oli tkačiha, toine oli povariha. Kolmen sizarekšed oldii volsebnitsad. Siid linnas eli ykš čuarin poig, Ivan Carevič. Yhtei aigoi ned sizarekšed bes'edoittii yhtes kohtas. Hyö keskenäi pagiščii. Ykš sizar' sanuw:

— Minda ku otaiž mučoiķš, minä kaikele mierole ker'gidaizīn kudoda!

Toine sizar' sanuw:

— Ku minda mučoiķš otaiž, ka mina ker'gidaizīn kaikele gosudarstvale keittādā!

Kolmaž sizar' sanuw:

— Ku minda mučoiķš otaiž, ka mina kolmee kohtui yhekš bohatterii suaižin!

Sihi aigoi Ivan Carevič ukxen taga kundel' ne paginad. Siid hän avaiž ukxen i kyzyw:

— Kudam sanui, što kolmee kohtui voi yhekš poigad suada?

Händä, nuorembad ot' mučoiķš, tošt keittämäi, kolmatt kudomai, ičenke. Ivan Carevičan ei hät'ket puwtunu elädä mučoinke, händä ot'ettii vojuimmai toizii gosudarstvoinke. Mučoi d'iai kohtuine. A ned tkačiha da povariha d'aidii elämäi nuorembanke. Piäliči vähäs aigas nel'äskymmenes nedälie mučoi rodii. Poigat rodiščii mit'ed hän obeščala, mugamad i liettii bohatterid. Sizarekšile rodiihe zavidno. Kirjutettii Ivan Ca-

revičal kir'd'aine i t'yöttii posl cuarillu. Moine kir'd'aine t'yöttii, što «šilla mučoi rodii ni riščikanzan, ni l'aguškan, moižen čudoviščan, ni kunne ne pohože».

Cuar' se polučii sen kir'd'aižen. Tuskeldui ylen äijäl, što mikš mučoi rodii muhomad poigad čudoviščad. Hän kir'd'aižen t'yönž poslad myöi, što minui suai olgai poigad muga, olgai hyö bohatтерid libo čudoviščad. Kir'd'aine tuli d'älgille t'änne, se posl tuoi kir'd'aižen d'älgillei. Se tkačih' da povarih' d'utettii humalai suai poslad. Kir'd'aine hällä sumkas piäi vargastettii, konz hän oli äijäl humalas. Se kir'd'aine luggedii hyö. Kird'utettii kird'aine toine. Pandii sumkkai toine. Kird'aižele oli kird'-utettu: «*Kak skoro kird'aižen polučitte, panda lapš emänke tervbuččii i merele työtä*». Se mučoi yhten lapsen peit' t' n'ännin alle. Sen lapsenke händä pandii tervbuččii i t'yöttii merele. Se brihač suai kazvamai emänke bučis. Bučči se oli tobd', ei mahtuškanmu d'algimäi buččii, sen terväi se brihač bohatteri kazvoi. Emäle suai molizemmai:

— Minä en sua tirppamai, minä, — sanuw, — potkaidan.

A emä brihačule molizow:

— Elä, brihačuine, potkaida, myö merei upponemme.

Brihačču suai toižen kieran molizemmai:

— Mamoi, minä potkaidan bučin.

Emä tost i molizow:

— Elä potkaida, poig, mänemme merei.

Kolmanden kieran op' at' molizow:

— En voi kestädä.

Emä kuwlow, što bučči d'o on meren randal, kolaidaw, heid lykäi tuulel. Šiid emä käšk hänele:

— Nygöi voined ka potkaida.

Hän d'algad oigei dai vandeheđ lopnittii. Hyö puwtuttii *na dikii ostrov* emänke. Himoitaškai heile šyödä, emäle dai poigale. Hän, poig, luadii puižen piščalin. Emäl oli rist kaglas. Hän ot' sen ristirihman piščalii, *na'anul tugoi luk*. Läht' meren randai ambumai linduid, šil puižel piščalil. Merel dogadii lindun l'ebedin, a l'edebin piäl lyözyi koršun, tahtoi lebedin n'uokkida. Ambui hän ei l'ebedin, a ambui koršunan. L'ebed' suai hänenke pagizemmai riščikanzan kielei. L'ebed' ylen äijäl spassiboiččezui šidä Ivan Careviččad. Vot l'ebed' i sanuw hälle:

— Et šinä ambun *koršunad*, a tapoid *čarodejan volšebrikan*, — sanuw, — mängät emänke magatta. Lienow midä syödä teile.

Ivan Carevič emän luste tuli i viertii magatta, kui l'ebed' heile käšk. Konz hyö magades herastuttii, magadusaigas oli stroittu *na dikii ostrov* linn. Šihi linnai oli stroittu kodi, ei olnu ni mit' es gosudarstvas mugošt kodid. Linn oli nimitetty Ivan Carevičan nimel dai se kodi. Hyö mändii emänke šihi carskoihe kodii, oli šiid d'uoda dai šyödä kyl'äl.

Vot emänke hyö suadii elämäi šiid kodis. Yhtee aigai hyö nähtii ajades šiiriči karabli. Nošč hän flagat i kučui niid karabel'ščikoid ičellu goštii. Se karabl' ajoi endižei ižän gosudarstvai, se oli ižän karabl'. Hälle himoitaškai nähtä omad ižäd. Karabel'ščikad lähtii iäre i hän työnž viestin, što anda tulow hän goštii minun lukš, a iče ei sanonu, što

on hänen poig. Hälle himoitaškai nähtä iżäd i iżän gosudarstvad. Tuli hän meren randai suai kirgumai l'ebedid.

L'ebedile sanui:

— Mille himoitaiz iżäd nähtä.

L'ebed' uib hänen luste randai. Vedel Ivan Carevičad briznii. Ivan Carevič muwtui puarmakš. Hän puarmannu lend' karablile, peittihe ščiiluižei. Konz karabli tuli šihi gosudarstvai, cuari heid vastaiz karabel'šcikoid. Heid priglasii omai kodii cuar'. A puarm puarmallei i lend' hejän kodii. Cuari suai kyzymäi:

— Ajelite ka midä kuga nägitte?

A puarm oli peittäzennu šein'äi da kundel'. Karabel'šcikad suadii rasskažimmai cuarile mida n'ähtii ajeltes. Nu vot hyö suadii rasskažimmai, što ajoimme šinne i ningomal kohtal ei ni midä olnu, a nygy na dikom ostrove on linn. A ned tkačiha i povariha suadii perebivaimmai cuarid:

— Tämä divo on ne divo, a vot on divo, što šiid linnas on puw, puwn all on orav, kudam oreškoid purow i luadiw izumrud.

Puarm ned tkačihan da povarihan paginad kuul', lend' tkačihan rožale i n'apišč' muga, što veri läht' rožas piäi. Iče lend' hän fortočkas pihale. Tuli hän meren randai, a l'ebed' d'o händäi vuott'. L'ebed' händä suatoi d'älgille emän luste. L'ebedile hän rasskažii ned tkačihan da povarihan paginad. L'ebedi sanuw:

— Olgai, lienow šinun linnas, lienow semmoine puw i orav, kudam suaw šille luadimai izumrud.

L'ebed' händä muut' d'älgille Ivan Carevičakš. Suadii hyö vie elämäi emänke edele piäi. Lien' linnas puw i orav. Orav oreškad puri, izumrud luadii.

Dogadittii hyö t'eremas piäi ajamas toine karabl' iżän luste. Kučuttii op'ät' goštii šida karablid. Konz työndytettii karabel'šcikoid, op'ät' kučui iżäd goštii, a ei sanu, što on hänen poig. Ivan Carevičale vie himoit' iżän luste puwttuda. Op'ät' mäni meren randai, l'ebedile sanui:

— Mille himoitaiz n'ähtä vie toine kier iżäd.

L'ebed händä briznii vedel, muut' händä vuapsahaižekš. Hän lend' karablile, peittihe ščiiluižei. Op'ät' cuar' vastaž karabel'šcikoid. Priglasii dvorčcai ičen luste:

— Midä ajeltes työ nägitte? — suai heil' kyzymäi.

Karabel'šcikad suadii cuarile rasskažimmai, midä nähtii:

— Nägimme na dikom ostrove linn on da šinda kučuttii goštii šinne.

Karabel'šcikad rasskažittii, mitte oli kodi da mitte oli orav.

Tkačiha da povariha op'ät' suadii perebivaimmai. Vuapsahaine ištui šein'al da kundel' heiden paginoid. Vot tkačiha i sanuw:

— Tämä divo ne divo, on vie. Nowzow meres piäi kolmekymmen kolme bohatтерid, kai oldai ned vel'lekšed. (Ned oldai bohatтерid l'ebedin vel'led.)

Vuapsahaine ned paginad kundel', hypnii šein'äs piäi, ambui händä rožai, iče lend' pihale fortočkas. (*Pidaw starin se loppida kui tahto.*) Tuli hän l'ebedillui, raskazii ned paginad l'ebedile. L'ebed' sanuw:

— *Ne pečal'sa*, lienow šinun linnad karavulimmas kolmekymmen kolme bohatterid.

Tuoi händä omai linnai, muwt' op'ät' Ivan Carevičakš. Siid päiväs piäi noužiškattii meres piäi kolmekymmen kolme bohatterid i ainoz suadii linnad vardeimmai. Suai hän uudessai elämäi emänke. Dogadittii hyö erähäl kieral op'ät' kolmaž karabl' ajamas. Karabel'sčikad tuldii hänellu i diivuičesčii ylen äijäl, što mitt'e linn on *na dikom ostrove*, što mitt'e puw on i orav orehoista luadiw izumruttad. Kolmekymmen kolme bohatterid ol'dii karavuwlas. Karabel'sčikoid hyö op'ät' gostitettii. Konz läh-tii karabel'sčikad kodii, op'ät' tuli meren randai, kirgui l'ebedin. L'ebedile sanui:

— Mille vie himoitaiž kolmaz kier nähtä ižäd.

L'ebed' hälle sanui:

— Mäne, void mändä.

Siibel händä prisnii vedel, muwt' op'ät' vuapsahaižekš. Hän lend' karablile, peittezei ščiiluižei. Karabl' ajoi ižän luste. Cuar' vastaž karabel'sčikoid i ot't ičen luste goštii. Šigä op'ät' suaw muga kyzelemäi.

— Kuga ajelitte, mida nägitte?

Karabel'sčikad raskazittii, mit't'e on linn stroittu suarele, da mit't'e on orav, da kodid karavullitai kolmekymmen kolme bohatterid. Da Ivan Carevič kučui händä goštii. Cuar' ned paginad kundel'. Ylen äijäl hälle lien' interesno.

Tkačiha da povariha op'ät' suadii perebivuimmai. Vot tkačiha i sanuw:

— Tämä, — sanuw, — *divo on ne divo*, on, — sanuw, — *divo sem-moine*, on neičud, kaikel muailmal šidä čomembad ewlo. Pagizow kui d'ogi čurčettaw, kasan al tiähtet paštetaw.

Vuapsahaine kundel' ned paginad. Šein'al piäi hypnii, ambui händä rožai vie kibedembäli, a iče fortočkas lend' pihale. Tuli hän l'ebedillui, l'ebedile rosskazii ned paginad. L'ebedile sanuw Ivan Carevič:

— Minä tahtoizin kaiken muailman käveltä i löytä sen neiščen, ottada ičelle mučoiškš.

A l'ebed' i sanuw hänelle:

— Duwmaiče, — sanuw, — hyvin, vet' mučoi ei ole kui kindas, duwmaiče hyvin.

Ivan Carevič andoi kl'atvan:

— Minä izmeni en, sen otan mučoiškš i senke suan elämäi.

L'ebed' sanuw:

— Ole t'äs vähäine, minä kävyn meččäi.

L'ebed' tuli d'älgille, ei l'ebedin, a sen neiščen (*se l'ebed' oli neičyd*). Siid hän sen l'ebedin tuoi emän luste, kyzyi emäl blahoslovend'ad ottada händä mučoiškš. Emä käšk ottada. Vot i nai hän šiid l'ebedis-neiščee. D'älgile suadii d'o kolmen elämäi. Erähän päivän kačotaw, ka ajaw karabl'. Karablil oli ajamas ižä tkačihan da povarihanke goštii.

Ei tiedäny, što hän on poig hälle. Poig emänke, mučoinke mändii izäd vastammai pristanile. Konz izä tuli, šiid tundušč endižen mučoin. Endži-mäi it'ketii, šiid oli tobd' ruadosti šiid linnas, pruaznuittii kodv.

Šiid se cuar' tiedušč prawdan kaiken. Tkačihale da povarihale läm-bit'ettii kyly. Lat't'ale oli kylyn levitetty kowrad. Ned tkačihad da povarihada työtii kylyi. Kylys kowriden al kiehuttii tervkattilad. Tkačiha da povariha puututtii šinne tervkattiloihe. Ivan Carevič suai d'algele oman mučoinke elämäi, ot händä omai gosudarstvai. A poig diäi šihi elämäi l'ebedin-neiščenke. I nygyde vie hyö eletaw hyvin ozakkali.

Minä heid'än piirus tože olin, viinad poččivoittii. Usile puwtui, a d'uoda ei puwttunu.

38. [ЧУДЕСНЫЕ ДЕТИ]

Было три девушки. Девушки эти все были сестры. Одна была ткачиха, вторая была повариха. Все трое были волшебницы. В том городе жил один царев сын, Иван Царевич. Однажды эти сестры собрались на беседу в одно место. Они говорят между собой. Одна сестра говорит:

— Меня бы взял царевич в жены, так я бы всей общине успевала варить.

Вторая сестра говорит:

— Взял бы меня в жены, так я бы на все государство успевала ткать.

Третья сестра говорит:

— Взял бы меня в жены, так я бы за трое родов девять богатырей принесла.

В это время Иван Царевич подслушивает за дверью эти разговоры. Потом он открывает дверь и спрашивает:

— Которая сказала, что за трое родов девять богатырей принесет?

Ее, младшую, взял в жены, вторую — варить, третью — ткать, к себе. Ивану Царевичу не долго пришлось жить с женой, его взяли воевать в другие государства. Жена осталась беременна. А эти ткачиха да повариха остались жить с младшей сестрой. Через некоторое время, сорок недель, жена родила. Сыновья родились, каких она и обещала, такие и родились богатыри. Сестрам стало завидно. Написали Ивану Царевичу письмо и отправили посла к царю. Такое письмо послали, что «тебе жена родила ни человека, ни лягушку — такое чудовище, что ни на что не похоже».

Царь получил это письмо. Пригорюнился сильно, что почему жена родила таких сыновей, чудовищ. Он письмо посылает с послом, что «до моего [приезда] пускай будут сыновья тут, будь они хоть богатыри либо чудовища». Письмо пришло обратно, этот посол принес письмо опять сюда. Эти ткачиха да повариха напоили посла допьяна. Письмо у него украли из

сумки, когда он был сильно пьяный. Это письмо они прочитали. Написали другое письмо. Положили то, другое, в сумку. В письме было написано: «Как скоро письмо получите, положите ребенка с матерью в смоляную бочку и спустите в море». А жена одного ребенка спрятала под грудь. С этим ребенком ее положили в смоляную бочку и спустили в море. Этот мальчик стал расти в бочке. Бочка была большая, он не стал уже помещаться в бочке, так быстро рос этот мальчик-богатырь. Он умоляет мать:

— Я не могу терпеть, я, — говорит, — разогнусь.

А мать умоляет сына:

— Не разогнись, сынок, мы в море потонем.

Мальчик второй раз умоляет:

— Матушка, я разломаю бочку.

Мать снова просит:

— Не ломай, сынок, утонем в море.

Третий раз опять умоляет:

— Не могу больше терпеть.

Мать слышит, что бочка уже на берегу моря, постукивает по камням, их пригнало ветром. Тут мать попросила его:

— Теперь, если можешь, так разломай пинком.

Он ноги вытянул, и обручи лопнули. Они попали с матерью на дикий остров. Хочется им есть, матери и сыну. Он, сын, смастерил деревянный пищаль. У матери на шее был крест. Он взял ниточку от креста, натянул тугой лук. Идет на берег моря стрелять птиц этим деревянным пищалем. Видит над морем птицу лебедь, а над лебедью коршун летает, норовит заклевать. Убил он не лебедь, а убил коршуна. Лебедь заговорила с ним по-человечьи. Лебедь очень благодарит этого Ивана Царевича. Вот лебедь и говорит ему:

— Ты убил не коршуна, а убил чародей-волшебника, — говорит, — идите с матерью спать. Будет что есть и пить.

Иван Царевич приходит к матери, и ложатся спать, как им лебедь велела. Когда они проснулись, за это время на диком острове был построен город. В городе был дом, и ни в одном государстве не было такого дома. Город был именован в честь Ивана Царевича, и тот дом тоже. Они заходят с матерью в тот царский дом, там и питья и еды вдоволь.

Вот стали они с матерью жить в этом доме. Однажды они видят, что мимо идет корабль. Поднимает он [Иван Царевич] флаги и приглашает тех корабельщиков к себе в гости. Тот корабль направлялся в прежнее отцово государство, то был отцовский корабль. Ему хотелось бы увидеть своего отца. Корабельщики отправляются дальше, а он посылает весть, что пусть придет он [царь] в гости к нему, а сам не говорит, что он его сын. Ему хочется увидеть отца и отцово государство. Приходит он на берег моря, зовет лебедь. Лебеди говорят:

— Мне бы хотелось отца увидеть.

Лебедь подплывает к нему на берег. Водой брызгает на Ивана Царевича. Иван Царевич превратился в овода. Он оводом залетает на корабль, прячется в щель. Когда корабль приплыл в то государство, царь встречает их, корабельщиков. Приглашает их царь в свой дом. А овод оводом и влетел в ихний дом. Царь спрашивает:

— Ездили, так что где видели?

А овод спрятался в стене и слушает. Корабельщики стали рассказывать царю, что видели в поездках. Вот они рассказывают, что ездили туда и в тех местах ничего не было, а теперь на *диком острове* город стоит. А эти ткачиха да повариха давай перебивать царя: «*Это диво не диво, а вот диво*, что в этом городе растет дерево, под деревом белка, которая грызет орешки и делает *изумруд*».

Овод слышит разговоры ткачихи да поварихи. Подлетел, ткачиху прямо в лицо и ужалил так, что даже кровь пошла. Сам в форточку вылетел. Прилетает он к берегу моря, а лебедь уже ждет его. Лебедь доставила его обратно к матери. Лебеди он пересказал эти разговоры ткачихи да поварихи. Лебедь говорит:

— Ладно, будет в твоём городе, будет такое дерево и белка, которая будет делать тебе *изумруд*.

Лебедь превратила его снова в Ивана Царевича. Стали они жить с матерью дальше. Появились в городе дерево и белка. Белка грызла орешки и делала *изумруд*.

Заметили они из терема второй корабль, плывущий к отцу. Пригласили опять в гости тот корабль. Как провожали корабельщиков, опять позвал отца в гости, а не говорит, что он его сын. Ивану Царевичу опять хочется к отцу попасть. Опять и приходит к морю, говорит лебеди:

— Мне хотелось бы еще второй раз видеть отца.

Лебедь как брызнет на него водой, он и превратился в осу. Он летит на корабль и прячется в щель. Опять царь встречает корабельщиков, приглашает к себе во дворец.

— Что вы видели в плавании? — стал их спрашивать.

Корабельщики давай рассказывать царю, что видели:

— Видели, на *диком острове* есть город, и тебя звали туда в гости.

Корабельщики рассказали, какой дом и какая белка.

Ткачиха да повариха опять начали перебивать. Оса сидит на стене да слушает их разговоры. Вот ткачиха и говорит:

— *Это диво не диво, еще есть [диво]*. Встают из моря тридцать три богатыря, все они братья. (*Эти богатыри лебедевы братья.*)

Оса эти разговоры услышала, слетела со стены, ужалила ее в лицо, сама вылетела на улицу в форточку. (*Надо сказку закончить как-нибудь.*) Прилетает она к лебеди и рассказывает про эти разговоры лебеди. Лебедь говорит:

— Не печалься, будут твой город караулить тридцать три богатыря. Доставила его в свой город, превратила опять в Ивана Царевича. С этого дня поднимаются из моря тридцать три богатыря и отныне сторожат город. Стал он снова жить с матерью. Замечают они опять однажды — плывет третий корабль. Корабельщики подъезжают к нему и очень дивятся, что есть такой город на диком острове, что есть такое дерево и белка из орехов делает изумруд. Тридцать три богатыря были на страже. Корабельщиков они опять угощают. Как стали отправляться корабельщики домой, опять приходит Иван Царевич к морю и кличет лебедь. Говорит лебеди:

— Мне хотелось бы еще в третий раз увидеть отца.

Лебедь ему говорит:

— Иди, можешь идти.

Крылом на него воды брызнула, превратила опять в осу. Прилетает он на корабль, прячется в щель. Корабль подплывает к государству отца. Царь встречает корабельщиков и ведет к себе в гости. Там опять начинает расспрашивать:

— Где ездили, что видели?

Корабельщики рассказывают, какой город построен на острове, да какая там белка, да дом караулят тридцать три богатыря. Да Иван Царевич зовет его в гости. Царь эти речи слушает. Ему стало очень интересно.

Ткачиха и повариха опять перебивают. Вот ткачиха и говорит:

— Это, — говорит, — диво есть не диво, есть, — говорит, — такое диво: есть девушка, во всем свете ее красивее нет; говорит будто ручеек журчит, под косой звезды блещут.

Оса слышит эти речи. Со стены слетела, ужалила ее в лицо еще больней, а сама в форточку вылетела на улицу. Приходит он к лебеди, рассказывает лебеди эти речи. Говорит лебеди Иван Царевич:

— Я хотел бы весь свет обойти, найти эту девушку и взять себе в жены.

А лебедь и говорит ему:

— Подумай, — говорит, — хорошенько, ведь жена — не рукавица, подумай хорошенько.

Иван Царевич дает клятву:

— Я не изменю, ее возьму в жены и с ней буду жить.

Лебедь говорит:

— Побудь здесь недолго, я схожу в лес.

Лебедь вернулась обратно, не лебедью, а той девушкой (эта лебедь была девушкой). Потом он привел эту лебедь к матери. Мать велела взять [в жены]. Вот и женился он на этой девушке-лебеди. Теперь стали уже втроем жить. В один день смотрят, так плывет корабль. На корабле едет отец с ткачихой и поварихой в гости. Не знает, что это его сын. Сын с матерью, с женой идут

на пристань встречать отца. Когда отец приехал, тут и признал свою прежнюю жену. Сначала поплакали, а потом в городе была большая радость, праздновали долго.

Потом царь этот узнал всю правду. Для ткачихи и поварихи истопили баню. На полу были постланы ковры. Этих ткачиху и повариху отправили в баню. В бане под коврами кипели смоляные котлы. Ткачиха да повариха упали туда в смоляные котлы. Царь стал снова жить со своей женой, взял ее в свое государство. А сын остается жить тут с девушкой-лебедью. И теперь еще они живут счастливо.

Я на пиру тоже была, вином потчевали. По усам текло, а пить не довелось.

39

Akku lähtöö gul'aimah, ga i kyzzy:

— Päiväne pravednoi, ongo minuu čomembaa da sinuu räkembää?

— Sinuu čomembi on, ga minuu räkembää ei ole.

Häi sai lapsen, se roih čomembi. Häi ottaa da lapsen lykkää pihah. Rozboiniekat i otetah.

Taasei lähtöö gul'aimah gai kyzzy:

— Ongon minuu čomembaa da sinuu räkembää?

— Minuu räkembää ei ole, ga sinuu čomembi on.

Tuloo tiedoiniekaloo, ga elos on, rozboiniekat on otettu kazvattaa. Häi tahtoo häнды ääre hävittää:

— A laaimo plaat'an moizen, panoo pääle dai kuoloo.

Menöö plaat'aa myömäh tyttözel, eini kui tyttöine ostas ga vägehes andaa, da zirkalon ees käsköö pääle panna. Menöö pertih, panoo pääle plaat'an da kuoloo. Vellet tullah, ga sizar kuolluh. Nuoriman vellen koiru plaat't'azen revittelöö dai kopsahtah seizoi.

— Kuibo sinä nenga?

— A ostin plaat't'azen dai kuolin.

— Älä ostal

Taas akku lähtöö gul'aimah dai kyzzy päiväzel. Päiväne sanoo:

— Minuu räkembää ei ole, a sinuu čomembi on.

Menöö taas laskettaa kartih, ga hengis on. Sanoo — nuoriman vellen koiru on päästänh. Häi sanoo:

— Pidää koiral laadia bulkaine, što syöö dai kuoloo, a tyttözel kol'čaine — panoo sormeh dai kuoloo.

Menöö taase akku sinne myömäh, taas tyttöine ei ottas, ga vägeh andaa, a koiral bulkazen lykkää dai se kuoloo. Vellet tullah, ga taas on kuollut. Hyö laitah krustal'n'oi grobu da viijäh, pannah paččahien pääh, siä itkuh kuoltah.

Saarin poigu lähtöö gul'aimah, ga kaččoo rannal kuldu rounu pastaa. Häi sinne. Häi kaččoo — neidine on čoma, ga häi sen ottaa da ääre ko-

manduicoo, ajaa kodih. Panoo omassah škaappah da ainos kaččoo sih tyttözeh, a ei ole elävy, eigo kuolii. Maamah da taattah sanotah:

— Pidää työndää ulgomaaloil parenemah, nenga loppih.

Händy lähtieh viemäh, ga maamah meni sinne, ga tyttöine škaapas. Tuoo baabuškat pezijät, ga otetah kol'čaine sormes dai tyttöine elävyy. Häi hypähtäh, dai käänytetäh saarin poigu ääres.

— No otadgo nygöi mučoiakse vai sizarekse?

Eletäh-ollah, ga no taas se akku menöö kävelemäh, taas päiväzel kyzyy. Päiväine sanoo:

— Minuu räkembää ei ole, ga sinuu čomembi on.

Tuloo taas, kartih laskettaa ga: hengis on, saaris on mučoinnu. «No nygöi iče lähten hävittämäh, muite tämä ei hävinnyh». Menöö, saarin akan kel pajistah, sanoo:

— Tyttö kus on?

— A siähäi kois!

Kuibo händy hävitämmö?

— Lämmittää kyly da työnäkkää minuu kilyh.

Lämmitetäh kyly dai mennäh. Maamah tuoo butjlkazen dai tyttöine tuo butjlkazen. Maamalleh rubiaa hieromah, ga häi ošipkas ottaa maamahbut lkazen dai maamah kuoloo. Tuloo kodih, ga sanoo:

— Matkalaine kuoli kilyh.

Heidy kai suudoh annetah, kui se kuoli. Vääritetäh muččoi, ga maa-
tuškah sanoo, što häi tuletteri neveskää hävittämäh.

39. [МЕРТВАЯ ЦАРЕВНА]

Женщина идет гулять и спрашивает:

— Солнышко праведное, есть ли краше меня и жарче тебя [на свете]?

— Краше тебя есть, а жарче меня нет.

Она родила ребенка, ребенок был красивее. Она взяла и выбросила ребенка на улицу. Разбойники и взяли.

Опять идет гулять и спрашивает:

— Есть ли [на свете] краше меня и жарче тебя?

— Жарче меня нет, но краше тебя есть.

Приходит к анахарке, так жива [дочь], разбойники взяли на воспитание. Она хочет ее погубить.

— А сошьем платье такое, она наденет и умрет.

Идет платье девушке продавать, девушка никак не хочет покупать, так насильно дает и перед зеркалом велит надеть на себя. Заходит в избу, надевает платье и умирает. Братья приходят — так сестра мертвая. Собачка младшего брата платье сорвала с нее, и вскочила она.

— Как же ты так?

— А купила платьице и умерла.

— Не покупай!

Опять женщина идет гулять и спрашивает у солнца. Солнце говорит:

— Жарче меня нет, а краше тебя есть.

Опять идет гадать на картах — так живая. Говорит: собака младшего брата спасла. Она говорит:

— Надо собаке испечь булочку — съест и подохнет, а девушке колечко — иаденет на палец и умрет.

Снова идет женщина туда продавать, опять девушка не берет, так силой дает, а собаке булочку бросила, та и подохла. Братья приходят — так опять мертвая. Они сделали хрустальный гроб и понесли, поставили на столбах, и там от горя умерли.

Царский сын идет гулять, смотрит — будто золото на берегу блестит. Он туда. Смотрит — девушка красивая, так он ее берет и велит повернуть обратно, едет домой. Ставит [гроб] в свой шкаф и все смотрит на эту девушку, а та не живая и не мертвая. Мать и отец говорят:

— Надо отправить [сына] за границу лечиться, не то пропадет.

Повезли его, а мать заходит туда, так там девушка в шкафу. Приводит бабушек мыть. Как сняли колечко с пальца, девушка и ожила. Она вскочила, и вернули царского сына обратно.

— Возьмешь ли теперь в жены или в сестры?

Живут-поживают, опять та женщина идет гулять, опять у солнышка спрашивает. Солнышко говорит:

— Жарче меня нет, но краше тебя есть.

Приходит опять, на картах гадает — так жива, у царя женой. «Ну, теперь сама пойду погублю, иначе она не пропадет». Приходит, разговаривают с женой царя, говорит:

— Девушка где?

— Там она дома.

— Как же ее погубить?

— Истопите баню и пустите меня в баню.

Истопили баню и идут. Мать приносит бутылочку, и девушка приносит бутылочку. Стала она мать натирать да по ошибке взяла бутылочку матери, мать и умерла. Приходит домой и говорит:

— Эта прохожая умерла в бане.

Их даже под суд отдают за то, что та умерла. Обвиняют жену, а матушка [свекровь] говорит, что она приходила погубить невестку.

Oli ukko da akku. Heil oli tytär da poigu. Poigu rubei naimah, hānele puwtui Syvätterijän akan tytär mučoiakse. Sil aigua pani oman sizären yheksän lukun tuakse. Se poigu kävyw meččäh ohotal. Sil aigua mučoi selgeilōw suwren zirkalon iäs, sanow zirkalole:

— Zirkalo, sano minule, viägo on täl mual minuw čomembua?

Zirkalos siä hyppäi starikkaine dai sanow:

— On vellil! On nados yheksän lukun tagua, viitty čomembi sinuw.

Häi ottaw, žiivatat tappaw, pertis kai aštiať murendaw, se mučoi.
Tulow mužikku kodih, dai sanow:

— Kačo, sizäres midä ruadoi, — mužikale sanow mučoi.

Velleh sizären ottaw škuapas, sellittäw mustih sobih, pyrrittäw manasterih pyhile. Akkah sanow:

— Štož viä älä ni kunne, a viä händy da tapa, tua maksat minule, minä kačon!

Neidiine selgii, dai velleh kele lähtiätäh meččäh. Ajetah, a heile jälles koiraine juaksow. Koiraine sanow mužikale:

— Älä. veikoini, sizärdy tapa, tapa parembi minuwl!

Velleh ottaw dai tappaw koirażen, a sizären tyändäw meččäh. Toi akalleh syväinkerän kaččua, sanow:

— Nemme on koiran, a ei sizären.

Neidiine yän magari, lähtöw astumah. Tulow hänele vastah pertiine. Pertih menöw, se ylen reduhiine. Yheksä palaštu nägöw stolal leibiä. Häi ottaw da joga palažes hawkuuaw leibiä, iče menöw päčimperäh. Tulow yheksä vellesty, kačotah: täz on por'atku piätty: sovat pesty, perti tože. Kačotah, ga stolal joga palažes on hawkattu hawkkavus. Hyä ruvetah kliikaimah, sanotah:

— Ollet vanhembi, ga otammo buabakse, nuarembi — muamakse. Ollet starikku — otammo tuatakse, a ollet nuarembi — otammo sizärekse.

Neidiine ottaw dai tulow päčinkeskes päi, vellet vastatah händy hyvin dai rubiaw sid elämäh. Uskaldah vellilöillyä gost'u — kolmepiähiine atamuanu. Hyä prigotoovitaheze: azutah viinua, vuassua — kaikkia. Neidiine kyz'iw:

— Ongo suabl'u?

Vellet suabl'u annetah sizärele, iče viärtäh muate, a neidiine jäw karavuwlah. Kuwlow — ga tulow, sanow:

— Ohoh! Tüz on ruskoidu duwhuw.

Neidiine sanow:

— Tulet, ga älä ezmäi pagižel!

Tulow se atamuanu kolmepiähiine, neidiine ottaw, suabl'al leikkuaw piät kai, dai tappaw sen i nostattaw vellet, sanow:

— Kabrastakkua sel!

Vellet kabrastetah. Toššupiän uskaldahenze kuwzipiähiine. Vellet myäs varavutah, a neidiine sanow:

— Andakkua minule toine šuašku, a iče mengiättö muate.

Neidiine myäs jäi vardoimah. Myäs tulow kuwzipiähiine. Neidiine leikkuaw šuaškal piät da nostattaw vellet. Vellet nostah — ga sid i on leikattul Otetah kabrastetah. Kolmaššupiän uskaldahenze vellilöillyä tulemah gostih kaksitoštupiähiine atamuanu. Vellet myäs pöllästytäh. A neidiine sanow myäs vellilöile:

— Andakkua minule nygöi viä suwrembi šuašku.

Kaksitoštupiähiine tulow yäl, neidiine ottaw išköw šuaškal, yksitoštu piädy leikkuaw, a yksi jäw. Vellet nostah — ga yksi piä viä on,

otetah dai se leikatah. Sid myäs hyä, vellet, ruvetah käwmäh ruavole, a sizär jïäw kodih. Vellet sanotah hänele:

— Älä laske ni kedä tänne, täs sinule koiraine.

Sit Syväterijän akku se tiijustaw: hänen tyttären nado eläw nengomas i nengomas sijas. Se akku ottaw korzinažen juablokkua, tariččow sidä tytöle. Sanow:

— Kačo, minä iče syän.

Tyttö ottaw juablokan juadul pannuan. Syäw juablokan dai kualow. Tullah vellet, ga sizär kuallut. Itkiätäh, itkiätäh, ga yksi sanow:

— Vuata hot' vuahtet pyhkin sizären suwn piäl.

Vuahtet gu pyhkiw, ga sizär i elävyw. Myäs vellet sanotah:

— Älä, čidžoini, osta ni midä, laske ni kedä!

A iče lähtiätäh meččäh. Syväterijän akku myäs tulow pluat'ua myämäh. Tulow sinne, tariččow pluat'ua, ga tyttö ezmäi ei ota, sanow:

— On minul kaikkia kyläl.

Syväterijän akku sanow:

— Na hot' ota da opi panna piäle!

Tyttö ottaw dai piäle panow dai kualow. Syväterijän akku meni iäres. Vellet tullah kodih — ga myäs sizär kualluh. Myäs vellet itkiätäh, ruvetah pezettämäh. Pluat'ua piäl otetah dai elävyw. Vellet lähtiätäh meččäh i sanotah:

— Älä osta ni midä, myä sinule tuammo kaikkia.

Syväterijän akku myäs tiijustaw, dai tulow kol'častu myämäh. Neidiižele tariččow kaikelleh, ga ei ota neidiine. Syväterijän akku sanow:

— Na hot' pane sormeh kol'čaine, opil

Sormeh tyttö panow dai kualow. Tullah vellet, kačotah, ga myäs on kualluh, a kol'častu ei toimiteta ottua. Azutah grobu st'oklaine, pannah saduh rippumah. Azutah yheksä pačastu, ymbäri pannah veičet da iče pystetäheze da kualtah.

Suarin poigu kävelöw mečas, tulow sih kohtah, dai kaččow: savus rippuw st'oklaine škuappu, siä on neidiine, ni kualluh, ni eläw, vai veri rožal kižuaw. Häi ottaw, dai vedäw škuapan kodih. Kodih meni, neidiinzel ottaw sormes kol'čažen — dai elävyw neidiine. Sid eletäh ollah, suarin poiijan kel se neidiine. Suaw mučoi lapsen. Suarin poiija kyzyw iččeh valdua. Suarin poigu andaw vallan. Häi ottaw dai oman lapsen tappaw dai lähtöw ajaw hebožel vellilöillyä. Vellet lapsen verel voidaw, dai kai vellet elävytäh. Sid häi otti vellet sarstvuimah. Suari ned vellet pani dolžnostiloih: yksi rodih Oluhovakse, toine Gučkovakse, kolmas oli Trepov, nel'äs Kornilov, viijez oli Mil'ukov. Dai toižet oldih kai sluwžbas suaril. Minä heidy näin.

Sih loppih.

40. [МЕРТВАЯ ЦАРЕВНА]

Были муж да жена. У них были дочь да сын. Сын надумал жениться, ему попала в жены дочь бабы Сювяттери. Запер он свою сестру за девять замков. Этот парень ходит в лес на охоту.

В это время жена наряжается перед большим зеркалом, говорит зеркалу:

— Зеркало, скажи мне, есть ли на этом свете красивее меня?

Из зеркала выпрыгнул старичок и говорит:

— Есть, брат! Твоя золовка за девятью замками впятеро красивее тебя.

Она взяла скотину зарезала, в избе всю посуду перебила, эта жена. Приходит муж домой, так она говорит:

— Смотри, сестра что наделала, — говорит мужику жена.

Брат берет сестру из шкафа (?), одевает в черную одежду, зовет в монастырь на богомолье. Жена говорит:

— Чтоб никуда ее не вез, а увези ее и убей, принеси печень мне, я посмотрю!

Девушка оделась, и едут с братом в лес. Едут, а за ними следом собачка бежит. Собачка говорит мужику:

— Не убивай, братец, сестру, убей лучше меня!

Брат берет и убивает собачку, а сестру отпускает в лес. Приносит жене сердце посмотреть, говорит [жена]:

— Это собачье, а не сестрино.

Девушка ночь переспала, идет дальше. Попадаетея ей избушка. Заходит в избушку, там очень грязно. Девять кусков хлеба видит на столе. Она берет и с каждого куска откусывает, сама прячется за печку. Приходят девять братьев, смотрят, порядок наведен: белье выстирано, пол вымыт. Смотрят — так с каждого куска откушено. Они стали кликать, говорят:

— Если ты старая — возьмем в бабушки, помоложе — в матери. Если старик — возьмем в отцы, а если молодая — в сестры.

Девушка выходит из-за печки, братья принимают ее хорошо, и начинает [она] с ними жить. Общаются к братьям в гости трехголовый атаман. Они готовятся, запасают вино, квас, все. Девушка спрашивает:

— Есть ли сабля?

Братья дают сестре саблю, сами ложатся спать, а девушка остается караулить. Слышит — приходит, говорит:

— Ох-ох! Тут русский дух!

Девушка говорит:

— Приходишь, так не заговаривай первый!

Заходит тот атаман трехголовый, девушка саблей головы все отрубае и убивает его. И будит братьев, говорит:

— Уберите это!

Братья убирают. На следующий день обещается шестигрловый. Братья опять напугались, а девушка говорит:

— Дайте мне другую шашку, а сами идите спать.

Девушка опять осталась стеречь. Снова приходит шестигрловый. Девушка отрубае шашкой головы и поднимает братьев. Братья встают, так тут уж порублено! Взяли убрали. На третий

день обещает придти к братьям в гости двенадцатиголовый атаман. Братья опять перепугались. А девушка говорит опять братьям:

— Дайте мне теперь шашку еще больше.

Двенадцатиголовый приходит ночью, девушка ударяет шашкой, одиннадцать голов отрубает, а двенадцатая остается. Братья встают, так одна голова еще есть, и ту отрубают. Потом опять братья идут на работу, а сестра остается дома. Братья говорят ей:

— Никого не пускай сюда, вот тебе собачка.

Потом эта баба Сювяттери узнает: золовка ее дочери живет в таком-то и таком месте. Эта старуха берет корзину яблок, предлагает ее девушке. Говорит:

— Смотри, я сама ем.

Девушка берет яблоко, наполненное ядом. Съедает яблоко и умирает. Приходят братья, а сестра мертвая. Плачут, плачут, так один и говорит:

— Дай-ка хоть пену вытру у сестры с губ.

Пену как вытер, так сестра и ожила. Снова братья говорят:

— Не покупай, сестрица, ничего, не впускай никого!

А сами идут в лес. Баба Сювяттери опять приходит платье продавать. Приходит туда, предлагает платье, так девушка сперва не берет, говорит:

— У меня всего вдоволь.

Баба Сювяттери говорит:

— На, возьми, хоть примерь на себя!

Девушка берет, надевает и умирает. Баба Сювяттери уходит. Братья приходят домой, так сестра опять умерла. Снова братья плачут, начинают ее мыть. Платье как сняли, так она и ожила. Братья уходят в лес и говорят:

— Не покупай ничего, мы тебе всего принесем.

Баба Сювяттери опять узнает и приходит продавать кольцо. Девушке всячески предлагает, но не берет девушка. Баба Сювяттери говорит:

— На, хоть примерь кольцо на палец, попробуй!

На палец девушка [кольцо] надела и умерла. Приходят братья, смотрят, так снова мертвая, а кольцо не догадаются снять. Сделали стеклянный гроб и повесили в саду. Поставили девять столбов, вокруг натыкали ножей и закололи себя, умерли.

Царский сын ходит в лесу, приходит на то место, смотрит — в саду висит стеклянный шкаф, там девушка, ни мертвая, ни живая, только кровь на лице играет. Он берет и везет шкаф домой. Домой приходит, кольцо у девушки снимает с пальца, и девушка оживает. Живут там — с царским сыном эта девушка. Родила жена ребенка. У царского сына просит своей воли, Царский сын дает ей волю. Она берет убивает своего ребенка и едет на лошади к братьям. Братьев помазала кровью ребенка, и все братья ожили. Потом взяла братьев на царство. Царь дал братьям должности:

один стал Олуховым, второй Гучковым, третий был Трепов, четвертый Корнилов, пятый Милюков. И остальные все были на службе у царя — я их видел.

Тут и конец.

41. KUKKIINE DA KIVI

Oli staruwha da starikku, a heil oli poigu da tytär. Mužikku da akku kuoltih, lapsile d'ai vähäine leibiä. Hyö, kuni [kesti], syädi, da leivät loppih. Sid brihačču lähti meččäh. Kävelöw siä, ga löwdäw pertižen, a se pertiine pyäriw.

— Azetu, azetu, pertiine, — sanow, — matkumiäheh ezin!

Dai pertiine azettuw. Menöw, ga siä päčči lämbiäw. Luandalas jawhow Syväteriän akku. Kuaššupadaine päčän iäz. Häi ottaw da kuašat syäw dai iäre lähtöwgi. Tulow kodih, sizäreh sanow:

— Ei ole, veikoini, syvvä!

Veikoi sanow:

— Minul, čidžoini, vaččaine täwzi.

— Ottažid, veikoini, minuwl

A toine sanow:

— Ga läkkä, ga ei piä vai nagrua.

Myäs astutah, pertiine pyäriw. Brihačču sanow:

— Azetu, azetu, pertiine, päiväzeh päi sellin, matkumiäheh pai ezin!

Dai pertiine i azettuw. Mennäh pertižeh, ga päčči lämbiäw, kuaššupadaine päčän iäz, a akku jawhow luandalas. Ruvetah syämäh, ga neižlapsi i trihkahtah nagrua dai Syväteriän akkugü luandalas kuwlow. Tulow Syväteriän akku i sanow:

— Ahah, i puwtuittol

Ottaw labjan da panow päčän edeh i käsköw lapsil ištuaqseh. Hyä se poikkižin, se pitkižin ištutahes, a akku sanow:

— Ei nenga, ei nenga!

A lapset sanotah:

— Ozuta sinä meile, kui pidäw.

Syväteriän akku gu rubiaw ozuttamah, lapset händy päčči i čummutetah dai päččilawdu edeh. Se sinne i palaw.

Hyä piästäh elämäh. Kiviä luandalas ku punaldat — häi vai blinua da piiruadu. Kukkiine päččižen piäl i pletti vuaras.

Hyä eletäh, i ajaw bajari. Tulow dai ottaw pletin vuaras, kiven luandalas dai lähtöw. Tullah hyä mečäs, ga eigo ole plettii, eigo kiviä. A kukkiine sanow:

— Bajari otti, tyändyät minuwl eččimäh!

Lähtöw kukki eččimäh. Astuw, astuw — tulow meri vastah.

Meri sanow:

— Upotan minä sinuwl, kukkil

— Älä upota, meri, mene perziäh!

Astuw iälleh, tulow kondii vastah. Kondii sanow:

— Syän minä sinuwl

A kukki sanow:

— Alä, velli, syä, mene, velli, perziäh!

Dai kondii kukil perziäh. Myäs lähti — astuw, ga tulow hukku vastah. Hukku sanow:

— Syän minäl

A kukki sanow:

— Alä syä, mene perziäh!

Dai hukku kukil perziäh. Viä astuw pereliaskan i tulow hawkku vastah. Hawkku sanow:

— Syän minä sinuwl

A kukki sanow:

— Alä, velli, syä, mene, velli, perziäh!

Dai hawkku perziäh. Sid astuw, astuw dai menöw bajaran hiaruh, lendäw bajaran lewl i lawlāw:

— Bajaran akku, šittun'ukku, šittuhattu bajari, anduad armoittomian lapsian kivi da pletti!

Bajari sanow:

— Mengiä, kuharkad, ottuad neče da pangua toraččuloin kukkiloin keskeh!

Tavatah kukki kuharkad dai pannah kukkiloin keskeh. Sid häi sanow:

— Lähte, hawkku, perziäs!

Dai hawkku lähtöw dai syöw kai kukit.

— Mengiä kaččuad, — bajari sanow toššupiän, — d'ogo tapettih?

Mennäh, ga vai ištuw. Dai doložitah bajaranle. Sid bajari käsköw panna potkiččuloin ubehian keskeh. Dai sinne viättih kukki.

— Lähte, hukku, perziäs iäre! — sanow kukki.

Hukku i lähtöw dai kai ubehet trepaiččow, dai yksin jiäw ištumah kukki. Erähän piän bajari käsköw händy panna puskiččuloin häkkilöin keskeh. Dai pannah sinne. Dai kukki käsköw kondian perziäs päi iäre, dai kondii lähtöw. Piäksäw pahakse kai häkit. Kačotah — ga kukki hengis. Sid bajari käsköw kuharkoil lämmittiä kylvn ylen räkekse. Dai kukki lykätäh sinne, duwmaijah: anna palaw. Kukki i sanow:

— Lähte, meri, perziäs!

Dai meri lähtöw. Mennäh toššupiän kaččomah — ga kukki hengis. Azuw bajari bualun da käsköw kukil piän leikata da žuaria. Dai kukin piän bajari syäw bualus. Lähtöw bajari ubornoih, menöw, ga kukki gi piän čökkiiw perziäs päi i sanow:

— Šittuhattu bajari, šittunenä bajaran akku, anduad armoittomian lapsian kivi da pletti iäres!

Bajari sanow:

— Lähte, kehno, perziäs, annan pletin dai kiven!

Dai kukki perziäs lähtöw da ottaw kiven da pletin. Da nygöigi eletäh lapset hyvin.

Annettih minul viinua r'umkaine, ga sengi kuavoin ryndähile, a bli-nažen heitiin paččahan piäh, da sen söi Lahnan Miša.

41. ПЕТУШОК И ЖЕРНОВ

Были старик да старуха, а у них были сын и дочь. Муж и жена умерли, у детей осталось немного хлеба. Пока хватало, они ели, и хлеб кончился. Потом мальчик пошел в лес. Ходит там и находит избушку, а эта избушка вертится.

— Становись, становись, избушка, — говорит, — к путнику передом!

И останавливается избушка. Заходит, а там печь топится. В подполье мелет баба Сювяттери, перед печью горшок с кашей. Он взял и съел кашу да уходит обратно. Возвращается домой, сестра его говорит:

— Нечего, братик, есть!

Брат говорит:

— У меня, сестричка, живот полон.

— Взял бы, братик, и меня!

А он говорит:

— Что ж, пойдем, но только смеяться нельзя.

Идут опять, избушка вертится. Мальчик говорит:

— Становись, становись, избушка, к солнышку спиной, к путнику передом!

И останавливается избушка. Заходят в избушку, а там печь топится, горшок с кашей перед печкой, а баба мелет в подполье. Начинают есть, а девочка и прыснула, и баба Сювяттери слышит это в подполье. Приходит баба Сювяттери и говорит:

— Ага, попались!

Берет лопату и ставит перед печью да велит детям сесть. Они то поперек, то вдоль [лопаты] садятся, а баба говорит:

— Не так, не так!

А дети говорят:

— Ты нам покажи, как надо.

Баба Сювяттери как начала показывать, дети ее в печь и толкнули да заслонку закрыли. Она там и сгорела.

Они начинают жить хорошо. В подполье жерновов только повернешь — выходят блины и пироги; петух на печи и плетъ на гвозде.

Живут они, и проезжает боярин. Приходит и берет плетъ с гвоздя, жерновов из подполья и уходит. Приходят они из лесу — нет ни плети, ни жерновка. А петушок говорит:

— Боярин взял, отправьте меня искать!

Идет петух искать. Идет, идет — встречается море. Море говорит:

— Утоплю я тебя, петух!

— Не топи, море, иди в мою гузку!

Идет дальше, встречается медведь. Медведь говорит:

— Съем я тебя!

А петух говорит:

— Не ешь, брат, иди, брат, в гузку!

И медведь — петуху в гузку. Пошел опять, идет — встречается волк. Волк говорит:

— Съем тебя!

А петух говорит:

— Не ешь, иди ко мне в гузку!

И волк — петуху в гузку. Еще проходит перелесок, и встречается ястреб. Ястреб говорит:

— Съем я тебя!

А петух говорит:

— Не ешь, брат, иди, брат, в мою гузку!

И ястреб — тоже в гузку. Потом идет, идет и приходит в деревню боярина, взлетает на крышу боярина и поет:

— Боярина жена — навозный нос, боярин в навозной шапке, отдайте жернов и плетъ детей-сирот!

Боярин говорит:

— Идите, кухарки, возьмите этого петуха и бросьте к драчливым петухам!

Ловят петуха кухарки и бросают к петухам.

Тут он говорит:

— Выходи, ястреб, из гузки!

И ястреб выходит и съедает всех петухов.

— Идите посмотрите, — боярин говорит на второй день, — уже убили ли?

Пришли, а он себе сидит. И докладывают боярину. Потом боярин велит бросить к жеребцам, которые лягаются. И унесли туда петуха.

— Выходи, волк, из гузки! — говорит петух.

Волк и выходит и всех жеребцов растерзал, и петух один остается сидеть. На третий день боярин велит бросить его к бодливым быкам. И бросают туда. А петух велит медведю из гузки выйти, медведь и выходит. Истрепал всех быков. Смотрят — а петух жив. Потом боярин велит кухаркам натопить очень жарко баню. И петуха бросают туда, думают: пускай сгорит. Петух и говорит:

— Выходи, море, из гузки!

И море выходит. Идут на второй день смотреть — петух жив. Устраивает боярин бал и велит петуху голову отрезать и изжарить. И петушину голову боярин на балу съедает. Идет боярин в уборную, приходит, а петух голову высунул и говорит:

— Боярин в навозной шапке, боярина жена — навозный нос, отдайте плетъ и жернов детей-сирот!

Боярин говорит:

— Выходи, негодный, отдам плетъ и жернов!

И петух выходит и берет жернов и плетъ. И даже поныне живут дети хорошо.

Дали мне вина рюмку, да я и ту пролил на грудь, а блины оставил на голбце, и съел их Лещов Миша.

No, oli mužik da ak, el'et't'ii Mužikal da akal oli kolme poigat. Kakš poigad ol'd'ii brihat hyvät, a kolmanž oli Taras. No ku Tarasul kyzytää:

— No, mid'ä, Taras?

A hän sanow:

— A Taras äijän tiedäw, da ei sanu ni mid'ä.

No kyzytää, kyzytää, ku ei sanu ni mid'ä. No ižä työndyt't poigit toižid, hyvid poigid: «Mängät šidogat händää mečas puwh». No män'd'ii, mečas puwh händää šidot'ii. Ajaw šigä cuari vai kuningas. Hyvil nenil, kaval'reiskoil. No i kuwlow, što vongund mänöw tobju mečas. No i sanow šigä omile, ked hällää oldaa šigä, ei yksin vit' aja: «Mängät, — sanow, — katsogat, ken šigä ringuw». Mendi, ka Taras puws rippuw, da ristikanzu on, Tarasuksi kučutaa. Ni i kyzytää:

— Nu mid'ä, Taras?

— A Taras äijän tiedäw, da ni kel ei sano.

— Ka tuogat händää t'anne, otame kerall

Nu i otet'ii, tuod'ii kod'ii.

— Nu, Taras, mid'ä?

— A Taras äajän tiedäw, da ni mid'ä ei sano.

— Nu pangat händää temnitsul

Händää pandii, syötetää šigä n'ämäd sluwgat händää. Temnitse ištuw. No i kyzytää:

— Mid'ä, Taras?

— A äijän tiedäw Taras, da ei sano ni mid'ä.

Nu i lähteškäž kuningas toižih muaihe naimah. Taras sanow n'ämile sluwgile:

Laskegat t'yö mindaa — sanow, — kodvaiželkse, antkat milei oružu da kaks saldattat.

— Laskemme, — sanow, — ka, tulow cuari ka meid... mid'ä lienöw meil?

— Ei, — sanow, — ma tulen enne cuariil

Nu i l'äht' dorogad myö. Mečäz mänöw moin'e ambund, ringund, ka piestä jumall No i sanow saldatoile:

— Olgat kodvain'e t'äz, a ma lähten katsun, mid'ä šigä ringutaa.

Nu i mänöw. Mänöw šine, ka pahad jagetaa šuapkad. Art't'eli heid on, ka kelle dostanižow šuapk.

— Oi, — sanow, — hyvä miez, mit'e meilä t'ämä jagada?

— A vot, — sanow, — min'ä ambun, kudam pul'kan löwdäw, sen i šuapk.

No i ambui. A hyö kui howkad hypit't'ii pul'kad eččimää. A Taras šuapkan ot't' dai läkä. No läkä, tuli saldatoijennu. I myöste lähtii edellee. Lähtii edellee, men'd'ii, men'd'ii. Myöste ringund mänöw šigä mečas, ka strašnii. «A seižugat vai netäs kodvaine. A min'ä lähten šigä, mid'ä ringutaa, mid'ä torataa». Mänöw, ga hyö tuluppad jagetaa.

— Oi hyvä miez, mit'e meile t'ämä tulup, — sanow, — jagada, kelle dostanižow?

— A vot, — sanow, — ku min'ä ambun metsää, kudam löydää pul'kan, sen i tuluppl!

Hän ambui. Hyö kui howkad hypittii myöste metsää. A Taras tulupan ot't' da myöste edellee. Tuli saldatoijennu. No myöste edelle v put' i lähtie. Nu kodvu män'd'ii. Ku myöste mänöw ringund' šigä ka piestä hospod'l «Nu vot, — sanow, — brihat, olgat šid, ma lähten vie kävyn, — sanow». Nu i mäni, ka hyö kovrad jagetaa:

— Nu kelle t'ämä kovr dostanižow?

— A ambun, — sanow, — ka löwkkät mängät, ken pul'kan löwdäw, sen i kovru.

No hyö i lähtii eččimää. A Taras kovran ot't' dai l'äks. Tuli kaza-koijennu se dorogale. Kovral ištežet't'ii. Lettiw, lettiw kovr, heit' kanda. Men'd'ii d'o šinne, kus cuari nai. No šinne hyö men'd'ii moižele hyväle kohtaižele, kriežaižele. Saldatoid da kovran jet't'äw, a Taras läht'öw. Nu i mäni, ka šigä oli Ivan Carevič jo kn'aginannu. Kn'aginal on tobjat zadanjad, mid'ä Taras voiž awttaa.

— Vot, — sanow, — kun miit't'ien min'ä veššiežen tuon podnosannu, ka moižen ku sa tuonet, ga äskin ma lienen šinun taga miehel.

No, a Taras kuundelow. Läht'ii lawkkaa, Ivan Carevič dai kn'agin ostamaa. Mänöw šigä kn'agin, kzyzw kuldaizen botinkan. Kn'agin ottaw yhten, a Taras, nevidimoid sovad on piel ka, hän hvattiw kaksi. No. Dai kormanii panoo. Dai tuloo. Jo kn'agin kučču, što:

— Tule, ongo šilai moine viešši ali ewle?

No tuloo. Ka andoi kuldaizen botinkan, a Ivan Carevičal on se huoli, mene tiijä, kui... Kui käden čokkaildaw, ka hălai moine že kormanos! (No Taras-kulu se händää näge piestä.)

— Vot, — sanow, — et sa ole hitrija, on šilai ken tahto hitrijamb šinuudas.

No i myösten häle sanow:

— Vot vie, — sanov, — ma šilei andan zadanjan miit't'ien. Ku-miit't'ien ma tuonen, moižen tuonet ka, äski ma sinun taga tulen miehele, ku sen voinet.

Šigä i Taras on, kuz on Ivan Carevič.

No lähtää, hebo val'tastetaa, šigä ištutetaa kn'agin. Kn'agin lahtöo meren rannal. No. Dai Taras, kus hyö ištutaa, šid i Taras ištuu, heijen kere yhtel korieta! ajaa, kn'aginan da sluwgien. Män'd'ii meren randaizele šigä, dai kn'agin ringuw:

— Oi, diedoi, diedoi, tule, ma šilai hod' jälgimäizen tien piäd ečin! Ma uidin loitto.

A šigä vežien izänd se tulow, ka yn'n'ää veži se čiihod'-elow. A Taras duwmajow: «Midä sinä ruadad, ka šidäi minä ruadan». No:

— Oi, diedoi, diedoi, anda ma šilei piäd ečin hod' jälgimäizen kieraizen!

— A eči.

Eččiw.

— Andaižid, diedoi, milei hod' yhten tukaižen.

— Ota, — sanow, — da hil'akašt'i ota.

Kn'agin se hil'akašt'i, a Taras t'äyden kobran!

— Oi, mäne sa läbi muas, t'ämän kibedäle ved'id da!

Taras ved'aw ka.

Nu i tul'd'ii myöstei. Kn'agin duwmajow: «Kuga on, ei hällää moišt ni mual». Tuow ku podnosai tukan, a ku Ivan Carevič čokkaildaw käin kormanih, hällää moine že.

— Et, — sanow, — sa ole hitrjja, on šilai ken tahto hitrjjamb šindaal

No ka ole mi tahto, ku muga mänow ka. Kai hyvälle.

— No i vie, — sanow, — andan zadan'jan, vie yhten. Sen spruavinet, no äskin, — sanow, — minä lähten šinun tagal

— Nu ka anda.

— Voinet mejän ubehel, — sanow, — ajelda, äske ma lähten šinun taga.

— No ka val'asta.

Nu i azet'et'ii šigä, pan'd'ii ajelemaa, se ištuihe. A Taras rinnal. Ku lähtow ajamaa, Taras ku andaa rawdaižel pletil, oivaližel, heijen ubeh pol'vuižil heittääže.

— Vot, — sanow, — n'engomadgi t'eil oldaa ubehed? Meil vai vet't' vedet'ää nengomil.

Nu i hyö lähtietää kodii kn'aginan kere ajamaa.

A Taras myöste tuli šihi kohtaa saldatoiennu, kovran ot't' da pojehali kodii. Nu i tuli myöste cuarinnu sen. Dai ned händää salbat'ii sluwgat. Dai viutetää. Tulow d'o svuad'ban kere Ivan Carevič. No, i tuli d'o kn'aginan kere. Tuli, kzyzw:

— No mit'e se, — sanow, — kuga Taras?

— A Taras, — sanow, — endižid pagižow.

A se ei sanota, što oli kuga libo mid'ä.

— Pid'aw lähtä, — sanow, — hot' katsuda, millai häi on.

Mäni, sanow:

— Nu, mid'ä, Taras?

— A Taras aštän tiedaw, da ei sano ni midä!

No sid d'o šihi sah mänöb, što händää pidää d'o ambuda. D'o tuodaa šigä, štobi ambumaa... No ka hän n'ämä viešit ku ozuttaw hälle, ka Ivan Carevič dogadihes, ken händää piešt'i. Puoli carstvuada andoi da nygöi šie Taras vai cuarinnu eläw.

42. [НЕРАСКАЗАННЫЙ СОН]

Ну, были муж да жена, жили. У мужа и жены было три сына. Два сына было хороших, а третий был Тарас. Как спросят Тараса:

— Ну что, Тарас?

А он говорит:

— А Тарас много знает, да не скажет ничего.

Ну, спрашивают, спрашивают, да не говорит ничего. Ну, отец отправил других сыновей, хороших сыновей: «Пойдите, привяжите его в лесу к дереву». Пошли, в лесу к дереву его привязали. Едет там царь или король. На хороших этих [конях], кавалерийских. И слышит, что по лесу разносится страшный крик. Но и говорит там своим, кто там с ним был, не один ведь ездит: «Сходите, — говорит, — посмотрите, кто там кричит». Приходят, а там Тарас на дереве висит, крещеный, Тарасом зовут. Да и спрашивают:

— Ну что, Тарас?

— А Тарас много знает, да никому не скажет.

— Так приведите его сюда, возьмем с собой.

Ну и взяли, привезли домой:

— Ну, Тарас, что?

— А Тарас много знает, да ничего не скажет.

— Ну, так закройте его в темницу!

Его заперли, кормят там его слуги. В темнице сидит. Ну и спрашивают:

— Что, Тарас?

— А Тарас много знает, да ничего не скажет.

И едет король свататься в другие страны. Тарас говорит этим слугам:

— Отпустите вы меня, — говорит, — ненадолго, дайте ружье и двух солдат.

— Отпустим, — говорят, — а как придет царь, так что с нами будет?

— Нет, говорит, — я приду раньше царя!

Ну и пошел по дороге. В лесу такая стрельба, крик, так упаси боже! И говорит солдатам:

— Оставайтесь ненадолго здесь, а я пойду посмотрю, что там кричат.

Ну и пошел. Приходит туда, а там нечистые шапку делают. Их целая артель, так кому шапка достанется.

— Ой, — говорят, — добрый человек, как нам это поделить?

— А вот, — говорит, — я выстрелю, который пульку найдет, того и шапка.

И выстрелил. А они как дурные поскакали пульку искать. А Тарас шапку взял и пошел. Пошел, приходит к солдатам. И опять дальше идут. Идут дальше, шли, шли. Снова крик в лесу, такой страшный. «А постойте-ка здесь немножко. А я пойду туда, чего кричат, чего дерутся». Приходит — так они тулуп делают.

— Ой, добрый человек, как нам этот тулуп, — говорят, — поделить, кому достанется?

— А вот, — говорит, — как я выстрелю в лес, который найдет пульку, того и тулуп!

Он выстрелил. Они опять как дурные побежали в лес. А Тарас тулуп взяв и пошел дальше. Приходит к солдатам. И опять отправляются дальше в путь. Долго шли. Опять в лесу крики, что упаси господа! «Ну вот, — говорит, — ребята, стойте здесь, а я пойду еще схожу», — говорит. И ушел. Они ковер делают:

— Ну, кому этот ковер достанется?

— А выстрелю, — говорит, — так подите найдите, кто пульку найдет, тому и ковер.

Они и пошли искать. А Тарас взял ковер и пошел. Пришел к солдатам на дорогу. Сели на ковер. Летит, летит ковер, их несет. Прилетели уже туда, где царь женится. Пришли они там на такое хорошее местечко, на кряж. Солдат и ковер оставил, а сам Тарас пошел. Ну и пришел, а Иван Царевич уже был там у невесты. Невеста задала трудные задания, Тарас мог бы помочь.

— Вот, — говорит [невеста], — какую я вещь принесу в подарок, так если ты такую же принесешь, так только тогда я выйду за тебя замуж.

А Тарас слушает. Пошли в лавку, Иван Царевич и невеста, покупать. Идут в лавку, просит невеста золотой ботинок. Невеста берет один, а Тарас в невидимой одежде схватил два. Вот. Да и положил в карман. И приходит. Уже невеста зовет [Ивана Царевича]:

— Иди, есть ли у тебя такая же вещь или нет?

Приходит. Подает золотой ботинок, а уж Иван Царевич не знает, как и быть. Как руку сунет в карман, так у него такой же в кармане! (Видишь, это Тарасушка его выручает.)

— Вот, — говорит [невеста], — не ты хитрый, есть у тебя кто-нибудь похитрей тебя.

Ну и опять же ему говорит:

— Вот еще, — говорит, — я дам тебе задание какое. Какое я принесу, если такое же принесешь, так только тогда я выйду за тебя замуж, если это сможешь.

Там и Тарас, где Иван Царевич.

Ну, поехали, лошадь запрягли, посадили туда невесту. Невеста едет к морскому берегу. Да. И Тарас — где они сидят, там и Тарас сидит. С ними в одной карете едет — с невестой да со слугами. Приезжают к берегу моря, невеста и кричит:

— Ой, дедушка, дедушка, иди, я тебе хоть последний раз в голове поищу! Я уеду далеко.

А оттуда хозяин воды выходит, вода так и бурлит. А Тарас думает: «Что ты будешь делать, и я то же сделаю». Так вот:

— Ой, дедушка, дедушка, дай я у тебя в голове поищу хоть последний разок!

— А ищи.

Ищет.

— Дал бы ты, дедушка, мне хоть одну волосинку.

— Возьми, — говорит, — только остороженько возьми.

Невеста остороженько, а Тарас полную горсть!

— Ой, провались ты сквозь землю, как больно тянешь так!

А это Тарас ведь тянет.

И приходят опять. Невеста думает: «Где уж ему, такого у него и в помине нет». Как приносит на подносе волос, а Иван Царевич как сунет руку в карман, у него такой же.

— Не ты, — говорит, — хитрый, есть у тебя кто-нибудь похитрей тебя!

А как бы ни было, раз получается, так... Все по-хорошему.

— И еще, — говорит, — дам задание, еще одно. Это выполнишь, ну тогда, — говорит, — я пойду за тебя.

— Ну, так давай.

— Если сможешь на нашем жеребце, — говорит, — поездить, только тогда я пойду за тебя.

— Ну, так запрягите.

Ну и наладили все, приготовили, он сел. А Тарас рядом. Как поехали, Тарас как даст железной плеткой, здоровенной, жеребец на колени и опустил.

— Вот, — говорит, — такие ли у вас и жеребцы? У нас на таких только воду возят.

Ну и поехали они домой с невестой.

А Тарас тоже пришел на то место к солдатам, взял ковер, и полетели домой. Приходит к царю туда. Эти слуги его и заперли. И ждут. Приезжает со свадьбой Иван Царевич. Ну и приезжает с невестой. Приехал, спрашивает:

— Ну, как там, — говорит, — где Тарас?

— А Тарас, — говорит, — прежнее твердит.

А не говорят, что был где-то.

— Надо пойти, — говорит, — хоть посмотреть, как он там.

Приходит, говорит:

— Ну что, Тарас?

— А Тарас много знает, да не скажет ничего.

Ну, уже до того дело доходит, что его надо уже расстрелять. Уже приводят, чтобы стрелять... Ну а он как вещи эти показал ему, так Иван Царевич и догадался, кто его выручал. Полцарства отдал, да теперь Тарас там царем и живет.

43. OZA-SUARNU

Oli enne kaksi vellesty. Yksi oli bohattu, toine kewhy. Kewhy velles ruadaw yöt i päivät, yksikai hänel syvvä ni midä ewlo, i lapset hänen čut' ei nälgäh kuolta. A bohattu velles rua ni midä ei, yksikai eläw ylen bohattali. Kewhy velleh rubei akan kera pagizemah:

— *Što za okazii* nengoine: meijen veikoi rua ni midä ei, yksikai eläw bohattali. Mi tahto ga on čuwdo. Myö ruammo yöt i päivät, yksikai syvvä ni midä ewlo, lapset meijen n'älläs ollah.

Erähän huondeksen kewhy velles lähtöw meččäh hebuo tuomah. Puuttuw häin kaskenajajih, yheksä miesty meččiä leikatah, i kyzyw miehil:

— Midbo työ miehii oletto?

Miehet sanotah:

— Myö olemmo sinun vellen Ozat, bohatan Ozat.

— A kewhy velles sanow:

— Kusbo minun Oza on? Ongo minul Oza miittyine tahto?

Net miehet sanotah:

— On sinul Oza, sinun Oza maguaw mustan meren rannas suwrel kivel, ruskiel vuattiel kattanuheze i maguaw.

A kewhy velli sanoi:

— Kuibo voinow händy nähtä?

— Nähtä voit sinun Ozua. Mene sinä Ozalluo, ota kolme pihlastu viččua i Ozalluo mennet i selgäh vičoil niilöil rapsua, i Oza nowzow maguamas i kyzyw: «Midä tuliit?». Siit sano iččes položenii.

Muga i ruadaw. Lähtöw kewhy velles Ozalluo. Ottaw kolme pihlastu viččua i menöw Ozalluo. Menöw Ozalluo, kaččow — maguaw ruskiel vuattiel kattanuheze mies. Ottaw selgiä vaste vičal išköw, i Oza nowzow maguamas i Oza kyzyw:

— Midä tuliit?

Mužikku sanow:

— Sinä maguat, a minun lapset kuoltah nälläs!

A Oza sanow:

— Annan minä sille pyhkimen. Menet kodih, konzu syvvä pidämäh ruvennow, siit pane stolale pyhkin: roih sille syömisty, d'uomistu kaiken ualastu, midä vai sille pidänöw.

I lähtöw mužikku kodih. Menöw mužikku kodih. Lapset n'älläs väd'zistäh. Lapset sanotah tuatalleh:

— Nygy pidäw meile n'älgäh kuolta.

Mužikku ottaw pyhkimen stolale levittäw, siid rodiew hälle syömisty i d'uomistu, midä vai pidäw. Lapset istutahes stolah, syvväh — d'uvvah, i rodiew lapsile hyvä. Eletäh lapset ihastuksis nedälin päivät, d'o lapset lähtietäh pihale hyppimäh. Konzu lapset n'älläs oldih, ei voidu kävvä ni pihale hyppimäh, siit ruvettih pihale käwmäh. A bohattu velles kaččow sidä dielua. Mennäh lapset diädöllyö pertih. Diädöh rubiew kyzelemäh:

— Midä syöttö?

Lapset sanotah:

— Meijen tuatto toi pyhkimen, stolale gu panow, siid roih syömisty, d'uomistu, zakuskua, viinua. Nygy syömmö da d'uommo, meil on hyvä eliä!

Bohattu velleh duwmaičow: «Pidāw neče pyhkin muanittua veikoi iäre». Bohatale vellele tullah gost'at: papit, ur'adniekat. Bohattu velli menōw kewhän vellellyö, sanow:

— Anna, veikoi, pyhkin, mille gost'at tuldi. Gost'at gu lähtietäh, siit minä annan pyhkimen d'ärilleh.

I andaw kewhy velles pyhkimen. Pyhkimen andaw kewhy velles bohatale. Menōw bohattu velles kodih, levittäw stolale pyhkimen: roi-heze hälle syömisty, d'uomistu, midä vai pidänōw, zakuskua, viinua, i käskōw gostie syömäh. Gost'at istutaheze stolah — papit, ur'adniekat — syvväh, d'uvvah hyö i humaldutah. Ruvetah pajattamah, siit piiruitaheze sutkat. Gost'at lähtietih bohatan vellellyö iäre.

I rubei pidämäh kewhän vellen lapsile syvvä, i sanotah tuatolleh:

— Tuatto, nygy meile syvvä pidäis!

Tuattah sanow lapsile:

— Mengiä, tuogua pyhkin diädäs lyö.

Lapset mennäh, sanotah:

— Diädö, anna pyhkin, meile syvvä pidäis.

Diädoöh sanow:

— Minä, kačo, pyhkindy en anna, mengiä iärel

Tullah lapset tuatalluo kodih. Tuatalleh sanotah:

— Ei diädö pyhkindy andanu.

Tuattah menōw iče velleh lyö. Menōw sinne velleh lyö, sanow:

— Anna, veikoi, pyhkin iäre.

Bohattu veles sanow:

— Minä pyhkindy en anna!

Ruvettih hyö zdoirimah. Ottaw bohattu velles ufatkoin kere provodiw kewhän vellen iäre pertis. Tulow kewhy velli lapsielluo, lapsile sanow:

— Nygy pidāw meil nālgäh kuolta, veikoi mille pyhkindy ei andanu.

Lapset ruvettih itkemäh. Kewhy velles duwmaičow: «Pidāw lähtie Ozalluo kävvä». Lähtōw kewhy velles Ozalluo. Ottaw kolme pihlastu viččua i menōw Ozalluo. Sanow ozale:

— Nygy minä tuliin sinulluo, minun lapset nālgäh kuoltah.

Oza andaw hälle kukkaron. Kukkaron moizen andaw: ota mi tahto kukkaros d'engua, d'engat ei loppei.

Tulow kewhy velles lapsielluo. Ottaw ostaw leibiä lapsile, čuajuw, zuaharii, syömisty kaiken ualastu, nižustu. Rubiew lapsie syöttämäh ylen hyvin. Lapset d'o ruvetah pihua myö kävelemäh, hyppimäh. I mennäh lapset erähän päivän diäd'ällyö pertih. Rubiew diädäh lapsil kyzelemäh, sanow:

— Viego midä on syvvä teil, lapset?

Lapset sanotah diäd'älle:

— Meijen tuatto toi kukkaron, ota mi-tahto kukkaros d'engua, d'engat ei loppei. Siid ostaw meile leibiä, čuajuw, zuaharii, nižustu, syömisty kaiken ualastu, meil on nygy hyvä eliä!

Bohattu velles duwmaičow: «Pidāw neče kukkaro muanittua iäre — ei mikse pidā kewhāle nengostu kukkaruo».

Tullah bohatan vellen tyttäreš sulhaizet — kupsan poigu. Hāin sulhaizet priimiw, syöttāw, d'uoṭṭaw i luadiw svuad'bon kupsan poiiale. Menōw bohattu velles kewhān vellellyö.

— Anna, veikoi, kukkaro svuad'boa pidiä. Svuaḁ'bon proidihuo minä annan d'ärilleh kukkaron.

Kewhy velles andaw kukkaron bohatale. Bohattu ottaw kukkaron, menōw kodih, avuaw kukkaron, ottaw d'engua kukkaros, mi vai pidāw, i rubiew svuad'boa pidāmāh. Pidāw svuad'bon ylen šikarno. Ostaw viinua svuad'bah, svuad'barahvahale, i d'uoṭṭaw susiedoile ylen äijän. Susiedat hāndy blahodaritah. Svuaḁ'bah lopei se, i menōw kewhy velles pakiččemah kukkaruo.

— Anna, veikoi, kukkaro iäre, pidāw lapsile syömisty ostua.

Bohattu velles sanow:

— Kukkaruo minä en anna!

Kewhy velles sanow:

— Anna, veikoi, kukkaro, minun lapset n'älgäh kuoltah.

Bohattu sanow:

— Kuoltaneh, ga kuolgah, minä, kačo, kukkaruo en anna.

Ruvetah hyö sporimah. Ottaw bohattu velles ufatkan kādeh i providiw pertis ufatkan kere. Tulow kewhy velleh kodih lapsielluo, sanow:

— Nygy meil n'älgäh kuolta pidāw, ei veikoi andanu kukkaruo.

Kewhy velles duwmaičow: «Nygy pidāw vie lähtie kävvä Ozalluo, midä hāin vie sanow». Lähtōw kewhy velles Ozalluo. Ottaw kolme pihlastu viččua. Menōw kewhy velles ozalluo. Oza maguaw ruskiel vuatiel katettu. Išköw pihlazel vičal selgäh. Oza nowzi maguamas. Oza sanow:

— Midä tuliit?

Sanow kewhy velleh Ozale:

— Andoit sinä mille pyhkimen, kukkaron, net minul bohattu veikoi kai muanitti, anna ei d'ärilleh.

I Oza andaw hälle sumkan, sanow:

— Sumkan andanen, mene kodih, — sanow, — älä d'uwri kodii vaste mene, avua sumku. Sumkale sano: «Anna mieläy». A midä, slučai, rodineh, voit sanua: «Roih, sumku, mieläy, ei pie enämbiä».

Kewhy velli ottaw sumkan i lähtōw kodih päi astumah. Astuw lähembä kodie, avuaw sumkan i sanow sumkale:

— Sumku, anna mieläy!

Sumkas hyppiāw kolme miesty nahaikoin kere, otetah nahaikat, vodata ruvetah selgäh. D'o mužikale rodih kibe. Enämbi hälle tirpua ei voi. Siit mužikale d'uohtui mieleh:

— Roih, sumku, mieläy! — i miehet d'ärilleh sumkah mennäh.

I tulow mužikku kodih. Sumku ylen hyvä kaččuo, šikarnoi. Kodih tulow, sumkan panow vuornah.

Rubiew elämäh kodis, i lapsile ei rodei syvvä. Lapset d'õ kävelläh pakiččemah kyliä myö, d'õ mennäh diädöllyö pertih. Diäd'õh rubiew lapsil kyzelemäh:

— Midä teil on, lapset, tuattas viego midä toi?

Lapset sanotah diäd'älleh:

— Tuatto toi yhten sumkan.

A bohattu velles duwmaičow: «Kui neče sumku muanittua kewhäl? Kewhäle ei nengostu hyviä sumkua pie».

Bohattu velles lähtiškändöw mierole žiivattua ostamah. Hänel ewlo sumkua hyviä. Menöw kewhän velleh luo, sanow:

— Anna, veikoi, sumku mieroh lähties. Mieros tuldui minä annan sumkan d'ärilleh.

Kewhy velli andaw sumkan, nevvow:

— Menet pertih, avua sumku. Sano: «Sumku, anna mieldy».

Iče kewhy velles lähtöw kylyh ehtäl. Bohattu velleh menöw kodih i avuaw sumkan i sanow sumkale:

— Sumku, anna mieldy!

I hyppiäw sumkas kolme miesty i otetah nahaikoil [pergua] bohattua velliä. D'õ bohattu velli vonguu, d'õ bohattu velli lapsile sanow:

— Minuw nygy tapetah, mengiä kučukkua tänne, eigo tule veikoi minuw piästämäh!

Lapset mendih kewhän vellelluo. A kewhy velleh piädyi kyls. Mendih sinne, sanottih lapset:

— Oi diäd'õ-rukku, tuattua tapetah!

— Midä i ruattaneh, en lähte alasti, kylben da pezemös.

Kewhy velles kylbiiheze, peziiheze, sovat piäle pani i kyls lähti. Meni sinne bohatan vellellyö. Velliedäh aivin dubinoidah selgäh. Meni sinne vellellyö, ga bohattu velli i sanow:

— Oi velli-rukku, piästä — nygöi tapetah!

Kewhy velli sanow:

— Piästän, andanet pyhkimen d'ärilleh ga.

Bohattu velli sanow:

— Annan, vai piästäl

— Oho, — sanow, — sinuw vai piästä, ga et anna. Andanet enne piäständiä.

I bohattu velles sanow iččeh akale:

— Eči pyhkin teriämbi i anna veikoile kädeh!

Akkah eči pyhkimen i andoi kewhäle vellele kädeh. Kewhy velles sanow:

— Pyhkimen andoit. Kukkaron, kuduon otiit minul, muanitiit — andanet, siid piästän.

Bohattu velles sanow:

— Piästä vai, annan siid!

Kewhy velles sanow:

— Oho, andanet gu ennen piäständiä, siid äski annan, muanitteliit minuw et yhten kierdua.

Bohattu velles sanoi akale:

— Oi, eči kukkaro teriämbil
Kukkaron ečii akku, andoi kukkaron kewhäle vellele kädeh. Kewhy velleh sanow:

— Nygy piästän.

Kewhy velles sanoi sumkale:

— Sumku, roih mielädy, ei pie enämbi.

Miehet sumkah d'ärilleh mendih, bohattua vellid heitettih lyöndy. Bohattua vellid lyödih, vähis hengis piäzi. Kewhy velleh meni kodih, otti pyhkimen, d'engukukkaron. I nygy eläw ylen hyviin: piästih lapset syömäh. Bohatale vellele puwtui selgäh nahaikal. Nygy vai eletäh ylen hyviin, česnim por'adkom.

43. СКАЗКА О ДОЛЕ

Были когда-то два брата. Один был богатый, другой — бедный. Бедный брат работает дни и ночи, все равно есть ему нечего, и дети у него чуть с голоду не умирают. А богатый брат ничего не делает, все равно живет очень богато. Бедный брат стал с женой разговаривать:

— Что за оказия такая: наш брат ничего не делает, все равно живет богато. Тут какое-то чудо. Мы работаем и дни, и ночи, все равно есть нечего, дети наши голодные.

Однажды утром бедный брат идет в лес за лошадью. Набрел он на людей, рубящих пожогу. Девять мужчин валят лес, и [он] спрашивает у мужчин:

— Что вы за люди?

Мужчины говорят:

— Мы — Доли твоего брата, Доли богатого.

А бедный брат говорит:

— Где же моя Доля? Есть ли у меня какая-нибудь Доля?

Эти мужчины говорят:

— Есть у тебя Доля, твоя Доля спит на берегу черного моря на большом камне, красным сукном укрывшись спит.

А бедный брат сказал:

— Как бы мне ее увидеть?

— Можешь увидеть свою Долю. Ты иди к Доле, возьми три рябиновые ветки и, когда подойдешь к Доле, ударь этими ветками по спине, и Доля встанет и спросит: «Зачем пришел?». Потом расскажи о своем положении.

Так и делает. Идет бедный брат к Доле. Берет три ветки рябины и идет к Доле. Приходит к Доле, смотрит — спит мужчина, накрывшись красным сукном. Берет да веткой по спине ударяет, и Доля встает и спрашивает:

— Зачем пришел?

Мужик говорит:

— Ты спишь, а мои дети умирают с голоду!

А Доля говорит:

— Дам я тебе скатерть. Когда придешь домой, если захочешь есть, то расстели на столе скатерть: будет у тебя еды, питья всякого, чего тебе только надо.

И идет мужик домой. Приходит мужик домой. Дети голодные пищат. Дети говорят отцу:

— Теперь нам придется с голоду умереть.

Мужик берет скатерть, на стол стелет, и становится тут еды и питья, какого только надо. Дети садятся за стол, едят, пьют, и стало детям хорошо. Живут дети веселые с неделю, уже идут на улицу бегать. Когда дети были голодные, не могли ходить на улицу бегать, а теперь стали на улицу выходить. А богатый брат смотрит на это дело. Заходят дети к дяде в избу. Дядя их начинает расспрашивать:

— Вы что едите?

Дети говорят:

— Наш отец принес скатерть: как расстелет на стол, тут появляется еда, питье, закуски, вино. Теперь едим и пьем, нам хорошо жить!

Богатый брат думает: «Надо эту скатерть у брата выманить». К богатому брату приходят гости: попы, урядники. Богатый брат идет к бедному брату, говорит:

— Дай, братец, скатерть, ко мне гости пришли. Гости как уйдут, тогда я отдам скатерть обратно.

Бедный брат и дает скатерть. Скатерть дает бедный брат богатому. Идет богатый брат домой, расстилает на столе скатерть: стало у него еды, питья, что только надо, закуски, вина, и просит гостей есть. Гости садятся за стол — попы, урядники, едят, пьют, и они опьянели. Начинают петь, пируют они тут сутки. Уходят гости от богатого брата.

И захотелось детям бедного брата есть, и говорят отцу:

— Отец, нам теперь есть захотелось!

Отец говорит детям:

— Сходите, принесите скатерть от дяди.

Дети идут, говорят:

— Дядя, дай скатерть, нам есть захотелось.

Дядя говорит:

— Я, смотри, скатерть не отдам, уходите!

Приходят дети домой к отцу. Отцу говорят:

— Дядя скатерть не отдал.

Отец идет сам к брату. Приходит туда к брату, говорит:

— Отдай, братец, скатерть.

Богатый брат говорит:

— Я скатерть не отдам!

Повздорили они. Богатый брат с ухватом выпроваживает брата из избы. Приходит бедный брат к детям, детям говорит:

— Теперь придется нам с голоду помирать, брат мне скатерть не отдал.

Дети стали плакать. Бедный брат думает: «Надо пойти сходить к Доле». Идет бедный брат к Доле. Берет три ветки рябины и приходит к Доле. Говорит Доле:

— Теперь я пришел к тебе, мои дети умирают с голоду.

Доля дает ему кошелек. Кошелек такой дает: бери из кошелька сколько хочешь денег — деньги не кончаются.

Приходит бедный брат к детям. Покупает хлеба детям, чаю, сахару, всякой еды, белого хлеба. Кормит детей очень хорошо. Дети уже начинают ходить по двору, бегать. И заходят дети однажды к дяде в избу. Начинает дядя у детей спрашивать, говорит:

— Есть ли у вас хоть что поесть, дети?

Дети говорят своему дяде:

— Наш отец принес кошелек: возьми из кошелька сколько хочешь денег — деньги не кончатся. Он покупает нам хлеба, чаю, сахару, белого хлеба, еды всякой. Нам теперь хорошо жить!

Богатый брат думает: «Надо этот кошелек выманить — ни к чему бедняку такой кошелек».

Приходят к дочери богатого брата женихи — купеческий сын. Они жениха принимают, кормят, поят и устраивают свадьбу. Идет богатый брат к бедному брату.

— Дай, братец, кошелька свадьбу справить. Когда свадьба пройдет, я кошелек верну.

Бедный брат дает кошелек богатому. Богатый берет кошелек, идет домой, открывает кошелек, берет денег из кошелька сколько надо и начинает свадьбу справлять. Справляет свадьбу очень шикарно. Покупает вина для свадебных гостей и поит соседей досыта. Соседи его благодарят. Свадьба эта кончилась, и идет бедный брат просить кошелек.

— Отдай, братец, кошелек, надо детям еды купить.

Богатый брат говорит:

— Кошелька я не отдам!

Бедный брат говорит:

— Отдай, братец, кошелек, мои дети умрут с голоду.

Богатый говорит:

— Умрут, так пускай умрут, я, смотри, кошелька не отдам.

Стали они спорить. Богатый брат берет ухват и выпроваживает ухватом из избы. Приходит бедный брат домой к детям, говорит:

— Теперь нам придется с голоду умирать, брат кошелька не отдал.

Бедный брат думает: «Надо еще пойти сходить к Доле, что он еще скажет». Идет бедный брат к Доле. Берет три ветки рябины. Приходит бедный брат к Доле. Доля спит, укрывшись красным сукном. Ударяет рябиновой веткой его по спине. Доля встает, говорит:

— Зачем пришел?

Говорит бедный брат Доле:

— Дал ты мне скатерть, кошелек, их у меня богатый брат выманил, обратно не отдает.

И Доля дает ему сумку, говорит:

— Дам тебе сумку, иди домой, — говорит, — не доходя совсем до дому, открой сумку. Сумке скажи: «Дай ума!». А если в случае что произойдет, можешь сказать: «Хватит, сумка, ума, не надо больше!».

Бедный брат берет сумку и отправляется домой. Подходит поближе к дому, открывает сумку и говорит сумке:

— Сумка, дай ума!

Из сумки выскакивает трое мужчин с нагайками, берут нагайки, начинают дубасить по спине. Мужу уже стало больно. Больше он терпеть не может. Потом ему пришло на ум:

— Хватит, сумка, ума! — и мужики уходят обратно в сумку.

И приходит мужик домой. Сумка очень хорошая с виду, шикарная. Приходит домой, сумку вешает на гвоздь.

Начинает жить дома, а детям нечего стало есть. Дети уже ходят просить по деревне, уже идут к дяде в избу. Дядя начинает у детей расспрашивать:

— Что у вас есть, дети? Принес ли отец еще что-нибудь?

Дети говорят своему дяде:

— Отец принес только одну сумку.

А богатый брат думает: «Как эту сумку выманить у бедняка? Бедняку такая хорошая сумка не нужна».

Богатый брат собирается ехать скотину покупать. У него нет хорошей сумки. Идет к бедному брату, говорит:

— Дай, братец, сумку съездить по делам. Вернусь и сумку тебе отдам.

Бедный брат дает сумку, советует:

— Когда придешь в избу, открой сумку. Скажи: «Сумка, дай ума!».

Сам бедный брат идет вечером в баню. Богатый брат приходит домой и открывает сумку, и говорит сумке:

— Сумка, дай ума!

И выскакивает из сумки трое мужчин и начинают нагайками бить богатого брата. Богатый брат уже стонет, уже детям богатый брат говорит:

— Меня теперь убьют, идите позовите сюда, не придет ли брат меня выручать!

Дети пришли к бедному брату. А бедный брат задержался в бане. Пошли туда, сказали дети:

— Ой, дяденька, отца убивают!

— Что бы ни делали, не пойду голый, выпарюсь да вымоюсь..

Бедный брат попарился, помылся, оделся и вышел из бани. Пошел туда к богатому брату. Брата его все еще дубасят по спине. Пришел туда к брату, а богатый брат и говорит:

— Ой, братец, выручай — сейчас убьют!
 Бедный брат говорит:
 — Выручу, если отдашь скатерть,
 Богатый брат говорит:
 — Отдам, только выручи!
 — Ого, — говорит, — тебя только выручишь, так ты не отдашь. Если отдашь до этого.
 И богатый брат говорит своей жене:
 — Найди скорее скатерть и отдай брату в руки!
 Жена его нашла скатерть и отдала бедному брату в руки.
 Бедный брат говорит:
 — Скатерть отдал. Кошелек, который взял у меня, выманил, если отдашь, тогда выручу.
 Богатый брат говорит:
 — Выручи только, отдам потом!
 Бедный брат говорит:
 — Ого, если отдашь прежде, тогда только выручу, обманывал меня не один раз.
 Богатый брат сказал жене:
 — Ой, найди скорее кошелек!
 Кошелек жена нашла, отдала кошелек бедному брату в руки.
 Бедный брат говорит:
 — Теперь выручу.
 Бедный брат сказал сумке:
 — Сумка, хватит ума, не надо больше!
 Мужики обратно в сумку ушли, бросили богатого брата бить. Богатого брата избили — еле жив остался. Бедный брат пошел домой, взял скатерть, кошелек с деньгами. И теперь живет очень хорошо: стало у детей достаточно еды. А богатому брату попало нагайкой по спине. Теперь живут себе очень хорошо, честным порядком.

Oli kaksi vellesty, yksi on torguicčii, a toine on köyhy. Laadii bohattu velli baalun. Nu bohatat kai kuččuu, a omaa köyhää vellii ei kuču gostih. Köyhy velli menöy i uksičupus syöy stolas lykittylöi braakkuloi — luupalazii. Bohatal vellet rodih huigei, ku hänel on bohattaa gost'aa, i työndi köyhän vellen ääres luuloi n'äblimäs. Köyhy velli lähti itkunke, meni kodih i vjiduumaicči, sanou:

— Lähten hot' bohatan vellen riihen puin, ku häin ei andanuh baalun aigah ni veruo syvvä.

Meni riihty puimah puolen yön aigah, ga kaksi mužikkaa ruskeis pajois jo ollah riihes. Kyzyy:

— Midbo miehii työ oletto, ku minä en tiije teidy, kugalaizedbo työ oletto?

— Myö olemmo, — sanotah, — sinun bohatan vellen Ozat.

Häin i kyzyy:

— Kuzbo minun Ozat on? — sanou. — Ku minä en tiije ni syvvä midä, ni d'uvva midä, ni sobaa ei ole pääl?

Sanotah bohatan vellen Ozat köyhäl vellel:

— Sinun Oza magaa.

A se köyhy velli sanou:

— A voizingo minä löydää händy, kus häin magaa?

— Lövvät, lagiel pelloi on, vihandal nurmel, sinizen kiven kulmas, ruskei vaate on al, ruskei pääl.

— A kuibo minä voinnen hänen nostattaa?

— Mennes ota pajumättähäs viččaine i ristah-rastah işke sinisty kivee.

I se köyhy velli mugai raadaa, i hyppää hänen oza, sanou:

— Ah, hätken magain!

Köyhy velli sanou:

— Da, sinä magaat, a minä en tiije ni syvvä, ni d'uvva midä, da sobaa pääl ei ole.

Oza otti iččeh pääs yhten tukan i andoi mužikal, sanou:

— Na, ota tukku, da mene!

Mužikku tukan otti, kormanih pani, palazen astui i käändyi d'äri-leh, duumaiččou. «Oza minuu n'alläs pidi, a minä händäh ni lyön-nyh en, a midäbo täl tukal lain? Lähten hot' lyön Ozaal!».

Meni sih kohtah, kuz Oza magari — ga d'o ei ole ni kedä. Häin d'ärilleh pahas mieles astuu kodih päi i astuu d'ogirandaa myö, kaččou, ga sorzu uidelou. Hänel se sorzu himoittas saaha, i d'uohtuu mieleh se ozan annettu tukku, i duumaiččou: «Engo voi silmukal saaha, laadin rihman». Dai sai sorzan.

Se on sorzu kuldaine i kuldazen d'äičän muniu d'oga päivää. Mužikku se kuldazen d'äičän möi linnal d'oga päivää i rubei bohatumah. Hyvin rubei syömäh, hyvin rubei d'uomah i sobaagi azui. Bohatal vellel rodih zaavidno i rubei duumaimah:

— Mil sinä rubeit eloo saamah?

Nu, velli vs'otaki ei sanonuh vellel, mil häin saa eloo. No hänel oli pieni brihaččuine, i sil häin maanitti, kyzeli. Brihaččuine sanou, što «taatol on moine lindu, kudai muniu d'oga päivää kuldazen d'äiččäzen, i taatto, — sanou, — myöyl!».

Siit bohattu velleh rubei sen köyhän vellellyö käymäh, sanou:

— Hot' ozuta, miittuine on se sorzu?

Nu, köyhy velli ozutti sen sorzan, a hänel siiven al on kird'utettu, što «ken tämän sorzan lihat syönnöy, se roih bohattu dostalikse igää!». A bohatal vellel himoittas se sorzu syvvä. Häin ni kui ei voi maanittaa sidä sorzaa velles. Häin bohattu ku on, ga ostau toizen sorzan i höyhenet krassiu d'uuri sen moizekse, ottau i peitoči vaihtau. Sen sorzan işköy i lihat keittäy. Keittähy lihat panou ikkunal vilustumah. Endizen köyhän vellen kaži tuli, lihat otti i kodih vedi. Kodih vedi, a brihaččuine net lihat i söi. Siit hyödyi i nygöigi vie nečie torguiččou.

44. [ЧУДЕСНАЯ ПТИЦА]

Было два брата, один торговец, а другой бедный. Устраивает богатый брат бал. Ну, богачей всех зовет, а своего бедного брата не зовет в гости. Бедный брат приходит и в углу у дверей ест обеды со стола, кости. Богатому брату стало стыдно, потому что у него богатые гости, и выгнал он бедного брата прочь, чтобы не грыз тут кости. Бедный брат пошел с плачем, пришел домой и придумал такое, говорит:

— Пойду хоть обмолочу рожь богатого брата, коли он мне на пиру не дал даже раз поесть.

Идет в ригу молотить в полночь, а два мужика в красных рубахах уже в риге. Спрашивает:

— Что вы за люди, я вас не знаю, чьи вы?

— Мы, — говорят, — Доли твоего богатого брата.

Он и спрашивает:

— Где же мои Доли? — говорит. — Я не знаю, что есть и пить, и одежды на мне нет.

Говорят Доли богатого брата бедному брату:

— Твоя Доля спит.

А этот бедный брат говорит:

— А можно ли мне найти ее, где она спит?

— Найдешь, она на широком поле, на зеленом лугу, у синего камня, красное сукно подстелено, красным сукном укрыта.

— А как я смогу ее разбудить?

— По пути возьми от ивового куста прутик и ударь крест-накрест по синему камню.

И этот бедный брат так и делает. И вскочила его Доля, говорит:

— Ах, долго спала!

Бедный брат говорит:

— Да, ты спишь, а я не знаю, что есть и пить, и одежды на мне нет.

Доля взяла со своей головы один волосок и дала мужику, говорит:

— На, возьми волосок и иди!

Мужик волосок взял, в карман положил, прошел немного и повернул обратно, думает: «Доля меня голодом морила, а я ее даже не побил. А что я с этим волоском сделаю? Пойду хоть побью Долю».

Пришел на то место, где Доля спала, а уже нет никого. Он обратно домой идет опечаленный и проходит по берегу реки, смотрит — утка плавает. Ему захотелось эту утку поймать, и вспомнил он о данном Долей волоске, и думает: «Не смогу ли в петлю поймать, сделаю силок». Да и поймал утку.

Эта утка золотая и по золотому яйцу несет каждый день. Мужик этот по золотому яйцу продавал каждый день в городе

и начал богатеть. Хорошо стал есть, хорошо стал пить и одежду справил. Богатому брату стало завидно и стал заговаривать:

— Как ты стал добро добывать?

Ну, брат все-таки не сказал брату, как он добро достает. Но у него был маленький мальчик, и у него он [богатый брат] выманил, расспросил. Мальчик говорит, что у отца есть такая птица, которая каждый день приносит золотое яичко, и отец его продает.

Потом богатый брат стал ходить к бедному брату, говорит:

— Покажи хоть, какая эта утка?

Ну, бедный брат показал ту утку, а у нее под крылом написано, что кто мясо этой утки съест, тот будет богатым на всю жизнь. А богатому брату хотелось бы ту утку съесть. Он никак не может выманить ту утку у брата. Но так как он богатый, то покупает другую утку и красит у нее перья точно в такой же цвет, как у той утки, и тайком подменивает. Ту утку режет и мясо варит. Сварив, ставит мясо на окно остывать. Бывшего бедного брата кошка пришла, мясо взяла и домой утащила. Притащила домой, а мальчик это мясо и съел. Потом разбогател и еще теперь там торгует.

НОВЕЛЛИСТИЧЕСКИЕ И БЫТОВЫЕ СКАЗКИ

45. IVAN LESNIČEI

Oli ennen ukko da akku. Da heille oli poigu. Iče taattoh torguiččoo laukaz, a brihaččuine käveli pihal da kastoivat. Sid maamah ylen äijäl čakkai brihaččustu, sanoo:

— Gu olis sinuu karut otettu, gu nenga sovat paačakaičit!

Kaččoo, ga pihah ajoi gu koriettu. Häi rubie kabrastamah pertii, duumaiččoo: gost'at tuldii. A brihaččuine oli pihal. Vuottaa gostii pertih, ga ni kedä ei tule. Ga nigo gostii ei ole, nigo brihaččustul Tuloo illal taattah kodih, kyzyy: «Kuzbo on brihačču?». A emändäh sanoo:

— En tiija kuz on. Nengai nenga: čakkain dai en tiijä, kunne sai brihačču. Naverno, karut otettih, kerran gu koriettu pihah ajoi, a pertih ni kedä ei tulluh.

Hyö otetah tiedoiniekkoin vuoh eččimäh brihačču. Ga ni midä ei tullut. Sinnei meni brihačču.

On meččyniekku. Häi yöloikse ei ni konzu käynnyh meččäh, a nygöi duumaiččoo: «Pidäz lähtiä yökse, toinah saazin midä tahto elävää mečäs».

Rubie häi puun d'uurel illal ildastu keittämäh, ga tedri lendää puuh. Ambuu kolme kerdaa, dai tedri pakkuu maah. Tedri muuttuu mužikakse i sanoo:

— Ah velli, Ivan Lesničei, sinä käin satatit, nygöi spraavil Voiija vai oružan maazil kazi minul, dai kazi spraavivuu.

Hänel oli keral koiraine. I se briha kyzyy lesničial:

— Podari sinä minul neče koiraine.

Hänel oliz ylen žiäli sidä koirastu. No vs'otaki andaa koiraisen. Ottaa koiraisen, sidoo vyöh dai lähtöö viettämäh. Palaizen astuu dai punaldah i sanoo:

— Ah Ivan Lesničei, požalusta, tule minulloo gostih!

Kerran dai toizen, dai kolmanden kerran kučču händy gostih. Ivan Lesničei sanoo:

— Minä kuundelen, ga kuzbo sinul kodi on?

Häi sanoo:

— Durakku olen, en sanonuh. Tule vai uudeh linnah, i sie lähtöo dorogaine huraah kädeh. Tulloo suodu, tulloo maadu, kaikis pääliče tule minulloo, dai kodi tuloo iče vastah.

Tuloo kodih dai akalleh sanoo Lesničei:

— Kuni päiväl kävyin meččäh, välti, a vai yökse lähtin dai koirazen menetin.

Eletäh ollah, dai Lesničei sanoo:

— Pidäz lähtie gostih, ku kučui kerran.

Lähtöo gostih. Menöö uudele linnale. Sie lähtöo uuves linnas huraah kädeh troppaine. Häi astuu, astuu dai tuloo kodi vastah. Häi menöö dai klokuttaa verääh. Sie kzyztäh:

— Ken on?

— Ivan Lesničei, — vastaa häi.

Händy ei ni laskia. Häi mugai lähtöo eerez. Häi istuhes pordahil. Avavuu uksi, avavuu toine — dai häi lähtöo sinne astumah. Menöö verään taakse, kaččoo: gubernator istuu stolan tagan.

— Ken sinä olet? — kzyzy gubernator.

— A minä olen Ivan Lesničei.

Kirgaa gubernator:

— Mal'čik, tules, pane samovaaru kiehumah da tuo pogrebas zakuskaal!

Brihačču ylen terväh keittää samovaaran dai tuo zakuskat stolal. Pannah starikku d'uomah dai d'uotetah. Lähtöo d'uomaz häi, dai gubernator kzyzy:

— Etgo, starikku, tahto huogavua?

— Se on hoz'aiskoi miilosti, kui kus pietäh. Ei ni mešaiččiz huogavundu.

— Mal'čik, mene tuo tila! — sanoo gubernator.

Dai brihačču tuou tilan. Häi gu maata vieröö: ga vai sovad maatah, a iče ei voi maata. Tuloo sie briha koirazen kel, ga kzyzy taatalleh:

— Kenbo nečiz magaa?

— A siel magaa Ivan Lesničei.

— D'ogo händy gostititto?

— D'o, — vastaa taattoh.

Dai Lesničei havačču dai andaa kätty brihačul, gu tuttavai muinai. Gubernator kzyzy:

— Etgo, starikku, kyyly tahto?

— A se on hoz'aaajinan miilosti, ei ni vanhoil luuloile kyylygi mešaiččizi.

Gubernator kirgaa:

— Mal'čik, topi bainul!

Dai brihačču ylen terväh lämmittää kylyn dai sanoo:

— Kyly valmiz, d'o voi kyylyh mennä!

Lähtöo starikku kyylyh, dai brihačun, mal'čikan, gubernator työndää pezettämah starikkaa. Starikan kylvettää, pezettää brihačču hyvin. Sta-

rikku istuhes senčoih huogavumah. A brihaččuine keräi taazan da vihkozet i kerraz heittihs starikaloo polvilleh. Starikku kyzyy:

— Midäbo sinä nengaleite kumardelettos?

A brihačču sanoo:

— Vot nengaleite da nengaleite, minä olen kupsan poigu. Nygöi gu brihačču, kudai otti sinul koirazen, rubie koirazes d'engoi andamah, ga älä ota. Voinnet sinä nygöi minuu päästää, muut ni ken ei voija.

Tullah kylyz ääre. Briha ottaa avaimet i sanoo Lesničeil:

— Läkkä, minä annan koirazes d'engat.

Lähtöö starikku sinne, ga brihal sanoo:

— Äijängo minä voin ottaa, da niin vanhal ei ni piä mikse.

Vedää kulduambarih.

— Ota täz, min tahtot vai!

No Lesničei ei ota ni kuz ni midä. Vie vedää bumaaguambarih, ga ni sie ei ota. Tuloo ääre, taattah kyzyy:

— Ottigo?

— Ei ottanuh, — vastaa poigah.

Taattah kyzyy:

— Midäbo sinul pidää?

— A minul pidäz neče brihačču, gu vai andazitto.

Briha i sanoo:

— Aha, äijängii tahtot!

A taatto sanoo:

— Ole vaikkane. Zäälihäi hänel oli koirazen andajes, yksikai andoi.

Taattah pään painaldaa dai duumaiččoo kolme čaassuu. Kirgaa:

— *Mal'čik, odevais*, pane kaikkein parahembat sovat da varustai lähtemäh!

Brihačču hyväz mielez hyppäi i šuorii ylen terväzeh. Tuloo gubernatoraloo proššaičemahes, ga gubernator nostaa kuuzisadaa rubl'aa i andaa brihačul.

— Täs sinul hyväs sluužbas palkat!

Tullah uudeh linnah. I brihaččuine sanoo:

— Täs ollah uvvet laukat, täs taatto minun torguiččoo. Nygöi sinä, — sanoo brihaččuine Lesničeil, — rubie sinä tiedoiniekakse. I kyzy taatal, što «häviigo sinul poigas, minä oppizin hänen löydääl».

Menöö starikku kupsan laukkah i sanoo:

— Sinullez onnakko on poigu häviksis?

— On!

— Ga minä käännytän.

A kupsu sanoo:

— Ei raukku saa käännyttää.

Ga Lesničei sanoo:

— Ga käännytän, vuota näit! Minuu, sinä smietit, što en tiijä. Enhäi minä teile kodih ole känyh, ga yksikai tiijän kus ken ollah. Muččois sundugu on čardakas, čuppuh lyödy, ga minä yksikai tiijän. Mučoiilez on kuuzi kol'častu nuorazes. . . *

* На этом запись обрывается.

45. ИВАН ЛЕСНИЧИЙ

Жили когда-то муж да жена. И у них был сын. Сам отец торгует в лавке. Мальчик как-то ходил по улице и промочил одежду. Тогда мать сильно стала ругать мальчика, говорит:

— Кабы черти тебя взяли, как одежду эдак запачкал!

Смотрит, а во двор будто карета подъехала. Она давай убирать в избе, думает, гости приехали. А мальчик был на улице. Ждет гостей в избу, а никто не идет. И ни гостей нет, ни мальчика! Приходит вечером отец домой, спрашивает: «Где мальчик?». А жена говорит:

— Не знаю, где. Так и так. Поругала и не знаю, куда делся мальчик. Наверно, черти взяли, раз карета въезжала во двор, а в избу никто не зашел.

Они стали через знахарей искать мальчика. Но ничего не вышло. Так и пропал мальчик.

Был охотник. Он на ночь никогда не ходил в лес, а тут подумал: «Надо бы пойти на ночь, может, и добыл бы какую-нибудь живность в лесу ночью».

Стал он вечером под деревом ужин варить, тетерев прилетает на дерево. Выстрелил трижды, и тетерев упал на землю. Тетерев превратился в мужчину и говорит:

— Ах, брат, Иван Лесничий, ты мне руку ушиб, теперь вылечи! Смажь-ка ружейным маслом мне руку, и рука поправится.

У него с собой была собака. И этот парень просит у Лесничего:

— Подари ты мне эту собаку.

Ему уж очень жаль этой собачки. Но все-таки отдает собачку. Берет парень собачку, подвязывает пояском и уводит. Прошел немного, возвращается и говорит:

— Ах, Иван Лесничий, *пожалуйста*, приходи ко мне в гости! Раз и второй и третий зовет его в гости. Иван Лесничий говорит:

— Я слышу, но где же твой дом?

Он говорит:

— Дурак я, не сказал. Приходи в новый город, там пойдет дорожка на левую руку. Встретится ли болото, или суша, иди все прямо ко мне, и дом сам встретится тебе.

Приходит домой и говорит жене Лесничий:

— Пока днем ходил в лес, все было ладно, а как на ночь пошел, и собачки лишился.

Живут-поживают, Лесничий и говорит:

— Надо бы пойти в гости, раз звал.

Идет в гости. Приходит в новый город. Там из нового города выходит по левую руку тропка. Он идет, идет и подходит к дому. Он идет и стучится в дверь. Там спрашивают:

— Кто?

— Иван Лесничий, — отвечает он.

Его и не впустили. Он так и уходит. Садится он на крыльцо. Открывается дверь, открывается вторая. Он и заходит туда. Заходит внутрь, смотрит, губернатор сидит за столом.

— Кто ты? — спрашивает губернатор.

— А я Иван Лесничий.

Крикнул губернатор:

— Мальчик, поди-ка поставь самовар да принеси из погреба закуски!

Мальчик быстренько вскипятит самовар и принес всякой закуски на стол. Сажает старика за стол и угощают. Выходит он из-за стола, а губернатор и спрашивает:

— Не хочешь ли, старик, отдохнуть?

— Это хозяйская милость, где как принимают. Не мешало бы и отдохнуть,

— Мальчик, поди принеси постель! — говорит губернатор.

Приносит мальчик постель. Он как ложится, так только одежда его спит, а сам не может спать. Приходит парень с собачкой и спрашивает у отца:

— А кто тут спит?

— А там спит Иван Лесничий.

— Уже угощали ли его?

— Уже, — отвечает отец.

Лесничий просыпается и дает руку парню, прежнему знакомому. Губернатор спрашивает:

— Не хочешь ли, старик, в баню?

— А это хозяйская милость. И баня бы не помешала старым косточкам.

Губернатор кричит:

— Мальчик, топн байну.

И мальчик быстренько топн баню и говорит:

— Баня готова, уже можно в баню идти.

Идет старик в баню, да мальчика губернатор посылает мыть старика. Старика парит, моет мальчик хорошо. Старик садится в предбаннике отдохнуть. А мальчик собрал таз, мочалки, вдруг упал на колени перед стариком. Старик спрашивает:

— Чего ты так кланяешься?

А мальчик говорит:

— Вот так и так, я сын купца. Теперь как тот парень, который взял у тебя собачку, будет за собачку давать деньги, так не бери. Если сможешь ты меня спасти, а больше никто не сможет.

Приходят из бани. Парень берет ключи и говорит Лесничему:

— Пойдем, я дам деньги за собачку.

Идет старик с ним, а парню говорит:

— Много ли я могу взять, да старому и не надо, ни к чему.

Приводит в амбар с золотом:

— Возьми здесь, сколько хочешь!

Но Лесничий нигде ничего не берет. Еще ведет в амбар с бумажными деньгами, но и здесь не берет. Приходит обратно. Отец спрашивает:

— Взял?

— Не взял, — отвечает сын.

Отец спрашивает:

— А что же тебе надо?

— А мне нужен бы этот мальчик, если бы отдали.

Парень говорит:

— Охо, много ты хочешь!

А отец говорит:

— Замолчи. Жалко ведь и ему было отдавать собачку, а все равно дал.

Отец голову опустил и думал три часа. Кричит:

— Мальчик, одевайся! Надень самую лучшую одежду и соберись в дорогу.

Мальчик обрадовался, побежал и оделся быстренько. Приходит к губернатору прощаться, а губернатор берет шестьсот рублей и подает мальчику.

— Вот тебе за хорошую службу плата!

Приходят в новый город, и мальчик говорит:

— Вот тут новые лавки, здесь мой отец торгует. Теперь ты, — говорит мальчик Лесничему, — будь знахарем. И спроси у отца, что «потерялся ли у тебя сын? Я бы попробовал его найти».

Приходит старик к купцу в магазин и говорит:

— У тебя, кажется, сын потерялся?

— Да, потерялся.

— Так я верну.

А купец говорит:

— Да уж не вернуть его.

А Лесничий говорит:

— А верну, погоди, увидишь! Ты думаешь, что я не знаю. Я к вам ведь домой и не ходил, а все одно знаю, где что есть. Сундук твоей жены на чердаке, в угол забит, так я все равно знаю. У жены твоей шесть колец на ниточке...*

46. DOCKA SEMILETKA

Oli kaksi velliä, ajettih toïzeh linnah. Kõwhän vellen hebo oli tiineh, toïzen oli orih. Azetutah yäsijah. Kõwhän vellen heboine kandaw yäl sälgyžen. Tämä sälgyine menöw bohatan vellen delegän alle. Bohattu velli nostattaw kõwhiä velliä, sanow:

— Nowze, minun delegy sai sälgyžen!

* На этом запись обрывается.

Kõwhy velli sanow:

— *Eh tš gluwpoi*, kui sinun delegy sai sälgyžen? Neče minun hebo sail

Sporevuttih, suwdimaheze ruvettih. Dialo doidii suarissah. Tuldih suarillua, sanottih omat dialot kui on dialo. Suari sanow:

— Äskin minä suwdin, ku arvannetto kolme zagatkua: Mi kaikkii on pehmiämbi? Mi kaikkii on armahemi? Mi kaikkii on razvažemi?

Vanhemi velli eččimäh bohattua. Meni kuomallua, bohatalua, a kõwhy lähti oman tyttärelyä, seiččiävuadižen. Bohattu tuli kuomallua:

— Vot kuomu, suari minul andoi moižet zagatkat, avvuta reššiä! Kuomu sanow:

— Prostoit zagatkat nenne ollah: kaikkii pehmiämbät ollah minun perinät — puhoviekat; armahemi on mejän vunukku, sidä armahembua ei ole täl mual; meil on počči kaikis razvažin.

Tuli, suaril sanoi, ga suari temniččäh i pani hänen.

A kõwhy velli meni kodih, tytär vastuaw seiččiävuadiine händäh, sanow:

— Midä olet pahas miäles, tuatto?

— Kuibo et ole pahas miäles? Suari andoi kolme zagatkua arvata, minul ei sua ni ijäs arvata.

Tytär ottaw tuatalleh seičas arbuaw:

— Kaikkii pehmiämbät on omat kulakat; kaikiz armahin on uni; kaikiz razvažemi on mua.

Tuli kõwhy velli suarillua i sanoi ne zagatkat.

Suari sanow:

— Moločču, kenbo sinul nevvoi, vai omas duwmas sanoit?

Suari sanow:

— Nengoine on sinun tytär ravei, ga minä annan viižisadua jäiččiä, štož huamenekse azužit viižisadua kanapoigua.

Tulow kodih viä enämmäl pahas miäles tuattah. Tytär sanow:

— Midä olet, tuatto, pahas miälin?

Tytär sanow:

— Magua yä, huandeksel viä suarile sanat. Mene, — sanow, — suarile, anna tyändäw kanapoijile brossua, štož oliš yhtes päiväs kynnetty, kylvetty, leikattu, puidu — muwdu brossua minun kanapoigažet ei syvvä.

Tuattah meni suarillua dai sanoi. Suari sanow:

— Ladno, ku on nengoine mudroi sinun tytär, anna huamei iče tulow minullua: sovas ni alašti, hevol ni jallai, podarkan kel, ni podarkattah.

Tuattah duwmaiččow: «Ei ni minun tytär voi tädä arvata». Tuli kodih, ga tytär sanow:

— Midä olet pahas miäles?

Tuattah sanow tyttärele:

— Suari sanoi: sinul pidäw tulla hänellyä.

Tytär sanow tuatalleh:

— Mene tua meččyniakoil eläw jänöi.

Tuattah hänele toi jänöin, verkon, viä toi perepelkulindužen tyttärele.

Tytär otti, sovati heitti, verkon pani piäle, jänöile ištuiheze selgäh, perepelkan linnun otti kädeh. Tuli suarillua, suari šuapkattah vastah otti. Tytär sanow:

— Kui kučuit, muga i tuliin.

Tyttö linnun oijendi suarile, ga lindu iäre i uidii.

— Kui kučuin, mugai tuliit, — vastai suari.

Suari sanoj Semiletkale (*nygöi oli jo vanhemb*):

— Kuibo kormitokseh, ku on köwhy tuattas?

Tyttö sanow:

— Kuival rannal kalua pywdäw [tuatta], minä helmäl kalua kannan da keitän.

— *Ah tš duura, razve suhom beregu kala eläw?*

Tyttö ot'viatoičči:

— Ed ni sinä ole umnoi, razve delegy voibi sälgyžen suvva?

Sid suari otti käski sälgyžen andua köwhäle, a tytön otti mučoiakse ičelleh.

46. ДОЧКА СЕМИЛЕТКА

Было два брата, едут в другой город. Лошадь бедного брата жеребая, а у другого жеребец. Останавливаются на ночлег. Лошадь бедного брата ночью ожеребилась. Этот жеребенок идет под телегу богатого брата. Богатый брат будит бедного брата, говорит:

— Вставай, моя телега ожеребилась!

Бедный брат говорит:

— Эх, ты, глупый, как это твоя телега родила жеребенка, это моя лошадь ожеребилась!

Распорились, стали судиться. Дело до царя дошло. Приходят к царю, рассказывают о своих делах, как дело было. Царь говорит:

— Только тогда я буду судить, если разгадаете три загадки: что всего мягче? Что всего милее? Что всего жирнее?

Старший брат давай искать богача. Идет к куму, к богатому, а бедняк идет к своей дочери семилетней. Богатый приходит к куму:

— Вот, кум, царь задал мне такие загадки, помоги отгадать.

Кум говорит:

— Это простые загадки: всего мягче мои перины-пуховики; милее всех наш внук, дороже его нет на этом свете; у нас есть свинья — она всех жирней.

Приходит, царю говорит, а царь в темницу его и запер.

А бедный брат приходит домой, дочь встречает его семилетняя, говорит:

— Чего такой невеселый, отец?

— Как мне быть веселым? Царь загадал три загадки, мне и в жизнь не разгадать.

Дочь сейчас же и отгадала их отцу:

— Всего мягче свои кулаки; милее всего сон; жирнее всего земля.

Приходит бедный брат к царю и говорит эти отгадки.

Царь говорит:

— Молодец! Кто тебе помог, или своим умом решил? *

Царь говорит:

— Такая у тебя дочка умная, так я дам пятьсот яиц, чтобы на завтра вывела пятьсот цыплят.

Приходит отец домой еще печальнее. Дочь говорит:

— Что, отец, невеселый?

Дочь говорит:

— Переспи ночь, утром передашь царю мои слова. Иди, — говорит, — к царю, пусть пришлет цыплятам проса, чтобы было за один день вспахано, посеяно, сжато, обмолочено — другого проса мои цыплята не едят.

Отец пошел к царю и сказал. Царь говорит:

— Ладно, раз такая мудрая твоя дочь, пусть завтра сама придет ко мне: ни одетая, ни голая, ни на лошади, ни пешком, ни с подарком, ни без подарка.

Отец думает: «Даже моя дочь этого не сможет разгадать».

Приходит домой, дочь говорит:

— Что ты такой невеселый?

Отец говорит дочери:

— Царь сказал, тебе надо идти к нему.

Дочь говорит отцу:

— Сходи принеси от охотников живого зайца.

Отец приносит ей зайца, сеть, еще приносит птичку-перепелку дочери.

Дочь сняла одежду, надела на себя сетку, села на зайца, птичку-перепелку взяла в руку. Является к царю, царь встречает ее без шапки. Девушка говорит:

— Как звал, так и пришла.

Девушка птичку протягивает ему, а птичка и улетела.

— Как звал, так и пришла, — отвечает царь.

Царь говорит Семилетке (теперь уже она постарше):

— Как вы кормитесь, раз отец бедный?

Девушка говорит:

— На сухом берегу рыбу ловит [отец], я подолом рыбу ношу и варю.

— Ах, ты дура, разве на сухом берегу рыба живет?

Девушка отвечает:

— И ты не умный, разве телега может ожеребиться?

Тут царь взял и велел жеребенка отдать бедному мужику, а девушку взял себе в жены.

* Далее, очевидно, пропущен ответ бедного брата.

Eli enne sie mužikku da akku. Heil oli yksi tytär, aino, jedinstvennaja. I se oli do tovo äwkytetty hyö, nu uvažaittih da kai da, upr'oamoi, strašnoi neidine oli, zadornoi. Pajistah toattah da moamah:

— Ken nečidä, ni ken ei ota miehel händy.

Semmoine oli upr'oamoi. Jo kyläs pajistah, što ylen on paha häi, ei ni ken kereä händy miehel. Yksi mies tulow sie, kewhy mies on saldattannu, kōdih. Ni kedä ewle perehty. Naija pidäs hänelleh. Kuz ottua mučoi? Sanottih:

— Oliz nečiz mučoi, nečil bohatal mužikal, ga ylen on upr'oamoi, ei rodei ni midä hänes eläjeä.

— Opimmo, — sanow, — možet bít' annetanneh, ga upr'oamstvan porotammo, — sanow, — kui tahto.

Dai menōw svoataiččemah, koziččemah. Menōw ga. Annetah. Sie duwmaijah starikku da staruwha:

— Mužikku olis hyvä, hod kewhy on ga. Upr'oamoi on (tytär), onnoako ei rodei eläjeä. Annammo, ku mennōw ga:

— Menedgo, tytär? Menedgo?

— Menen!

— No, mened, ga sid pidāw eliä.

Dai svad'bo pietäh, laitah svad'bo. Häi tulow. Hebokleäččy on hänelleh. Hebokleäččäl sil laiha, ottamah tulow. Kreslu paha. Istutetah, tiijet sinä, bohattu ku on ga, sovāt hyvāt, peräh istuh, moine gordoi.

Palaine ajetah vai, kivoksez hebo ei peāze, väzyw. Ga oppiw vit pletil pergua ženihy ga, ei mene, ei menel. Hänelleh on kreslas sie kirves keral. (*Kačo, eihäi silläh lähtietä matkah ga.*) Häi hyppeāw da kirvehel hevōn peän leikkoawgi. A kreslah lykkeāw vembelen, lāngēt. Hevōn sen peän ku leikkoaw, nahkan ottaw. Nahkan lykkeāw kreslah i nevestal sanow:

— Nowze da viel! Nowzes vai, — sanow, — da ota aižat kādehl!

Ei ruoht'inuh olla nowzemattah, hod' upr'oamoi oli. Kai sārizzōw, muga varavui. Duwmaiččow: «Peän leikkoaw minulgi nygōi, ku et nossel». Häi ottaw nowzow dai aižat kādeh ottaw dai allaw kresloa vedeä. A iče briha istuiheze kreslah.

— Väzyin, — sanow, — minä roadajes.

Vedi neidine kai pystykabjah. Kodih tuldi. Ruvettih elāmäh. I muga otti häi varata ukkuodah sidä, ni mil ei ruohti protivoreččie. Midä kās-kōw, ku bul'kku roadaw.

Moamalleh rodih himo tiijustoa: «Pidāw lähteä tytär-rukkoa tiijustoa, kui nygōi eletānne». Menōw sinne, lippoaw ga:

— Terveh taloi, terveh teilel

— Terveh tule, — dai vävy kätty andaw hänelleh, zdorofkaijaheze ga. — Jaksaije.

Jaksaheze sih, ga kaččeleheze, ga tyttäreš sid ymbäri päčiz, midä tahto goštittoa varusteleh da. A vävybo on viizas, punaldah sinčoi-puoleh. Annä hyö pajistah kahte, moamo da tytär:

— Tytär-rukku, kuibo elät? Kuibo oletto nygöi? Kui työnyt elämäh ukon kel?

— Eläzimmö hyvin, moamo, ga minä ylen äijäl varoan.

— Varoa älä! Povuadittos vai varoamah, ga sid pidäw mene tiijä kui varatal Midä äijäl rubied varoamah? Älä varoamah rubie äijäl. Ole julgiembannul!

Vävy kuwlow sen. Pertih tulow ga:

— Läkkeä nygöi enne syöndä vuottajaizekse kynnämmö kartohkan, nechie on pihal palaine, ga sen.

A heboa ewle. Mennäh pihal. Dai anoppi aižah adran, aižu käis, akale toine aižu. Häi adroa ajaw, pletti käis, vedekkeäl Hyö adroa vietäh. Kynnettih se, hies ku čukit!

— Akku, mene nygöi pane, — sanow, — nečidä kiehumah, nechie syömistä varusta, a myö vie anopin kel, — sanow, — astuvoičemmo täs pellon, — sanow, — lopemmo.

Ga akku iče iččiedäh ei tiijä: «Kummoa tämä nygöi rodih, tappaw onnoako vävy tähl». Ga astuvoa sidä vedäw da vedäw, pystykabjah kai. Lopittih se, astuvoittih, tullah pertih ga, ei ruvennuh akku syömäh. Tem-bai iččeh pod'd'efkat da pagoh. Dai kodih juoksow starikalluo:

— Oi starikku-rukku, annoimmogo myö oman lapsuon nečel, — sanow. — Ylen on, — sanow, — paha. Rabjakko, — sanow, — strowgoil Nygöi, — sanow, — kyndävytti, kyndävytti, sid yksinäh astuvoija pidi minul, — sanow.

A starikku istuw da kuriw jalgu polven peäs, duwmaiččow: «Vuota minä lähtengi, — sanow, — sid tid'd'ustamah, kačon kui eletäh». Tulow starikku (sie menöw vähäine aigoa). Tulow. Nu, op'ad' tervehyön azuw. Vävyh vstrettii ylen vežlivo. Istuheze, jaksah sie ga, op'ad' i pyörähtäh buito ku dielon peräz, a iče uksen toakse vävyh menöw:

— No midä, tytär, elättö, kui oletto?

— Eläzimmö hyvin, toatto ga, minä varoan ylen äijäl! Enzimäi nenga kui venčale lähtimmöhäi vai da peän leikkai hevol, nygöi muga varoan ga kai...

— Varata, pidäw, tytär. Mužikkoa pidäw počitoija. Mužikku on mužikku. Pidäw akal varata mužikkoa. A sid mužikku vastah uvuažiw akkaal Äski eloaijan työnnytättö. Vai ed varanne, ga sid, kačo, ei rodei hyvää. Pidäw varata. Mužikkoa pidäw mužikkannu pideäl!

A se vävy ihastui senčois. Oi kui boat'koi hyvin pagizi. Tulow pertih — viinoa stolal.

— Keitäz, akku, terväizeh neččih zakuskat!

Kai sih stolal lad'd'oaw, starikkoa gostitetah.

— Emmo työnä, magoa yö!

A ku staruwha koiz ikkunah kaččeleh da:

— Kunna nygöi lienne jowdunuh, kunna lienne jowdunuh? Nygöi tapoil Nygöi sen pani op'ad' kyndämäh libo midä tahto roadamah.

Kaččow, ga tulow starikku.

Kodih lähties andaw starikal kringelie viihten, kaglah panow. (A enne oli nel'kymmen kringelie viihtes.) Panow kringeliviihten:

— Ota kodih tuomazikse.

Astuw starikku kringelivihti kainalos [kaglas?]. A staruwha t'em vremenem jo teäl susiedoil saneli:

— Nengoine vävy minun pahal Minun kaiken vaivai roadoh, nygöi starikku-kulun sinne jovvutti, en tiijä tulowgo hengis!

Kačahthhäi, ga kringelivihti kaglas, ga häi duwmaiččow, on länget:

— Oi, — sanow, — susiedat, länget on gor'al kaglah pannuh, — sanow, — längien kel astuw. Näidgo vai, — sanow, — nygöi! Roadoi, roadoi da längien kel on pajennuh, — sanow.

Hyppeäw sinne vastah — ga kringelivihti starikal. A starikku vie pris'adkoa da pajuo:

— Vot, — sanow, — putin mužikku vävy puwtui, — sanow, — eleä on tovel[?], työ, — sanow, — akad oletto akad. Pidäw olla mieron miehenny.

No sid i soarna, kačo.

47. [УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОИ]

Жили когда-то муж да жена. Была у них одна дочка, одна единственная. Они ее до того баловали, угождали ей, что она стала страшно упрямой, своенравной. Говорят отец да мать:

— Кто эдакую, никто не возьмет ее замуж.

Такая была упрямая. Уже в деревне говорят, что очень она плохая, никто не возьмет ее замуж. Один мужчина возвращается, бедняк парень был в солдатах, домой. Никого у него нет из семьи. Жениться бы ему надо. Где взять жену? Говорят:

— Была бы тут невеста, там у богатого мужика, да очень уж упрямая, не будет из нее никакой жены.

— Попробуем, — говорит, — может быть, отдадут, так упрямство выведем, — говорит, — как-нибудь.

И идет сватать. Идет, так отдают. Между собой думают старик да старуха:

— Мужик был бы хороший, хоть и бедный. Да вот упрямая дочка, однако не выйдет из нее толку. Отдадим, если пойдет, так...

— Пойдешь ли, дочка, пойдешь ли?

— Пойду.

— Ну, пойдешь, так жить надо.

И свадьбу играют, справляют свадьбу. Он приезжает. У него лошадь клячонка. На своей кляче едет, за невестой приезжает. Повозка плохая. Сажают [молодую], знаешь ли, а богатая как есть, так одежда хорошая. Сзади садится, такая гордая.

Немного только отъехали, в сугробе лошадь застряла, устала. Уже и плеткой пытается жених стегать ее, но не идет и не идет! У него там в повозке топор. (Без топора ведь в дорогу не едут.) Он вскочил и отрубил лошади голову топором. В повозку бросил

дугу, хомут. Лошади как голову отрубил, шкуру снял. Шкуру бросил в повозку и невесте говорит:

— Вставай да вези! Вставай-ка, — говорит, — да возьми оглобли в руки!

Не осмелилась послушаться, хоть упрямая была. Даже дрожит, так боится. Думает: «Голову отрубят теперь и мне, не встань только». Она поднимается, берет оглобли в руки и давай повозку тащить. А сам парень сел в повозку.

— Устал, — говорит, — работавши.

Тащит девушка до седьмого пота. Приезжают домой. Стали жить, и так она стала бояться мужа своего. Ни в чем не смеет перечить. Что скажет, так пулей летит делать.

Матери захотелось проведать: «Надо сходить проведать доченьку, как теперь живут». Идет туда, торопится:

— Здоровья вам!

— Проходи, здравствуй! — да и зять руку подает, здороваётся. — Раздевайся.

Раздевается да все оглядывается, а дочь тут около печки, что-нибудь угостить собирает. А зять-то хитрый, выходит в сени. Пусть они поговорят вдвоем, мать да дочь:

— Доченька, как живешь? Как вы теперь? Как привыкаешь жить с мужем?

— Живем-то мы хорошо, мама, да я очень боюсь.

— Бояться нельзя! Привыкнешь только бояться, так потом, поди знай, как надо будет бояться. Чего будешь очень бояться? Не бойся очень-то. Будь смелее!

Зять слышит это. В избу заходит, так:

— Пойдем-ка теперь до еды, пока ждем, так вспашем картофельное поле, тут во дворе клочок есть.

А лошади нет. Выходят во двор. И теще — одну оглоблю сохи в руку, жене — вторую оглоблю. Он пашет сохой, плетка в руке — везите! Они соху тянут. Вспахали это, вспотели, как чушки!

— Жена, иди теперь поставь, — говорит, — там вариться еду, а мы еще с тещей, — говорит, — пробороноуем тут поле, — говорит, — закончим.

А старуха сама себя уже не чувствует: «Вот чудеса-то творятся теперь, убьет, однако, зять тут!». Борону эту тянет, тянет, до седьмого пота. Закончили это, пробороновали, приходят в избу, так старуха есть не стала. Схватила свою поддевку и бежать. И прибегает домой к старику:

— Ох, старичок, отдали мы свое дитятко этому, — говорит, — очень уж, — говорит, — (он) плохой, крутой, — говорит, — строгий! Сейчас, — говорит, — заставил пахать, пахать, потом надо было мне одной боронить, — говорит.

А старик сидит нога на ногу и курит, думает: «Погоди-ка и я схожу, — говорит, — потом узнаю, посмотрю, как живут», Проходит там некоторое время, отправляется старик. Приходит. Ну,

опять здороваётся. Зять встречает очень вежливо. Садится и раздевается старик, а зять опять и выходит будто как по делу, а сам за дверь идет, этот зять:

— Ну как, дочка, живете, как бываете?

— Живем-то хорошо, отец, да я очень боюсь. Сперва как под венец-то только поехали да [он] отрубил лошади голову, теперь я так боюсь, что...

— Бояться надо, дочка. Мужа надо почитать. Мужик есть мужик. Жене надо бояться мужа. А потом и муж уважит жену. Только тогда у вас и жизнь пойдет. Как не будешь бояться, так смотри, хорошего не будет. Надо бояться. Мужа надо за мужика почитать!

А зять в сених обрадовался: «Ох, как тесть хорошо говорит». Заходит в избу, вина на стол:

— Приготовь-ка, жена, быстренько закуску!

Все на стол выкладывают, старика угощают:

— Не отпустим, переспи ночь.

А как старуха-то дома в окно смотрит да [говорит]:

— Куда теперь девался, куда девался? Теперь убил! Теперь заставил его опять пахать либо что-нибудь еще делать.

Смотрит, идет старик.

Перед уходом зять дает старику еще кренделей связку, вешает на шею. (А раньше по сорок кренделей было в связке.) Дает связку кренделей:

— Возьми домой на гостинцы.

Идет старик со связкой кренделей под мышкой. А старуха тем временем уже соседям наговорила:

— Такой зять у меня дурной! Меня всю измучил работой. Теперь бедного старика там задержал, не знаю, придет ли живым.

Посмотрела — связка кренделей на шее, а она думает, это хомут:

— Ой, — говорит, — соседи, хомут бедному на шею надел, — говорит, — с хомутом шагает! Видишь как, — говорит, — теперь. Работал, работал да с хомутом, видать, убежал, — говорит.

Побежала к нему навстречу, а у старика связка кренделей. А старик еще вприсядку, и поет:

— Вот, — говорит, — попал зять путный мужик, — говорит, — то ли дело жить. Вы, — говорит, — бабы и есть бабы. Мужчине и надо быть мужчиной.

Ну, тут и вся сказка, гляди.

Oli sie ennen vanhas mužikku poijan kel, leskimužikku da poigu.
Hän rubiew kuolemah, virumah sih kuolendu [sijal]. Sanow:

— Poigurukku, musta toatan kolme sanua.

— No midäbo pidäw, toatto?

Sanow:

— Yhtekse, musta, — sanow, — älä kolmee kerdoa yhtes čuras päi goštih kävy. Toizekse, musta toine sana, — sanow, — älä toizes pogostas nai. Kolmandekse, musta, — sanow, — sinul hebo hyvä d'eäw, älä susiedal anna roadoa heboo, lučče iče roa kyläh!

Nu häi duumaiččow, mindäh toatto nenga sanoi. Rubiew elämäh-olemah, susiedu tulow, bohattu taloi. Häin ylen äijän kylvöw pidi i pakiččow peldoo astavoija heboo. Pakiččoo heboo peldoo astavoija, i andaa [briha]: «Vuota nygöi probuičen, mindäh toatto kielti heboo andamas».

Häin ottaw, mennäh astavoiččemah, kolme vellesty taloiz oli. Yksi astavoiččow, astavoiččow, hebo vie on mahan kel sen. Astavoiččow, astavoiččow, toine tulow. Heboo ei syötetä. Sid kolmas tulow, heboo ei syötetä. (*Endizeh aigah huolitetah roadoa!*) Nu vot. Häi menöw iče päiväkse aijan toakse kaččomah, mindäh toatto kielti hebod andamas kyläh.

Hän astavoičči, kolmas astavoičči, — hebo azetui i sällyn sai. Sällyn otti, viippai sinne peälliči aijaz i puutui brihačul tyveh sälgä. Häi ottaw da kabd aizen leikkoaw da kormanih. Nu. Iče kodih. Illas tuvvah hebo d'o sie väzyksis, päivän laskiettu, puolez yöz. Tullah. Ei virka ni midä. Hiitroi brihačču, ni midä ei virkal Häin: «Nygöi lähten probuičen, toatto sanoi: «Älä kolmei kerdoa yhtes čuras päi goštih kävy». Nygöi on deäd'ä, ainos goštih kučču i lähten deäd'ällyö goštih». Menöw sinne, ei tietä midä: «Nu, poigu-rukku, gu tuliid nygöil». Ei tietä ni midä: kaikkei loaduw piiraidu laitah, ei tietä kunne händy panna! Nu vot, sen pyhänpäivän kävyw. «Vuotai lähten toizennu pyhänpäivän».

Dai tossu peän d'ongoi toizel pyhälpäiväl vähembäl hoarotellahez. I min syöw, sie miittumoa piiroadu, kaikkei panow kormanih. I tossu pyhänpään kaikkei panow kormanih.

«Nygöi lähten vie kolmanden kerran». D'ongoi vai gui čoajuw da siendä da paččoi. Dai ned panow opad' kormanih. «No. Se puwttui nygöi, toatto sanoi, ga tozi on. Kačo, ei kolmattu kerdoa hyvin goštiettu. Nygöi vie probuičen naija toizes pogostas». Hänelleh on omas kyläz mielespiettävy ylen hyvä. I lähtöw deäd'äh kel toizeh pogostah naimah. Sen samaizen ottaw susiedan i sen samaizen deäd'än sulhaiziksi.

Menöw toizeh pogostah naimah, sulhaizikse. Sie ylen hyvin pietti, vastattih, svoid'bo työnnyttih, kai, dielo hoduh. Tuldih kodih. Heil pidäw mennä kahten päivän peräs svoid'boa sidä luoittamah. A brihačču se suoriw gu pakiččii. Lähtöw pakiččemah. (*Ennen vahnas pakiččemah käveltih.*) Häi korzinaizen ottaw kädeh, menöw sih samaizeh taloih, ylen pahat sovat peäl. Menöw sih taloih, taričeh yökse, naindu-taloih:

— Laskekkoa hyväh taloih yökse, — sanow, — vakkutilaz en voi ni yötiloa soaha.

— Emmo, svoid'ba on varuksis, — sanow, — tans'id roih da kai.

— Ka laskekkoa kuh tahto, minä enhäi tansuiče, käbristän kus-tahto.

— Mene sid kravatin all — andilas sanow.

Hän kravatin al. Kerävytäh tytöt, tansuijah, sid kižatah kaikelleh, svoid'boa sidä igraijah. A brihačču se kravatin al, korzinaine tyves. Briha tulow, tytön temboaw kravattih, kološša kirboaw, se menöw hänel korzinaizeh. Nu hyvä. Yön magoaw sie, kološšu korzinaizes, kološan kel. Huondeksel lähtöw, proššaičeh.

Pidäw tulla järilleh svoid'boa ottamah. Tullah deäd'äd ned, hevonnidäjät kai, svoid'boa pidämäh siih, hevol ajetah. Muga hyvin svoid'boa pietäh, kai on ladno! Brihačču sanow:

— Minä tyttöi en ota! (*Häi sie kravatin al gu oli yön ga.*) En ota tyttöö minä! — sanow.

Deäd'äh sanow:

— Mikse ed otal Ga toizeh pogostah tuled! Ga ota ed da! Nengoi-zen roskodan pied da! — čakkoamah rubei.

— Deäd'ä, sinä elä čakkoa, — sanow. — Mugai sinul, kačo: enzi kerran goštih tuliin, kui goštitiit! Toizen kerran tuliin, opai vähäizel goštitiit, kolmandel paččoi da siendyl!

A mužikal sil, susiedal, sanow opai:

— Sinul opai, heboo piit, — sanow ga, — vai hebo väzyi, sällyn lykkäit peäliči aijas! — sanow.

— En!

— Et?! Kačo, kabd'aine táz on!

Dai sinne kabd'aizen ottaw. Hyö, deäd'ä dai susiedy iäre, briha d'eäw yksin. Tyttö yksikai menöw, kohonah svoid'boa pietäh, dai toizet annetah. Tytöl opai sanow:

— Minä sinuw ota en! Sinä minuw magaitit kravatin al, iče magait kravatz brihan kell! Täs kološšu brihan, na. Eigo olluh muga?

Sih svoid'bo eroi, brihačču jäi naimattah. Omas kyläz otti tytön. Nygöi vai eletäh vilzistäh.

Vie minä olin svoid'bos, sie annettih d'eähine hebo, hernehine pletti, nahkahine saduli. Tulin pogostal, papin riihi tulez, d'eähine hebo sih suli, hernehine pletti kanad n'okittih. Štoafaa oli palaine, štoarfoa toine, net sih kavottih! Minä d'äin täh, vain perednikaine vatsal!

48. [ДОБРЫЕ СОВЕТЫ]

Был там в старину мужик с сыном, вдовец да сын. Умирает он, лежит на смертном [ложе]. Говорит:

— Сынок, запомни три слова отцовских.

— А что надо, отец?

Говорит:

— Первым делом, запомни, — говорит, — не ходи три раза подряд в одно и то же место в гости. Вторым делом, запомни второе слово, — говорит, — не бери жену из другого погоста. Третьим делом, запомни, — говорит, — у тебя лошадь хорошая, не давай соседу пахать свою лошадь, лучше сам работай на соседей.

Ну, он думает, чего это отец так сказал. Стал жить-поживать, сосед приходит, дом богатый. Он очень много посеял и просит лошадь поле боронить. Просит поле боронить лошадь, и отдает [парень]. «Погоди-ка, посмотрю, почему отец не велел лошадь отдавать?».

Он [сосед] берет, идут боронить, три брата в доме было. Один боронил, боронил, а лошадь-то была жеребая. Боронил, боронил, второй приходит. Лошадь не кормят. Потом третий приходит, лошадь не кормят. *(В старое время торопились работать!)* Ну вот. Он сам идет на целый день за изгородь смотреть, почему отец не велел лошадь отдавать в деревню.

Один боронил, второй, третий боронил, лошадь встала и оже-ребилась. Жеребенка взял, перебросил через изгородь и упал жеребенок рядом с парнем. Он берет, отрезает копытце и в карман. Ну, сам домой. Вечером приводят лошадь, усталую, уже после захода солнца, в полночь. Приходят. Ничего не говорит. Вот какой парень, ничего не говорит! Думает: «Теперь пойду попытаюсь... Отец говорил, что нельзя ходить три раза подряд в одно и то же место в гости. Дядя все время в гости звал, пойду к дяде в гости». Приходит туда, уж и не знают как: «Вот, сынок, пришел-таки!», И не знают как [и встретить], всяких пирогов напекли, не знают, где его посадить. Ну вот, это воскресенье там побыл. «Пойду-ка и на другое воскресенье».

И на другой день, в следующее воскресенье, меньше суетятся. И что он ест, какие там пироги, все кладет в карман. И на следующее воскресенье все кладет в карман.

«Пойду еще третий раз». На этот раз только чай да грибы да печеная репа. И это кладет опять в карман. «Но это теперь испытал, отец говорил, так правда и есть. Вишь, третий раз уже плохо угощали. Теперь еще попробую жену взять из другого погоста». У него в своей деревне очень хорошая зазнобушка. Отправляется с дядей в другую деревню жениться. Того самого берет соседа и своего дядю в сваты.

Приходит в другую деревню свататься в женихи. Там очень хорошо встретили, угостили, свадьбу назначили, все, дело на полном ходу. Возвращаются домой. А им надо через два дня пойти свадьбу справлять. А парень этот одевается нищим. Идет просить. *(В старику ходили милостыню просить.)* Он берет в руки корзиночку, заходит в тот самый дом, на нем одежда очень плохая. Заходит в тот дом, просится ночевать, в невестин дом:

— Пустите, добрые люди, на ночь, — говорит, — в чужом месте и ночлега не могу найти.

— Не можем, свадьбу готовим, — говорит, — танцы будут да все.

— Да хоть куда-нибудь пустите, я ведь не буду танцевать, прикорму где-нибудь.

— Иди тогда под кровати! — невеста говорит.

Он — под кровать. Собрались девчата, танцуют, игры водят всякие, свадьбу играют. А парень тот под кроватью с корзинкой. Подходит парень [другой], схватил девушку и на кровать. Калоша упала, прямо жениху в корзину. Ну хорошо. Ночь переспал, калоша в корзине, с калошей. Утром уходит, прощается.

Надо обратно идти свадьбу встречать. Приходят дядя, сосед, который лошадь брал, свадьбу играть, на лошади подъезжают. Так хорошо свадьбу справляют, все ладно. Парень [жених] говорит:

— Я девушку не возьму. (Так как она там в кровати была ночь.) Не возьму я девушки, — говорит.

Дядя говорит:

— Почему это ты не возьмешь да еще в другую деревню едешь да не возьмешь, да расход такой сделал... — ругать начал.

— Дядя, ты не брани, — говорит. Так и у тебя, смотри, первый раз в гости пришел, как ты угощал. Второй раз пришел, опять немножко угощал, а на третий раз репы печеной да грибов.

А мужику этому, соседу, говорит тоже:

— Ты тоже, лошадь брал, — говорит, — так лошадь как устала, ты жеребенка выкинул за ограду, — говорит.

— Не бросал.

— Не бросал? Смотри, вот копытце.

Копытце с собой взял. Они, и дядя и сосед, оттуда прочь, парень остается один. Девушка все равно хочет за него идти, свадьбу вовсю играют, и те отдают. Девушке опять же говорит:

— Я тебя не возьму. Ты меня под кровать положила спать, а сама с парнем спала на кровати. Вот его калоша, на! Что, не было так?

Так свадьба расстроилась, парень остался неженатым. В своей деревне взял девушку. Теперь только живут-поживают.

Еще и я была на свадьбе, там дали мне ледяного коня, гороховую плеть, кожаное седло. Приехала в деревню, поповская рига в огне, ледяной конь тут растаял, гороховую плеть куры выклевали. Штофа был кусок, сукна другой, те там потерялись. Я осталась тут лишь с передником на животе.

V
Oli enne ukko da akku. Heil oli tytär da poigu. Eletäh ei bohatal i omua ruaduo ruatah. Tytär kazvaw, i tullah sulahaizet. Neidine on yksinäh kois, a pereh ollah kai ruavol, ken kuzgi. Kyzytäh neidizel:

— Kuzbo on tuattas?

Neidine latettu myö kävelöw, ruadoloi ruadaw, iče sanow:

— Tuatto edehpäi da tagazin kävelöw.

— Kuzbo on muamas? — kyzytäh.

— Muamo mulloi muhoittelih, tänävuon itketteleh, — neidine vastuaw.

— Kus on velli? — kzyztäh.

Neidine vastuaw:

— Velli tyhjäl tottu on suamas.

— A midäbo sinä iče ruat? — kzyztäh sulahaizet.

— Minä, — sanow, — tuhkusovat randah kuavoin — lähtien pardahal. ei menty tuhkat lähtieh, a minä lähtieh potkain.

Sulahaizet ni midä ei voidu selgieh dieluo suaha i muga iäre läh-tietti.

Mennäh sulahaizet rinnal susiedalluo. Susiedan akkua pagizutetah i paistah susiedan akal net sanat, midä neidine heil sanoi, i kzyztäh:

— Kus häi nengoizet tiedämizet sai?

Susiedan akkua työtäh neidizel kyzymäh, midä häi nengomil sanoil tahtoi sanuo. Akku menöw, kzyzw kai čakkavuon kel:

— Midä sinä nenga sulahaizet otkuažit i olit? Kus tuattos on?

Neidine sanow:

— Tuatto on kyndämäs: ies da tagazin kävelöw.

— Kuzbo muamas? — akku kzyzw.

— Muamo lastu suamas. Mulloi, — sanow, — täh aigah nagroitteli, a nygöi itkettelöw.

— Velli kus on? — akku kzyzw.

— Velli ongel kalua suaw, — neidine sanow, — ongihäi tyhji on — se kalua suaw, ga todeh menöw.

— A omas ruavot miksebo nenga sanoit? — akku kzyzw.

Neidine sanow:

— Rannas vezi on šemakku, ga voijah tiediä: sulahaizil ei čuajuo kiehu, en keittänyh.

Lähtöw akku i sanelow sulahaizil net sanat. Sulahaine vie enemmän miellyw. Mennäh susiedah i sinne kučutah neidisty.

Neidine menöw sinne. Briha rubiew kyzymäh:

— Kus sinä nengomat sanat otit? Eigo neidine rubies tulemah?

Neidine vastuaw:

— N'eroniemen n'okkaizes hoš lienen jiännyh, ga Sanasuareksuos en jiännyh!

A iče astuw kodih, da sulahaizet iäre. Ei mene, dai ei mene, vaiku sanoi ozualow.

49. [НЕВЕСТИНЫ ЗАГАДКИ]

Были когда-то старик и старуха. У них были дочь и сын. Живут небогато и своим делом занимаются. Дочь подрастает, и приходят сваты [букв. женихи]. Девушка одна дома, а вся семья на работе, кто где. Спрашивают у девушки:

— Где твой отец?

Девушка по избе ходит, свои дела справляет, сама говорит:

— Отец взад и вперед ходит.

— Где же твоя мать? — спрашивают.
 — Мать в прошлом году смеялась, в этом году плачет, — девушка отвечает.
 — Где брат? — спрашивают.
 Девушка отвечает:
 — Брат пустым добро добывает.
 — А что же ты сама делаешь? — спрашивают сваты.
 — Я, — говорит, — белье с золой вывалила на берег — на край родника, зола не упала в воду, так я ногой в родник пнула. Сваты ничего не могли понять и ни с чем ушли.
 Зашли сваты к соседу. С женой соседа поговорили и пересказывают жене соседа, что девушка им говорила, и спрашивают:
 — Откуда она такие премудрости взяла?
 Посылают жену соседа к девушке спросить, что она этими словами хотела сказать? Женщина идет [к ней], спрашивает, поругивая ее:
 — Что же ты таким сватам отказала? Где твой отец?
 Девушка говорит:
 — Отец пашет, взад и вперед ходит.
 — А где же мать? — женщина спрашивает.
 — Мать пошла рожать. В прошлом году, — говорит, — в это время смеялась, а теперь плачет.
 — Брат где? — женщина спрашивает.
 — Брат удит, — девушка говорит, — крючок ведь пустой, а если рыба прицепится, добро и будет.
 — А про свою работу почему так сказала? — женщина спрашивает.
 Девушка говорит:
 — У берега вода мутная, пусть знают, что сватам чаю не будет, не кипятила.
 Идет женщина и пересказывает сватам ее слова. Жениху еще больше понравилась девушка. Заходят к соседу и зовут девушку. Девушка идет туда. Жених начинает расспрашивать:
 — Откуда ты такие слова взяла? Может, девушка выйдет [замуж]?
 Девушка отвечает:
 — Хотя я и не очень умна, зато на язык остра [букв. хоть мыс Разума и миновала, зато до острова Острословия доплыла].
 А сама пошла домой, и сваты — прочь. Не идет [замуж] и не идет, только сказать сумела.

50. PEDRI-CAIRI

Ajaw Pedri-cairi. Starikke ajaw edel, halgod suwri regi. Starikal on ylen hyvä hebo. Häi kyzyw starikal:

— Kuibo teil kazvaw leibät?

— Leibät, — sanow, — kazvaw hyvin, ka *pervoi koren' červi jed'at*.
— A kuzbo nengoman hevon otit, ostitgo vai kodis kazvatit?
— Ni ostanu en, ni kodis en kazvatannu, *s turbiša s niva vslett prišol*.

— A kuzbo, — sanow, — kirvehen nengoman otit, ostitgo vai pajas azutit?

— Ni ostanu en, ni pajas azutannu en, *a v rečke kupals'a i v nogu popal*.

Izvoščikale sanow:

— Aja d'älgeh starikale.

Ajaw starikale d'älgeh. Starikke ajaw pihale, laskettaw hebon, a cairi pertih hypähtähes. Starikke hebon lasketti, tulow pertih, ka pertis cairi. Häi põlgästy, ka čut' ei langennu. Izvin'äičeh:

— *Izven'äites', imperatorskoje veličestvo*, minä en hyvin sinun kera pagižnu.

Cairi sanow:

— Ničego, älä varaida ni midä. D'aksaite, da sanot hyvin. .

Starikke d'aksaheze.

— Kuibo sanuoit sinä leibih niškuoi?

A minä sanuoin sidä, što viiden päivän ruadot mendäh sudre bojarile, a kuudes päive ičele vai tulow.

— A kuibo hebon otvetuoičit?

— Vot, — sanow, — *imperatorskoje veličestvo*, hebod, — sanow, — minä ni ostanu en, ni kodis en kazvatannu, a nain, tuli mučoile muamah, i muamalleh tuli neče hebo.

— A kuibo sanuoit kirvehen?

— Vot, *imperatorskoje veličestvo*, kirveste en azutannu, ni ostanu, vot nečis ojaižes olin kezuoil i d'algal nostin ojaižes piäi.

— Moločče, starikke, maltuoit otvetuoida. A vot, — sanow, — starikke, ku on sinul hebo hyvä, edgo voiš viedä minud Moskovah zau-tren'n'ail.

— Voin, *imperatorskoje veličestvol* Viere magata spokoino, otdj-haiče.

Vierow cairi magata, dai starikke vierow. Cairile ei magažuta. Kodvaižen magaži i nostattaw starikan:

— Läkškä, — sanow, — d'eduškal

— A aige on, *imperatorskoje veličestvo*, yöl menemme Moskovah.

Häin op'ät' vierow magata kodvaižekse, ka eibo magažuta. Kodvaine proidiw, nostattaw starikkad:

— Davai, — sanow, — läkämme nygy.

Deduška nowzi i rubeži virzuih villažid hattaruoid kriieppimäh prähkehen kera. Lähti tahnale, ka eibo tule. Pedri-cairi vuottaw, punaldaheze tahnale — ga häi čugunat kreslah lad'd'adaw. Pedri-cairi kzyzw:

— Midä ruadat, d'eduška?

— Vot, — sanow, — *imperatorskoje veličestvo*, jesli minä en panne čugunad, ka meid kuadaw.

Siid val'l'astaw hebon, panow cairin, od'd'ualoil kattaw, nuoral nuoriččow i lähtedih ajamah. Ajettih Moskovah, ka zautren'n'aih iškedi. Häi pidi hebon cairin vorottuoih. Časovuoi tartuttih:

— Kunne, vanhe, nygyöi cairin vorottuoih?

— Andagat, — sanow, — hot' silmät čiistidä, nägy ni midä ei.

A iče nuorad riičči. Hypästäheze cairi, ka časovuoi ken kunnegi pagoh. Cairi ottaw iččeh kere starikan omih komnattuoih. Syöttäw, d'uottaw starikan.

— Midäbo pidäw, — sanow, — dieduška, tuondas sinule?

— Minule ei pidä muud ni midä, piästä iäres *minut krepostnuois pravas*, štobj oližin *vol'nuoinnu graždaninannu*.

Otti kir'utti kuldažil bukvil, čto «enämbi et ole *krepostnuoi*, olet *vol'noinnu graždaninannu*». Da vie anduoi p'ätačkan na čai.

50. ЦАРЬ ПЕТР

Едет царь Петр. Старик едет впереди него, дров большой воз. У старика очень хорошая лошадь. Он [царь] спрашивает у старика:

— Как у вас хлеба растут?

— Хлеба, — говорит, — растут хорошо, но *первый корень черви едят*.

— А где такую лошадь взял, купил или дома вырастил?

— И не купил, и дома не вырастил, *а за торбой с нивы вслед пришла*.

— А где, — говорит, — такой топор взял, купил или в кузнице сделал?

— И не купил, и в кузнице не сделал, *а в речке купался и к ноге пристал*.

Извозчику говорит [царь]:

— Поезжай следом за стариком.

Едет за стариком следом. Старик заезжает во двор, распрягает лошадь, а царь быстро вбежал в избу. Старик коня распряг: приходит в избу — а в избе царь. Он испугался, чуть не упал. Извиняется:

— *Извините, императорское величество, я нехорошо, с тобой разговаривал*.

Царь говорит:

— Ничего, не бойся, ничего. Разденься и расскажи все по-хорошему.

Старик разделся.

— Как ты сказал про хлеба?

— А я сказал так, потому что пять дней работы пропадает зря на боярина, а себе только шестой день остается.

— А как про лошадь ответил?

— Вот, — говорит, — *императорское величество, лошадь, — го-*

ворит, — я не купил и дома не вырастил, а женился: пришла к жене мать и привела эту лошадь.

— А как ты сказал про топор?

— Вот, *императорское величество*, топор я не сделал и не купил: вот в этом ручейке купался и ногой за него зацепился.

— Молодец, старик, сумел ответить. А вот, — говорит, — старик, так как у тебя лошадь хорошая, не сможешь ли доставить меня в Москву к заутрене?

— Могу, *императорское величество*! Ложись спокойно спать, отдыхай.

Ложится царь спать, и старик ложится. Царю не спится. Немного поспал и будит старика:

— Поедем, — говорит, — дедушка!

— А рано еще, *императорское величество*, ночью приедем в Москву.

Он [царь] опять ложится спать ненадолго, но не спится ему. Прощло немного времени, будит старика:

— Давай, — говорит, — поедем сейчас.

Дедушка встал и начал с кряхтеньем наматывать на ноги шерстяные портянки, чтобы лапти-надеть. Вышел во двор и не возвращается. Царь Петр ждет, пошел во двор, а он [старик] чугунные болванки в дровни накладывает. Царь Петр спрашивает:

— Что делаешь, дедушка?

— Вот, — говорит, — *императорское величество*, если я не положу болванок, то нас перевернет.

Потом запрягает лошадь, укладывает царя, одеялом накрывает, веревками привязывает, и поехали, приехали в Москву, как раз к заутрене зазвонили. Он направил лошадь прямо в царские ворота. Часовые подскочили:

— Зачем, старина, заехал в царские ворота?

— Дайте, — говорит, — хоть глаза прочистить, ничего не вижу.

А сам веревки развязывает. Царь вскочил на ноги, а часовые кто куда удирают. Царь берет старика с собой в свои комнаты. Кормит, поит старика.

— Что надо, — говорит, — дедушка, тебе в награду?

— Мне больше ничего не надо, только освободи меня от крепостного права, чтобы я был вольным гражданином.

Взял написал золотыми буквами, что «больше ты не крепостной, а вольный гражданин». Да еще дал пяточок на чай.

51. PAPPI DA SUARI

Sie enne eläw huwtoral mužikku. Viizitoštu kilometria on hieruh, pogostu hieruh. Mužikal rodiew lapsi. Häi kerdua kaksi-kolme kävyw papilluo, sanow:

— Risti, vellin, minul lapsi!

Mužikal hebuo ičelleh olluh ei, a jallai pappi ei lähtenyh. Sid tulow sen mužikan luo suari. Suari käveli muadu myöte. Tulow pertih, terveyhön azuw, kätty kaikil andaw dai sille brihačul andaw. I kzyzw, mi on brihačul nimi. Brihačul on jo kolme vuotta. Mužikku vastuaw:

— Ewle vie ristitty lapsi!

Suari hänel kzyzw:

— Midäbo perii on sinul ristimätä neče lapsi?

Mužikku otvietti hänel:

— Kolme kerdua papilluo kävyin jallai, a hebuo ei olluh. Pappi ei ni tulluh.

Suari ottaw kirjuttaw lappuzen:

— I mene nygöi tämän lappuzen kel papilluo: tulow vai ei tule.

Iče ei sano, ongo suari vai ewle. Mužikku sinne meni, lappuzen andoi papil. I pappi tulow, astuw ristimäh lastu; mužikan kel astuw jällekkäi. Tullah kodih mužikan, sit suari papil kzyzw:

— Midäbo perii on mužikal lapsi ristimätä, kerran mužikku pidäw kolme-nelli kerdua viestii?

Pappi hänel otviettii:

— Mibo sinul on dieluo?

Iče ei tiije, ongo suari — a suari on pahois sovis. Suari hänel ni midä ei vastannuh, ottaw lykkiäw piälyssovat piäl, iče sanow:

— Kačo, mi minul on dieluo!

Hyö otetah sid lapsi ristitäh. Pappi lapsen ristii i suari rubiew ristižakse. Sid suari lähtöw iäre i sanow lähtijes:

— Vuvven peräs tule čotall

Papil sid rodih ylen paha mieles. (Iče astues duumaiččow.) Tulow kodih pappi. Tulow hänellyö diekkun istumah i kzyzw:

— Nu, kak delo, pop Jeremei?

Häi otvietti hänel:

— Dieluo — ni pagize älä, vuvvekse srokku annettih: suaril puutui ylen paha sana — matti — sanuo. Duumaičin, on prostoi mužikku, a puutui suari.

Diekkun Fedot hänel sanow:

— Piästämmö sinun nečis bedas. Jesli syöttänet vuvven minun perehty i minu, midä vai triebuinneh syvvä sinus.

Pappi hänelgi otviettii:

— Syötän, vellin, vai piästäl

Häi syöttäw-juottaw vuvven kaiken perehty. Vuvven peräs lähtöw diekkun Fedot suarilluo. Menöwhäi, suarilluo piäzöw.

— Vot, mih kučuit, suari? Minä nygöi tulingi.

Suari sanow:

— Vot tulit, nygöi minä annan kolme zaduaččua. Voinnet otviettie, äski piäzet hengih, eiga piä poikkil Vot nygöi, — sanow, — enzimäine zaduačču on nengoine, voinnet arvata: Mi on taivahas tiähtie?

Häi otviettii:

— Sen, kačo, tiijen, mi on tiähtie taivahas, — sanow, — on kaheksa miljardua kaheksa sadua miljoonua seiččie tuhattu kaheksan kymmen seiččie sadua suuren tähten kell

Suari otviettii:

— Tiijedgo hyvin?

Häi sanow:

— Opi vai kajožal siäl iče lugie, ga sid sanot, kielastin vai en.

Suari duumaiččemah rubei:

— Äijän, padin, sanoï, naverno voibi olla tozi. Nu nygöi tämän arbit, arbua nygöi toine zaduačču!

— Mibo toine on?

— Vot äijängo minä maksan?

— Sinä, — sanow, — maksat kaksikymmen yheksä rubl'ua, jengahizin jesli myvväl

Suari hänel otviettii:

— *Cort voz'mi*, midäbo minä ylen vähän maksan?!

Häi otviettii:

— Sinä olet mualline jumal. Jumal on myödy kolmeskymmenes rubl'as, a sinä olet rubl'ua huogehembil

Suari duumaiččemah rubei i sanoï:

— Tozi on, olen jumalua rubl'ua huogehembi. Nu vot, kaksi arbit. Nygöi kolmas arbua!

— Mibo on kolmas?

— Midäbo minä duumaičen täl minuutal? Arbua täl minuutal sel

Suari sil aigua duumaičči: «Oh kehveli, pappi kai gu nämä dielot tiezi».

— Nu vot, midäbo nygöi duumaičiin?

— Vot, — sanow, — sinä duumaičit: täs pagizet pop Jeremein kel, a on täs diekkun Fedot!

Suari ottaw täpähyttaw piädy:

— Moločču, nečengi arbit!

I hänel vie andaw na čai kaksikymmen viiži rubl'ua d'engua i työn-daw kuučerin kodissah vedämäh. Kodih työndi: kodipereh ihastui i iče pappi ihastui!

51. ПОП И ЦАРЬ

Живет там на хutore мужик. Пятнадцать километров будет до деревни, до погоста. У мужика родился ребенок. Он раза два, три ходит к попу, говорит:

— Окрести, брат, моего ребенка.

У мужика лошади не было, а пешком поп не пошел. Потом заходит к этому мужику царь. Царь ходил по стране. Приходит в избу, здоровается, всем руку подает и этому мальчику подает и спрашивает, как звать мальчика. Мальчику уже три года. Мужик отвечает:

— Не крещенный еще ребенок.

Царь у него спрашивает:

— По какой причине у тебя некрещеный этот ребенок?

Мужик отвечает ему:

— Три раза ходил пешком к попу, а лошади не было, поп и не пришел.

Царь пишет записку:

— Иди теперь с этой запиской к попу, посмотрим, придет или не придет.

Сам не говорит, что царь он или нет. Мужик пошел туда, записку отдал попу. И поп идет крестить ребенка, вслед за мужиком шагает. Приходит в дом мужика, тут царь у попа спрашивает:

— По какой причине у мужика ребенок не крещен, раз мужик три-четыре раза приходил за тобой?

Поп ему отвечает:

— Тебе что за дело?

Сам не знает, что это царь, а царь в худой одежде. Царь ему ничего не ответил, взял да сбросил с себя верхнее платье, сам сказал:

— Смотри, какое мне дело!

Они потом ребенка крестят, поп ребенка крестит, и царь становится крестным отцом. Потом царь уходит и говорит перед уходом попу:

— Через год приходи ответ держать.

Попу стало очень горько, сам идет и думает. Приходит к нему дьякон посидеть и спрашивает:

— Ну, как дела, поп Еремей?

Тот отвечает ему:

— И не говори про дела, год сроку дали, случилось мне очень плохое слово — мат — сказать царю, думал — простой мужик, а случился царь.

Дьякон Федот ему говорит:

— Выручим тебя из этой беды, если будешь кормить год мою семью и меня, что только потребую у тебя поесть.

Поп ему отвечает:

— Буду кормить, братец, только выручи.

Он кормит, поит весь год семью [дьякона], через год отправляется дьякон Федот к царю. Идет он, попадает к царю.

— Вот звал меня, царь? Так я теперь и пришел.

Царь говорит:

— Пришел, так я тебе задам три задачи, если сможешь ответить, останешься жив, а нет, так голова с плеч. Вот теперь, — говорит, — первая задача будет такая: можешь ли угадать, сколько на небе звезд?

Он отвечает:

— Это-то я знаю, сколько звезд на небе, — говорит, — восемь миллиардов восемьсот миллионов семь тысяч восемьдесят семь сотен с большой звездой.

Царь отвечает:

— Ты уверен?
 Он говорит:
 — Попробуй в ясную ночь сам сосчитать, тогда скажешь, со-
 врал я или нет.
 Царь задумался:
 — Много, черт тебя возьми, — говорит, — наверно, и правда.
 Ну, это угадал, угадай теперь вторую задачу.
 — Вторая какая?
 — Вот, сколько я стою?
 — Ты, — говорит, — стоишь двадцать девять рублей деньгами,
 если продать.
 Царь ему отвечает:
 — Черт возьми, почему же я так мало стою?
 Он отвечает:
 — Ты земной бог. Бог продан за тридцать рублей, а ты на
 рубль дешевле.
 Царь задумался и сказал:
 — И правда, я на рубль дешевле бога. Ну вот, две разгадал,
 теперь третью разгадай.
 — Какая же третья?
 — Что я думаю в эту минуту, угадай-ка сейчас это!
 Царь в это время думает: «Вот шельмец поп, все эти дела
 знает».
 — Ну вот, о чем я сейчас думал?
 — Вот, — говорит, — ты думал, что разговариваешь с попом
 Еремеем, а здесь дьякон Федот!
 Царь возьми стукни его по голове:
 — Молодец, и это угадал!
 И дает еще ему на чай двадцать пять рублей денег и велит
 кучеру везти домой, отпустил домой. Дома семья обрадовалась,
 и сам поп обрадовался.

52. PEDRI-CAIRI

Saldatte lähtöw meččäh ohotale i yöstyw. I Pedri-cairi ohotimmaz
 oli, i Pedri-cairil on hebo. Yhtyw saldattah:

— Terveh, — sanow, — služivui.
 — Terveh, terveh, — sanow.
 — Midäbo sinä tägäl?
 — Minä, — sanow, — yöstyin.
 — A sinä midä? — sanow.
 — Kai minä yöstyin.
 — Ka, — sanow, — yöstyit, ka edgo voi nosta puuh?
 Saldatte sanow:
 — En voi minä nosta, minä olen ylen äijäl väzyny, edgo sinä voi
 nosta kui?

Pedri-cairi rubei nowzemah puuh, a saldatte kaččow: hänel on kl'an-kušši sadulin torokas.

Saldatte sanow:

— Nygyöi, surme-kalme, pidäw oppida, midä on?

Ot't', ka viinad, hyväd. Häi ryyppäiži hyvän ves's'elän. Heittiheže Pedri-cairi puws, saldatte kyz'w:

— Viego midä nägyw?

— Vot nägyw, — sanow, — kodi ylen ogromadnuoi mečas.

Otetah hyö napravlenii. Mändäh, puwtutah gluhuois mečas kaksid'-atuažahižeh kodih. Mändäh pertih, on yksinäh staruuh.

— Anda, — sanow, — babuške, meile syödä.

— Ei, — sanow, — ole meil, *dit'onok*, ni midä syödä.

— Kui, — sanow, — ei ole ni midä syödä nengomas taluois, — sanow.

Fattiw päččilawdan, avalidaw päč'in, ga gus's'e padas.

— Kačo, — sanow, — sanod, vanhe ristitty, ei ole midä syödä, a on gusse tukkunaine padas. Leibäd, — sanow, — tuo, babuške.

— Oi ei ole, — sanow, — želannuoi, leibäd.

Saldatte avalidaw čulančikan, ka leibäd on virši. Ottaw leibän tukkunäžen, kandaw stolale, rubetah syömäh. Syödäh mi pidäw. Saldatte sanow:

— Syö, dovarišše, vačče täyz nygyöite. (*Häi ei tiedä vie, što cairi on.*)

— Nygöi anda, — sanow, — buabo, meile osoblivuoi, spokuoi meile otdžhaita.

— Vot, — sanow, — mängäd ylähäkse čardakkah, vierkätte magata.

Mändih hyö čardakkah. Cairi uinoži, a saldatte ei voi magata. Häi otti cairil sabl'an ičelleh kädeh i duwmaičow: «Täs emme hyväs kohtas magada». Rodiihes ehte, hämärdyškänzi. Rodiiheze alahakse pagin. Bua-buške kyz'wgi poigil:

— Viego, poigat, midä suaitte tänäpäi?

— Emmo, mšamo, suanu ni midä tänäpäi.

— A vot minä suain, kaks mieste on ylähän čardakas.

Hypnii nuorin poige:

— Oh, — sanow, — lähten minä, terväh heid rešin.

Vaiku čokonii piän, saldatte sabl'al vedälzi: piä pakui, kui kapustekerä. Toine sanow:

— Midä häi šigä vie tolkuinnow?

Hypnii i toine vel'leh. Ehtiw piän čokaita, saldatte sabl'al i vedäl-däw — i piä pakui, kui kapustekerä. Kolmas tägä sanow:

— Mändih i vai tolkuitah šigä, ei ruata.

Hypnii sinne — ka piä pakui, kui kapustekerä iäres. Kuwndelow, ka enämbi ei kuwlu ni kedä, tuli spokoino. Tulow huondes, i nostattaw:

— Nu, tovarišše, nowze iäres, pora meile lähtedä iäres.

Nowzelzi Pedri-cairi.

— Vot, tovarišše, — sanow, — minä uinonnužin, ka i sinä uinon-nužid igäkse — tägä, kačo, kolme piäd on.

Lähtetäh alahakse, saldatte sanow:

- Kus teiden kazne on, ozuta.
- Ei ole, želannuoi, meil, — sanow, — ni miitutte kaznad!
- Kui, sanow, — ei ole teil? Ed ozutanne, ka piän leikkadan!
- Vot, — sanow, — želannuoi, läkkä ozutan.

Mäni, viei ambarih. Ambaris on sundug rawduoil lyödy pečatnuoit syl'te.

- Nu, avaida, babuške, sundug.

Avaidaw sundugan, sundug täwz kuldad da hodb'ad. Pedri-cairi i sanow saldatale:

- Vot, saldatik, ota sinä min voined kandada, a minule ei pidä, minul on omad kuldad.

Saldatte panow kai kormanit täwdet.

- Vot, — sanow, — staruuha, ozuta meile nygyöi dorog, kunne pidäw puwtтуда.

Staruuha otti, vedätti heid tropinkale, saldatte punaldiheze, vedäldi cairil suabl'an nožnas i vedäldäw staruuhal piän.

- Ei ni sinud pidä, pahad, muale diättädä.

Tuldah hyö hyväh dorogah, ottaw cairi bumagad i peron i kir'uttaw kuldaižil bukmagan i andaw saldatale i sanow:

- Tule nengomal aigal, nengomah kohtah minulluo.

I sanow:

- Tämän bumagan kera mene kunne tahto kabakkah, trahtierih, jamščikuoiulluo, ni kus ei pidä den'gad maksada.

Prostiiheze, lähti cairi. Häi mäni trahtierih, zakažii kaikenn'yttyte viinad, zakuskad. Ozutti bumagan — ni midä ei pidäny. Häi mänöw stancaih, ottaw troikan hebod, kelloluois ajaw. Ozuttaw bumagan, ei oteta den'guod. Häi toižeh trahtierih mänöw, trebuičow kaikenn'ytymäd viinad, kaikenn'yttymäd zakuskad i mi vai oli rahvaste, kaikkid d'uotti. Bumagan ozutti, ni midä ei otettu. Mänöw toižeh stancaih. Kuuž hebod zakažiw, kuudel hebod ajaw, bumagan ozuttaw, ni midä ei oteta. Häi mänöw linnah, stolicah, trebuičow kaiken kallehimbat viinad i zakuskad i d'uottaw kaikkid, mi vai on trahtieris rahvaste. D'uohtui mieleh: «Minud kučuttih nengomah kohtah, nengoman päivän, pidäw mändä sinne nygyöi». Häi ku mäni sinne, kunne kučuttih — ka dvorcah carskuoih. A cairi da carica vuotetah hänte, häi käden nosti, čestin luadii:

- *Izven'ait'e, imperatorskoje veličestvo, ja pjanuoi.*

- *Ničego, soldatik,* — sanow.

Fatittih yks kädes, toine toižes iččeh zualah carskuoih. Ištutettih keskeh, carica čurah, cairi toižeh.

- Midä, — sanow, — saldatik, pidäw sinule nygy?

- Minule, — sanow, — ei pidä ni midä, vai ku uvoli minut *krepostnuois pravas!*

Otti cairi, kuldaižil bukvil kir'utti uvoln'enijan, što uvolittih sinut *krepostnuois pravas*. Saldatte piäzi krepostniekannu i hänen kai koranii piäzi.

52. ЦАРЬ ПЕТР

Солдат пошел в лес на охоту и заблудился. И царь Петр тоже охотился, и у царя Петра есть лошадь. Встречается с солдатом:

— Здравствуй, — говорит, — служивый.

— Здравствуй, здравствуй, — говорит.

— Зачем ты здесь?

— Я, — говорит, — заблудился.

— А ты зачем? — говорит.

— И я заблудился.

— Раз заблудился, — говорит, — то не можешь ли ты подняться на дерево?

Солдат говорит:

— Не могу я подняться, я очень устал, а ты не мошежь как-нибудь подняться?

Царь Петр стал лезть на дерево, а солдат смотрит — у него фляжка к седлу приторочена.

Солдат говорит:

— Теперь пусть хоть смерть и могила, но надо попробовать, что там есть.

Взял, а там вино хорошее. Он выпил на доброе здоровье. Спустился царь Петр с дерева, солдат спрашивает:

— Видно ли что-нибудь?

— Видно, — говорит, — дом громадный в лесу.

Берут они направление. Идут, попадают в глухом лесу к двухэтажному дому. Заходят в избу, там одна старуха.

— Дай, — говорит, — бабушка, нам поесть.

— Нет у нас, — говорит, — дитенок, ничего поесть.

— Как, — говорит, — нет ничего поесть в таком-то доме.

Хватает заслонку, открывает печь — гусь в горшке.

— Смотри, — говорит, — старая крещеная, говоришь, что ничего есть, а в горшке целый гусь. Хлеба, — говорит, — принеси, бабушка.

— Нету, — говорит, — желанный, хлеба.

Солдат открывает чуланчик, а там хлеба целая корзина. Берет каравай, приносит на стол, начинают есть. Едят сколько надо.

Солдат говорит:

— Ешь, товарищ, теперь досыта. (Он еще не знает, что это царь.)

— Теперь отведи, — говорит, — бабушка, нам особые покои для отдыха.

— Вот, — говорит, — идите наверх на чердак, ложитесь спать.

Пошли они на чердак. Царь заснул, а солдат не может спать. Он взял саблю царя в руку и думает: «Не в хорошем месте мы спим». Настал вечер, начало смеркаться. Послышался внизу разговор. Бабушка и спрашивает у сыновей:

— Достали ли, сыны, сегодня что-нибудь?

— Нет, мать, ничего сегодня не достали.

— А я вот поймала, двое мужчин наверху на чердаке.

Вскочил младший сын:

— Ох, — говорит, — пойду я, живо их решу.

Но как только сунул голову, солдат саблей ударил: упала голова, как кочан капусты. Другой говорит:

— Что он там еще толкует с ними?

Вскочил второй брат. Успел голову просунуть, солдат саблей как махнет — голова упала, как кочан капусты. Третий там говорит:

— Ушли и все там толкуют, дела не делают.

Вскочил туда — голова упала, как кочан капусты. Прислушивается [солдат], а больше ничего не слышно, стало спокойно. Приходит утро, и будит [солдат царя]:

— Ну, товарищ, вставай, пора нам уходить.

Встал царь Петр.

— Вот, товарищ, — говорит, — если бы я уснул, то и ты уснул бы на всю жизнь — смотри, здесь три головы.

Спускаются вниз, солдат говорит:

— Где у вас казна, покажи!

— Нет, желанные, у нас, — говорит, — никакой казны.

— Как так, — говорит, — нет у вас? Не покажешь — голову отрублю.

— Вот, — говорит, — желанный, пойдем покажу.

Пошла, привела в амбар. В амбаре стоит окованный сундук в печатную сажень.

— Ну, открывай, бабушка, сундук.

Открывает сундук, сундук полон золота и серебра. Царь Петр и говорит солдату:

— Вот, солдатик, возьми ты, сколько сможешь нести, а мне не надо, у меня есть свое золото.

Солдат наложил полные карманы.

— Вот, — говорит, — старуха, покажи нам теперь дорогу, как нам выйти.

Старуха привела их на тропинку, солдат повернулся, выхватил у царя саблю из ножен и снес старухе голову.

— Незачем и тебя, змею, на земле оставлять!

Выходят они на хорошую дорогу, берет царь бумагу и перо и пишет золотыми буквами, и дает солдату, и говорит:

— Приходи в такое-то время, в такое-то место ко мне.

И говорит:

— С этой бумагой можешь идти в какой угодно кабак, трактир, к ямщикам — нигде не надо денег платить.

Прощался, поехал царь. Он [солдат] пошел в трактир, заказывает всякие вина, закуски. Показал бумагу — ничего не надо было платить. Он идет на станцию, берет тройку лошадей, с бубенцами едет. Показывает бумагу — не берут денег. Он в другой

трактир идет, требует всяких вин, всяких закусок, и что было людей, всех напоил. Бумагу показал — ничего не взяли. Идет на другую станцию, шесть лошадей заказывает, на шести лошадях едет, бумагу показывает — ничего не берут. Он идет в город, в столицу, требует самых дорогих вин и закусок и поит всех людей, какие только есть в трактире. Вспомнил: «Меня звали в такое-то место, в такой-то день, надо теперь туда пойти». Он как пошел туда, куда его звали, — так это дворец царский! А царь и царица ждут его, он руку поднял, отдал честь:

— Извините, императорское величество, я пьяный.

— Ничего, солдатик, — говорит.

Подхватили — один под одну руку, другая под другую руку — и повели в царский зал. Посадили между собой, царица с одной стороны, царь — с другой.

— Что тебе, — говорит, — солдатик, теперь надо?

— Мне, — говорит, — ничего не надо, только уволь меня от крепостного права.

Взял царь золотыми буквами написал освобождение, что «ты свободен от крепостного права». Солдат освободился от крепостного права, и весь его род освободился.

53

Petr Pervoi ennen ečči ravejima heboo, kudai enimäl d'uoksiš. Häi meni gu dielon peräh sepällö heboo ravvoittamah, a sepäl oli ylen hyvä hebo. Meni seppy, potkovan valmisti i lykkäi sih vilustumah. Petr Pervoi ottaa sidä potkovaa käis pyörittää dai oijendaa, sanoo:

— Kiitetäh, hyvä seppy olet, no vai aiga lahoo potkovaa laait!

Häi ei virka ni midä. Ottaa laadii uvvet — dai hevон ravvoittaa. Ravvoitestu andaa Petr Pervoi hobd'ahizen rubl'an. Seppy ottaa pyörittää dai keskel katkaa d'en'gan i sanoo:

— Moine i saari olet, gu lahoo d'en'gaa tuot!

Saari kyzyy:

— Sanotah, sinul on ravei hebo?

— On kudakui.

— Edgo l'ähe minuu vedämäh, nengoine i nengoine matku on, kolmekymen virstaa čaasus pidää d'uosta. Jeeželi ed voine vedää srokäl, sid sinulles palku häviää dai muite nyt laaduo rodiah.

Seppy sanoo:

— Lähten. Tol'ko anna minul aigaa, hebo on lasketettu, kepit pidää tagua.

Häin tagoo kolme keppii i panoo kreslah viizitoštu puudaa raudaa. Istutahез kreslah i l'ähtietäh ajamah. Saari sanoo:

— Onnakko hävität palkan, dai iččedäs, hil'l'ah tämä hebo kävelöö.

Seppy ottaa, ravval isköö heboo, i hebo ravenoo — d'uoksoo. Yksi perelesku päästih. Lähtietäh, toine ajetah. Op'ät' saari sanoo:

— Onnaako hävität sinä palkan dai iččeedäs hävität — ylen hil'lah menöö hebo.

Häi ottaa toižen kerran isköö toižel kepil, hebo i yččästähes i davai d'uoksemah. Päästäh toine perelesku. Lähtietäh viimisty perelieskaa ajamah. Saari kaččoo čassuloih i sanoo:

— Nygöi onnaako hävität palkan dai iččeedäs, ylen vähä aigaa on.

Häi ottaa isköö kolmanden kerran, isköö heboo, i hebo lähtöö d'uoksemah i puoldu čassuu ielle tuloo määrättyh stanssiessah. Saari lähtöö kreslas i kyzyy:

— Äijängo sinun hebo maksaa?

Seppy sanoo:

— Se ei ole myödävy.

Saari kyzyy toižen kerran. Op'ät' vastaa seppy:

— Ei ole myödävy.

Saari kyzyy kolmanden kerran:

— N'euzeeli hindaa hevol ei ole? Minä annan, ota min tahtonet.

Häi sanoo:

— Ved' kerdu on sanottu, se ei ole myödävy.

Saari sanoo:

— N'euzeeli sinä nyt saaril ed myö? — ottaa i hevon ambuu da palkan maksaa, mi oli määrätty.

Seppy lähtöö pahas mieles linnaa myö kävelemäh. Kävelöö kabakkoi myö i kuz vai nägöö ribuhizii kird'uniekkoi i vai heidy ugoščajččoo. Sidä raadaa mondu kerdaa. Eräs siä on ravei kird'uniekku i kyzyy:

— Midäbo sinä meidy nygöi d'uatat da olet pahaz mielez?

Häi sanoo:

— Vot on minul mittuine obiidu. Minä toin saarin i meil oli rääditty hindu. Nečen vastah oli matkaa i toin viä puoldu čassuu iele namietittuu aigaa. I häi kyzyi, äijängo otan hevoz. Minä vastain: «Ei se ole myödävy, se on kodihebo». Kolmandengi kerran kyzyi, minä en andanuh, häi otti da ambui hevon.

— Ole huolettah, — sanoo kird'uniekku, — osta butjlkku viinaa, mene osta gerbovoidu bumaagaa listu.

Ottaa i kird'uttaa prošeenijan. Käjel kird'uttaa, sid toižel käjel kird'uttaa. Ottaa i varbahal podpišsihez.

— Nygöi palkaa prošeenijan viejy.

Häi menöö eččii viejän i maksaa palkan, i se lähtöö vedämäh. D'o toššupään ečitäh händy, kučutah suudoh. A kird'uniekku sanoo:

— Nygöi häi maksaa hevoz, ga elä vähembää räaji, gu mi vai hevon nahkah syndyy hodb'aa da kuldaa.

Mennäh suudoh, i saari kyzyy:

— Äijägo otat?

Häi sanoo:

— Mi hevon nahkah menöö kuldaa da hodb'aa.

Hänen pidi maksaa. Seppy otti da vie tänäpäi bohattannu elää.

53. [ПЕТР ПЕРВЫЙ И КУЗНЕЦ]

Как-то Петр Первый искал резвого коня, который бы быстро бегал. Он пошел к кузнецу будто бы за делом — коня подковать, а у кузнеца была очень хорошая лошадь. Кузнец подкову выковал и бросил остужаться. Петр Первый берет подкову, в руках вертит да и разогнул, говорит:

— Хвалят тебя, что хороший кузнец, а подковы гнилые делаешь.

Тот ничего не говорит, делает новые подковы — и коня подковывает. Петр Первый дает за подковку [лошади] серебряный рубль. Кузнец берет, вертит рубль да и разламывает пополам и говорит:

— Что ты за царь, как гнилые деньги приносишь.

Царь спрашивает:

— Говорят, у тебя есть резвый конь.

— Есть кое-какой.

— Не повезешь ли меня — такой-то и такой-то путь — тридцать верст в час надо бежать. Ежели не сможешь доставить в срок, то заработок твой пропадет и еще кое-что случится.

Кузнец говорит:

— Повезу. Только дай мне время: конь распряжен и палки надо сковать.

Он сковал три палки и нагрузил в сани пятнадцать пудов железа. Усаживается в сани и поехали. Царь говорит:

— Кажется, потеряешь заработок да и свою голову — тихо этот конь идет.

Кузнец взял железом ударил коня, и конь побежал. Один перелесок проехали. Едут дальше. Опять царь говорит:

— Кажется, потеряешь ты заработок и свою голову потеряешь — очень уж тихо идет конь.

Он взял второй раз ударил другой палкой, конь рванул и давай бежать. Проехали второй перелесок. Проезжают последний перелесок. Царь смотрит на часы и говорит:

— Кажется, потеряешь заработок и свою голову — очень мало времени осталось.

Он взял ударил третий раз коня, и конь побежал, на полчаса раньше срока приезжают на назначенную станцию. Царь встает из саней и спрашивает:

— Сколько твой конь стоит?

Кузнец говорит:

— Он не продажный.

Царь спрашивает второй раз. Опять отвечает кузнец.

— Не продажный.

Царь спрашивает третий раз:

— Неужели коню цены нет? Я дам — возьми, сколько хочешь. Он говорит:

— Ведь сказано уже раз — не продажный конь.

Царь говорит:

— Неужели ты даже царю не продашь? — взял и застрелил коня да заплатил за провоз, сколько было назначено.

Кузнец огорченный пошел бродить по городу. Ходит по кабакам и где только увидит писарей в лохмотьях, их всех угощает. Так делает несколько раз. Был там один писарь крепкий в грамоте, тот и спрашивает:

— Почему ты нас поишь, чем обижен?

Он говорит:

— Вот такая у меня обида. Я привез царя, и мы подрядились о цене. Такой путь проехали, а я привез еще на полчаса раньше назначенного времени. И он спросил, сколько возьму за коня? Я ответил: «Он не продажный, он домашний конь». Третий раз спросил, я не продал, он взял да застрелил коня.

— Не беспокойся, — говорит писарь, — купи бутылку вина, поди купи лист гербовой бумаги.

Взял и написал прошение. Пишет правой рукой, потом левой рукой пишет. Взял и пальцем ноги подписался.

— Теперь найми человека, который бы отнес прошение.

Он пошел, нашел человека и заплатил ему; и тот пошел [с прошением]. На второй день уже ищут его [кузнеца], зовут на суд. А писарь говорит:

— Теперь он заплатит за коня. На меньшее не соглашайся, а [потребуй] серебра и золота столько, сколько войдет в кожу коня.

Идут на суд, и царь спрашивает:

— Сколько возьмешь?

Он говорит:

— Сколько войдет золота и серебра в кожу коня.

Ему пришлось заплатить. Кузнец взял [деньги], да еще и по сей день живет богачом.

Huwtoral elettih mužikku da akku. Heile oli kaksi lastu. Jogirannal elettih. A mužikan akku oli upr'uamoi: konzu mužikku kielti midä ruadamas ga akku sidä enämbäl ruadoi sen. I kerran mužikku predupredi akal, što älä, kačo, lykkiä ni midä jogeh: ni vastua, ni midä. A mužikku tiezi, što mečas kävelöw beglecoin partii, kudai rahvahii kiskow. A akku gu oli upr'uamoi, lykkiäwgi nareko kaksi vastua. Beglecoin partii parahite piädyi syömäh jogirandah, dai dogadittih ned vastad uidamas. Yksi miesgi sanoi:

— Kačo vai, tuas on vaste lykättyw vastua. Nečis lujal on lähil kedä-tahto eläjä.

I lähtietäh astumah vastu vuoh i puwtutah huwtorah. Sid sinne mendyw toizet kai atamuanu pani riiheh, a iče meni akalluo pertih. Heidy kaikkiedah oli nellikymen hengie. Atamuanal himoitti akan kel yhtyö. Häi muga oppii sidä akkua kozita kolme-nelli päivia. Dai suaw sen. Sid heile rodih jo moine mieli, štobi mužikku hävittiä iäre. Akku nevow atamuanal, što «mužikku on minul ylen vägevy. Kačo, yksin stroii koid dai kai. Händy voittamah pidāw olla kuuzi-seiččemen mužikkua. Vai kyls tulduw hänel ewle vägie, konzu virutah nurmel sellälleh huogaumah».

Mugai ruatah: atamuanu ottaw dai sidow käid. Tuow mužikan pertih dai seizattaw hänen konečkan luo, sidow sih. Iče vieri muata akan kel, gui ukko da akku. Toizet vie sie riihes ollah. Häi seizow konečkas yöl, a parahite yöl havaččuw hänen pieni tyttöine, tytär. Tuattahgi sanow tytöl:

— Anna, Nast'o-rukku, veičči tuatal.

A Nast'a vastuaw hänel:

— Vuota uven tuatan nostatan, ga andaw häi sinul hyvän veičen.

Mužikku — tuattah — sanow:

— Olgah, Nast'a-rukku, viere muata, älä...

Sid brihačču nowzi kuzel, poigu. Tuatto pakiččigi brihačul veičen, a veičči oli korgiel pual'čal. Häi, brihačču, täwdyö ei voi. Tuattah n'evvoi händy, što «pane sobua alle, da päriel sorra veičči, sobatukun piäl». Muga gi brihačču ruadoi: sordi veičen, ni ken ei kuwlluh. Otti andoi veičen tuatalleh suwh. Tuattoh brihačun käski muata. Muga tuattoh kiändāw käid vähäizel i leikkuaw nuorat kázis i lähtöw pertis. Salbai hil'akkazin uksen. Kaččow, ga ni kedä huonuksis ei nävy. Duwmaiččow nygöi, što kedä tahto pidāw olla tās. Sid menöw häi riihen pihal. Ikkunaizeh gu kačahtah: sie kolmekymmen yheksä hengie. Sid ottaw kolmeruagazen kuwziverškazen parren da panow sen uksel tuveksi. Iče tuli pertih, seizatui endizelleh, kui oli sivottu.

Huondeksel nostah maguamas akkah da atamuanu. Atamuanu kyzryw mužikal:

— Midä tänyön näit unis?

Häi vastai atamuanal:

— Tänyön puwtui kolmekymmen yheksä tedrie puzuh, a nelläskymmen terväh puwtuw puzuh, yksi jalgu jo on pualikal, a vai toine puwtuw, dai häi pakuw puzuh!

Atamuanu ottaw dai rubiew händy korval iškemäh, sanow:

— Midäbo izdevaičettos!

Mužikku gu, vellin, syöttäi, tresniw korval: häigi pakuw sih. Sid hänen kel muga kodvan izd'evaiččih, muokkai. Sid tytön iški seiniä vaste, iče sanow:

— Täsgi sinul uwzi tuatto!

Akan otti, yhten jallan pani ičelleh jallan al, toizen kädeh, dai halgai akan. Iče sanow:

— Täsgi sinul uwzi ukkol!
Brihaččužen otti yskäh, koin poltti i lähti putešestvuimah muadu
myöte, toižih hieruloih.

54. [МУЖИК И АТАМАН БЕГЛЫХ]

Жили на хуторе муж и жена, у них было двое детей. На берегу реки жили. А жена у мужика была упрямая: когда муж что-нибудь запрещал, жена еще пуще делала так. И однажды муж предупредил жену, что «смотри, не бросай ничего в реку — ни веника, ничего». А муж знал, что в лесу бродит шайка беглецов, которая людей грабит. А жена как была упрямая, так и бросила нарочно два веника в реку. Шайка беглецов как раз расположилась есть на берегу реки, и заметили они те плывущие веники. А один из них и сказал:
— Смотрите-ка, тут недавно брошены веники. Тут где-то недалеко есть жители.

И отправляются вверх по течению и попадают на хутор. Придя туда, атаман всем другим велел идти в ригу, а сам пошел к хозяйке в избу, их всего было сорок человек. Атаману хочется жить с этой женщиной, и он три-четыре дня ее сватает. И уговорил ее. Потом им пришла дума мужа сжить со света. Жена говорит атаману, что «муж у меня очень сильный. Смотри, один выстроил дом и все. Чтобы его победить, надо шесть-семь человек. Только после бани у него нет силы, когда он ложится на спину на траву, чтобы отдышаться».

Так и делают, атаман завязывает ему руки. Приводит мужика в избу и ставит его к конику и привязывает к нему. Сам лег с хозяйкой спать, как муж с женой, а другие там, в риге. Он стоит у коника ночью, а как раз ночью просыпается его маленькая дочка. Отец и говорит дочке:

— Дай, Настенька, нож отцу.

А Настя отвечает ему:

— Погоди как нового отца разбужу, так он тебе даст хороший нож.

Мужик говорит:

— Ладно, Настенька, ложись спать, не надо.

Потом мальчик проснулся по нужде, сын. Отец и у сына попросил нож, а нож был высоко на полке. Мальчик достать не может. Отец дал ему совет, что «положи внизу одежду и лучиной столкни нож, чтобы упал на кучу одежды». Мальчик так и сделал. Уронил нож, никто не услышал. Взял дал нож отцу в рот. Отец велел мальчику лечь спать. Понемногу отец освобождает руку и режет веревки и выходит из избы. Закрыл тихонько дверь, смотрит — а никого нет в пристройках. Думает, что кто-нибудь да должен быть здесь. Потом идет он к риге. В оконце как заглянет — там тридцать девять человек. Потом берет трехсаженное шестивершко-

вое бревно и подпирает им дверь. Сам вернулся в избу, встал по-прежнему, как был привязан.

Утром встают хозяйка с атаманом. Атаман спрашивает у мужика:

— Что тебе этой ночью приснилось?

Он отвечает атаману:

— Этой ночью тридцать девять тетеревов попали в ковш, а сороковой скоро попадет, одна нога уже на перекладинке, а как другую поставит, так и тот попадет в ковш.

Атаман хочет его ударить по уху, говорит:

— Что издеваешься?

А мужик, брат мой, как треснет по уху, и он [атаман] тут падает. Потом над ним долго издевался, мучил. Потом дочку ударил об стену, сам говорит:

— Вот тебе новый отец!

Жену взял, на одну ногу наступил, за другую взялся рукой и разорвал жену. Сам говорит:

— Вот тебе новый муж!

Мальчика взял на руки, дом сжег и пошел скитаться по земле, в другие деревни.

55

Elettih ennen mužikku da kondii. Mužikku lähti kaskee ajamah. Kondii sie satui hänel vastah, puutui:

— Midä sinä root?

— A kaskee ajan.

— Otas minuu dovariššakse, eiga minä sinul en anna ajaa.

— Nukka. Nukka yhtes!

Hyö kaski ajettih. Hyö kaski ajettih, palo poltettih, kai. Davai hyö kyndämäh, kylvämäh. Hyö enzimäzekse kylvettih nagristu. Heil kazvoi nagriz ylen hyvä. A mužikku vjdumaiččoo, kui nečiz nygöi sooha, kondies moonittooo nagrehet.

Kondiel sanoo:

— Kudamadbo čurat sinä otat?

A häi, kačo, ainos kagroi riiboo da rugehii. Häi sanoo:

— *Ja... verhuški berul*

Duumaiččoo mužikku: «Hyvin i rood, ota, ota!».

— Vuota vai minä peestän, — sanoo, — sinul verhuškat.

Mužikku nagrehen n'yhti, nagristu rodih kaksi kuoppoo, ylen hyvee. Nagrehen n'yhti, no:

— Nygöi ota verhuškat sinä, n'ootit uberi.

Rubei niidy syömäh:

— Oh kehveli, moonittil Ewle hyvä tämä.

Tossu vuon sih nagrizmooh mužikku kylvi nižun. Nižu rodih ylen hyvä, ylen hyvä, kazvoi vyössäh. Toos kyzyy, (sen kondien kel rootah, yhtes račketah) dai toos kyzyy:

— Kudoodbo nygöi, d'eed'oi, otat?

— A nygöi otan, — sanoo, — nene sāngičuran.

Duumaiččoo, «Vot hyvin roovoit, ota vai».

— Toos vuota nygöi, — sanoo, — sid minä uberin.

Mužikku nižuzet leikkai, uberi da kodih vedi eeres. Da vie staraič-čih: kai sāngyön lyčykkäzen, lyčykkäzen kičusti.

Rubeibos niidy kičustamah:

— Oh minuu, minuu, nygöihäi moonivuvin. Nygöi, kačo, táz ni midä et soo. Sih sudra meni. No olgah.

Sen dielon hylgäi.

Mužikku sygyzyl rubie vemmeldy loodimah.

— Midäbo nygöi root sinä?

— Nygöi, — sanoo, — minä vemmeldy lain.

Tuondu keree da painoo, sid vemmeldy myöbi mužikku.

— Dai minä rubien!

— Nukka!

Leikkoou sangien sie tuomahazen, n'yhtee. Rubiebo murraldamah vastakkah, se katkie. Toizen d'ernii pahas tavas. Se katkie. Erähän d'ernii pahas tavas — se katkie. A mužikku vai hil'l'akkazeh painoo. Joga vewbelyt hyvä roih. Mužikku vai loodii, mužikku vai loodii mättee.

Häi suutui, lykkäi:

— Enämbi en minä rubie, — sanoo, — sinun kel družimahl

— Et rubie, ga ei ni pie, dovariššu, — sanoo, — mene, velli, kuz olit, sie i druži.

Sid mužikku peezi hänes, dovariššas eere hyváz mielez.

Loppih se zookkun.

55. [ДЕЛЕЖ УРОЖАЯ]

Жили когда-то мужик да медведь. Мужик идет подсеку рубить. Медведь там случился, ему навстречу попадает:

— Что ты делаешь?

— А подсеку рублю.

— Возьми-ка и меня в товарищи, а не то я тебе не дам рубить.

— Давай. Давай вместе.

Они подсеку вырубili, они подсеку пробороновали, поджогу сделали, все. Давай они пахать, сеять. Они сначала посеяли репу. У них выросла репа очень хорошая. А мужик думает, как бы теперь у медведя репу выманить. Медведю говорит:

— Которые концы ты возьмешь?

А он, [медведь], видишь, всегда овес рвет да рожь.

Он говорит:

— Я ... верхушки беру.

Думает мужик: «Хорошо и делаешь, бери, бери!».
— Подожди-ка, я соберу тебе верхушки.
Мужик репу выдергал, репы получилось две ямы. Очень хорошей. Репу выдергал.
— Теперь возьми ты верхушки, ботву убери.
Стал это есть:
— Ох, окаянный, обманул! Это нехорошие.
На следующий год на этом поле мужик посеял пшеницу. Пшеница уродилась очень хорошая, очень хорошая, выросла до пояса. Опять спрашивает (с тем медведем работают, вместе трудятся). Опять и спрашивает:
— Которые теперь, дядя, возьмешь?
— А теперь возьму, — говорит, — эти, корешки.
Думает: «Вот хорошо делаешь, знай бери».
— Опять подожди, — говорит, — когда я уберу.
Мужик пшеницу сжал, убрал да домой и свез. Да еще поставился: жнивье короткое-короткое оставил.
Стал он эти [корешки] грызть:
— Ох, я, бедный, опять ведь обманулся. Теперь уж из этих ничего не получишь.
Все зря пропало. Ну ладно. Бросил это дело.
Мужик осенью стал дуги гнуть.
— Что теперь ты делаешь?
— Теперь, — говорит, — я дуги делаю.
Черемуху рубит да гнет, потом дуги продает мужик.
— И я буду!
— Давай!
Рубит там толстую черемуху, выдергивает. Стал сгибать — переломилась. Вторую дернул с дурной головы. Эта переломилась. Следующую сдернул в сердцах. Опять переломилась. А мужик лишь, знай, потихоньку гнет. Каждая дуга получается хорошая. Мужик, знай, делает, мужик, знай, делает, гнет.
Он [медведь] рассердился, бросил:
— Больше я не буду, — говорит, — с тобой дружить!
— Не будешь, так и не надо, приятель, — говорит, — иди, братец, где был, там и дружи.
Так мужик отвязался от него, товарища, рад был.
Кончилась эта сказка.

56. TIMKA

Timka oli ylen viizas. Kerran häi luoo heinää puukesken. Sid kävyi kaččomah, ga joga päivää heinät puoletah. Yhten kerran häi ottaa yhteh kormanih hernehty, a toizeh kivyty hienostu. Menöö sinne da nouzoo puukesken pääle, kodvazen vuottaa. Sid tuloo karu. Karu rubiaa heinää syömäh hänen puukeskes. Timka sanoo:

— Älä syö heinää, syö hernehty! (*A andaa kivytty.*)
Iče syöö hernehty. Iče gu Timka puroo hernehty, kai lojahtah,
a karu sanoo:

— Minä en voi purta.

Timka sanoo:

— Vuotaz minä puren, minun hambahat ollah lujat!

Dai puroo lojahuttaa. Karu sanoo:

— Gu olet nengoine vägevy, läkkä meijälläö.

Timka sanoo:

— Lähten.

Dai hyö lähtietäh. Astutah lehtimečas, pedäimečas i kuuzimečas poikki. Hyö mennäh kodih, kodi on korves. Hyö mennäh sih karuloin kodih. Starikku-karul on kolme poigaa, poijat dai iče ollah vägevät. Dai starikku kerdoo poijil:

— Ylen on tämä vägevy.

Vanhin poigu sanoo Timkal:

— Davai opimmo lykkiä yläh sadapuudahistu kivee, kudaan menöö ylembi?

Timka sanoo:

— Davai.

Dai lähtietäh pihal. Karu gu ottaa viuhkaa giir'an, se giir'u lendää pilvissä dai maale pakkuu. Taivahal nävytti pilvenhattarat. Timka sanoo:

— Minä gu lykännen pal'l'an, sinne i jää pilvihattarah, ei tule ni ääre.

Karu sanoo:

— Älä, velli, sid lykkää, taatan pal'l'u on.

Timka sanoo:

— Lykkään!

— Älä, velli, lykkää, diedoošin pal'l'u, taatošin pal'l'u.

Timka sanoo:

— Olgah, en ni lykkää.

Karu sanoo:

— Davai kirgaamah, kudai enämbäl kirgaa.

Timka sanoo:

— Davai.

Dai mendih koivumečas. Karu gu ottaa hol'ahuttaa — kai puut kaavutah. Timka viččaa leikkaa. Karu kyzzy:

— Miksebo viččaa leikkaat?

Timka sanoo:

— Leikkaan sikse, gu minä kirgaan, ga koit, kivet, kai halletah, a ičelleni vicaazel pään sivon.

Ičelleh i sidoo vičan pääz ymbäri:

— Sid ei ni halgia.

Karu sanoo:

— Älä, velli, kirgaa.

— Kirgaan.

— Älä, velli!

— Kirgaan.

— Älä, velli, kirgaa!

— No olgah, en kirgaa, proštın tämän kerran.

Ääre i lähtietäh kodissah. Karu sanoo tootalleh. Sid päädy lekuteh toizet.

Lähtietäh karun kel puudu vedämäh. Timkal ei ole vägee ni počti iččiedäh kandaa, a pääz on vägee duumaija. (*Viižas on!*) Timka kaadaa ylen suuren kuuzen. Karu sanoo:

— Miksebo nengozen suuren kuuzen kaavoit?

Timka sanoo:

— Onhäi vägee.

Timka ottaa da leikkaa ičelleh ongiraagan da terendää pään ongi-raagas. Iče ottaa kandaa tyvipuolen, a karul andaa lavupuolen, da sanoo karul:

— Gu kačahannet taaksepäi, sid ongiraagal silmät kaivan.

Lähtietäh kandamah sidä puudu. Timka istuhes tyvel da vai... tabakan vai kääri, a karu higessäh puudu vedää. Karu sanoo:

— Davai huogavummo.

Timka sanoo:

— Emmo vie väzynyh.

Karu sanoo:

— Davai.

Timka hyppäi tyvel ääres i sanoo:

— Davai.

Timka sanoo:

— Midäbo nenga hies olet? Minä ni yhty en ole hies.

Karu sanoo:

— Minä, velli, väzyin.

— Minä en ni yhty väzynyh.

Lähtietäh uvvessah. Timka tyvel istuhez i kodih ajaa. Karu kodih mendyy saneloo, a Timka kuundeloo uksen tagan. Starikkukaru sanoo:

— Tappaa pidää ääre, gu maata vieröö. Sid mengää da sadapuudahizel pal'äl iskekkää.

Timka sen kuuli da saraal maata i lähti. Iče kuz magari, sih pani kartazen, a iče vieri pimieh čuppuh. Nuorin karu tuloo dai išköö sadapuudahizel pal'äl: kai kartupalat lennettih. Huondeksel mennäh i kirratah:

— Timka, nouze čaajull

Häi hyppää tilaz ääre, iče kirgaa:

— Vie ni čortat kulakkažilleh ei olla, työ d'o čaajul kučutto!

Mennäh i čaaju d'uvvah. Lähtietäh vedämäh tervastu kandoo i niidy vietäh saraan bokku täyzi, kus Timka elää. Timka uksen tagan kuundeloo. Vanhin karu sanoo poijil:

— Nygöi ku vieröö Timka maate, työ pangat tuli tervaksizih.

Timka menöö, levöl azuu loukon da vieröö maate omassah tilal. Yöl tuloo karu dai sytyttää tervaksizet palamah. Timka hyppää levoz

äärez dai meččäh. Sid gu saraa palaa, Timka menöö dai vieröö tuhkien pääle. Huondeksel karu nostattamah tuloo:

— Timka, nouze čaajuu d'uomah!

Timka hyppäi i sanoo:

— Vie ni čortat kulakkazilleh ei olla, työ d'o čaajuu d'uottol

Menöö, čaaju d'uvvah. Karut smietitäh, ei ni kui saa täz miehes päästä. Hyö nedäli kuivatah nižustu zuuharii. Pannah burkkiloih maidoo, a zuuharit suurih haavoloih. Timka ku kuuloo sen, što pajetah, ottaa da menöö zuuhariloin välih. Karut lähtietäh, d'uostah täytty vägee. Timka haavos kirgaa:

— Tabaan!

Hyö vie enämbi d'uostah. Uvvessah nostah i sanotah:

— Davait'e huogavummol

Timka kirgai:

— Tabain!

Hyö sumkat dai haavot sih d'ätetäh, iče d'uostozil pagoh. Timka ottaa azuu loukon haavoh i tuloo ääre haavos. Hänel d'ää ylen suuri kard'u heboo, toine kard'u lehmää, leivät da maat pääle. Kudamat haavoz zuuharit d'äädih meččäh, niilöis haavoloiz rodih vedämisty kolme nedälii kymmenel hevol. Konzu Timka rubiee lehmii lypsämäh, sid maidoo pääzöö ynnälline žbaanu. Yhten kerran Timka lehmien lypsäjes pakui maidožbaanah, sie päästyy häi ei mennyh enäm žbaanan reunal lypsämäh. Häi laadi lavvat žbaanan pääle da niidy myöte pääzi.

Mugaleite Timka d'ai elämäh.

56. ТИМКА

Тимка был очень хитрый. Раз он считал заколину. Ходит смотреть, так каждый день сено убавляется. Один раз он берет в один карман гороху, а в другой мелких камешков. Приходит туда, поднимается на заколину, немного времени ждет. Затем приходит черт. Черт стал сено есть из его заколины. Тимка говорит:

— Не ешь сено, ешь горох! (А дает камешки.)

Сам ест горох. Сам Тимка как ест горох, так щелкает, а черт говорит:

— Я не могу разгрызть.

Тимка говорит:

— Погоди-ка, я погрызу, у меня зубы крепкие!

И грызет, щелкает. Черт говорит:

— Раз ты такой сильный, пойдем к нам.

Тимка говорит:

— Пойду.

И они идут. Проходят через березовую рощу, сосновый бор и ельник. Они приходят в дом, дом в глухой корбе. Они заходят в тот дом чертей. У старика-черта три сына, сыновья и сам сильные. Старик и рассказывает сыновьям:

— Очень он сильный.

Старший сын говорит Тимке:

— Давай попробуем кидать вверх стопудовый камень, который забросит выше?

Тимка говорит:

— Давай.

И пошли на двор. Черт как взял, как метнул гирию, та гирия долетела до облаков и на землю упала. На небе виднелись кучки облаков. Тимка говорит:

— Я если заброшу молот, там и останется в облаке, обратно не вернется.

Черт говорит:

— Не бросай, братец, это отцовский молот.

Тимка говорит:

— Заброшу!

— Не бросай, братец, дедовский молот, отцовский молот.

Тимка говорит:

— Ладно, не заброшу.

Черт говорит:

— Давай кричать, кто сильнее крикнет.

Тимка говорит:

— Давай.

Заходят в березовую рощу. Черт как закричит — деревья валятся. Тимка вицу срезает. Черт спрашивает:

— Зачем ты вицу срезаешь?

Тимка говорит:

— Срезаю затем, что как я крикну, так дома, камни, все полопается, а себе вицей голову перевяжу.

И себе перевязывает голову:

— Теперь и не лопнет.

Черт говорит:

— Не кричи, братец.

— Крикну.

— Не надо, братец!

— Крикну.

— Не кричи, братец!

— Ну, пусть, не крикну, прошу на этот раз.

Обратно идут домой. Черт рассказывает отцу. Другие головами качают.

Идут с чертом деревья возить. У Тимки почти нет силы и себя тащить, а в голове есть сила думать. (*Хитрый!*) Тимка рубит большущую ель. Черт говорит:

— Зачем же ты такую большущую ель свалил?

Тимка говорит:

— А хватит силы.

Тимка взял и срезал себе удилище и заострил конец удилища. Сам берется нести [ель] с комля, а черту дает вершину да говорит черту:

— Если посмотришь назад, так удилищем глаза выколю.
Стали нести это дерево. Тимка сел на комель да только цигарку свертывает, а черт до пота тащит. Черт говорит:

— Давай отдохнем.

Тимка говорит:

— Еще не устали.

Черт говорит:

— Давай.

Тимка спрыгнул с комля и говорит:

— Давай.

Тимка говорит:

— Чего это ты так вспотел? Я ни чуточки не вспотел.

Черт говорит:

— Я, братец, устал.

— Я нисколько не устал.

Идут снова. Тимка на комель садится и едет до дому. Черт, пришедши домой, рассказывает, а Тимка слушает за дверью. Старик-черт говорит:

— Убить надо, как спать ляжет. Потом пойдите и стопудовым молотом ударьте.

Тимка это услышал да и пошел спать на сарай. А где сам спал, туда положил корыто, а сам лег в темный угол. Младший черт приходит и ударяет стопудовым молотом, даже куски от корыта полетели. Утром приходят и зовут:

— Тимка, вставай чай пить!

Он спрыгнул с постели, сам кричит:

— Еще и черти на кулаках не дерутся, а вы уже зовете на чай!

Идут, чай пьют. Пошли возить смолистые пни, и навозили их полно к стенке сарая, где Тимка живет. Тимка за дверью слушает. Старший черт говорит сыновьям:

— Нынче как ляжет Тимка спать, вы подожгите смолистые пни.

Тимка приходит, делает в крыше дыру и ложится спать на свое место. Ночью приходит черт и поджигает пни. Тимка спрыгнул через крышу и в лес. Как сарай сгорел, Тимка идет и ложится в золу. Утром черт идет будить:

— Тимка, вставай чай пить!

Тимка вскочил и говорит:

— Еще и черти на кулачки не вышли, вы уже чай льете!

Приходит, чай пьют. Черти думают, никак от этого человека не избавиться. Они неделю сушат пшеничные сухари. Наливают в банки молоко, а сухари [кладут] в большие мешки. Тимка как услышал, что бежать собрались, взял да влез в мешок с сухарями. Черти пошли, бегут во всю мочь. Тимка из мешка кричит:

— Догоню!

Они еще пуще бежать. Снова останавливаются и говорят:

— Давайте отдохнем.

Тимка кричит:

— Догнал!

Они сумки и мешки тут побросали, сами удирать. Тимка взял и сделал дырку в мешке и вышел из мешка. Ему достался большой табун лошадей, стадо коров, жито да земля в придачу. Которые сухари в мешках остались в лесу, тех хватило вывозить на три недели на десяти лошадях. Когда Тимка доит коров, молока надаивает огромный жбан. Однажды Тимка доил коров и упал в жбан с молоком; выбравшись оттуда, он больше не доил на краю жбана. Он настлал на жбан доски и по ним ходил.

Вот так Тимка остался жить.

57 √

Kindahas eletti rahvas kai hyvin. Eletti hyö, ei tietty midä pidäw ruadua, kui ruadua pidäw. Heil oli Preežäh kaksitostu virstua. Preežäh ruadoo kyzymäh käydih. Taloiz oli sie ylen del'n'oi Vanka, brihačču.

— Menes sinä, — sanow, — sinä olet del'n'oi, sinä, — sanow, — tiijustat terväh.

Menöw keviäl. Meni, ga halguo leikatah. Tuli:

— Halguo leikatah Preežäs.

Davai hyö halguo leikkuamah. Halguo leikatah. Leikattih, leikattih halguo, meččee Kindahas täwdyi kylläl. Kai kylvön aigu halguo leikattih. Leikattih, ga hyvä.

— Nygöi roih, — sanow, — halguo, menes, — sanow, — tiijusta, — sanow, — midä ruatah Preežäs?

Meni ga, sanow:

— Heiniä niitetäh.

Niitetäh ga, davai hyö niittämäh. Niittuloil mendih, niitettih, niitetih ga. Loppih niitut.

— Menes tiijusta, — sanow, — midä ruatah Preežäs?

Meni ga. Hebo töllönnyh mužikal, hebua n'ylgöw.

— Midä ruat? — sanow.

— Hebuo n'yllen. Meil, — sanow, — kai hevod nygöi, — sanow, — tapammo iäre, — sanow, — kai pidäw n'ylgie.

Kodih tuli, ga sanow:

— Heboloi n'ylgietäh, — sanow, — hevot kai tapetah Preežäs.

Davai hyö. Kai hevot tapettih iäre. No hyvä.

— Menes, — sanow, — tiijusta, — sanow, — midä ruatah Preežäs.

Uvvesah menöw, ga sanow:

— Leikatah vill'ua.

— Ka meile, — sanow, tuli ga, — eibo kylviä puwtuttu, ei sua leikata.

Nu ladno, ei sua, ga hyvä. A oli sie yhtel ennisty kylvettyy, sygyzyl kylvettyy ruistu. Ruistu oli ga, sie nyhtittih rugehie. Nyhtittih ga.

Mužikku tulow sie, jällel kaččow, ga nyhtien on kai. Hänel on čirpi. Lyyhtehen leikkai, čirpin heitti, sih jätti. Jätti siih ga. Menöw. Tossu-
piän mennäh hyö. Mendih ga:

— Kačo vai, čirpi on, — sanow, — täs on leikattu.

Davai čirpil leikkuamah. Ruvettih leikkuamah, käin i leikkai akku.

— Oi, sanoin vit, — sanow, — neče čirpi on piäniekku, — sanow, —
ei pie ottua čirpie, koskiel

Sanow:

— Vedehe pidäw panna iäre čirpi.

Dai kerdyi sih rahvastu.

— Tai neče on, — sanow, — piäniekku!

Kai mužikat kerryttih:

— Davai vedehe panemmo.

Sivottih čirpi nuorah, toizeh tobd'u kivi, toizeh agjah. Venehel
lähtiettih, mužikkua viizi veneheh. Sanow:

— Nygöi kuduambo lykkyämmö enne; čirpin vai kiven?

Sanow:

— Čirpi pidäw lykätä.

Toine sanow:

— Kivi pidäw lykätäl

— Davai lykkyämmö kiven!

Kivi, velli, gu tuijatah sinne vedehe, suuri kivi. Ku nuoru n'ulahtah,
čirpi tartui venehen laidah — kaikkii vedehe pani.

— Vit, — sanow, — sanoin, čirpi on piäniekku, — sanow.

Vai sie šlömistih kodvu. No hyvä. Piästih iäre randah. Piästih ran-
dah, ga hyvä. Koivu tobd'u, ylen tobd'u Suojun rannas. Sanow:

— Nečis koivus, — sanow, — brujua rodizes, — sanow, — mene tiijä
mi hyveä brujua. Sit, — sanow, — rodizes, — sanow, — sadulii, —
sanow, — oksis rodizes kirvezvarttu, oksien oksis oraizen peädy rodizes, —
sanow, — a mene tiijä mi, — sanow, — moine on koivu!

Leikattih, leikattih. Koivu on se Suojuh päi, sinne ojah päi nojalleh.
Ei kuavu. Sanow:

— Pidäw puuh nosta neče. Kaikin nossemmo vai puuh, — sanow, —
sit kuadu.

Nostih velli puuh. Ku koivu briužahtihhäi sinne, Suojuh, hyö kai
vedeh! Sie jäi yksi vie, mäile jäi. Sanow:

— Tual Fed'al vai polad räijähtäh, — sanow, — linnah menöw ko-
feidu juomah, — sanow. — Se, — sanow, — matkai kofeidu juomah
linnah.

A sid yksi piäzi, toizet kai mendih sinne vedehe.

57. [КИНДАСОВЦЫ]

В Киндасове люди все жили хорошо. Жили они, не знали,
что делать надо, как надо делать. От них до Пряжи было две-
надцать верст. В Пряжу ходили узнавать, что делают. В одном
доме был там очень дельный парень, Ванька.

— Иди-ка ты, — говорят, — ты дельный, бойкий, ты, — говорят, — узнаешь быстро.

Идет весной. Приходит, так дрова в Пряже рубят. Вернулся:

— Дрова рубят в Пряже.

И они дрова рубить. Дрова рубят. Рубили, рубили дрова, лесу в Киндасове было вдоволь. Всю посевную дрова рубили. Рубили, так и хорошо.

— Теперь хватит, — говорят, — дров, сходи-ка, — говорят, — узнай, — говорят, — что делают в Пряже.

Приходит, так говорит:

— Сено косят.

Раз косят, так давай и они косить. На покос пришли, косили, косили... Кончились покосы.

— Сходи-ка узнай, — говорят, — что делают в Пряже.

Приходит. Лошадь подохла у мужика, шкуру сдирает.

— Что делаешь? — говорит.

— Шкуру сдираю. Мы, — говорит, — всех лошадей теперь, — говорит, — зарежем, — говорит, — со всех надо содрать [шкуру].

Домой приходит и говорит:

— Шкуру с лошадей сдирают, — говорит, — лошадей всех в Пряже зарежут.

Давай и они. Всех лошадей зарезали. Ну хорошо.

— Иди-ка, — говорят, — узнай, — говорят, — что делают в Пряже?

Снова приходит и говорит:

— Хлеб жнут.

— Так нам, — говорят, как пришел, — не довелось посеять, так нельзя и жать.

Ну ладно, нельзя, так хорошо. А там было у одного раньше посеяно ржи, осенью посеяно. Ржи было, так. Там [всегда] рожь выдергивали. Выдергивали. Мужик какой-то прохожий приходит там, по следам смотрит — выдергано все. У него есть серп. Серп взял, сноп сжал. Серп положил, тут оставил. Оставил тут. Уходит. На другой день приходят они. Киндасовцы пришли:

— Смотри-ка, серп, — говорят, — тут, жали.

Давай серпом жать. Стали жать, баба руку и порезала.

— Ой, сказал ведь, — говорит [один], — этот серп убийца, — говорит, — нельзя брать серп, трогать.

Говорит:

— В воду надо бросить серп.

И собрался тут народ.

— Это, — говорит, — убийца.

Все мужики собрались.

— Давайте в воду бросим.

Привязали серп к веревке, на другой конец [веревки] большой камень. На лодке поехали, мужиков пять в лодке. Говорит [один]:

— Теперь который выбросим вначале, серп или камень?
Говорит [один]:

— Серп надо выбросить.

Другой говорит:

— Камень надо выбросить.

— Давайте выбросим камень.

Камень, братцы, как бухнут туда в воду, большой камень. Веревка выскользнула, а серп зацепился за край лодки. Все в воду упали.

— Ведь сказал, — говорит, — что серп убийца, — говорит.

Барахтались там порядочно. Ну хорошо. Выбрались обратно на берег. Выбрались на берег, так и хорошо. Береза толстая, очень толстая на берегу [реки] Шуи. Говорят:

— Из этой, — говорят, — березы поделки выйдут, — говорят, — поди знай, сколько хороших поделок. Из нее, — говорят, — выйдут, — говорят, — седелки, — говорят, — из ветвей топорича, из тонких ветвей на шилья головки, — говорят, — и, поди знай, сколько, — говорят, — такая береза!

Рубили, рубили. Береза наклонилась к Шуе, к реке наклон. Не свалить. Говорят:

— Надо на дерево подняться. Все если залезем на дерево, — говорят, — потом свалится.

Забрались, братец ты мой, на дерево. Береза как рухнет туда, в Шую. Они все — в воду. Там остался еще один, на горке остался. Говорит:

— У этого Феди только полы мелькнули, — говорит, — в город пошел кофей пить, — говорит. — Он, — говорит, — туда отправился, кофей пить в город.

Один спасся, другие все утонули.

58

Vot Kindahan miehet lähtiittih, kerävyi heidy arteli. Lähtiethä Piiterih, Piiterih talvel. Ajetah. Päivy ajetah kai. Kyläh mennäh yökse ga, mennäh ga, pajistah sillal. sanow:

— Riet pidäw, — sanow, — kiändyä Piiterih päi, ed ajais, — sanow, — kodih järilleh.

No hyvä. A mužikku bokas kuulow. Kuulow bokas ga. Hyö muata vai ruvettih, mužikku otti, riet kiänäldi kai kodih päi järilleh.

Lähtiittih huondeksel, hevod val'lastettih. Lähtiittih Piiterih. Lähtiittih Piiterih ajamah. Ajetah, ajetah ga:

— Ka tuaz on, — sanow, — gu rowno meijän sildu!

— Sildu sildah koskehhäi, eihäi, — sanow.

Toine sanow ga:

— Tuaz on, — sanow, — gu rowno meijän kodi, — sanow. A meijän kylä on tämä! — sanow.

— Kylä kyläh koskehäi, äijyhäi, — sanow, — on kylyä mual.

— Ka tuaz on gu rowno minun akku, — sanow, — nygöi sobii pe-zöw rannas!

— Akku akkah eigo koskel

Akku ku kuulowhäi:

— Oho, propuaššoid! — sanow, — kodihgo tuliitto, iäre ajoitto?

Sid hyö kodih tul dih. Sid ei tietty enämbi, kunne pidäw mennä. Dorogu loppih. Enämbi vs'ol

58. [КИНДАСОВЦЫ ЕДУТ В ПИТЕР]

Вот поехали киндасовские мужики, собралась их целая артель. Едут в Питер. В Питер зимой. Едут. Целый день едут. В деревню заезжают на ночь, заезжают, да и разговаривают на мосту, говорит [один]:

— Вozy надо, — говорит, — повернуть оглоблями в сторону Питера, не поехать бы, — говорит, — обратно домой.

Ну хорошо. А мужик со стороны слышит. Слышит со стороны. Они только легли спать, мужик взял сани все повернул обратно, в сторону дома.

Собрались утром, лошадей запрягли. Поехали в Питер. Отправились в Питер. Едут, едут, так:

— Да тут, — говорит, — будто наш мост.

— Мост на мост приходится ведь, не без этого, — говорит.

Второй и говорит:

— Там, — говорит, — как будто наш дом, — говорит. — А это наша деревня, — говорит.

— Деревня с деревней сходится, ведь много же, — говорит, — деревень на свете.

— Да вон будто бы как моя жена, — говорит, — сейчас белье стирает на берегу.

— Жена с женой разве не бывают схожи?

Жена-то как услышит:

— Ох, вы, окаянные, — говорит, — домой и возвращаетесь, обратно приехали!

Тут они домой приехали, потом не знали больше, куда надо ехать. Дорога кончилась. Больше — всё.

Kindahan mužikat lähtietti meččäh. Lähtietti meččäh seičče hengie, seičče mužikkua lähti. Hyö käveldih — oldih sie, ka sanow:

— Ollahgo ehki meil kai, — sanow, — arteli, — sanow, — meil, gu emmo kedä kaimuas, — sanow.

Lugietah kaikin, yhty hengie ewle. Moni kerdua lugietah, kaikin lugietah — yhty ewle. Kuuzi on, seiččemetty eule. Heil ugodih mužikku vastah, ugodih mužikku vastah ga:

Oi, velli, — sanow, — mužikku, edgo lövvä, meil, — sanow, — mies kadoi, — sanow, — yhty hengie.

— Äijygo oli?

— Oli seičče, nygöi on kuuzi.

Sanow:

— Vierkiät kaikin mahalleh, sid, — sanow, — lövvän.

Hyvä. Mahalleh viertäh. Hän hyvän pihl'ahaizen leikkuaw, sormen järevyön. Yhty gu pihl'ahaizel rapsuaw selgäh, sanow:

— Vod yksil

Tostu iškōw:

— Kaksil

Kolmattu iškōw:

— Kolmel

Nellätty iškōw:

— Nelli!

Viijetty iškōw:

— Viizil

Kuuvettu iškōw:

— Kuuzil

Seiččemetty gu iškōw:

— Täs, — sanow, — seičče, kai teile, Kindahan!

— Passibo velli, — sanow, — nygöi lövvit hengen.

No astutah, astutah ielleh, käveltäh mečas sie ga, ugodih ohotniekku vastah.

— Midädo, — sanow, — sinä kävelet teä?

— Minä, — sanow, — ohotal olen.

— Midäbo ammut?

— Ammun linduu, zvierii, kaikkie.

— A myö, velli, — sanow, — meil neče oružu, — sanow.

— Myön, — sanow.

— Äijygo pidäw?

— Kolme rubl'ua.

— Annammo, velli, — sanow, — myöl

Hyö kaikin kolme rubl'ua miehel annetah. Joga mies kolme rubl'ua andaw. No annetah, kaksikymmen yksi rubl'a annetah hänel d'engua, mužikal.

— Midbo nened ollah? — sanow.

— Nened ollah porozničat.

— Porozničad? Äijygo niis pidäw?

— Rubl'u.

Daí niiz annetah rubl'u miehel. Kaikin, joga miez, rubl'an andaw.

— No kuibo, — sanow, — nygöi händy, — sanow, — zapruavoijah da kai?

— Zapruavoijah, — sanow, — nenga: táz on, — sanow, — meäry, tämä pangua porohkua, tämä pangua drobuo.

Hyö otetah kaikin, joga mies, panow porohkua sen miärän. Sid pannah drobuo opad' muga. Pandih se svola tawzi. Yhten miehen ei synnytty, jo tawzi rodih svola oružan. No sanow:

— Nygöi pidäw ambuo, — sanow, — oppie.

Pannah kaikin käit, pannah sih. Pandih, yhtel hengeli ei synny käid, käzi ei synny sih oružah.

— Ä minä, — sanow, — tiä lowkkoizes kačon, — sanow, — kui lähtietäh!

Sidä, velli, ku lekahutetahhäi: hoarottih ken kunnegi iäre, kaikkiel hoarotti, tapoi heidy. Kedägo tapoi, kedägo jäi hengih. Ä se, kudai lowkos kačoi, ga se sih tilloi, tilloi ga:

— Vie, — sanow, — sinä nagrat, — sanow, — myö, — sanow, — ičcie emmo tiijä, sinä vie nagrat!

Sid heidy vai kui vähä jäi hengih, kai sih kuoltih. Vod i heil oružu puwtui. Rodih oružua kylläl Kindahah, enämbie pidännyh oružua ei.

59. [КИНДАСОВЦЫ НЕ МОГУТ СОСЧИТАТЬСЯ]

Киндасовские мужики отправлялись в лес. Отправлялись в лес семь человек, семь мужиков идет. Они ходили там, ходят, и говорят один:

— Вся ли хоть у нас, — говорит, — артель, — говорит, — не потерять бы кого, — говорит.

Считали все, одного человека нет. Много раз считают, все считают — одного нет. Шесть есть, седьмого нет. Навстречу им попался мужик. Попался мужик навстречу, так:

— Ох, братец, — говорит мужик, — не найдешь ли, — говорит, одного человека, — говорит. У нас человек потерялся, — говорит.

— Много ли было?

— Было семь, теперь шесть.

Говорит:

— Ложитесь все на живот, потом, — говорит, — найду.

Хорошо. Легли на живот. Он вырезает хороший рябиновый прут толщиной с палец. Одного как огреет прутком по спине, говорит:

— Вот один!

Второго ударил:

— Два!

Третьего ударил:

— Три!

Четвертого ударил:

— Четыре!

Пятого ударил:

— Пять!

Шестого ударил:

— Шесть!

Седьмого как ударит:

— Вот, — говорит, — семь, все ваши киндасовцы!

— Спасибо, братец, — говорят, — теперь нашел человека.

Ну, идут, идут дальше, ходят в лесу там, попался навстречу охотник.

— Чего, — говорят, — ты ходишь здесь?

— Я, — говорит, — на охоте.

— А чего стреляешь?

— Стреляю птиц, зверей всяких.

— А продай, братец, — говорит, — нам это ружье, — говорит.

— Продам, — говорит.

— Много ли надо?

— Три рубля.

— Дадим уж, — говорит, — мы.

Они все по три рубля мужику дают. Каждый человек три рубля дает. Ну, дают, двадцать один рубль дают ему денег, мужику.

— А это что такое? — говорят.

— Это пороховницы.

— Пороховницы? Много ли за них надо?

— Рубль.

И за это дают по рублю мужику. Все, каждый человек дает рубль.

— Ну как, — говорит, — теперь его заправляют да все?

— Заправляют, — говорит, — так: это, — говорит, — мерка, столько положите пороху, столько положите дробы.

Они берут все, каждый человек сыплет пороху эту мерку. Потом сыплют дробы опять так же. Насыпали этот ствол полный. У одного мужика еще не влезло, уже был полный ствол насыпан. Ну, говорит:

— Теперь надо выстрелить, — говорит, — попробовать.

Все семеро берутся за ружье. Взялись, одному человеку не за что взяться. Некуда руку положить.

— А я, — говорит, — отсюда в дырочку погляжу, — говорит, — как вылетят!

На этот [курок?] как нажали они — разлетелись кто куда, всех разбросало, убило их. Кого убило, кто и жив остался. А тот, который в дырочку смотрел, тот опрокинулся, помер [с гримасой на лице].

— Еще, — говорят, — ты смеешься, — говорят, — мы, — говорят, — себя не чувствуем, а ты еще смеешься!

Их немного тут осталось в живых, все умерли. Вот им и ружье досталось. Больше не надо было ружья в Киндасове.

Kindahan mužikku lähtöö Preežäh, midä Preežän mužikat rootah. Preežäh tuloo, Preežän mužikku tuhkoo kylvee järvel, anna neče merežintila suloo.

Menöö kodih, sanoo:

— Preežäs, Preežän mužikat kylvettih kagrat.

Hyö mennäh, kaikin kagrat kylvetäh. Sih i kagrat kai sudra mendih.

60. [КИНДАСОВЦЫ СЕЮТ ОВЕС]

Мужик из Киндасова пошел в Пряжу узнать, что делают пряжинские мужики. Приходит в Пряжу, пряжинский мужик золу сеет на лед, пусть растает лед, чтобы мережу поставить.

Приходит домой, говорит:

— В Пряже... В Пряже мужики овес сеют.

Взяли овес все посеяли. Так и овес весь погубили.

Pyhänpeen seičče Kindahan mužikkoo kerävyttih yhteh taloih poroven'kal. D'engat kerättih. Kerättih, čekkizeh täydyi. Čekkine juodih, istutah.

Akku tuli pertih:

— Midäbo istutto, — sanoo, — mužikku-raškat, nygöi pyhänpeen?

— A vuotammo, — sanoo, — konzu humal lähtöö.

Čoossu istutah, toine, kolmaz...

— A midäbo, — sanoo, — sinä itket nygöi?

— A itken, — sanoo, — humalduin, ken nygöi kevääл n'akkozet kylvännöö?

A dielo oli pokrovoo vaste.

61. [КИНДАСОВЦЫ ОПЬЯНЕЛИ]

В воскресенье семеро киндасовских мужиков собрались в одном доме, устроили складчину. Деньги собрали. Собрали, хватило на чекушку. Чекушку выпили, сидят.

Баба зашла в избу:

— Чего, мужички, — говорит, — сидите тут в воскресенье?

— А ждем, — говорят, — когда хмель пройдет.

Час сидят, второй, третий... Хмель не проходит.

— А чего ты, — говорит [один], — плачешь-то?

— А плачу, — говорит, — захмелел, так кто же за меня репу весной посеет?

А дело было под покров.

Yksi Kindahan mužikku tuli Preežäh käwmäh, goštih. A Preežän mužikal hebo tollöi, hebostu n'ylgöö.

— Midäbö, — sanoo, — nygöi talvel vevon aigoo sinä hevон tapoit?

— A, — sanoo, — hevonnahku on nygöi kallis. Yhtez nahkas kymmene heboo voин ostoо.

Se goštiz eere hyppäi kodih. Kodih juoksoo, omassah hevон tože tappoo.

— Midäbö? — toizet kyzytäh.

— A nygöi, — sanoo, — Preežäs heboloи kaikin tapetah. Hevonnahku on kallis Petroskoil, sinne lähten myömäh, kymmene heboo soon!

Kaikin kylän mužikat hevот tapettih, kevääл mil kyndee ei olluh.

62. [КИНДАСОВЦЫ РЕЖУТ ЛОШАДЕИ]

Один киндасовский мужик пришел в Пряжу в гости. А у пряжинского мужика лошадь сдохла, шкуру с нее сдирает.

— Что ж это ты, — говорит, — средь зимы, в самый извоз, лошадь заколол?

— А, — говорит, — лошадиная шкура теперь дорога. На одну шкуру я десять коней смогу купить.

Тот из гостей побежал домой. Прибегает домой и закалывает свою лошадь.

— Что же ты? — спрашивают другие.

— А теперь, — говорит, — в Пряже все лошадей режут. Шкуры ценятся дорого в Петрозаводске, поеду туда продавать, на десять лошадей выручу!

Все мужики в деревне лошадей закололи, весной пахать не на чем стало.

Kindahan mužikat ruvettih venehty loodimah. Laittih veneh sarool. Koitellah: äijängö hengee veneh kesteе. Tuli kymmene hengee — kesteе. Kaksikymmen — kesteе. Yheksäkymmen — kesteе. Yheksäkymmen yheksä mužikkoo veneheh syndyi — kaikkii kesteе. Tuli vie yksi — saroos sellät pakuttih eeres: kaikin sinne mendih, alah.

Sanoo ga:

— Tämä veneh kesteе yheksäkymmen yheksä hengee.

Kevääл veneh vedeh työttih, kaikin hypättih kerras, kaiken kylän mužikat veneheh. Dai vein pohjah i mendih. Uija ni ken ei malttannuh — upottih.

Sih heijän i zookkunad loppih.

63. [КИНДАСОВЦЫ СТРОЯТ ЛОДКУ]

Взялись киндасовские мужики лодку мастерить. Сделали лодку на сарае. Пробуют, сколько человек лодка выдержит. Пришло десять человек — выдержала. Двадцать — выдержала. Десянесто — выдержала. Десянесто девять человек в лодку вместилось, всех выдержала. Пришел еще один — в сарае балки не выдержали, рухнули, все туда упали, вниз.

Говорит [один]:

— Эта лодка выдержит девяносто девять человек.

Весной лодку спустили на воду, все прыгнули разом в лодку, все мужики деревни. На дно и пошли. Плавать никто не умел — утонули.

Тут и все их сказки кончились.

64

Oli ennen kaksi Kindahan mužikkoo. Lähtietti ongel kezäzel päiväl. Istutah, ongitetah, ongitetah. Heidy rubei juotattamah. Juotattoo. Yksi sanoo:

— Juotattoo.

Toine sanoo:

— Tirpa ielleh, eule vetty.

Tooste ongitetah, ongitetah. Jo heil ei voi ongittoo.

— Juotattoo, — toine sanoo.

— A kuzbo juot, eule vetty.

A jo muga heil juotattoo, ga jo viertih lauttazel, jo ei voija, virutah. Jo ei voija, vie yksi virkkoo midä, toine ni virkkoo midä ei voi, muga juotattoo.

— A sinä vie, — sanoo, — pagized, ga minä jo ni paista en voi... Muga heil juotattoo.

— A nygöi jo, — sanoo, — kaloi eulis žeeli, — sanoo, — ga vai vetty puuttus.

Lauttazel virutah, kaksi uroodu. Jo muga heil juotattoo, ga jo ei voija ni meluškoija, tuuli vedi randazel. Vedi tuuli randazel. Tuloo, astuu mužikku heijän tyveh:

— Midäbo virutto, — sanoo, — nečiz?

— A juotattoo, — sanoo, — emmo voi enämbi ni kunne mennä.

— Ka meččeego, urood, ettö juo, ku lauttazel virutto?

— A kuzbo juommo?

— Ka painood pee, urood, järveh da juogoo, gor'ad, maha täyzi. Alletah hyö juvva, peestih eloh.

Täs tämä zookkun.

64. [КИНДАСОВЦЫ НА ВОДЕ СТРАДАЮТ ОТ ЖАЖДЫ]

Жили когда-то два киндасовских мужика. Поехали рыбу удить в летний день. Сидят, удят, удят. Захотелось им пить. Пить захотелось. Один говорит:

— Пить хочется.

Другой говорит:

— Терпи, нет воды.

Опять удят, удят. Уже немоготу стало удить.

— Пить хочется, — говорит второй.

— А где попьешь, воды-то нет.

А уж так им пить хочется, уже легли на плот, лежат. Не могут, один еще говорит что-то, второй и говорить не может, так хочется пить.

— Ты, — говорит, — еще разговариваешь, а я и говорить не могу.

Так им пить хочется.

— Теперь, — говорит, — уж и рыбы не жалко, — говорит, — только бы до воды добраться.

На плоту лежат, два дурака. Уж до того их жажда одолела, что и грести не могут, ветром пригнало плот к берегу. Пригнало ветром к берегу. Подходит к ним мужик, идет вдоль берега.

— Чего вы лежите, — говорит, — тут?

— Пить хотим, — говорит, — больше никуда и ехать не можем.

— Да вы что, дураки, не пьете, сами на плоту лежите?

— А где пить-то?

— Да пригните вы, дураки, головы в озеро да напейтесь, бедняги, досыта.

Давай они пить, ожили.

Вот и вся сказка.

65. TIEDOINIEKKU

Tulow mužikku d'ogirandah kylän kohtah. Kirguaw poiki d'oves:

— Leibyveičči, tuo ven'oil

Mužikku ottaw veičen huodras i kaččow veiččeh. Deistvitel'no, veičči oli leiväs. «Naverno neče on tiedoiniekku».

— Venehen tuon, gu arvannet, äijygo on minul lehmie? Toine sinulles.

— Kaksi on, — sanow.

— Muga on, arbait!

Ajaw poikki d'oves. Ottaw mužikan i tullah kodih. Mužikku akale sanow:

— Tämä on tiedoiniekku. Lämmitä kyly, azu piirait, a minä lähten viinuo suan. Siid meile häin sanow, kui myö rubiemmo iellehpäi elämäh.

Akku kylyn lämmitti, piirait azui. Mužikku tuow butjllkan viinuo, i ruvetah tiedoiniekkuo gostittamah. Istutahes stolah, ižändy sanow tiedoiniekale:

— Sano, velli, mih minä kuolen?

Toine vastuaw:

— Huondeksel sanon suwruksettomal suul.

Pietäh mužikkuo yö hyvin. Huondeksel nowzow i ižändäle sanow:

— Nygöi sanon: sinä kuolet — lähtet hevol ajamah, hebo pieröw, siid sinä kuolet.

Mužikal piäh tuli: «Enämbi minä hevol ajamah ni kunne lähte en»: Vuvven aigua ni hevon lähil ei mene. Tulow moine aigu — händäh kučutah linnah. Aigu on talvel. Linnah on kuwzikymmen kilometrie. Duwmaiččow: «D'allai lähtižin — astumistu on äijy. Hevon ottazin — ei vai pieris». No vs'o-taki ottaw hevon. Lähtöw kois hevol ajamah. Dielo on kymmenen čuasun aiguo illal. Ajaw kois päi kuwzi kilometrie, siid on suwri vastumägi, hebo i pieröw vastumägeh nostes. Slieškahtah kresloih sellälleh: «Nygöi minä olen kuollul». Viruw kreslois čuassuo kaksi, d'o roih pimei. Tulow hukkuo arteli, davai hebuo syömäh.

— Tol'ko ku olizin hengis, — sanow, — ga minun hebuo että syös!

Hukat hebo syödih dai iäre pyhkittih. Viruw kreslois kaiken yön, nälgävyi. «Nygöi pidäw oppie nosta. Mowžet voibi i kuolluonnu astuo». Nowzow i lähtöw kodih astumah. Tulow kodih, akale sanow:

— Nygöi vet' minä olen kuollu. Kuvvendel kilometriil suwres vastumäjes hebo pieri, siid minul hengi pakui.

Akkah kaččow:

— Neužel' ollow tozi?

Menöw, sanow susiedal:

— Ukko kuoli.

Tulow susiedu, kaččow — mužikku hengis.

— Olettego tolkus, ei hain kuoliet käveltäl! Kuzbo on hebo?

— Hebo hukat syödih. Vuozi aiguo oli, tiedoiniekkuhäi sanoi, mih minä kuolen, i nygöi lähtiin linnah, ajoin kuwzi kilometrie suwreh vastumägessä, hebo pieri — siid minul hengi pakui. Siid tul dih hukat, hebo minul syödih. Ziäli oli hebuo. Hengis gu olluzin, en andanus syvvä!

Siid susiedu hälle sanow:

— Hengis olet, ukko-rukku, sinuo tiedoiniekku puwtaiči. Vainbo voibi uskuo: sen hevon pierendäh kuolet? I siid mužikku d'arilleh hengevyis.

Sanoi susiedale passibot i heitti tiedoinikkoih uskondan. Siid hain nygöi tiedoiniekat hävittih iäres.

65. ПРОРИЦАТЕЛЬ

Приходит мужик на берег реки против деревни. Кричит через реку:

— Хлебный нож, пригони лодку!

Мужик (на другом берегу) вынимает нож из ножен и смотрит на нож. Действительно, нож был в хлебе. «Наверно, это знахарь».

— Лодку пригоню, если угадаешь, сколько у меня коров. Другую тебе.

— Две, — говорит.

— Так и есть, угадал.

Переезжают реку. Берет мужика с собой и приходят домой. Мужик жене говорит:

— Это знахарь. Натопи баню, испеки пироги, а я пойду за вином. Он потом нам скажет, как мы дальше жить будем.

Жена баню топить, пироги печь. Муж приносит бутылку вина, и начинают знахаря угощать. Сидят за столом, хозяин говорит знахарю:

— Скажи, брат, отчего я умру.

Тот отвечает:

— Утром скажу натошак.

Устроили мужику хороший ночлег. Утром встает и хозяину говорит:

— Теперь скажу. Ты умрешь так: поедешь на лошади, лошадь п. . . . , тут ты и умрешь.

Мужик решил: «Больше никуда на лошади не поеду». Целый год даже к лошади близко не подходит. Настало такое время — его вызывают в город. Дело было зимой. До города шестьдесят километров. Думает: «Пошел бы пешком — далеко идти, взял бы лошадь — кабы не п. . . . ». Но все же берет лошадь. Выезжает из дома на лошади. Дело было в десять часов вечера. Отъезжает от дому шесть километров, тут большая гора, лошадь и п. . . . , поднимаясь в гору. [Мужик] повалился в розвальнях на спину: «Теперь я мертвый!». Лежит в розвальнях часа два, уже стемнело. Приходит стая волков, давай лошадь есть.

— Если бы я был жив, — говорит, — то не ели бы мою лошадь!

Волки лошадь съели и прочь убежали. Лежит в розвальнях всю ночь. Замерз, проголодался. «Теперь надо попробовать встать. Может, можно и мертвому ходить». Встает и отправляется домой, жене говорит:

— Теперь ведь я мертвый. На шестом километре, поднимаясь в большую гору, лошадь п. . . . , тут у меня дух вышел.

Жена смотрит:

— Неужели это правда?

Идет, говорит соседу:

— Муж умер.

Приходит сосед, смотрит — мужик жив.

— В уме ли вы, мертвые ведь не ходят! Где же лошадь?

— Лошадь волки съели. Год тому назад знахарь ведь скавал, отчего я умру, теперь поехал в город, проехал шесть кило-

метров до большой горы, лошадь п. . . . — тут у меня и дух вышел. Потом пришли волки, лошадь у меня съели. Жалко было лошади. Если бы был жив, не дал бы съесть.

Потом сосед ему говорит:

— Жив ты, горемыка, тебя знахарь попутал. Разве можно поверить, что помрешь, если лошадь п. . . . , и чтобы мужик снова ожил.

Сказал соседу спасибо и перестал знахарям верить. А теперь ведь знахари совсем пропали.

66

El'et'i yhtes sie uk da ak. No ak moine oli lašk. Ruotta ei kehtanu, aino: «*Boleju, vs'o bol'uju*». Mužik koldunoid ešt'. Voinu ei ga, pidāw koldunoid löwtä. No. Mužik se l'ähtöo, eččimää koldunoid l'ähtöo. A t'äl akal on druug pappi. Pappid priglassiw, da *vipivajut da gul'ajut* papinke, *bol'naja*. No. A t'ämä mužik l'ähtow koldunoid eččimää. Koldunoid eččiw, šigä kävelow. Tulow hälle pakičcii starikkaine vastaa:

— Kuna l'äksit?

— A nengai nenga, milai ak ei voi, ka l'äksin koldunoid eččimää.

A pakičcii vedää d'algee, on karttaine, šigä on hällää palaižet kerätyt, suuharit kuivatut. Vedää d'algee.

— No, minä šilee nevvon koldunoid. Viere vai minun t'ähä čuloškaa karttaa, minä šindaa suotan šihi taloo, kuz on koldun.

No, hän i kuundel'. Vieri t'ähä karttaa. A starikaine vedää händää, vedää starikaine. Vedi, vedi, vedi. Šihi taloo i tuoi, kus se starik kodišpä läkš. Tuoi, taričezow yökš, a pappi ištuw stolan taga. Humalaz. Bard lekuw. Viinat stolal, zakuskad raznijad, raznijad stolal. No, starikaine se taričezow:

— Eig voi magata milei yöt t'äs?

— Ka mint'ää, voi magata, voil

— Ka milai on t'ämä, jälgee vedelen, suuharid on kuivatud šigä ga. . .

A šigä ižänd viruw, rogožal katettu. Koldunoid kudai läkš eččimää.

— Minul eig voi lawčan al hot' pertii panda t'ädä, eika šyödää suuharid milai koirad.

No i laškiz myös. A starik se šigä, ižänd, rogožan al se katsuw, mit'e hänen ak *bol'naja vipivajet* t'ämän papinke da ugošš'ajetse. No *gore vz'alo* händää. *D'o ne ležitse* šigä kartas, rogožan al.

Starikaine se taričeze yökse, ga prilawkal i ištuw, a iče gorničcaa se šine aino kaččoo, mit'e hyö šigä *vipivajut*. No hälle sei staruh sanuw papile:

— *Dadim* hällei r'umkaižen viinat.

Dai ant't'i r'umkaine. No šen juož. Dai *zapel* t'ämä starik:

*T'rin ta-ta, trln ta-ta,
Visit bezmen na gvozdu,
Da dostanetse i popu.
Popu raz, d'jaku dva,
Ctob ne pel trin ta-ta!*

No i staruh se sanoo:

— Tol'ko i hyvin pajatad, pidāw antta vie toine r'umkaine.

Dai toine valet't'ii. Toine ku valet't'ii hällei, hän vie d'alomb rubež:

*Trin ta-ta, trin ta-ta,
Visit bezmen na gvozdu,
Da dostanetse i popu.
Popu raz, d'jaku dva,
Ctob ne pel trin ta-ta!*

Mužikku rogož lekuštaž laučan al, nowžiškaž, ku bezmenin ot't' häi: papil otsaa, akal otsaa. Koldostvat löwž. Pappi läks kuna lienöw, iäre pagež. Akal bolit kai läht'ii.

Vod mit'e muoniteldaa mužikoid bol'njjad akad.

66. [ГОСТЬ ТЕРЕНТИЙ]

Жили там вместе муж да жена. Ну, жена такая была ленивая. Работать ленилась, всегда: «Болею, все болею». Муж колдунов ищет. Нemoжeтся [жене], так колдунов надо найти. Вот. Мужик уходит, колдунов искать идет. А у этой жены есть полюбoвник, поп. Попа приглашают, выпивают да гуляют с попом, больная-то. Вот. А мужик идет колдунов искать. Колдунов ищет там, ходит. Идет ему навстречу старик нищий:

— Куда идешь?

— А так и так, у меня жена недомогает, так иду колдунов искать.

А нищий везет за собой саночки такие, там у него собранные куски, сухари высушенные. Везет за собой:

— Ну, я тебе укажу колдунов. Ложись-ка в эти мои салазки, я тебя свезу в тот дом, где колдун.

Ну, он и послушался, лег в эти санки. А старичок везет его, везет старичок. Вез, вез, вез. В тот дом и привез, откуда этот мужик вышел. Привез, просится на ночлег, а поп за столом сидит. Пьяный. Борода трясется. Вино на столе, закуски разные, разные на столе. Да. А старичок тот просится:

— Нельзя ли мне здесь переспать ночь?

— А чего же, можно переспать, можно.

— Да у меня эти, с собой вожу, сухари сушеные там, так...

А там хозяин лежит, покрыт рогожей. Колдунов который пошел искать.

— Нельзя ли мне это хоть под лавку в избу принести, не то сабаки съедят у меня сухари.

Ну и пустили тоже. А мужик тот там, хозяин, из-под рогожи смотрит, как его жена больная выпивает с этим попом да угощается. Ну, горе взяло его. Уж не ложится там, в салазках, под рогожей. Старичок этот попросился на ночь и на прилавок присаживается, а сам туда в горницу все смотрит, как они там выпивают. Ну, ему та старуха и говорит, попу:

— Дадим ему рюмочку вина.

И дали рюмочку. Ну, это выпил. И запел этот старик:

*Трин та-та, трин та-та,
Висит безмен на гвозду.
Да достанетсей попу.
Попу раз, дяку два,
Чтобы не пел трин та-та.*

Но и старуха та говорит:

— Ну и поешь ты хорошо, надо дать еще вторую рюмочку. И налили вторую. Вторую как налили ему, он еще пуще стал:

*Трин та-та, трин та-та,
Висит безмен на гвозду,
Да достанетсей попу.
Попу раз, дяку два,
Чтобы не пел трин та-та.*

Мужик под лавкой рогожу сдернул, поднялся, как схватит безмен: попу по лбу, жене по лбу. Колдовство нашел. Поп ушел куда-то, удрал. У жены все болезни прошли.

Вот как обманывают мужиков больные жены.

67

Oli ukko da akku, mollei hyö kazakoittih, yksi käskylöičči, toine kazakoičči.

Akku oli izmenän pidäi, saneli ainos ukkoh paginat.

Hyö duwmaittih heittie kazakoičus i käskylöičys, i mužikku luodi merežin i rubei kaluo suomah. Akku hänel syömisty luodiw i kai sanelow, kuz ukko kalaizen suow, kyläh. Mužikku jällez rubei rihmuo pidämäh, suomah linduo. Akal kieldäw, kus sain linnun, sanomas, no akkah yksikai sanelow.

Sie erähän kerran menöw bojarin meččäh panemah rihmoi, sie häin kävyw bojarin meččäh nedälin joga päivie. Sie erähän pien kui menöw koiran kel meččäh ga, astutah kui hyö, i tulow vastah ylen suwri kudžoimätäs, i koiru rubei ylen äijäl hawkkumah sih mättähäh. Mužikku rubiew primiettimäh sih mättähäh i dogadiw, što mätäs on liikutettu i järilleh katettu. I häi kaččow mättöh i liikuttaw sen mätön järilleh. Kaččow sie, ga on čugunnoi pada, mätös. Puon ku ottaw mätös i avuaw, täyzi pada kulduo. Häi duwmaiččow: «Ottazin ga», i toizekse duw-

maičow: «En ota, akku sanelow», i järilleh heitti puon mättöh. I läh-töw iče merežilöillyö i merežilöis ottaw kalat i panow rihmoih, a linnut rihmois tože ottaw iäre i panow merežilöih. Kodih tulow, syömäh ruvetah i akal sanow:

— Sanozin akku sinul, sanos ku ed ga, sanozin.

Akku sie pokoroičeh:

— Sanol

Ukko i sanow:

— En sano, en sano.

— Sano, — sanow akku, kai jalgah kumardah, — sano vai ukkoi-zenil

Nu i ukko sanow:

— Nečie lövvin kulduo puon.

Kai akku ei voi ni muota, muga himoittaw sanuo kyläh. Ka jo sinä illan ukko piettäw akkua, ei piestä kyläh. Huondeksel jo akku kyläs sanelow:

— Tiedäzittö kui, midä minun ukko löwdi mečäz gal..

Dai mužikku sanow akal:

— Läkkä iče otat kullat puos, kui sanelet kyläl.

Dai lähtietäh sinne dai mennäh. Mennes merežit kačotah: meččikanuo merežilöis; tedrie. Sie rihmoi mennäh kaččomah, sie rihmoi kaluo, haw-gie, ahvendu. Net pannah tože huovoh. Siid mennäh d'engoi ottamah mättöillyö. D'engat otetah i tuvvah kodih. Yhtel huovo selläs, toizel toine. Kodih ku tullah i tossu pien menöw lawkkah. Sie ostaw syömisty, juomistu, sie syvväh, juvvah.

— Pädöw meile nygöi elie, — sanelow sie kyläs, — ongo elostu kylläl!

Net syömiset syödih i juodih, i akku lähtöw toizen pien lawkkah i kyzyw ukol:

— Ostanengo butilkan hyvie viinuo?

Ukko sanow:

— Osta vellil

Akku menöw lawkkah i ostaw kaksi butilkuo. Tullah kodih i pas-tetah blinuo i kaikkie i ruvetah ukonke syömäh. Sie ku syödih, ga i ve-seldyttih, i akku sanow ukol:

— Ku olis kuččuo kuomuo yhteh sijah, anna syös i häin mien kel.

Mužikku sanow:

— Mene kuču.

Dai tulow sie kuomah, alletah syvvä i juvva, kuomah rubei kyze-lemäh:

— Kui työ nygöi nenga hyvin elättö, da eluo on da?

Mužikan aigah ei targin sanuo akku, a lähtöw kaimuomah. Kai-muomah kui lähti i sie sanoi kuomalleh:

— Kačo, myö lövvimmö d'engua, sikse ilmastu igie roih.

Se akku view tossu pien vieštin sih taloih, kuduos hyö ennen kaza-koittih:

— Eigo tien d'engat kavottu, eigo hyö otettu?

Tossu pien sih heile tulow bohattu kyzelemäh, tuow viinuo i juottaw illal heidy, ukkuo da akkuo. Veseldyttih kui, ga akku i rubei sanelemah:

— Ezmäi kui lähtimmö, — sanow ga, — siit kačoimmo dorogas merežit, merežilöis tedrii da meččikanuo. Siid menimmö rihmoi kaččomah, rihmois hawgie da ahvendu. Siid, — sanow, — menimmö bojarin meččäh i mätös otimmo d'engat.

Bohattu net ku tiijusti i ierei lähti, dai bojarih kirjuttaw se bohattu, što «sinun d'engat otettih». Bojari kui tiijusti i meni kaččomah mättöh d'engoi. Meni ga, d'engoi ei mätös ole. Hällyö i tulow bojari, allaw kyzellä:

— Kus sinä hyövyid, da kävyidgo sinä minun meččäh?

Ka mužikku otkuažihes:

— En, — sanow, — minä ni tiijä sinun meččie, minä sie pien rihmoi da kai.

Bojari suwdoh i andaw, kui otkuažihes. Bojari svidetel'at vedi i suwdo roih. Povieskat tullah: nečil i nečil päiväl roih suwdo. I tullah sud'd'at suwdimah dai kučutah heidy suwdoh. Allaw se sud'd'u kyzellä:

— Kävyidgo bojarin meččäh rihmoi pidämäh?

Mužikku otkuažihes, sanow:

— Yhten kerran proijiin, i sen, — sanow, — yöksyxis.

— Otiit d'engat mätös? — sanow bojari.

— Kui? — sanow. — En ottanuh, miz minä tien, kuz hänen d'engat oldih!

— Et sano, — sanow, — iče ga. . .

Svidetel'ah kučutah kuomuodah da i bohattuo akkah kel i kyzytäh akal:

— Kui häi teile sanoi?

Akku i sanow:

— Minuo kučuttih goštih, siid juotettih viinuo humalah i akkah minul sanoi dorogal mennes kodih, što «myö lövvimmö äijän d'enguo», siid, — sanow, — minä vein bohattah vieštin, eigo teijän d'engoi ottanuh häi.

Siid bohattuo kučutah siih, sanow:

— Minul akkaine toi vieštin, eigo tien d'engoi ottanuh endine kazaku tien. Siid myö lähtimmö heile, mennes veimmö viinuo i juotimmo humalah molembie. Siid sanoi akku: «Lähtimmö ukon kel merežilöi kaččomah, siid, — sanoi, — rihmat kačoimmo i d'engat otiimmo bojarin mečas ukon kel».

Akkuo kučutah siih i kyzytäh:

— Kuibo d'engat otiitto?

— Otiimmo muga: ukko, — sanow, — otti minuo, merežilöi siit kačoimmo. Merežis siid oli meččikanuo, pywdy, tedrii. Siid menimmö rihmoil, rihmois oli hawgii, majehtu.

Sud'd'u menöw akalluo i andaw viizi rozgua:

— Mene, — sanow, — uravuksis kävelet,

A sil kuomal kaksikymmen viizi rozgua: «Midä tyhjie vieštilöi vied bohatal!». A bohatal viizikymmen rozgua i mi meni suddih kävelyksis, ned maksua.

— Smuwtit rahvastu, kazakoičuksen heitti, i sinul uvvessah pidäs kazakoiččemah!

A bojaril suwdittih toine pada suittuo i mättöh viijä. Mužikal ni midä. I lähtiettih kodiñ akkah kel i akal mužikku andoi harjukkät, ruaškuo selgäh:

— Täs, — sanow, — pitkäl kielell

Siid ruvettih hil' aizeh elämäh i olemah, akku heitti sanelendan.

67. [ЖЕНА-ДОКАЗЧИЦА]

Были муж да жена, они оба батрачили, одна ходила на поденщину, второй батрачил.

Жена была ненадежная, всегда разбалтывала, что говорил муж.

Они думали оставить батрачество и поденщину, и мужик сделал мережу и стал рыбу ловить. Жена ему еду готовит и все в деревне болтает, где муж рыбу ловит. После мужик стал силки ставить, птицу добывать. Жене запрещает говорить, где поймал птицу, а жена все равно говорит.

Как-то раз идет в боярский лес силки ставить, ходил туда в боярский лес неделю подряд каждый день. Там в один день как идет в лес с собакой, так встречается им очень большая кочка. И собака стала сильно лаять на эту кочку. Мужик пригляделся к кочке и замечает, что кочка разворошена и снова закрыта, и он снова разрывает ее. Смотрит, а там чугунный котел в кочке. Котел как снимет оттуда и откроет — полный котел золота. Он думает: «Взял бы да...», а потом думает: «Не возьму, жена выскажет», и обратно опустил котел в кочку. А сам идет мережи смотреть и снимает рыбу из мереж и кладет в силки, а птиц из силков тоже вынимает прочь и кладет в мережи. Домой приходит, садятся есть, и жене муж говорит:

— Сказал бы, жена, никому бы не пересказала, так сказал бы.

Жена начинает спрашивать:

— Скажи!

Муж и говорит:

— Не скажу, не скажу.

— Скажи, — говорит жена, даже в ноги кланяется, — только скажи, муженек!

Ну, муж и говорит:

— Там-то нашел котел золота.

А жена и спать не может, так ей хочется на деревне сказать. Ну, в тот вечер муж удерживает жену, не отпускает в деревню. Утром уже жена в деревне говорит:

— Знали бы вы, что мой муж нашел в лесу!

Мужик и говорит жене:

— Пойдем, сама возьмешь золото из котла, раз на деревне рассказываешь.

И идут туда, приходят. По пути мережи смотрят: куропатки в мереже, тетерева. Идут там силки смотреть, там в силках рыба, щуки, окуни. Это все тоже кладут в мешок. Потом идут деньги брать к кочке. Деньги берут и приносят домой. У одного мешок на спине, у другого — второй. Домой как приходят, и на другой день идет жена в лавку. Там покупает еду, питье, они едят, пьют.

— Что нам теперь не жить, — говорит там в деревне, — есть добра вдоволь!

Ту еду и питье съели и выпили, и жена идет на следующий день в лавку и спрашивает у мужа:

— Купить ли бутылку хорошего вина?

Муж и говорит:

— Купи, брат!

Жена идет в лавку и покупает две бутылки. Приходят домой, пекут блинов и всего и садятся с мужем есть. Как поели и повеселели, жена и говорит мужу:

— Не позвать ли куму сюда, пусть бы поела с нами.

Мужик говорит:

— Иди позови.

И приходит там кума, стали есть и пить, кума стала расспрашивать:

— Как вы теперь так хорошо живете, да всего у вас есть?

При муже жена не смела сказать, а идет провожать. Провожать как пошла, и там говорит куме:

— Вишь, мы нашли денег, так на всю жизнь хватит.

Та женщина передала весть на следующий день в тот дом, где они батрачили:

— Не потерялись ли у вас деньги, не они ли взяли?

На другой день к ним приходит богач расспрашивать, приносит вина и поит их вечером, мужа да жену. Как повеселели, так жена и стала рассказывать:

— Сперва как пошли, — говорит, — так посмотрели по пути мережи, в мережах тетерева да куропатки. Потом пошли силки смотреть, в силках щуки да окуни. Потом, — говорит, — зашли в боярский лес и из кочки взяли деньги.

Богатый как узнал это и пошел прочь, да и пишет этот богач боярину, что «твои деньги взяли». Боярин как узнал — так и пошел к кочке смотреть деньги. Приходит, а денег в кочке и нет. К ним и приходит боярин и начинает спрашивать:

— Как ты разбогател и ходил ли ты в мой лес?

А мужик отпирается:

— Я, — говорит, — и не знаю твоего леса, я здесь ставлю силки да все.

Боярин в суд и подает, раз отпирается. Боярин свидетелей привел, и суд начался. Повестки приходят: в такой-то и такой-то день будет суд. Приходят судьи судить, и зовут их в суд. Судья и начал спрашивать:

— Ходил ли ставить ты силки в боярском лесу?

Мужик отпирается, говорит:

— Раз только заходил, — говорит, — и то заблудился.

— Взял деньги из муравейника? — говорит боярин.

— Как, — говорит, — не брал, откуда я знаю, где были его деньги!

— Не скажешь, — говорит, — сам, так...

В свидетели вызывают куму да и богача с женой и спрашивают у старухи [кумы]:

— Как она тебе говорила?

Старушка и говорит:

— Меня позвали в гости, потом напоили вином допьяна, и жена его мне сказала по дороге домой, что «мы нашли много денег». Потом, — говорит, — я дала весть богачу, не его ли деньги он взял.

Потом богача вызывают туда, говорит:

— Мне старушка принесла весть, не взял ли ваших денег ваш прежний батрак? Потом мы пошли к ним, с собой принесли вина и напоили обоих пьяными. Потом сказала жена: «Пошли с мужем мережи смотреть, потом, — говорит, — силки посмотрели и деньги с мужем взяли из боярского леса».

Женщину ту вызывают и спрашивают:

— Как же вы деньги взяли?

— Взяли так: мужик, — говорит, — взял меня, мережи там смотрели. В мереже потом были куропатки, рябчики, тетерева. Потом пошли силки смотреть, в силках были щуки, налимы.

Судья подходит к женщине и дает пять розог:

— Иди, — говорит, — не в своем уме ходишь.

А этой куме двадцать пять розог, чего разносишь пустые вести. А богачу пятьдесят розог, и, что затрачено на суд, это уплатить.

— Смущаешь людей, он батрачить у тебя бросил, а тебе надо, чтобы снова стал батрачить!

А боярину присудили второй котел денег накопить и в кочку отнести. Мужу — ничего. И пошли домой с женой, и мужик надавал жене тумачков, отдубасил:

— Вот, — говорит, — за длинный язык!

Потом стали потихоньку жить да быть, жена бросила пересказывать.

Oli siä ukko da akku, hyä elettih köwhästi.

I akku oli ylen lašku, a mužikku sit en tiä, keskelleh oli, lašku ni, neče, johäi mi sillo sanuo, što tolkutoi, tolkutoi. . .

Mužikku kylvaw pelvastu, kazvattaw akale kezriämisty. Akal suitui jo nygöi pelvastu pualičču täwzi, hiiret siä kižatah kadrialii, midä pidaw siä sidä ruatah. Mužikku tulow:

— Akkul! Midä sinä et mille, — sanow, — täh, sobua luaji ni midä? Heitiitös hyvin, aiven päčil maguat, aiven päčil maguat, — sanow, — a minul riähkähiine hibju rubiaw nägymäh!

— Oi, mužikku, kezriäžin, — sanow, — jo kezrain puolenkymen ke-
räšty, ga, ialo viippuloi, en voi minä viihtä langoi.

— Ga sit go on sana?

— Sit.

— Minä lähten huandeksel tuan viiput sillo, viihtä.

Mužikku huandeksel nowzow, kirvehen kädeh ottaw, i lähtöw viipuloi tuamah, lähtöw, a akku se sil aigua ounastui. Juaksi ymbäri, siiriči mužikas, dai seibähän piäh nowzi. Mužikku viiput leikkai dai lähti viipuloi kandamah, a häi kirguw:

— Ken viippuloi kandaw, sil akku kualow, ken viippuloi kandaw, sil akku kualow!

Mužikku duwmaiččow: «Roskehno, nygöi akku kualow. Mengiä työ viikšinpwt dai kail». Viikšinpwt lykkäi hangele.

Akku myäs juaksi enne mužikkua neččih jo, kodih — dai päčile. Tulow mužikku mečas päi.

— Ga midäbö, kunnebo jätiit viikšinpwt, lähtiit viikšinpwlloi tuamah?

— Ole vaikkani, akkul — sanow. — Kirruttih: «Ken viippuloi kandaw, sil akku kualow». A duwmain: «Elä jo, olgahezen, elämmö kui tahto».

— Vot, sehäi on, — sanow, — kuibo sit, midäbö minä ruan?

— Ka midä ruat? Minä kuallen ga, mihbo sinä minun sellität? — sanow. — Ialo mih sellittiä.

— Ga vot, ialo mih sellittiä, kuale vai, — sanow, — ga sellitän!

Mužikkui kuali, nareko. Kuali mužikku, akkui sellitti hänen, pezetti, laučale oijendi. Mužikkua ialo mih sellittiäl! Häi net keräžet eči, allaw mužikale hambahah da varbahah viihtä, hambahah da varbahah. Viihti, viihtä, mužikan kaiken pletii langal i rubiaw iänel itkemäh:

Oi sa, kallis hyväženi,
Mihbo sinä rubeit nygöi pohodimah,
Ku minä sinuw sellitiin nenga?

A mužikku sanow, matil punaldi:

— Balalaikkah!

Akku sih perziälleh langei.

Sippi-sappi, suaru loppih.

68. [ЛЕНИВАЯ ЖЕНА]

Были там старик да старуха, жили они бедно.

И жена была очень ленивая, а мужик-то, не знаю, средне был: не то ленивый, не то, ну как тебе сказать, бестолковый, бестолковый...

Мужик сеет лен, растит для жены, чтобы было что прясть. У бабы накопилось волокна полный воронец под потолком, мыши там кадрили пляшут, что надо там, то и делают. Приходит мужик.

— Жена, ты что же мне, — говорит, — ни белья не готовишь и ничего? До того обленилась, все на печи лежишь, все на печи лежишь, — говорит, — а у меня, — говорит, скоро грешное тело будет видно!

— Ой, муж, я бы спряла, — говорит, — я уж и напряла с полдесятка клубков, а вот мотовила нет, не на что нитки намотать.

— Так и в этом и все дело?

— В этом!

— Я пойду утром принесу тебе мотовило, мотай нитки.

Мужик утром встает, берет топор в руки и отправляется за мотовилами в лес. Отправляется, а баба та в то время решила схитрить. Пробежала кругом, мимо мужика, да и на изгородь забралась. Мужик тот срубил мотовила и потащил их домой, а она кричит:

— Кто мотовила домой несет, у того жена умрет, кто мотовила домой несет, у того жена умрет!

Мужик думает: «А, черт поберет, смотри-ка, теперь жена умрет! Катитесь вы, мотовила, и все с ними!». Выбросил мотовила на наст.

Жена опять побежала впереди мужика туда, домой, да на печку и залезла. Приходит муж из лесу.

— Что же ты, где мотовила оставил, ведь за мотовилами пошел в лес?

— Не говори, жена! — говорит. — Кто-то кричал: «Кто мотовила домой несет, у того жена умрет!». А я и подумал: «Да живи ты, пусть будет так, проживем как-нибудь».

— Вот, то-то и оно, — говорит [жена]. — А как же быть нам, что я буду делать?

— Так что будешь делать? Если я умру, так во что же ты меня оденешь? — говорит. — Не во что будет одеть!

— Ну вот еще, не во что будет одеть! Только умри, — говорит, — так найду во что одеть.

Муж и умер, нарочно. Умер мужик, жена и одела его, обмыла, на лавку положила. Не во что мужика одеть! Она те клубки ниток нашла и давай на мужика наматывать: от зуба — к пальцу на ноге, от зуба — к пальцу на ноге. Мотала, мотала, мужика всего обмотала нитками и начинает голосом причитывать:

Ой, ты друг мой милый,
На кого ты теперь стал похож,
Как я тебя так обрядила?

А муж и говорит, матом выругался:

— На балалайку!

Баба тут и упала на ж...

Вот и сказке конец.

69. CAARIN BAALU

Caarih rodiaa baalu. Kaikkii kučutah baaluh. Dai mužikku lähtöö baaluh. Kiiseliä ottaa astian. Kiiseliä vedää astian, saa kuldaa kapan. Lähtöö kodih tulemah hyväs mieles. Mužikku tuloo vastah, ajaa hevol selläs.

— Kus tulet, d'äädö?

— Olin caarin baalus, kiiseliä vein astian, kuldaa sain kapan. Nygöi hot' menen kodih ga ostan midä tah.

— Anna kullat, ota minun hebo. Davai vaihtammo.

Mužikku andaa kullat i ottaa hevon:

— Ehki omat maahuot raan omal hevol.

On hyväs mieles, nouzoo hevol selgäh. Ajaa palaizen, ga tuloo akku vastah lehmän ker, lehmää kytkyöz viettää. Kyzyy:

— Kus tulet, d'äädö?

— Olin caarin baalus, vein kiiseliä astian, sain kuldaa kapan, sen nygöi vaihtoin hebozeh: ehki d'o omal hevol maahuot raan.

— Vaihta lehmäh.

— Davai. Ehki omaa maidostu syön akan ker.

Astuu palaizen, tuloo akku počin ker vastah.

— Kus olit, d'äädö?

— Olin caarin baalus, vein kiiselü astian, sain kuldaa kapan, kullat vaihtoin hebozeh, hebozen vaihtoin lehmäh. Nygöi ehki omaa maidostu syön akan ker.

— Vaihta minun ker poččih?

— Davai. Ehki omaa lihastu syön kodih mendyy, išken ga.

Astuu, astuu palaizen, tuloo akku vastah lambahan ker.

— Kus olit, d'äädö?

— Olin caarin baalus. Vein kiiseliä astian, sain kuldaa kapan. Kul-lat hebozeh vaihtoin, hevon lehmäh, lehmän poččih. Nygöi menen kodih, išken — ehki lihastu syön akan ker.

— Vaihta lambahah.

— Davai. Ehki omaa villastu roih. Voibi ehki alastu da sukkaa azua.

Astuu, astuu palaizen, tuloo akku kanan ker vastah.

— Kus olit, d'äädöi?

— Olin caarin baalus, vein kiiseliä astian, sain kuldaa kapan. Kullat vaihtoin hebozeh, hebozen — lehmäh, lehmän — poččih, počin — lambahah. Nygöi ehki omaa villastu roih. Voibi azua alastu dai sukkaa.

— Vaihta minun ker kanah.

— Davai. Ehki kanaine d'äicästy munii. D'äicčää voibi ehki syvvä — dai roih myvvägi. Omaa d'äicästy ehki vai syömmö akan ker.

Astuu, astuu, tuloo akku — nieglu ryndähäs.

— Kus, d'äädöi, tulet?

— Olin caarin baalus. Vein kiiselii astian, sain kuldaa kapan. Kullat vaihtoin hebozeh, hevон — lehmäh, lehmän — poččih, počin — lambahah, lambahan — kanaizeh. Nygöi ehki kodih mendyy akan ker vai omaa d'äicästy syön.

— Vaihta minun ker, d'äädöi, nieglah.

— Davai vaihtammo, kuldu tytär, davai. Ehki akan ker kodih mendyy ribuzii voimmo kohendella.

Astuu, astuu, rubiaa aijas pääliči harpaamah, ga i nieglan käzis sordaa heinih. Eččii, eččii, ga ei ni voi löydää. Taputti sid taputti, unohti i midä vei caarile. Taputtaa, taputtaa — roih ligaa. Hänel i d'uohtuu mieleh: «Kiiseliihäi minä vein». Tuloo kodih tyhd'illeh itkun ker. Kiiselii d'uvvan menetti, a saanut ei ni midä.

69. ЦАРСКИЙ БАЛ

У царя устроили бал. Всех зовут на бал. И мужик отправляется на бал. Берет с собой киселя горшок. Несет кисель, получает [за это] мерку золота. Идет домой довольный. Встречается ему мужик, едет верхом на лошади.

— Откуда идешь, дядя?

— Был на царском балу, отнес киселя горшок, получил золота мерку. Теперь как приду домой, куплю хоть чего-нибудь.

— Дай мне золото, возьми мою лошадь, давай поменяемся.

Мужик отдает золото и берет лошадь:

— Обработаю хоть свои поля на своей лошади.

Довольный садится на лошадь. Проехали немного, и встречается женщина с коровой, за веревку тянет корову. Спрашивает:

— Откуда идешь, дядя?

— Был на царском балу, отнес киселя горшок, получил золота мерку, сменял его теперь на лошадь: хоть на своей лошади обработаю поля.

— Променяй на корову.

— Давай. Хоть свое молоко буду есть с женой.

Прошел немного, встречается женщина со свиньей.

— Где был, дядя?

— Был на царском балу, отнес киселя горшок, получил золота мерку, золото променял на лошадь, лошадь променял на корову. Теперь буду свое молоко есть с женой.

— Поменяемся со мной на свинью.

— Давай. Буду хоть свое мясо есть, когда приду домой и заколю [свинью].

Прошел еще немного, встречается женщина с овцой.

— Где был, дядя?

— Был на царском балу. Отнес киселя горшок, получил золота мерку. Золото променял на лошадь, лошадь — на корову, корову — на свинью. Теперь иду домой, заколю [свинью] — своего хоть мяса поем с женой.

— Променяй на овцу.

— Давай. Будет хоть своя шерсть. Можно надеть рукавиц и чулок.

Прошел еще немного, встречается женщина с курицей.

— Где был, дядя?

— Был на царском балу, отнес киселя горшок, получил золота мерку. Золото променял на лошадь, лошадь — на корову, корову — на свинью, свинью — на овцу. Теперь хоть своя шерсть будет. Можно надеть рукавиц и чулок.

— Поменяемся со мной на курицу.

— Давай. Курица яичек нанесет. Можно яйца есть, и для продажи будет. Хоть своих яичек поедим с женой.

Идет, идет, встречается женщина — иголка приколота к груди.

— Откуда, дядя, идешь?

— Был на царском балу. Отнес горшок киселя, получил мерку золота. Золото променял на лошадь, лошадь — на корову, корову — на свинью, свинью — на овцу, овцу — на курицу. Теперь хоть, придя домой, с женой своих яичек наедемся.

— Поменяйся со мной, дядя, на иголку.

— Давай, поменяемся, золотая дочь, давай. Придя домой, сможем с женой хоть свои лохмотья чинить.

Идет, идет, начинает через изгородь перелезать и роняет иголку в траву. Ищет, ищет, но никак не может найти. Шлепал, шлепал рукой, даже забыл, что царю относил. Шлепает, шлепает — появилась грязь. Тут он и вспомнил: «Я же киселя отнес [царю]». Приходит домой ни с чем, плачет. Киселя горшок потерял, а взамен ничего не получил.

70. OWNAS VAN'A

Elettih-oldih molodoit. Mužikku oli prostoi, a mučoi oli hyvä da čoma kaččua, kaččeile. Händy zaviiduičči suseidu Van'a, što tahtoi hänen kele poznakomiakseh. Aiven händy kaččow, kui oliš hänen kele poznakomiakseh, kui oliš poznakomiakseh, kui oliš poznakomiakseh. Kaččow: lähtiäle astuw mučoi, dai häi (rinnai ollah ga) menöw lähtiäle. Menöw lähtiäle, menöw lähtiäle, ga jo häi zavodiw paginan, što:

— Vot, mol, — sanow, — sinä oled nengoine hyväine da čomaine da, a mužikku sinul ei ole moine hyvä, — sanow, — a sinä olet, — sanow, — ylen hyväine, a vot minä, — sanow, — aiven zaviiduičen sinuw, što minä, — sanow, — tahtožin sinun kele drowžiakseh, — sanow.

— A kuibo nenga druwziakseh, — mučoi se sanow, — kuibo druwziakseh?

— Ga vot nenga i nenga, — sanow, — kui-tahto, eigo sua sinuhua, — sanow, — kui podoidia?

— A vot, — sanow, — nenga: tänäpäi ehtäl, — sanow, — mužikku selgiaw meččäh, — sanow, — ga minä voin sen luadia, što, — sanow, — sinä tule, — sanow. — Minä jätän veriän avvoi, häi vai lähtöw dai minä viritäldän tuahuksen, a sinä sledi, što minä viritän, i sit sinä voit tulla. Veriän avvoi jätän.

Nu, mužikku sei kaččow siä ikkunas. Muate viärtäh, gai mučoi viritäldäw dai sammutaldaw tuahuksen dai muatei viäröwgi. Nu, brihal se himoittaw, što bi hänen kel sväziakseh, gai tulow sinne, saruale nowzow siä. A mučoi i sanow ukolleh:

— Ken, — sanow, — koliššow sarual, — sanow, — ga.

A mužikku sanow mučoi sille ga:

— Mene, — sanow, — kačo, ken siä, tädä ruadaw, koližow.

— Oi, minä lähten, — sanow, — kaččomah! Nygöi mužikannu olles et voi mennä ičel! Možet ken on? Mene, — sanow, — kävähtäi sinäl

Dai mužikku lähtöw sinne, menöw — ga susiadu Van'a sarual siä. A hänel oli sananpolvi moine: «suwhkoinettu».

— Suwhkoinettul Midäbo sinä tuliit tänne?

— A ole velli vaikkani, — sanow, — što minul, — sanow, — huigei oli sinun saruas miäriä ottua, — sanow, — što himoittaš aiven sinun jyttys sarai strojia, — sanow. — A duwmain, vuata, engo voi peitoči ottua miäriä da luadia sinun jytytty saruadu, strojia.

— Ota, velli, ota!

— A en, — sanow, — nygöi ni ota, — sanow, — raz iče, — sanow, — tuliid, da en ni otagi.

Tulow pertih. Tulow dai mučoi i sanowgi. Mučoi sanow, što «susiadu Van'a nygöi ei voi ottua päiväl miäriä, tuli, — sanow, — yäl miäriä ottamah saruas». Nu. Se myäs muatah, ollah toine päivy. Tulow toine päivy, ga myäs se Van'a primiättiw, konzu se lähtöw mučoi randah. Dai häi, yhtenaigoi, mennäh sinne, mennäh ga:

— Midäbo, — sanow, — velli muanitiit, — sanow, — egläi, minuw, — sanow, — näidgo ga.

— Ga, — sanow, — tahtoi lähtiä, ga ei ni lähtennyh, — sanow, — meččäh, a tänäpäi, — sanow, — obezatel'no, — sanow, — lähtöw, — sanow, — viä muidu lähtöw, — sanow, — dai häi lähtöw, obezatel'no, — sanow, — lähtöw. Tänäpäi, — sanow, — tule tanhuale, — sanow. — Älä ni tule, — sanow, — saraiveriäh, a tule, — sanow, — tanhutveriäh, minä jätän avvoi, tule, — sanow, — tanhuale.

Nu, se myäs eletäh päivy se, gai ehty tulow. Tulow ehty, ga myäs mučoi mugažo kui sanoi, što «tuahuksen viritäldän dai sr'uado sammurangi». Dai muga tuahuksen viritäldäw dai sammutaldaw, da iče muatei menöwgi mužikallua. Menöw, ga lambahat siä ruvetah bliämiččemäh. Häi ku [Van'a] tanhuale sinne menöw, da žiivatat lomizemah [ruvetah]. A mučoi myäzii sanow ukolleh:

— Midä, — sanow, — žiivatat liännöw lomu luajittu? Midä liännöw lomu luajittu, — sanow, — žiivatat?

Nu, a mužikku sanow:

— Ga mene kävähtäil

— A en d'o, — sanow, — lähte kävähtämäheze, — sanow. — Mužikannu olles mene-taki, možet, — sanow, — myös ken-tahto on.

. Mužikku menöw tanhuale, ga Van'a se myäs siä.

— Ga, suwhkoinettu! midäbo sinä nygöi, — sanow, — toine ehty jo olet täs?!

— A olen, — sanow, — toine ehty täs, kačo, — sanow, — jo kolme vuattu, — sanow, — lammas ei juakse, — sanow, — a tahtožin, — sanow, — sanottih, što varrastannethäi bošin, sid i juaksow tämä lammas. A nygöi, — sanow, — sinä tuliid, ga en voi [varrastua].

— Ga ota, velli, päiväl, ota velli, — mužikku sanow, — päiväl.

— En, nygöi en voi ottua. Gu voinnužin varrastua, järilleh i tuannužin, — sanow.

Nu hyvä. Myäs se Van'a lähtöw iäre. Mužikku tulow pertih. Tulow pertih, gai sanow:

— Ga Van'a, — sanow, — toižen ehtän, — sanow, — näitgo, — sanow, — bošin tahtoi varrastua, — sanow. — Gu olluš ottanuh, — sanow, — ga järilleh i tuannuš susednom dele, — sanow. — Ga midä, — sanow, — čuwdinneheze?

Nu se myäs mučoi ni midä ei virka. Päivy se proidiw, myäs i päiväl siä myäs i primiättiw.

— Midäbo, — sanow, — sinä, velli, minuw kialastelet? — sanow.

— A en, — sanow, — velli, kialasteliš, — sanow. — Ga vot, jo, — sanow, — selgii dai järilleh jaksoiheze, vod ei lähtennyh, — sanow, — ga kuibo minä voin? — sanow. — A tänäpäi, — sanow, — lähtöw, obezatel'no lähtöw! Ei lähte meččäh, a lähtöw, — sanow, — gostih. Tänäpäi, — sanow, — tule pr'uamo, — sanow, — minä jätän veriän avvoi, mu-gažo tuahuksen viritäldän, sammutan, i sinä, — sanow, — tule pertih pr'uamo.

Dai häi tuas ehtiä sidä vuattaw. Vuattaw, dai muate viärtäh. Myäs mučoi tuahuksen ikkunale panow, dai sammutaldaw, dai muate viärtähgi mužikan kele. Viärtäh muate, ga se Van'a tulow pr'uamo kruavattih. Tulow, ga [ukkoh] sanow:

— Suwhkoinettu! Ga midäbo sinä nygöi jo kolmas ehty, — sanow, — čuwditos, — sanow, — tulet?

— Ole velli vaikkani, — sanow, — kaiken hiarunke riidelen, — sanow, — što sanotah sinul on bariššu, — sanow, — a minä duwmain: a vuata minä lähten da iče opittelen: on vai ei, — sanow, — sinul, se dielo, vai eule, — sanow.

Nu hyvä, dai mužikku se sanow:

— Nygöi opi, velli, opi velli, opi velli, — mužikku sanow, — opi velli, opil

Nu dai lähtöw iäre Van'a. Lähtöw iäre ga, tulow toššupiän myäs lähtiäle, primiättiw.

— Nu kolme ehtiä, — sanow, — sinä minuw muanitteliit, — sanow, — kuibo, — sanow, — nenga nygöi: lähte ei, a sinä, — sanow, — virität tuahuksen, da, — sanow, — kak butto nenga...

— A, — sanow, — mittuan hirven hiihtiin, ga moižel i tal'äl ma-guan! — sanow. — Enämbiä älägo minuw tunne, älägo tiijä, — sanow. Da vai eletäh da ollah se paha mužikku da hyvä mužoi.

70. ХИТРЫЙ ВАНЯ

Жили-были молодые. Муж был простоватый, некрасивый, а жена была хорошая да красивая. Стал на нее сосед Ваня с завистью заглядываться, хотел познакомиться с ней. Все на нее смотрит, как бы с ней познакомиться, как бы познакомиться, как бы познакомиться. Видит, идет эта молодка за водой, и он (рядом живут так) идет за водой, идет за водой. Идет за водой, да уже и разговор заводит:

— Вот, мол, — говорит, — такая ты хорошенькая да красивая, а муж у тебя не такой хороший, — говорит, — а ты, — говорит, — очень хорошая. А вот я, — говорит, — все завидую, и, — говорит, — хотел бы я с тобой подружиться, — говорит.

— А как подружиться-то, — молодая та и спрашивает, — как подружиться?

— А вот так и так, — говорит, — нельзя ли как-нибудь встретиться с тобой? — говорит.

— Ну, вот так, — говорит, — сегодня вечером, — говорит, — муж пойдет в лес, — говорит, — так я, — говорит, — могу это сделать, — говорит, — ты приходи. Я ворота оставляю открытыми, он только уйдет, я и засвечу, а ты следи, как я засвечу, потом ты и можешь прийти. Ворота оставляю открытыми.

Ну, сосед этот там и смотрит в окно. Легли спать, а жена зажгла и погасила свечку и легла спать. Ну, парню как хочется с ней сблизиться, он и пошел туда, поднялся на сарай. Жена и говорит мужу:

— Кто-то, — говорит, — стучит там на сарае.

А муж говорит жене:

— Иди, — говорит, — посмотри, кто это там стучит.

— Ой, пойду я, — говорит, — смотреть — ты мужчина не можешь сам сходить, может, там кто есть, иди, — говорит, — взгляни сам.

Пошел мужик, а там сосед Ваня на сарае. А у него [у мужа] было присловье такое — «мать честная».

— Мать честная, чего ты сюда пришел?

— А, не говори, братец, — говорит, — стыдно мне было с твоего сарая мерки брать, — говорит, — хотел бы сам такой же сарай строить, — говорит. — Подумал, погоди-ка, не смогу ли тайком снять мерки, так построю такой же сарай, как у тебя.

— Да сними ты, братец, сними.

— Да нет, — говорит, — теперь и не сниму, — говорит, — раз ты сам пришел, — говорит, — так и не сниму.

Вернулся [муж] в избу, вернулся и говорит жене. Говорит жене, что «сосед Ваня не может уж днем мерки снять, пришел, — говорит, — ночью мерки снимать с сарая». Ну, проспали они ночь. Наступил второй день, на второй день опять Ваня и примечает, когда соседка на берег пойдет. И он идет, вместе идут с ней:

— Что это ты обманула, — говорит, — меня вчера?

— Да хотел [муж], — говорит, — пойти и не пошел, — говорит, — в лес, а сегодня, — говорит, — обязательно, — говорит, — пойдет, еще и другие пойдут, и он, — говорит, — обязательно пойдет. Сегодня, — говорит, — приходи в хлев и не заходи на сарай, а прямо в хлев, дверь я оставляю открытой, приходи, — говорит, — в хлев.

Ну, прожили тот день, настает вечер. Настает вечер, жена соседа как сказала, что свечку зажжет да сразу и погасит, опять и зажгла свечку и погасила сразу, а сама к мужу спать. Пришел [сосед], так овцы заблеяли, как он в хлев зашел, да скотина задвигалась. А жена опять и говорит мужу:

— Что-то, — говорит, — скотина забеспокоилась. С чего это скотина не спит?

Ну, муж и говорит:

— Ты иди сходи.

— Да нет уж, — говорит, — не пойду, ты мужчина, ты и сходи, может, — говорит, — снова кто-то там есть.

Муж пришел в хлев, а там опять этот Ваня.

— Ах, мать честная, ты что, — говорит, — уже второй вечер здесь?

— А прихожу, — говорит, — уже второй вечер сюда, — говорит... Вишь, уже три года, — говорит, — овца не ягнится, а хотел бы... — говорит, — сказали, (что) если украдешь барана, только тогда овца эта зайгнется. А теперь, — говорит, — ты пришел — я не могу взять.

— Да возьми ты, братец, днем, — говорит, — возьми ты днем.

— Нет, теперь уже не могу взять, кабы смог украсть, и обратно привел бы, — говорит.

Ну, хорошо, пошел Ваня прочь. Муж приходит в избу. Приходит в избу и говорит:

— Это Ваня, — говорит, — уже второй вечер... — Видишь, — говорит, — барана хотел украсть. Да уже пусть бы взял, — говорит, — по-соседски, и обратно бы привел, — говорит. И чего он это, — говорит, — чудит?

Ну, а жена ничего не говорит. День проходит, днем-то опять и приметил Ваня ее.

— Что это, — говорит, — ты, братец, меня обманываешь? — говорит.

— Да нет, — говорит, — не обманывала бы, — говорит, — да вот

уже, — говорит, — собрался [муж] и снова разделся, не пошел, — говорит, — так как же я могу? — говорит. — А сегодня, — говорит, — пойдет, обязательно пойдет, не в лес, — говорит, — а в гости пойдет. Сегодня, — говорит, — приходи прямо, — говорит, — я двери не закрою, так же зажгу свечку, погашу, а ты, — говорит, — заходи прямо в избу.

Он опять ждет вечера, ждет, и [те] ложатся спать. Жена-то свечку поставила на окно, погасила и ложатся спать с мужем. Легли спать, а Ваня прямо к кровати подходит. Подошел, говорит [муж]:

— Мать честная, да ты чего это, — говорит, — уже третий вечер чудишь, — говорит, — ходишь?

— Уж не говори, братец, вся деревня спорит, — говорит, — что у тебя кила, — говорит. — А я думаю, дай-ка сам схожу проверю, есть у тебя это дело или нет.

Ну хорошо, мужик этот и говорит:

— Так теперь на проверь, брат, проверь, на проверь, проверь, — мужик говорит, — проверь, братец, проверь!

Пошел Ваня прочь, пошел прочь.

На второй день опять и подстерегает соседку, как та идет за водой.

— Три вечера, — говорит, — ты меня за нос водила. Как же, — говорит, — так, не уходит [муж], а ты свечку зажигаешь, — говорит, — и как будто так...

— А какого лося загнала, на такой шкуре и сплю, — говорит, — больше ты меня не знай и не ведай, — говорит.

Да так и живут-поживают этот неказистый мужик и пригожая жена.

71. MOKKI

Eläw pogostal kewhy leskiakkaine. Hänel on poigu, nimi on Mokki. Vot hänel on ylen kewhy eländy i lähtöw papile kazakakse tariččemaheze.

— Buat'uška, ota minu w kazakakse, ewle leibie syvvä.

Buat'uška sanow:

— Voibi ottua, poigu, wuvvekse otan, sada rubl'ua palkua, otan! Rubiew Mokki kazakakse wuvvekse. Ruadaw česno wuvven.

— Buat'uška, anna nygöi čottul

— Vot, Mokki-poigu, — sanow, — voinnet varrastua minul koiran, siid annan kaksisadua, a ku et voinne varrastua — wuvven palkua et sua.

Tulow kodih itkun ker muamah luo:

— Muamo, nygöi on yksi lehmy eluo, dai sen minä išken, ilmai rua-voin minä papis, palkua en sua — häi minul palkua maksa ei.

Muamo op'at' itkuo:

— Yksi lehmy on dai sen nygöi tapat!

Ottaw veičen, menöw tahnuale, tappaw lehmän. Ottaw nahkan leh-mäl umbinaizen, kui oraval. Vuottaw yön aijan. Ottaw nahkan, astuw papin d'voral. Kui häin eli papilluo vuvven, koiru, konešno, tunzi händy, hawkunu ei. Häin otti nahkan, avai i d'ätti sinne lihua. Koiru n'ulahti sinne sydämeh. Häin otti koiran sidoi i tuli kodih.

Nowzow pappi huondeksel, astuw Mokilluo:

— Varrastiidgo, Mokki, koiran?

— Varrastin, velli, buat'uška!

— Anna koiru iäre i tule illal čotale!

— Vot, Mokki, toine zaduačču sinulles. Minä istumos ikkunpieleh, muatuška istuhes toizeh, d'engat roitah stolal. Voinnet varrastua d'engat, značit, annan kolme sadua, a ku et voinne varrastua, siid vuvven palkua et sua.

Tulow yö. Mokki duwmaiččow, kui papil ottua d'engat. Menöw kal-mozemah i kaivaw pokoiniekan verekseh pannun muas i sellittäw omih sobih i tuow, panow ikkunpieleh. Muatuška ku kačahtah gai sanow:

— Buat'uška, kačo, Mokki tuas on!

Buat'uška kui kačahtaw:

— Muatuška, mene tuo orožu!

Muatuška tuow orožan. Pappi ottaw i ambuw pokoiniekan.

— Nygöi, — sanow, — piäzimmö siid, d'engua ei pie maksua. Nygöi läkkä lykkieimmö d'ogeh!

I lähtietäh lykkieimäh d'ogeh. Otetah kuni pokoiniekkua suatetah, Mokki škatulkaizen ker ottaw i kodih menöw. Tullah pappi i papad'd'u d'ogeh lykkieimäs, ga škatulkua d'engoin kere stolal ewle.

— Avoi, — sanow, — pahoin myö ruavoimmo tämän kerran!

Hyö itkemäh: «Vot pahoin myö ruavoimmo! Kuni myö ukseh ymbäri menimmö, Mokki ikkunas päi d'engat otti. Nygöi d'engat i kai lyk-käimmö d'ogeh!». Ei pappi tirpa, yöl astuw Mokin muamolluo. Kolottiw:

— Koizgo on poigu?

— Kois on!

Pappi ihastuw. Tulow Mokki.

— Otiidgo d'engat?

— Otiin, buat'uška.

— Anna d'engat d'äriileh, tule huomei čotale.

Mokki ku oli česnoi ruadai, häin andaw kai d'engat papile. Astuw ihastuksis papilluo: «Andaw nygöi pappi čotan». Pappi sanow:

— Mokki, voinnet gu varrastua minuw iččiedäni, siid annan viizi-sadua, a ku et voinne, vuvven palku sudre menöw!

Mokki päivän duwmaiččow, kui pappi varrastua. Tulow yö. Menöw kirikköh kellod'algoih i rubiew zvonimah. Hypättih rahvas, juostah kiri-köllyö, duwmaijah on požuaru i kyzytäh:

— Ken zvoniw?

— Zvoniw... Heityi d'umal taivahas päi. Teijen pogostal on ylen božestvennoi pappi, taivahah händy pidäw. Mengie viegie papile viešti,

anna ottaw muatuškas prošken'n'an i tuow kai d'engat, d'umal ottaw hänen taivahah.

Lähtöw kirikköstuarostu papilluo. Mokki d'uoksow papin kodih d'älles, pidäw tiijustua, midä hyö paistah. Menöw kirikköstuarostu i sanow:

— Buat'uška, heityi d'umal taivahas, tuli sinuo ottamah i käsköw, — sanow, — ota muatuškas prošken'n'u i tuo kai d'engat.

Muatuška itkuo:

— Kuibo nygöi minä elän, ku otat kai d'engat kerale?

Buat'uška sanow:

— Nellisadua senčois pualičal padazes, niidy d'umal toinah ei tiijel

Mokki senčois kuwndelow. Vai ku pappi i kirikköstuarostu lähtietäh kirikköh, Mokki ennen heidy i juoksow kirikköh. Pappi nowzi pordahie myöte kellod'algoih molitvan kere:

— Oho hospodi, viego minä pädin teillel Kui vernoil pravval sluw-žiin mual, muga sluwžin i taivahas!

Nowzow ylähäkse i d'umalale d'algoih.

— Hospodi, nygöi minä sinun! Vie uaduh, libo ruajuh!

Mokki sanow:

— Toidgo, buat'uška, kai d'engat?

— Kai toin, ei d'iäny d'edinoidu kopeikkua.

— Kielastat, buat'uška, d'umalas peittie et sua! N'ellisadua padaizes senčois pual'čale d'ai, mene tuo iäres ned!

— O hospodi, d'umalas ei sua peittiä, a rahvahas suaw!

Tulow pappi muatuškalluo.

— Anna kai d'engat, eiga ni taivahah ei ota.

— D'ätä hot', buat'uška, viizikymmen rubl'ua zuaharniččah, mene tiijä konz d'umal piästäw d'äriilleh!

A Mokki kai kuwli senčois päi.

Lähtöw pappi d'umalalluo, a Mokki sie vuottaw händy. Pappi sanow:

— Hospodi, nygöi kai d'engat toin!

— Buat'uška, nygöi kielastad, viizikymmen rubl'ua zuaharniččah d'ai. No niijen täh, anna d'ai muatuškal, a myö sinun kere lennämmö taivahah.

Avuaw nahkan, käsköw papin sinne. Menöw pappi nahkah. Häin ylen hyvin krieppii.

— Nygöi, buat'uška, lendämäh lähtemmö.

Ottaw pordahie myöte ku tujahuttaw alas, pappi vai mukkie kiändäw. Pappi sanow:

— En tiijä kunne viijäh: uaduh vai ruajuh, no dielo d'umalan!

Tulow Mokki dai toizis pordahis d'yrähyttäw alas, dai kolmandis työndäw. Pappi vai «hospodii» lugow. Tulow alahakse i ottaw olgu-piäle i kandaw papin kon'ušnah i heittäw vazaizelluo. Pappi sie mökkö-löitti i nuorat vällel, i nahkas sie n'ulahtih piä iäres. Vazaine otti dai suwdu hänel: «O hospodi, kačo, an'helit tervehtitäh! — i silittäw, — tiä an'helid on karvaizet!» Nowzi polvilleh da rubei kaččomah — ga

on lehmy: «O, hospodi, kačo i meijen mul'oihut on tiä! D'umalan die-loine. Häin nostaw kai tänne!»

Nowzow sie, tulow tahnule: «Ga täs on minun rišškaine!». Tulow senčoiioih, astuw pertih: «O, hospodi, ga minun komnattu on tiä!».

Muatuška hyppiäw gorničas.

— Kus, urai, olet taivahas?! Omashäi kois olemmo! Mokki sinuo talutti.

Siid vai ku pappi sanoi:

— En andanu Mokile sadua rubl'ua palkua — annoin kai d'engat, da vie murendi bokis luwd! Anna nygöi Mokki eläw d'umalan ker!

71. МОККИ

Живет на селе бедная вдовушка. У нее сын, зовут его Мокки. Живут они очень бедно, и сын идет проситься в работники к попу.

— Батюшка, возьми меня в работники, есть нечего.

Батюшка говорит:

— Можно взять, сынок. Возьму на год, сто рублей плата, возьму.

Нанялся Мокки на год. Работает честно год.

— Батюшка, рассчитай теперь!

— Вот, Мокки, — говорит поп, — если сумеешь украсть мою собаку, тогда дам двести, а если не сумеешь — годичного заработка не получишь.

Приходит Мокки с плачем домой к матери.

— Мать, всего-то у нас добра одна корова, и ту я зарежу, иначе заработка от попа не получу — он мне заработка не выплатит.

Мать тоже заплакала:

— Одна корова, и ту зарежешь!

Берет Мокки нож, идет во двор, режет корову. Шкуру снимает чулком, как у белки сдирает. Дождается ночи. Берет шкуру, идет на поповский двор. Он как жил год у попа, так собака, конечно, узнала его, не залаяла. Он взял шкуру, раскрыл и оставил внутри немного мяса. Собака юркнула в шкуру. Он взял завязал шкуру и принес домой.

Встает поп утром, идет к Мокки:

— Мокки, украл собаку?

— Украл, брат, батюшка.

— Верни собаку и приходи вечером расчет брать.

Наступил вечер, идет Мокки за расчетом к попу.

— Вот, Мокки, другая задача тебе. Я сяду к окну, матушка сядет к другому, деньги будут на столе. Если сможешь украсть деньги, значит, дам триста рублей, а если не сможешь, то годового заработка не получишь.

Приходит ночь. Мокки думает, как бы украсть у попа деньги. Идет на кладбище и раскапывает недавно похороненного покой-

ника и натягивает на него свою одежду и ставит к окну попова дома. Матушка как посмотрит в окно — говорит:

— Батюшка, смотри, Мокки тут!

Батюшка взглянул:

— Матушка, иди принеси ружье!

Матушка приносит ружье. Поп взял и выстрелил в покойника.

— Теперь, — говорит, — от него избавились, денег не надо платить. Теперь пойдем бросим в реку!

И понесли покойника в реку. Пока покойника тащили в реку, Мокки шкатулку с деньгами унес и пришел домой. Вернулись поп и попадья с речки — шкатулки с деньгами на столе нет.

— А-вой, — говорят, — плохо мы сделали в этот раз!

И они давай плакать: «Вот как мы сплеховали. Пока мы в дверь выходили, Мокки через окно деньги взял. Теперь пропали наши деньги!». Не терпится попу, ночью пошел к матери Мокки. Стучится:

— Дома ли сын?

— Дома.

Поп обрадовался. Приходит Мокки.

— Взял деньги?

— Взял, батюшка.

— Отдай деньги обратно, приходи завтра за расчетом.

Так как Мокки был честный работник, то и вернул все деньги попу. Идет обрадованный к попу: «Отдаст теперь поп заработок». Поп говорит:

— Мокки, если сможешь меня самого украсть, тогда дам пятьсот рублей, а если нет — годичный твой заработок пропадет!

Мокки думает, как украсть попа. Настала ночь. Пошел Мокки в церковь на колокольню и стал звонить. Сбежался народ, думают пожар, и спрашивают:

— Кто звонит?

— Звонит — бог с неба спустился! В нашем погосте очень благочестивый поп, на небо требуют его. Идите, известите попа, пусть прощается с матушкой и принесет все деньги, бог возьмет его на небо.

Пошел церковный староста к попу. Мокки бежит следом к дому попа: надо узнать, о чем они говорят. Пришел церковный староста и говорит:

— Батюшка, бог спустился с неба, пришел за тобой и велит тебе проститься с матушкой и принести все деньги.

Матушка плачет:

— Как же я буду теперь жить, как деньги все возьмешь с собой?

Батюшка говорит:

— Есть в сенях, в горшке на полке, четыреста рублей, про те деньги бог не знает!

Мокки в сениях подслушивает. Как только староста и поп пошли в церковь, Мокки раньше их прибежал туда. Поп поднимается по лестнице на колокольню с молитвой:

— О, господи, видать, я тебе понадобился. Как верой и правдой служил на земле, так же буду служить и на небе!

Поднялся наверх и богу в ноги:

— Господи! Теперь я твой, неси в рай или в ад!

— Все ли деньги принес, батюшка?

— Все принес, не осталось ни одной копейки.

— Лжешь, батюшка, от бога ничего не утаишь! Четыреста рублей в горшке на полке в сениях осталось, поди и принеси те!

— О, господи, от бога не утаишь, это только от людей можно!

Приходит поп к матушке.

— Дай все деньги, а то на небо не возьмет.

— Оставь, батюшка, хоть пятьдесят рублей в сахарнице, поди знай, когда бог обратно отпустит!

А Мокки все подслушивает в сениях.

Идет поп к богу, а Мокки уже ждет его. Поп говорит:

— Господи, теперь все деньги принес!

— Лжешь, батюшка, пятьдесят рублей в сахарнице осталось. Ну, да из-за этих денег... пусть останутся матушке. А мы с тобой полетим на небо.

Раскрывает коровью шкуру, велит попу туда залезть. Залезает поп в шкуру. Мокки крепко-накрепко завязывает.

— Теперь, батюшка, полетим.

Взял да с лестницы вниз как спустит — поп только кувыркается, говорит:

— Не знаю, куда несут, в ад или в рай, но это дело бога.

Мокки его с другой лестницы и с третьей бросает, поп только господа поминает. Спускается [Мокки] и взваливает на плечи и несет попа в конюшню и бросает к теленку. Поп там бился и веревки ослабил и голову высунул из шкуры. Теленок и лизнул его:

— О, господи, смотри-ка, ангелы поздравляют! — И гладит теленка. — Ангелы-то здесь волосатые.

Встал на колени, огляделся, видит — корова:

— О, господи, и комолая наша здесь! Божье дело, он всех поднял на небо.

Встает на ноги, приходит во двор: «Смотри-ка, здесь моя рыжуха». Приходит в сени, входит в избу: «О, господи, и моя изба здесь!».

Матушка выскакивает из горницы:

— На каком ты, шальной, на небе — у себя ведь дома! Мокки тебя провел.

Потом поп сказал:

— Не дал я Мокки ста рублей заработанных денег — пришлось отдать все деньги, да еще все кости в боках он мне переломал! Пусть теперь Мокки живет себе с богом!

72. KOWHY DA BOHATTU

Eli kowhy muzikku. Hänel lastu oli äijy. Muzikku eloo soaha ei voinnuh. Häi meni bohahan loo, pakičči eloo vellakse. Sanoi:

— Toiči vellois vähäzen minä sinul roan.

Bohattu velguroadoloih niškoihhäi ei dover'ainnuh. Hänel gu olis elot däregeh andoa. Kowhāl muzikal oli vähäne eloo i oli hänel häkki. Häkki sil aigoa maksoi kolmekymen rubl'oa. Bohattu sanoi:

— Myö sinä minul häkki kabteskymmenes rubl'as da peäle minä annan vie d'awhoo. (Sid vaste häkin myödydy andaw d'awhoo, muite ei anna.)

Bohattu muzikku astuttaa häkkii, a kowhy muzikku brihaččuzen ker lähtöö ottamah d'älles. Astutah d'älles. Poigu sanoo:

— Toatto, nečen häkin myö varrastammo iäres, mikse huogehce häi meile häkin moenitti.

— Kul, poigane, hänel varrastat, gu kytkyt on hänel käis?

— Ni midä, toatto, varrastammo!

Toatalleh on hyvät kengät d'allas. Poigah sanoo:

— Toatto, heitäs kengy d'allas iäreh.

Hyö meččeä myö d'uotah i mennäh, peästäh, iele bohattoa. Brihaččune ottas lykkeä yhten kengän dorogal. Astuu bohattu muzikku, a kengeä ei ota: kunnebo menet yhten kengän ker? A toattah da brihaččune ollah bokas, meččeä: Kengy hyö otetah iäres i d'uotah muvvesah meččeä myö. Mennäh loitos dorogal, lykätäh toizen d'allas kengy. Tuloo bohattu häkin ker. Sanoo:

— Vaivane, kengeä en ottanuh, täs oleteli toine kengyl!

Häi häkin d'ättee sih, iče lähtöö tostu kengce ottamah. Brihaččuine nowzoo ylen terväh häkil selgäh i ajaa meččeä myö kodih. Toatalleh sanoo:

— Mene ota elot muzikas.

Brihaččune häkin vieldee kodih dai yhtekse aigoa puuttuu eloloi poluččimah. Kerävytäh sinne kodih, i bohattu sih tuloo. Rubia zoak-komoa sanomah: kui da mih loaduh häkki kadoi hänel. Muzikku sanoo:

— Minun täh kavota häkki kunne tah. Minul davai vai elot! Minä sinul häkin kois annoin hyvin.

Elot häi andaa hyvin muzikal. Muzikku soa eloo tukun, dai kengät jee ičelleh.

72. БЕДНЫЙ И БОГАТЫЙ

Жил бедный мужик. Детей у него было много. Хлеб у него не уродился. Он пошел к богачу просить в долг зерна. Сказал:

— В другой раз я тебе отработаю за долги.

Богач не хотел давать в долг за отработку. Ему хотелось бы тут же получить что-нибудь взамен. У бедного мужика было немного добра, и был у него бык. Бык по тому времени стоил тридцать рублей. Богач сказал:

— Продай ты мне быка за двадцать рублей, и я тебе дам еще муки. (Только за быка даст муки, иначе не даст.)

Богатый мужик ведет быка, а следом бедный мужик с мальчиком идут за мукой. Идут за богачом. Мальчик говорит:

— Отец, этого быка мы украдем, зачем он у нас быка выманил.

— Как же, сынок, у него украдешь, коли у него повод в руке?

— Ничего, отец, украдем.

У отца хорошие сапоги на ногах. Сын говорит:

— Отец, сними-ка сапог.

Они по лесу пробежали и оказались впереди богача. Парнишка взял и бросил один сапог на дорогу. Идет богатый мужик, а сапога не берет: к чему один сапог? А бедный мужик с сыном стоят в сторонке, в лесу. Когда богач прошел, они сапог взяли и бегут снова по лесу. Оказались далеко впереди богача, бросают сапог с другой ноги. Приходит богач с быком, говорит:

— Вот разиня, не взял сапог — тут второй оказался!

Он быка тут оставляет, сам идет за первым сапогом. Мальчишка быстренько вскакивает на быка и лесом едет домой. Отцу говорит:

— Иди возьми муку у мужика.

Мальчишка пригоняет быка домой и успевает обратно с отцом получать муку. Приходят туда в дом, и богач тут же подходит. Начинает рассказывать, как и где у него бык пропал. Мужик [бедный] говорит:

— По мне ты теряй быка где хочешь. Мне только давай муку. Я тебе из дому быка по-хорошему дал.

Отдает он мужику муку. Мужик получил кучу добра, и сапоги у него же остались.

73. KAKSI VELLESTY

Oli ennevahnas kaksi vellesty. Elettih, oldih. Yksi ylen äijäl hyödyi. A toine oli kewhy. Toine vähembän ruadoi, se äijän ruadoi. Oligo hänel lehmä lugemattah tahnuos, mouzet kymmene, vai libo yksitostu oli. A kewhäl vellel ni midä. Dai bohatan vellen kel se muamah lähti.

Sie eletäh, ollah, eletäh, ollah. Sie kewhy velli kävyw ainos bohatal ruadamah. Konzu min: konzugo andaw puwdaizen d'awhuo, konzugo andaw puwdaizen ruistu, ruadoloil äijä ed ota. Akan kel ruattih, lastu arteli. Nu siid häi d'ongoi, buabusku se, vahvani äijäl, kuoli, muamah. Nu sit, koneino, velle kuéthäi sih muah panomah da häi eihäi rubie sie mugaleite... Kewhembäl pidäw kai ruavot ruadua, midä sie treebuičeh: kačo, ruwhien luadijes da mi on d'o heil omua sie äijy... Nu sit kučui velliedäh, sanow:

— Tulgua tänne nygöi perehinneh, — sanow, — minulluo da elämmö täs, — sanow, — da, uberimmo muaman, — sanow. — Kolme yödy pidäw pidiä, — sanow, — muan piäl, — sanow, da.

Hänel ongo hebuo kaksi hyviä, ongo venehed, ongo verkua kaikemmostu, ongo luarilois d'awhuo kaikkie puistettuo. Dai kewhy vellez i lähti. Sie puoli yödy rodie, sanow:

— Nygöi pidäw čuaju d'uottua rahvahal.

Ylähäizet-alahaizet taloi se on. Alahan muamah maguaw sie stolal, a ylähäkse jiadih čuajuo d'uomah. Vellelleh sanow, sanow:

— Sinä, — sanow, — velli, vardoiče, — sanow, — pokoiniekkua, — sanow. — Minul muih nad'ožua ewle, — sanow, — a sinä, — sanow, — vardoiče, — sanow, — muamua nečis, — sanow. — D'ällez d'uoť, — sanow.

Häi sanow:

— Mengiä, mengiä — rahvastu on vägi tukku — mengiä, mengiä kaikin, — sanow, — sinne, minä vardoičen.

Häi sil aigua ottaw muamaizen da view aittah. Aittah luarin rinnal panow, huavoizen panow rinnal da sofaizen andaw kädeh, buitto ku d'awhuo häi sinne huavoh ammuldaw, da. Ylähämpäi, sie d'uomaspäi kaikin tullah. Häi d'ongoi uinonnuh buitto ku on, uinoi sie, nu, maguaw, krohniw, da. Tullah, händy lekahuttaw:

— Kuzbo on muamo? — sanow. — Kuzbo on muamo? — sanow. Sinä nygöi, — sanow, — maguaduit!

— Oi, — sanow, — velli, minä uinoin, prošti! — sanow. — Kunnebo nygöi häi, — sanow, — meni, — sanow, — kuolii?

— Kačo, sanoit, — sanow, — ei kuolii... Eigo, — sanow, — varrastettu kep?

— Ei varrastettu, ei, — sanow, — lövvän, — sanow, — minä hänen, — sanow. (*Iče ku vei, ga...*)

Lähtöw, huškaw, huškaw, ga aitan uksen avuaw ga:

— Kačo vai, tule vai tänne, velli, — sanow, — tiä häi on! — sanow.

— Kunnebo hänel nygöi d'awhuo pidäw? — sanow. — D'awhuo vai, — sanow, — lad'd'uaw huavohl

— Oi, — sanow, — ota iäre da tuo tänne suwreh čuppuh d'ärilleh stolal! — sanow. — Ne ota, mi on sid luaris d'awhuo, — sanow, — ammulda d'awhot, se luari kai ičelles, — sanow, — huavo libo kaksi rodineh, — sanow.

Mugai ruadaw se velleh. Lähti ihastuksiz, vai lad'd'uaw sie kaksi huavuo dai kerras kodih view dai d'o on mužikku bohattu. Tulow d'ärilleh. Op'ad' i tulow ildu, toine ildu. Sanow:

— Tol'ko yhtel'l'äh, — sanow, — tämpäi, — sanow, — ku d'uomah lähtennemmä sinne ylähäkse, — sanow, — čuajuo, — sanow, — älä, velli, sinä, — sanow, — nengaleite rua, — sanow, — uinuo, — sanow. — Ole sinä, velli, — sanow, — nygöi, — sanow, — ... päiväl pidäw muata!

Päiväl sie maguaw dai kaikkie ruadaw ga. Ildu roih, op'adii illal sih da... Dai lähtietäh čuajuo d'uomah ylähäkse sinne. Sanow:

— Nygöi sinul d'äw op'ad', — sanow, — muamo, — sanow, — ga älä, — sanow, — kačo, sinä, — sanow, — ni uinuo.

— En d'o uinuo, — sanow, — en nygöi, uni ewle, — sanow, — d'o päiväl huogavuini ga.

Lähtöw da op'ad' i muamuadah ottaw da lehmä lypsämäh tahnua panow, lehmän sie sidow, olgikierdien luadiw paččahah da. Lehmän sidow da rengin ual panow da. Akku vai sid huškaw sie, muamah, neči pokoiniekku-rukku. . . Dai häi, netuada ruadaw. . . Tullah sie d'uomaspäi, čuassu sie d'uvvah da sie vie zakusitah da možet viinua r'umkaine vie d'uvvah sie ga (*bohatas talois on midä d'uvval*). Tullah, ga häi maguaw op'ad', uiñonnuh sih kui krömpöi. Nu:

— Hoi, velli, kuzbo on pokoiniekku?

— En, raukku, tiijä! — sanow. — A-voi-voi, — sanow, — Op'ad' olen uinonnuh! — sanow.

— No yksinä ku olet, — sanow, — sid unen unetuttaw, — sanow, — uni roih, — sanow. — Vai oliz artelis, — sanow, — ga. . . no hot' toizen hengen ga. . . D'ättäzimmöhäi toizen hengen!

Dai lähtietäh. Sanow:

— Mene, velli, eči, — sanow, — nygöi midäbo, kunnebo nygöi op'ad' meni, — sanow, — häi? Ei-taki varrastettu!

— Ei d'o varrastettu, — sanow, — lövvän!

Häi menöw tahnua. Kai mul'oit sie kävel'l'äh. Sanow:

— Hoi, velli, tule vai tänne, tiä on! — sanow.

— Midäbo ruadaw? — sanow.

— Lehmiä lypsäw! — sanow.

— Midbo lehmii on? — sanow.

Parahan otti sie mul'oin. No, sanow:

— Ota iäre se mul'oi tahnua, kuni häi sie istuw! — sanow.

— Ga ezmäi pidäw, — sanow, — pokoiniekku tuuva. Lehmän on, — sanow, — kyttyöh sidonuh, — sanow, — sen lehmän.

— Ota iäre se lehmy!

Hänel d'o lehmy puutui. Dai lähti neččih sie lehmän kel sen. . . pokoiniekan pertih toi. Da lehmäizen lähti kodih ajoi, akalleh d'o on lehmy dai d'awhuo, da. Muamo maguaw čupuz vie.

— Nygöi, — sanow. . . (*D'o kolmas päivy, kačo, se tulow, tervähhäi sit proijii d'o päivy se, päivy ollah da kai*).

Sanow päiväl sie ga:

— Pidäw, — sanow, — lähtie, — sanow, — op'ad' čuaju keittiä, — sanow.

Päivy on sie, päiväl lähtietäh čuajuo d'uomah, da rahvastu vähäine on da. Sanow:

— Sinä, velli, olethäi táz?

— Olen d'o, velli, — sanow, — minä ainos. Päiväl ei kunne mene, — sanow. — D'o kunnebo päiväl nygöi menöw, — sanow. — Da, päiväl.

Hyö lähtietti sid ylähäkse, a velleh muate šuhkahtih se, ku kačo, yön käveli da sit kai da, kudai se bohattu velleh, dai akkah. Häihäi tiä vai alahan piädy kuberottaw. Päiväl rahvastu d'ediñöidy d'o, kolman-

dennu piän — ni kedä. Häi menöw parahan ubehen ottaw tahnnoos, sadulin selgäh panow, pletin kädeh, muaman sih suorittaw. A ubeh se eigo mene kunne, ni eigo midä. Pihois kävelöw sid, kuberioittaw. Da häi sid rubiew seiiniä kolottimah, sanow:

— Miehet, kuzbo on pokoiniekku? — sanow. — Minä, — sanow, — op'ad' i häi lähtettelin, kodih kävyin, — sanow. (*Midä liene dieluo olluh, kodi on palaizen peräs.*) — Tulin, — sanow, — ga eini pokoiniek-kua olel Työ, — sanow, — vai kaikin oletto, — sanow, — päiväl muate vierryh, — sanow, — a minuo yöl čakkuatto!

Se velleh da neveskäh hypättih, sanow:

— Kuzbo nygöi on? — sanow.

— Ka kuz on? — sanow. — Vikse minä tid'd'en, — sanow.

Kävelöw kai huonukset, eigo ole huonuksis. (*Kerran gu hevol sel-gäh pani gal*) Kaččow, ga vai hevol selläs. Kaččow:

— Ka mibo on? — sanow. — Kačo vai, pletti on käis, — sanow, — hebue ajaw, — sanow, no. — Pletti on vie käis!

Mužikku se sanow, velleh ga:

— Plettil — sanow, — Mene ota pletit dai hevot dai kai iäre, vai tuo pokoiniekku tähl — sanow. — Toko nygöi se, — sanow, — muah ter-väh menöwl — sanow. — Mowžet t'anildan panemmo muah, — sanow.

— Kui panet, — sanow, — kolmetta yöttä muah, — sanow. — Kaikin nagretah, — sanow, — dai toizet kupeat nagretah sinuodas, — sanow, — nagramah rubietah.

— Ka midäbo nygöi, — sanow, — vai liikulleh, — sanow. — Pokoi-niekku, kačo, kävelöw, — sanow, — tottu kävelöwl

Da ajaw mužikku kodih, hevon d'ongöi vei. Da. Nygöi mužikal rodih lehmy, dai hevod, dai kai, kačo, žiivattua. Nygöi kolmandekse yökse d'ai. Sanow:

— T'an'yön häi ni midä ei voi ruadua, — sanow, — Midäbo häi ruadaw?

A sygyzy on neče. Veneh hyvä on rannas, da. I venehen rinnal on verkua arros äijy, da. Mužikku se enne varustaw verkot veneheh da kai panow sih, mi verkostu on, laskinverkostu. Venehen varustaw dai kai. Dai op'ad' kolmandennu yön lähtietäh sinne d'uomah ylähäkse.

— Mengiä, — sanow, — nygöi kävell, käveli, — sanow, — väzyi vie, — sanow, — ei t'an'yön ni kunne lähel.

(Nu. Hyö uskottih kaikin, gor'at, prostoit ku ollah, prostoit. Häi viitzas ku on gal) Dai lähtietäh... Häi op'ad' i sen muaman istutti, venehen välläl työndi, aivot kädeh ga. Volnu sie ku lekahtah dai häi i šmutkahtah, šmutkahteleh häi sie. Sidoi muaman hyvin veneheh, vai šmutkakkah. Yl'ähän päi sie tuldih, häi op'ad' i maguaw ga. Sanow:

— Oi, — sanow, — velli, kuzbo nygöi muamo on? — sanow. — Kačo, muah emmo pannuh, nygöi kukastu kummua on! — sanow. — Kunnebo nygöi meni?

Mennäh, hevot kai tahnnoos sie, toine vie kaksi hebue d'ai hänelleh. Midäbo sit... Kävelöw, nel'oilow se velleh, kylän kaiken d'uoksen-delow sie dai. Kaikin ečitäh. Ken i dogadinnow, sanow:

— Kačo vai, nečie mibo venehie nygöi, — sanow, — d'ärvel on? — sanow.

Sanotah ga, kačotah, sanow:

— Kačo vai, meijän venehty ewle rannas! Ni verkoloi ewle rannas! Hm. . .

Sanotah:

— Nygöi, — sanow, — verkoloi laskemah lähtil Tāz olet kummua! — Vellelleh sanow, — mene, velli, tuo iäres! — sanow. — Verkot nygöi, — sanow, — anna mennäh sinne! Dai veneh ota, — sanow, — dai verkod ota! — sanow. — Vai tuo iäre, t'änpäi muah panemmo, — sanow, — huondeksel muah panemmo iäres, — sanow, — nygöi.

(*Tāmā on d'o nygöi, kačo, huondešura sie d'o on.*) Dai velleh sen ottaw dai tuow. Veneh d'o puutui dai. . . Sanow:

— Tuo iäre, oldahes, — sanow, — sie kai, verkod dai. . .

— Kaigo verkod otti? — velleh kzyyw.

— Kai on ottanuh! — sanow. — Kai vikse laskow, — sanow. — Enämbi kalua pidāw pokoiniekal.

Toi, da lähtiitih muah viemäh sidä muamuadah.

— Toko, muamo, — sanow, — vie enembän, — sanow, — sinuo pidānyzin, — sanow, — da vie pidānyzin, — sanow. — Toko äijän otit minus, — sanow.

73. ДВА БРАТА

Было в старину два брата. Жили-были. Один сильно разбогател. А второй был бедный. Второй меньше работал, этот больше работал. Было у него коров не сосчитать в хлеву, может десять либо одиннадцать было. А у бедного брата ничего. И с богатым братом мать пошла.

Живут, поживают, живут, поживают. Бедный брат все ходит к богатому на работу. Когда что: когда даст пуд муки, когда даст пуд ржи, за работу много не возьмешь. С женой работали, детей у них артель. Ну, потом эта бабушка уже состарилась, мать-то умерла. Ну, конечно, тут пригласишь брата на похороны, сам ведь не будешь там все делать. . . Бедному надо все делать, что там требуется: гляди, гроб делать да много ведь там всякой работы. . . Пригласил он брата, говорит:

— Приходите теперь сюда с семьей ко мне, поживем тут, — говорит, — да соберем мать. Три ночи надо держать, — говорит, — на земле, да.

У него и лошади-то две хорошие есть, и лодка-то, и сети разные, и в ларях муки всякой припасено! И бедный брат пошел. Полночь настала, говорит:

— Теперь надо чаем напоить людей.

Двухэтажный дом у них. Внизу мать лежит на столе, а наверху остаются чай пить. Брату говорит:

— Ты, — говорит, — брат, карауль покойницу, — говорит. — На других у меня нет надежды, а ты, — говорит, — карауль здесь мать, — говорит. — После попьешь, — говорит.

Он говорит:

— Идите, идите — народу тут порядочно собралось — идите, идите все, — говорит, — туда, я покараулю!

Он тем временем берет мать и относит в амбар. Посадил в амбаре около ларя, мешок поставил рядом и совок дал в руки, как будто она муку [в мешок] накладывает, да. Сверху, оттуда с чаепития, все приходят. Он как будто спит, заснул, ну, спит, дрыхнет, да. Приходят, тронул его:

— А где же мать? — говорит. — Где мать? Ты теперь, — говорит, — заспался!

— Ой, — говорит, — брат, я заснул, прости! — говорит. — Куда же она теперь ушла, мертвая?

— Вишь, говорил, — говорит, — мертвые не ... Не украли ли хоть? — говорит.

— Не украли, нет, — говорит, — найду, — говорит, — я ее, — говорит. (Сам отнес, так ...)

Идет, ищет, ходит, как откроет дверь в амбар:

— Гляди-ка, поди-ка, брат, сюда, — говорит, — здесь же она!

— Куда ей теперь мука нужна? — говорит. — Муку только знай, — говорит, — накладывает в мешок!

— Ой, говорит, — возьми ее да принеси сюда обратно на стол в большой угол! — говорит. — Что есть муки в этом ларе, возьми, — говорит, — выгреби муку, весь этот ларь себе, — говорит, — пусть будет мешок либо два.

Так и сделал брат. Пошел довольный, наложил там два мешка и разом домой отнес, и уже мужик богатый. Приходит обратно. Опять настает вечер, второй вечер. Говорит:

— Только теперь, — говорит, — сегодня, если пойдем чай пить наверх, — говорит, — так, брат, не делай, — говорит, — больше так, не засни. Ты уж, брат, держись, — говорит, — теперь, днем, надо спать!

Днем там спит и все делает так. Вечер настает, опять там вечером... И уходят чай пить туда наверх. Говорит:

— Опять на тебя остается, — говорит, — мать, так ты, — говорит, — смотри, не усни.

— Да не усну, — говорит, — теперь не усну, не хочу спать, — говорит, — уже днем отдохнул так!

Опять пошел и взял мать, и посадил ее в хлев корову доить. Корову привязал, соломы сноп подвязал к столбу, да. Корову привязал, подойник подложил. Старушка там сидит, мать, покойница... И он, значит... Приходят после чая, с час там пили, да еще закусили да, может, еще и вина рюмочку выпили там (в богатом доме есть что пить!). Приходят, а он спит опять, уснул, как бревно. Говорят:

— Хой, братец, а где покойник?

— Не знаю, братец! — говорит. — А-вой-вой, — говорит, — опять заспал!

— Ну, один как сидишь, — говорит, — так тут спится, — говорит, — спать хочется. Было бы с людьми, — говорит, — так хоть бы кого в товарищи. . . оставили бы тебе товарища!

И идут. Говорит:

— Иди, брат, ищи, — говорит, — что теперь: куда теперь опять ушла, — говорит, — она? Не украли бы хоть!

— Да не украли, — говорит, — найду!

Идет в хлев. Все коровушки там ходят. Говорит:

— Хой, братец, поди-ка сюда, здесь она! — говорит,

— А что делает? — говорит.

— Корову доит! — говорит.

— А что за корова? — говорит.

Лучшую взял там корову. Ну, говорит:

— Уведи эту корову из хлева, пока она там сидит! — говорит.

— Так сперва надо, — говорит, — покойника принести. Корову привязала, — говорит, — эту корову.

— Возьми прочь эту корову!

Ему уже корова досталась. И пошел с коровой. . . Покойницу в дом принес. И коровушку домой погнал, у жены уже корова есть и мука, да. Мать лежит еще в углу.

— Теперь, — говорит. . . *(Уже третий день, гляди, наступает, быстро этот день проходит, уже день были тут да все.)*

Говорит там днем:

— Надо, — говорит, — идти чай опять сварить, — говорит.

Еще день. Днем идут чай пить, народу тут немного есть. Говорит:

— Ты, брат, будешь ведь тут?

— Буду, брат, — говорит, — я все время. Днем никуда не уйдет, — говорит. — Куда теперь днем пойдет? — говорит. — Да, днем.

Отправились чай пить наверх. А брат лег спать, вишь, ночь ходили да все так, этот богатый брат и жена его. А он там внизу свое дело делает. Днем народу уже никого, на третий день — ни одного. Он идет и берет лучшего жеребца из конюшни, седло кладет на спину, плетку в руки, мать снаряжает. А жеребец тот не уходит никуда, и ничего. Во дворе ходит тут, копошится. И он давай в стену стучать, говорит:

— Мужики, где же покойница? — говорит. — Я опять выходил, домой сходил, — говорит. *(Какое-то дело было, дом почти рядом.)* — Прихожу, — говорит, — так и покойницы нет! Вы, — говорит, — все днем спать легли, — говорит, — а меня ночью ругаете!

Этот брат и невестка вскочили, говорят:

— Где она теперь? — говорит.

— Так где? — говорит. — Разве я знаю, — говорит.

Прошел все постройки, нет ли где. *(На коня раз посадил так!)* Смотрит, так на коне верхом.

— Так что это? — говорит. — Гляди-ка, плетка в руке, коня подгоняет, — говорит. — Плеть в руке!

Мужик этот говорит, брат:

— Плетка! — говорит. — Иди возьми и плеть, и коня, и все, только принеси покойника сюда! — говорит. — Теперь-то она в земле скоро будет! Может, сегодня вечером положим в землю, — говорит.

— Как положишь, — говорит, — три ночи надо держать, — говорит. — Все засмеют, и другие купцы будут смеяться над тобой, — говорит, — засмеют.

— Так что же теперь, — говорит, — раз ходит. Покойник, гляди, ходит, — говорит, — вправду ходит!

И едет мужик домой, уже коня пригнал. Да. Теперь у мужика есть корова, и лошадь, и вся, смотри, скотина. Теперь на третью ночь оотается. Говорит:

— В эту ночь она ничего не сможет сделать, — говорит. — Что она сделает?

А это уже осень. Лодка хорошая на берегу, да. И около лодки под навесом много сетей, да. Мужик этот заранее приготовил сети, в лодку все положил, сколько сетей было. Лодку приготовил да все. И опять в третью ночь идут туда наверх чай пить.

— Идите, — говорит, — все ходила, ходила, устала уже, — говорит, — в эту ночь никуда не пойдет!

(Ну. Они поверили, все, бедняжки, проставаты как были, простые. Он как хитрый так!) И ушли... Он опять эту мать и посадил, лодку столкнул, весла в руки. Волна там как хлестнет, так она и качнется, и качнется там она [покойница]. Привязал мать хорошо к лодке, пусть покачивается. Сверху прикодят, он опять и спит. Говорит:

— Ой, — говорит, — брат, где же теперь мать? Вишь, не похоронили, теперь чудеса такие! — говорит. — Куда теперь ушла?

Идут, лошади все в конюшни, еще две лошади у него осталось. Что теперь... Ходит, носится тот брат, всю деревню обегал там. Все ищут. Кто-то и заметил, говорит:

— Смотрите-ка, что за лодка, — говорит, — там на озере?

Говорят, смотрят, говорит:

— Гляди-ка, нашей лодки нет на берегу! И сетей нет на месте. Хи...

Говорят:

— Теперь, — говорит, — сети ставить пошла. Вот так чудо! — Брату говорит. — Иди, брат, приведи обратно! — говорит. — Сети теперь, — говорит, — пусть пропадают! И лодку бери, — говорит, — и сети возьми! Только приведи обратно, сегодня похороним, — говорит, — утром похороним теперь.

(*Это уже, видишь, теперь утро.*) И брат берет ее и приводит.
И лодка уже досталась... Говорит:

— Приведи обратно, — говорит, — пусть все там будет, и сети и...

— Все ли сети взяла? — брат спрашивает.

— Все взяла! — говорит. — Все, видно, хотела поставить.
Больше рыбы надо покойнице.

Привел, и пошли хоронить эту мать.

— Вот, мама, — говорит, — еще дольше держал бы тебя, — говорит, — да еще бы держал, — говорит. — Только много ты взяла от меня!

74. ŠUWTKU GRIIŠSU

Oli ennen brihal yhtel nimi Griišsu. Ylen oli häi šuwtku da kielas. Häi lähti toizeh kyläh ruaduo tiijustamah. Puwtuttih hyö papin kel yhteh. Pappi sanow Griišale:

— Viego midä šuwttie voit, Griišsu poigu?

A Griišsu sanow:

— En voi šuwttie, šuwtkuhuavoizen kodih jättiin.

Pappi sanow:

— Mene tuo huavoine.

Griišsu lähtöw tuomah huavoistu. Griišsu sanow:

— Buat'uška, anna minul šarfua kaglate, eiga vilu on.

Griišsu lähtöw, menöw papin kodih, sanow papad'd'ale:

— Pappi käski koin riiččie, štobi ku papin tulemal kodi olis riičitty, täs andoi, ku et uskone, šarfan primietäkse.

Papad'd'u sanow:

— Ollowgo uravunnuh, vai midä buat'uška, ku käšköw nengoman koin riiččie.

Papad'd'u keräw rahvastu kyläs, ostaw viinua rahvahale, štobi teriämbi riičitäs. Rahvas ruvettih šingomah kodii, ehtässäh šingottih kodi. Kai alusparret kiänettih. Kodih tuli pappi ehtäl, kodi riičitty, rahvas humalas. Pappi sanoi akalleh:

— Hyvin olet uravunnuh, ku koin riičitiit.

— Ičehäi käskiit, buat'uška, riiččie, Griišsua myö viestin työniit, vie annoit ruskien šarfan primietäkse.

Pappi sanow:

— Vod on možel'niekku, min kummie on kuvannuh, nygy, — sanow, — lähten tapan Griišan, mittuman pillän luadii.

Griišsu kois huondeksel päčän lämmitti, duwmaiččow: «Nygy tulow pappi čakkuamah minuw». Keitti häi padaizen kartohkua, kaččow, pappi tulow. Sen pani padaizen senčoi pordahielluo kiehumah. Pappi dogadii, što paččahan piäs padaime kiehuw, vai čupettaw. Pappi sanow Griišale:

— Myö padaine minule!
A Griiŝšu sanow papile:
— En, buat'uška, padastu myö, milbo minä iče keitän, eigo ole halguo, eigo midä. Hebo-kulu paha on, en voi tuvva halguo.

Pappi sanow Griiŝsale:
— Myö padaine, ole moine hyvä.
— No jälgimäi buat'uskan kawppah voin požualui i myvvä suas rubl'as padaizen.

Pappi andoi sada rubl'ua padaizes, tuli kodih, akalleh sanow:
— Kačos, padaizen ostiin, ičekiehujan, suas rubl'as Griiŝal.
Papad'd'u ihasui:

— Vot hyvä rodiew padainel
Yö muattih pappi da papad'd'u, huondeksel nostih. Pappi sanow papad'd'ale:

— Panes lihua tulele.
Pilkoi papad'd'u lihua, pani vetty padah da lihat, suatoj pordahien piäh kiehumah. Iče tuli pertih, ruvetiäh čuajuo juomah. Jubdih hyö čuaju, pappi sanoi papad'd'ale:

— Menes kačo, eigo mene padaine muah.
Papad'd'u meni kaččomah padastu, puoleh padassah on d'ia kylmänyh. Tuli papad'd'u kodih, davai itkemäh:
— Kačo, puoleh padah sua on diä kylmänyh.

Pappi sanow:
— Vod on mošel'niekku, op'at' muanitti. Lähten nygoi tapan Griiŝan, ei karu ni kedä enämbiä muanita.

A Griiŝšu kois duwmaiččow, što «Nygy pappi tulow tappamah libo čakkuamah». Oli Griiŝal ylen paha hebo, häi nowzi hevol selgäh, liččai hevole perzieh hobjua kobran, lähti ajamah papile vastah. Vastavuttih hyö papin kele, hebo otti da šitui hobjua, pappi dogadii:

— Kačo vai, Griiŝšu, hebo šitui hobjua!
Griiŝšu sanow:
— Šitui, ga šitukkah, ainos šittuw hobjua, eihäi enzimäine kerdu ole!
Pappi sanow Griiŝsale:

— Myö sinä neče hebo.
— En, buat'uška, myö hebuo, milbo sit minä elän hevon myödyw. Muijal en voi eluo ni kus suaha.

Pappi sanow:
— Griiŝšu-poigu, myö sinä hebo, ota mi tahto!
— Jälgimäin buat'uskan kauppah voin myvvä, ku andanet viizi sadua. A ku, buat'uška, tädä hebuo oliiz hyvin syöttiä, rubieš šittumah ei vai hobjua, a kuldua.

Pappi ostaw hevon Griiŝal viijes suas. Tulow pappi kodih papad'd'alluo, sanow papad'd'ale:

— Kačos, Griiŝal hevon ostiin, hebo šittuw hobjua.
Papad'd'u ihasui:
— Hyvin luait, buat'uška, kun ostiit hevon, hoz Griiŝšu meidy muanitteli, ga nygöi myö händy muanitammo.

Pani papi hevön kon'ušših, ehtäl andoi ruistu huavon soimeh, anna šittuw kuldua, ku parembua syönnöw. Menöw pappi huondeksel hevöl-
luo, ga rubiew avuamah kon'ušin ustu, ga ei kon'ušin uksi avavu. Pappi
sanow:

— Kačo, vikse, tävven kon'ušin kuldua on šittunuh.

Meni, keräi rahvastu kyläs kon'ušin ustu avuamah da hob'jii ker-
ämäh. Mendih avattihr rahvas kon'ušin uksi, ga hebo töl'l'önnyh uksen
edeh kon'uših. Pappi mattii Griišale: «Op'at' muanitti mošel'niekku!
Kaiken minun rozorii! Nygöi pidäw Griišsu tappua libo hävittiä!».

Griišsu duwmaiččow kois: «Nygöi pappi tulow tappamah». Suorii
Griišsu neidizien sobih, istuihez kezriämäh. Tulow pappi Griišalluo,
kaččow — neidine kezriäw. Pappi kyzzyw neidizel:

— Kunnebo Griišsu meni?

— Griišsu lähti burlakakse, minun jätti kodih leivättäh. Onnuako
pidäw kuolta, — i zavodii itkie.

Pappi sanow:

— Moine on se mošel'niekku, minun kaiken muanitteli, a iče pageni
mene tie kunna. Händy nygöi et lövvä.

Pappi sanow neidizel:

— Tule minul kuharkakse.

Neidine sanow:

— Ku ottaziit, buat'uška, da jo tuliziin, kačo.

— Äijygo palkua pidäw vuvves?

— Ei pie ni midä, buat'uška, pie vai, syötä da sovita minuw, Griišsu
veikoh ei ole nad'owžua minul.

Nu pappi palkai kuharkakse sen neidizen i tuli kodih akan luo
i sanow akale:

— Griišsu mošel'niekku on pajennuh iäre kois, neičykän yksinäh
on jättänyh n'älgäh. Händy otiin žiälevyty kuharkakse.

Papad'd'u sanow:

— Otiid ga, anna on.

Pappi sanow:

— Muwdu palkua ei ni pie, voinnemmo luadie sobua piäle.

Häin sit oli vuvven papil kuharkannu. Sobua luadii vähäizen pappi
da kengät jalgah. Vuvven peräs tuldih sih neidizeh (Griiššah) sulhaizet.
Tuldih sulhaizet, pappi priimii, syötti, juotti pappi. Pappi kyzyi nei-
dizel sil:

— Irin'n'u tytär, tahtodgo miehel mennä, ongo vaččua myöte ženihy?

Irin'n'u sanow:

— Pidäs oppie mennä, igiä ei sua neijistiä, aiven kuharkoija nado-
jeiččow, možet miehele mendyw rubiew ukko syöttämäh.

Hyö luajittih svuad'bo. Piettih sit svuad'bo hyö, pandih aittah
muata molodoit. Mendih muata aittah, ruvetah muata. Neidine sanow:

— Työnä minuw kuzele.

Lähtöw kuzele, menöw omah kodih, selgiew mužikan sobih, Griišan.
Huondeksel menöw Griišsu papilluo, sanow:

— Tiijustin minä, što sizär miehele menöw, vot i tuliin svuad'bah.

A Griiŝšu ottaw yön aijal astuw lähtieh i niilöi jälgilöi myö tulow järilleh myöstyen. Pappil kyzaw:

— Jogo sit sizär nowzi maguamaa?

Pappi sanow:

— Ei vie nostu, aitas moledoit muatah. Pidaw lähtie nostattua čuajuw juomah.

Meni pappi nostattamah, ga yksinäh ženihy maguaw. Zenihäl kyzttih:

— Kuzbo on mučois?

Zenihy sanot, što: «Lähti mučoi yöl i tulluh ei». Pappi tulow pertih pačkoiindelehez: «Vot kačo kummua, ku yöl on Irin'u pajennuh», a Griiŝšu sanow:

— Löydyw, talven aigu on, jälgilöi myö lövvämmö.

Mendih pihale, kačotah, ga jället on lähtieh mendy, a tulendužalgie ei nävy. Griiŝšu sanow:

— Kačo vai, vedeh on mennyh! Edgo, bua'uska, sinä vägeh neičykkä miehel andanuh? Mišo sinul rodihet! Lääs työndäžit iäre, vai vägeh ei olis midä andua. Nygy puwtuit, bua'uska, lähten uradnikel diävin!

A pappi sanow:

— Griiŝšu-rukku, älä jo virka ni kelle ni midä, ota mi tahto eluo.

Griiŝšu sanow pappil:

— Andanet ubehen da vižisadua zolotoidu, sit en ni midä virka.

Pappi andoi Griiŝšale ubehen da vižisadua zolotoidu. Griiŝšu meni kodih, nai da bohatui ylen äijäl, a pappi-rukku kōwhityi da kuoli. Sidhäi nygöi ni ole pappiloi ei.

74. ШУТ-ГРИША

Был когда-то один парень по имени Гриша. Такой был шутник и обманщик. Пошел он в другую деревню работу искать. Повстречались они с попом. Поп говорит Грише:

— Подшутить сможешь ли, парень Гриша?

А Гриша говорит:

— Не могу подшутить, мешочек с шутками дома оставил.

Поп говорит:

— Поди сходи за мешочком.

Гриша отправляется за мешочком. Говорит:

— Батюшка, дай мне твой шарф на шею, холодно.

Гриша уходит, идет в дом пона, говорит попадье:

— Поп велел дом разобрать, чтобы к его приходу дом был разобран — видишь, дал мне шарф в доказательство, если не веришь.

Попадья говорит:

— С ума спятил батюшка или что — такой дом велел разобрать.

Попадья созывает народ из деревни, покупает вина для людей, чтобы поскорее разобрали. Стал народ разбирать дом, до

вечера весь разбросали. Даже нижний венец разворотили. Пришел поп вечером домой — дом разобран, народ пьяный. Поп говорит жене:

— Верно, с ума сошла — дом велела разобрать.

— Сам же и велел, батюшка, разобрать, через Гришу передал, еще красный шарф дал в доказательство.

Поп говорит:

— Вот мошенник, каких чудес натворил. Теперь, — говорит, — пойду убью Гришу, такой урон сделал.

Гриша утром дома печь затопил, думает: «Теперь поп придет меня ругать». Сварил он котелок картошки, смотрит — поп идет. Поставил тот котелок в сенях у ступеней. Поп видит, что на столе котелок кипит, так и булькает. Поп говорит Грише:

— Продай мне котелок.

А Гриша говорит попу:

— Не продам, батюшка, котелок, чем же я сам варить буду, нет ни дров, ничего. Коняга еле жив, не могу дров привезти.

Поп говорит Грише:

— Продай котелок, будь добр.

— Ну, батюшке, пожалуй, можно продать за сто рублей котелок.

Поп дал сто рублей за котелок, пришел домой, жене говорит:

— Смотри-ка, котелок купил, сам варит, за сто рублей у Гриши.

Попадья обрадовалась:

— Вот хороший будет котелок!

Переспали ночь поп и попадья, утром встали. Поп говорит попадье:

— Поставь-ка мясо вариться.

Нарезала попадья мяса, налила воды в котелок, положила мясо, отнесла на ступеньки вариться. Сама вернулась в избу, стали чай пить. Попили чаю, поп говорит попадье:

— Иди посмотри, не кипит ли через край.

Попадья пошла посмотреть — в котелке лед. Попадья вернулась, давай плакать:

— Смотри, до половины котелок обледенел.

Поп говорит:

— Вот ведь мошенник, опять обманул. Пойду теперь убью Гришу, больше, черт, никого не обманет.

А Гриша дома думает, что «Теперь поп придет или убивать, или ругать». Была у Гриши худая кляча, он сел на нее, затолкал под хвост горсть серебра, поехал навстречу попу. Встретились они с попом, лошадь взяла да н. серебра, поп увидел:

— Смотри-ка, Гриша, лошадь серебра н.

Гриша говорит:

— Н., так пускай, все серебром с. . . ., не первый же раз.

Поп говорит Грише:

— Продай ты эту лошадь.
— Нет, батюшка, не продам лошадь, чем же я жить буду, если лошадь продам. Нечем больше пропитание добывать.

Поп говорит:

— Гриша, сынок, продай лошадь, возьми что хочешь.
— Придется уж батюшке уступить, если дашь пятьсот рублей. А если бы, батюшка, эту лошадь хорошо кормить, то стала бы не только серебром, а золотом с....

Поп покупает у Гриши лошадь за пятьсот. Приходит поп домой к попадье, говорит ей:

— Смотри-ка, у Гриши лошадь купил, лошадь серебром с....

Попадья обрадовалась:

— Хорошо сделал, батюшка, что купил лошадь. Хоть Гриша нас и обманывал, а теперь мы его обманули.

Поставил поп лошадь в конюшню, вечером мешок ржи высыпал в ясли — пусть золота и....., как хорошо поест. Идет поп утром к лошади, толкает дверь конюшни, а дверь не открывается. Поп говорит:

— Смотри-ка, видно полную конюшню золота и.....

Пошел, собрал из деревни людей дверь конюшни открывать да серебро собирать. Пришли люди, открыли дверь — а лошадь перед дверью конюшни лежит, сдохла. Поп Гришу матом кроет: «Опять обманул, мошенник! Совсем меня разорит. Теперь надо Гришу убить или иначе погубить!».

Гриша дома думает: «Теперь поп придет убивать». Переодевается Гриша девушкой, сел прясть. Приходит поп к Грише, смотрит — девушка прядет. Поп спрашивает у девушки:

— Куда Гриша ушел?

— Гриша ушел на заработки, меня оставил дома без хлеба. Видно, умирать придется, — и начинает плакать.

Поп говорит:

— Такой мошенник, меня кругом обманул, а сам сбежал, поди знай, куда. Его теперь не найдешь.

Поп говорит «девушке»:

— Иди ко мне в кухарки.

«Девушка» говорит:

— Если бы взял, батюшка, так пошла бы.

— Много ли платить тебе за год?

— Ничего не надо, батюшка, только корми и одевай меня. На брата Гришу нет у меня надежды.

Ну, поп нанял кухаркой эту «девушку», пришел домой и говорит жене:

— Гриша мошенник сбежал из дому, девку одну оставил голодную. Из жалости взял ее в кухарки.

Попадья говорит:

— Взял, так пусть живет.

Поп говорит:

— Иной платы и не надо, только одежду если справим ей.

Он [Гриша] пробыл год у попа в кухарках. Немного одежды справил поп и обутки на ноги. Через год посватались к этой «девушке» женихи. Приехали женихи, поп принял — накормил, напоил поп. Поп спрашивает у «девушки» той:

— Дочь Иринья, хочешь ли замуж выйти, по душе ли жених? «Иринья» говорит:

— Надо, пожалуй, попробовать, век нельзя в девках ходить и в кухарках жить надоест. Может, замуж выйду, так муж будет кормить.

Устроили они свадьбу. Сыграли свадьбу, уложили молодых в холодной избе. Пошли спать в холодную избу, легли спать. «Невеста» говорит:

— Пусти меня п.

Пошла п., идет к себе домой, надевает мужскую одежду, Гришину. Утром идет Гриша к попу, говорит:

— Узнал я, что сестра замуж выходит, вот и пришел на свадьбу.

А Гриша ночью прошел до родника и по тем же следам вернулся задом наперед. Спрашивает у попа:

— Уже ли встала сестра?

Поп говорит:

— Не вставали еще, в холодной избе молодые спят. Надо пойти разбудить к чаю.

Пошел поп будить, а жених один спит. Спрашивают у жениха:

— Где же твоя молодка?

Жених говорит, что «молодка ночью пошла п. и не вернулась». Поп приходит в избу, вот так чудо — Иринья ночью сбежала, а Гриша говорит:

— Найдется, ведь сейчас зима, по следам найдем.

Пошли во двор, смотрят — следы ведут к роднику, а обратно следов не видно.

Гриша говорит:

— Смотри-ка, утопилась, верно! Не силой ли, батюшка, замуж девушку выдал? С тебя станет! Лучше бы отпустил, чем силой отдавать. Попался, теперь, батюшка, пойду уряднику заявлю!

А поп говорит:

— Гриша, голубчик, не говори уж никому, возьми добра, сколько хочешь.

Гриша говорит попу:

— Если дашь жеребца и пятьсот золотом, тогда уж не скажу.

Поп дал Грише жеребца и пятьсот золотом. Гриша вернулся домой, женился и сильно разбогател, а бедняга поп обеднел и умер. Поэтому нынче и попов нет.

75. HIITROI SALDATTU

Tuli saldattu pitkäs matkas päi hiaruh. Tuli hiaruh, pagiži muži-kanke, yäkse tariččiheze:

— Ga, — sanow, — voit muata, voit.

— Nečis, — sanow, — susjadas kedäbo on?

Sit, — sanow, — on emändy da izändy, ga ylen ollah skuwpat, — sanow, — ei laskiata hyä ni konzu ni kedä.

— A vuata minä opin, — sanow, — lähtiä.

— A jesli ei laskiatanne, ga sit tule, — sanow, — järilleh meile.

Menöw — mužikku pihal halguaw halgua.

— Izändy, laske, pitkäs matkas tulen ga, minuw yäkse.

— Emmo jo myä rakkahat ole ni kui laskemah, — sanow.

— Passibo, izändy-rukku, passibo! (Häi heittiiheze kuwrehekse.)

Tuli pertih.

— Izändy minuw laske yäksel

— Emmo jo myä rakkahat ole ni kui yäkse ga...

— Passibo, emändy-rukku, passibo!

Dai istuheze lawččah. Jaksoiheze, — pani sumkažen lawčale. Tulow izändy pertih.

— Ga mikse sinä laskiit?

— Ga en minä laskenih. Ga naverno eigo kuwriž ole?

— Myä istumokseh, rubiammo syämäh ga, — emändy i sanow izändäle, — älä pagiže ni midä, emmo händy kāske syämäh.

Istuw saldattu lawčal, kaččow; heijän ruvettih syämäh, ei virketä ni midä. Izändy istui, istui, da ei ni tirpanuh:

— Pitkälgo matkal tulet?

— Passibo, passibo!

Istuheze syämäh: otti luzikan, söi tilažen.

Istuheze.

— Sanoin, — akka sanow, — istua vaikkani!

Mužikku i sanow:

— Minä, — sanow, — huandeksel lähten aijoi meččäh, sinä pasta blinat.

Saldattu maguaw, kai kuwndelow häi. Dai pastoi [akku] blinat, dai juadih čuaju, dai lähti. Akku rublaw dostaliloi loppemah. Mužikku lähtijes sanoi:

— Pakiže yäsijas dengat.

Nowzi saldattu, rubei selgiämäh da lähtemäh.

— Passibo, emändy-rukku, passibo!

— Dengat, kačo, pidäw! — olgupiäs lekaškoitti.

— A, blinua syvvä? Seičas!

Istuiheze, blinua söt dai myästin kurti, kuni akka dostaliloi blinoi pastoi. Dai myäs akku tartuw:

— Dengat, kačo, yäsijas pidäw!

— Ah, blinat ottua?

Saldattu blinat keräi da — sumkažeh.

— Passibo, passibo, t'outa-rukku, passibo!
 Dai lähtöw iäres.
 Tulow mužikku mečäs päi, tulow mečäs päi:
 — Nu midäbo, emändy, pakičiidgo dengat?
 — Ga midä pakičiin dengat! Blinat söi kai dai viä dostalit keräl
 otti. Nengoštu yäniakkua laske älä enäm ni konzul!

75. ХИТРЫЙ СОЛДАТ

Шел солдат издалека, пришел в одну деревню. Пришел в деревню, поговорил с мужиком, на ночь попросился.

— Да, — говорит, — можешь переспать, можешь.
 — Тут, — говорит, — по соседству, кто живет?
 — Там, — говорит, — хозяйка да хозяин, очень скупые, — говорит, — никогда они никого не пускают.

— Погоди-ка, я попробую, — говорит, — пойти.

Приходит, мужик на дворе дрова колет.

— Хозяин, пусти, издалека иду, переночевать.

— Да уж мы никак не любим пускать, — говорит.

— Спасибо, добрый хозяин, спасибо! (Глухим притворился.)

Заходит в избу.

— Хозяин меня пустил на ночь.

— А уж не любим мы пускать, да...

— Спасибо, хозяйюшка, спасибо.

И сел на лавку. Разделся, положил сумку на лавку. Приходит хозяйка в избу.

— Зачем же ты пустила?

— Да не пускала я, да, наверно, он глухой.

— Как сядем есть, так, — хозяйка и говорит хозяину, — не говори ничего. Не позовем его есть.

Сидит солдат на лавке, смотрит: хозяева стали есть, не говорят ничего. Хозяин сидел, сидел да и не вытерпел:

— Издалека ли идешь?

— Спасибо, спасибо.

Сел за стол. Взял ложку, поужинал.

— Спасибо, спасибо.

Опять садится.

— Говорила, — говорит жена, — чтобы сидел молча.

Мужик и говорит:

— Я, — говорит, — поеду рано утром в лес, ты напеки блинов.

Солдат спит. Он все слышит. Напекла блинов, попили чаю и пошел [хозяин]. Жена допекает остатки. Мужик уходя сказал:

— Попроси за ночлег деньги.

Встал солдат, начал собираться в путь:

— Спасибо, хозяйюшка, спасибо.

— За ночлег, смотри, заплати, — потрясла за плечо.

— А, блинов покушать? Сейчас!

Сел, блинов поел и опять курит, пока хозяйка остальные блины печет. И опять баба начала:

— Деньги, смотри, за ночлег надо.

— Ах, блины взять?

Солдат собрал блины — и все в сумку.

— Спасибо, спасибо, тетушка, спасибо.

И ушел.

Приходит мужик из лесу, приходит из лесу:

— Ну, что, хозяйка, спросила ли деньги?

— Да что, спросила деньги, блины все съел да еще остальные с собой забрал. Такого ночлежника больше никогда не пускай.

76

Elettiñ oldih mužikke i akke. Akke ukole sanow:

— Mähiižit tänäpäi nagrište kyndämäh.

Mužikke sanow:

— Voib lähtäi.

Mänöw nagrišpalole. Val'astaw hebon adrah. A heboh tarttuw puarmat, čakkat. Mužikke išköw puarmuoit i čakuoit, i kieran išköw, seiččei puarmat pakkuw i kuussadat čakkat. Mužikke sanow:

— Nygy minä olen bohatteri. Kieran viipaindal, — sanow, — tapuoin kuussadat saldattat i seiččei bohatterit. Nygy minä en rubei nagrište kyndämäh, lähten parembi vojuimah kons ku nečen vastah väget-suittui.

Tulow mužikke kodih, eigo syö, eigo d'uo. Ainos duwmaiw voinat. Akale sanow:

— Anda sinä minule pala paltinat.

I ottaw mužikke paltinan i hiilel kir'd'uttaw: «Minä Fanafan Fano-
vič yhtel viipaindal tapuoin seiččei bohatterit i kuussadat saldattat». Nowzow hebole selgäh i tupičan panow vyön alle i lähtöw saarilloh ajamah. Ajaw dorogat myöte, tulow kaksi bohatterit vastah. Kačotah hänen ryndähih, što häin yhtel viipaindal tapuoi seiččei bohatterit i kuussadat saldattat. Loiton sua kirguw:

— Älägät ajagat lähikse, ettego näge: mua ei kanda, što d'algat muas ribištah.

A ičel hebon hubutte d'algat muas ribišti. Toižet pölgästytti, hebot kiättih i lähtedih edel ajamah. Ajetti kolmei, sigä vastavuw bohatteri i sille kirgutah toižet bohatterit:

— Kiändä huolita hebo iäre, eikä kaikin myö mänemme!

A se vastaži:

— Mikse?

— Edgo näge, ken ajaw d'algeh? Mua ei kanda.

Hebot ajetah kaikin nel' saarilluo. Sidä Fanafan Fanoviččaa saari kuččuw lično kävymäh. Häin mänöw saarilluo i sanow:

— Midä kučuit, miloslivoi gosudar'?

— Vot kučuin minä sinut sidä perin. Ningomaižel peldol rodiihe meile voine i rubedaw siit čuras piäin tulemah bohatteri i meiden puoles pidäw olda bohatteri. Kudai čura voittanow, ob'azatel'no pidäw tuoda piä saarille.

Häin tulow pihale i saari d'älgeh. I diäviw kaikile bohatteriloile:

— Vot ninga i ninga, teile pidäw mändä tänäpäi peldole kudamal tahto. I jesli voinow voittai, piä tuoda minule.

Fanafan Fanovič raspor'adiiheze i työndäw kaikis tyhjymmän bohatterin. Se mänöw peldole i voittaw sigäläižen bohatterin i piän leikkadaw i tuow sen saarile. I mugaže toižet kaksi bohatterit toižiden päividen voitettih i piät tuodih saarile. D'o dielo kasniiheze Fanafan Fanoviččah. Lopun päivän d'o pidi mändä hänele. Ajaw häin peldole. Toižiile bohatteriloile oli sabl'at, a hänel kirves tupičče. Ajaw peldole, kaččow — sigä piäi tulov bohatteri, daže strašno on kaččoda. Häin ottaw — muul ni mil ei ole silmit kattada, ottaw kaftanan polal silmät kattaw, što avuoin silmin on strašno mändä. Sigäläine bohatteri kaččow i sanow:

— Kačo väget suittaw, pidäw hot' minule silmät kattai, eikä avuoin silmin on strašno kuolta.

Otti i rubeži paikal silmit sidomah, sil aigat nagrehen kyndäi mužikke mäni da piän leikkaži sil bohatteril. Piät opii ottai keral, no ei voinut nostai. Ei ottanut vägi. Ajoi saarilloh, häin prižmiw:

— Mikse et tuonu piät?

A häin vastaži:

— Saari, ei maksa tyhjät maraita kázat.

Siit saari työnsi ravedimman bohatterin piät tuomah. Siit bohatteri mäni i piän tuoi. Siit saari anduai heile suuren nagradan, anduai. Siit otti i häin d'agu, puolet otti piäl piäin, a toižet puolet d'aguoi n'el'l'äh vuittih. A siid hyö erottih ken kunnegi. Saari nagrehen kyndäjäle azui suwren kivizen kodin, kuni häin sigä ajeli. Konze kodin tuli, ka akke i itköw pordahiden piäs:

— KävELIT, a nagriš diäi kyndämättä. Kačo, nygöi meiden kodi riičittih, azuttih uwzi kodi. Mäne nygöi elämäh, neče kai sinun kävelys azui.

Sih sanah tuli volosnoi staršin:

— Fanafan Fanovič, tämä kodi sinun.

A nygöi se mužikke, nagrehen kyndäi, eläw siit kodis.

76. [ФОМА БЕРЕННИКОВ]

Жили-были муж и жена. Жена говорит мужу:

— Пошел бы ты сегодня поле под репу пахать.

Мужик говорит:

— Можно пойти.

Идет на пожогу. Запрягает лошадь в соху. А на лошадь налетели слепни, комары. Мужик бьет слепней и комаров, от одного удара упало семь слепней и шестьсот комаров. Мужик говорит:

— Теперь я богатырь. Одним махом, — говорит, — убил шестьсот солдат и семь богатырей. Теперь я не буду поле под репу пахать, пойду лучше воевать, раз так много силы у меня появилось.

Приходит мужик домой, и не ест и не пьет. Все про войну думает. Говорит жене:

— Дай ты мне кусок полотна.

Берет мужик полотно и пишет углем: «Я, Фанафан Фанович, одним махом убил семь богатырей и шестьсот солдат». Садится на коня, тупой топор засунул за пояс и отправляется к царю. Едет по дороге, встречаются два богатыря. Смотрят на его грудь [где написано], что он одним махом убил семь богатырей и шестьсот солдат. Издалека кричит:

— Не подъезжайте близко, разве не видите, что земля меня не держит — ноги по земле волокутся.

А у самого ноги по земле волокутся потому, что лошадь у него худая и маленькая. Те испугались, повернули коней и поехали обратно впереди него. Ехали втроем, потом встречается там богатырь, и ему кричат те два богатыря:

— Поворачивай скорей коня обратно, не то все пропадем!

А тот ответил:

— Почему?

— Разве не видишь, кто за нами едет? Земля его не держит.

Едут все четверо к царю. Этого Фанафана Фановича царь приглашает лично зайти. Он приходит к царю и говорит:

— Зачем звал, милостивый государь?

— Вот зачем я тебя звал. На таком-то поле будет у нас война, и придет с той стороны богатырь, и с нашей стороны должен быть богатырь. Которая сторона победит — обязательно надо принести голову царю.

Он выходит на улицу, и царь за ним. И объявляет царь всем богатырям:

— Вот так и так, кому-нибудь из вас надо сегодня выйти на поле боя. Если сумеете победить, то голову принести мне.

Фанафан Фанович распорядился и посылает самого слабого богатыря. Тот выходит в поле и побеждает богатыря с той стороны, голову отрывает и приносит царю. И другие богатыри также в другие дни победили и головы принесли царю. Уже дело дошло до Фанафана Фановича. В последний день надо было идти ему. Выезжает он в поле. У других богатырей были сабли, а у него тупой топор. Приехал в поле, смотрит: с той стороны едет богатырь, даже страшно смотреть. Он полой кафтана закрывает лицо — больше нечем было лицо закрыть — страшно с открытыми глазами ехать. Богатырь вражеский смотрит и говорит:

— Смотри-ка, сил набирается, надо и мне лицо закрыть, а то с открытыми глазами страшно умирать.

Стал платком глаза завязывать, тем временем мужик-пахарь подъехал и голову того богатыря отрубил. Хотел взять голову с собой, но не мог даже поднять. Не хватило силы. Приехал к царю с пустыми руками. Когда приехал к царю, тот стал требовать:

— Почему голову не привез?

А он ответил:

— Царь, не стоит зря руки пачкать.

Потом царь послал самого сильного богатыря за головой. Богатырь пошел и принес голову. Потом царь дал им большую награду. Он [Фанафан Фанович] взялся делить: сперва взял себе половину, а вторую половину разделил на четыре части. Потом они разошлись кто куда. Царь для пахаря велел выстроить большой каменный дом, пока тот по свету разъезжал. Когда вернулся домой, жена сидит на ступеньках крыльца и плачет:

— Ты разгуливал, а репное поле невспаханным осталось. Смотри, теперь наш дом снесли, выстроили новый дом [для кого-то]. Иди теперь поживи — это все из-за твоего разгуливания.

При этих словах пришел волостной старшина:

— Фанафан Фанович, этот дом твой.

И теперь уже этот мужик-пахарь живет в том доме.

Oli ennen ukko da akku, vanhat, köyhäzet oldih. Hyö duumaijah: «Ei ole mil leibypalastu saaha, vod olis ruveta tieduimahl». Hyö yön aigah uveh peitetäh. Taloin izändy eččii uvehku: «Kunne liene uveh saanuh?». Sanoo:

— Minä opin tieduijal

— Voizid gu, minä hyvän palkan maksazin!

Ottaa kerää haavoh kottaa da nogikegälehty, lähtöö dorogoi myö eččimäh — roonu gu pidäs tääpäi olla! Dai lähtöy ielleh. Meni — ga kohti hebohl! Hevon izändy duumaiččoo: «Vai tämä on tiedoiniekkul!». Ottaa da andaa d'engaa, d'auhoo, äijän eloo, dai hyö akkazen ker päästih elämäh; «Kačo, gu duuman piimmö!». Caarin baalu rodiaa, häi hävitti imennoin kuldazen kol'čazen.

— Vod gu moine tiedoiniekku löydyz, imennoin kol'čazen löydäz, minä hyväd d'engat maksazin!

Neuvotah:

— Ga on pelloi starikkaine, kudai tiedää.

Dai tullah starikkastu ottamah tiedohuol. (Eläessä heijän pihah ei käynyh kibitky da troikku hebool). Sen ker tullah starikkastu ottamah tiedohuol. Starikku proššaihes staruuhah ker. Kai itköö. Menöö sinne:

— Minul imennoi kol'čaine hävii, gu löydänet, ga bohatut ijäkse, a gu et, ga pää poikki!

Starikkastu pannah kammarih. Ei jo voi juvva ni syvväl Händy:

— Mindähbo et juo, edgo syö? Vai pidäygo dovariššu?

— Ei mešaice, hod' olis!

Starikkaine oli plieššipää dai toine annettih plieššipää. Jo jälgi päivin ei tuskat synnytä vaččah, sanoo toizel:

— Oh, pliešši, pliešši, jälgi päivii elät kuldazen kol'čazen tähtel!

Häi starikkazel jalgah:

— Oh, mis sinä lienet tiedänyh/ što minul on kol'čaine? — jalgah kumardah. — Edgo voi kui toizin käändää, emmo sano, što minul on kol'čaine!

Otetah da kol'čazen kanale syötetäh, oigias siives sulgaine katkatak tunnukseks. Tuloo caari ga:

— Löyvidgo kol'čazen?

— A sain tiedä! Työnä kanaa arteli, ga ei piä kaikkii kanoi tap-paa, minä tiijän, kudai on sen syönyh!

Työtäh vai kanaa arteli, dai ottaa:

— Tämä kana on!

Otetah dai kana tapetah. Kanal kol'čaine i lövvetäh. Dai caari andaa seiččemen podvodaa starikkazel syömää da juomaa. Akkaine muga ihasui, vai gu ei kunne enembää lekahutettas, pädis elä! Ei mene ni midä aigaa, taase kellos tullah ottamah.

— Mibo nygöi rodih?

— Caari kuui!

Menöö:

— Vod voinu nouzi, sinuu pidää työndää tiedäjäksel!

Sen ker kamanduiččoo:

— Midä starikkaine raadaa, sidä i työ!

Starikkaine lähtöö, ottaa seivästy tukun olgupääl. Tuloo, aijastukus ottaa aijastu, dai toizet. Jo neprijatel' nägyy. Laadii tulen dai saldatat tuli laitah. Neprijatel' pöllästy, azutah miira, voinu azettuu. Jo starik-kastu vietäh caariloo, häi sanoo:

— Minä sinuu syötän, juotan, kuldazes korietaz ajelutan vai jää minulloo.

Caari syötti, juotti ijän kaiken starikkaa da staruuhaustu, mi vai kulkus kulgi.

77. [ЗНАХАРЬ]

Жили когда-то муж да жена, старые, бедные были. Они думают: «Нечем кусок хлеба добыть, вот стать бы знахарем!». Они ночью укрыли жеребца. Хозяин дома ищет жеребца: «Куда же-ребец девался?». Говорит [старик]:

— Я попробую найти!

— Если сможешь, я тебе хорошо заплачу.

Взял, набрал в мешок опорков, головешек, пошел по дороге, искать: вроде бы в этой стороне должен быть! И идет дальше.

Шел, так прямо на коня наткнулся. Хозяин лошади думает: «Вот это знахарь!». Дает ему денег, муки, много добра, и они с женой зажили хорошо: «Вишь как ловко мы придумали!». Собирает царь бал, он потерял именное золотое кольцо.

— Вот если бы нашелся такой знахарь, нашел бы именное кольцо, я заплатил бы большие деньги!

Советуют ему:

— Есть тут один старичок, который знает.

И приходят за стариком, пусть отгадает. (В жизни у них во дворе не бывало кибитки да тройки лошадей!) С тем и приезжают за стариком, чтоб тот отгадал. Старик прощается со старухой. Даже плачет. Приходит туда.

— У меня именное кольцо потерялось, если найдешь, так разбогатеешь на всю жизнь, а если нет, так голова с плеч!

Старика поселили в горнице. Не может он ни пить, ни есть. У него [спрашивают]:

— Отчего не пьешь, не ешь, или товарищ тебе нужен?

— Не мешало бы, если бы был.

Старик был плешивый и второго дали плешивого. В последние дни уж старик не может свое горе скрыть в себе, говорит вслух:

— Ох, плешивый, плешивый, последние дни доживаешь из-за золотого колечка!

Тот старику в ноги:

— Ох, как ты узнал, что у меня колечко? — в ноги кланяется. — Не сможешь ли как по-другому повернуть, не скажем, что у меня было колечко!

Взяли да и отдали курице склюнуть кольцо, на правом крыле перышко обломали для приметы. Приходит царь, так:

— Нашел ли кольцо?

— Я узнал. Выпусти кур стаю, но не надо всех кур резать, я знаю, которая его [кольцо] съела!

Только выпустили кур, он и схватил:

— Вот эта курица!

Взяли и зарезали курицу. У курицы кольцо и нашли. И царь дает старику семь подвод еды и питья. Старуха так обрадовалась, только бы больше не тревожили, так можно бы жить! Прошло сколько-то времени, опять с бубенцами приезжают за стариком.

— Что теперь случилось?

— Царь зовет.

Приходит:

— Вот война началась, тебя надо отправить за знахаря!

Тут же командует:

— Что старик будет делать, то и вы!

Старик пошел, взял кучу кольев на плечо. Лежит куча жердей, он жердей набрал, другие тоже. Уже неприятель виден. Разжигает костер, и солдаты костры разжигают. Неприятель напу-

гался, заключили мир, война кончилась. Уже старика ведут к царю, он говорит:

— Я буду тебя кормить, поить, в золотой карете катать, только останься у меня.

Царь весь век старика и старушку кормил и поил, сколько им в горло лезло.

78

Oli ennen ukko da akku, heil oli kolme poigua. Muamo da tuatto heijän, poijien vahnetti i kuoltti. Tuattah poijlle jätti mustella: vanhembale poijale kaizin, keskimäzele poijale nozniččemet, nuarembale rogožuvihkožen.

Hyö sletäh—ollah, kuni leibiä täwdyi, sini syödi. Sit heil leivät loppiatthes. Vanhemi velleh i sanow:

— Nygöi meil pidäw ičel lähtiä leibiä suamah. Enzimäzikse, — sanow, — lähten minä kaizin kel.

Häi i lähtöw toššupiän. Astuw, astuw, päivy tulow loppuh gai puwtuw hjaružeh. Taričeh enzimäžeh taloih yäkee. Sit talote oli luandalas ylen äijy hiirdy. Mužikku i sanow:

— Tule, — sanow, — luandalah, mene yäkee (a siä oli ylen äijy hiirdy), mužjal ei ole sijua.

A sil poijal oli kaži huavos i voopče ižändät ei tiätty, mi on zviärilöi kaži. Menöw poigu luandalah, jaksazeze, oman tužurkan panow bokan alle, šuapkan pialuksih, kaizin tyändäw välläle dai uinoi.

Huandeksel ižändät nostah aijoi, mužikku emändälleh i sanow:

— Mene, — sanow, — kačo, naveržo hütet on syädy händäh siä.

Akku menöw, ga luandalas miäs viruw: yhtes bokas suwri tukku hiirdy tapettuw, toižes bokas toine, a kaži ištaw juwri poijan piän rinnal. Nostatti emändy poijan, kuččuw juamah čuajuw pertih (a akku ennepäi oli roskažinnuh mužikale: nengoine miehel on zviäri). Čuajuw juamah ruvetah, ga mužikku zavodii paginan, sanow miähele:

— Miho sinul neče on zviärilöi, — sanow, — myä velli tämä meile.

A poigu sanow:

— Ohoh! Tädägö? Tädä en myä, en ota ilman eloloi!

A mužikku händäh kaikelleh ugovariväiččow: myä dai kai. A poigu sanow:

— Äijängo sit andažit?

Mužikku sanow:

— Min ottanetl.

Poigu sanow:

— Huavon kuldua andanet, ga annan.

Mužikku sanow:

— Ota velli hot' kakai.

Čuajun juandan loppow poigu, pualentoštu huavua kuldua ottaw i lähtöw kodih velliällyä. Vellet sanotah:

— Kuibo sait nengožen suwren tukun kuldua?

Häi heile sanow kai. Keskimäine velli duwmaiččow: «Vuataz minä nyygöi opin lähtiä nozniččimian kell». Toššupiän huandeksel nouzow aigazeh, virka ni midä ei toizile vellile i lähtöw. Menöw, astuw, astuw, tulow hiaružeh. Kaččow häi: akku koin očas kirvehel lammastu keriččow. Häi i sanow:

— T'owta, midäbo ruat?

T'owta sanow:

— Lambahal villoi lyhendän.

A poigu sanow:

— Davais minä opin lyhendiä.

Kumi t'owta lyhendi yhty lammastu, sini poigu lyhendi kymmene lammastu. T'owta sanow poijale:

— Myä, velli, tämä bruja minule.

Sanow:

— Myäzin, ga äijängo sit andažit? — poigu kyzyw.

Akku sanow:

— Min otat.

— Huavua kaksi kuldua otan, — poigu sanow.

Akku ottaw poijan vedäw aittah, puwrus päi kaksi huavua kuldua navaliw. Poigu net ottaw dai lähtöw. Tulow vellilöillyä. Vellet konešno jhaštutih: kui da kai sait nenne? Häi sanow heile. Čuaju juvva, muate viertäh.

Kaikkii nuarin poigu muates duwmaiččow: «Vuatas minä opin lähtüä vihkozen kel huamei, engo midä sua». Huandeksel nowzow aigazeh i lähtöw, Kerale ottaw suwren postelinpiälyksen, kudamah menöw ružatu huavua seiččiä. Furaškan piäh panow i astuw. Astuw, astuw — tulow järvyt vastah. Ištuh järven rannale, ottaw vihkozen kädäh — zavodiw nuaraštu plettiä, iče pajattaw: «Tämän järven rupitan, vedehiäžen riputan!» Vedehiäne sen i kuwli, sanow poijalleh:

— Menes kačo, ken siä on riputtaju?

Rannale tulow vedehiäžen poigu — peitoiči kaččow — ištuw miäs ylen zdorovoi. Häi punaldah, vedehiäžen poigu, menöw dai sanow tuatalleh:

— Ylen zdorovoi miäs ištuw, tuan kel ei sua ni kel spruaviakseh, voittua!

Tuattah sanow:

— Menes opi hänen kel kiistah juasta.

Poigaine se tulow, vedehiäžen poigu, rannale i sanow:

— Sinä se meidy riputat, ga voidgo meile jälles juasta? Läkkä opimmo kiistah juastal

A mies sanow:

— En minä ni lähte, mene opi minun sizären kel juasta.

Ottaw vedäw vičikköžeh vedehiäžen poijan: siä oli jänöi. Jänöile poigu käit ku loškuaw — jänöi pöllästyw i lähtöw juaksemah ylen äijäl... A vedehiäzele sanow:

— Mene juakse jälles sizärele!

Juaksi, juaksi vedehiäne jänöile jälles: tavata ei voinnuh, järilleh kiändyi i poijal sanow:

— Minä, velli, en voinnuh sizärdäs tavata, ga sinuw en ni rubia tabuamah.

I hyppiäw vedeh. Menöw sinne i tuatalleh sanow. Tuattah sanow:

— Mene opi rawdastu keppii lykätä yläh: kudai ylembi voibi lykätä?

Vedehiäžen poigu kepin ottaw i tulow rannale (kepis oli puwdu viassua). Sanow miähele:

— Davai lykkiämmö kepin: kudai ylembi lykkiämmö, — sanow, — lykännet sinä ylembi, voit meidy riputtua.

Miäs sanow:

— Davai. — Sanow miäs vedehiäžen poijale. — Lykkiä enzimäzikse sinä.

Vedehiäžen poigu ottaw hurniw — ga ei ni nävy, muga yläh meni keppi. Sit ottaw kepin kädeh miäs i taivahah kaččow, sanow:

— Anna tai pilvyt vältäheze, eiga lykännen, ga tartuw sinne keppi.

Vedehiäžen poigu sanow:

— Älä, velli, lykkiä sofeem, eiga jäämmö kepittäh — dostali keppi on!

Poigu ei ni lykännyh. Vedehiäžen poigu sanow:

— Nengai nenga on dielot: en andanuh lykätä keppii, eiga pilvih mennys.

Tuattah i sanow:

— Ga nygöi zerku hevon kudai voitto loitombakse kandua?

Tulow vedehiäžen poigu zerku hevon kel randah i sanow miähele:

— Davai, kudai kannammo zerku hevon loitombakse selläs?

Vedehiäžen poigu ottaw hevon selgäh i kandaw hevon sylele viijeje. A poigu sanow:

— Davai minä opin, — sanow, — sinä selläs kannoit, a minä kannan jälloin keskis da loitombi sinuw.

Poigu selgäh nowzow hevol, kaksin pualizin, i lähtöw ajamah. Ajaw, ajaw jo puolen virstua. Jo vedehiäžen poigu sanow:

— Tua, velli, hebo iäre, ota mi tahtol

Miäs hevon tuaw järilleh. Vedehiäžen poigu hevon ottaw i vedäw tuatalleh i sanow:

— Minä kannoin selläs hebua palažen vai, a häi kandoi jälloin keskis hebua puolen virstua, ei ni käzil pidänyh!

Tuattah sanow:

— Mene sano sille miähele: annammo hattuh kuldua mi vai pidäw, vai älgäh riputakkah meidy.

Tulow vedehiäžen poigu randah i sanow miähele:

— Ota mi tahto kuldua, vai älä meidy riputa!

Miäs sanow:

— En äijiä ota, vai anna minule furašku täwzi.

Vedehiäžen poigu lähti tuamah kuldua. A miäs sil aigua muah kaivoi havvan, pani sinne postelin piälyksen i furaškah azui lowkon, sen pani postelin piälüstän piäle, azetti.

Vedehiäžen poigu tuaw pualen huavua kuldua, furaškah kuadaw, a furašku ei tävvy! I muga kandoi seiččiä huavua kuldua — sit vaste furašku täwdyi. Miäs sanoi vedehiäžen pojale:

— Lakkä nygöi viät minule kullat.

Vedehiäzel selgäh panow kuldian kel huavon — postelinpiälüstän, iče lähtöw jälles astumah. Astutah, astutah — tulow peldoine vastah. Dorogan rewnas on astivo. Vedehiäne kyzYW:

— Mibo tämä on?

Miäs sanow:

— Tämä on minun tuatan suga piän suvittaw.

Vedehiäne duwmaiččow: «Toko vai on tuattah täll! Vai ei piä kädeh puwttua». Astutah, astutah-ialleh. Tulow pellol adru vastah. Vedehiäžen poigu kyzYW:

— Mibo tämä on?

A miäs sanow:

— Tämä on minun tuatan vilku lihan syädäw.

Vedehiäžen poigu varavui, jo ei tahto kodissah lähtiä kuldii vedämäh i duwmaiččow: «Jesli en lähtene, viä pahembi rodiaw». Tullah kodižellua — vedehiäne varavužissah kullat lykkiäw pihale, a iče pagoh, a miäs kuččuw omii.

78. [СЧАСТЬЕ ОТ НАСЛЕДСТВА]

Жили когда-то муж да жена, у них было три сына. Мать и отец их, сыновей, состарились и умерли. Отец оставил на поминок сыновьям: старшему сыну — кошку, среднему сыну — ножицы, младшему — мочало.

Они живут-поживают, пока хлеба хватало, до тех пор ели. Потом у них хлеб кончился. Старший брат и говорит:

— Теперь нам надо идти самим хлеб добывать. Первым, — говорит, — пойду я с кошкой.

И уходит он на другой день. Идет, идет, день подходит к концу, и попадает он в деревню. Просится в первый дом на ночь. В том доме в подполье было очень много мышей. Мужик и говорит:

— Заходи, — говорит, — иди в подполье ночевать (а там было очень много мышей), больше нигде нет места.

А у этого парня в мешке кот, и вообще хозяева не знали, что за зверь кошка. Парень спускается в подпол, раздевается, свою тужурку кладет под бок, шапку под голову, кошку выпускает на свободу и засыпает.

Утром хозяева встают рано, муж и говорит жене:

— Поди, — говорит, — посмотри, наверно, его там съели мыши.

Жена спускается, а человек в подполе лежит: с одного боку большая куча убитых мышей, с другого боку другая, а кошка сидит в изголовье у парня. Разбудила ховяйка парня, зовет его чай пить в избу (а перед этим жена рассказала мужу, какой у парня зверь). Чай пить садятся, так мужик заводит разговор, говорит парню:

— Что это за зверь у тебя, — говорит, — продай ты, братец, его нам.

А парень говорит:

— Ого! Этого-то, этого не продам за все богатства света!

А мужик его по-всякому уговаривает: продай да и все. А парень говорит:

— А много ли ты дашь?

Мужик говорит:

— Сколько возьмешь!

Парень говорит:

— Мешок золота если дашь, так продам.

— Дам, — мужик говорит, — возьми, братец, коть два.

Кончил чай пить парень, взял полтора мешка золота и отправился домой к братьям. Братья говорят:

— Как ты достал такую кучу золота?

Он им рассказал все. Средний брат думает: «Дай-ка я теперь пойду с ножницами!». На следующее утро встает рано и, никому ничего не сказав, уходит. Идет, идет, идет, приходит в деревушку. Смотрит: женщина перед домом овцу топором стрижет.

Он (парень) говорит:

— Тетушка, что ты делаешь?

Женщина отвечает:

— У овцы шерсть подкорачиваю.

А парень говорит:

— Дай-ка, я попробую стричь.

Пока женщина стригла одну овцу, тем временем парень остриг десять овец. Женщина говорит парню:

— Продай, братец, мне эту вещь.

Говорит:

— Продам бы, да сколько ты дашь? — спрашивает парень.

Женщина говорит:

— Сколько возьмешь.

— Мешка два золота возьму, — говорит парень.

Женщина ведет парня в амбар, насыпает из зари два мешка золота. Парень берет это золото и уходит. Приходит к братьям. Братья, конечно, обрадовались: как да где достал все? Он рассказывает им. Чаю попили, легли спать.

Младший брат думает в постели: «Дай-ка я пойду завтра с мочалом, не добуду ли чего». Встает утром рано и уходит. С собой берет большую наволоку, в которой вмещается семь мешков ржи. Надевает фуражку и идет. Идет, идет, попадает на

пути озеро. Садится на берегу озера, берет мочало в руки — начинает веревку вить, сам напевает: «Это озеро сморщу, водяного повешу!», Водяной и услышал это, говорит сыну:

— Сходи-ка посмотри, что там за вешатель?

Выходит на берег сын водяного, смотрит украдкой — сидит мужчина, здоровенный. Он, сын водяного, повернулся обратно, приходит и говорит отцу:

— Здоровенный мужчина сидит, с этим никому не справиться, победит!

Отец говорит:

— Иди-ка попробуй бежать с ним наперегонки.

Сын водяного выходит на берег и говорит:

— Ты-то нас собираешься вешать, а можешь ли за мной угнаться? Побежим-ка наперегонки!

А человек говорит:

— Я и не побегу, побегу-ка ты с моей сестрой.

Ведет сына водяного в кусты, там был заяц: парень как хлопнет руками — заяц напугался и побежал во всю прыть. А водяному говорит:

— Беги, догоняй сестру!

Бежал, бежал водяной за зайцем, не смог догнать, вернулся обратно и говорит парню:

— Я, братец, не смог твою сестру догнать, а тебя нечего и пытаться догнать.

Прыгнул в воду, приходит к себе и рассказывает отцу. Отец говорит:

— Иди теперь попробуй бросать железный посох, кто выше забросит.

Сын водяного берет посох и выходит на берег (в посохе пуд веса). Говорит человеку:

— Давай забросим посох, кто выше забросит, — говорит, — если забросишь ты выше, можешь нас повесить.

Мужчина говорит:

— Давай, — говорит сыну водяного, — забрось сначала ты.

Водяной как забросит, так и не видно, как высоко залетел посох. Потом человек посох берет в руки и смотрит в небо, говорит:

— Пусть вон то облачко проплывет, а не то как закину, так застрянет там посох.

Сын водяного говорит:

— Уж не бросай, братец, совсем, не то останемся без посоха — это последний посох.

Парень и не закинул. Сын водяного [отцу дома] говорит:

— Так и так дела, не дал закинуть посох, а то в облака улетел бы.

Отец и говорит:

— А теперь который сможет подальше снести лошадь Сивку.

Выходит сын водяного с лошадью на берег и говорит мужчине:

— Давай посмотрим, который дальше снесет лошадь на своей спине.

Берет сын водяного лошадь на спину и несет сажень пять. А парень говорит:

— Дай-ка я попробую, — говорит, — ты на спине нес, а я между ногами дальше тебя пронесу.

Парень садится на лошадь верхом и едет. Едет, едет уже полверсты. Уже сын водяного говорит:

— Принеси, братец, лошадь обратно, возьми что хочешь!

Мужчина приводит лошадь обратно. Сын водяного берет лошадь, отводит к отцу и говорит:

— Я нес лошадь на спине чуточку, а он между ногами пронес лошадь полверсты и руками не поддерживал!

Отец говорит:

— Иди скажи этому человеку: дадим ему в шапку золота хоть сколько, пусть только не вешает нас.

Приходит сын водяного на берег и говорит мужчине:

— Возьми хоть сколько золота, только не вешай нас!

Мужчина говорит:

— Много не возьму, дай мне только фуражку полную.

Сын водяного пошел за золотом. А мужчина тем временем вырыл в земле яму, положил туда наволоку и в фуражке сделал дырку, ее [фуражку] поставил над ямой, приладил.

Сын водяного тащит полмешка золота, сыплет в фуражку, а фуражка не наполняется. Идет, еще приносит мешок, а фуражка опять не наполняется, и так он перетаскал семь мешков золота, только тогда фуражка наполнилась. Мужчина сказал сыну водяного:

— Пойдем, теперь отнесешь мое золото.

Водяному на спину взваливает мешок с золотом, наволоку, сам сзади идет. Идут, идут, подходят к полю, у дороги стоит борона. Водяной спрашивает:

— Что это такое?

Мужчина говорит:

— Это моего отца гребешок, волосы расчесывать.

Водяной думает: «Ну и отец у него! В руки не надо попадаться». Идут, идут дальше. На поле соха. Сын водяного спрашивает:

— Что это такое?

А мужчина говорит:

— Это вилка моего отца, мясо есть.

Сын водяного перепугался, уже не хочет идти относить до дому золото и думает: «Если не пойду, так еще хуже будет». Подходят к домику. Водяной с перепугу бросил золото во дворе, а сам бежать. А парень стал звать своих.

Oli leskiakku. Hänel oli poigu livan. livanal naija pidäs, ga ei voi ni paista. Maamalleh kyzyy:

— Maamo, lähten naimah, ga neuvo paista.

Maamah neuvoo:

— Ole viežlevänny, ken tuloo vastah, iele miehen šaapku vai heitä!

Lähtöö livan astumah. Mužikku on hevon azettanut pienarrandah, iče komšan kel on kylvämäs toizes agd'as, livan otti viuhkutti, viuhkutti šaapkal, hebo pöllästy, pageni dai adran murendi. Mužikku tuli dai livanan tukisteli dai löi. livan kodih i käändyi i maamal sanoo:

— Lyödih minuu, käskit viežlevänny olla: mužikku kyndi, gu šaapkaa viuhkutin da hebo pageni da adran murendi. Mužikku tuli dai minun kaiken löil

Maamah sanoo:

— Oh, livan, oh livan, eihäi muga ni pideli sanua, pideli sanua: «Min panet, semmostu kaksi verdaa kazvakkah!».

Tossu pään taase livan lähtöö naimah. Vastavus tuloo hänelleh, mennäh maah pokoiniekkaa panemah. Häi davai kirgumah:

— Min panetto, semmostu kaksimostu maan pääle noskah!

Mužikat händy taase lyvväh. Häi taase maamolloo:

— Maamo, myös lyödih!

— Mindäh?

— A kirruin, pokoiniekkaa maah pandih: min panetto, semmostu kaksi mostu maan pääle noskah!

Maamah sanoo:

— Oh, livan-poigu, sinul pideli šaapku pääz heittä da kirgua:

— *Svätji boože, svätji krepkii!*

Kolmandessu pään lähti op'ät' naimah i svaad'bu ajaa venčal. Häi kirguu svaad'bal:

— *Svätji boože, svätji krepkii!*

Händy op'ät' i lyvväh. Tuli kodih, op'ät' i sanoo:

— Taase lyödih!

— Mindäh?

— A svaad'bu ajoi, i minä kirruin: *svätji boože, svätji krepkii!*

— Oh, poigu, poigu! Sinulles pideli pläššiä da hyvää huikata.

Taase lähti livan naimah. Astuu — ga tulipalo: riihi on syttynyt. Häi davai pläššimäh da pajattamah. Dai händy i lyödih. Häi tuli kodih:

— Maamo, taase lyödih!

— Oh, poigu, poigu, pideli sinulles rengi ottaa da vetty kaadaa tulehl

— Vuota, maamo, huomei.

Lähti livan, ga mužikku poččii korvendaa. Häi rengin ottaa, toi vetty dai tulen sammutti. Mužikku i löi. Tuli kodih.

— Oh, livan, livan, pideli sanua: täs roih äijänpäivän vero!

— Vuota, maamo, huomeil

Astuu Van'a, ga mužikku vetty da leibää syöbi. Häi i sanoo:

— Vot on täs hyvä äijänpäivän vero!
Mužikku suutuksissah otti dai löi Iivanan. Tuli kodih. Maamah sanoo:

— Oh, Iivan, Iivan, pannuzin šaapkan silmien pääle da astunuzin iellehl

Lähtöö Van'a, ga tuloo pappi vastah. Häi i šaapkan silmil panoo. Pappi häneh tartui. D'oi toravutti. Vanja sanoo:

— Ainos minuu lyvväh, ga nygöi opittelen i minäl

Ottaa lyöbi, lyöbi dai papin tappa. Tuli kodih d'o hyväs mieles i leyhkää:

— Min liene lyödy minuu, gai nygöi tazain!

Maamah kyzyy:

— Kunnebo panit?

Maamah yõn aigah papin haudah panoo, bokin tappa dai panoo sinne. Miero tiijustettih, što Iivan tapoi papin. Tullah herrat händy kiini ottamah. Kyzytäh:

— Tapoidgo?

— Tapoin!

— Kuzbo on?

— Kuopas.

Maamah neuvo:

— Menedhäi kuoppah i kyzy: ongo teijän papil n'elli d'alga, ongo sarvet i ongo pappi kai karvaine?

Iivanan päälle suututah. Häi gu kuopas nostaa, ga bokki papin sijal.

Mugai Iivan pääzi tyrmäs istumata. Ga yksikai naimata d'ai.

79. [НАБИТЫЙ ДУРАК]

Была вдова. У нее был сын Иван. Ивану надо бы жениться, а он и обращенья не знает. Спрашивает у матери:

— Мама, пойду свататься, научи, как говорить.

Мать учит:

— Будь вежливым, кого встретишь, сам первый шапку снимай!

Отправился Иван. Мужик лошадь остановил у межи, сам с лукошка сеет в другом конце поля. Иван стал шапкой размахивать, лошадь испугалась, убежала и соху разломала. Мужик пришел, давай Ивана за волосы таскать и бить. Иван домой вернулся и говорит матери:

— Побили меня. Велела вежливым быть: мужик пахал, я как шапкой помахал, лошадь убежала, соху сломала. Мужик пришел и всего меня избил!

Мать говорит:

— Ох, Иван, Иван, не так ведь надо было говорить, надо было сказать: «Что посеешь, пусть вдвое больше того вырастет!».

На следующий день опять Иван идет свататься. Попадают ему встречные, везут покойника хоронить. Он давай кричать:

— Что закопаете, пусть вдвое больше на землю поднимется! Мужики опять побили его. Он опять к матери:

— Мама, опять побили!

— За что?

— А крикнул — покойника хоронили: сколько в землю закопаете, пусть вдвое больше на землю поднимется!

Мать говорит:

— Ох, сынок Иван, тебе надо было шапку с головы снять и крикнуть: «Святой боже, святой крепкий!».

На третий день опять идет жену искать, и свадьба едет к венцу. Он как закричит свадьбе:

— Святой боже, святой крепкий!

Его опять и бьют. Пришел домой, опять и говорит:

— Опять побили!

— За что?

— А свадьба ехала, и я кричал: «Святой боже, святой крепкий!».

— Ох, сынок, сынок! Тебе надо было плясать и славу кричать.

Опять пошел Иван жениться. Идет — видит пожар: рига загорелась. Он давай плясать да петь. И его опять избили. Он приходит домой:

— Мама, опять избили!

— Ох, сынок, сынок, надо было тебе взять ведро и воду лить на огонь!

— Хорошо, мама, завтра!

Пошел Иван. Мужик свинью палит. Иван берет ведро, приносит воды — и в огонь. Огонь погас. Мужик его и побил. Приходит домой.

— Ох, Иван, Иван, надо было сказать: вот будет еда на пасху!

— Хорошо, мама, завтра!

Шагает Ваня, а мужик ест хлеб с водой. Он и говорит:

— Вот где хорошая трапеза на пасху!

Мужик со злости взял да и поколотил Ивана. Приходит домой. Мать говорит:

— Ох, Иван, Иван, натянул бы шапку на глаза да прошел бы мимо!

Идет Ваня, встречает попа. Он шапку и натянул на глаза. Поп к нему пристал. Уже и подрались. Ваня говорит:

— Все меня бьют, а теперь и я попробую!

Бил, бил попа и убил. Приходит домой довольный и бахвалится:

— Били меня, а теперь я за все рассчитался!

Мать спрашивает:

— А куда ты спрятал?

Мать за ночь попа похоронила, зарезала барана и положила на место. Миряне узнали, что попа Иван убил. Приходят господа его арестовать. Спрашивают:

— Убил?

— Убил!

— А где он?

— В яме.

Мать учит:

— Как спустишься в яму, спроси: четыре ли ноги у вашего попа, есть ли рога и волосатый ли поп?

На Ивана разовзались. Он как поднимет из ямы, так бараң вместо попа!

Так Иван и освободился от тюрьмы. А все равно неженатым остался.

80. HOMA KAZAKKU

On sie kyläs kewhy mužikku, Homa on nimi. Lähtöw häi mieroh, eigo ken ota kazakakse. Astuw d'uomua myö, ajaw pappi vastah. Pappi kyzyw hänel:

— Kunna, mies, matkuat?

— Matkuan ruaduo eččimäh, eigo ken ottas kazakakse.

Pappi sanow:

— Minä ajan kazakkuo eččimäh, etgo minule lähte?

— Lähten, velli, minule yksikai.

— Mibo on nimi? — pappi kyzyw.

— Nimi on Homa.

Pappi sanow:

— Homa nimellisty ei käskenyt papad'd'u ottua.

Hyö — yksi yksiel, toine toiziel. Homa duwmaiččow (palaizen astui lujal): «Papilluo kazakoi ja hyvä oliz ollu. Lähten d'uoksen meččie myö d'ärilleh i tulen uuvessah papile vastah». I d'uostes hänelleh purwtuttih nožničemet kerale, lyhendäw parran, štobi ei pappi tundiz. A ennen ved' dorogad oldih pahat. Pappi ajoi ylen hil'iai. Yhtytäh op'ät' papin kera, kyzyw:

— Kunna, mies, matkuat?

— Matkuan mieroh, eigo ken ota kazakakse?

Pappi sanow:

— Minä ajan kazakkuo eččimäh, etgo lähte minule?

— Lähten, velli, — sanow.

— Mibo on nimi? — pappi kyzyw.

— Nimi on Homa.

— Ei muatuska käskeny ottua Homa nimellisty kazakkuo.

Homa duwmaiččow: «Kui nygöi?». Op'ät' erotah: pappi ajaw yksiel, Homa toiziel. Astuw Homa palaizen i duwmaiččow: «Lähten opin kolmanden kerran papile taritakseh». D'uoksow d'ärilleh meččie

myö, keriččow ičelleh piän. Astuw op'ät' papile vastah. Vastavutah.
Pappi kyzyw:

— Kunna, mies, menet?

— Matkuan mieroh, eigo ken ota kazakakse.

Pappi sanow:

— Minä ajan kazakkuo eččimäh, lähtedgo minule?

— Lähten, velli.

Pappi kyzyw:

— Mi on nimi?

Häin vastuaw:

— Homa on nimi.

Pappi sanow:

— Kolmas mužikku tulow vastah i kai on Homa nimellizet!

A Homa papile vastuaw:

— Meil on, **buat'uška, kai mužikat Homat.**

Pappi duwmaiččow: «Siid ei maksa ajuo ielleh, a pidāw ottua kazakakse tämä mies». Tullah kodih pogostale. Papad'd'u kyzyw papil:

— Mibo on nimi kazakal?

Pappi vastuaw:

— Kazakal on nimi Homa.

— Minä ved' kielin Homa nimellisty kazakkuo tuomas.

Pappi sanow:

— Kolme mužikkuo tuli vastah i kai oldih Homa-nimellizet, i tämä Homa sanoi minule: «Meil ollah kai Homat», sendäh en menny ielleh.

Rubiew Homa kazakakse i ruadaw hyvin. Pappi mieldyi kazakkah i papad'd'u mieldyi, a Homa mies ei prostoi. Papad'd'ah kävyi druwgu-diekkon. Nu ku pappi pidāw Homua ylen hyvin, Homale rodih žiäli pappii. Duwmaiččow Homa: «Hävitän minä nečen diekkonan, heitāw häi kävyndän papad'd'alluo».

Tulow kezäaigu, varusteleh pappi kazakan kera niityle. A papad'd'u da diekkon paistah: «Vot nygöi lähtöw pappi nedälikse kazakan kera niityl, siid ehki omal vol'al elämmö». I lähtöw pappi kazakan kera niityle. Astutah kilometra kyläs päi, kazakku papile sanow:

— Buat'uška, myö menemmö niittämäh, a kovažimed d'iädih kodih! Pidāw lähtie tuvva.

Pappi sanow:

— Mene, velli, d'uokse teriambi, tuo.

Lähtöw Homa. Menöw hil'l'aizeh senčoih i rubiew menemäh pertih, ukse on kr'učku. Kuwlow, d'o on diekkon sie, kolahuttaw ustu, papad'd'u sanow:

— Nygöi neče on Homa, naverno mi-tahto unohtettih i tuli sidä ottamah. Kunnabo nygöi minä sinun peitän? Peittie sinuo pidāw: táz on čerdakkah pordahat, mene hewhenkomšah.

Papad'd'u avuaw i kyzyw Homal:

— Minbo unohtiitto?

Homa vastuaw papad'd'ale:

— Buat'uska käski, čerdakas onhäi hewhenkomšu, hewhenet on homehtunnuzet i pahat, lykätä komšu čerdakan ikkunas alah.

I menöw pordahiz, nowzow čerdakkah, ottaw hewhenkomšan i odva kiendäw ikkunas pihale, a kodi oli kaksietuazahine. Diekkon kömsähtih alah. Hot' hewhenet oldih pehmiet, no vie bokku sattoih i odva lähti astumah. Homa sanow muatuškale:

— Näidgo kuhe sah on sportittuheze hewhenet, d'o miittuine ma-doine lähtil!

Ottaw kovažimet i tulow papilluo, i astutah niityle niittämäh. A pappi oli prostottaw, ei tiedäny, što oma akku imeiččow dielon diekkonan kera. I Homa ei sano hälle tädä slučeidu. Niitetäh nedäli, yölöil muatah niityl. Suovattan tullah kodih. Muatuška vastuaw, kyly lämmitetty, syöttäw, d'uottaw, muata panow. Tulow enzimäineargi, op'ät' varusteltaheze niityle. Nygöi on niitty lähel, yksi on virstu kyläs, i diekkonan niitty on papin niityn rinnal. A pyhänpäin aigana Homa kuwlow papad'd'uo da diekkonuo pagizemas. Papad'd'u sanow diekkonale:

— Pappi kuččuw murginan enzimäizenarren niityl, no minä enzimäi vien heile pahembat syömizet, a siid tulen sinun niityle, tuon parembat, no vai azu tiehtet, kui'niitule tulla, što bj ei nägis pappi.

Lähtietäh niityle. Mennes Homa azuw tiehtet, kui käski papad'd'u azuo diekkonale. Puolenpäin aigana papad'd'u tulow tiešuarale i kaččow, on tiehtet, i sanow:

— Neče on diekkonan niitule, a tämä n'okos, tropinku, menöw mejjän niityle.

Ottaw pahembat syömizet, a parembat d'ättäw sih i lähtöw n'okohtu myö. Astuw n'okohtu myö, menöw, ga diekkon niittäw. Kuččuw mečän randah i sanow:

— Prosti, raukku, nygy ošipkas minä toin pahembat syömizet.

I d'ättäw diekkonale. Menöw d'ärilleh n'okkohl i ottaw parembat syömizet i ned nygöi gor'as pidäw vedie papile da kazakale. Tulow niityle, andaw syömizet papile da kazakale. Pappi syöw da duwmaiččow: «Kymmene vuottu akan kera elän, nengostu veruo ni äijänpäin en syöny, a nygöi toi niityle». I syvväh murgin, huagavutah, lähtietäh op'ät' ruadoh. Illal lähtieh kodih i papad'd'u on heijen kera. Muatah yö, tossupäivän lähtietäh luvvole. Huondeksel aijoi, päivy on hyvä. A papad'd'u diäw vie kodih i uskaldaw op'ät' tuvva murginan i tulla ruadoh. Astutah palaine kyläs päi, Homa papile sanow:

— Buat'uska, myö heinii uberimah menemmö, a haravat jiidih kodih!

Pappi sanow:

— Mene, poigane, tuo.

Lähtöw Homa. Tulow hil'äizin senčoih i rubiew pertih menemäh, uksele on kr'učku. Naverno, diekkon on sie. Kolahuttaw ustu, papad'd'u sanow:

— Neče on Homa, naverno mi-tahto unohtettih. Kunnabo nygöi minä sinun peitän? Ylen on Homa viizas, što bj ei vois löytäl!

I käsköw diekkonale d'aksuakseh. D'aksah diekkon. Papad'd'u käsköw nosta stolale seizoi. I seizuo muga, jesli Homa gorničan ukxen avannow i kaččonow, što b' ed lekahtazih, kiät huarattuo. Roitoz gu ristu i ristah raspinoиду d'umal. I avuaw ukxen Homale i kzyzw Homal:

— Midä, Homa, unohtiitto?

A Homa vastuaw:

— Huondeksel on hot' päivy hyvä, no illal voibo vihmuo, a bua-t'uška työndi minun. Onhäi sv'atoi gorničas stolal, sille panna kolme yheksie tuohustu i käski molieksheh, siid mowžet pidäw kaiken päivän povvannu.

Homa muatuškale sanow:

— Anna tuohukset, minä panen i rubiemmo molimaheze.

I rubiew Homa tuohuksii panemah i nareko vahuo tiputtaw pal'l'ahile d'alloile, kähile i kaikele rungale, i ruvettih molimaheze. Molittiheze žuassu aiguo. Enämbi diekkon tirpuo ei voinu, diävii paginän. A Homa sanow:

— Kačo, vai userdno moliimokseh, kai d'umal hengistyi!

I siid diekkon papad'd'ale sanow:

— Nygöi minä enämbi sinulluo en tule, kuni et työndäne tädä kazakua ieres!

Siid papad'd'u Homale sanow:

— Äijygo pidäw palkuo, min aiguo meil ruavoid, annan d'engat!

Homa sanow:

— Pidäw kolme sadua.

Papad'd'u sanow:

— Enne meil oli kazakku, ruadoi kolme vuotta, otti vai yhten suan, a sinule pidäw vajuas vuvves kolme sadua!

Siid papad'd'u i diekkon kerätäh dostalit d'engat i annetah kolme sadua i työtäh Homuo ieres.

Tulow Homa kodih, ostaw lehmän, hevon, azuw kodin i enämbi ei kazakoinnu. Piäzi hyvin elämäh.

80. РАБОТНИК ХОМА

Есть там в деревне бедный мужик, Хомой звать. Отправляется он по свету, не возьмет ли кто в работники. Идет по тракту, едет поп навстречу. Поп спрашивает у него:

— Куда, мужичок, идешь?

— Иду работу искать, не возьмет ли кто в работники.

Поп говорит:

— Я еду работника искать, не пойдешь ли ко мне?

— Пойду, брат, мне все равно.

— А как звать-то? — поп спрашивает.

— Звать Хомой.

Поп говорит:

— Не велела попадья брать [работника] по имени Хома.

Они [разошлись], один в одну сторону, другой — в другую. Хома думает, [как] немного прошел: «У попа батрачить хорошо было бы. Пойду-ка побегу по лесу обратно и снова попаду попу навстречу». Побежал, а у него оказались ножницы с собой, подрезал бороду, чтобы поп не узнал. А раньше ведь дороги были худые. Поп ехал очень тихо. Встречаются опять с попом, спрашивает:

— Куда, мужичок, идешь?

— Иду по свету, не возьмет ли кто в работники.

Поп говорит:

— Я еду работника искать, не пойдешь ли ко мне?

— Пойду, брат, — говорит.

— Как звать-то? — поп спрашивает.

— Звать Хомой.

— Не велела матушка брать работника по имени Хома.

Хома думает: «Как же теперь?». Опять расходятся: поп едет в одну сторону, Хома [идет] в другую. Идет Хома немного и думает: «Пойду попытаюсь третий раз попроситься к попу». Бежит обратно по лесу, остриг себе голву. Опять идет навстречу попу. Встретились, поп спрашивает:

— Куда, мужичок, идешь?

— Иду по свету, не возьмет ли кто в работники.

Поп говорит:

— Я еду работника искать, пойдешь ли ко мне?

— Пойду, братец.

Поп спрашивает:

— Как звать-то?

Он отвечает:

— Звать Хомой.

Поп говорит:

— Третий человек попадается навстречу, и всех звать Хомой!

А Хома отвечает попу:

— У нас, батюшка, всех мужиков звать Хомой.

Поп думает: «Тогда не стоит ехать дальше, а надо взять в работники этого мужика». Приезжают домой в погост. Попадья спрашивает у попа:

— Как звать-то работника?

Поп отвечает:

— Работника звать Хомой.

— Я ведь тебе не велела приводить работника по имени Хома.

Поп говорит:

— Три мужика попались навстречу, и всех звать Хомой, и этот Хома сказал мне: «У нас все Хомы», потому дальше и не поехал.

Стал Хома работать, работает хорошо. Попу понравился работник, и попадья понравилась, а Хома — мужик не претой. К по-

падае ходит друг, дякон. Ну, так как [поп] очень хорошо относится к Хоме, Хоме стало жалко попа. Думает Хома: «Изведу я этого дякона, перестанет он к попаде ходить».

Наступает летняя пора, собирается поп с работником на покос. А попадя и дякон говорят: «Вот теперь пойдет поп с работником на неделю на покос, потом хоть поживем своей волей». И уходит поп с работником на покос. Отходят с километр от деревни, работник и говорит попу:

— Батюшка, мы косить идем, а бруски дома остались! Надо сходить принести.

Поп говорит:

— Беги, братец, скорей принеси.

Идет Хома. Заходит потихоньку в сени, стал заходить в избу — на двери крючок. Слышит, уже дякон там, стукнул в дверь, попадя говорит:

— Это Хома, наверно что-либо забыли, и пришел взять. Куда я теперь тебя спрячу? Спрятать тебя надо: вот лестница на чердак, лезь в корзину с пухом.

Попадя открывает дверь и спрашивает у Хома:

— Что забыли?

Хома отвечает попаде:

— Батюшка велел — есть ведь на чердаке корзина, пух уже слежался и испортился — выбросить корзину в окно чердака.

И идет по лестнице, поднимается на чердак, берет корзину с пухом — еле вытряхнул через окно на улицу, а дом был двухэтажный. Дякон плюхнулся вниз. Хоть пух и мягкий, но бок ушиб и едва заковылял. Хома говорит матушке:

— Вишь, до чего сгнил пух, вон какой червяк пополз!

Берет бруски и идет к попу, приходят на покос косить. А поп был простоватый, не знал, что его жена имеет дело с дяконом. И Хома не рассказывает ему об этом случае. Косят неделю. Ночуют на покосе. В субботу приходят домой. Матушка встречает, баня истоплена, кормит, поит, спать укладывает. Наступает понедельник, опять собираются на покос. Теперь покос близко, за версту от деревни, и покос дякона рядом с поповским. А в воскресенье Хома подслушивает разговор попади с дяконом. Попадя говорит дякону:

— Поп велит прийти в понедельник на покос с обедом, но я сначала отнесу им похуже еду, а потом приду к тебе на покос, принесу получше, только ты поставь метки, как на покос идти, чтобы поп не увидел.

Идут на покос, по пути Хома ставит метки, как попадя велела ставить дякону. В полдень попадя приходит к перекрестку и смотрит, что есть метки, и говорит:

— Это на покос дякона, а эта тропка на наш покос.

Берет что похуже, а лучшее оставляет тут и идет по тропинке, приходит, а там косит дьякон. Зовет его на опушку леса и говорит:

— Прости уж ты меня, вот по ошибке принесла тебе харчи похуже.

И оставляет дьякону. Возвращается обратно на тропку, берет получше еду — это теперь с горя надо отнести попу и работнику. Приходит на покос, подает еду попу и работнику. Поп ест и думает: «Десять лет с женой живу, такого обеда и в пасху не едал, а тут на покос принесла». Поели, отдохнули, опять идут работать. Вечером пошли домой, и попадья с ними. Переспали ночь, на следующий день идут сено убирать. Утром рано, день хороший. А попадья остается еще дома, опять обещается принести обед и прийти помогать. Отошли немного от деревни, Хома и говорит попу:

— Батюшка, пошли мы сено убирать, а грабли дома остались! Поп говорит:

— Сходи, сынок, принеси.

Уходит Хома. Тихонечко заходит в сени и хочет в избу войти, а на двери крючок. Наверно, дьякон там. Стукнул в дверь, попадья говорит:

— Это Хома, наверно что-нибудь забыли. И куда же я теперь тебя спрячу? Очень уж хитер Хома, как бы не нашел он.

И велит дьякону раздеться. Дьякон раздевается. Попадья велит встать на стол. И стоять так, что если Хома откроет дверь в горницу и будет смотреть, чтобы не шевельнулся, с раскинутыми руками. Будешь как крест, а на кресте бог распятый. И открывает дверь Хома, и спрашивает у Хома:

— Что, Хома, забыли?

Хома отвечает:

— Хоть утро и погожее, но вечером может пойти дождь, вот батюшка и послал меня. Есть ведь в горнице на столе святой, ему поставить три раза по девять свечей и велел молиться, потом, может, весь день будет вёдро.

Хома говорит матушке:

— Дай свечи, я поставлю, и будем молиться.

И начал Хома свечи ставить, и нарочно капает воску на голые ноги, руки и все тело, и стали молиться. Молились с час времени. Больше дьякон не мог терпеть, заговорил. А Хома говорит:

— Смотри-ка, усердно как молились, так и бог ожил!

И потом дьякон говорит попадье:

— Теперь я больше к тебе не приду, пока не выгонишь этого работника прочь!

Потом попадья Хома говорит:

— Много ли надо платить [за время], пока ты у нас работаешь? Отдам деньги!

Хома говорит:

— Надо триста рублей.

Попадья говорит:

— Раньше у нас был работник, проработал три года, взял только одну сотню, а тебе за неполный год надё триста!

Потом попадья и дякон собирают остальные деньги и отдают триста рублей, и отправляют Хому прочь.

Возвращается Хома домой, покупает корову, лошадь, строит дом и больше не батрачит. Стал хорошо жить.

81. KUPSU DA PAPPI

Oli ennen kupsu. Kupsal oli poigu. Poigu rubei käwmäh zagranitsah. Ižändäl oli aino poigu. Häi naitoi sen. Sid d'ai poigu armoittomakse ižäs, heile oli omad karablid, i häi rubei käymäh zagranitsah. Hänen mučoil d'ai vastomaine kohtu.

Pappi tahtoi hänen kel l'ubovan azua. Kerran nuori mučoi d'ai yksinäh kodih. Vastalpäi oli vanhu staruuhi, leski. Pappi meni sen leskellöö paginal, kui saaha moloduuhu l'ubovaa papin ker pidämäh. Staruuha, leski, sanoo:

— Minä saan hänen. Hänel d'ai vastomaine kohtu, i minä sanon hänel, što pappi pidää tuuva pokaajimah.

Leski meni moodluuhalloo paginal. Leski kačoi moloduuhal silmih i sanoo:

— Sinul ukossaz ei ole d'äänyh täwzi kohtu, a on vajaa. Ižändälles on olluh kiireh lähtiä i d'äänyh on lapsi sinul vajaakse.

Moloduuha sanoo baabuškäl:

— Kuibo se voinoo kohendaa?

Baabuška sanoo:

— Kuču pappi pokaajimah, sid pappi sanoo, kui voibi popraavia.

Häi gu sanoo, sid moloduuha sanoo:

— Mene kuču pappii pokaajimah.

Tuli pappi, gu kučui baabuška. Moloduuha sanoo baat'uškäl:

— Baat'uska, nenga i nenga minul sanoi leski-baabuška, što minul on keskenai guine kohtu, kuibo voibi popraavia?

Pappi sanoo:

— Eto ne beda, popraviimol — pappi sanoi. — Minä sinul popraavin.

Pappi sid rubia iellehpäi popraavimah. Konzugo panoo käin, konzugo d'allan, konzugo min i popraavii. Menöö aigu i saa moloduuhu poijan. Poigaa ennen ižändän tulendaa ei ristitännyh, a vuotti ižändän tulendaa. Tuli ižändy kodih. Ižändy otti lapsen yskäh, otti kartočkan kormanis i sanoo:

— Vod on lapsi ihan gu minä!

A emändy otvečaiččoo:

— Da, gu sinä, gu sinä! Sinä kiirehtäd lähtiäl Hyvä pappi parandi, muite rodinnus urodu maal!

Häi sanoo:

— Ole vaikkane, ženaa, sinun pappi maanittil

Laadi ristiäzed izändy pojjal, prigotoovi baalun. Häi työndi kuučarit muidu gospodoi baaluh kuččumah, a pappii lähti iče tuomah. Sid papad'ju rubie šuoriemah, tahtoo lähtie heijän ker yhtes. Kupsu sanoo:

— Net, maatuska, tulen minä sinuu uuvessah ottamah, nygöi eule udobno lähtiä baat'uskan ker.

Papin vedi baaluh. Papad'jaa tuli iče uuvessah ottamah myös. Papad'ju rubia šuoriemah. Stotal kandoi kai ruutat: kol'čazed, ser'gazed. Häi d'alga stuulal nosteli, šibliettoi d'alga i sukkii pani. Sil aigaa kupsu Ivan Vasil'jevič otti ser'gazed i pani ičelleh kormanih. Muus šuorii papad'ju, rahaih ser'gazii eččimäh.

— Kunne ser'gazed liene hävitty, d'ai baaluh lähtendy mugal

Ivan Vasil'jevič sanoo:

— Minä, maatuska, zagranitsah kävin i kuulin. Sinä nygöi nečiz d'alga nostelid stuulal, panid sukkii d'alga, ga sinul ser'gazed vedi magniettu sinne.

Häi sanoo:

— Oi, Ivan Vasil'jevič, eigo vois niidy saaha kui ääre?

— Ylen herky, vaste gu mendih, ga helpolgi voi i saaha. Nu, maatuska, pidää oppia saaha.

Papad'ju vierä. Ivan Vasil'jevič oppii saaha. Ongitti, ongitti, kormanis otti ser'gazed dai sanoo:

— Vot yhten i sain!

Toizen nostaldi:

— Vot i toizen sain!

Papad'ju sanoo:

— Via kylvikattil meile hävi, vuozii aigaa, eigo segi sinne mennyh?

— Voibi proobuija, — sanoo Ivan Vasil'jevič.

Dai ottaa vähäzel päčin očaz hieroo käin nogeh. Proobuičči, sanoo:

— Kačo, kattilal särves ripuin, ga leiton on, en voinuh tavata. Kačo, kai käin hieroin nogeh. Nygöi pidää kiirehtää baaluh, toiči, — sanoo, — saammo.

Lähteih baaluh, ajettih. Baaluh ugoššeni loppih. Pappi veseldyi, ičelleh lyöö rindaa:

— Minuu gu eullus, ga ni tädä baaluu tüz ei oliz!

Papad'ju otvetoičči:

— Midäbo sinä tiijäd? Yhten kirikköih käyd da sie borbötäd vai. Vod gu Ivan Vasil'jevič zagranitsah käybi, ga i tiedää. Ivan Vasil'jeviččaa, izändy, gu eullus, ga ni minä tüz baaluz en oliz, eigo ser'gazet korvazis oldas! A kylvikattilaa räähkičemmo: tämä otti, tai otti, a kylvikattil tää on!

81. КУПЕЦ И ПОП

Был когда-то купец. У купца был сын. Сын стал ездить за границу. У хозяина был единственный сын. Он женил его. Потом остался сын после отца сиротой. У них были свои корабли, и он стал ездить за границу. Его жена осталась брюхатая.

Поп захотел иметь с ней любовную связь. Однажды молодуха осталась дома одна. Напротив жила старая старуха, вдова. Поп идет к той вдове поговорить, как устроить любовное свидание с молодухой. Старуха-вдова говорит:

— Я это устрою. Она осталась брюхатая, и я скажу ей, что надо привести попа, чтоб покаяться.

Вдова пошла к молодухе поговорить с ней. Вдова смотрит молодухе в глаза и говорит:

— У тебя от мужа остался неполный плод. Муж торопился уехать, и ребенок остался у тебя недоделанным.

Молодуха говорит бабушке:

— Как бы это можно исправить?

Бабушка говорит:

— Пригласи попа для покаяния, потом поп скажет, как можно поправить.

Она как сказала, молодуха и говорит:

— Иди позови попа для покаяния.

Приходит поп, коль бабушка позвала. Молодуха говорит батюшке:

— Батюшка, вот так и так, мне сказала бабушка вдова, что у меня неполный плод, как это можно поправить?

Поп говорит:

— Это не беда, поправимо, — поп говорит, — я тебе поправлю.

Потом поп стал дальше поправлять. Когда приделает руку, когда ногу, когда что-нибудь еще поправит. Проходит время, рождает молодуха сына. Сына до приезда хозяина не крестила, а ждала приезда хозяина. Приезжает хозяин домой. Хозяин берет ребенка на руки, достает карточку из кармана и говорит:

— Вот ребенок точно, как я!

А хозяйка отвечает:

— Да, как ты, как ты! Ты торопишься уезжать! Хорошо, поп исправил, не то бы родился на свет урод!

Он говорит:

— Молчи, жена, тебя обманул поп!

Устроил крестины хозяин сыну, приготовил бал. Он посылает кучеров за другими господами на бал, а за попом едет сам. Попадья начинает одеваться, хочет ехать вместе с ними. Купец говорит:

— Нет, матушка, я за тобой приеду снова, теперь неудобно ехать с батюшкой.

Попа отвез на бал. За попадьей опять снова приезжает. Попадья стала одеваться. Причесла на стол все украшения: кольца, серьги. Она ногу на стул ставит, штилеты и чулки на ноги надевает. Тем временем купец Иван Васильевич берет сережки и кладет себе в карман. Остальное надела попадья, хватилась серьги искать:

— Куда-то сережки пропали, теперь на балу не бывать!

Иван Васильевич говорит:

— Я, матушка, за границу ездил и слышал. Ты вот тут ногу поднимала на стул, чулки надевала на ноги, так у тебя серьги магнитом затянуло туда.

Она говорит:

— Ой, Иван Васильевич, нельзя ли их как достать обратно?

— Очень просто, коли только что прошли, так легко можно и достать. Ну, матушка, надо попробовать достать.

Попадья легла, Иван Васильевич пытается достать. Удил, удил, из кармана взял серьги и говорит:

— Вот одну и достал!

Вторую взял:

— Вот и вторую достал!

Попадья говорит:

— Еще котел из бани у нас пропал уж с год тому, не попал ли и тот туда?

— Можно попробовать, — говорит Иван Васильевич.

И мажет себе немножко руку сажей в печке. Попробовал, говорит:

— Смотри, за край котла держал, но далеко, не мог достать. Смотри, даже руку запачкал сажей. Теперь надо спешить на бал, в другой раз, — говорит, — достанем.

Отправились на бал, приехали. Пир стал подходить к концу. Поп был навеселе, бьет себя в грудь:

— Меня не было бы, так и бала здесь не было бы!

Попадья отвечает:

— Что ты знаешь? Только в церковь ходишь да там бубнишь. Вот Иван Васильевич как за границу ездит, так и знает. Ивана Васильевича, муж, как не было бы, так и я бы на этом балу не была, и сережки бы в ушах не висели. А насчет котла банного на людей грешим: тот взял, этот взял, а котел-то вон где!

82. ZOOKKUN PAPIS

Oli sie ennei keyhy mužikku. Perek suuri. Oli vai yksi lehmy, muudu ni midä. Ennen käydih kirikköä molimah. Akku ei peessyh lapsiz, a mužikku kävyi. Sie pappi kirikkös sanoo: «Kel yksi on, sil pidee ainovu andaa, sil jumal andaa kymmene mostu». A iče koojii da börböttää. Sid häi, mužikku, kodih tuli i sanoo akalleh:

— Hoi akku, andakka midä tahto papil, sid meil jumal andaa kymmene mostu. Andakka lehmy.

— Ole pon'az, midäbo ičel jeebi?

A muinoi sie Pedrun päivän aigah kävyi pappi taloloi myö, voidu keräzi. Tuli mužikan taloih pappi, a naine sanoo, što «meil ei ole ni midä andaa». A mužikku sanoo, što annammo lehmän, a akku sydii

«älä ehki viimesty lehmee anna». A mužikku sanoo papil, što «ei ole muudu ni midä andaa, ota aino lehmy. Otatgo?».

— Otan, poigani, ku andanet. Andakkah jumal sinul kymmene mostu.

Dai otti pappi. (*Vot oli žaadnoi, viimezen lehmän otti, papid, kačo, moized oldih.*) Akku-rukku pahas mieles istuu, itköö: ei ole lapsil ni midä syöttöö. A mužikku sanoo:

— Älä ehki zaboti, jumal andaa kymmene tilah.

Papin kuharku lehmäzed huondeksel lypsee, työndee meččäh, a illal ei ni tulla lehmäd. Lehmil räkki nouzi, poormad syödih, hyö juoksemah. A mužikan lehmy kodih dai ne kai hänel peräh.

Mužikku ikkunas kaččoo, sanoo:

— Hoi akku, huolita avata tanhudveräi, kačo jumal nygöi kymmene lehmee meil andoi.

— Ole tolkuz, nene papin lehmädhäi tullah!

— Olgah kenen tahto! Iče pappi häi sanoi, što jumal andaa kymmene tilah. Nygöi jongoi tullah, enhäi iče aja, jumal ajoo.

Akku lehmäd laski, lehmäd lypsi. Papin ečittih lehmii, ei löytä. Tullah mužikan luoh. Mužikku sanoo:

— Tee ollah, ga nene minul jumal andoi, ičehäi sanoid, što jumal andaa, minä ni midä en tiijä.

No olgah. Ennen sie suudoo ei olluh, a iče reedittihez. Pappi sanoo:

— Kumbane ennepäi hyvee huomendu kirrannoo, se i lehmäd soobi.

Mužikal on hörö peez. Häi jo illas papin koilluo menöö, kävelöö ymbäri pertis, kuikistelloo, konzu pappi liikkuu, štobi sanoo.

Kaččoo pappi, jo kuharku nouzi, päččih tuldu panoo. Kuharku nuori, čoma, räččin lyhyd, seered nägyy. Tuli pappi, kačo kuharkoo, alloi sebäilehtee, kupperehtoo — dai dielot piettih. Mužikku kaččoo: peezi pappi, lähti pertiz, a mužikku jo vastah:

— Hyvee huomendu, boot'uškul!

Pappi sanoo, što «minä olizin sanonnuh hedi, et sinä ehtin enzimäzekse».

— Ga minä, kačo, jo silloz olin ikkunan ale, konzu sinä kuharkanke Jerusaliimah ajoid.

Pappi hädävyi, sanoo:

— Ota lehmäd, mene kodihez, da ni käy älä tännepäi!

82. СКАЗКА О ПОПЕ

Жил там когда-то бедный мужик. Семья большая. Была у них только одна корова, больше ничего. Раньше ходили в церковь молиться. Жена не могла уйти от детей, а мужик ходил. В церкви поп говорит: «У кого хоть что-нибудь есть, надо отдать последнее, тому бог даст десять таких же». А сам кадилом машет и бормочет. Вот приходит мужик домой и говорит жене:

— Хой, жена, давай отдадим что-нибудь попу, тогда нам бог даст в десять раз больше. Отдадим корову.

— Да ты в уме ли, а что себе останется?

Ходит там поп в петров день по домам, масло собирает. Приходит в дом к мужику, а жена говорит, что «у нас нечего дать». А мужик говорит, что «отдадим корову», а жена толкает его в бок: «Последнюю корову-то хоть не отдавай». А мужик говорит попу, что «нечего больше дать, возьми единственную корову. Возьмешь ли?».

— Возьму, сынок, если отдашь. Пусть бог тебе воздаст вдесятеро.

И взял поп. (Вот был жадный, последнюю корову взял, попы такие и были.) Жена бедная сидит горюет, плачет, нечем детей кормить. А мужик говорит:

— Не печалься, бог даст десять вместо одной.

Поповская кухарка утром подошла к коров, отправила в лес, а вечером коров и не слышно. Коровам жарко стало, напали оводы, они и побежали. А корова бедняка прямо домой, и остальные все за ней.

Мужик в окно смотрит и говорит:

— Хой, жена, беги открывай ворота в хлев, смотри, бог теперь нам десять коров дал.

— Ты в уме ли, это же поповские коровы идут!

— Чьи бы ни были! Поп же сам сказал, что бог даст десять вместо одной. Вот они уже и идут. Не я же их гоню, а бог посылает.

Жена коров впустила, коров подошла. От попа пошли искать коров, нет нигде. Приходят к мужику. Мужик говорит:

— Здесь они, но их нам бог послал. Сам же ты [поп] сказал, что бог даст. Теперь я ничего не знаю.

Ну ладно. Судя тогда не было, сами ридились. Поп говорит:

— Кто из нас первым скажет доброе утро, тот и коров получит.

У мужика забота. Он уже с вечера идет к поповскому дому. Ходит вокруг избы, ждет, когда поп поднимется, чтобы сказать.

Смотрит поп — кухарка уже встала, печь растапливает. Кухарка молодая, красивая, рубаха на ней короткая, ноги голые. Вышел поп, смотрит на кухарку. Стал ее обнимать, прижимать. Мужик смотрит, что оправился поп, выходит из избы, он попу навстречу:

— Доброе утро, батюшка.

Поп говорит:

— Я бы вот-вот сказал, не ты первый.

— Да я ведь, вишь, уже тогда был под окном, когда ты с кухаркой в Ерусалим ездил.

Поп испугался, говорит:

— Забирай коров, иди домой и больше не появляйся здесь!

83. PAPPI

Vot hyvä-horošo, lähti ennen pappi kazakkoa eččimäh. Nowzi hevol selgäh i ajaw dorogoa myö. Tulow mužikku vastah.

— Drastui, boat'ušku!

— Drastui!

— Kunne, boat'ušku, menet?

— Menen kazakkoa eččimäh!

— Ota minu.

— Mi on nimi?

— Niikoi.

— Ei peä minul Niikoloi, — i pappi lähti ielleh dorogoa myö ajamah.

A Niikoi meččeä myö d'uoksi i d'ärielleh papil vastah:

— Drastui, boat'ušku, kunne ajat?

— Ajan kazakkoa eččimäh!

— Ota minu.

— Mi on sinul nimi?

— Nimi — Niikoi.

— Ei peä minul Niikoloi, — i lähti ielleh ajamah.

A Niikoi taas d'uoksi ymbäri meččeä myö i kolmanden kerran tulow papil vastah.

— Drastui, boat'ušku, kunne menet?

— Menen kazakkoa eččimäh.

— Ota minu.

— A mi on sinul nimi?

— Nimi on Niikoi.

— Ga hyvin teäl moal on Niikoiloi!

— Meijän moal — ota minu libo älä — kai on Niikoi nimellizet.

— Ga siit en lähte heboo ajelemah, otan sinun. Äijängo otat vuvves?

— Sovimmo, — sanow kazakku, — min andanet, sen i otan!

Mendih hyö kod'ih. Pappi syötti, d'uotti, i ruvettih hindoa loadimah.

— Minä, — sanow kazakku, — en äijeä ota, vai kolme plikkuv vuvves!

Pappi ihastui.

— Tämä, kačo, on mies olluh, — sanow papad'd'al. — N'enga huogehel rubiew olemah.

No mugai loaittih hindu. Kazakku rubei sluwžimah Sluwžiw, roadaw, aivin kzyzyw:

— Midä, boat'ušku, roan?

Kazakku rubei tävvel sydämel roadamah, ga pappi d'o ei voi ni roavol täytteä. Pappi primiettiw, kui kazakku roadaw. Kaččow, kazakku hos min d'ygien ottanow, ga kebd'ei on kai. Pappi d'o varajamah rubei, d'o emändän kel pagizow siä, tolkuiččow:

-- Eäre hävitteä pideä kazakku, — tolkuijah keskenäh.

Kazakku kyzyw:

— Midä, boat'ušku, tänäpäi roan?

— Ga tänäpäi pidäw häkki iškä, — sanow pappi. — Kuwzi vuottu syöttimmö, d'o syöndän heitti, menöw pillah. Mene sinä nosta häkki sarail, a minä sil aigoa pal'l'an varustan iškä.

Kazakku meni kon'ušših, tabai häkin sarves i veätti sarail. Pappi da papad'd'u sidä d'ieluo kačotah ikkunah. Pappi tuli, pal'l'an keski sarajanlattiel lykkäi, iče d'ärilleh pertih. Kazakku kirgai:

— Tule, boat'ušku, tännel

Tuli sih pappi. Kazakku sanow:

— Tule, boat'ušku, piä sarves häkkii, a minä iškän.

— En tule, Niikoi-poigu, en: sinä midä voinnet roa, pal'l'u nečis on!

Niikoi sanow:

— A midäbo pal'l'oi täl pidäw, — iče plikkai oččah häkkii kerran, häkki sih kipsahtih.

Nägi sen pappi, ga vie ielleh hänel vačču täwdyi. Häkki se puwtui iškä, lihat suolattihi kai hyvin. Papil da papad'd'al on vačat tävvet, hyö Niikoidu varatah, i aivin hävitteä duwmaijah. Niikoi opät' kyzyw papil:

— Midäbo tänäpäi, boat'ušku, roan?

— Ga nečis aijas rawdazet vorotat ollah, ota täs suičet i tuo hebo kodih. (A se oli kondii.)

Meni kazakku vorotoin luo, kaččow: tämä hebo ewle nämih suiččih otettavu. Häi meni pajah i laitutti ravvas suičet, sadulin i pletin. Niijen kel meni sinne, vorotat avai i lähäni kondieh päi. Kondii suwn avai, vai hawkata händäh, ga kazakku oččutukis tabai, nirzat moah painoi i sil välil suičet peäh sydäi. Siit veätti vorotoil, sidoi kiini i sadulin selgäh pani. Hyppi da kopsi siit kondii, ga d'owdi, lujih kähzi puwtui. Siit selgäh nowzi i davai aijas ajelemah, davai lyömäh da uččimah. Kaččow, d'ongoi rubei händy kuwndelemah da ellendämäh, ku kirguaw: «tpru» — i seizattu, ku kirguaw «nu-u-u» — i lähtöw juoksemah, a iče aivin pletil selgäh andaw. Kaččow, što d'o hyvin kuwndelow, siit avai vorotat i lähtöw kodih ajamah. Ajoin papin pihal, hevön paččahah siivaldi, d'uoksi pertih.

— Nu, kunnebo, boat'ušku, hevön panen?

Pappi muga pöllästy, ga toizien heboloin keskeh työndeä käski. Häi i työndi. Meni d'uottamah, ga d'o papin hevot höwrytäh, tappanut kai kolme. Tulow kazakku pertih, sanow:

— Boat'ušku, sinun hevot kai on koadunuot, vai höwrytäh, yksi vai minun hebo on d'alloilleh.

— Nečis ku yhteh panimmo, — sanow pappi, — eriže pideli panna.

— Ga kui, boat'ušku, kaskiit, ga muga i paniin.

Pappi da papad'd'u keskenäh d'iivindellahes:

— Ku häkin käis pidi, dai kondies vallan otti, ga nygöi tappaw i meijät.

I hyö vie duwmaijah työtä händy kalah moizeh d'ärveh, kus kolmelkymmenel sytel vedehiine hengeli d'ärveh ottaw. Kazakku val'lastaw kondien delegäh, ottaw kirvehen keral i lähtöw. Menöw. Rubiew vedämäh sinne, häi vie teriämbäh juoksow hongan luo i davai leikkuamah, iče lugow:

— D'ärven rupitan, vedehizen riputan.

Vedehiine kuwli, tuli hänen luo i sanow:

— Midä sinä, nengaleite čakkuat minu w da riputtoa tahtot?

— A sidä, — sanow, — kaloa pideä, kalat mene tuo kai d'ärves, što b! kai kalat oldas rannas!

Vedehiine hyppäi d'ärveh, kalat kai ajoi randah.

— Vot, — sanow, — kai kalat täs ollah!

— Nu, gruwzi delegäh, — käsköw vedehiizel.

Vedehiine rubei gruwzimah, a sil keskie vie kala hyppäi d'ärves.

— Kačo, — sanow kazakku, — vie kaloa d'ärveh däl!

— Ca lapsil keitteä dätteliin kolme kaloa, — sanow vedehiine.

— Ni midä, — sanow, — i net mene tuo!

Vedehiine hyppäi i net kalat toi. Kalat gruwzie puwtui delegäh.

— Nu vot, — sanow kazakku vedehezeli, — ištöi laijal heboo ajamah, — a iče istuihes peräh.

Vot ajettih papin pihal. Vedehizen kaloin kel d'ätti pihal, a iče juoksi pertih.

— Kunne, boat'ušku, kalat panen? Kalat sain.

Pappi hänelleh vastai:

— Pane sarail, aja delegän kel sarail.

Sarail ajettih, i vedehizen pani kaloa puhkoamah. Kolme sorokovoidu pučči rod'ih kaloal Papil ni mi ewle mielädy myö, ni mih ei ihaustu, aivin vai duwmaiččow, ku vois mil hävitteä kazakan. Papad'd'an kel paistah keskenäh:

— Nygöi ni mil muwl ei hävie, nygöi pideä työtä valgieh soarih velloilleh, valgei soari sinne hävittäw.

Kazakku kyzyw hänelleh:

— Midäbo nygöi, boat'ušku, roaduo annat?

— Vot, — sanow, — valgei soari otti minus kolme sadoa vellakse, mene kävy velloilleh!

Häin kondien val'lahih, vedehizen laijal — i lähtieh ajamah. Ajettih soarin dvorčah, hevön sivaldi vorottoih i vedehizen d'ätti karaulimah. Händy sinne časovoit laskemah ei ruvettu, häi veräidy potkai ielleh. Menöw toizih dežurnoloih, kolmandih, yksikai kaikis ielleh menöw. D'älgimäizeh dežurnoih meni:

— Nu, kudas komnatas soari eläw? — kyzyw hänel.

— Nečis eläw, — ozutti saldattu, i häi meni sinne.

Sinne menöw soarin komnattah, zdorovkaiittihs.

— Nu, midä, poigane, tuliit? — kyzyw soari.

— A tuliin velloilleh, täs bumoa, — sanow kazakku.

Kačo soari bumoa i n'evvoi:

— Mene sed'moih nomerah, sie annetah sinul vellat.

Häi meni sinne, avai uksen, kolmepeähine zmiä hyppäi hänel vastah — vai hawkata. Häi kaiken sen trepaičči. Astuw d'ärilleh soarin luo, sanow:

— Vot, valgei soari, miittumah tilah työnnit velloilleh, syödäväkse, ga nygöi iče syöjät ollah valmehet!

Meni soari kaččomah — ga tozi.

— Vot, — sanow soari, — kirjah ku et malta, ga ni nomeraa et tunne. Ei pideli sih nomerah mennä.

— Ga menen minä i toizeh, — sanow kazakku, — anna vai bumogu.

Soari bumogagan kirjutti i toizeh nomerah nevvow. Menow toizeh nomerah kazakku, avuaw uksen, ga sie kuwzipeähine zmiä häneh hyp-päi — vai ku hawkata. Häi kaiken sen trepaičči. D'ärilleh astuw soarin luo, sanow:

— Vot, valgei soari, kui sinä velgoi maksat, syödäväkse työnnit, ga syöjät nygöi iče valmehet ollah!

Sit soari rupei velgoi maksamah, varavui — vai peätä hänes eäre. Kuwzi sadoa andoi, sanow:

— Kolme sadoa velgoa oli i kolme sadoa procenttoa annan d'engoin piendeä.

Ajoi häi d'engoin kel kodih. Ajetah d'ärven kohtassah, i vedehizel sanow:

— Mene kodih.

Vedehiine ihastuksis hyppäi d'ärveh. Niikoi-kazakku ajoi papin kodih, vellat toi, sanow:

— Kolme sadoa andoi vellat i kolme sadoa andoi procentat.

Opäi' pappi duwmaiččow papad'd'an kel:

— Ni kunne ku ei häviä, neče on cuwdoi Nygöi ičel pideä koiš pajeta, hyllätä hänel kodi.

Hyö varustetah mollettiloil šallut, pannah sinne evästy vähäise i d'engusuma šalguh kriepitäh. Kazakku tiedaw, što lähtieh eäre pagoh, i häi meni papin šalguh. Vot i yöl nostih, tietäh — nygöi kazakku uinoi muata, šallut selgäh i davai pagenemah eäre. Hyö d'uostah, d'uostah, varatah, ku ei tabuas heidy, väzyttih äijäl.

— Davai huogavummo, — sanow pappi papad'd'al.

Dai kazakku lasketti:

— Dai minä huogavun.

Hyö ielleh d'uoksemah. D'uostih, d'uostih, opäi' i väzyttih.

— Davai huogavummo, — opäi' sanow pappi papad'd'al.

— Dai minä huogavun! — sanow kazakku.

Hyö ielleh d'uoksemah. I kolmas kerdu terväh d'uostih pieneh d'är-virandah.

— Nygöi-taki tänne ei tule, — sanow pappi papad'd'al, — davai täs huogavummo.

— I minä huogavun, — laskettaw kazakku.

Hyö muwdu ni midä ei voidu, ku vai hypättih vedeh: «Ehki omin kâzin surmu roih, yksi-kai meijät tappaw!».

A kazakku keräi d'engat i lähti kodih i vie nygöi nechie eläw bohatannu.

83. ПОП

Вот добро-хорошо, пошел как-то поп работника искать. Сел на коня и едет по дороге. Идет навстречу мужик.

— Здравствуй, батюшка!

— Здравствуй!

— Куда, батюшка, едешь?

— Еду работника искать.

— Возьми меня.

— Как тебя звать?

— Нийкой.

— Не надо мне Нийкоя, — и поп поехал дальше по дороге.

А Нийкой побежал вперед по лесу и обратно попу навстречу:

— Здравствуй, батюшка, куда едешь?

— Еду работника искать.

— Возьми меня.

— Как тебя зовут?

— Зовут Нийкоем.

— Не надо мне Нийкоя, — и поехал дальше.

А Нийкой опять пробежал по лесу и третий раз встречается попу.

— Здравствуй, батюшка, куда едешь?

— Еду работника искать.

— Возьми меня.

— Как тебя зовут?

— Зовут Нийкоем.

— Много же в этом краю Нийкоев.

— В нашей местности — хочешь возьми меня, хочешь нет — всех зовут Нийкоями.

— Ну, тогда не буду лошадь гонять, возьму тебя. Сколько возмешь за год?

— Договоримся так, — говорит работник, — что дашь, то и возьму.

Пришли они домой. Поп накормил, напоил [работника], и стали они о плате договариваться.

— Я, — говорит работник, — много не возьму, только три щелчка за год.

Поп обрадовался.

— Вот это мужик, — говорит попадье. — За такую плату согласился.

Ну, так и договорились. Стал работник служить. Служит, работает, все спрашивает:

— Что, батюшка, мне делать?

Работник стал работать от всей души, так что поп не может на него работы напасть. Поп примечает, как работник работает. Видит: работник за какую бы тяжесть ни взялся, а все легким кажется. Поп уже стал бояться, уже там с хозяйкой говорит, толкует ей:

— Надо известить работника, — толкуют между собой.

Работник спрашивает:

— Что, батюшка, мне сегодня делать?

— А сегодня надо быка забить, — говорит поп. — Шесть лет кормили, уже есть перестал, ожирел, может пропасть. Поди ты, приведи быка на сарай, а я тем временем кувалду приготовлю, чем убить.

Работник пошел в конюшню, взял быка за рог и повел на сарай. Поп и попадьа смотрят на это из окна. Поп пришел, кувалду бросил на середину сарая, сам обратно в избу. Работник крикнул:

— Иди, батюшка, сюда!

Поп пришел. Работник говорит:

— Иди, батюшка, поддержи быка за рог, а я ударю.

— Не приду, Нийкой-сын, не приду, ты делай, что знаешь, кувалда вон тут!

Нийкой говорит:

— Какая тут еще кувалда нужна!

Сам щелкнул быка раз по лбу — бык тут и свалился. Увидел это поп, и еще больше стал он бояться. Быка закололи, мясо посолили хорошенько. У попа и попадьи сердце не на месте, они боятся Нийкой и все думают его известить. Нийкой опять спрашивает у попа:

— Что мне сегодня, батюшка, делать?

— Вон там в загородке, где железные ворота, конь: возьми уздечку и приведи домой. (А это был медведь.)

Пришел работник к воротам, смотрит — эдакого коня не этой уздечкой взуздать. Он пошел в кузницу и велел сделать из железа уздечку, седло и плет. С этой сбруей пошел туда, ворота открыл и пошел на медведя. Медведь пасть раскрыл, чтобы его схватить, а работник за челку его схватил, голову к земле пригнул и тем временем уздечку надел. Потом повел к воротам, привязал его и накинул седло. Прыгал и скакал тут медведь, но что поделаешь — в крепкие руки попал. Потом [Нийкой] на медведя сел и давай в загородке ездить, бить да учить. Смотрит, уже стал его слушаться и понимать, когда крикнет «тпру» — останавливается, когда крикнет «ну-у-у» — побежит, а сам [Нийкой] плеткой по спине хлещет. Смотрит, что уже хорошо слушается, потом открыл ворота и поехал домой. Приехал на поповский двор, коня к столбу привязал, прибежал в избу.

— Ну, батюшка, куда коня поставлю?

Поп так испугался, что велел поставить с другими лошадьми. Он туда и поставил. Пошел поить [коней], смотрит — от поповских лошадей только пар идет, всех троих задрал. Пришел работник в избу, говорит:

— Батюшка, все твои лошади пали, только пар идет, а один только мой конь на ногах стоит.

— Видишь, вместе как поставили, — говорит поп, — надо было врозь поставить.

— Как, батюшка, приказал, я так и сделал.

Поп и попадья между собой дивуются:

— Быка одолел, над медведем верх взял, теперь и нас убьет.

И они задумали послать его удить рыбу на такое озеро, где водяной за тридцать сажень своим дыханием в озеро притягивает. Работник запрягает медведя в телегу, берет топор с собой и отправляется. Приезжает, Его начинает тянуть туда [в озеро], он скорее бежит к сосне и давай рубить, сам приговаривает:

— Озеро наморщ, водяного повешу.

Водяной услышал, подошел к нему и говорит:

— Что ты меня так ругаешь и повесить хочешь?

— А потому, — говорит, — что рыбы надо, иди принеси всю рыбу из озера, чтобы вся рыба была на берегу!

Водяной прыгнул в озеро, всю рыбу пригнал на берег.

— Вот, — говорит, — вся рыба тут.

— Ну, нагружай на телегу, — приказывает водяному.

Водяной стал нагружать, а тем временем в озере рыба плеснулась.

— Смотри, — говорит работник, — еще в озере рыба осталась.

— Да хотел было оставить три рыбины, детям сварить, — говорит водяной.

— Никаких, — говорит, — и те сходи принеси.

Водяной прыгнул [в озеро] и ту рыбу принес. Нагрузили рыбу на телегу.

— Ну вот, — говорит работник водяному, — садись на грядку телеги конем править — а сам сел сзади.

Вот приехали они на поповский двор, водяного с рыбой оставил на дворе, а сам прибежал в избу.

— Куда, батюшка, рыбу положить? Рыбу достал.

Поп ему ответил:

— Клади на сарай, въезжай с телегой на сарай.

На сарай заехал и водяного посадил рыбу чистить. Три соровых бочки вышло рыбы! А попу ничто не по душе, ничему не рад, все только думает, как бы работника известить. С попадьею разговаривают:

— Теперь ничем не известить, теперь надо послать к белому царю за долгом, белый царь его изведет.

Работник спрашивает у него:

— Какую теперь, батюшка, работу дашь?

— Вот, — говорит, — белый царь взял у меня триста рублей в долг, съезди за долгом.

Он медведя запряг, водяного — на грядку телеги, и поехали. Приехали к царскому дворцу, коня привязал к воротам и водяного оставил караулить. Его туда часовые не пускают, он калитку толкнул ногой и прошел дальше. Прошел мимо вторых дежурных [так!], мимо третьих, мимо всех проходит. Подошел к последнему дежурному:

— Ну, в какой комнате царь живет? — спрашивает у него.

— Вот тут живет, — показал солдат, и он пошел туда.

Зашел туда в комнату царя, поздоровались.

— Ну, зачем, сынок, пришел? — спрашивает царь.

— А пришел за долгом, вот бумага, — говорит работник.

Взглянул царь на бумагу и посоветовал:

— Зайди в седьмой номер, там тебе выдадут долг.

Он туда пошел, открыл дверь — трехголовый змей выскочил ему навстречу, уже хотел съесть его. Он [Нийкой] его всего истрепал. Идет обратно к царю, говорит:

— Вот, белый царь, в какое место ты меня послал за долгом, на съедение, а теперь сами едоки уже готовы [мертвы].

Пошел царь посмотреть — и правда.

— Вот, — говорит царь, — читать как не умеешь, так и номеров не знаешь. Не надо было в тот номер заходить.

— Я и в другой пойду, — говорит работник, — дай только бумагу.

Царь бумагу написал и рассказал, как идти в другой номер. Идет работник в другой номер, открывает дверь, а оттуда шестиглавый змей на него выскочил — готов уже съесть его. Он [Нийкой] всего его истрепал. Обратно идет к царю, говорит:

— Вот, белый царь, как ты долги отдаешь, на съедение посылаешь, а едоки теперь сами уже готовы.

Тогда царь сам отдал долг, испугался — только бы от него избавиться. Шестьсот отдал, говорит:

— Триста было долгу, и триста даю процентов за то, что деньги держал.

Поехал он с деньгами домой. Подъезжают к озеру, водяному и говорит:

— Иди домой.

Водяной, обрадованный, прыгнул в озеро. Нийкой-работник приехал в поповский дом, долг отдал, говорит:

— Триста отдал долгу и триста дал процентов.

Опять поп с попадшей раздумывают:

— Нигде не пропадет, вот так чудо! Теперь самим придется из дому бежать, ему дом оставить.

Они готовят для обоих мешки, кладут туда еды немного и сумку с деньгами привязывают. Работник знает, что они собрались бежать, и он забрался в мешок попа. Вот и встали ночью,

знают — теперь работник уснул, мешки за плечи и давай бежать. Они бегут, бегут, боятся, как бы не догнал их, устали очень.

— Давай отдохнем, — говорит поп попадье.

Работник тоже говорит:

— Да и я отдохну.

Они дальше бежать. Бежали, бежали, опять и устали.

— Давай отдохнем, — опять говорит поп попадье.

— Да и я отдохну, — говорит работник.

Они дальше бежать. И в третий раз прибежали на берег маленького озера.

— Теперь уж не прибежит, — говорит поп попадье, — давай тут отдохнем.

— И я отдохну, — говорит работник.

Им ничего не осталось, как прыгнуть в воду: «Хоть по своей воле смерть примем, все равно нас убьет».

А работник забрал деньги и пошел домой, и еще поныне живет там богато.

84. BOHATTU I KEWHY VELLI

Oli sie ennen kansi vellesty, yksi oli kewhy, toine oli bohattu. Bohatal oli II'ä nimi, a kewhāl oli Ol'eksi. Kewhāl ku kevät tulow, heinät lopit-tihezē, a vellekset molletit oldih tyräperziet. Kewhy menōw bohatan vel-len luo, sanow:

— Anna, veikoi, heinie hos takku.

A bohattu sanow:

— Mene iäre, ei rodei ni miituttu heiniä, sinul hebo hos töllökkäi.

Kewhy tulow kodih, Ol'eksi, i akalleh sanow:

— Nunga sanoi II'ä veikoi: sinun hebo hot' töllökkäi nälghä. Nygöi pidāw hot' dorogoi haravoiimah libo suabransijuo.

Lähti, otti haravan haravoida dorogoi, suabransijuo. Menōw niitule. Keskiniiitul on ojaine. Rubei harpuamah ojas piälēci, ojah upponow, kai štanit kastuw. Nowzi sie mužikku ojas: pidāw kuivata štanit, eiga roih vilu. Hain päivāh päi perzien myl'čisti i pidāw perzetty. Kačcow, juok-sow karun brihačču juwri mužikkah kohti. I rubei sidā karun brihačču tyrie opitlemah: «Tämä on den'gukukkaro». Ottaw brihačču tyrän leik-kuaw iäre i lähtōw kodih tuattah i muamah luo:

— Kačoi vai, tati da mami, minä den'gukukkaron löwdin.

Tuattah da muamah rubettiḥ kačcomah sidā kukkaruo. Sanotah:

— Tämä on tyrä. Tämä tyrä huomei vie endizeh sijah, kus i otit. Durakkuo elä val'aice, mikse otit mužikal tyrän.

A se kewhy mužikku otti da kodii i lähti brityuamah, ylen kebie rodei matkata. Bohatan pihuo myō astuw, velles pihal halguo halgow. Bohattu sanow:

— Kus olit, tyräperze?

A kewhy sanow:

— Toinai ewle tyriä, kačo vai gal

Bohattu velli sanow:

— Oi velli, kunna sinä paniit tyrän, n'evvo mille, kui tyrä hävittiä.

A kewhy velli sanow:

— Oho, n'evvon, ga ku andanet heinie rien, ruistu huavon, siid äski n'evvon.

— Annan, veikoi, ota mi tahto.

Kewhy velleh hevон val'astaw, ajaw bohatan vellen luo saraille, i pannah regi ylen suwri i ajaw omale saraille rien. I ottaw ruistu huavon — bohattu velleh andaw. Siid kewhy velles ihastui: «Nygy piäzöw kezäh hebo, dai iče piäzemmö kagrua kylvämäh». Tulow bohattu velli Il'lu Ol'ošan luo.

— Veikoi, nygy n'evvo mille, kui tyräs piästä.

— Nygy kačo, n'evvon, minun hiäs piästit. Huomei huondeksel nowzet maguamas, ota haraw kädeh, astu niitule — keskiniitul on ojaine. Ojajelluo mennet, ojaizeh uppone tyrihsah vedeh. Kastu hyvin. Nosset ojas, päiväh päi perze kirkota. Siid brihačču tulow. Brihačču tullow, hot' midä ruadannow, virka ni midä älä.

Brihačču tuatto da muamo nostatettih aijoin, štobi tyrä oliz viedy endizelleh. Brihačču lähtöw tyriä viemäh. Tulow mužikan bohatan luo, tyrän tartuttaw bohatale mužikale, bohattu Il'lu ni midä ei virkä. Brihačču tartutti ylen hyvin i kodih lähti. Mužikku pidi perzetty päivah päi lähempi ehtua. Duwmaiččow: «Pidäw lähtie kodih nygy». Rubei štaniloi jalgah nostamah — ei tyrät synnytä kuadieloih. Bohattu mužikku itkuu röngähtih. «Kačo, midä luadi, oli endine tyrä tobd'u, nygy vie toine puwtui sille piäle». Lähtöw kodih päi astumah, ei voi ni kunna päi astuo kahten tyrän kere. Odva vaigu kodih tuli (lyölöitti?!). Toine velleh ikkunas kaččow, kewhy. Tuli ikkunoin ual, sanow:

— Midä, veikoi, piäzidgo tyräs?

— Midä, — sanow, — piäzin, toine tyrä puwtettih, nygy on kaksi tyriä.

Kewhy velles sanow:

— Bohatale kaksi i pidäw, yhtes tyräs ni midä.

Rubei bohattu velli čakkuamah:

— Kačo, heinyrien muanitit, ruistu huavon i tyrän mille andoit.

Kuibo minä nygy kävelen lopun igän?

Kävelöw lopun igän. Kewhy piäzi i eläw hyvin.

84. БОГАТЫЙ И БЕДНЫЙ БРАТ

Было там когда-то два брата, один был бедный, другой был богатый. Богатого звали Илья, а бедного — Алексей. Когда весна настала, у бедного сено кончилось. А братья оба были киластые. Бедный идет к богатому брату, говорит:

— Дай, братец, сена хоть охапку.

А богатый говорит:

— Уходи прочь, не будет тебе никакого сена, пускай хоть околеет твоя лошадь.

Бедный, Алексей, приходит домой и жене говорит:

— Так сказал брат Илья: пускай хоть околеет твоя лошадь с голоду. Теперь придется пойти собирать сено хоть на дорогах, либо по одоньям стогов.

Пошел, взял грабли, чтобы собирать сено на дорогах, по одоньям стогов. Идет на луг. Посредине луга есть ручеек. Стал перешагивать через ручеек, в ручеек упал, штаны себе промочил. Вышел мужик из ручья: надо штаны высушить, не то холодно будет. Он стал к солнышку задом. Смотрит — бежит сын черта прямо на мужика. И подумал сын черта про килу: «Это кошелек с деньгами». Взял мальчик килу отрезал и идет домой к отцу и матери:

— Посмотрите-ка, папенька и маменька, я кошелек с деньгами нашел!

Отец и мать стали рассматривать этот кошелек. Говорят:

— Это кила. Эту килу завтра отнеси на прежнее место, откуда взял. Не валяй дурака, зачем взял у мужика килу?

А этот бедный мужик пошел быстро домой, очень легко стало идти. Идет по двору богатого, брат во дворе дрова колет. Богатый спрашивает:

— Где был, килач?

А бедный говорит:

— Больше нет у меня килы, посмотри-ка!

Богатый брат говорит:

— Ой, братец, куда ты дел килу? Посоветуй мне, как от килы избавиться.

А бедный брат говорит:

— Ого, посоветую, только если дашь воз сена, мешок ржи — тогда только посоветую.

— Да, братец, возьми что хочешь.

Бедный брат запрягает лошадь, въезжает на сарай богатого брата, и накладывают вдвоем большой воз сена, и едет на свой сарай. И берет мешок ржи — богатый брат дает. Тут бедный брат обрадовался: «Теперь дотянет лошадь до лета, да и сами сможем овес посеять». Приходит богатый брат Илья к Алеше.

— Посоветуй теперь мне, брат, как от килы избавиться.

— Теперь, смотри, посоветую, когда меня из беды выручил. Завтра утром, как только встанешь, возьми грабли в руки, иди на луг — посредине луга есть ручеек. К ручейку подойдешь, в ручеек упали задом. Промокни хорошенько. Как встанешь из ручья, к солнышку задом встань. Тут придет мальчишка, чтобы ни делал, ничего не говори.

Мальчика отец и мать разбудили рано, чтобы кила была отнесена на свое место. Мальчик отправляется с килой. Приходит к богатому мужику, приставляет килу богатому мужику, богатый

Илья ничего не говорит. Мальчишка приставил очень хорошо и пошел домой. Мужик сидел так почти до вечера. Думает: «Надо теперь пойти домой». Стал штаны натягивать — две килы не вменяются в штаны. Богатый мужик разревелся: «Смотри, что надедал, — была своя кила здоровая, теперь еще и другая стала!». Направляется к дому, не может никуда идти с двумя килами. Едва-едва домой пришел. Другой брат, бедный, в окно смотрит. Проходит под окнами [богатый], говорит [бедный]:

— Что, братец, избавился от килы?

— Что ты, — говорит, — избавился! Другую приставили, теперь у меня две килы.

Бедный брат говорит:

— Богатому две и надо, с одной-то что!

Стал богатый брат ругаться:

— Смотри, воз сена выманил, мешок ржи, а еще килу мне дал.

Как же я теперь до конца жизни ходить буду?

Так и ходит весь свой век. Бедный избавился и живет корошо.

83. KÖYHY MUŽIKKU

Vot on sie enne köyhy mužikku. Häi sie papis ruadau da bohattu rinnal on, sie ruadau, lapsii syöttelöy, Pappih menöy, sanou:

— Edgo, buat'ušku, andas vähästy vellakse d'auhuo, libo leibiä?

— Annan, — sanou, — ku huomei lähtenet prihodah minun kel podvodah.

— Ca lähten, — sanou, — et silleh ole, ku pidäy.

— Midäbo, — sanou, — minui pidäy sie tuyva sinulles?

— A olgie keriammö, — sanou, — olgie tuot kodih.

Dai lähtietäh tossu piän, dai mennäh sinne kyläh. Päivän d'uou pappi viinua, a mužikku nälläs vai kolvottau, eigo syötetä talois, eigo midä. Naizen kel siit yön kaiken taskaiččih pappi, huondeksel lähtietti prihodua myö. Erähäh taloih mennäh, talois piävytäh kylmil toizeh taloih. I nägöy emändy, što pappi menöy heile i d'uoksou sie:

— Buat'ušku, vuota avuan pertin.

— A en mene pertih, tuo kokoit täh, — sanou pappi, iče nojuau puutukkuu vaste humalas.

Dai mučoihut tuou käksi kokoihuttu:

— Älä, buat'uškaini, ota, lapsil ildaizekse ei diä.

A pappi podvoššiekal sanou:

— Pane huavoh, — a ičelleh silmät ummes.

Siit vill'ua keräi kaikes kyläs dai olgie.

— Pane regeh, — sanou mužikal.

Mužikku-rukku kolme kerdua kävyv yhteh poltinah, poltinan riädi podvodas. Olled net ku vedi, ga pappi andoi mužikal leibiä puolen puodua poltinah.

Nu händy bohattu kučču ruadoh:

— Tule, — sanou, — Jehim poigu ruadoh.

— Tuliziin, — sanou, — anna siit lapsirukil midä tahto syvvä, d'o toine päivy ei syvvä.

Ei anna hänel. Mužikal moine rodih abei, pihal lähti, kynn'älet hyppäi silmis, ni kunne ei koskiettuhes. Tossu piän lapset pakiččemah työndi. Lapsirukat sie suadih kolme pärpäččysty. Kaksi syvväh lapsien kel sie huondeksel, a kolmanden ottau mužikkku keral, lähtöy pelduo kyndämäh. Tulou hänel murginaigu, hevön työndäy syömäh, dai iče hua-vuau ruveta syömäh pärpäččysty.

— A vien, — sanou, — kodih lapsil.

Menöy kodih, pärpäččyizen sen vey, ga lapset suadu vie kaksi-kolme palastu. Kolme päiviä taluu pärpäččysty, ei targie syvvä, ainos nälläs kyndäy. Lähtöy nelländenny piän, op'at' ottau keral. Menöy sinne meččäh da varbaizeh sidou paikkazeh. Kyndäy iče, a sil aigua tulou karun brihačču da pärpäččyizen varrastau hänelleh. Häi ku murginal tulou sih, kaččou, ga eule pärpäččysty, ni paikkastu. Moine paha mieles hänel roih. Nouzou hevol selgäh da lähtöy kodih iäre. Dostalin illan nuorastu punou, sanou:

— Riputašmos, enämbi en voi eliä.

A se karun brihačču ku menöy, ga:

— Hoi, tuatto, — sanou, — tänäpäi mužikal otiin pärpäččyizen.

— Eigo, — sanou, — sinul bohatembua olluh, nečil mužikal otiit dostalin pärpäččyizen. Kačo, — sanou, — nygöi mužikkku nuorastu punou, ičelleh surmua azuu. Mene vai nygöi mužikal kazakakse vuvvekse.

Dai työndäy karulaïne poiian mužikal kazakakse vuvvekse. Dai brihačču tulou mužikan luo sen. Tuli, ga mužikkku kak ras loppi nuoraizen punoi, dai punaldai sarail brihačun aigah.

— Diäd'ö, — sanou, — kunne lähtet?..

— Lähten, — sanou, — sarail kävyn.

— Älä vai lähte, pagizemmo. Tuatto sinun luo työndi kazakakse.

— Kui, — sanou, — sinun kazakakse otan, kačo, lapset näl'giä itkietäh, dai iče d'o nelli päiviä en syö, yksi pärpäččyine oli, dai se varrastettih. Voinnet näl'giä tirpua, ga minun täh ole.

— Nu, emmo rubie näl'gäh, suammo eluo, diäd'ö.

Dai huondeksel lähtietäh brihačun kel.

— Lökkä vai, — sanou, — podr'uadan otammo nečie.

Dai hebo val'astetäh, dai lähtietäh linnal sinne. Mennäh linnal sinne, ga sie bohattu podr'uadau tariččou kuda kel gi:

— Ettogo ota d'auholoi vediä?

— Diäd'ö, — sanou, — ota podr'uada sinä nečis. Ota ielleh, hos paha hebo ollou, ga viämmö.

Dai ottau sie ylen huogehes hinnas häi vediä. Dai dogovor laittih, min hebo d'auhuo kodih vedänöy, se palkoikse. Kai d'auhot päiväs vedäy mužikkku. Kupsu ihastuksis, palkua vähä meni, a d'auhot vedi mužikkku terväh.

— Nu, d'ogo, — sanou, — voibi mennä navalimah d'auholoi palkois?

Dai zapiskan kir'juttau kladovšiekkah: «Min vai mužikku voinnou regeh panna, se anna d'auhuo palkoikse». Brihačču sanou:

— Läkkä vai diäd'oi koivun leikkuammo.

Dai koivu leikatah suuri, dai loukko tyveh kaivetah, dai aižat pan-nah. Hebo val'astetah i alletah d'auholoi valie sih koivun piäl pitkil oksil. D'o prikaššiekku kiinittäy, «enämbi, — sanou, — en anna».

— Ga täs dogovor, — sanou häi.

Mužikku i soglassih ei ottua, a brihačču prižmiu:

— Pane vie, — sanou, — diäd'ö.

Rahvas nagretah, hebo-kulu paha:

— Mužikku on, — sanou, — uravuksis, nenga panou, ruaduo luadiu ičelleh.

Nu i loppi panendan, kriepi rein. Rahvasto mene tiije, mi kerdyi sih, nagretah:

— Kačommo ehki, midä mužikku ruadau.

Mužikku ku hebuo käski, hebo ku viäldäy se vediä, savut d'uamas nostah kai pil'vilöih sah. Dai kodih tullah:

— Nu, diäd'ö, — sanou, — nygöi d'auhois hyövyit häi. Nygöi mi-däbo pidäy huomei ruadua?

Sanou:

— Heinäs ku nygöi hyövyttäziit ga...

Dai bohatah sie podr'uadu otetah heiniä niittiä. Opad': «Min tak-kaizes voinnen kandua, se palkakse», — riäditähes sie. Mennäh niittämäh. Min niittäy sada hengie bohatal, sen yksinäh niittäy mužikku.

— Nygöi, — sanou, — voibigo ottua takkaizen heiniä?

Bohattu ihastuksis:

— Kačo, — sanou, — min sada hengie niitti, sen häi yksinäh niitti yhteh takkaizeh.

Dai min sada hengie niitti dai min iče niitti, kai haravoicči yhteh takkaizeh da kodih toi, hos oli žiäli kupsal.

— Nu, nygöi, — sanou, — diäd'ö heinäs hyövyit häi. Nygöi, — sa-nou, — diäd'ö, dengas pidäy hyövyttiä sinuu.

Brihačču sie kävelöy, kävelöy i dogadiu, bohattu dengoi kuivailou.

— Diäd'ö, läkkä vai, — sanou, — dengua suamah, da ota nuoraine, kuduan varustit ičelles surmua luadie.

Mennäh sinne nurmel, kačotah — d'allat huarotannuh bohattu, d'al-loin keskes dengoi kuivailou da lugou. Pani, pani spučkiih da loppi sen ruavon. Brihačču tuuldu karahutti, bohattu rubei kačomah bokkah, sil aigua mužikku dengat varvasti. Tullah kodih:

— Nygöi, diäd'ö, dengas hyövyit häi opad'. Nygöi mene, kačo, midä kupsu ruadau, se bohattu, — diäd'älleh käsköy.

Diäd'äh menöy, ga kupsu riputannuhs sih nuoraiseh.

Hyö laitah ugoščenii, hyödyi se mužikku. Dai pappie kuččumah menöy ugoščenieh, kudai pappi huogeheh palkah ruatutti. Menöy sinne akku kuččumah:

— Läkkä, — sanou, — buat'ušku ugoščeniel mejjän.

— Mi ugoščenieloi on teile, ku vaste minus pakičiitto leibiä?

Akku pokoroičeh:

— Läkkä, — sanou, — moleibinan panet.

I lähtöy. Tuldih sih, stolah ruvettih sih, viinua kaiken mostu mužikkui toi. Stolan tagan moleibinan pidi i ku d'oihes pappi, telegäh nostetah händy, hebo lyvväh lähties. Lähtöy sinne ajamah. Hebo menemäh libui, libui, hebua d'orniu yhtes ohjakses, ku pidiä rovno, hebo rindieh, häi telegäs pakkuu, sil'mät möllistäy, suuraškan avuau. Hebo ielleh d'uoksi, a pappi sih oli kynnet oijendannuh. Brihačču kyzyy diäd'älleh, sanou:

— Kolmekse vuottu työndi tuatto kazakakse, ga viego pidäy hätki olla? Nygöi vit', — sanou, — leibiä on sinulles, dengua on, heiniä lehmil on, viego pidäy midä sua? — sanou.

Nu brihačun työndäy kodih, iče diäy sih elämäh, kaikkie kylläl rodih.

85. БЕДНЫЙ МУЖИК

Был там когда-то бедный мужик. Работает он на попа, богатый рядом живет — на него работает, чтобы детей прокормить. Идет к попу, говорит:

— Не дашь ли, батюшка, немного в долг муки или же хлеба?

— Да, — говорит [поп], — если завтра поедешь со мной по приходу.

— Так поеду, — говорит [мужик], — как не поедешь, коли нужно. Что, — спрашивает, — надо тебе оттуда везти?

— А соберем соломы, — говорит [поп], — и привезешь солому домой.

И отправляются на следующий день, приезжают там в деревню. Поп целый день пьет вино, а мужик голодный: в домах не кормят да и не поят. С женщиной всю ночь поп таскался, утром поехали по приходу. Подъезжают к одному дому, а жильцы ушли к соседям — тараканов морозить. Видит хозяйка, что поп к ним идет, бежит туда:

— Батюшка, подожди, открою дом.

— А не пойду в дом-то, принеси сюда хлебцы, — говорит поп, сам пьяный прислонился к поленице.

Женщина и приносит два хлебца:

— Не брал бы, батюшка, — детям в ужин есть нечего.

А поп возчику говорит:

— Клади в мешок, — а у самого глаза закрыты.

Потом собирал по всей деревне зерно и солому.

— Клади в сани, — говорит мужику.

Бедный мужик три раза ездил за один полтинник, а рядились по полтиннику за одну подводку. Солому вывез, поп и дал мужику хлеба полпуда за полтинник.

Ну, его богатч зовет работать:

— Приходи, — говорит, — Ефим, на работу.

— Пришел бы, — говорит, — если бы дал детишкам чего-нибудь поесть, уже второй день ничего не ели.

Не дал тот ему. Мужу до того стало обидно, вышел во двор, слезы из глаз брызнули. На следующий день детей отправил просить. Бедняжки принесли три колобка. Два съели утром, поделились с детьми, а третий мужик берет с собой, пахать отправляется. Подходит время завтрака, лошадь отпускает пастись, а самому жалко есть колобок.

— Отнесу-ка я, — говорит, — домой детям.

Идет домой, приносит тот колобок, а дети еще два-три куска выпросили. Три дня носит с собой колобок, не ест, все голодный пашет. Отправляется на третий день, опять берет с собой. Идет туда в лес и подвешивает на веточку свой узелок. Сам пашет, а тем временем приходит парнишка лешего и крадет у него колобок тот. Как приходит он завтракать, смотрит — нет ни колобка, ни платочка. Так ему стало горько. Садится на лошадь и едет домой. Весь остальной вечер веревку вьет, говорит:

— Повешусь, больше жить не могу.

А этот парнишка лешего идет домой.

— Смотри, отец, — говорит, — сегодня у мужика взял колобок.

— Неужели, — говорит [отец], — не нашел никого побогаче, у этого мужика взял последний колобок. Смотри, — говорит, — теперь мужик веревку вьет, себе смерть готовит. Иди-ка теперь к мужу батрачить на год.

Да и отправляет леший сына к мужу работником на год. Приходит парнишка к мужу тому. Пришел, а муж как раз кончил вить веревку и на глазах у парня пошел на сарай.

— Дядя, — говорит, — куда пошел?

— Пойду, — говорит, — на сарай схожу.

— Не ходи, давай поговорим. Отец меня к тебе отправил работником.

— Как, — говорит, — тебя работником возьму, смотри — дети от голода плачут, а сам уже четыре дня не ел, один колобок был, и тот украли. Можешь голод терпеть, так по мне оставайся.

— Ну, не будем голодом сидеть, достанем хлеба, дядя.

Утром отправляются с парнишкой.

— Давай, — говорит, — подряд возьмем.

Запрягли лошадь, едут в город. Приезжают в город, а там один богач подряд предлагает — хоть кто возьми:

— Не возьметесь ли муку везти?

— Дядя, — говорит [сын лешего], — возьми этот подряд. Не бойся, бери — хоть и худая лошадь, но свезем.

И берется очень дешево свезти. Договор заключили: сколько лошадь сможет домой увезти муки — это за работу. Всю муку за день мужик перевез. Купец рад — немного заплатил, а муку быстро мужик перевез.

— Можно ли, — говорит, — уже наваливать муку за работу?

И пишет [купец] записку кладовщику: «Сколько мужик сумеет погрузить на сани, столько отпусти муки за работу». Парнишка говорит:

— Пойдем, дядя, срубим березку.

И березу срубили большую, положили на сани. Лошадь запряган, начали муку нагружать на березу, на длинные ветки. Приказчик уже говорит: «Больше не дам», — говорит.

— Так вот же договор, — говорит он.

Мужик уже согласен не нагружать, а парнишка не отступает:

— Наваливай еще, дядя.

Люди смеются — лошаденка-то худая.

— С ума сошел мужик, — говорят, — столько погружает, себе работы наделает.

Ну и кончил грузить, завязал воз. Народу, поди знай, сколько тут собралось, смеются:

— Посмотрим, что мужик делать будет.

Мужик как дернул за вожжи, так лошадь дернула и пошла, только дым на дороге до неба поднимается. Да и приехали домой.

— Ну, дядя, — говорит, — теперь ты муки нажил. Теперь что завтра надо делать?

Говорит:

— Вот сена бы нажить, так...

И берут там у богача подряд сено косить. Опять: «Сколько за один раз смогу унести, то за работу», — подрядились там. Пошли косить. Сколько сто человек богачу накашивают, столько мужик один косит.

— Теперь, говорит, — можно ли взять ношу сена?

Богач рад.

— Смотри, — говорит, — сколько сто человек накосили, столько он один накосил за одну ношу.

И сколько сто человек накосили, и сколько сам накосил — все сгреб в одну охапку и домой унес, хоть и жалко было купцу.

— Ну, теперь, — говорит [сын лешего], — дядя, сена нажил. Теперь, — говорит, — дядя, надо для тебя денег нажить.

Парнишка ходит там, ходит и видит — богач деньги сушит.

— Дядя, пойдем, — говорит, — денег добудем, возьми только веревку, которую приготовил себе на смерть.

Идут туда на лужайку, смотрят — ноги раскорячил богач, между ногами деньги просушивает и считает. Накладывал, накладывал в пачки и кончил это дело. Парнишка ветер поднял, богач стал озиаться, мужик тем временем деньги украл. Приходят домой:

— Теперь, дядя, и денег нажил опять. Теперь иди посмотри, что купец делает, тот богач, — дяде велит.

Дядя идет, а купец на той самой веревке повесился.

Устроили они угощение, нажился мужик. И попа идут звать на угощение, попа, который работать заставлял почти задаром. Идет жена его звать:

— Пойдем, — говорит, — батюшка, на наше угощение.

— Какое там у вас угощение, когда наемни у меня хлеба просили?

Жена просит:

— Пойдем, — говорит, — молебен отслужишь.

И пошел. Пришли, за стол тут сели, вина всякого мужик принес. За столом молебен отслужил и, как напился поп, на телегу его взвалили, лошадь стегнули. Поехал. Лошадь бежит, бежит, лошадь дернул [поп] за одну вожжу — лошадь в сторону, он с телеги упал, глаза закатил, рот раскрыл. Лошадь дальше бежит, а поп тут и ноги протянул. Парнишка спрашивает у дяди, говорит:

— На три года отец отправил меня работником, так еще долго ли надо служить? Теперь ведь, — говорит, — хлеб у тебя есть, деньги есть, сено есть для коров, надо ли еще чего-нибудь достать? — говорит.

Ну, парнишку отпустил, сам тут остался жить, всего вдоволь стало.

86

Oli enne papis kazakku. Vuvven ku on kazakku, siit sanow:

— Piä, buat'ušku, roščottu.

Pappi kumardah da sanow:

— Passibol

Toižen vuvven se kazakku on papillua dai myäs sanow:

— Piä roščottul

A pappi myäs kumardah da sanow:

— Passibol

Kazakku viä kolmanden vuvven on, siid op'at' sanow:

— Piä roščottu, buat'ušku.

A buat'ušku myäs kumardah da sanow:

— Passibol

Siid buat'ušku kazakal sanoi:

— Mene sapožniakallua da kāske suappuat luadia.

Kazakku meni sapožniakallua dai sanoi:

— Luadiat minul kolmen vuvven palkas suappuat.

Sapožniakku meni lawkkah dai osti parahat lakerofkat dai azuw hyvät suappuat račkuloin kel. Kahten päivän peräs menöw tiijustamah, ga suappuat ei ole valmehet. Toižen kerran myäs menöw kahten päivän peräs, ga suappuat jo on valmehet. Meni kazakku ottamah dai suappuat pani jalgah. Suappualoin jalgah panduw ku häi proijaldaw pertii myä,

ga kai perti rudžizow, muga račketah! Siid kazakku andoi kolme passibua, a sapožniakku sanoi:

— Kuibo muga? Sinähäi tahtoit kolmen vuvven palkan andua, a anoit vai kolme passibua!

Siit sapožniakku kučui papin da kyzyi:

— Prawdugo oli, kolme vuattu kazakoičči kolmeh passiboh?

86. [ПОП И РАБОТНИК]

Был когда-то у попа работник. Год как пробыл работник, потом и говорит:

— Давай, батюшка, расчет.

Поп кланяется и говорит:

— Спасибо.

Второй год работает у попа и опять и говорит:

— Давай расчет.

А поп опять кланяется и говорит:

— Спасибо.

Работник еще третий год служит тут и опять говорит:

— Давай, батюшка, расчет.

А поп опять кланяется и говорит:

— Спасибо.

Потом батюшка говорит работнику:

— Поди к сапожнику и вели сшить сапоги.

Работник идет к сапожнику и говорит:

— Сшей мне сапоги за трехлетний заработок.

Сапожник идет в лавку и покупает лучшую лакированную [кожу] и шьет хорошие сапоги со скрипом. Через два дня идет узнавать [работник], но сапоги еще не готовы. Второй раз приходит опять через два дня, так сапоги уже готовы. Приходит работник за сапогами и натягивает их на ноги. В сапогах как проходит по избе, так даже изба трещит, так скрипят. Потом работник дал ему три «спасибо», а сапожник говорит:

— Как же так? Ты же хотел трехлетний заработок отдать, а сказал только три «спасибо».

Потом сапожник позвал попа и спросил:

— Правда ли, что три года батрачил за три «спасибо»?

87. ZOOKKUN KUPČAZ

Ennen oli kupču i mužikku, prostoi mužikku. Kupču oli žoodnoi. Käveli kupču kylii myö, kačoi, kui rahvaz eletäh. Meni mužikalluo, a se tiedee, što kupču on žoodnoi. Keitti hänel kartohkusuupan. Zoori hyvin kartohkat. (*Ennen pilkottu ei pieneksi, lohkatih kartohku nel'läh lohkoh.*) Kupču hvataičči, hvataičči kartohkoi: «Ohoh, nenne on ma-

giet!». Iboi kl'onkahtih: suuh kartohku tartui! Keikui, keikui dai sellälleh latiel pakui.

A mužikku sidä kačoi, iče butettoo: «Tävvyit, kehnol!» — ni midä ei roo. Heitti kupču jalloin liikutandan, töllöi.

Sid meni mužikku rahvastu kuččumah: «Kupču kuoli!». Alluz mužikkoo ei uskottu, duumaittih, što häi tapoi.

A mužikku sanoi, što kartohkoi söi, ga eigo kartohku kulkuh tartunnuh. Kačottih, ga mugai oli. Sen jälgehhäi sanotahgi: «Syöt kui kupču».

87. СКАЗКА О КУПЦЕ

Жили когда-то купец и мужик, простой был мужик. Купец был очень жадный. Ходил купец по деревням, смотрел, как люди живут. Пришел и к мужику. А тот знал, что купец жадный. Сварил для него картофельный суп. Хорошо прожарил картошку. (Раньше не крошили картошку, а нарезаали крупно, картофелину на четыре части.) Купец хватал, хватал картошку: «Охо, вкусная картошка!». И застряла картофелина в глотке. Ерзал, ерзал купец и свалился навзничь на пол.

А мужик смотрит, сам приговаривает: «Наелся, негодный!». Ничем не помогает. Перестал купец ногами дрыгать, подох.

Пошел мужик народ звать: «Купец умер!». Сразу не поверили мужику, думали, он сам убил. А мужик говорит, что купец картошку ел, так не застряла ли в горле картофелина? Посмотрели — так и есть. С этих пор ведь и говорят: «Ешь, как купец».

88. BUVAL'SIN

Oli ennen saldattu sluwžbas kolmekymmen kolme vuattu. — (Ennen tijät kui paha oli sluwžial) Tämä saldattu ku oli sluwžinut tämän aijan, lähtöw kodih nuaren mučoin lua. Astuw, astuw sadoi virstoi, ga nälgevyw. Tulow yhteh hiaruh yäkse. Avaittaw ga staruwha avuaw-gii hänelleh veriän. Saldattu astuw pertih, kyzyw akal:

— Voibigo olla yädy?

Staruwha vastuaw:

— Voit, rawkku, voit.

A saldatal on nälgy, jengua ei ole ni yhty. Häi sanow akale:

— Buabušku, edgo minule huttuw keittäš, min maksannow, ga maksan jengat. — Staruwhe saldattu sanow, — viassua jauhot, sit oia min maksaw.

Staruwha viassai — ga kolme funtua. Staruwha hutun keitti, andoi voidu saldatal. Saldattu söi tävven vačan (a huttuw keittäjes rodih ylen äijy!). Saldattu ei voinut kaikkia syvvä. Saldattu sanow akale:

— Nygöi pidäw huttu viasata.

Viasattih huttu — ga hutus oli nelli funtua. Akku sanow saldatale:

— Maksa jengat hutus!

Saldattu otviattiw:

— Kuibo minä maksan, gu minä otiin [jawhua] vai kolmeh funtah, a [huttuw] syödyw rodih nelli funtua. — Saldattu sanow akale, — vie sinus päi tulow yhtes funtas jengat!

Akku ku suwtui, otti dai ajoi saldatan pertis iäre. Saldattu muwdu ei ni midä menetännyt, menetti vai yhten piänen peročinnoin veiččyän — sen unohti kiirehes akale.

Vot oli saldattu — plutovšiakku!

88. БЫВАЛЬЩИНА

Был когда-то солдат на службе тридцать три года — раньше, знаешь, как плохо было служить. Этот солдат как отслужил это время, отправляется домой, к молодой жене. Шагает, шагает, сотни верст, вот и проголодался, идет в одну деревню ночевать. Стучится, старуха и открывает ему дверь. Солдат заходит в избу, спрашивает у старухи:

— Можно ли переночевать?

Старуха отвечает:

— Можно, родимый, можно.

А солдат голодный, денег нет нисколько. Он говорит старухе:

— Бабушка, не сваришь ли ты мне загусты? Сколько будет стоить, уплачу деньги, — старухе солдат говорит. — Взвесь муку, потом возьмешь, сколько стоит.

Старуха взвесила, три фунта вышло. Старуха загусту сварила, дала масла солдату. Солдат наелся досыта (а загусты получилось очень много!). Солдат не смог всю съесть. Солдат говорит старухе:

— Теперь надо загусту взвесить.

Взвесили загусту, так загусты четыре фунта. Старуха говорит солдату:

— Заплати деньги за загусту!

Солдат отвечает:

— Как же я заплачу, как я взял [муки] только три фунта, а [загусты] после еды стало четыре фунта, — солдат говорит старухе. — Еще с тебя причитаются деньги за один фунт!

Старуха как рассердилась, взяла и прогнала солдата прочь из избы. Солдат больше ничего не потерял, потерял только один маленький перочинный ножичек — тот в спешке забыл у старухи.

Вот солдат какой плут был.

On ennen ukko da akku. Ukko on ylen lašku, a akku ainoz raadaa. Ukol gu kevät tuloo, häi ečči tedren d'äičät, kodih tuoo i virših panoo i päčil kaadiezilieh istuu d'äiččien pääl, iče vai sanoo: «Kl'u, kl'ul...». A akku rukku kyndämäh kävvy keväen kaiken. I akku vjdumaičči — häi pakičči saldatal sovot:

— Andele minul sobii hot' kahtekse čaassuu.

I šuorii saldatoiin sobih, tuli keski päiväl kodih, d'yrähytti veräädü omassah. Mužikku ylen terväzeh hyppäi, verään avai dai d'ärilleh päčil d'uoksi. Tulihäi akku pertih, buitegu saldattu, d'allal gu d'yrähytti i mužikal sanoo:

— Midäbo päčil sinä istut?

Dai viršin kel mužikan vedi lattial. D'äičät taputtelt lattial kai. Mužikan korvaili, sanoo:

— Kyly pane ylen terväh, minä olen raanittu voinal.

Mužikku kylyn lämmiti. Akku meni, kylyn kylbi dai ääre, lähti i iče sanoo lähtijes:

— Vie gu tämän päivän d'ällez gu akkaadas pellol kyndämäh nähnen, ga sid gu tulen dai ammun!

Akku meni, sovot d'ärilleh saldatal andoi, a illal tuli hevон kel kodih. Mužikku saneloo akal:

— Tol'ko, akku rukku, mi lienöö herroi tänäpäi käynyt, — iče itköö i saneloo. — En enämbää, akku rukku, sinuu työnä kyndämäh, eiga herru gu tulloo dai ambuu minun.

89. [ЛЕНИВЫЙ МУЖ]

Жили когда-то муж и жена. Муж был очень ленивый, а жена все работает. Как весна наступает, муж находит тетеревиные яйца, приносит домой, ставит в корзину и сидит в подштаниках на печке на яйцах, сам только квохчет: «Клю, клю!...». А бедная жена всю весну пашет, и придумала она — выпросила у солдата одежду:

— Дай мне свою одежду хоть на два часа.

Оделась в солдатскую одежду, пришла днем домой, загремела в своих воротах. Мужик быстренько вскочил, ворота открыл и обратно на печку побежал. Заходит жена в избу, будто как солдат, ногой как топнет и говорит мужику:

— А ты чего на печи сидишь?

И вытащила мужика с корзиной на пол. Яйца все разбила на полу, мужу оплеух надавала, говорит:

— Баню быстренько затопи, я ранен на войне.

Мужик баню истопил. Жена пошла, в бане выпарилась и собралась уходить, а сама говорит перед уходом:

— Если еще после сегодняшнего дня увижу, что твоя жена в поле пашет, так приду и тебя пристрелю!

Жена ушла, одежду отдала солдату, а вечером приходит с лошадыю домой. Муж рассказывает жене:

— Только сегодня как, женушка, господин какой-то приходил, — сам плачет и рассказывает. — Больше, женушка, тебя не отправлю пахать, а не то как придет господин, так меня и застрелит.

90. ZIRKALOŽEH NÄH

Eletäh-ollah molodoit da muamah da tuattah. Mužikku lähtöw linnah. Lähtöw linnah, häi siä ostaw zirkaložen piänen. Ostaw zirkaložen da tuaw kodih, da ei ozuta ni kelle, a panow pialuksih. Pialuksih panow, a mučoi rubiawgi sijua kabrastamah. Häi löwdäw siä pialuksis zirkaložen. Kačahtahezehäi, ga siä moine nuarikkaine, čomaine, hyväine. Häi davai itkuw, davai itkuw!

— Oi, sanow, — nygöi nengoman on löwdännyh hyväžen da čomažen, ga minuw iäre tyändäw, ei nygöi minunke rubia elämäh!

Tulow muatuškah pertih. Tulow muatuškah pertih ga:

— Midäbo, nevesky, itket?

— A itken, — sanow, — kačaitai nygöi, — sanow, — linnah tyäniittö, — sanow, — poijan ga, nygöi minun iäre työndäw, nengoman on hyväžen da čomažen löwdännyh! — sanow. — Ga, minunke-taki ei rubia elämäh!

Muatuškah sanow:

— Vuatas minä kačon!

Kačahtahezehäi ga:

— Nevesky-rukku, — sanow, — ga ei jo ole hyväine da čomaine! — sanow. — Ga avoi, voi, midä nygöi ollow elänyh, gu on nengoman tuhman, — sanow, — da vanhan ottanuh!

~~Näidgöi~~ itkiätäh, mollei itkiätäh. Tulow starikku pertih, tuattah se. Tulow ga:

— ~~Näidgöi~~ itkettö mollei?

— Ga midä itkemmö! Näidgöi, — sanow, — gu poijan tyäniithäi linnah, ga, — sanow, — kačo nygöi, mittuman on staruwhan, — sanow, — löwdänyt! Näidgo nygöi, ollowgo kummua, vai ewllene, nengoman on staruwhan...

Starikku sanow:

— Ozuttuattos minule!

Ga häi kačahtahezehäi: ga starikku, vanhu, parrankel

— Ga midä jo on, — sanow, — eihäi ole tämä ni staruwha, ei ole ni mil — sanow. — A tämä on, — sanow, — starikku da vanhu, da pahal! Jo nygöi, — sanow, starikku se sanow, — midä, poigu-rukku, ollet elännyh nygöi, gu en tiijä, — sanow, — gu starikku on tämä ihan!

Jo itkiätäh kolmei. Itkiätäh, itkiätäh, ga tulow poigu kodih. Tulow poigu kodih ga:

- Midäbo nygöi kaikin itkettö?
 — Ka midä itkemmöl Midä ollet elänyh, gu nygöi vanhu starikku
 täs on dai. Hyvin oled nygöi elänyh, ga hyvin oled elänyh!
 — Ga kuibo neče da midäbo?
 — Ga nengai nenga: löwdi nevesky pialuksis sinul.
 Ottaw poigu zirkaložen dai sanow mučoi:
 — Tules nygöi tännel!
 Tulow mučoi.
 — Kačahtais sinä täh zirkaložeh.
 Kačahtaheze ga. Sanow [mužikku]:
 — Oledgo sinä iče?
 — Ka enhäi minä tiijä, minä ičego vai ken olen, — sanow. —
 Enhäi minä näi iččiä!
 — Gu ed näi iččiä, ga sinä iče olet! — sanow. — Zirkaložine ozuttaw,
 što sinä oled iče.
 Nu mučoi ihastuw, što, vod mol, mittuine olen nuarikkaine da čo-
 maine, da hyväine — iččiädäh nägi.
 Kuččuw muamuadah, sanow:
 — Muamo, tules sinä nygöi tännel!
 Tulowhäi tänne ga:
 — Muamo, kačahtai, — sanow, — sinä oledgo iče, ollahgo sinun
 ruppižet?
 — Ga minun ollah onnuako, poigu-rukku, ruppižet, dai minä olengi,
 minä olen.
 — Tules, tuatto, tännel!
 Tulow tuattah:
 — Kačahtai nygöi iččiädäs.
 Kačahtahezehäi, ga parranke.
 — Oledgo iče?
 — Ga vrodē, poigu-rukku, iče olen, iče olen.
 Nu, eletäh-ollah, kaikin ruvetäh iččiä nägemäh zirkalos, dai ihastah.
 Da vai eletäh da zirkalos omua iččiä kačotah.

90. СКАЗКА О ЗЕРКАЛЬЦЕ

Живут-поживают молодые с матерью да с отцом. Муж пошел в город. Едет в город, и купил он там маленькое зеркальце. Принес зеркальце, принес домой, да никому не показывает, а положил под подушку. Положил под подушку, а жена стала постель убирать. Она и нашла под подушкой зеркальце. Посмотрела она — а там такая молодая, красивая, хорошая. Она давай плакать, давай плакать!

— Ой, — говорит, — раз такую нашел хорошую да красивую, так меня выгонит прочь, не будет теперь со мной жить!

Заходит свекровь в избу, заходит свекровь:

— Чего ты, невестка, плачешь?

— А плачу, — говорит, — посмотри-ка-ка, — говорит, — в город отправили, — говорит, — сына, так меня выгонит прочь, такую хорошую да красивую нашел, — говорит, — так со мной уж жить не будет.

Свекровь говорит:

— Дай-ка я посмотрю.

Посмотрела она:

— Невестушка, — говорит, — да какая это хорошая да красивая, — говорит, — авой-вой, до чего он дошел, такую некрасивую, — говорит, — да старую взял!

Плачут обе, плачут. Приходит старик, отец. Приходит он:

— Чего вы тут плачете обе?

— Чего плачем, вишь, — говорит, — отправил сына в город, — говорит, — видишь, теперь какую старуху, — говорит. — В своем ли уме или нет, такую старуху. . .

Старик говорит:

— Покажите-ка и мне.

Как посмотрел он, а там старик: старый, с бородой.

— Да вы что, — говорит, — это никакая не старуха, — говорит, — а это, — говорит, — старый дед, совсем никудышный! — Старик-то и говорит, — до чего сынок дожил теперь, не знаю, — говорит, — ведь это же старик!

Уже втроем плачут. Плачут, плачут, и приходит сын домой. Приходит сын домой:

— Чего вы тут все плачете?

— Чего плачем — до чего ты дожил, как тут старый старик. . . До хорошего ты дожил, до хорошего дожил!

— Да в чем дело, что такое?

— Вот так и так, нашла невестка у тебя под подушкой.

Взял сын зеркальце и говорит своей жене:

— Подойди-ка сюда!

Подходит жена.

— Посмотри-ка ты в это зеркальце.

Посмотрела, он и говорит:

— Это не ты ли сама?

— Я ведь не знаю, я ли?

Посмотрела снова, он и спрашивает:

— Ты ли это?

— Я же не знаю, я это или кто, — говорит, — не вижу ведь я себя.

— Не видишь себя, так это ты и есть, — говорит, — в зеркальце видно, что это ты сама.

Ну, жена обрадовалась, что вот, мол, я какая молоденькая да красивая да хорошая — себя и увидела.

Подзывает мать, говорит:

— Мать, иди-ка теперь ты сюда!

Подходит она.

— Посмотри, мать, — говорит, — не ты ли здесь, твои ли это морщинки?

— Однако мои, сынок, морщинки, да я и есть, я и есть.

— Подойди-ка, отец, сюда!

Подошел отец.

— Погляди-ка теперь на себя.

Посмотрел — так с бородой.

— Это не ты?

— Да вроде я, сынок, я это, я.

Стали жить-поживать, все себя видят в зеркале, радуются и живут да в зеркальце на себя смотрят.

91

Ennen muinoin sie varoi poigii kazvattoo. Pidae ned meres poikki kandoo. Otti yhten, kanda meres poikki, dai kyzyy poijaldah:

— Midäbo sinä minul root, kui minä sinuu kannan?

Sanoo poigu:

— Kanna ielleh, dai minä sinuu sit kannan.

Varoi sanoo:

— Kielastad nygöi, ed minuu kannan, mene mereh, — dai bučkai mereh.

Toizen poijan otti, kandoi, kandoi dai kyzyy tooz:

— Midäbo sinä minul root, kui minä sinuu kannan?

— Kanna ielleh, siidä minä sinuu kannan.

— Kielastad, ed minuu kannan.

Dai moorah hänen mereh heitadi. Otti kolmannen poigazen. Kanda sidä meren yliči i kyzyy:

— Midäbo sit sinä minul lait, kui minä sinuu kannan?

— Kanna ielleh moomarukku, viehäi minä sid omii poigazii kannan toiči. A ku voinnen, ga tuon sinulgii palazen.

— No sinuu vien meren yliči, pravvan sanoit.

91. [ВОРОНА И ПТЕНЦЫ]

В старину там ворона воронят растила. Надо их через море перенести. Взяла одного, несет через море и спрашивает у птенца:

— Что ты для меня сделаешь за то, что я несу тебя?

Отвечает вороненок:

— Неси, и я потом тебя понесу.

Ворона говорит:

— Врешь, не понесешь ты меня, поди в море, — и сбросила его в море.

Второго птенца взяла, несла, несла и спрашивает опять:

— Что ты для меня сделаешь за то, что я тебя несу?

— Неси, я тоже потом тебя буду носить.

— Врешь, не будешь ты меня носить.

И его тоже уронила в море. Взяла третьего птенца. Несет его над морем и спрашивает:

— Что ты для меня сделаешь, раз я тебя несу?

— Неси дальше, маменька, ведь я потом своих птенцов буду носить. А смогу, так и тебе кусочек принесу.

— Вот тебя перенесу через море, ты правду сказал.

ПРИМЕЧАНИЯ

В примечаниях к текстам указываются все карельские варианты, как неопубликованные, имеющиеся в фольклорном фонде Архива Петрозаводского института языка, литературы и истории, так и опубликованные в сборниках на карельском, финском и русском языках. Учтены также научные публикации карельских сказок фольклористами и языковедами Финляндии.

При комментировании карельская сказка сравнивалась только со сказками народов — ближайших соседей карел: русских, финнов, вепсов. Более широко в качестве сравнительного материала привлекалась севернорусская сказка: она несомненно оказала наиболее сильное влияние на карельскую сказку и довольно хорошо представлена в публикациях. На финские и вепские сказки мы реже ссылаемся в комментариях из-за малочисленности научных публикаций.

Несмотря на то что районизация Карелии после выхода первого выпуска «Карельские народные сказки» претерпела некоторые изменения, мы решили сохранить в публикуемом сборнике для удобства пользования районизацию 1957 г., которая принята в первом сборнике. В противном случае читатель и исследователь, интересующийся распространением тех или иных сказочных сюжетов по районам Карелии, невольно был бы введен в заблуждение.

Примечания составлены У. С. Коикка и А. С. Тупицыной.

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

1. *Reboi da böböi* — Лиса и медведь. А.—А. 15+9(1030)+1+2+4. Записал на магнитофон Г. Макаров в 1961 г. в дер. Вехкусельга Олонецкого района от И. К. Коппаловой, 49 л. Фонотека 142/1. Варианты — только первый эпизод: Архив 9, 40 (Кемский р-н); 35, 21 (Беломорский р-н); 133, 34 (Олонецкий р-н); два первых эпизода — 64, 30 (Медвежьегорский р-н). Подобная контаминация, как в опубликованном тексте, имеется в варианте 72, 84 (Прионежский р-н). Сюжеты 1, 2, 4 в Карелии встречаются часто в различных сочетаниях, как и у других народов. В южной Карелии «партнером» лисы выступает то волк, то медведь, в северной Карелии — только медведь. Слово «*zavodenii*» — прямое заимствование из русского (заводить, завезенье); слова «*keskovenii*», «*lorovenii*» образованы от карельских корней *kesk-* *lor-*, обозначающих «середину» и «конец», при помощи русского суффикса *-вень*. В карельской речи эти слова в подобном оформлении не бытуют.

2. [Кот, петух и лиса]. А.—А. *6111. Записали на магнитофон А. Тупицына и Х. Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Сележского сельсовета Кондопожского района от Шатиной И. Ф., 58 л. Фонотека 384/4. Варианты: Архив 100, 27 (Пряжинский р-н); 133, 36 (Олонецкий р-н); ф. 1, оп. 32,

№ 175, лл. 23—24 (Кондопожский р-н). Публикуемый вариант представляет наиболее полное изложение сюжета. Остальные варианты являются кратким пересказом сюжетной схемы, в них отсутствует трюичность. Сюжет заимствован у русских, об этом говорит его близость к русским вариантам, небольшая распространенность и то, что все стихотворные вставки исполняются на русском языке, как в публикуемом тексте. То же и в варианте Гордеева (Архив, 100, 27):

Лисавушка, лисавушка,
Оставил меня горевать,
За высокими горами,
За темными лесами.

3. Jänöi da leboi — Заяц и лиса. А.—А. 70. Записала А. Николаевская в 1930 г. в дер. Видлица Олонецкого района от Ягупова, 17 л. Архив 142, 21а. Вариант: Архив 142, 30 (Олонецкий р-н). Сказка эта мало распространена у карел и у русских. По данным Томпсона, больше всего вариантов насчитывается у финнов (95); у латышей — 51 вариант, у эстонцев — 27 вариантов. В странах южной и восточной Европы количество вариантов незначительно. Судя по этим данным, сказка наиболее популярна у народов, живущих в бассейне Балтийского моря.

4. Virzuine — Лапоток. А.—А. 170+158. Записали на магнитофон А. Тупицына и Х. Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Кондопожского района от И. Ф. Шатиной, 58 л. Фонотека 384/3. Варианты: КНС12; кроме того: Архив 132, 52 (Олонецкий р-н). Для южной Карелии характерна данная версия сюжета, существенно отличающаяся от северокарельской версии (КНС12). Главным действующим лицом в этом сюжете у карел неизменно выступает человек (старуха, молодой парень, мужик). Русская сказка Онч.127, записанная в Заонежье, почти полностью совпадает с публикуемой здесь сказкой. Ту же версию мы находим и в других севернорусских областях: ЗВ 80, См. 76, 225, а также у вепсов (ср.: Näytteitä, №№ 100, 195). Публикации данной карельской версии см.: SKS I, №№ 160, 161.

5. Ukko, akka i kana — Старик, старуха и курица. А.—А. *241 III. Записала Ф. Титкова в 1938 г. в дер. Пелдожа Пряжинского района от В. А. Гордеева, 60 л. Архив 100, 14. Записей вариантов не имеется. Данный текст близок к русским вариантам сюжета Аф. 70, 71. В данном случае сюжет получил дальнейшее развитие с элементами сатиры, направленной против духовенства (см. в конце приговор царя архиерею). Северокарельская версия сюжета обнаруживает характерную для северной Карелии любовь к отточенности формы — вся сказка рассказывается прекрасной ритмизованной прозой:

Oii ennell ukko-akka.
Ukolla-akalla kirjava kana.
Kana muni munasen,
Muna vierä hililokseh.
Ukko-akka itkömäh,
Kanan kakattamah,
Musta lehmä ammomah,
Veräjälset vierömäh,
Kynnykset kykettämäh,
Seipähän nenät tutettamah...

Были раньше старик-старуха.
У старика-старухи рябая курица.
Курица съела яичко,
Яичко покатилося в уголья.
Старик-старуха плакать,
Курица кудачать,
Черная корова мычать,
Верей раскрываться,
Пороги подпрыгивать,
Колья (ягороди) подрагивать...

Отголоски такой же формы, но, по-видимому, давно забытой, мы находим в двух вепсских вариантах сюжета: Näytteitä, №№ 108, 193.

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

6. Kuldaine dvorči — Золотой дворец. Самостоятельный сюжет, соединение элементов из сюжетов А.—А. 300, 301, 302. Записала Е. Кимпелайнен в 1936 г. в дер. Обжа Олонецкого района от Н. Я. Васькиной (возраст неизвестен). Архив 132, 177а. Сказки о победителе змея и трех царствах

в Карелии не имеют стабильных сюжетов, поэтому здесь не указываются варианты. Исключение составляет сюжет А.—А. 301А, который обычно контаминирован с сюжетом 650А (см.: КНС 13, 47 и примечания к этим текстам). Герой отправляется на поиски похищенной царевны, сестры или матери, как в публикуемом тексте. Здесь по существу нет трех царств, а есть медный, серебряный и золотой дворцы, в которых живут девушки, дающие герою добрые советы. Образы девушек — своеобразное соединение образов лесных старух-сестер, указывающих путь герою, с образами трех девушек, живущих в подземном мире, как в карельских сказках на сюжет 301А. В такого рода карельских сказках, которые лишь условно можно отнести к типу сюжетов 300 и 301, тесно переплетаются русские и карельские элементы. Так, например, в данной сказке мы встречаемся с русским сказочным образом Кощея Бессмертного. В подобных карельских сказках часто встречаются русские имена (братья называются Иван Вечерник, Иван Зоряник, Иван Полночный). Отсутствие стабилизации сюжетов в данном случае, очевидно, объясняется тем, что эти сказки образовались сравнительно недавно под влиянием русских сказок.

7. [Медведь и три сестры]. А.—А. 311. Записала М. Гордеева в 1941 г. в дер. Уссуна Кондопожского района от А. В. Прокопьевой (возраст неизвестен). Архив 73, 2. Варианты: Архив 75, 6; фонотека 1/2, 87/7, 217/22; также см.: КНС 16. Сюжет стабилен по всей Карелии. В трех южнокарельских вариантах вместо медведя — волк, в одном — леший. В большинстве вариантов медведь (волк) запирает сестер в подполье или амбаре, одна из них, чаще младшая, становится женой медведя (волка). Только в двух северокарельских вариантах медведь убивает старших сестер, которых младшая оживляет при помощи живой воды. В одном варианте медведь по ночам превращается в мужчину, этот мотив появился под влиянием сказок типа «Амур и Психея». В двух вариантах вместо трех сестер — одна девушка. Кроме перечисленных деталей, во всем остальном варианты сходятся с публикуемым текстом. Исключение составляет сказка КНС 16.

8. [Чудесное бегство]. А.—А. 313А+С. Записала М. Гордеева в 1941 г. в с. Пряма Пряжинского района от Е. С. Власовой, 49 л. Архив 96,5. Варианты: Архив 2, 152 (Лоухский р-н); 13, 73; 20, 8 (р-н Калевалы); 33, 40; 36, 1 (Белооморский р-н); 46, 331 (Сегежский р-н); 63, 56; 64, 12; 65, 3 (Медвежьегорский р-н); 70, 82; 132, 65; 133, 25, 29; 134, 103; 135, 29 (Олонецкий р-н); фонотека 386/7. Публикации: SKSjT, стр. 135—143; KKN I, стр. 110—118; KKN II, стр. 86—88. В Карелии бытуют две разновидности сюжета: А.—А. 313А и 313В, географически они не разграничиваются. Все варианты обнаруживают большое сходство как в композиции, так и в деталях с русскими сказками на этот сюжет. В вышеуказанных вариантах SKSjT и KKN I сюжет А.—А. 313 контаминирован с сюжетом А.—А. 315 («Зверное молоко»): сестра и брат бегут от водяного (или колдуна) при помощи зверей (волк, медведь, лиса). Водяной настагает их, соблазняет сестру, сестра убивает брата, звери оживают его.

9. Иван Кигорејевич — Иван Куропеснич. А.—А. 315А+*В. Записал И. Герасимов в 1936 г. в дер. Сааримяги Олонецкого района от В. Н. Сорокина, 49 л. Архив 132, 154. Варианты: Архив 15, 96; 19, 2; 22, 30; фонотека 258/1 (р-н Калевалы); 101, 20; 102, 10 (Пряжинский р-н); 135, 157 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 37—46; Remu, стр. 19—28. Данная версия сюжета известна лишь по записям из Олонецкого района. Конец публикуемой сказки с превращениями героя близок к русским вариантам Аф. 209 и Онч. 58. Только в одном варианте (Архив 101, 20) вместо злой сестры — мать. Северокарельские сказки (все варианты из р-на Калевалы) на этот сюжет составляют особую версию. Брат и сестра — бедные сироты; щука, пойманная братом, советует ему, где найти чудесный меч и как стать сильным. Брат и сестра попадают в дом разбойников (бесов), брат убивает всех, кроме одного, который становится любовником сестры. Отправившись в третий раз за лекарством для минимобольной сестры, брат спасает деревню. Сестра с любовником ослепляют его, иногда отрубая руки и ноги.

он попадает к царю, дочь которого спас, она признает его своим мужем, но царь выгоняет его и пытается погубить. Герой возвращается к тестю под видом иностранного принца, мстит сестре и ее любовнику, иногда и своему тестю — царю (Ремш, стр. 19—28). Конец публикуемой здесь сказки с превращениями героя близок к русским сказкам Аф. 209 и Онч. 58.

10. [Брат и сестра у ведьмы]. А.—А. 327А. Записали на магнитофон А. Тупицына и Х. Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Кондопожского района от М. Ф. Алуферовой, 58 л. Фонотека 384/5. Варианты: Архив 12, 60; 19, 81; 22, 17 (р-н Калеваля); 35, 28; 36, 11 (Беломорский р-н); 79, 13 (Кондопожский р-н); 132, 120; 133, 256; 134, 31; 134, 164; 135, 35 (Олонецкий р-н). Публикации: КНС 17. Имеются две четко отличающиеся друг от друга версии: северокарельская и южнокарельская. В северокарельской версии иная завязка: три брата по разным причинам уходят из дома и попадают к бабе-людоедке; спасает братьев младший брат Тухкимус (КНС 17). В южнокарельской версии, как и в западноевропейской традиции, детей уводит в лес (как в публикуемом здесь тексте); чаще всего это делают отец и мачеха, в одном варианте — богатый дядя; в некоторых вариантах дети сами, заблудившись, попадают к людоеду. Имеются и такие варианты, в которых родители отводят детей в лес, потому что им нечем их кормить (как в гримовской сказке № 15). Публикуемый вариант отличается художественным совершенством, в нем особенно хорошо обрисован характер лживой и лицемерной мачехи. — Стр. 81. Мәсһә — «лес» у карел часто употребляется в значении metsäline — «лесной, лесовик».

11. Surtti-vuagui — Сказка о Смерти. А.—А. 332+330А (условно). Записал Ф. Фомкин в 1938 г. в дер. Майисельга Пряжинского района от В. А. Соболева, 48 л. Архив 99, 18. Варианты: Архив 16, 47 (р-н Калеваля); 63, 276 (Сегежский р-н); 102, 34; 114, 24 (Пряжинский р-н); 132, 100; фонотека 145/4 (Олонецкий р-н). Публикации: SKSjT, стр. 320—323; Балова, 2, 4 (русские переводы см.: Евсеев, 53 и КС, стр. 85—86); Virtaanta III, стр. 373. Сюжет бытовал у южных карел также в песенной традиции. В песнях Илмоялинен прячет Смерть в гроб и бросает в море (см.: КЭП, текст № 146 и примечание к сюжету, стр. 488). Из всех известных карельских вариантов сказки публикуемый текст в идейно-художественном отношении наиболее цельный и законченный. В результате умелого соединения двух сюжетов образовался новый сюжет, не встречающийся в других вариантах. В сказке отразилось в какой-то степени скептическое отношение карел к богу и святым. Особенно ярко это выражено в сказке из SKSjT, записанной в Карелии: бедняк идет искать кума для крещения новорожденного и встречает в облике мужчины бога, который просится в кумовья. Но бедняк отвергает его, так как он, бог, несправедлив: «одному дает бедность, другому — богатство, не признает равенства». Первая часть публикуемой сказки («Смерть — кума») очень близка к варианту, записанному в Олонецком районе в 1961 г. (фонотека 145/4). Вторая часть в этом варианте отсутствует. В оригинальных текстах сказок 11, 16, 23, 27, 43, 74 и 84, записанных от В. А. Соболева в ливвиковской деревне Майисельга (недалеко от села Пряжи), наблюдается смещение языковых явлений ливвиковского и людиковского диалектов. По словам соседки рассказчика — П. Н. Мокеевой, с которой проверялись эти тексты, это может быть объяснено тем, что жена В. А. Соболева была родом из людиковской деревни Святозеро и до самого последнего времени говорила на своем диалекте. От нее, очевидно, людиковские элементы вошли и в язык рассказчика.

12. Zookkuu Surttas — Сказка о Смерти. В указателе А.—А. сюжет не зарегистрирован. Записала А. Тупицына в дер. Робогойла Колатсельского сельсовета Пряжинского района от Е. А. Ивановой, 52 л. Архив 158, 2. Сюжет отчасти сближается с публикуемым выше текстом 11. Для данного текста характерна попытка осмысления смерти как таковой без привлечения социальных аналогий, как в предыдущем тексте (о несправедливости святых и справедливости Смерти). Персонифицированный образ Смерти известен также в песенной поэзии карел (см. примечание к тексту 11).

13. *Iivan-ukon poigu* — Сын Иван-старика. А.—А. 400* В. Записала П. Куйкка в 1940 г. в с. Вохтозеро Кондопожского района от А. Ф. Никифоровой, 52 л. Архив 75, 13. Варианты: Архив, 19, 76; 22, 44 (р-н Калевалы); 101, 4 (Пряжинский р-н); 133, 274 (Олонецкий р-н). Публикации: SKS II, № 12 С, русский перевод см.: Конкка, стр. 142—148. Этот вариант довольно близок к публикуемому здесь тексту, хотя мы обнаруживаем в последнем следы модернизации: здесь отец запрещает сыну жениться, а в других вариантах герой просыпает приезд невесты благодаря колдовству мачехи (как и в русских сказках на этот сюжет) или же другой злой силы (из моря поднимается женщина, которая втыкает в уши жениха «сонные иглы»).

14. *Zolotoi koroli* — Золотой король. А.—А. 402. Записал Г. Телкин в 1941 г. в дер. Лагиламба Пряжинского района от А. Е. Богдановой, 61 г. Архив 101, 30. Варианты: Архив 9, 41 (Кемский р-н); 22, 34 (р-н Калевалы); 72, 56 (Кондопожский р-н). Публикации: SKSjT, стр. 277—286 и 290—297. Судя по имеющимся немногочисленным записям, в Карелии бытовали три версии сюжета «Царевна-лягушка». В вариантах — Архив 22, 34 (от М. И. Михеевой) и SKSjT, стр. 277—286 — невеста младшего брата Тухимуса — мышь, как и в известных нам вариантах из Финляндии. Невеста-мышь выполняет задания при помощи множества других мышей; невеста-мышь созывает их при помощи формулы-обращения: «*Tulkua suuri sukukuntani, helie heimokuntani!*» («Приходите, мой большой род, мое славное племя!»). В вариантах — Архив 9, 41 и SKSjT, стр. 290—297 — невеста младшего брата — царевна-лягушка. К сюжету А.—А. 402 в этой версии примыкают сюжеты А.—А. 400 А («Муж ищет исчезающую жену») и элементы сюжета 313 («Чудесное бегство»). Публикуемый вариант сильно отличается от описанных выше, в нем чувствуется влияние быличек, весьма популярных в южной Карелии. Это относится и к другим сказкам, записанным от А. Е. Богдановой.

15. *Kewhe Lavri* — Бедный Лаври. А.—А. 403А. Записал Г. Телкин в 1940 г. в дер. Пелдожа Пряжинского района от В. А. Гордеева, 62 л. Архив 100, 42. Варианты: КНС 19 и прим.; кроме того: Архив 132, 146; 132, 156; 134, 84 (Олонецкий р-н); фонотека 217/4; 381/3 (Кондопожский р-н); фонотека 258/2 (р-н Калевалы). Публикуемая сказка представляет южнокарельскую версию сюжета «Подмененная невеста». Сестра не ставит никаких условий и по собственному желанию согласна выйти за царевича (ср. сказку КНС 19). Сюютиар не превращает девушку в утку, а отдает водяным; сестра выходит из воды с золотой цепью плакать над трупом брата, никаких даров царевичу не посылает, как в северокарельских вариантах. В варианте, записанном от А. Ф. Никифоровой (Архив 75, 9), девушка выходит на берег за морскими коровами, которых зовет обратно в озеро (отголосок древних верований карел: по их представлениям, водяные, лешие, подземные жители вели такой же образ жизни, как и люди: имели хозяйство, стада и т. д.).

16. *Kondii-poigu* — Сын-медведь. А.—А. 425. Записал Т. Окунев в 1938 г. в дер. Маяйсельга Пряжинского района от В. А. Соболева, 48 л. Архив 99, 17. Варианты: КНС 21 и прим.; кроме того: Архив 132, 8; 132, 95 (Олонецкий р-н); фонотека 110/11; 139/1 (Пряжинский р-н). Варианты существенно отличаются друг от друга. Кроме версии, опубликованной в КНС, где муж «нечистый», на юге Карелии имеются еще две версии сюжета. Одну из них представляет данный текст. В другой версии сочетаются сюжеты 621 и 425 (начало: кто угадает, из шкуры какого животного шиты башмаки девушки, тот может взять ее в жены). В этой версии муж — змея, превращающаяся в юношу. Жена раскрывает тайну своего мужа матери, после чего муж-змея исчезает, жена отправляется на поиски, в конце концов она находит его, он ее прощает. В одном варианте конец не носит сказочного характера: муж-змея после раскрытия тайны говорит жене, что она погубила и его и себя, и велит ей вернуться к матери (Архив 132, 95). Эта же версия сюжета известна у вепсов (см.: Näytteltä, 22, 27, 32). Версия, представленная публикуемым текстом, тоже известна вепсам, см.: Näytteltä, 286,

17. [Пряхи у проруби]. А.—А. 480А. Записали на магнитофон А. Тупицына и Х. Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Кондопожского района от М. Ф. Алуферовой, 58 л. Фонотека 384/7. Варианты: КНС 25; кроме того: Архив 101, 32; фонотека 415/3 (Пряжинский р-н); фонотека 386/2 (Кондопожский р-н). Севернокарельские варианты сюжета носят дидактический характер. М. И. Михеева, рассказавшая «Сказку о девушке-неряхе» (КНС 25), заметила, что ее бабушка рассказывала эту сказку, когда хотела приохотить детей к какой-нибудь работе. В южнокарельских сказках на этот сюжет мы неизменно встречаем коллизию «мачеха — падчерица», иногда в роли мачехи выступает баба Сювяйнттери (Сюютяр), а у карел-людигов — Яги-баба. Падчерица хоть и трудолюбива, но не отличается кротостью и незлобностью. Для карельской Золушки-падчерицы как в этом сюжете, так и в других сюжетах характерно, что она мстит своей сводной сестре из-за злой мачехи (в данном тексте говорит той неправду). Подобная черта не встречается в европейских сказках о Золушке.

18. [Морозко]. А.—А. 480*В. Записали на магнитофон А. Тупицына и Х. Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Кондопожского района от И. Ф. Шатиной, 58 л. Фонотека 386/1. Варианты: Архив 63, 76 (Медвежьегорский р-н); 80, 43; 80, 73 (Суоярвский р-н); 132, 59; 133, 31 (Олонецкий р-н); фонотека 384/6 (Кондопожский р-н). Сюжет этот в северной Карелии не бытует. По всей вероятности, заимствован у русских или же впоследствии испытал сильное влияние русской сказки «Морозко», о чем свидетельствуют русские стихотворные вставки, как например в публикуемом тексте.

19. *Kaksi vellesty — Два брата*. А.—А. 510А+409. Записала К. Белова в 1939 г. в дер. Няльмннавола Пряжинского района от С. И. Иванова, 60 л. Архив 114, 22. Варианты см.: КНС 28; кроме того: Архив 75,1 (Кондопожский р-н); 70, 94; 132, 144 (Олонецкий р-н); фонотека 87/2; 113/4; 146/3 (Олонецкий р-н); фонотека 380/3 (Кондопожский р-н); фонотека 409/2 (Пряжинский р-н). Об этом сюжете, широко распространенном по всей Карелии и своеобразно разработанном, более подробно рассказано в первом сборнике «Карельские народные сказки» (1963, вступительная статья, стр. 19—21, 25—27 и примечание к тексту 28). Примечательно, что в данном тексте, как и в ряде других южнокарельских вариантов сюжета, в роли сказочной Сюютяр выступает жена дяди, которая обращается с Золушкой так же, как и мачеха в сказке (см.: Евсеев, 47). Образ полумифической Сюютяр мог трансформироваться в подобный «человеческий» образ лишь в связи с разложением патриархального рода, которое сопровождалось имущественными распрями между членами большой семьи (в одном карельском варианте жена шурина обращает свою овдовевшую невестку в овцу из боязни, что та потребует свою долю имущества: Архив 141, 25).

20. [Златопалай]. А.—А. 510В. Записал на магнитофон В. Рягоев в 1965 г. в с. Колатселя Пряжинского района от Л. И. Ванюшевой, 30 л. Фонотека 465/3. Варианты: КНС 29, 30, 31; кроме того: Архив, ф. 1, оп. 38, № 204. Как уже отмечалось в примечаниях КНС 29, 30, 31, сюжет этот популярен во всей Карелии. Общей из нескольких имеющихся версий сюжета является для северной и южной Карелии версия «Немая жена». В данном тексте имеются элементы модернизации: девушка еще до замужества избавляется от передразнивания, и этим самым отпадает обычная трагическая коллизия, когда у женщин, которая вынуждена притворяться немой, убивают детей у нее на коленях (КНС 31, тот же мотив в КНС 54). Второй факт модернизации — отказ девушки выйти за царя или царевича: вместо них она выбирает бедного парня, который нашел ее в стого соломы. Наконец, интересно отметить, что мать является дочери во сне, а не говорит из могилы, как обычно в сюжетах А.—А. 510А, 510В. И в то же время в сказке сохранились древнейшие мотивы сватовства отца к дочери, общие для всей Карелии, и описание бегства девушки при помощи волшебных предметов. Кроме общекарельской версии, на юге Карелии бытуют еще две версии сюжета: «Девушка-птица» и «Звериная шкура» (варианты см.: КНС 29). Последняя близка к русской редакции сюжета «Свиной чехол» (девушка надевает на

себя звериную шкуру). Ни в одном карельском варианте нет коллизии «брат — сестра» (брат хочет жениться на сестре), как в некоторых русских сказках (например: Аф. 114, 294; Онч. 71). Завязку, характерную для карельских сказок в этом сюжете, мы находим иногда и в русских сказках (Никифоров 61).

21. *Tuhkimus-neidine* — Девушка Тухкимус. А.—А. 512 (условно). Записала П. Куйка в 1940 г. в дер. Вохтозеро Кондопожского района от А. Ф. Никифоровой, 52 л. Архив 75, 4. Варианты: КНС 32. Эта сказка составляет другую редакцию данного сюжета. В некоторых карельских вариантах наблюдается слияние образов Тухкимус — младшей сестры и Тухкимуса — младшего брата, которое выражается в переплетении сюжета А.—А. 512 о младшей сестре с сюжетом А.—А. 530А о младшем брате («Сивко-Бурко»). В публикуемом тексте, как и в вариантах Архива 45, 9 и 133, 367, имеются мотивы из сюжета «Сивко-Бурко» — царевич отмечает Тухкимус печатью своего кольца; Тухкимус до решающего момента прячет эту отметину на лбу. В варианте Архива 45, 9 младшая сестра, как и младший брат в сюжете А.—А. 530А, при помощи определенной формулы вызывает чудесного коня и едет на бал к царю. В свою очередь в сказках о младшем брате Тухкимусе проникают иногда мотивы из сказок о младшей сестре. В одном северокарельском варианте младший брат оставляет на балу своей лапоть, царские люди ищут обладателя лаптя (Архив 2, 150). В построении сюжета публикуемого текста также наблюдаются мотивы из сюжета 530А: старшие сестры, как и старшие братья, три раза ездят на бал к царю. Тухкимус просится с ними, но они ее не берут; по возвращении сестер она говорит: «Не я ли хоть там была?». Царевич отмечает свою невесту так же, как и царевна в сказках о младшем брате; Тухкимус-девушка завязывает лоб, чтобы скрыть печать.

22. *Lesken aikan poika* — Сын вдовы. А.—А. 513А+В. Записала К. Белова в 1937 г. в дер. Нильмонналох Пряжинского района от С. И. Иванова, 58 л. Архив 114, 3. Варианты: Архив 72, 167а (Суоярвский р-н); 98, 16; 99, 10 (Пряжинский р-н). Мотивы «летучий корабль» и «чудесные товарищи» встречаются и в других сказках, главным образом в сюжетах А.—А. 300, 301В и 725. Для русских и финских вариантов сюжета характерно, что герой сказки — младший брат, дурень; в варианте же С. И. Иванова он — сын бедной вдовы. Интересен мотив безжалостности на пиру у царя, иногда встречающийся в карельских сказках. Очевидно, это влияние зачина русских былин, издавна известных и карелам. В отличие от русских и финских вариантов сюжета в публикуемой сказке действие осложняется появлением эпизодов, обычно не относящихся к данному сюжету (царь посылает жениха на верную гибель, он спасается и служит приказчиком, возвращаясь к царю разбогатевшим).

23. *Kolmekumman kolme poika* — Тридцать три сына. А.—А. 531. Записал Ф. Фомкин в 1939 г. в дер. Миялсельга Пряжинского района от В. А. Соболева, 49 л. Архив 99, 36. Варианты: 1, 9; 4, 57 (Лоухский р-н); 12, 74; 19, 35, 35а, 83; 22, 58 (р-н Калевалы); 112, 67, 87 (Пряжинский р-н); 132, 109; 135, 10 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 46—54; 131—132; KKN II, стр. 77—78; Белова 14; 16 (русский перевод вариантов см.; Пажлаков, стр. 14—19, 20—26); Ремиз, стр. 36—43. Для карельской версии сюжета характерно начало, близкое к сюжету А.—А. 327В (братья отправляются на поиски невест; младший брат ночью меняет головные уборы братьев и дочерей старухи). Чудесного коня герой или добывает так же, как и в публикуемом тексте, или же берет в отцовской конюшне трехногую лошадь, паршивого жеребенка и т. д. Чудесное происхождение братьев из яиц встречается как в карельских, так и в русских вариантах (например: Архив 12, 74; Аф. 105 — «Баба-яга и Заморышек»). Героем сказки является не младший брат, как обычно, а старший брат.

24. [Чудесные дары]. А.—А. 563. Записал Ларионов в 1936 г. в дер. Матчозеро Олонецкого района от П. Я. Романова, 26 л. Архив 137, 12. Варианты: Архив 134, 141 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I,

стр. 15—16. У карел этот сюжет встречается редко; близкие к нему сюжеты в чудесных дарах 564 и 565 («Чудесная мельница») бытуют главным образом в северной Карелии (см.: КНС 44, 45). Анализ карельских сказок о чудесных дарах см.: У. С. Конikka, Карельская сатирическая сказка. М.—Л., 1965, стр. 31—53. Интересна запись (Архив 134, 141) из Олонецкого района, обнаруженная после выхода вышеназванного исследования. Этот вариант представляет собою ранний этап развития сюжета, так как в основе его действия не лежит социально-классовая моллиния, а антагонизм между старшими братьями и младшим братом Тухкимусом. Характерно, что волшебные предметы (монету, скатерть и камень) герой получает от вороны, которая приходится травить поле и которую поймал карауливший поле Тухкимус. Камень убивает старших братьев, Тухкимус отправляется странствовать, затем возвращается и женится. В публикуемом варианте имеются элементы ямыка, свидетельствующие о финском влиянии: *helvetin kattila*, *poijat pois ruuasta* — финские выражения, не употребительные в южнокарельских диалектах.

25. *Kuldurpää sorzu* — Золотоголовая утка. А.—А. 735+567. Записала А. Николаевская в 1936 г. в с. Видлица Олонецкого района от П. Х. Пометовой, 52 л. Архив 134, 95. Варианты: Архив 11, 84; 13, 14; 22, 82 (р-н Калевалы); 35, 36; 36, 13 (Беломорский р-н); 64, 13; 65, 37 (Медвежьегорский р-н); 99, 24; 102, 16а (Пряжинский р-н); 134, 42; 134, 45; 134, 51; 134, 95; 135, 17; 135, 83; 135, 87; 140, 13 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN III, стр. 37—38; 79—84; SKS II, 9а. Для южнокарельских вариантов характерно начало сказки, как в сюжете А.—А. 735 («Две доли»). На севере образ Доли не встречается. Счастье, доля — кар. оза — персонафицировалась у многих народов и представлялась невидимым спутником человека, который мог покинуть его на долгое время.

26. *Sada jämbdy* — Сто зайцев. А.—А. 570. Записала К. Белова в 1939 г. в д. Няльминнаволок Пряжинского района от С. И. Иванова, 60 л. Архив 114, 2. Варианты: Архив 2, 151 (Лоухский р-н); 15, 121; 16, 48; 22, 129 (р-н Калевалы); 74, 30 (Суоярвский р-н); 142, 26 (Олонецкий р-н). В северной Карелии сказка имеет иную завязку: мальчик (иногда сирота) идет в город искать работы: сторожит городские ворота, работает в кузнице, затем поступает к царю пасти зайцев. В южнокарельских вариантах герой сказки — солдат. Публикуемый текст близок к русскому варианту Онч. 258. Другой опубликованный русский вариант (Сок. 78) значительно отличается от карельских вариантов сюжета. Сказка широко распространена по всей Европе; у финнов насчитывается 79 вариантов.

27. *Van'ka* — Ванька. А.—А. 571. Записал Т. Окунев в 1938 г. в дер. Майясельга Пряжинского района от В. А. Соболева. Архив 99, 6. Варианты: Архив 97, 6 (Пряжинский р-н); 114, 14 (Ведлозерский р-н); 133, 942 (Олонецкий р-н); фондотека 380/2 (Кондопожский р-н). Публикации: KKN III, стр. 56—57. Версия сюжета, распространенная у русских, — «Заморский гусь» (Аф. 256; Еф. 2; См. 44; Карп. 148; Корп. 47), в Карелии представлена лишь одним вариантом из Кондопожского р-на (фонотека 380/2). Существуют карельские варианты, в которых леший или чудесный старик превращает героя в собаку, чтобы он мог убедиться в неверности жены, и дает ему волшебок (ремень), обладающий чудесным свойством (Архив 133, 942; KKN III, стр. 56—57; ср. русскую сказку: ЗВ 22). Карельский вариант: Архив 97, 6 (А.—А. 571+559) близок к финскому варианту из сборника Finne — «*Silkkien lammas*» («Шелковая овца»). Публикуемый здесь вариант Соболева имеет острую социальную направленность, что характерно и для других его сказок. Этот текст довольно близок к русскому варианту ЗВ 55. В обеих сказках совпадают узловые моменты сюжета: хозяин обманывает героя сказки, обещав выдать за него свою дочь, но в отсутствие работника выдает ее за другого; волшебным советчиком служит береза, которую работник хотел срубить на ось. Конец сказки у Соболева разработан более детально и проникнут ненавистью к семье купца, обманувшей бедного Ваньку.

28. *Kriwdu i Prawdu* — Кривда и Правда. А.—А. 613. Записал Д. Чаккиев в 1940 г. в дер. Лагилаамби Пряжинского района от А. О. Богдановой, 60 л. Архив 101, 8. Варианты: Архив 101, 5 — от нее же; 72, 120 (Кондопожский р-н); 132, 176 (Олонецкий р-н). Публикации: SKSJТ, стр. 340—342 (ср. финский вариант: там же, стр. 332—339); Евсеев, 46 (переплетение сюжетов А.—А. 564 и 613). По имеющимся записям, сказка бытует в основном на юге Карелии. Обычно в русских вариантах Кривда выкалывает у Правды глаза по условию пари, но в варианте Аф. 115 — за кусок хлеба, как в публикуемой сказке и в других карельских вариантах. В данном тексте отсутствует мотив излечения царской дочери, благодаря чему герой разбогател, но от этого сказка в художественном отношении выиграла.

29. *Ivan Medvedin* — Иван Медведиш. — А.—А. 650 А+301 А+300 А. Записала К. Белова в 1939 г. в дер. Няльмоннаволок Пряжинского района от С. И. Иванова, 50 л. Архив 114, 17. Варианты: Архив 9, 44; 9, 71 (Кемский р-н); 12, 132; 22, 10; 22, 84 (р-н Калевалы); 35, 37 (Беломорский р-н); 63, 25; 63, 46; 64, 19 (Медвежьегорский р-н); 72, 12; 72, 134 (Кондопожский р-н); 99, 22; 100, 44; 102, 3; 102, 44 (Пряжинский р-н); 135, 103; 136, 3; 136, 120 (Олонецкий р-н). Публикации: SKSJТ, стр. 17—25; 25—35; Mihejeva, стр. 61—64; Пажлаков, стр. 64—70. В большинстве вариантов герой сказки — сын попа (попады) и медведя, но в ряде вариантов он сын хозяйки (девы) леса, иногда даже сын Сюютяр (вариант: Mihejeva, стр. 61—64). Герой необычайной силы, обуздывающий медведя и покоряющий водяного, перешел из волшебной сказки в бытовую антипоповскую сказку (об эволюции сюжета см.: У. С. Конкка. Карельская сатирическая сказка. М.—Л., 1965, гл. 1). Контаминация сюжетов А.—А. 650 А, 301 А и 300 А типична для Карелии.

30. *Bobatteri-muhoi* — Жена-богатырша. А.—А. 650 (условно). Записала А. Луккарева в 1938 г. в дер. Святозеро Пряжинского района от И. С. Евдокимова (возраст неизвестен). Архив 94, 61. Вариант: Архив 94, 5. Редкий сюжет, представленный лишь двумя записями из Пряжинского района. Второй вариант мало отличается от публикуемого текста. Женщины необычайной силы, физической и нравственной, известны в фольклоре многих народов, но подобные образы женщин чаще встречаются в эпосе, чем в сказках. Образ карельской богатырши очеловечен, в нем не осталось ничего мифического, фантастического в нем — только сверхъестественная физическая сила.

31. *Akku lapsen äöi* — Мать ребенка съела. А.—А. 652. Записала А. Суксина в 1936 г. в дер. Погран-Кондуши Олонецкого района от Е. И. Гершиевой (возраст неизвестен). Архив 135, 18. Варианты: Архив 132, 188; 134, 105; 132 (Олонецкий р-н). В других районах сюжет не встречается. Как в карельских записях, так и в русских публикациях сюжет довольно стабилен. Карельский вариант (Архив 132, 188) имеет такую же концовку, как и русская сказка Онч. 61: родители мальчика прощают работника. Деталь — мальчик обещает накормить собаку горящими угольями — имеется во всех карельских вариантах, как и в русских. Условно к этому сюжету причислен вариант Архива 134, 132, в котором счастливого сына хотят погубить родители (их желание не мотивировано), спасает его служанка. Мальчик побивает неприятельское войско, царь отдает ему царевну и полцарства. Парень вознаграждает служанку и наказывает родителей. Вероятно, в результате известных социальных сдвигов старый сюжет был переосмыслен. Благородная служанка противопоставлена низкому приказчику (работнику) традиционного сюжета — поэтому можно предполагать, что сюжет получил новое идейное звучание в среде бесправной прислуги, батраков.

32. [Язык животных]. А.—А. 670 (671); записала А. Николаевская в 1936 г. в дер. Погран-Кондуши Олонецкого района от И. А. Трохпиева, 68 л. Архив 135, 147. Варианты: Архив 23, 3 (р-н Калевалы); 132, 54; 132, 163; 134, 110а; 135, 61 (Олонецкий р-н). Версия «три языка» (А.—А. 671) встречается в контаминации с другими сюжетами в варианте: Архив 19, 36. Публикации: KKN I, стр. 61—62; Virtaranta III, стр. 320. В карельских

вариантах сюжет А.—А. 670 тесно переплетается с сюжетом А.—А. 671. Герой этих сказок всегда получает чудесным образом дар понимания языка животных и птиц. Благодаря этому он становится богатым. Часто сказка завершается эпизодом расправы над женой, вынуждающей мужа раскрыть тайну (а это грозит ему смертью). В публикуемом тексте этот эпизод отсутствует. Остальные варианты существенно не отличаются от публикуемого. В русских вариантах Аф. 248, Худ. 54 герой получает чудесный дар от змеи (Аф. 248) или после того, как поел змеиного мяса (Худ. 54). В вариантах Аф. 247 и Су. 72 сюжет А.—А. 671 контаминируется с сюжетом А.—А. 725. Там герой либо от рождения обладает таким даром, либо его обучает языку животных леший.

33. [По щучьему веленью]. А.—А. 675. Записал Е. Каллио в 1938 г. в дер. Пенъгисельга Олонецкого района от Е. Т. Загустиной, 56 л. Архив 112, 75. Варианты: Архив 2, 104 (Лоухский р-н); 9, 13 (Кемский р-н); 13, 4; 20, 5; 22, 30, 33; 23, 12 (р-н Калевалы); 64, 28 (Медвежьегорский р-н); 99, 25; 100, 29; 101, 4 (Пряжинский р-н). Публикации: KKN III, стр. 132—134. Карельские сказки на этот сюжет не отличаются существенно от русских вариантов. У карел, как и у русских, герой сказки — дурак, который иногда зовется Иван Тухкимус, иногда Омеля (русс. Емеля). В севернокарельских сказках формула «по щучьему веленью» имеет несколько вариантов: «Jumalan sanah, kalap valah» («По божьему слову, по рыбьей клятве»), «Synnyn sanah, hauvin p'euvoikkih» («По слову творенья, по щучьему совету») и т. д. В южной Карелии, кроме карельских, появляются русские формулы, как например в варианте Архива 100, 29: «По моему прошенью, по земскому решению». В некоторых карельских вариантах, записанных в 30-е годы XX в., герой мстит царю. Например, в варианте Архива 20, 5 Омеля царя в бочке бросает в море. В концовке сказочница называет имена некоторых из своих слушателей, чтобы привлечь их внимание и произвести комический эффект.

34. *Peigoi-poigaine* — Мальчик-с-пальчик. А.—А. 700. Записала Ф. Титкова в 1939 г. в дер. Няльмоннаволок Пряжинского района от С. И. Иванова, 60 л. Архив 114, 10. Варианты: Архив 35, 20 (Беломорский р-н); 45, 3 (Сегежский р-н); 132, 7, 157, 177, 191; 135, 109; 137, 15; фонотека 146/1. (Олонецкий р-н). Публикации: Белова, 24; русский перевод этого варианта см.: Пажлаков, стр. 127—130. Существуют две версии сюжета, более древнюю из которых представляет публикуемый текст. Она больше характерна для северных районов Карелии; в Олонецком районе эта версия переплетается с другой, которая тяготеет к сатирическим сказкам о ловком воре. Происхождение мальчика от большого пальца старика или старухи в карельских сказках неизменно. В северных вариантах Мальчик-с-пальчик приводит на родной двор медведя, от мяса и шкуры которого родители получили много денег. Один из южнокарельских вариантов Олонецкого района (132, 177) почти во всех деталях совпадает с русской сказкой Аф. 300.

35. *Peigoi-poigaine* — Мальчик-с-пальчик. А.—А. 700. Записал И. Герасимов в 1936 г. в дер. Обжа Олонецкого района от Н. Я. Слепухиной, 59 л. Архив 132, 157. Варианты см. в примечании к предыдущему тексту. В данном варианте сказки заметно усиление сатирических элементов. В нутро коровы Мальчик-с-пальчик залезает с целью повредить попу, чтобы поп лишился коровы. Наиболее ярко сатирическая тенденция развития сюжета выразилась в варианте Белова 24 (русский перевод см.: Пажлаков, стр. 127—130). Близкий русский вариант с присоединением сюжета 1737 — См. 366. Близкая к упомянутому выше карельскому варианту Белова 24, имеется у Finne, стр. 5—12. Публикуемые здесь два варианта сюжета А.—А. 700 наглядно показывают, как изменяется сказка под влиянием социальных условий.

36. [Немая жена]. А.—А. 705 (условно). Записали на магнитофон А. Тупицына и Х. Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Сележского сельсовета Кондопожского района от М. И. Шатиной, 84 л. Фонотека 381/6. Варианты:

КНС 54 и прим. В карельской версии сказки «Немая жена» переплетаются частично мотивы сюжетов А.—А. 887 и А.—А. 428, где свекровь пытается погубить невестку (отправляет стричь волоков или медведей или же подонить; сходные к коладунье за бердом). Женщина выполняет задания благодаря чудесному помощнику. Причина немоты девушки в дошедших до нас карельских вариантах не мотивируется. Если в двух северокарельских вариантах (см.: КНС 54) девушка чудесного происхождения, то в публикуемом здесь варианте этого мотива нет. Мотив — женщина молчит до тех пор, пока не найдет брошенное в воду обручальное кольцо, — в других карельских вариантах не встречается. Подобный мотив имеется в русской сказке Худ. 19; в сказке См. 141 обручальное кольцо невесты в воду бросает Яга-баба (Еги-баба), превратив девушку в утку (как в сюжете А.—А. 403). К публикуемой сказке близок русский вариант (Корг. 43), где невеста дает варок молчать три года, так как ее насильно пересели в дом жениха на чудесной кровати. Свекровь — мачеха царевича, баба-яга. Героине помогает ее муж. Он не делает попытки жениться второй раз, жена начинает говорить по истечении трех лет. Мотив немоты жены встречается в одной из карельских версий сюжета А.—А. 510В (см.: КНС 31). Для этой версии, как и для некоторых вариантов сюжета 705, характерна такая концовка: муж женится на второй, первая жена прислуживает на свадьбе, несет чугуны шелковым передником. Новая жена делает ей по этому поводу замечание, и тут прежняя жена впервые начинает говорить.

37. [Безручка]. А.—А. 706. Записала К. Белова в 1939 г. в с. Ведлозеро Прижинского района от П. П. Ивановой, 50 л. Архив 113, 5. Варианты: Архив 13, 22; 20, 13; 26, 30 (р-н Калевалы); 35, 2; 36, 46, 48 (Беломорский р-н); 63, 47; 64, 2; 65, 1 (Медвежьегорский р-н); 99, 5; 101, 7; 102, 6; фонотека 408/6; 414/4; 418/8; 463/6 (Пряжинский р-н); 132, 34; 132, 55; 134, 47; 135, 28, 41; 137, 4; 138, 78; 157, 14 (Олонецкий р-н). Публикации: SKSJТ, стр. 114—122; KKN I, стр. 65—67; KKN III, стр. 42—43; Белова, 8 (русский перевод: Пажлаков, стр. 71—74). Один из наиболее распространенных в Карелии сюжетов наряду с сюжетами А.—А. 403, 510А и В, 707. Варианты мало отличаются друг от друга, традиции устойчивы. Наблюдается сближение с сюжетом 707: описание чудесного ребенка (см. публикуемый текст) почти во всех вариантах сходно с описанием чудесных символов сказки 707. Появляются и другие общие детали, как например в данном тексте (безручку с ребенком сажают в бочку и бросают в море). Интересны варианты, в которых сюжет 706 удачно контактируется с сюжетами 403, 409 и 709 (варианты Архива 26, 30; 102, 6; 138, 78; 157, 14). За редкими исключениями невестка в карельских вариантах — дочь Сюзятар или из ее рода, или же из рода кару (лесных демонов, чертей).

38. [Чудесные дети]. А.—А. 707. Записала Н. Лушкарева в 1938 г. в дер. Мукузеро Кондопожского района от В. М. Артукова, 73 л. Архив 72, 129. Варианты см.: КНС 48, 49 и прим.; кроме того: Архив 70, 41 (Пряжинский р-н); 132, 191; фонотека 222/8 (Олонецкий р-н); ф. 1, оп. 38, ед. хр. 273 (Сегежский р-н). Сказка очень популярна у карел. Публикуемый вариант является заимствованием пушкинской версии сюжета. В ней точно передаются все мотивы пушкинской сказки, действуют те же герои: царевна-лебедь, коршун-чародей — волшебник, чудесная белка, тридцать три богатыря, выходящих из моря, и т. д. Однако героя зовут Иван Царевич, а не Гвидон, превращается он в овода и шмеля (у Пушкина — в комара, муху и шмеля). Совпадают даже такие детали: сын царяцы натягивает на лук шнурок с креста матери, речь царевны «журчит, как реченька», «жена — не рукавица» и др. Имеют место некоторые отклонения в сторону карельской традиции: младшая сестра обещает родить «из трех утроб» девять сыновей-богатырей (уже не золотых, как обычно у карел). Первым животом родила трюхи, спрятала одного под грудь — тоже чисто карельский элемент. И в письме говорится о сыновьях (во множественном числе). Дальше же, в ходе раскрытия сюжета, говорится только об одном сыне, как и у Пушкина. В конце сказочник опять возвращается к карельской традиции: для

злых сестер топят баню, ведут их туда по коврам, под которыми поставлены котлы с кипящей смолой, — там и сгорели ткачиха и повариха (у Пушкина же царь их прощает). Сказочник хорошо знаком с литературным источником, но невольно в его повествование вторгаются карельские элементы сюжета. Южнокарельские варианты соответствуют общекарельской традиции сюжета, для которой характерно, что Сюютиар подменяет чудесных детей (КНС 48). Сестры царицы, причиняющие зло, имеются лишь в некоторых севернокарельских вариантах (КНС 49) и, кроме публикуемого варианта, в одном варианте, записанном в той же деревне Мунозере, как и данная сказка (Архив 72, 147).

39. [Мертвая царевна]. А.—А. 709. Записал М. Гершиев в 1936 г. в дер. Погран-Кондуши Олонцкого района от М. М. Гершиева, 56 л. Архив 135, 67. Варианты: Архив 22, 40; 26, 30; 29, 136 (р-н Калевалы); 35, 33 (Беломорский р-н); 63, 78 (Медвежьегорский р-н); 77, 12 (Кондопожский р-н); 102, 6 (Пряжинский р-н); 132, 150; 138, 10 (Олонцкий р-н). Публикации: Евсеев, 50. Наиболее близок к публикуемому тексту вариант Архива 138, 10, с той же коллизией: мать—дочь. Дочь изгнана из-за красоты. Роль зеркала выполняет солнце. Только здесь оно предсказывает о красоте еще не родившейся дочери. Братьев оживляют при помощи живой и мертвой воды. Острота конфликта сглажена—дочь мирится с матерью, кающейся в попытке погубить дочь. Эта коллизия встречается только в этих двух вариантах. В основном же сказочники избегают ее, заменяя более понятной: невестка—золовка; мачеха—падчерица. Поэтому не во всех вариантах причиной изгнания девушки является ее красота, считается вполне достаточной мотивировкой неприязнь, как отголосок родовой вражды. За исключением пересказов пушкинской версии сюжета (варианты: Архив 35, 33; 77, 12) мотив красоты встречается, кроме названных двух, в варианте 132, 150, в котором в роли предсказателя выступает зеркало. Во всех же остальных (Архив 22, 40; 29, 136; 63, 78; 102, 6) отсутствует мотив красоты; таким образом, становится ненужной роль зеркала или солнца. Варианты 35, 33; 77, 12 — пересказ пушкинского текста с незначительными отклонениями: зеркало активно вмешивается в события (советует выгнать девушку, напутствует жениха в поисках невесты и т. д.). В варианте 35, 33 конец сглажен: девушка прощает мачеху. Почти дословно сохранено пушкинское обращение к зеркалу: «Ах, зеркальце, мой свет, лучше меня на свете нет. Скажи мне, зеркало, кто на свете красивее, белее и румяней» и т. д. Севернокарельские варианты (Архив 22, 40; 29, 136) уже по завязке резко отличаются от предыдущих (35, 33; 77, 12). Несмотря на общность коллизии мачеха—падчерица, причиной изгнания является не красота девушки. Вариант Архива 29, 136 имеет завязку, как в сюжете А.—А. 706, но вместо невестки действует мачеха. А в варианте Архива 22, 40 мачеха приказывает отвезти падчерицу в лес (как в сказках группы А.—А. 480). Лесные братья, к которым попадает девушка, сражаются со змеем. В их отсутствие девушка стирает их окровавленную одежду («verivuattiet»). Мачеха узнает от вдовы, а не от зеркала, о том, что девушка жива. Особую версию составляют сказки с коллизией невестка—золовка (см. текст 40). В варианте Архива 102, 6 девушка умирает от «мертвого волоса» («kuolientukka»). Этот же мотив в русской сказке Аф. 211. Можно отметить некоторые общие детали, встречающиеся во всех вариантах: в доме братьев на столе приготовлена еда, приборы по числу братьев (количество братьев колеблется — 3, 7, 9, 12). Девушка отведывает из каждого, и братья сразу замечают, что кто-то есть в доме. После захоронения девушки братья чаще умирают (гибнут, кончают самоубийством) или же сильно горюют и каждый день ходят смотреть на нее в гробу. Гроб то хрустальный, то золотой, то стеклянный, который ставят или в построенном для этой цели домике, либо в горе (на горе), иногда на столбах в лесу, а то и просто на елке или под елкой, но в землю не закапывают. У карел в данном сюжете не встречается коллизия сказки об оклеветанной девушке (А.—А. 883), как в ряде русских вариантов: Аф. 211; Худ. 75; Сок. 76, 97.

40 [Мертвая царевна]. А.—А. 709. Записал И. Герасимов в 1936 г. в дер. Сааригора Обжанского сельсовета Олонецкого района от И. И. Савинова, 53 л. Архив 132, 150. Варианты см. в примечании к тексту 35. Эта версия сюжета, насчитывающая четыре варианта (Архив 26, 30; 63, 78; 102, 6; 132, 150), имеет коллизию невестка—золовка, как в сюжете А.—А. 706. Мотив соперничества в красоте имеется только в данном варианте. В варианте Архива 26, 30, как и в публикуемом тексте, девушка три ночи подряд сражается с 3-, 6-, 12-головыми змеями. Мотив — девушка оживляет братьев кровью своего первенца — не встречается в других вариантах.

41. Kukkinen da kivi — Петук и жернов. А.—А. 715. Записала Волкова в 1936 г. в дер. Сааригора Олонецкого района от И. И. Савинова, 53 л. Архив 132, 66. Варианты см.: КНС 50. В карельской традиции обладателями жернова являются дети сироты. Исключение составляет севернокарельский вариант, опубликованный в КНС 50. Жернов у детей похищает или царь (в севернокарельских вариантах — см.: Евсеев, 54), или барин (боарин) — в южнокарельских вариантах. Юмористические концовки характерны для южнокарельских сказок. В конце этой сказки рассказчик называет в шутку одного из слушателей, который, возможно, задремал или слушал рассеянно.

42. [Нерассказанный сон]. А.—А. 725. Записали на магнитофон, А. Тупицына и Х. Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Кондопожского района от М. И. Шатиной, 84 л. Фонотека 381/1. Варианты: Архив 9, 29 (Кемский р-н); 13, 67; 17, 20; 21, 12, 17; 22, 59 (р-н Калевалы); 49, 3 (Сегежский р-н); 132, 153; 135, 161 (Олонецкий р-н). Не во всех вариантах причиной родительского гнева является нежелание сына рассказать приснившийся ему сон. Однако дальнейший ход сюжета во всех вариантах одинаков: при помощи шапки-невидимки герой помогает царевичу выполнить все трудные задания невесты (или ее отца). В карельских сказках отсутствует мотив «отец пьет воду, в которой сын мыл ноги». Нерассказанный сон — это те действия героя, которые он предпринимает в связи со сватовством царевича. В некоторых вариантах это выясняется в конце сказки, в других же о сне ничего не говорится. Из русских сказок к карельской редакции ближе всего Аф. 240, Худ. 87, Корг. 15 (завязка, как в некоторых севернокарельских вариантах). Формула «Тарас много знает, да не смеет» встречается также и в севернокарельских вариантах. В некоторых районах, населенных карелами-людиками, невесту называют «княгини» (kn'agin). Вероятно, это заимствованное слово появилось под влиянием русских свадебных песен, которые широко бытовали среди некоторых групп южных карел.

43. Оза-уагати — Сказка о Доле. А.—А. 735 + 564. Записал Ф. Фомкин в 1938 г. в дер. Майсельга Пряжинского района от В. А. Соболева, 48 л. Архив 99, 21. Варианты: Архив 68, 9 (Медвежьегорский р-н); 75, 15 (Кондопожский р-н); 102, 1 (Пряжинский р-н); 132, 213 (Олонецкий р-н). Публикации: ККН II, стр. 88—92; Белова, 13 (русский перевод: Пажлаков, стр. 114—118). Другую версию сказки (А.—А. 735 + 567) см. в данном сборнике, текст 44. Перевод варианта Архива 75, 15 с мотивами из сюжета «Правда и кривда» см.: Евсеев, 46. По имеющимся записям, образ Доли (Oza) в сказках встречается только в южной Карелии. Более подробно об эволюции сюжета «Чудесные дары» см.: У. С. Конкка, Карельская сатирическая сказка. М.—Л., 1965, гл. I, стр. 30—53.

44. [Чудесная птица]. А.—А. 735 + 567. Записала К. Белова в 1938 г. в с. Видлица Олонецкого района от Е. Г. Гавриловой, 50 л. Архив 140, 13. Варианты см. в примечаниях к текстам 25 и 43. В данном случае мы имеем оригинальную разработку сюжета; других подобных вариантов не обнаружено. Вторая часть сказки с мотивом чудесной птицы принимает здесь неожиданный поворот, в то время как в других сказках, в которых сочетаются сюжеты А.—А. 735 и 567, вторая часть полностью повторяет сюжет о чудесной птице (А.—А. 567).

45. Ivan Lesnīcei — Иван Лесничий. А.—А. *813 (условно). Записала А. Николаевская в 1936 г. в дер. Погран-Кондуши Олонецкого района от Партанской, 62 л. Архив 135, 6. Варианты: Архив 135, 151 (Олонецкий р-н). Остальные варианты имеют лишь общую с публикуемым текстом завязку, далее сюжет развивается по-разному: Архив 45, 17 (Сегежский р-н); 74, 23 (Суоярвский р-н); 101, 32; ф. 1, оп. 38, № 247 (Пряжинский р-н); 135, 169 (Олонецкий р-н). В южной Карелии довольно распространены былички о лешем, унесшем ребенка, который через несколько лет возвращается к людям. В данном случае мы имеем факт тяготения былички к сказке, хотя собственно сказкой это повествование еще нельзя назвать. Сказочными элементами в подобных быличках-сказках являются описания жизни похищенного мальчика (или девочки) у лешего, тут обычно и появляются сказочные аксессуары. Сказочной деталью в данном тексте и в варианте 135, 151, записанном в той же деревне, является и то, что лесник, спасший мальчика, выдает себя за знахаря. Публикуемый текст не окончен, но интереснее другого аналогичного варианта своими бытовыми деталями. Иногда подобные повествования переходят в сказки о глупом черте (похищенный мальчик обманывает лешего, который, в конце концов, вместе с женой бежит от него).

46. Dočka Semiletka — Дочка Семилетка. А.—А. 875. Записал И. Герасимов в 1936 г. в дер. Обжа Олонецкого района от Н. Я. Васькиной, 47 л. Архив 132, 119. Варианты: КНС 52; кроме того: Архив 70, 79; 134, 141; фонотека: 113/5 (Олонецкий р-н). Здесь, как и в русских вариантах, судит сам царь, и девушка состязается с ним в уме. Текст очень схож с русским вариантом (Аф. 328), те же вопросы, задания царя и ответы девушки, которые совпадают почти дословно. Сказка явно заимствована у русских, о чем свидетельствует и ее название.

47. [Укрошение строптивой]. А.—А. 901А + *В. Записали на магнитофон В. Евсеев и И. Сало в 1960 г. в дер. Спиридоннаволох Пряжинского района от Е. М. Егоровой (возраст неизвестен). Фонотека 110/6. Вариант: Архив 79, 48 (Кондопожский р-н). Варианты А.—А. 901А без мотива «зять падет на теще»: фонотека 86/9 (Олонецкий р-н); KKN II, стр. 23—24 и 35—37 (оба варианта записаны от карел-ливвиков); Kujola, стр. 47 (тоже от карел-ливвиков). Публикуемая сказка представляет собою переплетение двух сюжетов: «укрошение строптивой» и «исправление ленивой». Определяющим из них является первый сюжет, но элементы второго сюжета (901*В) входят в него органически, как и в некоторых русских вариантах, например: ЗВ, 18 и Азадовский, 23. Последний, записанный в Сумском посаде, в Беломорье, очень близок к публикуемому здесь карельскому варианту. Оба варианта этой версии сюжета записаны в южной Карелии. Поскольку сюжет в таком же виде встречается у русских, учитывая близость карельских и русских вариантов, можно предполагать, что он заимствован у русских южными карелами, которые находились с ними в более тесных контактах, чем северные карелы. Об обратном заимствовании не может быть речи, так как данная редакция сюжета отмечена в разных областях России (см.: А.—А. 901*В, а также примечание к сказке: Азадовский, 23).

48. [Добрые советы]. А.—А. 910А + *1465. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в с. Ведлозеро Пряжинского района от И. А. Ивановой, 63 л. Фонотека 408/7. Варианты: Архив 72, 169; 74, 56 (Кондопожский р-н); 98, 1 (Пряжинский р-н); 141, 10 (Олонецкий р-н). Сюжет мало распространен в Карелии, встречается только в южной ее части, севернокарельских вариантов не обнаружено. Иногда сюжет А.—А. 910А переплетается с сюжетом 915, встречается контаминация сюжетов 910А и *1465, как в данной сказке и в варианте Архива 141, 10. Подобная контаминация естественно вытекает, когда сын нарушает совет отца не жениться на девушке из дальней деревни, т. е. на такой, которой не знаешь: «Loittozet kellot on kuuluzat, a lās mendu rāpsistuu» («Далекие колокола чисто звенят, а ближе

подойдешь — дребезжат»). Пример взят из варианта Архива 141, 10, который очень близок к публикуемому тексту — те же советы с подробным изложением того, как герой испытывает их справедливость. В варианте архива 98, 1 советы другого характера: 1) не ходить прямой дорогой, пряником; 2) не наниматься на работу туда, где очень просят, а идти туда, куда не приглашают. Герой идет в город прямой дорогой, встречает разбойников, от которых он убегает. В городе его встречает один из этих разбойников и приглашает на работу. Парень помнит слова отца, но все-таки принимает приглашение. Купец (разбойник) хочет женить героя на одной из семи похищенных девушек. Выбранная им девушка Настя предупреждает его о намерении хозяина убить его. Поступает к другому купцу и на его именинах рассказывает как сказку все, что с ним произошло. Купца-разбойника разоблачают. Полностью совпадают с этой сказкой русские варианты: Сок. 15; Каря. 38. Карельские варианты Архива 72, 169; 74, 56 (рассказаны А. К. Исаковым) представляют собой переплетение сюжетов 915 и 910А. Отец дает сыну такие наказы: 1) никому не говорить «бог в помощь», пусть другие говорят ему; 2) не давать лошадей чужому мужику (плохому); 3) пусть плут будет серебряным; 4) на богатой не жениться и жену домой в гости одну не отпускать. При буквальном исполнении первого и третьего наказов дела идут плохо. Истинный смысл их в сказке не разъясняется. Второго и четвертого отцовского наказа сын не выполняет и поэтому терпит неудачи. Концовка сказки представляет собой перевод русской прибаутки, которая и в русских сказках часто служит концовкой (А.—А. 1880). Эта русская прибаутка известна по всей Карелии.

49. [Неизвестны загадки]. А.—А. 921. Записала П. Куйка в 1940 г. в с. Вохтозеро Кондопожского района от А. Ф. Ницифоровой, 62 л. Архив 75, 11. Варианты: КНС 58 и прим. Сказка отличается от всех известных карельских вариантов тем, что действие ограничивается лишь описанием эпизода сватовства и не получает дальнейшего развития, как обычно в других вариантах, так как умная девушка отказывает жениху, в глупости и недогадливости которого она убедилась.

50. *Pedri-saig* — Царь Петр. А.—А. *921 I A (условно). Записала К. Белова в 1940 г. в дер. Пелдожа Пряжинского района от В. А. Гордеева, 62 л. Архив 160, 41а. Варианты: Архив 12, 46; 19, 9 (и Калевалы); 72, 170 (Суоярвский р-н); 134, 91 (Олонецкий р-н). Публикации: Белова, 31 (вариант: Архив 134, 91). В Карелии бытует несколько разновидностей сказок о загадочной беседе царя с крестьянином: кроме публикуемого варианта встречается сказки с мотивом «куда тратятся деньги?» и «почему борода черная, а голова седая?». Характерно, что в южнокарельских сказках о царе Петре появляется мотив: крестьянин (или солдат) просит в награду за услугу освободить его лично, иногда даже весь его род от крепостной зависимости.

51. [Поп и царь]. А.—А. 922. Записал М. Евсеев в 1936 г. в дер. Вага-озеро, Олонецкого района от М. Ф. Чеснокова, 32 л. Архив 137, 19. Варианты: Архив 102, 35 (Пряжинский р-н); 132, 165; 135, 142 (Олонецкий р-н). Здесь оригинальная завязка, характеризующая особенности быта дореволюционной Карелии: из-за больших расстояний между деревнями, а отчасти и из-за равнодушия к церкви и религии в Карелии нередки были случаи, что детей крестили только на втором десятке жизни. Иногда родители сами откладывали крещение, потому что в нищем крестьянском хозяйстве нечем было платить попу. Об этом, например, свидетельствует рассказ, записанный от двух сказочников р-на Калевалы (Архив 13, 76; 21, 9). Данный сюжет широко распространен по всей Европе (см.: Томсон, 922). Все карельские варианты сюжета записаны в южной Карелии. Вопросы и ответы публикуемого варианта типичны и для вариантов сюжета у других европейских народов. Но в сказках других народов в качестве отвечающего обычно выступает человек из народа — пастух, сапожник, солдат (см.: W. Anderson. Kaiser und Abt. Folklore Fellows Communications, № 42, Helsinki, 1932, раздел «Der Antwortgeber»), а в карельских вариантах — дякон, за исключением варианта Архива 102, 35.

52. *Pedri-cairi* — Царь Петр. А.—А. 952. Записала К. Белова в 1940 г. в дер. Пелдожа Пряжинского района от В. А. Гордеева, 62 л. Архив 100, 41. Варианты: Архив 94, 6, 24 (Пряжинский р-н); 135, 156; 136, 7 (Олонецкий р-н). Карельские варианты мало отличаются от русских (ср., например, Аф. 340 и Кран. 55). Сказки о Петре I больше встречаются в южной Карелии.

53. [Петр Первый и кузнец]. В указателе А.—А. сюжет не зарегистрирован. Записала А. Суксина в 1936 г. в дер. Погран-Кондуши Олонецкого района от И. А. Трохмиева, 65 л. Архив 135, 154. Варианты не обнаружены. Мотив резвого коня имеется в предыдущем тексте. Мотив «царь недоволен работой кузнеца» имеется в одной сказке, записанной также в Олонецком районе (Архив, 136, 18). В ней рассказывается, что, после того как Петр разогнул подкову, кузнец не стал ковать новую, а сказал: «Сделай ты сам, какую тебе нужно». Публикуемая сказка имеет явный антицарский смысл и выражает народную мечту о демократическом законе, перед которым все равны. При помощи простых художественных средств сказочник создал замечательный образ непреклонного кузнеца. Учитывая популярность эпических песен о кузнеце Илмойяллине в южной Карелии, можно предполагать, что образ кузнеца в сказке испытал на себе влияние образа кузнеца Илмойяллинен.

54. [Мужик и атаман беглых]. А.—А. *967. Записал М. Евсеев в 1936 г. в дер. Вагвозеро Олонецкого района от И. В. Петрова, 42 лет. Архив 137, 18. Варианты: Архив 132, 112; 134, 48; 134, 98; 136, 123; 138, 47; 138, 72; 141, 21; фонотека 100/1 (Олонецкий р-н). Публикации: *Virtaranta III*, стр. 335—346 (два варианта). Публикуемое повествование — не сказка, а предание, однако оно не прикреплено к конкретному лицу или к месту и не приурочено к конкретному времени. Мы сочли целесообразным опубликовать его здесь, потому что это южнокарельское предание нашло отражение в пудожской былине о Рахте Рагнозерском. К. В. Чистов, исследовавший генезис этого былинного сюжета, на основе сопоставления карельских и саамских преданий на этот сюжет с русскими былинами о Рахте пришел к выводу, что часть сюжета быliny о Рахте Рагнозерском, названная условно «Рахта и неверная жена» — саамское или весское родовое предание о столкновении родича-предка с людьми из враждебного и вместе с тем экзогамного племени, откуда, возможно, взята жена героя. Этим обстоятельством объясняется, по мнению Чистова, предательство дочери и верность сына (К. В. Чистов. Былина «Рахта Рагнозерский» и предание о Рахтее из Рагнозера. «Славянская филология», сборник статей, III, Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 358—388). Наиболее архаические черты сохранились в саамских преданиях. Карельские варианты предания значительно модернизированы. Здесь мы всюду вместо людей враждебного племени находим или разбойников, или беглых. Неожиданная замена жены объясняется молодостью и внешней привлекательностью атамана разбойников. Варианты мало отличаются друг от друга и по всем основным мотивам сближаются с пудожскими былинами о Рахте Рагнозерском. Однако ни в одном карельском варианте нет второго сюжета о единоборстве Рахты в Москве, входящего также в былинку. Все карельские варианты предания записаны от карел-ливвиков Олонецкого района; исключение составляют 2 варианта *Virtaranta*, записанные от одного и того же карела-людика, выходяца из деревни Хальярви близ Кондозера. Русский вариант Онч. 122 записан в Илемской Сельге около Кондопоги, где проживают карелы-людики. О бытовании предания севернее этого населенного пункта у нас не имеется сведений. Эти факты позволили К. В. Чистову предположить, что предание возникло у древней веси. Известные нам финские варианты (*Kotiseudun tarinoita*. Toim. L. Simonsuuri. Helsinki, 1951, стр. 389—390 — два варианта) имеют иное историческое и социальное приурочение, чем карельские. При полном совпадении основных мотивов сюжета в карельских и финских вариантах финские предания прикреплены к конкретному историческому периоду — ко времени шведско-русских войн. В финских

преданиях хозяин — финский крестьянин, а пришельцы — или карелы, или русские.

35. [Дележ урожая]. А.—А. 1030. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в дер. Робогойла Колатсельского сельсовета Пряжинского района от Е. А. Ивановой, 52 л. Фонотека 413/6. Вариант: фонотека 217/23 (Кондопожский р-н). По данным Томпсона, сюжет наиболее распространен у шведов, эстонцев, литовцев, французов и немцев. У финнов записано неожиданно мало вариантов (8), столько же и у русских (по публикациям). В обоих карельских вариантах «партнером» мужика является медведь. Для части русских вариантов сюжета «Дележ урожая» характерна контаминация с сюжетом А.—А. 154. — «Мужик, медведь и лиса» (например: Аф. 23, 24, 25; См. 105); первый сюжет при этом служит завязкой и не так развернут, как основное повествование, где в действие вступает лиса.

36. *Timka* — *Тимка*. А.—А. 1061+1063+1084+1052+1115+1116+1132. Записала А. Николаевская в 1936 г. в дер. Видлица Олонецкого района от А. А. Максимовой, 14 л. Архив 134, 124. Варианты (наиболее близкие по сюжету): Архив 11, 1; 12, 136; 12, 137 (р-н Калевалы); 35, 10; 35, 13 (Беломорский р-н); 65, 26; 65, 98 (Медвежьегорский р-н); 72, 62; 77, 11 (Кондопожский р-н); 101, 14 (Пряжинский р-н); 70, 76; 134, 81; 134, 127; 135, 45 (Олонецкий р-н). Публикации: Белова, 21 (русский перевод см.: Пажлаков, стр. 155—157). Сказки о глупом лешем (реже о черте) у карел весьма популярны. Они, как и публикуемый здесь текст, чаще состоят из целого ряда эпизодов, отмеченных в указателе Аарне как отдельные типы в разделе «Сказки о глупом черте (великане)». Короткая форма анекдота об одураченном лешем (черте) с одним эпизодом, более характерная для финской традиции, в Карелии встречается редко. Наблюдается переход сказок о глупом лешем в сатирические сказки, в которых леший заменен хозяином, но с сохранением элементов сверхъестественной силы. В севернокарельских вариантах вместо лешего встречается беглый. Мотивы сказок о глупом лешем широко используются в сатирических сказках о попе, особенно мотив «бегство от работника». Из русских вариантов наиболее близок к данному карельскому тексту Онч. 123, а также вепсская сказка: Näyiteitä, 70. В ряде карельских вариантов в качестве героя сказки выступает охотник или пастух.

37. [Киндасовцы]. А.—А. 1202+1240 (условно). Сюжет содержит еще несколько эпизодов, которые в указателе не обозначены: заготавливают дрова во время посевной; косят сено во время жатвы; режут лошадей; рубят березу. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в с. Ведлозеро Пряжинского района от М. А. Иванова, 66 л. Фонотека 407/2. Вариантов с подобной контаминацией нами не обнаружено. В варианте из Пряжинского района (фонотека 411/5) содержится сюжет А.—А. 1202; эпизод о том, как киндасовцы режут лошадей, имеется в варианте — Архив 136, 14. Эпизод с серпом встречается в русских сказках: Худ. 35; Аф. 406 — мужики принимают серп за червяка, тащат его при помощи веревки в воду и топят. В южной Карелии международные сюжеты о глупцах приписываются «киндасовцам» (дер. Киндасово действительно существует недалеко от села Пряжи). У южных карел это название глупцов столь же популярно, как у русских — пошехонцы, у финнов — хёлмёлэйсет (*hölmöläiset*), у немцев — шнальдбюргеры. В северной Карелии название «киндасовцы» неизвестно; там глупцов в анекдотах чаще называют так же, как у финнов — хёлмёлэйсет, несмотря на то что это название создано искусственно финскими фольклористами в XIX в.

38. [Киндасовцы едут в Питер]. А.—А. 1275. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в с. Ведлозеро Пряжинского района от М. А. Иванова, 66 л. Фонотека 407/3. Варианты: Архив 71, 72 (Пряжинский р-н); 77, 4 (Кондопожский р-н); 80, 42 (Суоярвский р-н); 136, 51; фонотека 529/5 (Олонецкий р-н). Как и в данном тексте, эпизод рассказывается обычно как самостоятельная сказка, без контаминации с другими анекдотами. Иногда к нему присоединяется эпизод «варят кашу в проруби» (А.—А. 1260, варианты — Архив 77, 4; 80, 42): едут с мешками толокна, толокно высыплют

В прорубь, все друг за другом прыгают туда пробовать кашу, тонут. Из русских вариантов нам известен только один — См. 139 (Вятская губ.) в соединении с анекдотами А.—А. 1288 и 1225.

59. [Книдасовцы не могут сосчитаться]. А.—А. 1287А+1228. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в с. Ведлозеро Пряжинского района от М. А. Иванова, 66 л. Фонотека 407/4. Варианты: Архив 70, 83; фонотека 529/2 (Олонецкий р-н); в следующих вариантах только один эпизод — покупка ружья: Архив 98, 6 (Пряжинский р-н), 136, 12 (Олонецкий р-н). В варианте Архива 98, 6 мужики покупают ружье, чтобы убить медведя; убили одного человека, а остальных ранили, «а медведь до сих пор коров ест».

60. [Книдасовцы сеют овес]. В указателе А.—А. сюжет не зарегистрирован. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в дер. Робогойла Колатсельского сельсовета Пряжинского района от Т. И. Филатовой, 49 л. Фонотека 411/2. Варианты не обнаружены.

61. [Книдасовцы опьянели]. В указателе А.—А. сюжет не зарегистрирован. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в дер. Робогойла Колатсельского сельсовета Пряжинского района от Н. П. Филатова, 28 л. Фонотека 418/4. Варианты: Архив 136, 15; 136, 73 (Олонецкий р-н).

62. [Книдасовцы режут лошадей]. В указателе А.—А. сюжет не зарегистрирован. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в дер. Робогойла Колатсельского сельсовета Пряжинского района от Н. П. Филатова, 28 л. Фонотека 418/5. Вариантов нет. Эпизод «книдасовцы режут лошадей» имеется в публикуемом здесь тексте 57. Но в данном случае анекдот принял иной поворот: он переключается с встречающейся в Карелии завязкой из сказки на сюжет 1535 («Дорогая кожа»), где богатый брат обманывает бедного брата, говоря, что на ярмарке лошадиные кожи нынче дороги.

63. [Книдасовцы строят лодку]. В указателе А.—А. сюжет не зарегистрирован. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в дер. Робогойла Колатсельского сельсовета Пряжинского района от Н. П. Филатова, 28 л. Фонотека 418/6. Варианты: Архив 136, 4 (Олонецкий р-н); фонотека 536 (Пряжинский р-н).

64. [Книдасовцы на воде страдают от жажды]. В указателе А.—А. сюжет не зарегистрирован. Записала А. Тупицына в 1964 г. в дер. Робогойла Колатсельского сельсовета Пряжинского района от Е. А. Ивановой, 52 л. Фонотека 418/7. Вариантов не обнаружено.

65. Tiedoniekku — Проризатель. А.—А. 1313 (условно). Записал Ф. Фомкин в 1939 г. в дер. Мишинсельга Пряжинского района от П. Н. Уткина, 49 л. Архив 98, 7а. Варианты: 97, 8 (Пряжинский р-н); 134, 100 (Олонецкий р-н). Оригинальный южнокарельский сюжет, в котором высмеивается вера в знахарей. В северной и средней Карелии подобная сказка не встречалась, там распространен известный у многих народов сюжет «Знахарь» (А.—А. 1641). Вариант Архива 134, 100 модернизирован и сатирически заострен: богатый мужик, который до революции держал работников, вынужден при Советской власти сам ехать за дровами; не зная, как свалить дерево, начинает рубить сук, на котором сидит. Проезжий предупреждает его — глупец действительно упал и решил, что проезжий — бог. Чтобы испытать его, просит угадать, сколько у него коров — и далее, как в публикуемом варианте.

66. [Гость Терентий]. А.—А. *1361 I. Записали на магнитофон А. Тупицына и Х. Кабанова в 1964 г. в дер. Ковкойсельга Кондопожского района от О. П. Фоминной, 61 г. Фонотека 380/1. Варианты: Архив 25, 28 (р-н Калевалы); 61, 53; 61, 53а; 61, 62 (Медвежьегорский р-н); Фонотека 116/33; Архив 132, 177; 132, 209; 134, 106 (Олонецкий р-н). Публикации: ККН I, стр. 11—12. Сравнивая тексты русской и карельской сказок, приходим к выводу, что сказка заимствована у русских. В некоторых вариантах рассказ ведется и по-карельски и по-русски, песенка нищего часто не переводится на карельский язык, как и в публикуемом тексте. (И в данном случае рассказчица все время сбивалась на русский язык). Текстовая близость карель-

ских сказок особенно сильна с русскими вариантами — Корг. 68 и Онч. 138. В роли любовника, как правило, выступает поп или дьяк, благодаря чему сказка приобретает характер социальной сатиры, разоблачая лживость морализирующих проповедей духовенства.

67. [Жена-домовица]. А.—А. 1381. Записал И. Чаккиев в 1939 г. в дер. Вешкелицы Пряжинского района от П. Р. Чаккиева, 54 л. Архив 102, 11. Варианты см. КНС 61 и прим. Публикуемый текст является единственным вариантом сюжета, записанным в южной Карелии, и отличается от севернокарельских вариантов иным, социально обостренным решением темы. О сюжете у карел см.: У. Конikka. Карельская сатирическая сказка. М.—Л., 1965, стр. 135—138. Особый интерес к социальным противоречиям деревни характерен для П. Р. Чаккиева (см. записанный от него же текст 85).

68. [Ленивая жена]. А.—А. 1405+*1370 I. Записали на магнитофон Г. Макаров и Т. Вайзден в 1963 г. в дер. Самбатукса Олонецкого района от Н. С. Кузьминой, 63 л. Фонотека 86/10. Вариантов не имеется. Публикуемая сказка представляет собою соединение сюжета А.—А. 1405 «Ленивая приха» (жена говорит, что не может ткать, потому что нет мотобила; муж идет в лес за мотобилом, жена кричит из засады: «Не делай мотобила, меня умрет!») и сюжета *1370 I, введенного в указатель Н. П. Андреевым: муж притворяется мертвым, жена обматывает его нитками. В русском варианте См. 168 отсутствует начальный эпизод с мотобилом, конец же (муж сравнивает себя с балаалайкой) совпадает с публикуемым карельским вариантом. Тип сюжета *1370 I у финнов не бытует.

69. Saatiin baali — Царский бал. А.—А. 1415. Записала А. Галактионова в 1936 г. в дер. Сорбола Олонецкого района от М. И. Боговой, 43 л. Архив 134, 74. Варианты см.: КНС 64 и прим. Публикуемый текст существенно отличается от вариантов северной Карелии, где сюжет более распространен. На юге других вариантов в записях не имеется. Данная сказка близка к русской сказке АФ. 407.

70. Ompaa Van'a — Хитрый Ваня. А.—А. *1441 I. Записала на магнитофон А. Митрофанова в 1962 г. в дер. Судалица Олонецкого района от О. П. Ефимовой, 56 л. Архив 157, 53. В записях вариантов не имеется. По имеющимся данным, сюжет в таком виде у других народов не бытует (см.: Томпсон, 1441В*). Известен один русский вариант (Онч. 175), который в основном совпадает с карельским.

71. Mokki — Мокки. А.—А. 1525 А. Записал Ф. Фомкин в 1938 г. в дер. Мишинисельга Пряжинского района от П. Н. Уткина, 48 л. Архив 94, 1. Варианты см.: КНС 65 и прим. Сказка Уткина отличается от других вариантов социальной остротой и стройностью композиции. Герой сказки — не честный вор, как обычно, а бедный парень, которого поп принуждает красть. Сказка поразительно схожа с русской сказкой из Пудожского района Карелии, в которой героя зовут Мокта (см.: Чистов, стр. 32—35); эта русская сказка впервые опубликована в 1958 г. Карельская сказка ранее не публиковалась.

72. Kiiwku da bohatti — Бедный и богатый. А.—А. 1525D. Записала А. Галактионова в 1936 г. в дер. Койвусельга Пряжинского района от Е. М. Богдановой, 44 л. Архив 134, 16. Ранее опубликована: Белова 28. Варианты: Архив 19, 84; 22, 11 (р-н Калевалы); 72, 184 (Кондопожский р-н); 138, 2; 138, 52 (Олонецкий р-н). Здесь сюжет о ловком воре получил совершенно новое звучание (как и в предыдущей сказке «Мокки»); потому что в центре внимания не ловкость искусного вора, а тема социального неравенства.

73. Kaksi vellesty — Два брата. А.—А. 1536+1537. Записал на магнитофон В. Рягоев в дер. Вешкелицы Прионежского района от Е. В. Никоновой, 60 л. Фонотека 539/2. Варианты: Архив 72, 96 (Петровский р-н); 99, 31; 114, 4 (Пряжинский р-н); 132, 159; 134, 110; 137, 10; 138, 133; ф. 1, оп. 43, № 11 (Олонецкий р-н). Сказки с мертвым телом образуют несколько отличающихся друг от друга сюжетов. Эпизод с мертвым телом иногда входит в сюжет «Дорогая кожа» (КНС 66). В карельских сказках, как и в рус-

ских, главным действующим лицом может быть дурак, который нечаянно убивает свою мать (например: Аф 396, карельский вариант — Архив 134, 110). Иную интерпретацию сюжета мы наблюдаем, когда вместо дурака в сказке — бедный брат, как в публикуемом и ряде других карельских вариантах. Бедный брат, используя суеверие богатого брата, получает при помощи мертвого тела много крестьянского добра. Публикуемый текст представляет собою оригинальную разработку всемирно известного сюжета о мертвом теле.

74. *Sawitku Grišša* — Шут Гриша. А.—А. 1539+А.—А. *1538 I. Записал Т. Окунев в 1938 г. в дер. Маяйсельга Пряжинского района от В. А. Соболева, 48 л. Архив 99, 7. Варианты: КНС 67, 68 и прим.; кроме того: Архив 28, 275 (р-н Калевалы); 50, 16 (Лоухский р-н); 70, 41а; 70, 81; 112, 7 (Пряжинский р-н); 74, 2 (Кондопожский р-н); фонотека 113/3; 146/2 (Олонецкий р-н). Публикации, кроме отмеченных в КНС 67, 68: *Virtaranta* 111, 274—280. Сюжет этот является одним из самых распространенных среди карельских сатирических сказок. Здесь, как и в большинстве южнокарельских вариантов, поп просит шута Гришу подиутить над ним. Тот идет якобы домой за шутками, выпросив у попа шарф (или лошадь — в виде доказательства); берет у попадья все деньги под разными предлогами. Далее следует обман за обманом. В конце концов, шут наряжается девушкой, чтобы избежать наказания; дальше следует сюжет *1538 I («Шут-невеста»). В южной Карелии бытует сюжет 1539 в соединении с сюжетом *1730 I под названием «Ванька» (Архив 99, 2; 94, 88). Если в сказках северной Карелии «шут» одурачивает, кроме попа, еще и царя с его слугами, разных господ и т. п., то в сказках южной Карелии объектом осмеяния почти исключительно являются духовные лица. В ряде южнокарельских вариантов герой не является признанным «шутом» — он бедный крестьянин, обманутый попом, которому он решает отомстить обманом за обман (см.: Белова 26). Еще до недавнего времени сюжет постоянно творчески перерабатывался, о чем свидетельствует отсутствие его стабилизации: почти все варианты существенно отличаются друг от друга по бытовым деталям, мотивировкам действия героя и сюжетным ходам.

75. *Niitroi saldattu* — Хитрый солдат. А.—А. 1570А* (по Томпсону 1544). Записала на магнитофон А. Митрофанова в 1962 г. в дер. Юргелнда Олонецкого района от К. И. Митрофановой, 53 л. Фонотека 198/4. Варианты: Архив 71, 17; Белова, 30 (русский перевод: Конкка, стр. 186—187). Сюжет мало распространен как у карел и финнов, так и у русских (см.: Томпсон, № 1544). Все три карельских варианта близки друг к другу, в них вымещаются скупые хозяева. Сказки эти — образец веселой народной сатиры.

76. [Фема Береншинов]. А.—А. 1640. Записал И. Туруев в 1939 г. в дер. Борднинаволок Пряжинского района от И. Ф. Мойсеева (возраст неизвестен). Архив 95, 8. Варианты: Архив 2, 16 (Лоухский р-н); 11, 53; 23, 155 (р-н Калевалы); 65, 78 (Медвежьегорский р-н); 100, 35 (Пряжинский р-н); 132, 6; 134, 131 (Олонецкий р-н). В севернокарельских вариантах имя героя — Кузьма (Серафонович), как в русском варианте Худ. II, 51. В отличие от русских вариантов сюжета, в карельских герой — женатый крестьянин и повтому не жегится на царской дочери. Исключение составляет вариант Архива 100, 35, записанный от В. А. Гордеева и несколько отличающийся от других карельских вариантов. Здесь герой не помогает царю, а вместе с богатырем Алешей Поповичем (в других вариантах богатыри не названы по имени) разбивает войско иноземного царя и получает его дочь в жены. Вариант Гордеева близок к русскому варианту Аф. 430.

77. [Знахарь]. А.—А. 1641. Записала А. Суксина в 1936 г. в дер. Иогран-Кондуши Олонецкого района от М. А. Лукаевой, 40 л. Архив 135, 34. Варианты: Архив 14, 14; 19, 50; 22, 23; 25, 121 (р-н Калевалы); 50, 5 (Сегежский р-н); 64, 8; 65, 30 (Медвежьегорский р-н); 94, 90 (Пряжинский р-н); 138, 2; 139, 2; ф. 1, оп. 43, № 11 (Олонецкий р-н). Публикации: Белова, 29 (публикуемый здесь вариант с незначительной обработкой). Все карельские варианты обнаруживают близость к русским вариантам сюжета

(Аф. 380, 381; Сок. 106; Онч. 94, 222). Завязкой действия почти во всех карельских вариантах является бедность стариков.

78. [Счастье от наследства]. А.—А. 1650 (1651). Записал И. Герасимов в 1936 г. в с. Обжа Олонцкого района от И. Ф. Фофанова (возраст неизвестен). Архив 132, 189. Варианты: Архив 19, 25; 19, 112 (р-н Калевалы); 64, 16; 65, 100 (Медвежьегорский р-н); 70, 44; 134, 159; 138, 106; 157, 32; фонотека 142/6 (Олонцкий р-н). Публикации: Remsu, стр. 74—75; SKSjT, стр. 542—544, 544—550). У русских сказка встречается очень редко, по указателю Андреева известен всего один вариант: Онч. 103, записанный в дер. Лижме около Кондопоги. Мотив 1651 встречается в некоторых волшебных сказках — А.—А. 842* (Аф. 216, 217, 218). По данным Томпсона, больше всего финских вариантов — 140 (сюда входят отчасти и карельские); В севернокарельских вариантах, как и в финских (SKSjT, стр. 535—542; Suomalaisen kirjallisuuden antologia. Helsinki, 1963, стр. 220), отец обычно оставляет в наследство ручной жернов, которым герой пугает разбойников, и таким образом ему достается богатство (А.—А. 1653В), кантеле (или скрипку), с помощью которого герой собирает вокруг себя диких зверей, выпускаемых проезжими купцами (господами), с которых он берет большой выкуп. Третьему достается ворот и кусок каната (реже мочало), он пугает водяных, угрожая сморщить озеро, выгнать водяных из него и тоже получает большой выкуп. Состязания героя с водяными в основном те же — бег вперегонки (с зайцем), бросание дубинки или молота, борьба (с медведем) и лазание по дереву (с белкой). Откупаются водяные шляпой денег (в шляпе дыра). В южнокарельских вариантах, в сегозерских и в двух карельских, опубликованных в SKSjT (место записи не указано), как и в публикуемой сказке, в наследство достаются ножницы, кошка (иногда вместо ножниц — собака, коза; вместо кошки — топор). Больше варьируется наследство младшего брата (иногда его называют Tuhku Muuričča — SKSjT, стр. 544—550; Архив 64, 16; 65, 100). В некоторых вариантах черти (водяные) соглашаются дать выкуп без состязаний (фонотека 142/6; Архив 70, 44; 157, 32; SKSjT, стр. 542—544). Когда герой получает от чертей (водяных) золото, он заставляет сына водяного нести золото домой. По дороге на вопросы водяного он отвечает, что борона — гребень отца, соха — его вилка (как в данном тексте) или же лодка — башмак матери, мельничный жернов — прелка матери (SKSjT, стр. 544—550) и т. д. Водяной пугается, бросает золото и бежит домой.

79. [Набитый дурак]. А.—А. 1696 А. Записала Николаевская в 1936 г. в дер. Гавриловке Видлицкого сельсовета Олонцкого района от Е. Г. Гавриловой, 47 л. Архив 134, 116. Варианты: 22, 66, 68; 25, 92 (р-н Калевалы); 99, 13, 35; 102, 47; 112, 26 (Пряжинский р-н); 134, 130, 146; 135, 90; 136, 83 (Олонцкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 73—74. Карельские анекдоты на этот сюжет довольно разнообразны по мотивам, но придерживаются известной схемы. В большинстве вариантов действующие лица — мать и сын. Глупость сына иногда мотивируется (см.: У. Конikka. Карельская сатирическая сказка. М.—Л., 1965, стр. 131—132).

80. Нона kazakku — Работник Хома. А.—А. 1725. Записал Ф. Фомкин в 1939 в дер. Мишинсельга Пряжинского района от П. Н. Уткина, 49 л. Архив 98, 14. Варианты: 20, 1; 22, 61 (р-н Калевалы); 35, 25 (Беломорский р-н); 45, 18 (Сегежский р-н); 63, 187; 64, 22; 65, 89 (Медвежьегорский р-н); 72, 6 (Кондопожский р-н); 112, 26 (Пряжинский р-н); 95, 3; 134, 107; 135, 939 (Олонцкий р-н). Публикации: KKN III, стр. 167—168. Распространенная в Карелии сатирическая сказка, своеобразно раскрывающая отношение работника к хозяевам. В севернокарельской традиции сюжет 1725 органически соединяется с сюжетом *1730 IV («Попадья по-немецки заговорила» — по указателю Андреева): последний представляет собою заключительный эпизод и кульминацию сказки. Из русских вариантов наиболее близок к карельским Онч. 81, записанный в с. Кондопога Петрозаводского уезда. В вепских вариантах сюжета, как и в карельских, встречается мотив запрета на определенное имя. В вепской сказке работника зовут Балда, попу не нра-

вится это имя. Баба три раза попадает к попу навстречу и уверяет его, что других имен в этой местности нет (Näyteitä, № 97). Все карельские варианты сюжета довольно стабильны.

81. Kuru da rappi — Купец и поп. А.—А. 1726**. Записала А. Галактионова в 1936 г. в дер. Ахпюсова Гора Видлицкого сельсовета Олонекского района от П. В. Тухкина, 62 л. Архив 134, 19. Варианты: Архив 13, 1; 20, 21 (р-н Калевалы), ф. 1, оп. 38, № 246 (Пряжинский р-н), 132, 3 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 141—142; Virtaranta, III, стр. 286. С данным текстом сближаются варианты Архива 20, 21; 132, 3 и ф. 1, оп. 38, № 246. В них поп сам идет к жене мужика (купца) без посредства вдовы и говорит, что ребенок будет без головы или слепой. Мужик (купец) в отместку достает у попадьи браслет, серьги и кольца; по просьбе попадьи пытается достать банный котел. В варианте П. Р. Чаккиева сюжет контаминируется с мотивами из других антипоповских сказок: мужик нанимается работать за щелчок в год и т. д.; поп погибает, мужику остается все богатство попа. Совсем иначе мстит попу муж в варианте Архива 13, 1. Он идет в дом попа в его отсутствие, подвешивает попадью и поповну в коровьих шурах вверх ногами. Поп едет вслед. Мужик пугает женщину на лугу, та лезет в стог. Берется помочь попу поймать обидчика и уезжает на коне попа. Женщина подает голос, и поп от испуга умирает (мотивы из сюжета А.—А. 1528, характерные для финской традиции). С публикуемым текстом совпадает и русский вариант Сок. 125. Там поп берется помочь жене мужика за 100 рублей и тулуп. Так же и мужик достает серьги и бусы попадьи за 100 рублей и за тулуп. По данным Томпсона (№ 1726*), известно лишь три финских варианта сюжета и один русский, о котором говорилось выше. Карельских вариантов 7.

82. Zookkup rari — Сказка о попе. А.—А. 1735. Записала А. Тупицына в 1963 г. в дер. Робогойла Колатсельского сельсовета Пряжинского района от Е. А. Ивановой, 51 г. Архив 158, 1. Варианты: Архив 21, 7; 23, 4; 23, 10, 28, 155 (р-н Калевалы); 74, 13 (Петровский р-н); 134, 15 (Пряжинский р-н); 135, 12 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 96—98. В основном сюжет стабилен, но завязки различные: то мужик сам отдает последнюю корову попу, прослушав его проповедь в церкви, то поп отбирает у мужика корову за крещение ребенка или за венчание. В севернокарельском варианте действие продолжается: поп, не получив обратно своих коров, решает отомстить мужику, надеясь соблазнить его жену деньгами. Жена договаривается с мужем, приготавливает берестяной короб с пером и со смолой, туда прячет голого попа, когда возвращается муж. Мужик продает его артистам как беса. В варианте А. К. Исакова (Архив 74, 13) поп сначала берет овцу за крещение ребенка, заверяя, что оставшаяся овца (фактически баран) принесет трех ягнят. За отпевание покойника (отца) поп просит единственную корову: «Как отдашь, так отец твой попадет на том свете в царство. И отдашь одну, тебе бог даст три». Во всех вариантах подчеркивается алчность попа. В указателе А.—А. нет ссылок на русские публикации этого сюжета. Томпсон отмечает самое большое количество вариантов у финнов — 123 (в это число вошли и карельские варианты, записанные финскими собирателями до революции в Карелии), затем у шведов — 40.

83. Rappi — Поп. Сюжет в указателе А.—А. не обозначен. Записала К. Белова в 1939 г. в дер. Няльмоннаволок Пряжинского района от С. И. Иванова, 60 л. Архив 114, 23. Варианты: КНС 75 и прим. Сказка представляет собою типичное для Карелии переплетение мотивов из волшебной сказки «Чудесная сила» (А.—А. 650) с сатирическими сказками о попе и работнике. Сюжет относится к промежуточным формам между волшебными и сатирическими сказками, распространен по всей Карелии и довольно стабилен (ср.: КНС 75, 76). Для подобного рода сказок характерно, что герой не чудесного происхождения и не является сыном попа, как в близком сюжете о сыне-медведе (ср. текст 29 в настоящем сборнике), а работник попа, но обладающий необыкновенной силой. В этом сюжете часто появляется мотив — запрет на определенное имя, — который встречается также и в сати-

рических сказках о попе и работнике (ср.: КНС 74 и текст 80 в настоящем сборнике). Мотив «три щелчка за работу» появляется в Карелии редко — очевидно, под влиянием русских сказок. Подробнее об эволюции сюжета см.: У. С. Коника. Карельская сатирическая сказка. М.—Л., 1965, гл. 1.

84. *Behattu i kewku vell* — Богатый и бедный брат. Сюжет в указателе А.—А. не зарегистрирован. Записал Ф. Фомкин в 1938 г. в дер. Майисельга Пряжинского района от В. А. Соболева, 48 л. Архив 99, 19. Варианты не обнаружены. Мотив «леший называет мужика от килы» встречается в одной сказке (сцепление анекдотов) о глупом черте, записанной в том же районе от А. Е. Богдановой (Архив 101, 20). В публикуемой сказке этот мотив использован очень остроумно; несмотря на этот фантастический мотив, сказка безусловно является сатирической.

85. *Köyky miikka* — Бедный мужик. Сказочные мотивы, использованные в этом повествовании, в указателе А.—А. не зарегистрированы. Записала К. Белова в 1939 г. в дер. Вешкелица Пряжинского района от П. Р. Чаккиева, 54 л. Большинство сказок, записанных от П. Р. Чаккиева, представляет собою переплетение бытового рассказа со сказочными элементами, как и в данном тексте. Леший, черт или другая «нечистая сила», помогающая человеку в беде, довольно часто встречается в карельском и финском фольклоре (ср. предыдущий текст). Особенно популярен в финском сказочном эпосе образ дьявола, который под обликом дающего помощи поленщика помогает батракам и наказывает жадного и жестокого управляющего.

86. [Поп и работник]. В указателе А.—А. сюжет не зарегистрирован. Записала Е. Кимпелайнен в 1936 г. в дер. Сааригора Обжаского сельсовета Олонцкого района от И. М. Никоновой, 75 л. Архив 132, 204. Вариантов не имеется. Запись обрывается, но, судя по композиции, анекдот является вполне законченным.

87. *Zookkua kirpaz* — Сказка о купце. В указателе А.—А. сюжет не зарегистрирован. Записала А. Тупидына в дер. Ребогойла Колатсельского сельсовета Пряжинского района от Е. А. Ивановой, 52 л. Архив 158, 4. Вариантов нет. Хотя рассказчица и назвала это произведение сказкой, она скорее опирается на какой-то действительный случай, в результате которого образовалась поговорка: «Ешь, как купец» (жадно).

88. *Buval'än* — Бывальщина. В указателе А.—А. сюжет не зарегистрирован. Записал И. Герасимов в 1936 г. в дер. Обжа Олонцкого района от М. М. Патчиной, 61 г. Архив 132, 111. Вариантов нет. Хотя исполнительница и назвала этот рассказ бывальщиной, он является типичным анекдотом о хитром солдате (ср.: А.—А. 1548, 1570 и др.)

89. [Леший муж]. Сюжет в указателе А.—А. не зарегистрирован. Записала А. Николаевская в 1936 г. в дер. Погран-Кондуши Олонцкого района от Е. Г. Гавриловой, 48 л. Архив 134, 112. Вариантов нет. Имеется близкий к нашему русский вариант: Азадовский, 27 — «Как мужик гусей парил». М. К. Азадовский относит эту сказку к сюжету А.—А. 1676* — «кобылье (и т. п.) яйцо», но там действия героя продиктованы жадностью или глупостью, а в карельском варианте, как и у Азадовского, — ленью. Здесь известный сатирический сюжет, в котором обличается глупость господ (попа, барина), получает иное социальное звучание: высмеивается леньность внутри своего же, крестьянского, сословия. Поэтому, как обычно в сказках бытовой сатиры, человек, страдающий каким-либо общественным пороком (леность, болтливость и др.), — исправляется.

90. *Zirkaležeh näh* — Про зеркальце. Сюжет в указателе А.—А. не зарегистрирован. Записала на магнитофон А. Митрофанова в 1962 г. в дер. Судалица Олонцкого района от О. П. Ефимовой, 56 л. Фонотека 200/13. Вариантов в записях не имеется. Рассказ близок к сказкам-анекдотам о глупых людях (ср. начало сюжета А.—А. 1384), но имеет более конкретное культурно-историческое приурочение. Мы имеем в данном случае анекдот не о глупости, а о неведении, благодаря чему все повествование носит мягкий юмористический характер.

91. [Верона и птенцы]. В указателе А.—А. сюжет не зарегистрирован. Записала А. Тупицына в 1963 г. в дер. Рогойла Колатсельгского сельсовета Пряжинского района от Е. А. Ивановой, 52 л. Архив 158, 3. Вариантов нет. По жанру этот рассказ скорее притча, чем сказка, хотя в нем есть сказочная троичность. Смысл повествования — в осмыслении отношений между родителями и детьми. На этот счет у карел имеются пословицы, например: «Muaton mieli lapsessa, lapsen mieli kivessä ta kannossa» («Мать думает о дитяти, а дитя — о камнях да пнях»).

СПИСОК МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

- Бёрдо (карельск. — принадлежность ткацкого стана, род гребня.
bird)
- Бурачок (карельск. — здесь кузовок, корзинка.
burakko)
- Вйца (карельск. — хворостинка, розга.
vičča)
- Воронёц — брус, перекладина, широкая и толстая доска, в виде полки, вдоль и посреди всей избы.
- Гóлбец — припечье с дверцами, со ступеньками для восхода на печь и с лавом в подполье.
- Загуста — заваруха, каша из ржаной муки, которую едят с молоком или коровьим маслом.
- Зáколина — сено, сложенное между двумя кольями.
- Калйтки (карельск. — ватрушки из пресного теста, круглой или овальной формы, начиненные кашей или толченым картофелем.
kalitat)
- Кóник — лавка, рундук, прилавок, скамья в виде длинного ящика с крышкой, стоящая у стены.
- Кóрба (карельск. — густой темный еловый лес в сырой низине.
korbi)
- Лáмба (карельск. — небольшое лесное озеро без истоков.
lambi)
- Порядничать — заниматься хозяйством, готовить, варить, убирать.
- Правилка — правило, чем правят, прямая доска со стойкой и отвесом (у плотников и каменщиков); род линейки.
- Прима́к — зять, принятый в дом тестем.
- Рогáль — рукоять сохи.
- Сажёнь — мера, точно соответствующая официально установленной длине сажени.
- Сара́й (карельск. — здесь верхняя часть крытого двора в карельских и севернорусских крестьянских домах, куда въезжают по особому настилу (въвоз, въезд); сарай сообщается с избой через сени. Как карелы, так и русские говорят не «в сарай», а «на сарай».
saraia)
- Скáнец — тонко раскатанная лепешка, начиненная кашей, толченым картофелем.
- Тука́ч — сноп соломы.
- Челó (печи) — передняя часть русской печи.
- Четверйк — старая русская мера объема сыпучих веществ.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- | | |
|------------|--|
| А.—А. | — Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929. |
| Архив | — Архив Петрозаводского института языка, литературы и истории Академии наук СССР (первая цифра обозначает номер коллекции, вторая цифра — номер текста). |
| Азадовский | — Русские сказки в Карелии (старые записи). Подготовка текстов и комментарии М. К. Азадовского. Петрозаводск, 1947. |
| Аф. | — Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, в трех томах. Подготовка текста и примечания В. Я. Проппа. М., 1957. |
| Евсеев | — Карельский фольклор. Новые записи. Вступительная статья, подготовка текстов и примечания В. Я. Евсеева, под редакцией В. Я. Проппа, Петрозаводск, 1949. |
| ЭВ | — Д. К. Зеленин. Великорусские сказки Вятской губернии. Записки Русского географического общества по Отделению этнографии, т. XLII, Пгр., 1915. |
| Карн. | — И. В. Карнаухова. Сказки и предания Северного края. Л., 1934. |
| Конкка | — Карельские народные сказки. Составление, вступительная статья и примечания У. С. Конкка, научная редакция В. Я. Евсеева, Петрозаводск, 1959. |
| Корг. | — Сказки М. М. Коргуева. Записи, вступительная статья и комментарии А. Н. Нечаева, Петрозаводск, 1939. |
| КНС | — Карельские народные сказки. Издание подготовила У. С. Конкка, общая редакция В. Я. Евсеева, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1963. |
| КЭП | — Карельские эпические песни. Предисловие, подготовка текстов и комментарий В. Я. Евсеева, ответственный редактор проф. В. Я. Пропп, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1950. |
| Никифоров | — Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова. Издание подготовил В. Я. Пропп, Изд. АН СССР, М.—Л., 1961. |
| Онч. | — Северные сказки. Архангельская и Олонецкая губ. Сборник Н. Е. Ончукова. Записки Русского географического общества по Отделению этнографии, т. XXXIII, СПб., 1908. |
| Пажлаков | — Карельские сказки. Составил, перевел с карельского и литературно обработал И. Пажлаков, Петрозаводск, 1947. |
| См. | — А. М. Смирнов. Сборник великорусских сказок архива Русского географического общества, вып. I—II. Записки Русского географического общества по Отделению этнографии, т. XLIV, Пгр., 1917. |

- Сок. — Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Беловерского края. М., 1915.
- Фонотека — Фонотека кабинета звукозаписи Петрозаводского института языка, литературы и истории Академии наук СССР.
- Худ. — И. А. Худяков. Великорусские сказки, I—III. М., 1860—1862.
- Чистов — Перстенок — двенадцать ставешков. Избранные русские сказки Карелии. Составление, вступительная статья и комментарий К. Чистова, научная редакция Н. Полищук, Петрозаводск, 1958.
- Aarne — Antti Aarne. Finnische Märchenvarianten. Verzeichnis der bis 1908 gesammelten Aufzeichnungen. Ausgearbeitet von A. Aarne. FFC (Folklore Fellows Communications), № 5, Helsingfors, 1911; Finnische Märchenvarianten. Ergänzungsheft I. Verzeichnis der in den Jahren 1908—1918 gesammelten Aufzeichnungen. FFC, № 33, Helsinki, 1920.
- Белова — Карелиян рэхвахан суарнат. Состуави К. Белова. Петрозаводск, 1939.
- Finne — Satujen maailma, kertonut Jalmari Finne. Suomen kansan es-
dus, II. Porvoo, 1910.
- KKN I — Karjalan kielen näytteitä, 1 osa. Julk. Eino Leskinen. Suomalaisen kirjallisuuden toimituksia, 193 osa, Helsinki, 1932.
- KKN II — Karjalan kielen näytteitä, 2 osa. Julk. Eino Leskinen, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, 193 osa, Helsinki, 1934.
- KKN III — Karjalan kielen näytteitä, 3 osa. Julk. E. Leskinen, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, 193 osa, Helsinki, 1936.
- Kujola — Karjalan kielen opas. Kielemnäytteitä ja sanasto. Uusiutu laltos. Julk. Joh. Kujola, Suomalais-ugrilainen seura, Helsinki, 1922.
- Mihejeva — M. Mihejeva. Karjalaisia kansansatuja. Petroskoi. 1951.
- Näytteitä — Näytteitä Äänis- ja Keski-Vepsän murteista. Keräsi E. N. Setälä ja J. H. Kala, julk. ja suomentanut E. A. Tunkelo apunaan Reino Peltola. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, 100. Helsinki, 1951.
- Remu — M. Remu. Karjalais-suomalaisia kansansatuja. Petroskoi, 1945.
- SKS I — Suomalaisia kansansatuja. 1 osa. Eläinsatuja. Toim. K. Krohn. Helsinki, 1886.
- SKS II — Suomalaisia kansansatuja. 2 osa. Kuninkaallisia satuja. I. vihko. Toim. K. Krohn ja L. Lilius, Helsinki, 1893.
- SKS:IT — Suomen kansan satuja ja tarinoita. Toim. Eero Salmelainen. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki, 1955.
- Томпсон — The types of the folktale. A classification and bibliography Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen Folklore Fellows Communications (FFC), № 3. Translated and Enlarged by Stith Thompson, Second Revision. FFC, № 184, Suomalainen Tiedekatemia, Helsinki, 1964.
- Virtaranta III — Lyydiläisiä tekstejä, III. Kerännyt, kääntänyt ja julkaissut Pertti Virtaranta. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, 131, Helsinki, 1964.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	Стр. 3
Отличительные черты репертуара сказок южной Карелии (У. С. Конкка)	10

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

1. Reboi da böböi — Лиса и медведь	24
2. [Без названия] — [Кот, петух и лиса]	29
3. Jänöi da reboi — Заяц и лиса	37
4. Virzuine — Лапоток	37
5. Ukko, akke i kana — Старик, старуха и курица	42

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

6. Kuldaine dvorču — Золотой дворец	47
7. [Без названия] — [Медведь и три сестры]	57
8. [Без названия] — [Чудесное бегство]	62
9. Ivan Kurorejevič — Иван Куропеевич	69
10. [Без названия] — [Брат и сестра у ведьмы]	80
11. Sigtu-sigtu — Сказка о Смерти	85
12. Zookkun Surmas — Сказка о Смерти	91
13. Iivan-ukon poigu — Сын Ийван-старика	93
14. Zolotoi koroli — Золотой король	103
15. Kewhe Lavri — Бедный Лаври	107
16. Kondii-poigu — Сын-медведь	113
17. [Без названия] — [Пряхи у проруби]	134
18. [Без названия] — [Морозко]	138
19. Kaksi vellesty — Два брата	141
20. [Без названия] — [Златопалая]	157
21. Tuhkimus-neidine — Девушка Тухкимус	164
22. Lesken akan poigu — Сын вдовы	171
23. Kolmekymmen kolme poigaa — Тридцать три сына	191
24. [Без названия] — Чудесные дары	212
25. Kuldapää sorzi — Золотоголовая утка	215
26. Sada jänöidy — Сто зайцев	221
27. Van'ka — Ванька	231
28. Kriwdu i Prawdu — Кривда и Правда	239
29. Ivan Medvedin — Иван Медведин	241
30. Bohatteri-muñoi — Жена-богатыря	262
31. Akku lapsen söi — Мать ребенка съела	267
32. [Без названия] — [Язык животных]	271
33. [Без названия] — [По щучьему веленью]	274
34. Peigoi-poigaine — Мальчик-с-пальчик	278
35. Peigoi-poigaine — Мальчик-с-пальчик	281
36. [Без названия] — [Немая жена]	285
37. [Без названия] — [Безручка]	290
38. [Без названия] — [Чудесные дети]	299
39. [Без названия] — [Мертвая царевна]	307
40. [Без названия] — [Мертвая царевна]	309
41. Kukkinen da kivi — Петушок и жернов	314
42. [Без названия] — [Нерассказанный сон]	318

43. Oza-suagru — Сказка о Доле
 44. [Без названия] — [Чудесная птица]

НОВЕЛЛИСТИЧЕСКИЕ И ВЫТОВЫЕ СКАЗКИ

45. Ivan Lesniiŕei — Иван Лесничий
 46. Doŕka Semiletka — Дочка Семилетка
 47. [Без названия] — [Укрощение строптивой]
 48. [Без названия] — [Добрые советы]
 49. [Без названия] — [Невестины загадки]
 50. Pedri-cairi — Царь Петр
 51. Pappi da suari — Поп и царь
 52. Pedri-cairi — Царь Петр
 53. [Без названия] — [Петр Первый и кузнец]
 54. [Без названия] — [Мужик и атаман беглых]
 55. [Без названия] — [Дележ урожая]
 56. Timka — Тимка
 57. [Без названия] — [Киндасовцы]
 58. [Без названия] — [Киндасовцы едут в Питер]
 59. [Без названия] — [Киндасовцы не могут сосчитаться]
 60. [Без названия] — [Киндасовцы сеют овес]
 61. [Без названия] — [Киндасовцы опьянели]
 62. [Без названия] — [Киндасовцы режут лошадей]
 63. [Без названия] — [Киндасовцы строят лодку]
 64. [Без названия] — [Киндасовцы на воде страдают от жажды]
 65. Tiedoiniekku — Прорицатель
 66. [Без названия] — [Гость Терентий]
 67. [Без названия] — [Жена-доказчица]
 68. [Без названия] — [Ленивая жена]
 69. Saarin baalu — Царский бал
 70. Ownas Van'a — Хитрый Ваня
 71. Mokki — Мокки
 72. Kõwhy da bohattu — Бедный и богатый
 73. Kaksi vellesty — Два брата
 74. Suwtku Griiŕu — Шут Гриша
 75. Hiitroi saldattu — Хитрый солдат
 76. [Без названия] — [Фома Беренников]
 77. [Без названия] — [Знахарь]
 78. [Без названия] — [Счастье от наследства]
 79. [Без названия] — [Набитый дурак]
 80. Noma kazakku — Работник Хома
 81. Kupsu da rappi — Купец и поп
 82. Zookkup rapis — Сказка о попе
 83. Rappi — Поп
 84. Bohattu i kewhy velli — Богатый и бедный брат
 85. Kõhy muzikku — Бедный мужик
 86. [Без названия] — [Поп и работник]
 87. Zookkup kuptaz — Сказка о купце
 88. Buval'ŕin — Бывальщина
 89. [Без названия] — [Ленивый муж]
 90. Zirkaloŕeh nãh — Сказка о зеркальце
 91. [Без названия] — [Ворона и птенцы]

Примечания

Список малоупотребительных слов

Список сокращений

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
6	1 строка 1 столбца	kka	akka
6	6 строка 1 столбца	stuo	istuo
177	16 сверху	kurgoa	kirgoa
181	10 "	eti tuõndānyh	ei tyõndānyh
200	6 снизу	kurd'aine	kird'aine
275	15 "	oh	on
308	19—20 сверху	maamahjbut lkazen	maamahbutjlkazen
318	21 "	äajän	äijän
318	18 снизу	kodvaiželkse	kodvaižekse
325	18 сверху	Diädoöh	Diädöb
449	13 снизу	sädtji	svdtji
459	20 сверху	moodluuhalloo	moloduuhalloo
495	29 "	KC	Пашлаков
504	3 "	к тексту 35	к тексту 39

Карельские сказки